V-TP
V 681

4 1968

ИНОСТРАННАЯ литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — Сын земли чужой
(Продолжение) 126

ПОВЕСТИ

ЕЖИ СТЕФАН СТАВИНСКИЙ — Час пик . 37

РАССКАЗЫ

Рассказы филиппинских писателей . . . 205

СТИХИ

ГУСТАВО ВАЛЬКАРСЕЛЬ — Гимн Ленину 3
ЗДЕНКО ШТАМБУК — Ленин 1
ИЗ ТУРЕЦКОЙ ПОЭЗИИ. Нефзат Устюн (Вступление Радия Фиша) 118

КРИТИКА

Б. СУЧКОВ — Роман и миф 228
БЕРНАР ДАДЬЕ — Люди между двумя языками (Послесловие Г. Потехиной) . . . 245

4

АПРЕЛЬ

1968

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС — Новая Россия глазами американцев (Главы из книги. Послесловие Саввы Дангулова) 6

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Л. ЗОНИНА — Знакомьтесь: «Резон презант» 251
Д. ВЛАДИМИРОВ — Коль рыльце в пушку... 255
Ю. АРХИПОВ — Критика критики 257

НАШИ ГОСТИ

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ Жоржи Амаду, его герои, его друзья 260

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Борис Слуцкий — Муза печали и презрения. ◇ М. Салганик — В переводе с маратхского 264

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Л. З. — Животные разумные и утратившие разум. ◇ С. Востокова — Владислав Ванчура, каким он был. ◇ Камил Балтазар — Удивительный мир Василе Войкулеску 267

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ДАНИИЛ ГРАНИН — Альберт Наматжира . . 272

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 274

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 287

На обложке: эскиз фрески болгарской художницы НЕВЫ ТУЗСУЗОВОЙ (фрагмент).

ГУСТАВО ВАЛЬКАРСЕЛЬ

ГИМН ЛЕНИНУ

Через дали океана прилетел к нам этот листок, изданный в подполье. На солнечном фоне огромные серп и молот. Сверху: «Слава красному Октябрю!». Под углом «Да здравствует славная Коммунистическая партия Советского Союза!» И, одним росчерком, профиль Ленина. А внизу, под очерком ленинского лица—стихи. Автор этой стихотворной листовки—перуанский поэт, борющийся за свободу своей родины, преследуемый ее врагами и уже переживший, как сам он пишет в своих стихах, день серебряной свадьбы с первой тюремной камерой.

Имя твое зажигает зарю для каждого утра,
твой голос вершит кругосветный путь по планете,
в глазах твоих блещет вся правда народов мира,
и жизнь твоя — факел, питающий светом грядущее время.
Недвижные руки твои раздвигают земли горизонты,
книги твои наполняют хлебом дома бедных,
и сила мысли твоей ведет человека на штурм неба.
О, товарищ Ленин бессмертной Октябрьской победы!
Сегодня правда твоя далеко простерлась,
в бескрайнюю нить времени тонко вплетаясь;
сегодня твое величье достигло размаха века,
и никогда уже больше не встретит тебя молчанье,
и никогда уж тебя познавший тебя не забудет,
ибо твой светлый разум пылает все ярче и ярче,
зажжен и охвачен пожаром Истории мира.

В звездной твоей Москве ты подъемлешься ныне,
на Красной площади наших надежд и мечтаний,
где принимаешь ты в гости все пять континентов
в трепете гимнов и в ветре знамен победных.
А еще ты встаешь во весь рост и во всё сердце
в средоточье великой борьбы за нашу свободу,
входишь в двери тюрьмы с моим товарищем вместе
и пожимаешь руку приговоренному к смерти,
всходящему по ступеням плахи
с лозунгом имени твоего на губах бледных.

Ты живешь, Ленин, в советских делах и людях,
в золоте колоса, в гулком железе фабрик,
в лице пионера, похожем на лепесток розы,
в подъятой руке Комсомола стальной закалки.
Но ярче всего озаряешь ты вихрем света
необоримую Партию твоей отчизны,
коммунизм воздвигающую каждой зарею,
надежду кующую для всех на свете.

Ты живешь, Ленин, на сбросившей цепи Кубе
и в Перу́, корневище моей крови,
во всей Латинской Америке и ее битвах.
Поэтому мы тебе воздвигаем сегодня
гимн, высокий, как самые вышние Анды,
отлитый рукой Мариáтеги * в пламенной бронзе,
гимн твоей Партии, бурно растущей к неведомым ране высотам.
Ибо мы тоже незыблемо, свято верим,
что социализм сегодняшний сотен мильонов
станет завтрашним днем всех горизонтов мира
и что имя твое, Ленин, будет цвести вечно
в алом цвету человечества, ставшего новым.

Перевод с испанского ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ

ЗДЕНКО ШТАМБУК

ЛЕНИН

Возвращение

Домой ты вернулся вечером поздним
из дальней земли Вильгельма Телля —
ты ветер свободы, ветер апреля
принес, вперекор угрозам и козням.

Так всходит солнце в небесной сини,
когда отгрохочет гроза ночная.
Тебя встречали, цель твою зная,
и недруг и друг на пути к вершине.

Тот час был старого мира закатом.
В том первом порыве октябрьского шквала
туман колыхнулся тысячелетний.

И проблеск был все заметней, заметней,
и в ветре, раскрывшись, земля трепетала
подсолнухом счастья, тьмою объятым.

Апрельские тезисы

В хоромах главной царской балерины,
над призраком любовницы царевой,
как вешний луч, ударил голос новый
в застывший ритм, в заснувший свод старинный.

---

* Хосе Карлос Мариатеги (1895—1930) — основатель социалистической партии Перу, преобразованной в Коммунистическую партию.

Тут собрались не баре, не вельможи —
сюда пришли рабочий и крестьянин,
пришел солдат, сел в генеральской ложе,
с ним — коммунист, вчерашний каторжанин.

Казалось: стяги развернулись ало
и расплеснулись, будто наводненье!
С трибуны по дворцу хлестнул тот голос —

и тьма до основанья раскололась,
лишь тени тьмы дрожат, как привиденья,
и в ужасе бегут куда попало.

Вечер в Горках

Скорбный день январский тропы, стежки в поле
застилает густо мягкой тканью снежной,
чтобы под пятою тяжкой, неизбежной
всей земле сегодня не стонать от боли.

Тает стук последний в этом сердце чистом,
меркнет свет последний в этом ясном взоре.
Жизнь бежит потоком под покровом мглистым —
и вот-вот вольется в вечность, словно в море.

Вспомнилась деревьям листьев позолота —
грустны вздохи сада, горьки вздохи леса.
Сумрак обнял землю — пусть земля не плачет...

Он уснул спокойно, зная: скоро спрячет
переливы радуг темная завеса.
И сквозь сон — улыбка. И сквозь сон — забота.

Учитель

Тихо, товарищи, тихо,— ночи во сне ведь недолги.
Может быть, он утомился, может, не спал прошлой ночью,
может, в его сновиденьях — мысли о праве и долге.
думы о силе и счастье, видимых нами воочью.

Тихо, товарищи, тихо — в отдыхе ночь проведете,
встретите новое утро, солнце увидите снова.
Значит, и он будет с нами в нашей борьбе и работе,
вскинет крепкую руку, скажет нужное слово.

Спойте, товарищи,— тихо, чтоб не спугнуть сновиденья,
но чтоб неслось над веками, мчалось над землями эхо,
чтоб и ему было слышно,— спойте песнь о рассвете.

Вечер сомкнýт с восходом башни бессонные эти:
каждое новое утро — новых свершений веха,
каждое новое утро — утро его пробужденья.

Перевод с сербохорватского ВАЛЕНТИНА КОРЧАГИНА

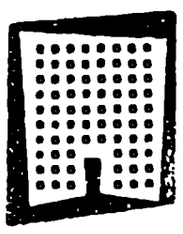
АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС

НОВАЯ РОССИЯ ГЛАЗАМИ АМЕРИКАНЦЕВ

Главы из книги

■

Перевод с английского
С. ЛИТВИНОВОЙ



обеда большевиков углубила раскол среди сотрудников американского посольства. Обозначились разные политические линии. Бойс Томпсон * и Реймонд Робинс** делали осторожные шаги к сближению с новым правительством или по крайней мере к признанию его жизнеспособности, надеясь при этом, что с помощью Америки Россия сможет продолжать войну и удержит свою армию на Восточном фронте. Им удалось привлечь на свою сторону военного атташе посольства полковника Уильяма В. Джадсона, который сначала был настроен весьма непримиримо и даже требовал установить американскую блокаду. Вместе с ним к группе Робинса — Томпсона присоединились майор Томас Д. Тэтчер и другие. Робинс первым признал, что с Керенским все кончено. К этому выводу он пришел после второго заседания Второго съезда Советов, на котором просидел с 8 вечера до 5 утра. Вернувшись в гостиницу «Европейская», он заявил Томпсону: «Шеф, нам надо поворачиваться побыстрей. Керенский — уже древняя история».

Они в самом деле действовали довольно быстро. В Петрограде тогда все происходило быстро — и даже Фрэнсис ***, сообщавший весной в Вашингтон, что «прибыл какой-то анархист по имени Ленин», теперь радовался возможности получать через Робинса информацию о деятельности Смольного.

Как-то Робинс пригласил меня позавтракать. Это было вскоре после его первого появления в Смольном, но еще до того, как он стал там заметной фигурой, известной даже Ленину. Помню, тогда мне нисколько не казалось странным, что я сижу за одним столом с влиятельным американским консерватором и обсуждаю вопрос о том, как посильнее раздуть пожар революции. И это действительно не было странным для Петрограда тех дней! Речь шла о революции в Германии. Робинс сказал, что накануне в посольстве обсуждалось обращение большевиков к немецкому народу, призывающее его к революции. Знакомо ли мне это обращение? Да, если имеется в виду воззвание «К немецким солдатам!».

— Если все обстоит так, как мне это представили, то я бы хотел, чтобы воззвание получило гораздо более широкое распространение. Его следует переправить в Германию, и в больших количествах,— прищурившись, Робинс внимательно следил за выражением моего лица.

Естественно, Робинс не стал посвящать меня ни в перипетии своей борьбы с Фрэнсисом, ни в ход длительной кампании, которую он вел вместе с Томпсоном, чтобы изменить американскую политику...

Не вдаваясь в подробности, как бы между прочим он сказал:

— Кроме того, этот документ докажет всему миру, что большевики не являются немецкими агентами.

Albert Rhys Williams. «Americans Discover Lenin and a New Russia». Публикуется в сокращении, по рукописи, отредактированной и подготовленной к печати Люситой Вильямс. Начало публикации см. в № 5, 1967 г.

* Бойс Томпсон — глава американской миссии Красного Креста, крупный финансист, промышленник, был ведущим деятелем вильсоновской администрации, близким к руководству республиканской партии США.

** Реймонд Робинс — полковник, в 1917 году — член американской миссии Красного Креста в России.

*** Д. Р. Фрэнсис — посол Соединенных Штатов в России.

— Еще бы! — рассмеялся я.— В воззвании хотя и не говорится прямо: «Восстаньте и свергните своего кайзера!» — как в тех листовках, что мы с Джеком сочиняем,— не нам ведь сидеть напротив немецких генералов за столом переговоров,— но смысл воззвания в общем тот же: не слушайте офицеров, не стреляйте в своих братьев-социалистов, поддержите нас и тому подобное.

Я точно знал, что Гамберг * собрал массу якобы немецких «документов», «изобличающих» Ленина как немецкого шпиона (эти фальшивки ходили по Петербургу с самого лета, в каждом посольстве имелись с них копии), и представил их Робинсу. После внимательного изучения Робинс пришел к убеждению, что это подделки, и Томпсон, обеспокоенный донесениями о «немецком шпионе», видимо, поверил Робинсу.

Чего же хочет от меня Робинс?

— Массовое распространение воззвания,— продолжал Робинс,— может привести к тому, что недовольство, зреющее в Германии во флоте и, по последним сообщениям, среди рабочих, выльется в нечто более серьезное. Так вот, помогите мне получить разрешение отпечатать воззвание большим тиражом. При сотрудничестве большевиков мы дадим ему самое широкое распространение. Я ассигную на это сто тысяч рублей. Большевики оказались великолепными пропагандистами!

Кажется, этот разговор происходил 15 ноября. Точную дату я не помню, так как некоторые страницы моего петроградского дневника пропали еще в 1918 году, когда меня на пути домой задержали в Гонолулу. Все мои бумаги и рукописи были тогда конфискованы военно-морской службой разведки. Потом их вернули через министерство юстиции, но многих страниц я так и не досчитался. Я называю эту дату потому, что некий «историк» **, чья скрупулезная точность в мелочах может сравниться лишь с его усердием в искажении главного, пишет, что разговор в посольстве относительно воззвания происходил 14 (27) ноября.

Я отправился в Смольный, уверенный в успехе своей миссии. У дверей кабинета Троцкого стояли часовые-красногвардейцы в обычной для них, невоенной позе, винтовки с примкнутыми штыками опирались прикладами об пол. Пропустили меня без особой задержки.

Троцкий прожил в Америке лишь несколько месяцев, и мне кто-то сказал, что английский он знает плохо, предпочитая ему немецкий. Я заговорил по-немецки. Он не проявил никакого желания перейти на менее официальный тон, как это сделал однажды Ленин, поэтому я не отважился испробовать на нем свой русский язык. Начав сразу с сути дела, я рассказал о том впечатлении, которое произвело на Робинса воззвание «К немецким солдатам!», и обо всем, что он в связи с этим думает.

У меня кончились сигареты, и я выразительно поглядывал на дымящуюся папиросу и на открытую пачку, лежащую на столе. Троцкий смотрел на меня холодно, пачка так и осталась лежать на месте. Я пытался объяснить, какое значение придает Робинс этому документу, призывающему «немецких братьев... поднять знамя мира...» и бороться «за мир внутри самой Германии». По существу, их призывали свергнуть свое правительство и прийти на помощь социалистической России и всему международному пролетариату.

— Робинс хочет,— продолжал я,— широко распространить воззвание не только на фронте, но и в германском тылу. Он дает на это сто тысяч рублей!

Я не сказал, что деньги предназначены на типографские расходы: мне это казалось абсолютно ясным. Но Троцкий понял иначе. Подскочив как ужаленный, он стал кричать, что Робинс, «ваш друг Робинс», дал два миллиона рублей Брешковской *** «на одурманивание народа патриотическим опиумом», но что ему, Робинсу, не удастся подкупить большевиков никакой взяткой: «Так и передайте своему другу Робинсу!»

Я открыл рот от изумления. Неужели в моем рассказе Троцкий не услышал ничего, кроме цифры «сто тысяч»?

Он продолжал метать громы и молнии, и, прежде чем я успел вставить хоть слово, дверь распахнулась, в кабинет вбежали часовые-красногвардейцы, и я увидел перед собой два сверкающих штыка. Обличительно указывая пальцем в ту сторону, куда были нацелены штыки, Троцкий отдал распоряжение увести «этого агента империалистической державы».

На этот раз взорвался я:

— Слушайте! Во-первых, вы не имеете права меня арестовать, во-вторых, я не агент империализма, а работаю у большевиков, в вашем же МИДе, где вы ни разу не появились! — все это я ухитрился прокричать по-русски.

Троцкий опешил. На лицах красногвардейцев появилось выражение веселого любопытства. Один из них, скрывая улыбку, поднял руку и погладил усы. Действительно, ситуация была смешна и нелепа. Я в жизни не встречал человека, у которого бы на-

---

* Алекс Гамберг (Гомберг) — друг Троцкого по Нью-Йорку, где он работал коммерческим директором еженедельника «Новый мир».

** Имеется в виду работа американского буржуазного историка Джорджа Фроста Кеннана «Россия выходит из войны».

*** Е. К. Брешко-Брешковская (1844—1934) — один из организаторов и руководителей партии эсеров, принадлежала к ее крайне правому крылу. В 1919 году уехала в США, затем жила во Франции. За границей вела клеветническую кампанию против Советской России.

столько отсутствовало чувство юмора, как у Троцкого, но сейчас он, должно быть, понял, что оказался в довольно глупом положении. Про себя, по крайней мере, могу сказать, что, благополучно выйдя из Смольного, я всю дорогу по пути в Наркоминдел (а не в тюрьму, куда чуть было не угодил) чувствовал себя последним дураком...

То, что я выпалил сгоряча, было сущей правдой: Троцкий почти ни разу не зашел в здание Наркоминдела, где мы с Ридом работали в отделе Рейнштейна *. Он считал, очевидно, что раз секретные договоры опубликованы, делать ему там нечего. Я убежден, что до нашего «громкого» разговора он и понятия не имел о том, что мы с Ридом можем чем-то заниматься в этом огромном, почти пустом здании...

■

В январе 1918 года обстановка усложнилась. Страны Антанты продолжали бойкотировать мирные инициативы. Капиталисты этих стран больше боялись большевизма, чем германского милитаризма. Их дилемма была не легче той, перед которой стояли Советы. Россия нуждалась в помощи. Но мнения в Советах разделились: одни не хотели принимать никакой помощи от империалистов и предпочитали революционную войну сепаратному миру, другие боялись, что эта помощь обойдется дорогой ценой, а третьи, вдохновленные недавними победами, считали, что чем смелее и независимее они будут держаться в Бресте, тем прочнее будут их позиции и тем скорее наступит революция в Германии.

В такой сложной и необычной обстановке ни от кого нельзя было требовать последовательности.

Позднее Робинс с некоторой гордостью рассказывал сенатской подкомиссии о том, как большевистские газеты ругали Томпсона, называя его «представителем Уолл-стрита, желающим заполучить для Морганов Транссибирскую магистраль и лично заинтересованным в медных рудниках России». Однако к тому времени, когда Томпсон покидал Петроград, он уже был горячим сторонником признания большевиков и, оставив Робинса держаться поближе к Смольному, уехал в Штаты, чтобы, как выразился Робинс, «тянуть с другого конца». Дома Томпсон развернул большую работу среди бизнесменов и сенаторов и в 1918 году, когда я вернулся в Америку, все еще продолжал вместе с Робинсом добиваться признания новой республики.

Можно назвать и других представителей Уолл-стрита, ставших сторонниками не революции, нет, а — коль скоро нельзя мановением волшебной палочки заставить ее исчезнуть — признания ее реальности. Однако самое сильное и глубокое влияние Октябрьская революция оказала на Реймонда Робинса.

Это была яркая и сложная личность. Влияние его в высших кругах республиканской партии было весьма значительным. Он был близок к Теодору Рузвельту, который и добился для него назначения на пост главы Красного Креста в России, после того как сам Рузвельт отказался от этой миссии. Короче, Робинс был из тех людей, кто делает президентов. Капиталист до мозга костей, он проявил поразительную трезвость взгляда относительно большевиков. «Надо исходить не из того, что, как мы думаем, они сделают,— говорил он мне,— а из того, что они действительно собираются делать, и в этом я неустанно пытаюсь убедить Вашингтон».

По мере того как возрастала его роль «закулисного посла», Робинс проникался все более глубоким уважением к большевикам. Когда он поделился со мной впечатлениями о своей первой беседе с Лениным (за которой последовали почти ежедневные встречи, вызванные приближающимся кризисом в Бресте), я ушел от него в самом радостном настроении. Его обаяние и оптимизм помогли ему, можно сказать, «освоиться» в Смольном.

Приходя каждый день из «Европейской» гостиницы (где размещалась миссия Красного Креста) в американское посольство, Робинс попадал в атмосферу мрачного пессимизма и подозрительности, в большевиках он, по-видимому, встречал более родственные души!..

Как-то в порыве откровенности я сказал ему, что мы с Ридом называем информационное бюро при посольстве сыскным бюро. Причиной тому послужили два примечательных разговора с сотрудником бюро Артуром Буллардом. В первом Буллард признался, что собирает сведения об одном из наших русско-американских друзей. Рассказывая об этом Робинсу, я подумал, не зашел ли я в своих признаниях слишком далеко, но его глаза засверкали, и он спросил:

— А во втором разговоре?

А во втором разговоре Буллард сказал мне, что питает огромное уважение к Ленину. Как он ни старался, ему не удалось обнаружить ни одного темного пятнышка в ленинском характере. И теперь он, Буллард, может лично поручиться за Ленина, как за «человека кристальной чистоты». С помощью английской, французской, итальянской и американской разведок он «через самое тонкое сито просеял всю биографию Ленина», залезал во все щели и закоулки и в конце концов вынужден был сдаться.

---

* Б. И. Рейнштейн (1866—1947) — в революционном движении принимал участие с 1884 года. Во время эмиграции в США работал в Американской социалистической рабочей партии. С апреля 1918 года — в партии большевиков. Работал главным образом в Коминтерне и Профинтерне.

Ни одного, даже самого крошечного факта вероломства или измены. «Ни одного, сэр! — сказал он с неподдельным изумлением, которое показалось мне отвратительным,— ни одного порочащего фактика»...

Слушая мой рассказ, Робинс еле сдерживал ярость. Не знаю, было ли ему известно о подобной деятельности Булларда. Возможно, и нет. Скорее всего это было дело рук Фрэнсиса или консула Саммерса.

Личность Робинса до сих пор окружена дымкой романтической загадочности — кстати, он сам любил напускать туман. Между тем ключ к его пониманию лежит, как мне кажется, на видном месте: Робинс прежде всего по природе своей был сугубо деловым человеком. И он, конечно, никогда не смог бы сделать состояние на Клондайке, если бы был человеком «не от мира сего» или только религиозным проповедником, хотя и обращенным в веру там, на Клондайке. Он был отнюдь не «блаженным», как очень скоро обнаружил Томпсон еще на пароходе, по дороге в Петроград. (Когда Томпсон узнал, что его бывший политический противник едет с ним на одном пароходе в составе миссии Красного Креста, он воскликнул: «Что?! Реймонд Робинс? Этот «блаженный», этот рузвельтовский горлопан? Какого черта ему здесь надо?») Первое, что подкупило Робинса в Ленине,— это деловитость. То, что премьер-министр, согласившись направить в Брест текст «Четырнадцати пунктов» Вильсона, не стал вызывать секретаря, а лично спустился в телеграфную комнату и продиктовал перевод, произвело на Робинса огромное впечатление.

При ближайшей встрече с Ридом я поспешил рассказать ему о реакции Робинса на беседу с Лениным.

Рид собирался домой. После роспуска Учредительного собрания я видел его только 7 января на вокзале, когда мы провожали Луизу Брайант и Бесси Битти. Теперь, 9 января, он пришел в бюро пропаганды, чтобы пополнить свое досье недостающими образцами нашей продукции. Мне хотелось пересказать Риду весь разговор с Робинсом, но он был в плохом настроении. Молча копаясь в груде бумаг, Рид выискивал среди них отдельные номера газет, листовки, прокламации, над которыми мы недавно работали и которыми втайне гордились. Однако сегодня эти призывы почему-то не казались нам такими волнующими, как несколько дней назад.

— Все-таки они нас не послушались и не восстали против своих хозяев,— произнес Рид, прочтя одну из листовок, и добавил: — А эти тевтонские псы-рыцари заявляют теперь в Бресте: «Ни к чему нам плебисцит — вот здесь стоят наши армии, здесь они и останутся».

Он со злостью отшвырнул ногой мусорную корзину.

— А ты мне толкуешь о Робинсе и о том, что он может сделать. Дело не в его искренности. Он вполне искренне хочет удержать Россию от подписания сепаратного мира. Этого же хотят и Сиссон* и Фрэнсис, поэтому на данный момент они и поддерживают Робинса. Но о чем, черт возьми, он может даже **говорить** с Лениным? Неужели он надеется получить от Вашингтона что-либо более ценное, чем пышные фразы Вильсона о демократии?

...Мрачное настроение Рида имело еще одну причину. Случилось так, что на следующее утро после роспуска Учредительного собрания Рид отправился вместе с красногвардейским патрулем охранять здание Народного комиссариата иностранных дел. В общем-то патруль был ни к чему, так как депутаты Учредительного собрания, покинувшие на рассвете Таврический дворец, не имели за собой никакой силы. Для Рида, однако, участие в патрулировании имело особое значение — он смог тем самым дать выход бешеному гневу против посольства, которое начало слежку за его женой. «Хвосты», время от времени преследовавшие его самого с момента приезда в сентябре, поначалу только слегка раздражали Рида, и он отмахивался от них как от назойливых мух. Но когда Луиза Брайант обнаружила, что и за ней установили слежку, она страшно возмутилась, а еще больше возмутился Джек.

Он считал, что Сиссону обязательно доложат, как он, Рид, с винтовкой за спиной шагал вместе с красногвардейцами перед зданием Наркоминдела, и очень обрадовался, когда на следующий день Сиссон вызвал его для беседы. Этот «газетный стервятник» повел разговор вполне официально. Он долго распространялся на тему о «хорошей семье» Рида, напомнил, что тот — питомец Гарварда, не забыл упомянуть, как болезненно воспринимает посол сообщения о подобных поступках. Неужели Рид не понимает, что большевики используют его имя в своих рекламных целях? Чудесно, если это так, ответил Рид. У него, правда, создалось впечатление, что большевики используют — кстати, с немалым успехом — более крупные имена и у себя в стране и за границей, судя хотя бы по недавним сообщениям газет о том, как два американца на завтраке у Ллойд Джорджа ** высоко отозвались о большевиках и встретили понимание хозяина.

Но если и он, Рид, нужен большевикам для рекламы, он надеется, что сможет быть им полезным.

---

* Эдгар Сиссон — специальный представитель Американского комитета общественной информации в России в 1917 году. В кругу друзей Джона Рида Сиссону было дано прозвище Хорек.

** Дэвид Ллойд Джордж (1863—1945) — премьер-министр Великобритании в 1916—1922 г.

Поджав побелевшие от злости губы, наш Хорек сдержанно, но твердо предложил Риду прекратить какую бы то ни было деятельность от имени большевиков и дать обещание не выступать на предстоящем Третьем съезде Советов. Рид ответил Сиссону, что глубоко тронут его заботой и воздаст ей должное. Никакого слова он, конечно, не давал, что бы там Сиссон потом ни рассказывал...

...Я пытался ответить Риду. Я действительно не знал, что конкретно мог предложить Робинс Ленину. Они много говорили об истинном христианстве, и Робинс, вероятно, попытается убедить Вашингтон, что с марксизмом можно успешно бороться, противопоставляя ему наглядное выражение братской христианской любви и ничего больше.

— Ничего больше! — фыркнул Рид.— Что ж, я ставлю на марксизм.

— А вдруг Робинс добьется своего! Ведь братская любовь может обрести реальность, например, в виде американских войск, контролирующих контрабандный вывоз продуктов и ценностей в Германию, или в виде офицеров, обучающих мобилизованных новобранцев Красной Армии, вроде тех молодых парней, что я видел в Михайловском манеже. Или, наконец, в виде продовольствия... ну и тому подобного.

— Ты это сам придумал? — заинтересовался Рид,— Об офицерах, войсках и тому подобном?

— Конечно, идея христианского подхода может потерпеть полный провал в Вашингтоне. В этом случае окажется, что Вашингтон видит в марксизме более серьезную силу, чем Робинс.

— Да, ситуация действительно по меньшей мере странная,— сказал Рид.

Он замолчал. В наступившей паузе мы задумчиво рассматривали заголовки лежащих перед нами газет и листовок: «Die Fackel» на немецком языке, «Nemzetko socialista» на венгерском, «Inainte» на румынском и нашей последней четырехполосной газеты на английском языке «Русская революция в фотографиях (январь 1918). Издание правительства Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», которая печаталась также на немецком языке («Die Russische Revolution in Bildern»).

Неожиданно Рид улыбнулся и взял в руки одну из наших самых удачных листовок. Полполосы занимало изображение здания германского посольства в Петрограде. Перед посольством стояла толпа, а над входом висел плакат. В нижней половине листовки был напечатан следующий текст:

«Вы видите большой плакат? На нем слова знаменитого немца. Чьи это слова? Бисмарка? Гинденбурга? Нет, это призыв бессмертного Карла Маркса к международному братству трудящихся — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Этот плакат не просто украшение германского посольства. Русские рабочие, солдаты и крестьяне подняли этот лозунг как знамя борьбы и тебе, немецкий народ, они возвращают слова, с которыми Карл Маркс, твой сын, обратился ко всему миру семьдесят лет назад.

Наконец-то создана подлинно пролетарская республика! Но она не может быть в полной безопасности, пока рабочие всех стран не возьмут власть в свои руки.

Русские рабочие, крестьяне и солдаты скоро пошлют социалиста послом в Берлин. А когда Германия пришлет интернационального социалиста в это здание германского посольства в Петрограде?»

— А я вот еду домой,— сказал Рид, запихивая в портфель газеты и листовки.— Так мне и не удалось увидеть, как русские перебрасывают нашу продукцию в немецкие окопы.

— Ну, а вдруг Ленин все-таки примет какую-нибудь помощь от Америки? Не для того, конечно, чтобы продолжать войну, а чтобы выжить и сдержать натиск немцев. Или это будет в твоих глазах не по-марксистски?

— Нет, почему же? Но я считаю, будет не по-марксистски ожидать, что Америка предложит какую бы то ни было помощь. Робинс — идеалист...

Говоря Сиссону о двух американцах, приглашенных в Лондоне на завтрак к Ллойд Джорджу, Рид имел в виду одного из партнеров дома Морганов Томаса У. Ламонта и Бойса Томпсона, которого Т. Ламонт называл своим «старым товарищем по школе и по бизнесу». Томпсон к моменту своего отъезда из Петрограда полностью поверил Робинсу и серьезно воспринял его слова, произнесенные еще в сентябре: «Худшую услугу, которую американцы могут оказать русским, будь то здесь, в России, или дома,— это потерять веру в ее будущее, глупо и упрямо поворачиваться к ней спиной».

От своего друга, корреспондента «Манчестер гардиан» Прайса * (ставшего потом и моим другом), Рид знал, что на Ллойд Джорджа возлагать особых надежд нельзя. И тем не менее сообщение о беседе Томпсона и Ламонта с Ллойд Джорджем могло создать впечатление, что Англия рассматривает вопрос о признании советского правительства хотя бы de facto.

---

* Филипс Прайс (род. в 1885 г.) — английский журналист и парламентский деятель. в описываемое время в России был корреспондентом английской либерально-буржуазной газеты «Манчестер гардиан».

Мне очень хотелось услышать мнение Робинса об этой лондонской встрече, а главное — узнать, что произошло потом в Вашингтоне, куда поспешили выехать Томпсон и Ламонт, с пожеланиями британского премьер-министра объединиться с Америкой в совместных, более дружеских акциях по отношению к большевикам. Но Робинс, несмотря на свою прямоту и простоту обхождения, сохранял определенную дистанцию, и я знал, что он мне сообщит только то, что захочет сообщить, и ни слова больше.

Мы были с ним в хороших отношениях, иногда он предлагал мне и Риду свою помощь или просил о мелких услугах, однако между нами лежала пропасть. И только невежественные чиновники американского посольства могли видеть или притворялись, что видят, нечто большее в наших отношениях. За несколько дней до моего разговора с Робинсом, о котором я рассказывал Риду, госдепартамент запросил Фрэнсиса о деятельности Рида. Это был результат доноса американского консульства, сообщившего в Вашингтон, что семья Ридов, покидая Петроград, возможно, «повезет с собой кое-какие бумаги». А после Третьего съезда Советов, на котором мы с Ридом выступали, советник посольства Дж. Батлер Райт отправил в Вашингтон якобы кем-то записанный текст речи Рида. Этот верноподданный чинуша не мог себе даже представить, что два американских корреспондента задолго до Робинса установили добрые отношения со Смольным, поэтому в своем донесении он, в частности, написал:

«(Рид) ...состоит на платной службе у большевиков, куда его устроил Робинс,— он составляет подписи к фотографиям о революции, а также готовит другие пропагандистские материалы для использования их в Германии». А Фрэнсис добавил от себя: «...так же как Рейнштейн, (Рид) используется Робинсом для пропаганды среди войск противника. Эти двое вместе с Альбертом Вильямсом — все трое американцы — стояли на посту у здания советского МИДа, по крайней мере об одном таком случае известно абсолютно точно...»

Очевидно, когда я разговаривал с Робинсом, он уже знал о том, что Ламонт и Томпсон, приехав в Вашингтон, потерпели фиаско. Вильсон даже не пожелал их принять. Однако они продолжали добиваться встречи, и Робинс это тоже знал. Кроме того, Робинс был природным оптимистом, если его и посещали какие-либо тайные предчувствия, он не всегда ими делился. Даже когда он писал жене (7—20 декабря 1917 г.): «Наша дипломатия ниже всякой критики... Я каждую минуту жду, что меня отзовут за мою деятельность»,— я уверен, что даже его близкие друзья не подозревали о подобных его настроениях. В том же письме Робинс писал, что он и Джадсон «ждут выговора». В разговоре со мной он говорил: «Старик (речь шла о после.— **A.P.B.**) так и не научился различать «анархистов» и «социалистов», «большевиков» и «эсеров». Но он по крайней мере не считает больше Ленина немецким шпионом».

Мысль о том, что два джентльмена с Уолл-стрита пытаются вызвать интерес к большевистскому правительству в высших официальных кругах Лондона, должно быть, прибавляла Робинсу новые силы.

За продолжительным завтраком на Даунинг-стрит, 10, Ллойд Джордж объявил себя «решительным сторонником попытки более активного сотрудничества с новым советским правительством». Он высказался в пользу «каких-нибудь реальных мер — даже если все шансы против,— которые могли бы помочь удержать Россию в войне». Он предложил послать для этой цели англо-американскую миссию, может быть даже двух-трех человек, и добиваться хотя бы сохранения Россией «сугубо оборонительной позиции».

На прощание Ллойд Джордж сказал: «Вы, наверно, немедленно поедете домой и встретитесь с президентом. Он полон либеральных идей и будет готов действовать со мной вместе». Эти слова еще звучали в ушах Томпсона и Ламонта, когда они ранним рождественским утром сошли в Нью-Йорке на берег. Им и в голову не могло прийти, что президент не захочет даже встретиться с ними. Но Вильсон отказался их принять. Тогда они направили ему меморандум. Некоторые пункты этого меморандума кажутся довольно двусмысленными: «Признание большевиков — вопрос несущественный. Главное — контакты... Это ни в коей мере не свяжет правительство. Комитет (предложенный Ллойд Джорджем.— **А. Р. В.**) займется выработкой условий. Он будет стремиться, действуя через все и всяческие круги, показать России, какую угрозу представляет для нее Германия».

Когда Томпсон, поощряемый некоторыми сенаторами и другими влиятельными лицами, вновь стал добиваться встречи с президентом, ему с серьезным видом сообщили, что у президента «насморк».

В итоге идея Ллойд Джорджа не имела иных последствий, кроме проектов двух посланий, составленных Робинсом и завизированных послом 20 декабря (2 января). Ни одно из них не было отправлено. В первом послании, как нам теперь стало известно, говорилось, что, если центральные державы откажутся заключить «демократический мир» и Россия «вынуждена будет продолжать войну», он, Фрэнсис, обещает, что будет добиваться от своего правительства «самой полной поддержки России», включая снаряжение для русской армии, продовольственные поставки, расширение кредитов и техническую помощь. Примечательно также заявление посла, что, если

русская армия «под командованием народных комиссаров» продолжит серьезные военные действия против Германии, он будет рекомендовать формальное признание правительства.

Во втором послании Фрэнсис, ссылаясь на достоверные источники, писал, что твердое обещание помощи со стороны Соединенных Штатов может решительно повлиять на большевистских вождей в случае провала мирных переговоров. Поэтому он считает своим долгом выделить представителей для связи со Смольным и через них заверить большевистских лидеров, что в случае продолжения войны он будет «рекомендовать американскому правительству оказание всяческой поддержки и помощи».

Рядом с этим на полях написано карандашом: «Полковнику Робинсу: «Это существо телеграммы, которую я отправлю в Госдепарт., как только получу от вас информацию о прекращении мирных переговоров и решении Советского правительства продолжать войну против Германии и Австро-Венгрии. Д. Р. Ф. 1/2/18».

10 января мы с Ридом снова были в Таврическом дворце, где пять дней назад заседало Учредительное собрание. Мы стояли в фойе и ждали Рейнштейна. Накануне Джек сказал мне, что нам придется тянуть жребий, кому из нас двоих выступать на съезде от имени американских товарищей. Я тогда предложил рассказать Рейнштейну о возмутительном требовании Сиссона, но Рид попросил меня не вмешиваться в это дело и предоставить все ему.

Конечно, кто бы из нас ни выступал, задача перед ним была нетрудной: обычное приветствие от социалистов Америки. Правда, в их рядах произошел раскол в вопросе об отношении к войне, так что мы представляли только одну, хотя и большую, часть.

— Сдается мне, что Хорек пронюхал о твоем назначении,— сказал я Джеку.

Незадолго до отъезда Луизы Брайант они с Ридом ходили в Смольный за разрешением ехать в Америку со статусом дипкурьеров. Это предохранило бы их багаж от обысков и потерь. И Рид, и Брайант везли большое количество блокнотов с заметками, сделанными за многие месяцы жизни в России, разного рода плакаты, газеты и документальные материалы, а Рид вдобавок собрал образцы листовок, прокламаций и газет, которые мы изготовляли для большевиков. Луиза сразу же получила такое разрешение, а Риду предложили более почетную должность — пост советского консула в Нью-Йорке.

Хотя сама эта идея вполне соответствовала характеру Рида и он с большой радостью принял предложение, мне с начала до конца все это казалось несерьезным.

— А откуда Сиссон может знать? — спросил Рид.

— Ты же сам поведал об этом половине американской колонии.

Одному из корреспондентов он, например, сказал: «Когда я буду консулом, мне придется, наверно, женить людей. А так как я ненавижу брачные церемонии, то буду просто говорить им: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Друзья Джека предостерегали его, говорили, что он обязательно попадет в тюрьму. Но на него это, по-видимому, не действовало: «Пусть тогда высылают,— отвечал он,— как высылают членов ИРМ *».

Наконец подошел Рейнштейн, и мы стали тянуть жребий. Судьбе было угодно, чтобы жребий выпал мне. Я чувствовал себя ужасно неловко. И совершенно напрасно: когда по порядку дошла очередь до приветствий иностранных гостей и я сказал свое слово, «недисциплинированный» Рид решил, что он тоже должен выступить, и выступил.

Представляя его аудитории, Рейнштейн не пожалел никаких красок, и это предисловие чуть ли не затмило само выступление Рида. Рейнштейн рассказал о предстоящем суде над Ридом и другими редакторами «Мэссиз», сравнил его с Карлом Либкнехтом и воодушевил зал до предела.

Когда Рид закончил и вернулся на место, он сказал мне:

— Дома нас никогда так не принимали.

Рида глубоко взволновал энтузиазм этих худых, изможденных людей, одетых в старые солдатские шинели и потертые рабочие куртки.

Собственно говоря, наши выступления нельзя было назвать речами в полном смысле слова. Это были обычные братские приветствия интернационалистов. Но я уже говорил, что в 1917—1918 годах некоторые слова и фразы несли в себе огромный эмоциональный заряд. Слова «Революция», «Советы», «Земля», «Мир» уже сами по себе немедленно встречали отклик у слушателей. Даже если оратору не хватало красноречия и глубоких мыслей, его все равно терпеливо выслушивали. Как я обнаружил еще в цирке «Модерн» и в Михайловском манеже, секрет «магнетизма» был в самом чароде: оратор мог пользоваться самыми избитыми фразами — аудитория превращала их в золото.

---

* ИРМ — «Индустриальные Рабочие Мира» — профсоюзная организация в США. В годы первой мировой войны заняла антивоенную позицию, ее лучшие деятели потом перешли в компартию США.

Наши речи были короткими и вряд ли отличались глубиной. Пользы от них во всяком случае было не больше, чем от случайного кочегара, который подбросил несколько поленьев в огонь.

Поэтому весьма странной выглядит попытка некоего почтенного американского историка придать этим речам большее значение, чем они на самом деле имели.

В одной из книг, вышедшей через сорок с лишним лет после Октября, в серии, посвященной американо-советским отношениям, этот историк уделяет нашим выступлениям около 650 слов и приходит к выводу, что Рид и я горячо верили в близкую революцию в США.

Так как приведенные автором цитаты не дают основания для такого вывода, то подразумевается, что этот вывод сделан на основании остального текста, который автор из экономии места не имел возможности опубликовать целиком. Он утверждает при этом, что пользовался переводом с русского на английский, обнаруженным в архивах американского посольства в Петрограде, и только слегка его отредактировал, чтобы сделать более грамотным. Однако цитаты, опубликованные ученым мужем, полностью соответствуют тексту, который был использован Сиссоном в книге, выпущенной всего через 13 лет после событий, и который, по его словам, был взят из газеты «Известия» за 11 января.

Таким образом, совершечно ясно, что в архивах посольства наш историк нашел тот же самый перевод из «Известий». Сиссон приводит полный отчет газеты о речах двух американцев и о вступительном слове Рейнштейна. Ни этот отчет, ни отчет в «Правде» от 12 января не дают пищи для каких бы то ни было домыслов.

Наоборот, оба отчета, хотя и изобилуют политическим жаргоном, вряд ли вышедшим из наших уст, тем не менее свидетельствуют об удивительной сдержанности наших переводчиков, если вспомнить при этом слова Воскова*, который по пути на Первый съезд Советов весело предупредил меня, что переводчики всегда склонны «заострять политический смысл». Даже Сиссон, писавший, что мы «запинались и заикались» на трубине и вообще представляли собой «жалкое зрелище», не усмотрел в наших словах веры в немедленную революцию на родине.

Для чего же понадобилось это Джорджу Кеннану?

Дело в том, что Сиссон, выпуская свою книгу за два года до того, как признание Советского Союза Америкой доказало правоту Робинса, не сообразил тогда, что лучший способ дискредитировать своего политического противника Робинса — это изобразить его романтиком и мечтателем, изолированным от профессиональных политиков вроде Саммерса и Фрэнсиса. А так как среди «романтиков», разделявших взгляды Робинса в 1917 году, оказались такие фигуры, как Томпсон и Джадсон, Ренсом и Прайс, Кеннану необходимо было спрятать их на задний план, выставив вперед Рида и даже его спутника.

Незадолго до отъезда Рида Рейнштейн дал нам конспект ленинских «Тезисов по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира», которые все еще не были опубликованы. Даже название было типичным для Ленина: никакого приукрашивания, никакого самообмана. Рейнштейн присутствовал на расширенном заседании петроградских большевиков 8 января, где были зачитаны эти «Тезисы», и считал ключевыми следующие положения:

Социалистическая революция в Европе должна наступить и наступит.

Тактика социалистического правительства не может строиться на попытках определить, наступит ли европейская, и особенно германская, революция в ближайшие полгода или не наступит... Такая тактика была бы авантюрой.

Надо решать вопросы не с точки зрения предпочтительности того или другого империализма, а исключительно с точки зрения наилучших условий для развития и укрепления социалистической революции, которая уже началась.

По словам Рейнштейна, самую сильную оппозицию Ленину составляла группа сторонников революционной войны, возглавляемая Бухариным. Ленин оказался в меньшинстве. «Но он не щадил даже тех, кто его поддерживал»,— добавил, улыбаясь, Рейнштейн. Ему нужна была поддержка, но не на основе оппортунизма...

Ленин мог при изменении обстановки изменить свою точку зрения. Но он никогда не подстраивался под обстоятельства, не приукрашивал фактов. Нет, товарищи должны прямо глядеть в лицо фактам...

Несмотря на наши метания и отступления, Джек и я к моменту его отъезда пришли к более или менее правильному пониманию брестской проблемы во всей ее сложности. Доказательством тому может служить письмо Рида Робинсу от 11 января, которое, хотя и не содержит прямых упоминаний о Бресте, тем не менее достаточно ясно показывает, что Рид не питал никаких иллюзий относительно намерений союзников. Я привожу это письмо еще и потому, что оно проникнуто достоинством, убежденностью, бескомпромиссной цельностью его натуры. Из него видно также, какое давление оказывали на Рида перед его отъездом на родину.

---

* С. П. Восков — участник революционного движения в России с 1904 г.

«Мой дорогой полковник Робинс, я много думал над всем тем, о чем Вы говорили.

Я знаю, Вы извините меня за откровенность, так как она вызвана глубочайшим к Вам уважением, верой в Вас и огромным восхищением перед Вами за то, что Вы сделали в России.

Разве я ошибаюсь, считая, что Ваши основные цели: во-первых, сокрушить немецкую аристократию и, во-вторых, способствовать законному величию Америки?

Что же касается меня, то я стремлюсь к установлению международной демократии снизу — и верю, что она может прийти только оттуда. Вы сами знаете, что у нас противоположные взгляды. Но мне кажется Вы неправильно судите обо мне, когда называете мой метод формулой «смирительной рубашки». Тем не менее...

Я думаю, что неожиданный интерес к большевикам со стороны союзников вызван их надеждой на то, что Россия вновь присоединится к ним в достижении их общих военных целей, которые, согласно Вудро и Ллойд Джорджу, все еще, если можно так выразиться, немного «эльзас-лотарингские». Союзники пока не хотят подлинно демократического мира, а немцы и тем более. Лично я не стал бы сражаться за что-либо меньшее, чем такой мир. Не стал бы даже трудиться.

Поэтому я не буду работать ни на одно союзное правительство, **если мой труд не будет одновременно способствовать делу международной демократии.**

В этой точке мы можем с Вами войти в некоторое соприкосновение.

Я согласен изложить те выдержки из речи Президента, которые согласуются с общими демократическими интересами. Я согласен на это не за деньги, не за добрые слова посла и т. п.

Я глубоко признателен Вам за все, что Вы для меня сделали, и буду еще больше благодарен за любые слова, которые Вы по своей доброй воле сможете сказать обо мне и которые покажут, что я ни за чьи деньги не продавался — ни за немецкие, ни за американские, что я служу только тому делу, в которое верю и которому готов принести любые жертвы, а если я и нарушил инструкции госдепартамента, то сделал это неумышленно. Мне бы также очень помогло, если бы «твердый воротник»* написал, что я не являюсь ни опасным террористом, ни немецким шпионом, каковым он представил меня в официальных донесениях своему и моему правительству.

Конечно, я был бы благодарен, если бы вы оба или кто-нибудь из вас смог, не кривя душой, заявить, что, когда я находился здесь, я всеми силами помогал демократии в борьбе против автократии — как германской, так и нашей собственной. Не надо только причислять меня к тем, кто служил интересам Соединенных Штатов или какого-либо другого капиталистического правительства, так как я никогда им не служил, по крайней мере сознательно...

Разрешите мне добавить, что я всегда буду помнить Ваше дружеское расположение, Вашу доброту и то, что Вы лично дали мне в долг эти деньги, когда я в них так нуждался, не требуя взамен никаких обязательств. Я думаю даже, что мне еще раз придется к Вам обратиться, и, верьте мне, это будет потому, что Вы мне друг — для которого я сделал бы и сделаю столько же, если когда-нибудь смогу,— а не потому, что хочу пить из Вас кровь.

Преданный Вам Джон Рид.»

Посол Фрэнсис решил принять меры, чтобы аннулировать назначение Рида советским консулом в Нью-Йорк. Дело было поручено Гамбергу, который, конечно, рад был услужить. Сиссон позже хвастался своей ведущей ролью в этой истории и заявлял, что Гамберг выполнял его задание. Я могу поставить под сомнение показания Сиссона именно в данном пункте. Хотя вообще Сиссону в этом деле действительно принадлежат все лавры: бывший газетчик, ставший проституткой и тайным агентом, он подстроил своему бывшему коллеге самую низкую, самую злую и гнусную пакость, какую можно себе представить.

Фрэнсис дал Риду письмо с указанием чиновникам паспортного управления и цензорам не трогать его бумаги, пока он не доедет до Нью-Йорка, где, как совершенно ясно говорилось в письме, их просмотрят самым тщательным образом. Совершенно очевидно, что Сиссон, как и большинство сотрудников американского посольства, знал о письме Фрэнсиса и о том, что все бумаги Рида будут проверены. Но Сиссону этого показалось мало.

Трудно даже представить какие-либо разумные мотивы, которые могли бы оправдать коварные ханжеские действия Сиссона. Во всяком случае, судя по его словам, опубликованным много лет спустя, ему доставляло странное удовольствие вспоминать, что именно он устроил задержку Рида в Христиании. Рид прибыл туда 19 февраля (русский календарь уже соответствовал западному). Пароход, на котором он должен был плыть в Нью-Йорк, отходил 22 февраля. Американский консул в Христиании сообщил ему, что получено распоряжение госдепартамента задержать его визу. Он не был под арестом — он просто не смог попасть домой раньше апреля, то есть сле-

---

* По видимому, Джон Рид имеет в виду посла США Фрэнсиса.

дующим кораблем. Рид снял комнату и начал писать «Десять дней, которые потрясли мир».

Не без злорадного удовлетворения Сиссон замечает, что вернулся в Штаты вскоре после Рида и нашел все его бумаги уже на своем рабочем столе. Каким образом он этого добился, Сиссон не объясняет. Он пишет, что изъял только документ о назначении Рида консулом, и добавляет, как будто с его стороны: это был акт подлинного великодушия, что вернул Риду его записные книжки.

«Рид был красивым и избалованным ребенком,— пишет он.— но боюсь, он так никогда и не вырос». Проливая крокодиловы слезы над судьбой Рида, он заключает: «Бедный, блестящий, несчастный Рид!»

Надо иметь огромную смелость, чтобы жалеть Рида, гораздо меньшую, правда, когда Рида уже нет в живых. Сиссон ждал до 1931 года.

Всем попыткам исказить образ Рида самый лучший ответ дает Льюис Ганет. Вспоминая свои встречи с Ридом в 1918 году, когда тот вернулся из России, Ганет пишет: «Он стал называть себя коммунистом. Некоторые старые его друзья говорили, что политика погубила в нем хорошего поэта. Это не совсем так. Политика, в особенности революция, и была для Джека Рида поэзией».

Примечательно, что Сиссон нигде не раскрывает, какими аргументами пользовался Гамберг, чтобы добиться отмены назначения Рида консулом, и вообще не говорит, как было выполнено это задание.

Однако в связи с тем, что почтенный историк Кеннан уделяет этому делу около шести страниц и ссылается на два документа, которые якобы «шокировали Ленина», я вынужден вступиться за человека, не нуждающегося в защите.

Откровенно говоря, я не считал бы столь важным разобраться в том, кто что сказал и почему, если бы вся эта история не поднималась на принципиальную высоту человеком, который, клевеща на Рида, оправдывает политику Соединенных Штатов Я — друг Рида. Вся эта история разворачивалась на моих глазах, и если я чего и не знал, то знал главное — что собой представляет Джон Рид. Поэтому я считаю для себя позором не ответить его клеветникам.

Рейнштейн рассказывал мне об одном «документе», который действительно был составлен Джеком для полковника Робинса по настоятельной просьбе последнего, и этот документ не надо было ниоткуда «добывать» — Гамберг мог совершенно спокойно взять его со стола Робинса.

Мне трудно сказать, когда именно Робинс обратился к Риду, помню только, что это относится к тому периоду, когда Рид и Брайант сидели на мели, то есть до того, как мы стали получать гонорар за подписи к фотографиям и составление листовок для отдела пропаганды Наркоминдела. Джек телеграфировал в «Мэссиз» с просьбой прислать хоть сколько-нибудь денег. И не получал никакого ответа.

Так как журнал всегда еле-еле сводил концы с концами, Джек решил, что на сей раз дело там было совсем плохо. Он еще не знал тогда ни о конфликте журнала с почтовым ведомством, ни о начавшемся следствии против редакторов журнала, в том числе и против него. Свои корреспонденции он вынужден был теперь отправлять простой почтой, а не по телеграфу. Однажды он в отчаянии воскликнул: «Что это за революционный журнал, который не может наскрести денег, чтобы оплатить телеграфную информацию о революции, какой еще не знала история!» А его товарищи по журналу не могли даже сообщить ему, что с ближайшей оказией они высылают ему мешок картошки, лука и мясные консервы.

Робинс и Томпсон задумали издавать при посольстве ежедневную официальную газету, ставившую целью ознакомление русского народа с Соединенными Штатами и борьбу против заключения сепаратного мира с Германией. В то время они были уверены, что добьются признания Советской республики сначала de facto, а потом и de jure В Петрограде выходило тогда несколько иностранных изданий, в том числе «Journal de Russie», «Entente» и газета на английском языке «The Russian Daily News».

Когда Робинсу понадобился человек, хорошо знающий техническую сторону газетного дела и умеющий составить макет или, по его терминологии, «проспект» будущего издания, он обратился к Риду, как к известному профессиональному журналисту с некоторым опытом издательской работы. Просьба Робинса поставила Рида в затруднительное положение. С одной стороны, он опасался, не является ли эта просьба замаскированной подачкой: ведь он так часто шутил по поводу финансовых затруднений «Мэссиз» и своих пустых карманов. А с другой стороны, у него были сомнения и принципиального характера. (Вопрос о том, чтобы Джек имел какое-нибудь отношение к этой газете по существу, не говоря уж о работе в ней, никому даже в голову не приходил. Меньше всего они хотели бы иметь у себя такого возмутителя спокойствия, как Джек, к тому же знали, что он никогда не пойдет к ним.) В конце концов Рид согласился сделать для Робинса техническую работу.

Насколько я мог понять, он должен был составить макет газеты, указать количество страниц, сделать эскиз первой полосы с образцами заголовков, размерами и типами шрифтов и т. п. Помню, он все переживал: а может, даже такая мелочь — нарушение революционной этики. Ведь каковы бы ни были декларации газеты, как бы ни

был узок круг ее читателей, она будет вести массы не в ту сторону. И так далее и тому подобное. Мне все эти разговоры начали надоедать, и, не вытерпев, я сказал Риду, что я лучшего мнения о массах, и посоветовал ему думать так же.

Однажды он сообщил, что к ним в номер только что заходил Робинс и забрал готовый макет. «А ты знаешь,— сказал он торжествующе,— я все-таки поставил подзаголовком: «Орган, выражающий интересы американского капитала!»

Помню, как смутилась и вместе с тем обрадовалась Луиза Брайант, когда после ухода Робинса она нашла под бумагами на столе тысячерублевую бумажку; они ее взяли, так как давно уже сидели без копейки.

Рейнштейн рассказал мне, что Гамберг принес Ленину документы, связанные с той самой газетой.

Я уверен, что когда Ленин слушал комментарий Гамберга к предъявленным материалам, ему и в голову не могло прийти, что в отношении Рида Гамберг — лицо небеспристрастное. К тому же Ленин тогда почти ничего не знал о Риде. Он узнал его позже, когда тот вернулся в Россию представителем только что созданной Коммунистической партии Америки. А когда Советы издали книгу Рида, Ленин написал к ней предисловие и дал ей высокую оценку.

О каких же «двух документах» говорит Джордж Кеннан?

Первый — это записка на девяти страницах, озаглавленная «Russische Tageblatt» и датированная 27 ноября 1917 года. На ней нет ни имени Рида, ни малейших указаний, что он имел к ней какое бы то ни было отношение. Напечатана записка не на ридовской машинке (во всех машинописных текстах Рида исправленные слова и буквы перечеркнуты долларовым знаком, здесь же нет никаких перечеркиваний, и вообще текст написан так аккуратно, что вряд ли мог выйти из машинки журналиста). Кроме того, документ ясно показывает, что речь идет о газете на английском языке, а не на русском, как утверждает Кеннан.

А главное, этот документ не содержит ничего шокирующего (как, впрочем, безобиден и второй, хотя, по словам Кеннана, именно от него «Ленин должен был подскочить»): в разделе «Декларация» говорится, что газета призвана «содействовать американскому бизнесу в России, дружбе и взаимопониманию между двумя народами». Заканчивается «Декларация» словами: «Газета безоговорочно признает право русского народа самому определять свою судьбу. Поэтому мы будем подчиняться всем законам, которые русский народ сочтет нужным принять. Мы не будем вмешиваться в политику России».

Второй документ, приводимый Кеннаном, озаглавлен «Краткий отчет». На первой странице вверху стоит имя Рида, и напечатан он на его машинке. Это обзор интервью, взятых им у левых эсеров и большевиков — членов правительства. Тема интервью — будущие торговые и деловые связи с капиталистическими странами, в особенности с Соединенными Штатами, и нигде разговор не выходит за рамки таких деловых связей, которые приветствовал сам Ленин. Кеннан выхватывает единственную неудачно сформулированную фразу, которую можно было бы неправильно истолковать, и пытается создать по ней впечатление, будто Рид предает дело рабочего класса (можно подумать, что это ужасно огорчает Кеннана!). Вот эта цитата:

«...Русское правительство готово признать необходимость установления ограниченного капиталистического государства в рамках социалистического...»

*Вряд ли «капиталистическое государство» имел в виду Рид, когда предупреждал, что любые капиталисты, которые захотят иметь дело с Россией, встретят здесь самое строгое проведение в жизнь законов о рабочем контроле над промышленностью, о конфискации и национализации природных ресурсов, об общественной собственности на землю, о национализации банков и вообще найдут здесь «самые строгие ограничения капитала». Иностранный и внутренний капитал может быть привлечен для строительства железных дорог, но и в этом случае «должно быть ясное понимание, что они через некоторое время перейдут под контроль правительства».**

Похоже это на предательство социализма, о котором так печется Кеннан? Интересно, что, отметив острую нужду в паровозах, запасных частях, в стали и чугуне, Рид добавляет: «Техники, механики и путейские инженеры не требуются»,— и подчеркивает эту фразу жирной чертой. В России достаточно своих опытных механиков и технических специалистов, сказал ему будущий комиссар железных дорог, «а если им потребуются новые или более опытные, они пошлют своих людей учиться в Америку или в Европу». Иностранные специалисты здесь нежелательны, писал Рид, так как они попытаются вести дела по-своему и «вступят в противоречие с новой силой, управляющей всеми делами России — контролем снизу» (подчеркнуто Ридом).

Со временем, когда принесет свои плоды государственный план агрономического обучения крестьян, продолжал Рид, потребуются сложные сельскохозяйственные машины. Сейчас же больше всего нужны простые орудия: лопаты, мотыги, плуги, бороны, топоры и, может быть, простейшие тракторы.

* Судя по этим цитатам, которые приводит А. Р. Вильямс, Джон Рид, очевидно, имел в виду не «капиталистическое государство», а госкапиталистические предприятия.

«Но прежде всего русский народ нуждается сейчас в продовольствии, особенно в консервированных продуктах, в обуви, одежде, тканях и в огромном количестве молока для детей — и все это нужно ему немедленно» (подчеркнуто Ридом).

На тот случай, если довольно любопытная трактовка Кеннана является результатом честного неведения относительно ленинской позиции, я напомню ему слова Ленина, сказанные им Луизе Брайант в интервью, которое, как помечено в архиве Джона Рида, было первым интервью Ленина после блокады.

«Еще в начале 1918 года я говорил американцам, и полковнику Робинсу в частности,— записано в интервью,— что в интересах Соединенных Штатов дружить с Советской Россией. Еще тогда я обращал внимание на желательность коммерческих отношений как для нас, так и для Америки. Мы предложили концессии иностранному капиталу. Американские деловые люди, прибывающие сейчас в Москву, согласны с нами. За пределами всех политических вопросов остается один простой факт: Америка нуждается в нашем сырье, мы нуждаемся в американских товарах».

■

Через несколько дней после отъезда Рида из Петрограда советская делегация прервала мирные переговоры и покинула Брест. Троцкий перед этим произнес громовую речь против германских империалистических интриг, заключив ее следующими словами: «Отказываясь подписать аннексионистский мир, Россия объявляет состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией со своей стороны законченным»...

Целые дни я проводил теперь в Смольном; взволнованные люди бегали взад и вперед по коридорам, близкие друзья ожесточенно спорили, корреспонденты, забыв о всякой объективности, открыто оскорбляли друг друга, и даже мои товарищи и учителя, русские американцы, всегда готовые раньше объяснить мне позицию Ленина, разделились на несколько лагерей. Настроения революционной войны все еще были сильны, сильнее, чем показывало голосование в ЦК. Янышев * твердо стоял за Ленина и с презрением говорил о людях, «настолько гордых, что предпочитают спустить революцию в водосточную трубу, чем запачкать ее компромиссом». Он опасался, что немцы начнут наступление на Петроград до того, как этот вопрос выйдет за пределы ЦК и будет обсужден всей партией.

Описывая обстановку в Смольном в те февральские дни, Жак Садуль **, в частности, пишет: «Люди, подобные Троцкому, обладают страшной силой самовнушения. Они убеждены, что немецкие братья не поднимут штыки против своих русских братьев, которые так благородно подставили им свою беззащитную грудь... Лихорадка в Смольном достигла критической точки. Одни горят в экстазе, другие находятся в состоянии шока. А у некоторых сердце обливается кровью. Это — реально мыслящие люди. Они, как и я, понимают, что завтра немецкие войска начнут наступление; радостное предвкушение легкой победы и богатой добычи придаст немцам двойную силу».

16 февраля генерал Гоффман *** сообщил в Петроград о наступлении. Садуль ошибся всего на пять дней. Наступление началось 18 февраля.

Приказ о выступлении был отдан еще тогда, когда советская делегация находилась в пути из Бреста в Петроград, однако, как пишет И. Дейчер ****, Троцкий «был настолько поглощен самим собой и созданным им идеалом, так заворожен верой в колоссальный эффект своих собственных действий, что просто не мог этому поверить».

Всю неделю, с 10 по 17 февраля, Центральный Комитет заседал почти круглосуточно. Немцы уже наступали, а в ЦК все еще не достигли единства.

Наконец вечером 18 февраля поступило официальное сообщение о наступлении, а ночью стало известно, что немцы двинулись на Украину. Большинством голосов (семь к пяти) ЦК принял решение вступить в контакт с немцами и, возобновив переговоры, предложить подписать первоначальные условия.

Борьба Ленина, длившаяся уже много недель, вступила теперь в новую фазу. Той же ночью решение ЦК было поставлено на голосование в Совнаркоме. Большевики, выполняя решение ЦК, все без исключения проголосовали «за». Резолюцию большевиков поддержали четыре левых эсера, хотя позже их партия объявила это голосование недействительным.

---

* М. П. Янышев — большевик, рабочий-ткач. В 1906 г. эмигрировал в Америку. Вернулся в Россию в 1917 г. Принимал активное участие в проведении Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. Позднее работал в Москве. Погиб в боях за Крым в июле 1920 г.

** Жак Садуль (1881—1956) — офицер французской армии, член французской социалистической партии. В 1917 году был командирован в Россию в качестве члена французской военной миссии. Позднее вступил во французскую секцию РКП(б). Участник I Конгресса Коминтерна.

*** Генерал Гоффман — начальник штаба Восточного фронта, наряду с министром иностранных дел Кюльманом возглавлял германскую делегацию на мирных переговорах в Брест-Литовске.

**** Исаак Дейчер — английский буржуазный историк и публицист.

В Брест-Литовск была срочно послана телеграмма. Но генерал Гоффман медлил с ответом, а немецкие войска между тем продолжали продвигаться вперед.

Четыре последующих дня прошли в каком-то кошмарном полусне. По городу ходили самые дикие слухи, но и от достоверных фактов легче не становилось.

Мне лично все дебаты казались теперь почти академическими. Я видел немцев в действии еще в начале войны и слишком реально представлял себе их гусиный шаг на Невском...

21 февраля я с жадностью прочел в «Правде» ленинскую статью «О революционной фразе» *.

Из полдюжины ответов Ленина на излюбленные аргументы сторонников революционной войны последний ответ заинтересовал меня больше всего, так как больше всего меня волновал. Ленин называл этот аргумент самой «бойкой» и самой «ходовой» отговоркой. Те, кто выдвигает этот довод, писал он, говорят: «Похабный мир есть позор, предательство Латвии, Польши, Курляндии и Литвы.

Но был ли бы мир на условии возврата «нам» Польши, Литвы, Курляндии **менее** позорным, менее аннексионистским. С точки зрения русского буржуа, **да.** С точки зрения социалиста-интернационалиста, **нет».**

Эти слова были как ушат холодной воды. Но он не оставил без внимания и союзников: «Взгляните на **факты** относительно поведения англо-французской буржуазии. Она всячески втягивает нас теперь в войну с Германией, обещает нам миллионы благ, сапоги, картошку, снаряды, паровозы (в кредит... это не «кабала», не бойтесь! это «только» кредит!)...

Англо-французская буржуазия ставит нам западню: идите-ка, любезные, воевать **теперь,** мы от этого великолепно выиграем. Германцы вас ограбят, «заработают» на Востоке, дешевле уступят на Западе, а кстати и Советская власть полетит... Воюйте, любезные «союзные» большевики, мы вам поможем!

И «левые» (унеси ты мое горе) большевики лезут в западню, декламируя самые революционные фразы...

Надо воевать против революционной фразы, приходится воевать, обязательно воевать, чтобы не сказали про нас когда-нибудь горькой правды: «революционная фраза о революционной войне погубила революцию» **.

Но ведь и на моей совести была одна революционная фраза! Подстегнутый этим воспоминанием, я решил действовать. Не просто действовать, а совершить определенный важный поступок.

Правда, тут же у меня возникли сомнения: а может быть, то, что я задумал,— непозволительная роскошь и мне надо спешить домой, чтобы делать свое настоящее дело — вместе с Ридом рассказывать американскому народу правду о России?..

На следующий день я пришел в Смольный и долго, ни к кому не обращаясь, в волнении ходил по коридорам. Мне не хотелось говорить даже с друзьями, которых я встречал. Им, впрочем, тоже было не до меня. Центральный Комитет снова заседал, и, как мне сказали, там снова разгорелся спор — на этот раз о том, принимать или не принимать помощь союзников (французов и англичан). Восков, которого я встретил еще на лестнице, сказал, что Ленина сейчас нет на заседании. Он ушел к себе и что-то пишет. Просил только занести в протокол, что подает свой голос **за** «принятие картошки и амуниции от англо-французских империалистических разбойников». И хотя Восков по брестскому вопросу не был в числе сторонников Ленина, он рассказывал это, сияя от удовольствия. Кажется, впервые за последние дни я рассмеялся:

— Как жаль, что Рида нет! Он бы это оценил. Ну, а серьезно, Восков, скажи мне, как ты можешь быть не на стороне Ленина?

Первый раз за все наше знакомство Восков посмотрел на меня сердито и покраснел. А потом довольно мягко, хотя и с некоторым отчуждением, не свойственным ему в отношении ко мне, сказал:

— Ты хороший парень, Альберт Давыдович, но есть вещи, которых ты просто не можешь понять. Может быть, со временем поймешь. Что бы там между нами ни было, мы всегда будем держаться вместе.— И усмехнувшись, добавил: — Даже если нас всех повесят на фонарных столбах — висеть мы будем вместе.

Я вышел из Смольного и в ближайшем киоске купил только что вышедший номер «Правды». В глаза бросился крупный заголовок: «Социалистическое отечество в опасности!». У меня до сих пор сохранился пожелтевший лист бумаги с английским переводом, который потом для меня сделали. Но еще тогда, когда я только открыл газету, я понял достаточно, чтобы укрепиться в своем решении. Все сомнения исчезли. Возвращаться в Америку было не время. С газетой под мышкой я бросился назад в Смольный и снова стал бродить по коридорам в поисках комнаты, где записывали добровольцев в Красную Армию. Я хотел сдержать слово, которое дал первым новобранцам Красной Армии, хотя тогда она еще так не называлась, в тот день, когда Ленин подсказал мне русское слово «вступить». Сегодня, через месяц с лишним, 22 февраля (9-е по старому стилю) настал именно тот час, когда я должен был «вступить».

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., изд. 5-е, т. 35.
** Там же, стр. 352—353.

Однако я испытывал некоторую неловкость. Мне хотелось сделать все как можно незаметнее. Сегодня после передовой статьи в «Правде» тысячи русских придут записываться добровольцами. Я не хотел спрашивать ни у кого из знакомых большевиков, где мне, иностранцу, можно записаться в Красную Армию.

Первый человек, к которому я обратился, по виду рабочий, решил, что я агитирую его записаться. Он ответил, что не боится умереть, если нужно, но разве Ленин не хочет заключить мир, разве придется все-таки воевать? А потом, чего это американский буржуй сует нос не в свое дело? Я поспешил ретироваться, преследуемый его громким голосом.

Отойдя как можно дальше, в другом коридоре я снова набрался храбрости и обратился к какому-то матросу. Я продолжал считать всех матросов своими друзьями. Матрос меня понял, спокойно кивнул головой, будто в мире не было ничего более естественного, чем моя просьба, сказал, что отведет меня туда, куда мне нужно, и пригласил следовать за ним. Так я попал в руки Бухарина. Я его, конечно, знал, хотя и значительно хуже остальных русских эмигрантов в Америке (он очень мало пробыл там), но он был последним человеком, к кому мне пришло бы в голову обратиться с подобной просьбой.

Однако отступать было поздно. Матрос коротко объяснил, что вот, мол, товарищ хочет защищать революцию, и ушел.

Бухарин тут же повел меня куда-то дальше, по дороге что-то горячо доказывая. Поглощенный мыслями о предстоящем событии, я сначала не очень внимательно прислушивался к его словам. Потом они вдруг стали выстраиваться в моем сознании, принимая все более определенную форму. Он говорил о революционной инициативе масс, о французской революции и о том, как восхищался Маркс революционной инициативой санкюлотов.

Я напомнил ему, что славная французская революция породила бонапартизм.

— Вот именно,— ответил он, открывая какую-то дверь и подталкивая меня внутрь. Мне не понравилось это его «вот именно». Не понял он или просто не обратил внимания на мои слова?

— Послушайте, Бухарин,— заторопился я, почувствовав, что меня хотят использовать как пешку в какой-то интриге.— Разрешите мне высказаться совершенно откровенно, чтоб была полная ясность. Я не теоретик, как вы. Конечно, вам очень легко разжигать революционный пыл рабочих — легко, когда желудок у них пуст, а надежды не стоят ни гроша, но...

Сначала я не обратил внимания, куда он меня привел, но теперь, заметив его самодовольную улыбку, огляделся и понял, что мы находимся в приемной Ленина. Я стал протестовать, заявил, что пришел в Смольный только за тем, чтобы записаться добровольцем в Красную Армию, что я не собирался идти к Ленину и не хочу, чтобы меня «подали» ему как представителя «железных батальонов» рабочих всех стран, готовых ринуться в бой на защиту Советов, если Советы откажутся подписать мир. Все время, пока я произносил эту речь, Бухарин крепко держал меня за руку как вещественное доказательство № 1 и с нетерпением ждал, когда откроется дверь в кабинет.

Конечно, я мог повернуться и уйти. Но вместо этого я, не отрывая глаз, смотрел, как медленно поворачивается ручка двери и чья-то рука, возможно рука Ленина, то поднимает ее вверх, то опускает вниз — очевидно, Ленин прощается с посетителем. Бухарин подвел меня вплотную к двери и, когда посетитель выходил, задержал ее, распахнул пошире и буквально втолкнул внутрь.

Я очутился в кабинете Ленина. Он подходил к столу. Можно представить себе его удивление, когда, обернувшись, он увидел перед собой непрошеного посетителя.

Я готов был провалиться сквозь землю и, пролепетав что-то о своем намерении вступить в Красную Армию, окончательно смутился. Что, если каждый доброволец, прежде чем записаться в Красную Армию, будет приходить к Ленину и сообщать ему об этом?

Пытаясь как-то выйти из положения, я назвал имя Бухарина, хотя в этом не было никакой необходимости. По лукавому огоньку, вспыхнувшему в глазах Ленина, я понял, что он заметил промелькнувшую в дверях фигуру Бухарина или по крайней мере догадался, что мое неожиданное вторжение как-то с ним связано. Ленин, конечно, понимал, что одна ласточка весны не делает и солидарность одного американца вовсе не означает, как это пытался представить Бухарин, будто пролетариат всего мира спешит на выручку русскому пролетариату. Ленин тоже рассчитывал на международную солидарность трудящихся, но она была еще где-то в перспективе, а немецкие войска рядом.

Он некоторое время продолжал развивать эту мысль.

Потом он сказал, что глупо превращать смерть за революцию в самоцель. Лучше жить для революции. Сохранить жизнь — вот главная цель. Если все умрут за революцию, то и революция умрет. Конечно, продолжал он, люди, симпатизирующие революции, в том числе вы, журналисты, представляете для нас скорее моральную ценность, чем военную.

— Но я рад, очень рад, что вы приняли такое решение.— Он посмотрел мне прямо в глаза, и я с облегчением отметил, что ни во взгляде его, ни в голосе не было ни малейшего оттенка иронии.

Тогда я напомнил ему свою клятву, произнесенную с броневика, и был очень обрадован, когда оказалось, что он все отлично помнит. Однако на этот раз мы продолжали говорить по-английски: у него было слишком мало времени, а я был слишком возбужден, чтобы пытаться говорить по-русски.

— Положение наше сейчас очень трудное,— сказал Ленин.— Старая армия воевать не хочет. Новая в основном еще на бумаге. Наши рабочие способны на великий героизм и на любые жертвы, но у них нет ни военной подготовки, ни военной дисциплины. Солдаты старой армии устали от войны, устали и физически, но дайте им немного передохнуть — и они снова будут хорошо воевать.

Этими короткими фразами он обобщил сложившуюся ситуацию, а потом добавил:

— Единственный выход, который я вижу,— это мир. Но Советы могут высказаться за войну. Во всяком случае, поздравляю вас со вступлением в революционную армию. После сражений с русским языком вы, наверно, достаточно подготовлены к сражениям с немцами.

Он окинул меня испытующим взглядом и, пряча в прищуренных глазах добрую улыбку, как бы между прочим сказал:

— Один иностранец много не навоюет. Может быть, вы найдете еще кого-нибудь.

Я ответил, что попробую сколотить небольшой отряд. Так родился наш интернациональный отряд.

В отличие от тех, кто произносил красивые слова о принципах непримиримости, Ленин деловито готовился к любой неожиданности. Он не упускал ни одной мелочи, которая могла бы пригодиться, не отмахнулся и от случайного американца, который в жизни своей не подстрелил ни одной белки. Сняв телефонную трубку, Ленин попытался соединиться с Крыленко *. Когда это не удалось, он взял перо и написал ему записку. Как оказалось потом, интерес Ленина к интернациональному отряду этим не ограничился, он продолжал следить за его формированием, с характерным для него умением предусматривать все детали. Взяв записку, я было поднялся, чтобы идти, но Ленин остановил меня и сказал:

— С немцами нельзя драться голыми руками, но нам, может быть, придется. Они могут не пойти на перемирие. Но мы сделаем все возможное, чтобы избежать столкновения сейчас. Крестьяне и так много воевали. И кроме того, немцев — чайниками не побьешь. (Советам катастрофически не хватало оружия и боеприпасов.)

Глаза Ленина смотрели на меня с дружеской теплотой, и этот взгляд навсегда запомнился мне. Потом он задумался и произнес еще несколько малозначащих, как мне тогда показалось, замечаний о бессмысленности войны.

Эти замечания, так же как и некоторые другие его слова, приведенные сейчас мною, не вошли в книгу о Ленине, опубликованную мною в 1919 году. Тогда, по возвращении домой, мне так много надо было рассказать и устно и письменно, а главное — рассказать немедленно, что я не мог рассказать обо всем сразу.

Но шли годы, и я все чаще вспоминал сдержанную страстность его простых слов, проникнутых такой горячей ненавистью к бессмысленной разрушительной силе войны:

— Какая трагедия! Какой парадокс! Подумать только! Социалисты участвуют в войне, организуют пожары и разрушения. Безжалостный враг взрывает дома и мосты — отступая, мы делаем то же самое. Несчастная Россия!

Я снова собрался уходить и в волнении не заметил, что, вставая со стула, уронил шляпу. Ленин быстро наклонился, поднял ее и машинально отдал мне. И никто из нас не увидел ничего необычного в том, что премьер-министр поднял шляпу, которую уронил неуклюжий корреспондент.

Было уже темно, когда я вышел из Смольного. На улицах, поднимая тревогу, выли сирены: немцы стояли у ворот Питера, угрожая гибелью любимому городу пролетариата.

Я замерз и хотел есть, но принятое и выполненное решение рождало в душе необыкновенное чувство приподнятости. Я стал теперь неотъемлемой частью революции, одним из защитников ее столицы. Я слышал слова Ленина: «С немцами нельзя драться голыми руками, но нам, может быть, придется». Горячая волна подкатила вдруг к сердцу. Как же, наверно, трудно и одиноко было ему, если в минуту такого острого кризиса он уделил мне столько времени... Впечатление это было явно ошибочным: как показали последующие месяцы — месяцы смертельной опасности,— партия и народ полностью его поддерживали.

23 февраля генерал Гоффман ответил, наконец, поставив новые, более тяжелые условия мира, чем те, первоначальные, которые русские согласились было принять. Предстояли новые бои в ЦК и в ЦИКе и еще более тяжелая неделя впереди, но Ленин все же нашел время дважды в тот день позвонить в редакцию «Правды». В первый раз проверил, печатается ли призыв о формировании отряда, и во второй

---

* Н. В. Крыленко (1885—1938) — член большевистской партии с 1904 года, видный советский государственный деятель. Делегат I Всероссийского съезда Советов. На II Всероссийском съезде Советов вошел в состав Совета Народных Комиссаров в качестве одного из руководителей Комитета по военным делам, позднее — верховный главнокомандующий. С 1936 года — нарком юстиции СССР.

раз попросил напечатать его не только на русском языке, но и на английском. Вечером того же дня текст появился в «Правде». (Позднее по распоряжению Ленина телеграф разнес по всей России более краткое и конкретное обращение, которое было переведено на пять языков.)

В момент, когда весь мир, казалось, рушился вокруг новой России, сам факт появления на первой полосе «Правды» английского текста «Призыва» представлялся нам огромной победой. Как все, связанное с интернациональным отрядом, «Призыв» в том виде, как он был опубликован в «Правде», отмечен в моей памяти соединением возвышенного и смешного. В типографии не нашлось полного набора английских шрифтов, поэтому слова набирались разными шрифтами, в зависимости от того, какие буквы можно было наскрести, а когда букв совсем не хватало, то в тексте зияли пропуски.

Под призывом стояли подписи: Альберт Вильямс, Самуэль Агурский, Ф. Нейбут (хотя Нейбута звали Арнольдом)...

Как я уже говорил, немцы продолжали наступать. Они не остановились, получив согласие русских на первоначальные условия, они не остановились даже тогда, когда русские за несколько часов до истечения срока ультиматума согласились, наконец, и на новые условия. Они не остановились, пока не дошли на севере до линии Нарва — озеро Пейнус — Могилев.

А Ленин между тем все еще не мог убедить своих товарищей в необходимости подписать мир.

Новые условия немцев были неизмеримо тяжелее старых.

Предъявив ультиматум, немцы дали на размышление сорок восемь часов.

Битва в ЦК разгорелась с новой силой. Эту битву Ленин наконец выиграл, но впереди ждало еще более серьезное испытание — испытание его как вождя народа.

23 февраля я уже по уши окунулся в организацию интернационального отряда, но тем не менее выкроил время, чтобы пойти в Таврический дворец, где происходило заседание ЦИКа. Мне не удалось остаться там до конца (решающее голосование происходило в 4.30 утра), но я смог во всяком случае почувствовать атмосферу происходящего. Члены ЦИКа начали собираться рано. Когда мы с Чарльзом Кунцем около 8 вечера прибыли во дворец, в фойе было уже полно народу, ярко горел свет, но как же все это было не похоже на то, что я видел здесь немногим больше месяца назад. Тогда, в дни Третьего съезда Советов, в особенности в день последнего заседания, здесь царили радость и оптимизм. Теперь люди стояли группами: одни молчали, не скрывая тревоги на лицах, другие громко и сердито спорили. Очевидно, никто не мог предположить, что немцы предъявят такие жесткие условия.

Однако теперь, после публикации ленинских статей, число его сторонников начало расти. «Тезисы» Ленина, которые завтра должны были появиться в печати, ходили сейчас по рукам и горячо обсуждались. Ни до этого, ни после не видел я людей в таком напряжении. Оно охватило поголовно всех. У некоторых был совершенно отсутствующий вид, и не один знакомый проходил мимо, глядя на меня невидящими глазами. При всем этом у меня не создалось впечатления, что сторонники революционной войны присмирели. Наоборот, я слышал, как некоторые эсеры и анархисты заявляли: ну и пусть немцы наступают, чем больше земли они проглотят, тем труднее им будет ее переварить; чем глубже в подполье уйдет революция, тем она лучше сохранится и больше ударов сможет нанести немцам в тылу. Кое-кто из большевиков продолжал доказывать, что принципиальность превыше всего, что, если нужно, они готовы умереть, но умереть как «настоящие революционеры». Я не сомневался в их искренности. Они действительно пошли бы на смерть.

Мы с Кунцем стояли в одном из дальних коридоров, надеясь встретить Ленина, хотя и понимали, что шанс был невелик. В ожидании Ленина мы пытались прикинуть результаты сегодняшнего голосования. Ленин выиграет, сказал Кунц. Мне не хотелось с ним спорить: как расчленение немцами России, так и продолжение войны было в равной степени ужасно, и я не мог себе представить ни то, ни другое. Я только сказал, что, если президент Вильсон не окажет Советской России хоть какую-нибудь помощь, она в конце концов истечет кровью...

В этот момент мы увидели Ленина. Он быстрым шагом шел по коридору по направлению к нам. Мы, конечно, понимали, что у него нет времени для пустых разговоров, а серьезного повода остановить его у нас не было, и тем не менее независимо друг от друга одновременно обратились к нему:

— Одну минуточку, товарищ Ленин.

Он сразу остановился и, как мне показалось, почти по-военному поклонился.

— На этот раз, товарищи, извините, я не могу с вами поговорить. Нет ни секунды свободной. Меня уже ждут в зале. Еще раз извините, пожалуйста.— Он опять поклонился, пожал нам руки и пошел дальше.

Но нам и этого было достаточно. Настроение резко поднялось, по крайней мере у меня. Профессор Кунц никогда не падал духом.

— Как он спокоен! — сказал я в изумлении. Кунц удовлетворенно хмыкнул.— И как вежлив! — продолжал я.— Убежден, что сегодня в Таврическом дворце это единственный человек, не потерявший выдержки.

— И острых зубов,— добавил Кунц,— которые будут тем острее, чем сам он будет спокойнее. Вот увидите.

Я не мог здесь дольше оставаться, так как военная дисциплина требовала вернуться в Мариинский дворец. Прайс, пробыв на заседании до самого конца, оставил яркое описание той бурной ночи: «Атмосфера была настолько накалена, что даже немногие зрители вроде меня испытывали те же душевные муки, что и члены ЦИКа... То я втайне надеялся, что осторожная политика Ленина восторжествует, то готов был кричать на весь зал, чтобы члены ЦИКа не подписывали этот мир и объявили западному империализму «священную войну».

Речь Ленина произвела большое впечатление. «Ни у кого не хватило храбрости ответить ему,— писал Прайс,— так как в глубине души каждый чувствовал, что Ленин прав».

Около пяти часов утра было решено провести свободное голосование, не обусловленное партийной дисциплиной. Подсчитали голоса: 116 проголосовали за подписание мира, 85 — против и 26 — воздержались.

Немцам немедленно была послана телеграмма. 3 марта Чичерин* и Сокольников** подписали мир, который подлежал ратификации Всероссийским съездом Советов. Немцы между тем продолжали двигаться на Петроград. Мы жили в ожидании ежечасной катастрофы. Но повсюду рабочие снова начали создавать красногвардейские отряды, и снова мы увидели, как к Балтийскому вокзалу потянулись колонны людей с ружьями за плечами, с лопатами, топорами и ножами. Вокруг Петрограда рыли окопы.

■

Около шестидесяти человек ответило на призыв служить красноармейцами в составе интернационального отряда, и, к некоторому моему облегчению, мало кто имел специальную военную выучку.

Когда я впервые сообщил Кунцу, что я теперь доброволец, в моем голосе звучала нотка самооправдания. Ради революции профессор, несомненно, пошел бы под пули, в тюрьму и на пытку, но ждать, что он будет готов убивать других, значило бы требовать слишком многого от этого сорокавосьмилетнего человека, который попал в революционную Россию прямо с птицефермы в Нью-Джерси, где он делил свое время между цыплятами, наукой и воспитанием многочисленных племянников и племянниц.

— Итак, профессор,— сказал я, приняв, как мне казалось, военную стойку,— теперь я вооружен не только симпатией, доброй волей и дружеским словом, а и винтовкой. Я вступил в Красную Армию.— Подозреваю, что вид у меня при этом был не столько героический, сколько беспомощный. Должен отдать справедливость Кунцу: насколько мне известно, никакие пертурбации в хаотическом беспорядке революционной арены, на которую он будто по космической случайности приземлился в самый канун Октября, не вызывали у него удивления. Не удивила и моя новость.

— Да,— сказал он спокойно,— бедные перепуганные дипломаты уже бегут с корабля, а богатые дамы готовят букеты, чтобы бросать к ногам победителей, когда они гусиным шагом пройдут по Петрограду. Пусть будет кто угодно, только не большевики! Ленин, конечно, прав, потому что видит все это с классовой точки зрения. Международный пролетариат заслуживает того, чтобы эта революция была спасена.— Потом, как бы вспомнив о чем-то, он добавил: — Я тоже вступаю в ваш интернациональный отряд.

— Но вы ведь пацифист,— невольно воскликнул я,— вы и клопа-то не смогли бы убить! — В голове промелькнули и другие мысли: о его возрасте, о его мягком характере, о плохом зрении. Наверно, лицо мое выражало ужас. Кунц ласково и чуть насмешливо взглянул на меня из-под очков и расхохотался. Я забыл, что я ведь тоже пацифист! Или по крайней мере был им.

Так мы стали красноармейцами-добровольцами и поступили в распоряжение Отдела формирования и обучения войск Всероссийской коллегии по организации и управлению Красной Армией. Мы старались подавать пример воинской дисциплины, хотя раньше не могли даже представить себя в такой роли. Профессор был тверд: «Сказав А, нужно говорить Б»,— весело шутил он. В ответ я щелкал каблуками, отдавал честь (ни то, ни другое не было принято в революционной армии) и признавал его логику неотразимой.

Отряд наш разместили в казармах гвардейского гренадерского полка, а для записи новых добровольцев отвели помещение на третьем этаже элегантного Мариин-

---

* Г. В. Чичерин (1872—1936) — советский государственный деятель, выдающийся дипломат. В 1918 году вступил в РКП(б). С 1918 по 1930 год — народный комиссар иностранных дел, возглавлял советские делегации на международных конференциях в Генуе и Лозанне.

** Г. Я. Сокольников (1888—1939) — член большевистской партии с 1905 года, с 1922 года — народный комиссар финансов, с 1926 года — заместитель председателя Госплана, позднее — заместитель народного комиссара иностранных дел. В 1925 году примыкал к «новой оппозиции», затем входил в объединенный троцкистско-зиновьевский блок.

ского дворца. За официальный язык приняли английский, хотя в отряде были люди самых разных национальностей, масштабов и разного склада характера. Если наш интернациональный отряд и не внес большого вклада в дело революции, то по крайней мере он послужил еще одним доказательством ее организационной силы, так как уже через несколько недель наша разношерстная компания была спаяна в довольно крепкую военную единицу.

Вскоре после того, как я принял решение вступить в Красную Армию, я счел необходимым сообщить об этом Робинсу. Моя новость не вызвала ни особой радости, ни огорчения. Он просто заметил, что мои шансы отправиться на тот свет значительно увеличились.

— Однако после всех ваших подвигов вам ничего другого не остается,— сказал полковник и, сверкнув темными глазами, добавил: — По крайней мере это будет вызовом буржуазии, которая до хрипа в горле кричала, что с немцами надо воевать до победного конца, а теперь, когда немцы подошли на расстояние пушечного выстрела, вы идете отгонять их от Петрограда, а буржуазия бежит к вокзалам...

Фрэнсис и большая часть состава американского посольства переехали в Вологду. Робинс, Гамберг и остальные сотрудники Красного Креста выехали вместе с ними. В течение последующих недель туда перебрались и другие посольства. Англичане благополучно вывезли своих людей через Финляндию, оставив в Петрограде Локкарта* с несколькими сотрудниками. Вологда стала шумным городом, переполненным нервными дипломатами. Офицер итальянского генерального штаба Ромеи, приехав туда с коротким визитом, сказал Локкарту: «Если всех этих союзных представителей сварить в одном котле, тщательно перемешивая, все равно ни капли здравого смысла из этого варева не получится».

Я был уверен, что Робинс там долго не задержится и скоро вновь появится на петроградской сцене: не в его характере сидеть в прохладном месте и студить подошвы.

Не могу сказать точно, в какой день он вернулся в Петроград. По свидетельству Локкарта, Робинс позвонил ему из Вологды и сообщил, что, по всей вероятности, Фрэнсис на следующий день отправится домой через Сибирь, но что если Локкарт получит от Ленина хоть одно обнадеживающее слово, Робинс не только останется сам, но и постарается уговорить посла...

1 марта Локкарт впервые беседовал с Лениным, и тот сказал, что они, пожалуй, рискнут на сотрудничество с союзниками.

Таким образом, по крайней мере к 5 марта, то есть через два дня после подписания Брестского договора, Робинс уже был в Петрограде и получил от русских условия, на которых они могли бы принять помощь. Собственно, это были не условия, а вопросы. Русские хотели знать, как поведут себя США и союзники, в случае если съезд Советов откажется ратифицировать Брестский мир, или немцы возобновят наступление, или если действия немцев вынудят Советское правительство разорвать Брестский договор. Правительству важно знать: могут ли они рассчитывать на поддержку США, Англии и Франции, какую поддержку они смогут получить и какие шаги предпримут США и союзные державы, если Япония захватит Владивосток и Восточно-Сибирскую железную дорогу?

Ленин, по словам Локкарта, сказал ему, что в случае германской агрессии он даже готов будет принять военную помощь, хотя и убежден, что английское правительство никогда на это не пойдет.

Нет никакого сомнения, что Робинс и Локкарт надеялись на согласие своих правительств. Локкарт немедленно телеграфировал в Лондон, настаивая на предложении помощи России.

Робинс принес свое сообщение военному атташе в Петрограде, чтобы поскорее передать его в Вологду. Приехав 8 марта в Вологду, он узнал, что его сообщение лежит нерасшифрованным, так как оба сотрудника, знавшие код, были отправлены послом в Петроград в Смольный с заверениями, что «в случае организации серьезного сопротивления» он «будет рекомендовать моральное и материальное сотрудничество». Тот факт, что эмиссары Фрэнсиса в Петрограде обещают помощь русским, успокоил Робинса, и он, отдав Фрэнсису оригинал своего сообщения, поспешил в Москву к открытию Четвертого съезда Советов.

Один из эмиссаров, Раглз, находясь в Петрограде, узнал о вопросах, сформулированных Лениным, и, не подвергая ни малейшему сомнению искренность заверений Фрэнсиса, послал по военным каналам решительную телеграмму в Вашингтон, в которой рекомендовал дать немедленно положительный ответ на эти вопросы.

А между тем посол не торопился передавать вопросы в Вашингтон; 9 марта он только составил краткое изложение их, но и тогда, как отмечает профессор У. Уильямс,

---

* Роберт Гамильтон Локкарт — английский дипломат, с января 1918 года возглавил специальную английскую миссию при Советском правительстве. Один из руководителей и организаторов белогвардейских заговоров и террористических актов.

«даже тогда он не отметил необходимости быстрого ответа и не подчеркнул важности этих вопросов». Когда они в отредактированном виде достигли Вашингтона (15 марта), ответы уже были не нужны.

В моей памяти марш интернационального отряда по Невскому проспекту на пути к Московскому вокзалу всегда ассоциируется с огненно-красным небом, хотя скорее всего петроградское небо в тот сырой мартовский день было свинцово-серым. Наверно, это было отражением моего тогдашнего восторженного состояния.

И все-таки я всегда вижу перед глазами пурпурное небо и бегущие по нему грозовые облака.

Профессор Кунц, шагающий рядом со мной с винтовкой за плечами (мы наконец получили оружие, хотя форму нам еще не выдали), был необыкновенно трогателен, сам вид его возбуждал во мне чувство силы и уверенности.

Если Революция смогла даже из него сделать солдата, она способна на все...

Состав подали только к ночи, и мы, расположившись в темных вагонах прямо на полу, попытались уснуть. Половину ночи наш состав переводили с одного пути на другой, толкали взад и вперед, сцепляли и расцепляли, но наконец колеса застучали быстро и равномерно, и мы заснули. Проснувшись на рассвете оттого, что поезд стоял, мы бросились к дверям, ожидая увидеть московские купола, но вместо этого перед нами на горизонте виднелись знакомые силуэты петроградского неба. Только с другой стороны города. Таким образом мы за ночь отодвинулись от Москвы на целых пять миль.

Наш товарищ-итальянец схватил винтовку и с возгласом: «Саботаж! Измена!» выскочил из вагона, грозясь пристрелить начальника станции или диспетчера. Остальные, хотя и не последовали за ним, громко выражали свое возмущение и гнев. Один Кунц сохранял полнейшее спокойствие; пожав плечами, он заявил, что саботаж и измена вполне вероятные «явления кризиса», но революция все равно победит, и больше того — мы даже попадем в Москву. Через некоторое время мы действительно были в Москве, где наш отряд получил в свое распоряжение великолепное здание.

По сравнению с Петроградом жизнь в Москве казалась спокойной. Я жил в удобном номере гостиницы «Националь», в нескольких шагах от комнаты, где разместились Ленин с Крупской. Когда я вступал в интеротряд, то был готов к тому, что придется жить в дощатых, продуваемых всеми ветрами бараках. поэтому, попав в гостиницу, чувствовал себя несколько неловко. К этому примешивалось еще и чувство недовольства — никто не призывал нас к действию. Это был период создания Красной Армии, основной упор делали на организацию. Меня назначили уполномоченным по организационным вопросам, посадили за письменный стол в штабе отряда, и я занялся совсем не тем делом, на какое шел, записываясь в Красную Армию. Зато в этот период я почувствовал, что Ленин стал проявлять интерес ко мне с новой стороны. Возможно, он тоже испытывал некоторое беспокойство. Мне, конечно, хотелось думать, что, услышав о задержании Рида в Христиании, Ленин пожалел, что не поговорил с ним лично, этим и объясняется его неожиданный интерес к другому американцу. Не знаю, каковы были истинные причины, но только Ленин предложил сначала Борису Рейнштейну, а потом и мне организовать небольшой кружок из пяти-шести человек для изучения марксизма.

— Вы, кажется, имеете уже некоторое представление о нашем языке, нашем народе и нашей революции,— сказал он мне однажды мимоходом.— А как насчет теории революции, идей, которые за ней стоят? А что, если бы вам собрать вокруг себя несколько человек, которые смогли бы уделить пару часов два-три раза в неделю на изучение Маркса? — И добавил: — Если вы захотите, я мог бы приходить к вам иногда посмотреть, как идут дела.

Мне казалось невероятным, чтобы он серьезно мог думать о возможности выкроить несколько часов в неделю на занятия с полудюжиной учеников, когда перед ним стояли такие проблемы, перед которыми отступили бы десять глав государств. Однако дня через два я узнал, что он, прежде чем говорить со мной, обсуждал этот вопрос с Рейнштейном, а после нашего разговора опять интересовался, какой отклик встретило его предложение.

Спустя шесть лет, в 1924 году я пытался объяснить сестре Ленина Анне Ильиничне, почему я не ухватился за возможность изучать Маркса под руководством Ленина. У него и без того было столько забот, что под их тяжестью мог сломиться любой смертный, говорил я. Как же я мог со спокойной совестью наваливать на него еще одну заботу? Но Анна Ильинична, так же как прежде Рейнштейн, не видела ничего необычного в ленинском предложении. «Для него это было бы не заботой, а отдыхом,— ответила она.— Вы совершенно напрасно переживали на этот счет. Занятия с группой дали бы Ильичу приятную возможность отвлечься от всяких забот и проблем, так как кроме всего прочего он страстно любил преподавательскую деятельность».

Тем не менее я ответил Рейнштейну отрицательно. Может быть, в этом сказалась типично американская неприязнь к теории вообще, отчего сама идея марксист-

ского кружка в разгар революции показалась мне абсолютно чуждой. Вполне возможно. Меня поразила тогда эта типично русская вера в первостепенную важность учения даже в момент, когда оставались еще нерешенными основные вопросы революции, вплоть до вопроса о ее существовании. Россия, смертельно усталая и голодная, стояла на краю гибели.

— Неужели Ленин не может подождать по крайней мере до окончания кризиса? — воинственно спросил я Рейнштейна, когда он как-то снова завел разговор о кружке.

— Да видишь ли,— ответил он,— мы еще долго будем в состоянии того или иного кризиса.

Ленин, вероятно, предупредил Рейнштейна, что ко мне нужен терпеливый и осторожный подход, и все разговоры на эту тему поднимались как бы между прочим. Деликатность и чуткость Ленина позволяли ему быть снисходительным к ошибкам, слабостям и сомнениям человека, если этот человек был честен. Очевидно, это распространялось и на малозаметного американского журналиста-социалиста, даже когда Ленин настойчиво добивался от Рейнштейна, чтобы тот уговорил меня заниматься.

Однажды я спросил Рейнштейна, почему такой интерес именно ко **мне,** ведь есть же много других, которым это нужно. Борис в растерянности опустил глаза, потом посмотрел на меня, улыбнулся и мягко сказал:

— Товарищ Ленин думает, что у тебя, возможно, нет полного понимания теории и тактики большевизма.— И, помолчав немного, стал объяснять, что всякий интеллигент, связавший себя с борьбой рабочего класса, подвержен разным слабостям и колебаниям, если не имеет под собой прочной теоретической базы.— Это, конечно, мое личное объяснение,— поспешно добавил он.— Просто Ленин в разговорах с тобой почувствовал... обнаружил у тебя кое-какие пробелы в..

Я рассмеялся, похлопал его по плечу и заверил, что я нисколько не обижаюсь и он может не выбирать слов, Ленин более чем прав.

— У меня самое поверхностное представление о марксизме. Возможно, я знаю больше рядового члена американской социалистической партии, но это ровным счетом ничего не значит.

И все-таки я опять не дал Борису положительного ответа. Этим дело и кончилось.

Ни в беседах, которые вел со мной Рейнштейн, ни в двух разговорах с Лениным по поводу занятий марксизмом ни разу не всплывало какое-нибудь другое имя. Возможно, идея кружка возникла у Ленина из-за меня. Если бы я согласился, пригласили бы еще несколько человек. В то время мне и в голову не могло прийти, что моя персона была настолько важна. Но, очевидно, Ленину, проявлявшему неизменный интерес к Америке, было очень важно, чтобы я занимался в этом кружке.

Как бы там ни было, я лишний раз убедился в том, что Ленин делами показывал людям, что думает и заботится о них. В 1907 году в Лондоне он проверял, не сырые ли простыни в номере у Горького, зная, что у того слабые легкие. Когда он увидел, что мне не хватает знания русского языка, он пришел мне на помощь, а потом дал совет, как побыстрей его выучить; он проявил интерес к нашей работе в бюро пропаганды; а теперь он увидел, что мне не хватает теоретической подготовки.

Однако меня, как литератора, интересовали не теория и формулы революции. Я присутствовал при ее рождении. Я видел, как зашевелился и очнулся от сна веками спавший народ-гигант, видел, как поднялись обездоленные и униженные, видел могучую поступь масс. Я хотел писать о непобедимом духе революционного народа и прежде всего о том, что мне казалось невероятным — о новом взлете революционного энтузиазма, последовавшем после агонии и позора Брест-Литовска, когда была организована Красная Армия и Ленин бросил в бой лучшие силы партии — молодых большевиков.

Зачем мне было знать, какая наука стояла за этим? Мне достаточно было того, что́ я видел и о чем хотел рассказать своему народу. В последующие годы, когда мои друзья узнали, что я упустил возможность заниматься под руководством Ленина, мне пришлось выдержать самую резкую и суровую критику. Наверно, мои критики были правы. Однако Ленин отнесся ко мне добрее; в личных вопросах он никогда не выступал судьей других. Он был самым цивилизованным и гуманным человеком, какого я когда-либо встречал, и если внимание к другому есть вежливость — то и самым вежливым.

■

На Первом и на Третьем съездах Советов я был скорее участником, чем репортером. На Четвертом — не был ни тем, ни другим. И этому я был очень рад — никогда я не чувствовал себя менее подходящим к роли репортера. Четвертый Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов, открывшийся в Москве 14 марта — через два дня после переезда правительства в старую столицу,— созывался ради решения одного-единственного вопроса. На приветствия от международного пролетариата времени не было, чему я также был очень рад. Рад, что не придется краснеть от стыда. В тот момент я не испытывал особой гордости за этот пролетариат.

Теперь я был бойцом интернационального отряда, но сидел все-таки вместе с репортерами на балконе для прессы и смотрел вниз, в зал бывшего Благородного

собрания, где среди величественных мраморных колонн, отражавших свет роскошных хрустальных люстр, разворачивалось последнее действие брест-литовской драмы.

На съезде присутствовало шесть оппозиционных групп, каждая предлагала свое решение вопроса, у каждой была заготовлена своя резолюция, и каждая считала ратификацию мирного договора невозможной. На Ленина нападали с разных сторон, не стесняясь в выражениях и, наверно, больнее всего было ему слышать нападки старого товарища по борьбе Мартова *, который, выступая главным представителем от меньшевиков, в частности, сказал: «Если этот договор будет ратифицирован, российский пролетариат начнет войну против правительства. Этот договор — начало раздела России... По договору мы обязуемся не проводить никакой пропаганды в странах Центральной Европы. Я поздравляю Ленина! Теперь он находится под защитой не только Красной Гвардии, но и кайзера Вильгельма. Совет народных комиссаров должен уйти в отставку, уступив место правительству, способному порвать этот документ и продолжать войну против империализма».

Наблюдая за делегатами, я пытался оценить их реакцию и определить по одежде, откуда они прибыли. Я совсем не был уверен, что Ленин победит: слишком еще сильны были чувства протеста против условий Брестского мира. Дебаты длились целых три дня. 17-го нужно было дать ответ, и, если съезд не ратифицирует договор, немцы возобновят военные действия...

■

В своей книге о Ленине Эдмунд Уилсон, рассказывая о расколе социал-демократической партии после Второго съезда, писал: «В ленинской полемике... нет ни ядовитости, ни личных выпадов. Как борец, он был непримирим, но как человек — прежде всего добродушен». Исходя из всего, что я знаю о Ленине, могу подтвердить, что это правда. На все эмоциональные взрывы и оскорбления со стороны оппонентов он всегда отвечал по существу дела, не касаясь личностей, на самом высшем уровне убедительности.

Вот и сейчас, на Четвертом съезде он говорил в таком же тоне. Ни одного слова упрека не бросил он в адрес товарищей по руководству, которые своим упорным сопротивлением договору дали немцам возможность продиктовать еще более жесткие условия. Основа разногласий в среде советских партий заключается в том, сказал он, что «некоторые слишком поддаются чувству законного и справедливого негодования по поводу поражения Советской республики империализмом, слишком поддаются иногда отчаянию... и пытаются ответить относительно тактики революции на основании непосредственного чувства» **.

Мне вдруг впервые пришло в голову, что не только Восков, Петерс, Луначарский и другие знакомые большевики не были уверены, что им удастся выдержать, но и сам Ленин не был в этом уверен. Старая армия полностью разложилась, новую еще надо было создать. Советы могут быть уничтожены прежде, чем начнется революционная война. Для оптимизма не оставалось места. Даже буржуазные корреспонденты, заразившись настроением зала, выглядели мрачными и озабоченными. После выступления Ленина прения разгорелись с еще большей силой.

Все эти дни в зале и в кулуарах съезда маячила знакомая фигура полковника Робинса. То он привидением бродил взад и вперед по коридору, то, сидя рядом с трибуной, горящими глазами впивался в очередного оратора. Большинство дипломатов и служащих союзных посольств, сбившись от страха в кучу, прятались в далекой Вологде. Иностранцев на съезде почти не было, и Робинс торчал у всех на виду, как больная мозоль.

Я в то время не знал ничего определенного о вопросах Советского правительства, переданных, как рассчитывал Робинс, лично президенту Вильсону, а Робинс не знал, что они попали в Вашингтон с большим опозданием и в изуродованном виде. Я поймал себя на том, что впервые так внимательно изучаю лицо Робинса. Мне, конечно, было известно, что он даже сейчас всей душой надеется на отклонение Брестского договора, хотя еще в феврале, когда дебаты вокруг мирных переговоров только начались, он сам мне сказал, что идея мира встретит огромную и безоговорочную поддержку среди крестьян и что только для интеллектуалов этот вопрос представляется таким сложным.

Робинсу с большим трудом удалось добиться доверия Ленина и других большевиков, и он был единственным человеком, который давал американскому правительству объективную информацию о России на протяжении почти всего послеоктябрьского периода. Однако все это время и американское правительство и союзники занимали

---

* Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум) (1873—1923) — член петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», основанного под руководством Ленина. Позже — один из лидеров меньшевизма. После Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года возглавлял группу меньшевиков-интернационалистов. В 1920 году эмигрировал в Германию.

** В. И. Ленин. Полн. собр. соч., изд. пятое, т. 36, стр. 92.

такую позицию, будто того правительства, с которым Робинс так тесно общался, не существовало в природе.

В отличие от Локкарта, Робинс не мог даже иметь прямую связь со своим правительством. Чтобы послать телеграмму в Вашингтон, ему приходилось долго обрабатывать Фрэнсиса (телеграммы могли идти только за подписью посла), и часто, изложив точку зрения Робинса, Фрэнсис добавлял свои, совершенно противоположные выводы.

Я знал, что ратификация договора будет для Робинса горьким разочарованием. Но в его лице и во всем его поведении я видел сейчас нечто большее, чем предчувствие неудачи. И пытался угадать, что еще его мучит. Мне захотелось подойти к нему и поговорить, но я удержался. Робинс был не из тех людей, которые делятся своими неприятностями.

Кое о чем я мог догадаться, когда стали читать телеграфное послание съезду от президента Вильсона. Но, очевидно, не только это угнетало Робинса.

Один из ранних комментаторов событий 1917—1918 гг. в России Этьен Антонелли *, характеризуя политику союзников того периода, писал, что, столкнувшись с непредвиденной ситуацией, когда большевики не исчезли через несколько недель после Октября, дипломатия Антанты заняла своеобразную, с юридической точки зрения, позицию. «Союзники считали большевистское правительство несуществующим... Но другого правительства не было. Поэтому они стали рассматривать Россию как страну, никем не управляемую, как территорию для международной колонизации. Они обращались к русскому народу, как какой-нибудь лорд Бугэнвилль обращался бы к туземцам островов Южных морей... Они высаживали экспедиционные войска, вели открытую войну, но не считали себя в состоянии войны.

Более странной и фальшивой ситуации в отношениях между цивилизованными нациями трудно было себе представить. Россия для Антанты была не союзником, не врагом и не нейтральным государством».

Вильсон был первым из глав Антанты, кто обратился непосредственно к народу России. Но в своем ослеплении этот «мессия» не понимал, что, обращаясь через съезд Советов, созванный народным правительством, он тем самым обращался к высшему органу власти в России.

Со времен Парижской коммуны это было, пожалуй, самое зрелое в политическом отношении собрание представителей народа, взявшего власть в свои руки. Делегаты рабочих и крестьян всей России — от Одессы до Мурманска, от Владивостока и Иркутска до западных границ страны — спокойно выслушали короткое послание президента. Единственные слова, имевшие для них какой-либо смысл — а в нем они очень быстро разобрались,— были: «Правительство Соединенных Штатов в настоящий момент, к сожалению, не в состоянии оказать прямую и эффективную помощь, которую оно желало бы оказать...» Все остальные фразы о возможной помощи в будущем, о восстановлении «великой роли» России среди других народов и т. д. оставили их совершенно равнодушными. У Ленина был заготовлен черновик ответа. Свердлов быстро прочел его делегатам и сказал, что принимает их аплодисменты (довольно жидкие!) за согласие послать этот ответ от имени съезда. В ответе говорилось: «Съезд выражает свою признательность американскому народу и в первую голову трудящимся и эксплуатируемым классам Северо-Американских Соединенных Штатов по поводу выражения президентом Вильсоном своего сочувствия русскому народу, через съезд Советов, в те дни, когда Советская Социалистическая Республика России переживает тяжелые испытания» **.

Покончив с этим вопросом, делегаты сразу же вернулись к тому, что сейчас их больше всего волновало,— к мирному договору. Я забыл про Вильсона.

Голосование состоялось поздно ночью 15 марта. За «разбойничий мир», как его часто называл Ленин, проголосовало 784 человека, против — 261, воздержалось — 115. Среди воздержавшихся был Бухарин и его группа революционной войны.

Во время дебатов казалось, что Ленин был почти в одиночестве, по результатам голосования он победил с соотношением более чем два к одному. В такой ситуации победа была внушительной. Надолго или нет, но народ получил «передышку», в которой он так нуждался. Еще раз подтвердилась гениальная способность Ленина читать мысли народа и понимать, чего он хочет.

Незадолго до голосования я видел (да и все в зале могли это видеть), как Ленин с Робинсом обменялись несколькими фразами. Ленин подозвал к себе Робинса, а когда тот подошел, улыбнулся ему и о чем-то спросил. Улыбка его была чуть-чуть насмешливой, но вместе с тем ободряющей. Он смотрел на Робинса, слегка склонив голову набок, как он обычно делал, слушая собеседника. Лица Робинса я не видел: он стоял ко мне спиной. Когда, закончив разговор, Робинс возвращался на место, Ленин уже без улыбки проводил его взглядом, в котором, как мне показалось, промелькнуло сострадание, потом лицо его приняло выражение твердой решимости, и он направился к трибуне.

---

* Этьен Антонелли — французский буржуазный историк.

** В. И. Ленин. Полн. собр. соч., изд. пятое, т. 36, стр. 91.

Биограф Робинса Хард, рассказав о ходе съезда и о том, что большинство ораторов выступали против ратификации Брестского договора, пишет далее:

«В 11.30 Ленин, сидевший в президиуме, подозвал к себе Робинса, который пристроился на ступенях лесенки, ведущей на сцену. Робинс подошел. Ленин спросил:

— Что слышно от вашего правительства?

— Ничего,— ответил Робинс и в свою очередь спросил: — А Локкарт получил что-нибудь из Лондона?

— Ничего,— ответил Ленин и добавил: — Я сейчас буду выступать в поддержку договора. Он будет ратифицирован»...

Даже не зная содержания этого разговора, я не сомневался, что Робинс в тот день получил двойной удар, и совершенно неожиданно тот, который он получил от своего собственного правительства, ранил его в самое сердце. Я наблюдал, как он выходил из зала после закрытия съезда: гордый, глубоко чувствующий человек, утративший иллюзии, но далеко еще не сломленный. Это было начало его личного Брест-Литовска. Ему еще придется испить до дна чашу унижения, но пройдет время — и он с новыми силами поднимется на борьбу.

Съезд Советов закрылся, Брестский договор был ратифицирован, но Робинс не стал тратить время на переживания, не почувствовал себя ненужным. Это было не в его характере. Наоборот, он стал действовать еще энергичнее, ежедневно связывался по телеграфу с Фрэнсисом, добиваясь предотвращения японской агрессии в Сибири.

Весь следующий период он делал все возможное, чтобы Вашингтон не принял решения об интервенции,— конечно, это приходилось делать руками Фрэнсиса. 3 апреля он писал своему другу Уорделлу:

«У меня с послом полнейшее «взаимопонимание» и довольно активное сотрудничество, но наши отношения — «мир по необходимости» и напоминают брестскую ситуацию. Он продолжает использовать меня как посредника между двумя правительствами, за что взамен я ежедневно получаю от него конфиденциальную информацию. И все-таки я знаю, что если бы мы стояли над пропастью и он мог бы себе позволить отделаться от меня, с каким облегчением столкнул бы он меня вниз».

Как-то раз, засидевшись до полуночи над своими заметками, я вышел из гостиницы размяться и подышать свежим воздухом. Ночь была сравнительно теплой, небо покрыто тучами. Не успел я пройти и сотни метров по пустынной, слабо освещенной Моховой, как услышал впереди чьи-то шаги и вскоре смог различить фигуры Ленина и Крупской, которые медленно, рука об руку шли мне навстречу, возвращаясь в гостиницу.

Ленин меня тотчас узнал и после обычных приветствий на мой вопрос: «Как вы поживаете, товарищ Ленин?» — ответил:

— Сегодня немного устал, должен признаться. Слишком долго заседали! Слишком много было ораторов!

— И слишком много разговоров после заседания, и слишком много рукопожатий,— с улыбкой добавила Крупская.

Тем не менее он был в своем обычном, веселом расположении духа. (Локкарт, встречавшийся в этот период с Лениным, писал потом: «Он был, как обычно, в хорошем настроении — в самом деле, изо всех политических деятелей, которых я знал, у него, мне кажется, был самый уравновешенный характер».)

Не спрашивая согласия, я пошел рядом с ними. Ленин стал интересоваться моими делами и самочувствием. И хотя я немного нервничал, все-таки успел, пока мы не дошли до подъезда, вспомнить и рассказать несколько забавных эпизодов, которые заставили Ленина от души посмеяться. Когда мы дошли до двери их номера, Ленин спросил, не хочу ли я зайти в гости, но я поблагодарил и пошел дальше по коридору в свою комнату. Я вдруг подумал о том, что должен чувствовать человек, которому поручили бы охранять Ленина, если, конечно, большевикам когда-нибудь удастся доказать ему, что он нуждается в телохранителе. Какая огромная ответственность ляжет на этого человека!

Встретившись на следующий день с Робинсом, я рассказал ему об этой ночной прогулке. Как! — воскликнул Робинс. Ведь в центре по ночам шляется столько всякого сброда, в том числе любящие ночную жизнь иностранцы, которых он, к сожалению, слишком хорошо знает. Встревоженный моим сообщением, он пытался убедить меня немедленно идти к Ленину и выразить протест по поводу его одиноких прогулок. Я объяснил, что не имею никакого влияния на Ленина, и оставил его в раздумье над разрешением этой задачи. Он говорил потом с Петерсом, и тот даже спросил у меня, неужели Робинс «так искренне» этим озабочен. Я заверил его, что это именно так.

Робинс хорошо знал жизнь и отлично понимал, сколько людей может замышлять убийство Ленина. Большевики знали это только в теории. Очевидно, никто из них, включая Петерса, проявившего настороженность к Робинсу, по-настоящему не пытался убедить Ленина в том, что безопасность революции требовала безопасности ее руководителей и что он поступает опрометчиво, появляясь повсюду без охраны.

Незадолго до моего отъезда из Москвы Робинс все-таки высказал Ленину все, что он думал по этому поводу, и обратил, в частности, внимание на опасность, которую

представляют анархисты. Вскоре был отдан приказ об одновременном аресте всех известных главарей анархистских банд и закрытии нелегальных кабаре на городских окраинах.

Но в тот момент перед большевиками было столько неотложных дел и гораздо более острых проблем, чем проблема личной безопасности, что до нее все руки не доходили. Трагическое упущение! Правда, за изоляцию от народа тоже приходится расплачиваться. А для Ленина такая изоляция была невыносима. Он хотел знать, что нужно народу, говорить с людьми...

Отсутствие охраны и привело к тому, что он получил две пули в шею и в грудь 30 августа 1918 года. От последствий этого ранения он так полностью и не оправился.

■

Был конец апреля, таял снег, в воздухе стоял запах весны. Каждую неделю я собирался поехать в деревню, но дела интернационального отряда не отпускали меня из Москвы. Немцы оккупировали Украину, белые, поощряемые союзниками, формировали на Кавказе новую армию. Им давали золото и обещали открытую интервенцию. Города голодали, в деревне было неспокойно. Опытных кадров большевиков на всю страну не хватало. В Мурманске и Архангельске стояли английские и французские войска, которые якобы охраняли от немцев военное имущество. Однако главная угроза шла с Дальнего Востока, и именно туда мы отправлялись с профессором Кунцем — наш путь на родину лежал через Владивосток...

Стремление сделать что-нибудь на родине для предотвращения интервенции отодвинуло на второй план все мои остальные замыслы.

Должен признаться, что, думая о доме и представляя себе свою будущую аудиторию, я меньше всего имел тогда в виду американский пролетариат. (Как потом оказалось, моими слушателями были люди самых различных социальных слоев: священники и бизнесмены, рабочие и интеллигенты, но среди двух миллионов американцев, купивших мою маленькую книжицу, подавляющее большинство были, конечно, рабочие.)

Враги Октябрьской революции, презрительно пожимая плечами, заявляли, что Советская власть не продержится и нескольких дней, потом они начали говорить о нескольких неделях. К апрелю 1918 года даже кое-кто из большевиков — по крайней мере из тех, с кем я беседовал на эту тему,— в глубине души опасался, что их период власти будет коротким. При этом, однако, они не считали свою борьбу напрасной. Даже если они потерпят поражение, все равно их опыт был огромной победой. Подобно Парижской коммуне, Советская власть станет источником, из которого человечество будет черпать опыт при своей следующей попытке построить социалистическое общество. Брестский договор дал им отсрочку, но зловещие действия Антанты ставили под угрозу даже эту короткую передышку.

Луначарский, который выглядел в эти дни более мрачным, чем когда бы то ни было, сказал: «Нам, может быть, придется оставить Москву. Но если перед уходом мы и хлопнем дверью, мы все равно вернемся назад!»

Робинс бомбардировал Фрэнсиса телеграммами, в надежде что Вашингтон пересмотрит свое отношение к японской интервенции. Он предупреждал, что ненависть к японцам объединит все враждующие сейчас между собой силы, и указывал на более выгодный для самой Америки выход — признание Советской власти. Мне он сказал, что, по его мнению, без американской помощи большевики обречены:

— Что ж, они сделали все, что могли. Ваша задача теперь оправдать их перед историей. Как, впрочем, и моя.

— Нет, полковник, эта работа мне не по душе,— ответил я.— Я хочу, чтобы они сами делали историю. Меня не интересует посмертное выяснение причин их гибели. Ее надо предотвратить.

Я, конечно, не знал, что Вильсон уже принял решение. И русскому народу, который не хотел никакой войны, так и не суждено было тогда пожить хоть немного без войны. Снова надо было проливать кровь, умирать и убивать...

Не могу точно назвать дату нашего отъезда из Москвы. Помню, как за несколько дней до отъезда я рассказал Кунцу о настроениях среди некоторых товарищей, к которым я приходил прощаться. Сам я чувствовал себя усталым, подавленным и мучился сознанием какой-то вины. Мне казалось, будто я бегу с поля боя. Кунц реагировал с необычной для него резкостью. Он напомнил, как сразу же после Октября многие ожидали немедленного построения социализма. Но был человек, который понимал, что это невозможно. И, прежде чем отправиться домой, мы увидим этого человека, добавил профессор, уже улыбаясь.

— Ленина? — спросил я с сомнением. Ведь я помнил, как доказывал Кунцу, что мы не имеем права отнимать у Ленина время и претендовать на прощальную встречу.

— Да, Ленина,— ответил профессор как ни в чем не бывало.— Все уже устроено.

Оказывается, он звонил в Кремль и разговаривал с секретарем Ленина. Ответ был дан сразу же: «Он может уделить вам не более пяти минут». Был назначен день приема. Вечером того дня мы уезжали из Москвы.

Наша беседа с Лениным началась около 10 часов утра. Когда мы вышли из его кабинета, был полдень!

С тех пор прошло несколько десятков лет, и теперь, рассказывая о нашей долгой беседе, я, конечно, не претендую на точную передачу всех ленинских слов, за исключением цитат, опубликованных мной в ранних статьях и книгах. Оригинальная запись этого прощального интервью вместе с другими документами была отобрана у меня по возвращении на родину агентами военно-морской разведки и так и не возвращена. Восстанавливая в последующие годы эту запись по памяти, я в большинстве случаев просто излагал мысли, высказанные Лениным.

В беседе с нами, состоявшейся после подробного разговора с тамбовскими крестьянами, Ленин откровенно сказал о серьезной проблеме безработицы в городах, о голоде. Голод для бедной России — не новость, говорил он, но сейчас, когда большевики держат власть в своих руках, а у богатых крестьян амбары лопаются от зерна, голода быть не должно — этого терпеть никак нельзя. Употребляя свое любимое выражение, он сказал, что теперь «сама жизнь» заставит большевиков сделать то, что они должны были сделать еще в самом начале революции.— организовать комитеты деревенской бедноты.

Разговор о деревне и крестьянах полностью захватил меня, мне хотелось задать еще несколько вопросов и, как прирожденному любителю поговорить, высказать свою точку зрения. Но, прежде чем я успел вставить слово, Ленин окинул нас оценивающим взглядом и спросил, знаем ли мы, что такое Сибирь, и достаточно ли хорошо подготовились к длинной и трудной дороге. Его действительно волновало предстоящее нам путешествие. Подойдя к карте, он стал показывать наш маршрут. Глаза его загорелись, будто он сам собирался совершить эту поездку. Потом он снова спросил, все ли у нас есть, что нужно.

Я сказал, что везу с собой целый сундук дневников, записей, документов, газет, листовок, экземпляров «Die Fackel» — то есть материалы для будущей книги — и что я надеюсь благополучно довезти все это до Америки. Профессор Кунц, будучи настолько же непрактичным человеком, насколько Ленин — практичным, только улыбнулся и пожал плечами, как бы говоря, что не видит ничего особенного в нашей поездке (мы ехали целых три недели). Поезд уходит сегодня вечером, сообщил он Ленину, и если окажется, что мы ничего не забыли, это будет поистине «редким явлением в истории Революции». При всех обстоятельствах, добавил профессор, наше путешествие будет более удобным, чем поездка Ленина в 1897 году в дикую глушь Енисейского края. Ленин, откинув голову назад, расхохотался. С каким удовольствием он всегда смеялся!

Помнится, он подошел к окну, посмотрел на улицу, потом обернулся и с оживлением сказал:

— А вы знаете, это красивейший край. А какие там люди!.. Впрочем, вы сами увидите, когда познакомитесь с товарищами из Владивостокского Совета. Но имейте в виду,— продолжал он, обращаясь лично ко мне (возможно потому, что моя деятельность в бóльшей степени, чем деятельность Кунца, должна была интересовать американское и другие посольства),— направляясь в Сибирь, вы направляетесь также в первый пункт интервенции Антанты. Японцы и англичане уже готовятся встретить вас там. Смотрите, как бы американские войска вас тоже не опередили. Мой совет— постарайтесь добраться туда как можно скорее.

Я опешил.

— Вы, конечно, шутите! Ведь совсем недавно, когда я прощался с полковником Робинсом, он даже питал некоторые надежды, что Америка признает Советское правительство или, на худой конец, окажет ему какую-нибудь помощь,— запинаясь от растерянности, проговорил я.

— Видите ли, Робинс представляет либеральную часть американской буржуазии, а политику Америки определяет не либеральная буржуазия, а финансовый капитал. И этот финансовый капитал стремится захватить контроль над Сибирью.

Эту часть беседы я приводил в своей книге «Ленин». Чтобы быть полностью справедливым к Робинсу, должен здесь сказать, что тогда, весной 1918 года, он не испытывал особой необходимости посвящать меня в свои дела или даже делиться своими мыслями, поэтому, когда он высказывал какие-нибудь надежды, я чувствовал, что это были лишь общие фразы, ничем реальным не подкрепленные. (Позже, уже в Америке, мы сошлись гораздо ближе, переписывались почти до самой его смерти — при этом он часто упоминал в своих письмах о Ленине,— и я не раз бывал у него во флоридской усадьбе.) И все-таки Робинс оставался Робинсом, он боролся до самого конца, а я тогда не мог даже подозревать, что конец наступит так скоро. 25 апреля он написал прощальное письмо Ленину — корректное во всех деталях. Короткий ответ Ленина был внешне также корректным, но по существу язвительным. Примечательно, однако, что предложения о советско-американском экономическом сотрудничестве, над которыми они вместе работали и которые Робинс должен был представить своему правительству, были отправлены Робинсу из Москвы в мае! Значит, Ленин все-таки разделял главную надежду Робинса, что в Америке найдется достаточное количество проницательных промышленников и банкиров, способных повлиять на «идеалиста» Вильсона. По логике вещей, так могло бы и быть. В книге

Карра * отмечается, что этот документ явился в сущности прообразом тех экономических соглашений, которые позднее стали стандартными в советской практике предоставления концессий иностранному капиталу.

— Так как же насчет вашего сундука с литературой, дневниками и прочим? — снова спросил Ленин.— Будет очень обидно, если с ним что-нибудь случится. У вас в стране ему, наверно, не очень-то будут рады, ну а мы, поскольку это будет в нашей власти, обеспечим ему благополучный выезд из страны. (Удивительно, как точно Ленин предугадал встречу, которая ожидала меня на родине! Сундук у меня, конечно, отобрали, а когда я получил его обратно от военно-морской разведки через министерство юстиции, в нем не оказалось части дневников за последние два месяца в России и почти законченной первой черновой рукописи книги о революции. Вместо этого, правда, я получил ценный дополнительный материал, который послужил частичным утешением в моей потере: какой-то чиновник министерства был настолько любезным или настолько халатным — я предпочитаю первое,— что поверх всего положил в сундук составленное на меня досье.)

В ходе нашей беседы я упомянул, между прочим, о том, что по возвращении на родину надеюсь осуществить план, который обсуждал со мной Чичерин,— создать и возглавить Русское бюро общественной информации. При этом я заверил Ленина, что план был одобрен руководителем Американского бюро общественной информации в России Артуром Буллардом и полковником Робинсом.

Ленин почему-то никак не выразил своего отношения к этому проекту, хотя, очевидно, знал о нем. Возможно, что и в этом случае он более трезво оценивал обстановку, чем мы с Робинсом, и не питал особых надежд на успех этого плана. (Он еще раз оказался прав. Государственный департамент решил, что коль скоро Советы не признаны, значит, они не существуют, а раз они не существуют, то у них не может быть и никакого бюро информации в США).

Почти ностальгическая нотка прозвучала в голосе Ленина, когда он снова заговорил о Сибири. Он завидует нам, хотя, конечно, мы должны быть готовы к любым неожиданностям. Его предостережения, однако, больше походили на советы, которые дают приятелю, выбирающему, куда бы поехать в отпуск, а описания Сибири — на рассказы агента бюро путешествий, предлагающего билет в самый отдаленный уголок земли в пределах возможностей кошелька клиента.

Наш разговор происходил сорок три года назад. В своей маленькой книжке, которая в большой спешке была выпущена в 1919 году, я уделил этому прощальному интервью незаслуженно мало места. Мне тогда казалось, что мысли и рассуждения Ленина — то есть наиболее трудоемкая для меня часть работы — были бы менее интересными для читателя, чем рассказ о его жизни и о чертах характера. Кроме того, я в тот момент вообще считал устные выступления наиболее коротким и верным путем к сердцам миллионов американцев, которым я должен был рассказать правду об интервенции. Когда же я вернулся в Россию в конце августа 1922 года, чтобы собрать материалы для второго издания книги, о новой беседе с Лениным не могло быть и речи. Он был серьезно болен, серьезнее даже, чем нас старались убедить: всего лишь три месяца назад, в мае, у него был первый удар. И хотя к осени ему стало лучше, я все-таки не осмелился просить о встрече. Всю жизнь я жалел об этом. Много раз начинал я рассказ о последнем интервью. В своем архиве я нашел несколько разных вариантов. Все они верны, потому что отражают разные проблемы, обсуждавшиеся в ходе беседы. И во всех вариантах неизменно присутствует слово «если» — если только им не придется отступить за Урал и ждать более благоприятной международной обстановки.

Однако тут же Ленин с полной уверенностью в будущем стал говорить о развитии социалистического государства — и не где-нибудь, а здесь, в России. Он так образно и конкретно обрисовал нам перспективы, что уже много лет спустя, всякий раз, когда я читал о строительстве в СССР новых каналов, плотин и гидростанций, я удивлялся: «Странно! А я готов был поклясться, что они уже давно существуют». И вспоминал Ленина, показывающего на карте, где будут строиться эти объекты.

Чувство реальности, по поводу которого ходило выражение, что «он видит, как трава растет», давало ему возможность видеть все последствия иностранной интервенции, а его непоколебимая вера в русский народ не позволяла примириться с несчастной судьбой России.

Он рассмеялся, когда я сказал, что его, видно, не очень страшит перспектива оказаться в ловушке за Уралом. О, Урал — обширная территория, ответил он. Там можно вздохнуть свободно.

Ленин вдруг начал двигать свой стул поближе к моему. Когда он так делал, это могло означать: ему нужно все внимание собеседника, чтобы его мысли полностью дошли до слушателя и чтобы ни одна из них не затерялась по дороге в отделяющем его от собеседника пространстве. Я уже однажды испытал это на себе, когда хотел записаться в Красную Армию, а он убедил меня, что для нас, иностранных добро-

---

* Э. Карр — английский буржуазный историк, автор трехтомной истории Октябрьской революции.

желателей, вполне достаточно будет интернационального отряда. В таких случаях он не просто выкладывал свои мысли, он вкладывал их в вашу голову.

Однако это движение могло быть и признаком того, что сейчас начнутся вопросы. Ну а если он начал задавать вопросы, вы — в его власти. Без особых усилий и без всяких ухищрений он как-то незаметно, просто благодаря своей любознательности, совершенно обезоруживал человека, пришедшего задавать ему вопросы. Направив на собеседника вопрошающий слегка иронический, будто видящий все насквозь взгляд своих татарских глаз, он задает вопрос за вопросом, вытягивая факты даже из интервьюера. Как сказал мне Боб Майнор *, «Ленин заставлял других развязывать язык, а сам использовал свои уши». (Боб тогда был анархистом и к большевикам относился враждебно. Он добивался встречи с Лениным, чтобы «разоблачить» его, но эта встреча оказалась первым шагом Боба к коммунизму, а вскоре ему даже пришлось отложить карандаш и кисть, чтобы стать профессиональным деятелем компартии, в результате чего страна потеряла своего лучшего карикатуриста.) Во всяком случае, все корреспонденты, с которыми я обменивался впечатлениями по этому поводу, испытали на себе способность Ленина «развязывать языки». Мы могли быть очень опытными репортерами, а Ленин был лучшим репортером всех времен.

И вот уже Ленин спрашивает меня об американских инженерах и ученых — «нам нужны тысячи специалистов»,— а я отвечаю и сам удивляюсь, откуда что берется. Этот живой магнит вытягивал из закоулков моего подсознания (по современной терминологии, тогда еще не вошедшей в моду) факты и сведения, которые я где-то, когда-то подхватил, а потом, казалось, начисто забыл. Вопрос следует за вопросом, еще ближе придвигается стул, еще сильнее действует на собеседника излучаемое Лениным тепло и притягательная сила этого человеческого магнита. И вдруг собеседник испытывает непреодолимое желание разделить его энтузиазм...

Потом наступил момент, когда мне больше нечего было сказать. Ленин хотел обсудить внутреннюю обстановку в Америке, перспективы развития там социалистического движения, характерные особенности классовых противоречий. Увы, у меня по этим вопросам не было никаких — не только блестящих, но даже просто интересных — мыслей. Ведь я в теории совершенно не разбирался. Видя, что здесь от меня ничего путного не услышишь, Ленин перевел разговор на другую тему.

Некоторое время Ленин и Кунц, переходя с русского языка на немецкий и наоборот, обсуждали какие-то философские проблемы. Мне трудно было следить за разговором, который полностью захватил собеседников. Они горячо спорили о непонятных для меня философских тонкостях, а я между тем обдумывал свой вопрос Ленину. Наконец, воспользовавшись паузой, я решил заговорить.

Я сказал, что, как только позволят обстоятельства (мне тогда и в голову не могло прийти, что интервенция продлится до 1920 года, а во Владивостоке и того дольше) и как только я выполню свой долг, рассказав американцам все, что знаю о Революции, я вернусь в Россию. Будет ли к тому времени так называемый «середняк» настолько социалистически сознательным, чтобы не презирать меня как «безземельного» крестьянина? Мой вопрос послужил началом оживленной дискуссии. Разгадав, что именно этого я и добивался, Ленин взглянул на меня с новым интересом, как бы говоря: «А ты, оказывается, тоже хитрый мужик!» Нет, нам решительно повезло: беседа явно увлекла Ленина. Его рассуждения о предстоящей классовой борьбе в деревне — борьбе, в которой, как он это себе представлял, рабочие будут союзниками беднейшего крестьянства,— совершенно естественно привели нас к еще одной теме.

Безо всяких экивоков он признал, что диктатура пролетариата, коль скоро в ней имеется необходимость, будет, как и в любом государстве, диктатурой правящего класса, с одной только очень важной разницей: в других государствах меньшинство, составляющее правящие классы, осуществляет насилие над угнетенным большинством, а здесь угнетенное большинство стало правящим классом, хотя оно еще недостаточно полно осознает себя хозяином государства. Ленин при этом добавил, что чем сильнее будет сопротивление потерявших власть классов, тем беспощаднее оно будет подавляться. Парижская коммуна потерпела поражение потому, что сразу же не подавила сопротивление буржуазии. Эти слова Ленина мне были известны и раньше. Но лишь некоторое время спустя после нашей беседы я нашел у него формулировку одной важной мысли Энгельса: «Пока существует государство, не может быть свободы; когда будет свобода, не будет государства».

Когда это будет? Он прищурил глаза, задумчиво повторив мой далеко не легкий вопрос. Это зависит не от одной России, ответил он. Россия пока единственная страна, где осуществляется диктатура пролетариата, и, несмотря на слабость и теперешнее бессилие России, могучие капиталистические державы, похоже, дрожат от страха и полны решимости стереть Советскую власть с лица земли.

В каком-то месте беседы он сказал, что Октябрьская революция все равно победит и что это будет «скоро». В другом месте он говорил о «целом периоде войн

---

* Роберт Майнор (1884—1952) — американский журналист и художник. В 1920 году вступил в компартию США и стал одним из ее активных деятелей.

и революций, который будет длиться 50—70 лет», и тогда слово «скоро» означало просто окончательную победу. На этот раз речь шла о «когда», а не о «если».

Однако гораздо раньше будет ликвидирована эксплуатация человека человеком и частная собственность. Этот процесс уже полным ходом осуществляется. В сложившихся условиях разрушение старого государственного аппарата шло, пожалуй, слишком быстро; левые коммунисты даже горят нетерпением изменить новый земельный закон. Они, например, объявили, что план создания государственных хозяйств будет возвратом к батрацкому труду. Ленин рассказывал об этом сухо, без эмоций, а я вспомнил, как он уговаривал рабочих не брать управление заводами в свои руки, пока они не научатся искусству управления.

Мы победим, продолжал Ленин, если сейчас уцелеем, а чтобы уцелеть, нам придется сделать кое-какие временные уступки: мы должны хоть как-нибудь наладить производство. Однако в любом случае, победим мы или нет, сказал Ленин, наш пример будет вдохновлять на революцию народы Азии, Южной Америки и Африки.

И не далек тот час, когда к нам присоединится пролетариат Европы. Ленин посмотрел на нас испытующим взглядом, как бы читая наш мысленный вопрос, и, хотя у меня в голове действительно возник этот вопрос, я бы не стал его задавать: слишком он был болезненным. Но Ленин тем не менее на него ответил. Он не может сказать **«когда».** Многие уже совершали эту ошибку. «Но я вам скажу другое. Кайзер будет свергнут в течение ближайшего года. Это абсолютно точно». Я впервые слышал, чтобы Ленин делал определенные прогнозы во времени. Он оказался прав. 10 ноября 1918 года кайзер Вильгельм бросил свою армию и бежал в Голландию.

— Все, что вы говорите, касается будущего. Ну, а если все-таки интервенция станет реальностью? Если моя страна не только не попытается ей помешать, но и сама примет в ней участие, что тогда?

Тогда, ответил Ленин, будем организовывать защиту. Мы к этому готовимся. Все остальное будет подчинено этой главной задаче. Ход революции может в таком случае замедлиться, ее **формы** могут быть даже на некоторое время искажены, но цель ее, ее идеалы останутся прежними, только достижение их отодвинется.

В конце концов мы победим, в этом можно не сомневаться, заключил Ленин.

Потом совершенно неожиданно после тех крупных вопросов, которые только что обсуждались, Ленин, повернувшись ко мне, выразил сожаление по поводу потери потенциального члена марксистского кружка. Сказано это было так, будто мы с ним не попали на интересный концерт или не успели доиграть партию в шахматы. Была ли в его голосе хоть нотка досады? Нет, глаза его были добрыми, и мне во всяком случае показалось, что Ленин действительно сожалел. Он сказал, что все понимает, что я типичный американец, но что я скоро сам почувствую необходимость изучать теорию: переломные моменты истории — наиболее подходящее для этого время.

Помню, что всю дорогу от Кремля мы с Кунцем почти не разговаривали. Каждый думал о своем, но никому из нас даже в голову не приходило чувствовать себя польщенными тем, что председатель Совнаркома целых два часа говорил с нами и слушал нас. Думаю, что и тамбовским крестьянам это также не пришло в голову. Мои мысли были поглощены невероятными трудностями, которые ждут Советскую Россию впереди. Простота обращения Ленина в сочетании с его исключительной целеустремленностью, проявляющейся даже в вещах, казалось бы, незначительных, рождали у слушателей какой-то особый строй мысли и зажигали огонь в их сердцах. Я навсегда запомнил голос Ленина — высокий, резковатый, невыразимо дорогой и близкий — и слова, отчетливо прозвучавшие в пустой комнате, выбранной им в Кремле для своего кабинета: «В конце концов мы победим!»

АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС И ЕГО НОВАЯ КНИГА

Бывают события, к которым человек возвращается всю жизнь. Они, эти события, как незакатное солнце, стоят над жизненной дорогой человека. Как ни трудна дорога — солнце с человеком. Где-то оно высветлит спасительным лучом ущелье, где-то растопит завал — непобедимо дневное светило. Для американца Альберта Риса Вильямса этим незакатным солнцем была русская революция. Она вошла в его жизнь, когда ему было немногим больше тридцати, и составила смысл его деятельности и бытия в последующие сорок пять лет. Ей он посвятил одну из своих первых книг и книгу, замысел которой возник у него, когда он видел уже тот берег. Очевидно, она ему была очень нужна, эта книга, если он отдал ей свои последние дни. Однако как мог человек иной страны, языка, общественной среды и, в сущности, иного в тот момент строя взглядов так близко принять к сердцу муки и радости России? Чем в конце концов Россия и ее революция были для Вильямса?

Очевидцы, бывавшие в Америке, свидетельствуют: нет зрелища грознее и величественнее, чем торнадо — буря, идущая долиной Миссисипи. Точно лемехом, распахивает землю торнадо — такое возможно, если воспрянут силы природы, если придет в движение все, что копилось в ее тайных кладовых. Нечто, напоминающее торнадо, однако не в природе, а в социальной жизни, испытала Америка в начале века — наверно, это была не революция, но в ней было все от великого предгрозья. Рабочая Америка, возглавляемая «красными казначеями» Хейвудом и Дебсом (Хейвуд начинал как секретарь-казначей федерации рудокопов, Дебс — братства кочегаров), поднялась с невиданной доселе силой. Лоренс, Лоуэлл, Нью-Бедфорд, Петерсон — такого могучего взрыва народного гнева американская земля не ведала. Истинным бардом поднимающейся революции стал Джо Хилл — революционная Америка штурмовала стены своих Бастилий с песнями Джо Хилла. «Кейси Джонс», «Рабочие мира, пробудитесь», «Аллилуйя», «Я — бродяга», «Мятежная девушка», «Если бы я стал солдатом», «Не забирайте у меня папу». Последние две песни были направлены против войны — она уже обозначалась в европейском далеке, и шовинистический туман обволок Америку. Революцию хотели сшибить войной. Но не только этим: обратились к карающему железу — оно было бескомпромиссным. Хилла казнили, Хейвуд избежал этой участи, покинув Америку, Дебса заточили в безвестной глуши, а тысячи и тысячи непокорных бросили за океан воевать за «американскую свободу» — в какой-то мере европейская война была для Америки Вьетнамом начала века.

Альберт Рис Вильямс не был сподвижником ни Хейвуда, ни Дебса. Ни он, ни его родные не относились к эксплуатируемому большинству. Даже наоборот: он происходит из семьи священника и одно время хотел стать преемником отца. Собственно, его общественное и всякое иное положение как бы подготовило его к тому, чтобы все бури Америки прошли мимо него. Однако получилось не так: он уже видел шабаш ведьм. Он полагал, что с победой врагов революции Америка утратила единственную в своем роде возможность восстановить справедливость. Вильямс и не мог думать иначе: его могучим сподвижником и, пожалуй, наставником была совесть. Да, всемогущая совесть, родившаяся в извечной борьбе добра со злом.

Вряд ли какой-либо иной силе, кроме своей совести, Вильямс обязан тем, что открыл для себя русский Октябрь. Первое, самое первое, что могло прийти на ум Вильямсу: все, что было повержено в Америке, воспряло в России. Мысль казалась убедительной: ни одна страна так не напоминала американцу его родину, как Россия. И свободным размахом просторов. И свободолюбивым характером людей. И тем ощущением широты их мысли, натуры, взгляда на явления жизни, какой исполнена сама история России и Америки. Для Вильямса это было похоже на чудо: мечта об американской свободе, какой ее видели сыны Америки, обрела кровь и плоть в России. Но только ли это? Казалось, что возвращены к жизни сами жертвы революции. Все те, кого посекло жадное железо американских палачей, окунув с головой в землю. Америка с надеждой смотрела за океан — все, кто верил, что палачам воздастся сторицей за их палачество, были окрылены вестями, идущими из России.

Русская революция завладела умами американцев. Однако вряд ли революция нашла бы в их сознании такой отклик, если бы ее идеи не воплотились в образе тех, кто был ее ратоборцами. Человек, для которого главным компасом в жизни была совесть, в Ленине увидел свой идеал. Известную книгу Вильямса «Ленин, человек и его дело» поучительно рассмотреть именно в этом свете: что увидел американец в Ленине, что ему было дорого в вожде русской революции. Верность Ленина заповеди коммунистов: богатства, которыми владеет человек, должны быть распределены справедливо. Его готовность всем пожертвовать ради осуществления идеала. Его бескомпромиссность. Его скромность. Его принципиальность. Его интеллект.

Американские биографы Вильямса, из числа новейших, склонны утверждать, что Ленин пытался обратить Вильямса в свою веру, однако тот воспротивился этому. Чтобы ответить на этот вопрос, очевидно, надо установить, что́ следует понимать под тем, что биографы называют «верой Ленина». Если имеется в виду коммунизм, а обращение в веру означает вступление в ряды коммунистов, то это, мягко говоря, не соответствует действительности. Ленин полагал, что мировоззрение человека и выбор им пути в жизни — дело его сознания. Конечно же, Ленин боролся за душу Вильямса, как он боролся за души Стеффенса, Робинса, Рида, Майнора. Разумеется, он хотел, чтобы они поняли, какие принципы лежат в основе русской революции, но Ленин, разумеется, видел, что все они, при доброжелательном отношении к советской стране,— люди разные: одни станут коммунистами, другие на всю жизнь будут друзьями коммунистов. Вильямс относился ко вторым. Таким образом, в нашем полку прибыло, однако новейшие биографы Вильямса пытаются истолковать все это как поражение русских друзей Вильямса, в частности Ленина. Иначе говоря, победу они пытаются выдать за поражение. Разумеется, это голословно и опровергается прежде всего жизнью самого Вильямса, событиями, на которые эта жизнь опирается.

Ведь это Вильямс:

Был среди солдат, штурмующих Зимний.

Вместе с Лениным с трибуны Михайловского манежа напутствовал добровольцев, уходящих на фронт.

Стал организатором интернационального отряда, призванного вместе с молодой Красной Армией защитить столицу революционной России от немцев.

Возвысил гневный голос против клеветников революционной России, когда пришел его черед единоборствовать с комиссией Овермена.

Объехал десятки городов, неся слово правды о революционной России,— американские Север и Юг, Восток и Запад слушали Вильямса.

Вернувшись в советскую страну, он, в сущности, остался рядовым от революции, с рабочими — рабочий, с крестьянами — крестьянин, в эти годы он жил и на Украине (на Полтавщине, в гоголевской Диканьке), и на Волге, и далеко на Севере под Архангельском.

Вновь проехал по всей американской стране уже в годы войны — на его докладах о сражающейся России побывали сотни тысяч.

Подарил миру много прекрасных книг, без которых сегодня нельзя представить себе ни литературу о Ленине, ни литературу об Октябрьской революции: «Ленин, человек и его дело», «Сквозь русскую революцию», «Советы».

Да мог бы человек совершить все это, если бы им не руководила любовь к новой России, ставшей для него второй родиной? Кстати, этой теме посвящена и последняя книга Вильямса — книга эта существенна для пути, пройденного Вильямсом.

В чем смысл ее?

Велик первый день революции, но не менее велик день второй... именно этот второй день призван обнаружить, что дала революция людям. Вильямс вернулся в Россию, чтобы увидеть этот второй день. И поселился на Волге, на Украине, у Белого моря поэтому. И по этой причине приезжал к нам еще много раз. Все по той же причине,— чтобы увидеть второй день нового мира. Ему повезло, нашему другу Альберту Рису Вильямсу. Из тех знаменитых пяти американцев, кто видел русский Октябрь,— Рид, Вильямс, Робинс, Брайант, Битти — он один перешагнул предел шестидесятых годов. Это великая привилегия. Это значит, что он видел и взлет нашего индустриального могущества, и великую ратную победу над фашизмом, и наши большие свершения в науке — решение космической задачи. Это же счастье — дожить до тех заповедных дней, когда страна Октябрьской революции выводит на орбиту первый спутник Земли... Разумеется, Вильямс был свидетелем не только наших побед, но и наших ошибок — тем более ценны и значительны выводы, к которым приходит в своей работе наш друг. Таким образом, в книге, которую задумал Вильямс, он решил использовать преимущества, которые ему давали его почти восемьдесят лет: взглянуть на Октябрь из этого второго дня.

Есть удивительное свойство памяти: человеку, прожившему большую жизнь, часто стоит немалого труда вспомнить то, что было десять, пятнадцать, двадцать лет назад, но он отлично помнит то, что было на заре его жизни. Память Вильямса обладала этим свойством. Впрочем, октябрьские события Вильямс запомнил не только поэтому. Сами события были неповторимы по своей значимости. Вильямс тогда же написал множество статей, а вслед за этим свои знаменитые книги. Он воссоздал эти события в многочисленных выступлениях перед Америкой — каждый эпизод был повторен там многократ.

Взглянув на события сегодняшнего дня, автор увидел Октябрь в перспективе событий, которые свершились благодаря Октябрю. Пусть Вильямс не говорит о победе над фашизмом, победе, которой мир обязан советской стране. Пусть в книге физически не присутствует мир стран социализма, вызванный к жизни победой в войне. Пусть зримо не обозначено бытие народов, обретших независимость благодаря победе над фашизмом, а следовательно благодаря Октябрю. Пусть всего этого нет у Вильямса, но дыхание этих событий ощутимо в книге нашего друга.

Говорят, что Вильямс работал над книгой семь лет. Вернее же сказать, что он работал над нею все годы, прошедшие после революции. Нет, он не просто возвращался к этой книге в помыслах своих. Все годы в квартире Вильямса в Оссейнинге под Нью-Йорком собиралась библиотека о русском Октябре. Складывалось досье повременной прессы. Записывались главы, страницы, пассажи, строки. И, разумеется, читались друзьям. Но иногда круг друзей опасно суживался, и Вильямс оставался вдвоем с человеком, которого ничто не могло от него отторгнуть. Вдвоем. Как на кочующей по морю льдине. Работа прекращалась? Если бы остался один, она, пожалуй, прекратилась бы. Но человек, бывший с Вильямсом рядом, никогда не оставлял его одного. Никогда — как бы круто ни пролегли жизненные маршруты Вильямса. Ни в украинском селе, где Вильямс познавал колхозную проблему, став механиком. Ни на Волге, где он изучал принципы советской педагогики, работая воспитателем в колонии для беспризорных. Ни на русском Севере... Если у человека, оказавшегося в другом крае земли, была необходимость, чтобы рядом с ним была его Америка — разговаривать с нею, делать ее поверенной твоих трудных дум, осторожно торить с нею свою нелегкую стезю в жизни, то Люсита Вильямс была ему и Америкой.

Известна истина: нет друга, если его нет рядом в самую нужную для человека пору. Для Вильямса этой порой были те семь лет, когда он работал над своей последней книгой. Надо понять состояние Вильямса, для которого тревожнее всех тревог была мысль: ему может не хватить жизни. И надо понять состояние Люситы: все, что можно сделать самой, надо сделать, это единственный способ облегчить труд друга. Вильямс избрал не самое экономное средство работы, хотя, быть может, самое дей-

ственное. Он перенес в свою работу метод, которым пользуются в кино: делал своеобразные «дубли» отдельных мест книги и потом выбирал лучший из них. Писал одну главу в нескольких вариантах, с тем чтобы остановить выбор на лучшем. Делал «дубли» легко, а выбирал не без труда. Неизменно привлекал в советчики друга — по многу раз читал. Собственно, в «дублях» книга закончена — надо было отобрать лучшее. И произошло то, чего больше всего боялся Вильямс. Жизни не хватило. Не хватило того самого драгоценного года, которого всегда недостает человеку, чтобы реализовать свой замысел. И, наверно, это было и самым большим испытанием для Люситы, и в конце концов ее подвигом: она как бы продлила жизнь Вильямса на тот год, которого недоставало Вильямсу, продлила, чтобы закончить труд, который можно было назвать трудом его жизни. В конце 1966 года Люсита привезла рукопись в Москву и передала «Иностранной литературе».

Как-то Люсита Вильямс сказала, имея в виду книгу мужа:

— Он остался в этой книге сражающимся.

Так и сказала: сражающимся.

Велико значение книг об Октябре, написанных нашими друзьями Ридом, Вильямсом, Стеффенсом, Брайант, Битти. Трудно переоценить значение этих книг для американцев — сами собой эти книги сложились в своеобразную библиотеку о русской революции (кстати, благодарно было бы эту библиотеку выпустить для русского читателя, пополнив всем тем, что не было у нас издано), библиотеку бесценную, явившуюся в своем роде ориентиром, по которому американец, да и не только он, устанавливал правду о революционной России.

Но среди книг об Октябре были книги и иного рода — не без участия крупнейших издательств, заинтересованных в дискриминации правды, Риду, Вильямсу, Стеффенсу и их друзьям были противопоставлены Сиссен, Кеннан и летучая стая белых писак во главе с Керенским. Достаточно сравнить эти два ряда имен, чтобы понять многое. Однако иногда простого сопоставления имен недостаточно — надо взять лопату и разгрести ложь. Работа малоприятная, но для истинного революционера необходимая. Вильямс полагал, что это должен сделать именно он. По праву очевидца. По праву человека, чье имя никто не в состоянии поставить под сомнение. По праву революционера, в конце концов. Вильямс бы не был самим собой, если бы поступил иначе.

В начале статьи мы сказали: его привела к нам совесть. Это достаточно характеризует Вильямса, да и русский идеал, которому он посвятил свою более чем страдную жизнь, это характеризует вполне. Разумеется, с годами пришло к Вильямсу и революционное сознание, и опыт революционера-воителя, и убежденность, что твое место в борьбе ты никому не переуступишь, однако первоначальным ядром была именно совесть. Она проторила путь Вильямсу в Россию, как она во многом определила симпатии к русской революции и Рида, и Стеффенса, и Робинса. И в который раз мы не можем не сказать себе: какие же великолепные были это люди, друзья Советской России.

Избранный ими путь отнюдь не был усыпан розами — встав на сторону Октября, они бросили вызов злым и могущественным силам. Со времен печальной памяти комиссии Овермена враги СССР ведут на них атаку, пытаясь скомпрометировать труд их жизни, однако тщетно — настоящее не ржавеет. Подлинными рыцарями правды, до последнего дыхания честными и бескомпромиссными, мы сохраним их в нашем сознании.

САВВА ДАНГУЛОВ

ЕЖИ СТЕФАН СТАВИНСКИЙ

ЧЛАС ПИК

ПОВЕСТЬ

Перевод с польского
ЗИНАИДЫ ШАТАЛОВОЙ

Я хочу рассказать на этих страницах о самом большом потрясении в моей жизни — для предостережения и в назидание возможному читателю. «Возможному», потому что вовсе не уверен, что эти заметки появятся в печати: издатели могут счесть их банальными и не содержащими ничего нового. И действительно, к этой теме не раз обращались выдающиеся писатели. Но простейшие истины каждый должен сам открыть для себя, все испытать на собственной шкуре. Пусть же поэтому подлинность пережитого станет моим адвокатом.

Не собираюсь вдаваться здесь в общие рассуждения, а лишь опишу в хронологической последовательности, как все было: и ход своих мыслей и ход событий. Нынче я вновь обрел покой, и описание моего горького опыта лишь облегчит мне душу.

Я — урожденный варшавянин, мне сорок четыре года. Еще три недели назад я был молодым, энергичным и сильным. В моем возрасте человек либо уже достигает определенных успехов на жизненном поприще, либо приходит к полному банкротству. Еще три недели назад я готов был бы присягнуть, что, несмотря на потерю времени в годы войны и после нее, мне удалось занять в обществе достаточно видное место, а частые отличия и похвалы начальства утвердили меня в сознании собственной значимости. Я занимал высокий пост, сфера моей профессиональной и общественной деятельности постоянно расширялась, мне то и дело предлагали принять участие в работе все новых и новых комиссий, коллегий и комитетов. Мой рабочий день становился все насыщенней. Я жил в постоянном движении и нервном напряжении, не замечая, как мелькают не только дни и часы, но и целые недели и месяцы. Я без устали несся взапуски со временем и чувствовал себя человеком в высшей степени организованным, необходимым, высокопроизводительным. Мысль моя переносилась от частного вопроса к проблеме, от концепции к выводу, от анализа к синтезу. Я сразу же улавливал суть дела, решения принимал быстро; и щедро, без оглядки тратил энергию, которую тут же, без труда восстанавливал. Вечером, ложась спать, я немедленно проваливался в сон, который покидал меня только по сигналу будильника. Несмотря на то что мне шел пятый десяток, я чувствовал

себя молодым и у меня не оставалось времени на сколько-нибудь глубокие размышления о смысле существования. Я был доволен собой и жизнью. Удар обрушился внезапно и с самой неожиданной стороны.

В тот день — это была пятница, 11 ноября 1966 года — я проснулся как всегда, ровно в семь. День за окном занимался сумрачный, серый. Но вспомнив, сколько у меня сегодня дел, я живо выпрыгнул из постели. Вообще, надо сказать, утреннее вставанье всегда служило мерилом моего интереса к жизни. Некогда, в мрачные для меня времена, например, когда я зарабатывал на жизнь однообразной, тошнотворно скучной работой, мне совершенно не хотелось вставать по утрам. В последние же годы я легко и быстро соскакивал с кровати, энергично мылся, одевался, завтракал, потому что мне предстоял интересный день, до краев заполненный кипучей деятельностью.

И теперь тоже, едва проснувшись, я сразу же включил радио и побежал в ванную бриться. Жили мы в кооперативном доме в небольшой трехкомнатной квартире. Слышно было, как нерасторопно двигается в соседней комнате дочь моя Эва, ученица последнего класса гимназии, и как жена моя, Зося, в свои тридцать с лишним лет довольно видный и уважаемый работник Министерства внешней торговли, чиркает в кухне спичкой. Это были привычные будничные звуки, и я почти не замечал их. Побрившись, я обдумал план сегодняшних баталий и пошел в кухню. Мимо меня шмыгнула по коридору Эва, я успел шлепнуть ее по спине, она сонно буркнула что-то в ответ и захлопнула за собой дверь в ванную.

— Привет, старушка! — молодецки воскликнул я, входя в кухню.

Подробности эти я вспомнил потом, гораздо позднее, шаг за шагом анализируя все, что происходило в этот последний день моей прежней жизни.

— Здравствуй, милый,— вяло, бесцветным голосом ответила Зося.— Когда ты сегодня вернешься?

— Поздно.

— Ты пообедаешь в городе?

— Конечно. Сегодня же пятница, у меня коллегия.

— Значит, мы увидимся только вечером...— вздохнув, сказала Зося.

— Увы, старушка,— лицемерно вздохнул и я, хлебнул горячего чая и чмокнул ее на прощанье.

Этот традиционный «поцелуй на прощанье» всякий раз вызывал во мне приступ угрызений совести, но стоило лишь закрыть за собой дверь, как приступ тут же утихал. Моя совесть современного человека была весьма гибкой.

Когда я уходил, Зося не взглянула на меня. Она сидела, опустив голову над стаканом чаю, не то печальная, не то задумчивая. Я не стал задерживаться и только подумал, что этой женщине явно не хватает кислорода любви.

Два года назад, когда мы прожили вместе уже пятнадцать лет, она предприняла последнюю отчаянную попытку. Как-то по дороге домой я заехал за ней на работу, что делал очень редко, поскольку ее рабочий день никогда не совпадал по времени с моим. Стояли первые дни мая. Деревья, вчера еще голые, за одну ночь покрылись первыми листьями. Оказалось, что это волшебство действует на Зосю, как полнолуние — на лунатика. Погруженный в свои обычные деловые размышления, я вел машину быстро и ловко Сразу же после обеда я должен был под видом совещания встретиться с одной молодой особой, которая всей своей плотью жаждала постичь таинство зрелости. Мы жили тогда еще в районе Нижнего Мокотова, на Стемпинской, и занимали две маленькие комнатки в ожидании, пока закончится строительство нашего кооперативного дома. Зося несколько раз пыталась заговорить со мной, но я отвечал машинально, не спуская глаз с дороги. Так мы миновали

Бельведер, спустились под горку и достигли угла Хелмской, где я всегда сворачивал налево к дому. На этот раз я также хотел было свернуть, как вдруг Зося взяла меня за руку:

— Пожалуйста, давай поедем прямо, прошу тебя,— тихо проговорила она.

Я с удивлением взглянул на нее. Дорога перед нами вела к Вилянову, и по ней обычно ездили на воскресные прогулки начинающие водители машин.

— Что случилось? — спросил я, еще не понимая.

— Пожалуйста, Кшиштоф,— робко улыбнулась она,— хоть немножечко...

С трудом сдержав раздражение, я проскочил перекресток перед самым носом автобуса и нажал на газ. Немного погодя мы въехали в аллею царственно-величественных тополей.

— Не лети так, Кшись,— попросила Зося. В голосе ее вдруг зазвучали какие-то радостные нотки.— Смотри-ка, на деревьях появились листочки!

— Конечно,— деловито ответил я, сбавляя ход,— ведь уже май.

— А позавчера на деревьях еще ничего не было! — восхищенно продолжала она.

— О да, это просто поразительно,— подтвердил я с плохо скрываемой иронией.

Какого черта — взять и выбить меня вдруг из напряженного ритма моего дня для того лишь, чтобы поговорить о листочках! Мы вообще давно уже говорили друг с другом только по конкретным поводам. Я все еще не догадывался, что скрывается за этим ее поэтическим настроением.

— Сразу после обеда я должен ехать на...— попробовал я отрезвить ее.

— Иногда стоит и запоздать, Кшись,— ответила она и положила мне на плечо руку. Я насторожился: в устах Зоси, которая была пунктуальна, как сама обсерватория Гринвича, это звучало невероятно! Мы продолжали ехать молча, глядя на дорогу, окаймленную стройными, нежно зеленевшими тополями. И вдруг я понял: Зося пытается пробить образовавшийся между нами лед отчуждения! Я пришел в замешательство. Ничего не поделаешь, надо перетерпеть. А той молодой особе можно и позвонить, если я опоздаю. Так, в молчании, мы доехали до железнодорожного шлагбаума, где я свернул к Повсину.— Ты сможешь здесь проехать? — неожиданно спросила Зося и указала на почти невидимую в густом кустарнике проселочную дорогу.

Несмотря на мою явную холодность, она решила довести свой эксперимент до конца. Во мне всегда вызывали жалость отчаянные попытки женщин возбудить вновь чувство в мужчине, настолько к ним охладевшему, что это было заметно любому здравомыслящему человеку, но только не им самим; слепо и с каким-то прямо-таки мазохистским упорством они брели навстречу краху.

Я въехал на дорогу среди зарослей и остановился. Зося робко обняла меня и начала целовать. Я отвечал на ее поцелуи, но разжечь в себе страсть так и не смог. Место, которое она выбрала, как нельзя менее располагало к возрождению супружеских чувств: эту дорогу облюбовали некоторые владельцы машин для прогулок отнюдь не с женами. Я и сам недавно побывал здесь с одной дамой... Зося стала целовать меня еще крепче, а я обхватил ее правой рукой за талию, как более слабый боксер обхватывает более сильного, пережидая самую опасную серию ударов. Я смотрел вдаль поверх Зосиной головы, и мне были видны первые домишки Повсина. Я даже разглядел двух мальцов, кидавших друг в друга камнями,— один из них был в светло-желтом свитере. Вдруг губы

Зоси неподвижно застыли у моей щеки, она взглянула мне в глаза. Я оторвал взор от мальчишек — поздно. Зося поняла, что ее усилия напрасны, что возникшее между нами отчуждение слишком глубоко и ей уже никогда не увлечь меня своим волнением. В глазах ее была такая глухая печаль, что на какую-то долю секунды мне даже стало страшно: рухнула ее последняя ставка в жизни. Отодвинувшись от меня, она некоторое время сидела не шевелясь, потом сказала:

— Едем обратно, Кшись.

Мы снова выехали на шоссе. Зося смотрела вперед, искоса взглянув на нее, я заметил, как увлажнились ее глаза и по щеке медленно поползла одинокая слеза. Она не утерла ее. Мне было неприятно все это, но не больше. Вернувшись, мы сразу же завертелись в обычном водовороте, а вскоре я и вовсе позабыл об этом ее неожиданном порыве. Впрочем, внешне ничто не изменилось в наших отношениях. У меня не было ни малейшего намерения расходиться с Зосей: во-первых, нас объединяла наша дочь Эва, а во-вторых, Зося была женой не слишком требовательной и не слишком ревнивой. И лишь происшедшая в моей жизни катастрофа заставила мою память воскресить весь этот эпизод, отнюдь не такой маловажный, как мне тогда казалось. Но вернемся к событиям той пятницы, к 11 ноября 1966 года.

Выйдя из кухни, я снова наткнулся на Эву, которая выбежала из ванной. У нее оставалось пять минут для того, чтобы одеться и позавтракать. Она рассеянно взглянула на меня. Все в ее ленивой молодой натуре протестовало против необходимости вставать рано утром.

— Смотри двойку не схвати! — крикнул я ей вслед.

— Сам не схвати! — по-детски огрызнулась она, а я снова подумал, что надо бы с ней поговорить.

Каждое утро я принимал решение поговорить с ней, но в течение дня это твердое решение постепенно таяло, а когда нам удавалось встретиться за ужином, я думал уже о следующем дне и пользовался любым поводом, чтобы отложить этот разговор. Впрочем, Эва облегчала мои усилия избежать разговора: подготовка к выпускным экзаменам и разные школьные дела занимали все ее время, и она не задерживалась дома подолгу. Я знал, что иногда, когда меня нет, они беседуют с матерью, несколько раз они даже умолкали, как только я переступал порог. Но женская коалиция ничуть не тревожила меня, наоборот, это избавляло от необходимости думать о них.

Ныне, когда я смотрю на все другими глазами, мне стала ясна причина моей неприязни к дочери. Просто я инстинктивно бежал от мысли, что моя шестнадцатилетняя дочь становится физически зрелой. Я чувствовал себя слишком молодым для этого, слишком крепким, я не давал без борьбы столкнуть себя в ряды среднего поколения и на девушек старше Эвы на два-три года все еще смотрел как на возможный объект флирта. И хотя я не признавался себе в этом, вид столь предательски выросшей под самым моим носом молодой женщины выводил меня из себя: это было личное оскорбление, злая шутка! Поэтому я не желал замечать ее расцветшую женственность, ее красоту и продолжал относиться к ней как к маленькой школьнице, с которой прежде всего следует говорить об отметках. Это вызывало в ней раздражение и бунт, что, в свою очередь, отдаляло нас друг от друга еще больше.

Когда теперь я размышляю над этим моим смешным и столь затянувшимся (ведь мне шел пятый десяток!) «молодечеством», мне приходит в голову, что не только мое превосходное здоровье и мужская полноценность, бунтующие против быстрого бега времени, были тому причиной, но и некоторые факты моей биографии, типичной, впрочем, для всего моего поколения. Шесть военных лет, а также почти пятилет-

ний послевоенный период нашего восстановления заморозили во мне способность расходовать энергию на что бы то ни было, кроме борьбы с трудностями. Позже, когда я уже был женат на Зосе, пришлось наверстывать упущенное для жизненной карьеры время, и в эти годы мне тоже было не до танцев. Все это заглушило во мне и юношескую беззаботность, и врожденную мужскую склонность к полигамии, но не убило их, и они нашли выход в годы, отведенные человеку календарем уже для семейной жизни, телевизора и обрастания жиром. А я всего несколько недель назад понял, что эти метания сделали из меня смехотворную и двузначную фигуру: этакого папеньку-юнца, чинушу-повесу, с лысиной, но с собственной машиной и бутылкой водки в кармане. Впрочем, теперь я понимаю и многие другие вещи, которые месяц назад еще не приходили мне в голову, но об этом позднее.

Захлопнув за собой входную дверь, я мгновенно отделался от мыслей об Эве, так же как, выйдя из кухни, перестал думать о Зосе. Сев в машину, я жил только предстоящим днем.

Мое учреждение помещалось в центре города, в одном из тех колоссальных административных зданий, которыми в начале пятидесятых годов пытались мумифицировать сердце столицы. Я вошел в кабинет, когда часы пробили восемь. Вопреки распространенному обычаю, я был пунктуален и требовал того же от других. Не стану подробно описывать ни своего учреждения, ни чем мы занимались, скажу только, что оно было небольшое, но в значительной степени самостоятельное. Я организовал его несколько лет назад и руководил им, подчиняясь начальнику более крупного учреждения, который оказывал мне самое полное доверие. Мы работали на экспорт, но продавали за границу не товары, а изображенный на бумаге или кальке продукт человеческой мысли — архитектурные планы и проекты. Надо сказать, что продавать замыслы куда легче, чем торговать готовым товаром, потому что мы достаточно изобретательный народ, но при реализации своих замыслов часто теряемся. Торговля же замыслами приносит государству весьма необходимую ему валюту, а их авторам — международную известность. Наша деятельность требовала предприимчивости и оперативности, и потому при нашем учреждении имелась небольшая чертежная и архитектурная мастерские.

И тут я должен коснуться весьма болезненного для меня вопроса. Дело в том, что, хотя через семь лет после войны я все-таки закончил политехнический институт, знания мои оказались поверхностными. Когда я демобилизовался, мне было уже двадцать пять лет, и я вынужден был зарабатывать на жизнь, тем более что уже был женат, а вскоре родилась и Эва. Не имея возможности всерьез заниматься учебой, как это делает любой нормальный студент, я отдавал ей лишь жалкие минуты, какие мог урвать, будучи мужем, отцом, кормильцем семьи. У меня никогда не бывало выходных, экзамены я одолевал, переползая на жиденьких троечках, все мои в спешке заученные знания довольно быстро улетучивались, и когда мне наконец выдали диплом, я вдруг почувствовал в голове трагическую пустоту. В таком же положении очутилось много моих сверстников, также отставших из-за войны, и это служило мне оправданием: ведь знал же я немало таких, кто вообще бросил учиться! Вскоре, однако, оказалось, что трудные условия учебы никого не интересуют: в расчет шли только знания, и никакие военные заслуги или награды не могли их заменить. Иногда я с горечью рассматривал эти награды, и мне приходило в голову, что история порядком меня надула. Мой товарищ по школе Юзек Червяковский, здоровенный бык, всю войну даже не нюхал подполья: он, видите ли, не желал вмешиваться в политику, потому что хотел учиться. И учился, старательнейшим образом изучая механику на занятиях тайных университетов. Потом,

когда немцы разрешили возобновить занятия в Высшем техническом училище, он окончил это училище. Я презирал его тогда как изменника и труса. А ныне он выдающийся ученый, член многочисленных международных обществ, и мне приходится подолгу выстаивать у него в приемной, прежде чем его секретарша изволит впустить меня к нему. Да и разговаривает он со мной покровительственным тоном, как с дураком. А ведь в школе я был гораздо способнее его в точных науках.

Кто из нас был прав? Трудно сказать. Во всяком случае, несмотря на все мои старания и усилия, я постоянно чувствовал себя недоучкой, выскочкой. С течением времени это раздражающее чувство лишь крепло во мне, хотя я и заглушал его своей энергичной деятельностью. И вместо того чтобы целиком посвятить себя проектированию, я из опасения потерпеть полный крах стал постепенно организатором и наблюдателем чужого творчества. Таким образом я мог тешить себя иллюзией, что когда-нибудь сброшу с себя обязанности организатора и засяду за главное дело своей жизни — создам проект, который поразит мир.

В ту пятницу, 11 ноября, я не сразу окунулся в будничный водоворот: сначала мне предстояло выбрать новую секретаршу. Секретарш у нас, как известно, больше чем достаточно, но хорошие среди них — деликатес, редкий, как икра. Кружит и кружит веселый женский хоровод, в первые дни все они стараются, как только могут, но вскоре сбавляют обороты и постепенно погружаются в сон. К сожалению, сама их профессия располагает к этому. Когда пыл гаснет, остается лишь жалованье, а это, увы, слишком скромный стимул для производительной работы. Поэтому я часто пускал в ход дополнительную пружину: старался влюбить в себя секретарш (замужних женщин, особенно имевших детей, я никогда к себе на работу не брал). Влюбленная секретарша, которую вы постоянно держите на расстоянии, лезет из кожи вон, предупреждает все ваши желания и каждую морщинку на вашем челе переживает как личную трагедию. Так можно протянуть некоторое время, туманными намеками подогревая в ней надежду: «О, он заметил мою блузку!», «Он три раза улыбнулся и один раз мягко посмотрел на меня», «Положил мне на плечо руку, наверно, будет пытаться... а может быть, он разойдется ради меня с этой коровой?» Впрочем, конец неизбежен: не добившись своего, секретарша постепенно остывает, становится равнодушной, а поскольку природа не терпит пустоты — на арене появляется какой-нибудь болван. Так было с моей последней секретаршей Юлитой. Она работала, как математическая машина, вздыхала, показывала ножки во всей красе, а потом ко мне в приемную явился некий конструктор, чтоб предложить свою идею. Ему пришлось подождать, пока у меня закончится совещание и... три недели спустя Юлита отбыла с этим хамом в свадебное путешествие по Югославии! Конечно выход был: можно было брать на работу секретарш некрасивых, лучше всего старых дев, склонных к тихому и многолетнему обожанию. Но такого уровня житейской мудрости я еще не достиг, а напротив, проповедовал теорию о том, что окружать себя красивыми женщинами — чистая необходимость, ибо это привлекает людей и идет на пользу делу. «Покажи мне свою секретаршу, и я скажу, кто ты!» — утверждал я.

В тот день меня ожидали в секретариате две кандидатки. В открытой двери мелькнула какая-то весьма эффектная девица, но первой в кабинет вошла не она. Лицо вошедшей было мне знакомо. Я взглянул на листок с ее фамилией — ну конечно же! Это была вдова моего приятеля студенческих лет Боженцкого, который год назад погиб в автомобильной катастрофе. Когда-то он снабжал меня своими аккуратными конспектами, и, увидев некролог о нем, я отправился на похороны. Его хоронили на одном из скромных городских кладбищ, под звуки траурного

марша, доносившегося из репродуктора. Директор электромеханического завода, где работал покойный, произнес краткую речь, потом на могилу возложили несколько венков и все присутствующие по очереди выразили вдове сочувствие. Вся эта процедура заняла двенадцать минут. Похороны были такими же, каким был он сам,— тихие и скромные. Мы все поспешили к своим машинам, и на кладбище осталась только вдова — застывшая, хрупкая фигурка. Коллеги мужа попробовали было отвезти ее домой, но она отказалась, ей хотелось остаться одной. Я почти не знал ее, потому что дружил с Боженцким, когда он еще не был женат, и теперь она стояла передо мной как видение прошлого. Ей было не больше тридцати пяти, но со времени похорон она очень постарела. Кто-то говорил мне, что она стала сильно недомогать, видно, болезнь доконала ее. Лицо ее, некогда бело-розовое, было теперь серым и болезненным, правда, она по-прежнему была изящной, но стройность ее фигуры уже граничила с худобой. Я вышел из-за стола, поцеловал ей руку и усадил в кресло. Разумеется, у меня и в мыслях не было брать к себе на работу эту больную, непривлекательную и, должно быть, неумелую в делах женщину только потому, что она была женой моего давешнего коллеги. Но следовало как-то деликатно выйти из этого неловкого положения.

— Что у вас слышно? — спросил я.— Как вам живется? Где работаете?

Она грустно улыбнулась. На какую-то минуту улыбка вернула ей былое обаяние. Но ведь я уже успел увидеть вторую кандидатку...

— Да вот стараюсь жить, как умею,— ответила она.— Я как раз по этому вопросу...

— Чем могу быть полезен? — поспешил спросить я с готовностью, какую могла ожидать от меня вдова приятеля.

— Мне говорили, что у вас тут освободилось место секретарши,— робко проговорила она.

— Мой боже! — воскликнул я.— Если б вы появились хотя бы днем раньше!

— Вы уже приняли кого-то?

— Увы...

Она испытующе посмотрела на меня. Я выдержал ее взгляд.

— Работа у нас утомительная, нервная,— торопливо пояснил я.— И трудно даже говорить о продолжительности рабочего дня, потому что я часто работаю здесь по вечерам. Зарплата же секретаря невелика, таково уж наше штатное расписание, так что не стоит и жалеть об этом.

— Хотите отпугнуть меня,— улыбнулась она.— Ничего не выйдет, я вынуждена работать.

— Ваше образование?— спросил я.

— Два курса экономического...— прошептала она,— я бросила учебу после смерти Янека.

— Понимаю. Вы уже работали когда-нибудь?

— Да. Я как раз и была экономистом. Но теперь согласна на любую работу...

— Кажется, у вас с Янеком не было детей?

— Нет,— ответила она.

Разговор не клеился, но Боженцкая продолжала сидеть. «Конечно ей нужна работа,— подумал я,— только работа может внести хоть какой-нибудь смысл в жизнь этой никому не нужной бесцветной женщины».

— Оставьте, пожалуйста, в секретариате свой адрес,— сказал я.— Если только что-нибудь подвернется...

— Я дошла до гочки...— тихо сказала она.

— Позвольте помочь вам, так сказать, единовременно...— я сунул руку в карман.

— Я говорю о работе. Мне нужна работа,— ответила она и встала.

Аргументы мои были, казалось, бесспорны, но я все же предпочитал не встречаться с ней глазами. Конечно, она сразу поняла, что я не возьму ее, верно, ей отказывали не в первый раз. Она протянула мне руку. Ладонь была горячая.

— Не больны ли вы? — встревожился я.

— Ну, что вы! — живо возразила она.— Я вполне смогу быть хорошей секретаршей... Может, мне зайти узнать завтра?

— Зайдите,— ответил я, почувствовав себя несколько уязвленным ее настойчивостью.— Если та кандидатка не явится... Но на это почти нечего рассчитывать... Во всяком случае, я буду помнить... Янек был таким порядочным человеком!

Она улыбнулась и вышла. А я подумал, что, если бы ее как следует одеть, вылечить и подкормить, она еще могла бы стать снова красивой женщиной. К сожалению, у меня не было времени на сентименты. «Божена Вацлавек»,— прочитал я фамилию второй кандидатки.

Божене Вацлавек было двадцать лет. В комнате даже посветлело, когда она вошла в красном платье выше колен, ступая своими длинными ногами в модных узорчатых нейлонах. Она была крашеной блондинкой и вообще не скупилась на косметику. Особенно много краски было положено вокруг глаз, действительно очень красивых; во взгляде ее чувствовались трезвость и смекалка. Молодая, эффектная и яркая, она, очутившись в умелых мужских руках, могла бы усвоить хороший вкус и чувство меры и стать королевой нескольких сезонов. Во всяком случае, это было ценное сырье, которое всегда котируется.

— Садитесь, пожалуйста,— я указал ей на кресло.

Она села. Короткое платье поползло вверх, еще больше обнажив ноги. Ноги были безукоризненные.

— Ваше образование? — спросил я с чуть приметной иронической улыбкой.

С молодыми красивыми девушками я всегда говорил этаким ироническим тоном, подчеркивая свое превосходство. Малейшее преждевременное проявление страсти вело к провалу, девица на глазах наглела, начинала ломаться, набивая себе цену, одним словом, садилась на голову.

— Девять классов,— ответила она уверенно.— Но я многое умею.

Она смотрела на меня выжидающе, готовая продемонстрировать свои познания. Я снял трубку телефона.

— Пожалуйста, соедините меня с директором,— небрежно бросил я в трубку. Разговор с важным лицом был не самым изысканным, но зато наиболее действенным приемом, безошибочно внушавшим почтение глупцам обоего пола.

— А почему вы не закончили школу? — по-отцовски сурово спросил я.

— Влюбилась,— ответила она.— Но он оказался негодяем.

— А потом?

— Потом я поступила на работу в кафе «Соблазн», но меня выжили оттуда бабы,— искренне созналась она.— Потом я пристроилась в одну контору...

— Какую?

— В артель по изготовлению товаров из пластмассы. Я была там секретаршей,— нехотя пояснила она.— Но на меня взъелась жена заведующего. Жизнь не легка, если ты одинока...

— И красива,— добавил я с иронией. Брать на работу эту девушку, конечно, было полным идиотизмом. Вместо того чтобы заниматься делом, она разведет вокруг себя сплетни, создаст в учреждении нездоровую атмосферу, а в секретариате — ералаш.

Заметив мои сомнения, Божена смотрела на меня широко открытыми, молящими глазами.

Зазвонил телефон. Я снял трубку.

— Привет, шеф! — сказал я тоном старого приятеля, хотя и с некоторой ноткой почтения.— Сегодня приезжает Филлони из Милана. Разумеется, я заберу его с аэродрома. Но если бы и вы могли появиться, это придало бы переговорам бóльшую значимость... Ну, скажем, завтра, в субботу... Исключается? Тогда, может быть, в воскресенье?.. Отлично. Устроим обед в «Гранд-отеле»... Спасибо.

Я повесил трубку. Известие о прибытии итальянца и обеде в «Гранд-отеле» произвело на девушку должное впечатление. Я мог бы немедленно овладеть ею, тут же, на моем письменном столе,— до того ей захотелось поступить к нам на работу. Но я продолжал молча смотреть на нее, твердо выдерживая ее просящий взгляд. Она была целиком в моей власти вместе со своим глупым расчетливым умишком.

— Вы умеете печатать на машинке? — спросил я. И вдруг меня пронзила сильная боль в паху. Это длилось какую-то минуту, и как только боль исчезла, я поднялся и вышел из-за стола.

— Да, все что надо отстукаю,— ответила она.

— Я приму вас на пробу, но предупреждаю: я очень требователен. А сейчас пройдите в отдел кадров, они введут вас в курс дела. Желаю успеха.

Это было сказано таким начальственно-холодным тоном, что она и догадаться не могла о моих подлинных мыслях. Впрочем, в эту минуту она не была нужна мне. Пусть немножко поработает, покоренная моим обаянием и недоступностью. Я вводил ее в орбиту своего многоступенчатого, перспективного плана.

— Вы не пожалеете об этом, пан директор,— сказала она, улыбаясь.

— Не сомневаюсь,— убежденно ответил я.

Как и большинство подобных ей девиц, Божена не умела как следует продать себя. Хотя варшавский мужской рынок вообще-то выглядел довольно убого и у красивой девушки был не ахти какой выбор, у нее все же оставалась возможность попасть на конкурс песен, или сняться в кинофильме, или же устроиться на телевидении. На худой конец она могла попытаться пристроиться в какой-нибудь танцевальный ансамбль или манекенщицей в Дом моды. Если же ей не удалось бы и это, она могла подыскать себе какого-нибудь невзрачного, но влиятельного покровителя и блистать некоторое время в среде художников и артистов, прожив яркую и недолгую жизнь бабочки, а потом — или найти себе мужа, или исчезнуть с горизонта, накопив горечь в своем глупом сердце. Ибо к честному труду она оказалась бы уже непригодной.

— Вы не знаете ни одного иностранного языка? — неожиданно спросил я.

— По-французски кое-как объясниться сумею,— поспешила сообщить она.— Я познакомилась на курорте с одним французом, и мы очень мило болтали.

Я живо, совершенно пластически, представил себе эту «болтовню».

— Поедете со мной на аэродром,— распорядился я.

Мы были очень заинтересованы в этом итальянце, а появление рядом со мной красивой девушки могло разрядить скуку официальных переговоров и способствовать решению многих вопросов.

Дверь открылась, распахнутая энергичным жестом. В кабинет вошел мой заместитель, начальник отдела технических проектов инженер Обуховский. Здесь для ясности необходимо сказать несколько слов. Я обратил внимание на Обуховского еще несколько лет назад. Как проектировщик, он большой ценности не представлял, но был трудолю-

бивым, точным, выносливым работником и не бросал слов на ветер. Такой человек и был мне нужен для практического руководства учреждением. Он стал моей опорой, и по моему предложению его дважды повысили в должности. Мне хотелось иметь рядом с собой человека, многим мне обязанного. И, действительно, Обуховский не сводил с меня преданных глаз, работая как машина, включенная на двойные обороты. К сожалению, он не грешил сообразительностью, но зато обладал огромной пробивной силой, за что я и прозвал его в душе «танком». Как основатель и руководитель бюро, я чувствовал себя некоторое время незаменимым, однако постепенно эту оптимистическую уверенность начала подтачивать какая-то подсознательная тревога. Ведь я был всего лишь организатором чужой деятельности, а в таких делах незаменимых не бывает. Другое дело, если бы я показал, на что способен, создал бы нечто уникальное — Проект Моей Жизни! Временами меня охватывало болезненное чувство, будто надежды мои обмануты, но я быстро отгонял его, уходя с головой в свои обычные дела.

И все же я стал подозрительным. Я уже видел иногда Обуховского в ином свете, раздумывая над тем, не попрет ли он однажды в гору, этот не удовлетворенный достигнутыми успехами «танк», и не раздавит ли меня, чтобы занять мое место. Когда-то я наблюдал подобную трагедию: человек, всем и вся обязанный своему шефу, самым грубым образом воспользовался тем, что тот споткнулся, и немедленно занял его место. Некоторые поступки, слова, жесты Обуховского стали теперь казаться мне подозрительными и двусмысленными, в его преданном взгляде чудились недобрые огоньки. А что, если он прощупывает, насколько я твердо стою на ногах, приглядывается, вынюхивает, как кто ко мне относится и кто где меня поддерживает, накапливает против меня материалы и ждет подходящего момента? Я стал вдруг чувствовать себя учеником колдуна, вызвавшим к жизни силу, с которой он уже не может совладать. О том, чтобы избавиться от Обуховского, не могло быть и речи, он врос в жизнь бюро, как столетний дуб в мазовецкую землю. Конечно, мои позиции у начальства были как нельзя более крепкими, и выжить меня из моего кресла было бы не так-то просто. Но Обуховский с его упорством и выносливостью был способен спихнуть с пьедестала даже памятник Шопена. Поэтому я на всякий случай предпринял соответствующие меры и подыскал себе союзника против Обуховского.

Столкнувшись в дверях с Боженой, Обуховский внимательно оглядел ее.

— Моя новая секретарша,— пояснил я, когда он уселся.

— Поздравляю,— многозначительно улыбнулся он.

Глаза его светились пониманием, он был снисходителен к этой слабости любимого начальника, но выражение его глаз могло означать и другое: я, мол, понимаю, что ты для собственного удовольствия нанял на государственные деньги эту девицу, и в случае чего могу выдвинуть против тебя это обвинение...

— Хорошо, что вы пришли, коллега,— сказал я. Обуховский, стремясь сблизиться со мной, уже не раз предлагал мне совместную выпивку с поцелуями на брудершафт, но я всегда уклонялся от этого.— Сегодня приезжает наш итальянец Филлони. Готова ли документация?

Обуховский положил передо мной лист бумаги. Это был список работ, участвующих в конкурсе на предложенную итальянцами тему. Из этих работ они намеревались отобрать и купить то, что им понравится. В списке значилось около десяти фамилий авторов, связанных с нами договором или работающих в нашем бюро. Одним из первых был назван проект Обуховского. Я знал, что у него нет никаких шансов заинтересовать покупателей: несмотря на все свое трудолюбие, Обуховский, к сожалению, был совершенно не способен создать что-либо новое

и только более или менее удачно компилировал то, что придумали другие. И если я страдал от того, что растерял свои способности, не подкрепив их вовремя добросовестной учебой, то Обуховский, инженер с дипломом, вызубривший все, что только можно, приписывал свои творческие неудачи исключительно лишь интригам и окружавшей его зависти, неизбежной при подобном быстром продвижении. Я не собирался разуверять его. Наоборот, я сам выдвигал его проекты повсюду, чтобы он не мог заподозрить меня в недружелюбии. В то же время я таким образом выставлял напоказ его бездарность.

— Не вижу здесь фамилии Радневского,— сказал я, внимательно прочитав список.— Ведь его проект признан выдающимся.

В глазах Обуховского сверкнула злость. Наконец-то он попался.

— Быть может, его проект и имеет свои достоинства, но он недоработан,— ответил мой зам.— Радневский так уверен в себе и в своих гениальных идеях, что работает левой ногой.

— Но, увы, он действительно очень способный,— заметил я.— Лично мне не нравятся его взгляды на жизнь, но обойти его мы не можем. Если товар будет с брачком, итальянец его не купит. Однако наша обязанность — выложить товар на прилавок.

— Но это же легкомыслие! — вскричал Обуховский, который корпел над своим проектом не одну сотню ночей, как монах над рукописью.— Тем самым мы окажем поддержку халтуре! Ему только двадцать девять лет! Пусть еще поучится! Легкий успех с нашей помощью окончательно развратит его.

Я снисходительно улыбнулся. Обозлившийся «танк», который в свои двадцать девять лет лишь с трудом кончал институт, не мог скрыть ненависти к способному «сопляку» и ни за что не хотел допустить его к участию в конкурсе.

— Коллега Обуховский,— сказал я теплым, сердечным тоном.— Я старше вас только на год, но абсолютно уверен в том, что непозволительно тормозить выдвижение молодых талантов. Это может лишь поставить вас в смешное положение. Заняв диван, вы хотели бы сидеть на нем бесконечно долго, не уступая молодым ни пяди пространства.

— Но я работаю всего только десять лет! — воскликнул Обуховский.— И не понимаю, почему я должен что-то кому-то уступать!

— Они-то начинают свою деятельность вовремя,— засмеялся я.— И какое им дело до того, что мы с вами крупно опоздали, потому что сражались за родину в самой большой войне всех времен?

Обуховский беспокойно заерзал. Все знали, что годы войны он провел в деревне, где был помощником органиста в костеле и при виде немцев или партизан немедленно прятался в обширном подвале костела. (Известие это раскопал в деревне и с удовольствием распространил в нашем учреждении один из его заклятых врагов.)

— Я ничего не имею против молодежи,— доверительно прошептал он.— Но этот Радневский просто наглец... Пропусти мы его хоть раз, он всех нас выживет отсюда! Вспомните мои слова!

Этого-то мне и надо было. Я нажал на кнопку звонка. В дверях появилась изящная фигурка Божены. Она быстро усвоила свои функции. Я отечески улыбнулся ей.

— Попросите сюда, пожалуйста, инженера Радневского.

Божена бросила мне томный взгляд и исчезла.

Обуховский пытался овладеть собой после приступа злости и как-то загладить свой промах.

— Видите ли... Не подумайте, что я вообще так о молодежи... Мы же вместе с вами создавали для молодежи все условия, как и было рекомендовано вышестоящими лицами... Но вы должны согласиться, что этот Радневский...

— Значит, по-вашему, лучше выдвигать середнячков, которые нам не опасны, так, что ли? — безжалостно улыбнулся я.— А если появится молодой человек недюжинных способностей, то...

Я замолчал, так как в дверях показался Радневский. Это был молодой блондин, худощавый, красивый и уверенный в себе,— мой протеже, мой союзник в борьбе с «танком». Я безошибочно предугадал реакцию Обуховского: чувствуя в Радневском и талант, которым не обладал сам, и силу, не меньшую, чем его собственная, он очень встревожился при мысли о возможной диверсии у себя в тылу. Я же лишь расставлял фигуры в этой партии и теперь присматривался к их ходам с добродушной улыбкой, чувствуя себя снова полным хозяином положения.

Радневский тихонько вошел, сел на указанный ему стул и вопросительно заглянул мне в глаза, как первый ученик учителю.

— Я убедил коллегу Обуховского, что ваш последний проект все же следует представить итальянской фирме,— сказал я улыбаясь.— Правда, в нем имеются существенные недостатки, но сама идея смелая и заслуживает дальнейшего изучения. Будьте любезны, подготовьтесь к обсуждению. Оно состоится завтра.

— Благодарю вас, пан директор! — искренне воскликнул Радневский.

Глаза у него горели от возбуждения. Должно быть, в эту минуту он воспылал ко мне любовью: наконец-то перед ним приоткрылись врата рая. Таким образом, я достиг, чего хотел: заслужил благодарность Радневского, настроив его против Обуховского. Что же касается последнего, то он теперь и не пикнет; пусть-ка вместо того, чтобы подсиживать меня, проведет несколько бессонных ночей в размышлениях о том, как бы побольнее лягнуть Радневского в его одаренную задницу.

В этот момент, будто специально по моему заказу, позвонил мой шеф, директор Тшос. Он просил сообщить некоторые данные для предстоящей беседы с начальством.

— Ах да, вот еще что! — вспомнил я под конец разговора.— Наш молодой, подающий большие надежды коллега, инженер Радневский... да, Радневский... разработал очень интересный и оригинальный проект. Я готов дать голову на отсечение, что итальянцы купят его... Да, да, растут у нас молодые таланты...

Лицо Радневского порозовело от удовольствия, как булка в духовке, политая маслом. Глаза же Обуховского потемнели от ярости. Я тут же мысленно поставил ему двойку с минусом за то, что он не сумел проиграть этот раунд с улыбкой. Столь легко разоблаченный, он переставал меня тревожить.

Радневский снова поблагодарил меня, а я многозначительно подмигнул ему и выпроводил их обоих: и своего потенциального врага и своего опекаемого.

Начав прием посетителей, я быстро отделался от еще двух кандидаток в секретарши и велел подать кофе для конструкторов и проектировщиков, прибывших к нам со своими замыслами. Время шло быстро, каждый из присутствовавших старался произвести выгодное впечатление, а следовательно, оказывал мне знаки внимания и уважения, не гнушаясь порой даже примитивной лестью. Свойственное мне ироническое восприятие действительности куда-то испарялось в таких случаях, я превосходно чувствовал себя в этой искусственной атмосфере возвеличивания, хотя знал, что обязан такому возвеличиванию не моим личным достоинствам или знаниям, а той крупице власти, которой был наделен и без которой был бы ничем. Но, повторяю, я прочно сидел в своем кресле.

Итак, время бежало быстро, а настроение к тому же улучшалось еще из-за Божены: ее стройная фигурка то и дело мелькала в дверях.

Пора было ехать на аэродром. Я уже надевал пальто, когда в каби-

нет вошел наш бухгалтер Давидович. Это был сухощавый и седой уже человек, он вот-вот должен был выйти на пенсию. Накануне, в четверг, умер его шурин, бездетный вдовец, и Давидович не смог быть на работе, так как ему пришлось заниматься похоронами.

Сейчас он принес на подпись какую-то бумагу, а когда я подписал ее, вдруг сказал:

— Я вынужден просить вас дать мне еще два свободных дня, сегодня и завтра, мне нужно отправиться на поиски гроба.

— Вы потеряли гроб? — удивился я.

— Нет,— печально улыбнулся он.— Городское похоронное бюро располагает только гробами из голых досок, по триста злотых за штуку. Других гробов нет во всей Варшаве. Моя жена категорически отказывается хоронить брата в таком гробу. «Я,— говорит,— не смогу на похоронах людям в глаза взглянуть».

— Прекрасно понимаю ее,— ответил я.— А что, есть виды на успех?

— Трудно сказать. Может, за некоторую мзду мне удастся достать гроб из-под прилавка. А если и это не выйдет, придется взять грузовое такси и отправиться в объезд по городам варшавского воеводства.

— Но ведь гроб можно сделать по заказу,— вспомнил я.

— Увы, заказы выполняются очень долго. Тело не выдержит.

— Минуточку.— Я снял телефонную трубку и сказал Божене: — Соедините меня с директором городского похоронного бюро.

Я любил помогать сотрудникам своим влиятельным вмешательством. Просто хотелось оказать им помощь и заслужить их благодарность, а следовательно, еще более укрепить собственное положение. К тому же я не упускал случая произвести на них впечатление своими связями и умением устраивать дела.

— Приветствую вас, товарищ директор,— сказал я в трубку.— Мой сотрудник не может похоронить родственника, поскольку у вас имеются гробы только из голых досок, а он не может на это согласиться. Неужели это правда, товарищ директор?

— К сожалению, да,— огорченно ответил тот.— Мы столкнулись с объективными трудностями: временное отсутствие сырья, низкая пропускная способность столярного цеха, а главное — сверхплановая смертность к концу календарного года.

— Почему же это сверхплановая, товарищ директор? — строго спросил я.

— Потому что она выше среднего показателя прежних лет,— пытался оправдаться директор.— Это, между прочим, объясняют усилившимися колебаниями атмосферного давления. Но мы уже приняли энергичные меры, чтобы подобная ситуация никогда не повторилась.

— Но мой-то сотрудник что должен делать, товарищ директор?— нетерпеливо воскликнул я.

— Мы рассчитываем к концу этой недели, самое позднее в начале будущей...

— Да ведь тело не может ждать десять дней, оно же в теплой комнате! — вскричал я.— Неужели у вас нет какого-нибудь спецфонда?

— Если бы я сам умер завтра, моя жена оказалась бы в том же положении, что и ваш сотрудник,— печально ответил директор.

— Я ей этого не желаю, товарищ директор,— со злостью резюмировал я и швырнул трубку.

Давидович смотрел на меня, меланхолически улыбаясь.

— Благодарю вас, пан директор,— сказал он.— Я поеду сам...

— Желаю успеха,— вздохнул я.

Мне захотелось как можно скорее выкинуть из головы этот гроб, и я протянул Давидовичу руку, изобразив на лице подходящее выражение. Вдруг боль в паху снова дала знать о себе. Это была какая-то пуль-

сирующая боль, точно кто-то лягал меня изнутри. Я так и остался стоять в дверях, с нетерпением ожидая, когда минует этот неожиданный приступ. Минуту спустя боль действительно улеглась, и я наконец смог поехать на аэродром.

Неприятная история с гробом быстро улетучилась из моей памяти, я вел машину с небрежной уверенностью, изящно нырял в потоки других машин и мастерски, с точностью до сантиметра тормозил. Щеголяя своей ловкостью перед Боженой, я в то же время убеждал и себя, что еще вполне молод и силен, а сознание того, что мне достаточно лишь протянуть руку, и эта сидящая рядом красивая девушка станет моей, наполняло меня легкой радостью. Жизнь казалась мне сейчас рядом волнующих эпизодов, переплетенных друг с другом, точно звенья какой-то мерцающей заманчивыми огоньками цепи. Цепь эта исчезала в таинственной, но непременно светлой дали.

Мы доехали до аэродрома Окентье, почти не разговаривая, поскольку я продолжал сохранять положенную в данной ситуации дистанцию. Лихо облетев небольшую площадь, я остановил машину на стоянке и распахнул дверцу. В этот момент мои кишки снова пронзила боль, но только на мгновение. Я еще не задумывался над нею, приписывая ее какому-нибудь легкому отравлению. До сих пор я никогда не прислушивался к тому, что происходит в моем организме, вообще не задумывался над тем, происходит ли в нем что-нибудь.

Когда мы вошли с Боженой в зал ожидания, на нас со всех сторон стали смотреть: на нее с вожделением, на меня с завистью. То, что я шел с красавицей, которая привлекает к себе всеобщее внимание, окончательно вернуло мне доброе настроение.

— Этот итальянец — важная особа? — спросила Божена, также возбужденная новой для нее ситуацией.

— Важная. Он представитель крупной богатой фирмы.

— Как вы хотите, чтобы я вела себя?

— Как светская дама: кокетливо, но с достоинством. Это будет вашим экзаменом.

— Я даже боюсь,— вздохнула она, действительно волнуясь.

— А я не боюсь за вас. Мне кажется, вы способный человек.

— Я никогда не играла роль дамы. В случае чего наступите мне на ногу, ладно?

— Ладно,— кивнул я.— А если это не поможет, сочту, что вы не сдали экзамена.

— Я в вашей власти,— прошептала она покорно.

— Тебе повезло, дитя,— ответил я с искренним убеждением.

Весь этот разговор-намек проходил по схеме, которой я уже не раз пользовался. Девушка реагировала правильно. Но теперь флирт следовало прервать: на сегодня никаких намерений у меня по отношению к Божене не было, а дальше будет видно.

В это время как раз объявили о прибытии самолета из Рима. В зал ожидания вошло трое мужчин. Остановившись неподалеку от нас, они продолжали вполголоса разговаривать. Один из них, седовласый, был известным прозаиком. Второй, худой и нервный, заметив меня, несколько принужденно улыбнулся мне. Я поклонился в ответ и тоже улыбнулся. Это был мой однокашник Янек Сувальский, ныне — известный поэт, утонченный и малопонятный. Я читал хвалебные рецензии на его книги, где писали, что он занимает в нашей литературе почетное место. В последнее время мы виделись редко и всегда мельком, принадлежа, по сути, к двум разным мирам: я жил в мире конкретного, в постоянном действии, в движении, он — в мире раздумья, созерцания и творческого одиночества.

Извинившись перед Боженой, я подошел к нему.

— Привет, Янек,— сказал я, пожимая его руку с деланной сердечностью.— Я снова читал много похвал по твоему адресу...

— Просто я заключил с несколькими друзьями договор о взаимном поклонении,— ответил он с фальшивой искренностью.— А вот ты зато то и дело мелькаешь с прелестными женщинами.

Говоря это, он взглянул на Божену. Та улыбнулась, как девица с плаката, рекламирующего зубную пасту.

— Своего рода компенсация,— ответил я с мнимой горечью,— я ведь только чиновник.

— Я бы тебе не пожелал такой голгофы, как моя,— сказал он.— Ты выбрал лучшую долю. Живешь и работаешь, как нормальный человек...

— А успех, слава? — рассмеялся я.

— Это только видимость,— ответил он и хотел что-то добавить, но из зала таможенного досмотра начали выходить первые пассажиры, и среди них, вероятно, какой-то поэт, судя по его густой седой шевелюре. Сувальский с товарищами направились к нему. Я не люблю этой позы художников или писателей, вроде бы тоскующих о нормальной жизни, честном труде с восьми до четырех и трамвайной толкотне в часы пик. Хотел бы я видеть этого болезненного неврастеника на какой-нибудь настоящей работе. Впрочем, у меня были с ним счеты с давних времен, мы не любили друг друга, и разговор наш был с некоторым подтекстом, но об этом позднее.

Из зала досмотра наконец выскочил наш итальянец, и я многозначительно коснулся руки Божены.

Итальянец был живым, красивым и довольно молодым человеком. Богатые родители быстро продвинули его на высокий пост в фирме. Капитализм был его стихией, и он жил беззаботно, не обремененный ответственностью ни за судьбы народа, ни за собственное семейство. Был он холост, жил в Милане в роскошных апартаментах и ездил на белой машине марки «феррари». Я навестил его, когда был там в командировке, и он принял меня так же, как жил, то есть, в нашем понимании,— по-королевски.

Увидев меня, он просиял, швырнул на пол свой шикарный, ультрамодный чемодан и, бурно жестикулируя, быстро залопотал что-то. И тут он заметил Божену. Я поспешил представить ему свою секретаршу, а он онемел и застыл с широко разведенными руками, как на замершем кинокадре. Удар пришелся точно, Божена оказалась воплощенной мечтой пылкого южанина.

Он схватил и поцеловал ее руку, снова замер от восторга, потом задрожал и, с трудом овладев собой, повернулся ко мне.

Мимо проходил носильщик, я окликнул его, и мы направились к выходу. Я почувствовал себя неважно: инициатива явно ускользала от меня — вместо того, чтобы служить эффектным украшением встречи, Божена становилась ее героиней!

Поместив Божену сзади, а итальянца рядом с собой, я быстро погнал машину. Он говорил со мной по-английски, но то и дело оборачивался к Божене с улыбкой мученика, томящегося в ожидании у врат рая. Я заметил в зеркальце, что она тоже раскраснелась.

Когда мы въехали на улицу Жвирки и Вигуры, меня снова схватила боль в паху. Я застыл, сжав руль, но дорога была прямая, так что можно было не останавливать машину. На этот раз я встревожился, но уже на Вавельской боль отпустила меня, и мы без хлопот доехали до отеля. Там нас уже ожидал Обуховский, который должен был устроить итальянца в гостинице и потом привезти его к нам в учреждение на переговоры. Увидев Божену, Обуховский покосился на нее, справедливо догадываясь.

что она помешает ему облизывать иностранного гостя. Я же поспешил оставить ее «в помощь», а сам вернулся в машину и помчался к начальству.

С директором Тшосом, моим многолетним начальником, мы были хорошо знакомы и знали, чего можем ждать друг от друга. Это был мужчина чуть старше пятидесяти, разумный, симпатичный, доброжелательный и, к тому же, идейный человек, совершенно лишенный того цинизма, который так свойствен ловким карьеристам и конъюнктурщикам. Протащив свой потрепанный челн через рифы всех периодов и перемещений, он наверняка выплыл бы на более спокойные воды, если бы не главная ошибка его жизни: похоронив жену, мать его двух взрослых уже детей, он женился на своей заботливой, чуткой и длинноногой секретарше, которая была моложе его всего лишь на тридцать лет. С этой минуты жизнь директора выглядела так, как если бы он мчался на спортивной машине «ягуар» по дубовым бревнам. Мягкая, скромная, полная обожания секретарша быстро превратилась в ненасытную тигрицу, которая заглатывала все, что ее ограниченное воображение раньше почитало лишь за чистую мечту: губные помады «Елена Рубинштейн», французские тряпки, автомобили, заграничные вояжи... Разумеется, директор не мог поспеть за ее аппетитами. В глазах у него появилось паническое выражение. К несчастью, он любил ее последней любовью и, будучи не в силах расстаться с ней, с грустью готовился ко всему, даже к самому худшему — инфаркту. Но это было его личное дело.

Он принял меня с чуть меланхолической улыбкой многоопытного и всеведущего человека. Подсознательно я немедленно преобразился в такого же бравого подчиненного, какими становились в моем кабинете Обуховский и Радневский. Я ежедневно бывал у директора, обсуждая с ним разные дела, и очень ценил наш личный контакт, поэтому, входя, я первым делом заглядывал ему в глаза: светится ли в них еще обычное дружелюбие? Этот огонек симпатии в его глазах всегда убеждал меня, что ничего не изменилось. что меня по-прежнему высоко ценят и никакая неожиданная неприятность не грозит мне. Это можно было бы назвать раболепством чиновника, но для меня это было чем-то гораздо большим. Дружелюбный взгляд директора стал мне необходим, как завтрак. Если какой-нибудь отъезд или срочные дела разлучали нас на несколько дней, особенно же когда я отдыхал на море или в горах и был не в курсе дел, нервы мои не выдерживали и тревога во мне росла с минуты на минуту. Вернувшись, я стремглав мчался к директору и, встретив его добродушный и благосклонный взгляд, утолял им жажду, голод, излечивал хандру. Можно даже сказать, что я по-своему любил директора, любил как олицетворение некой абстрактной «согревающей субстанции»: он был для меня тем идущим сверху дыханием тепла, которое сообщало энергию всей моей деятельности, подобно тому как солнечные лучи дают начало процессу жизни на земле... Я говорил себе, что страх перед потерей живительной энергии, то есть боязнь погрузиться в холод и ночь, которая обрекла бы меня на бездействие и медленное умирание, не имеет ничего общего с выслуживанием перед начальством и соглашательством. Нет, не в этих категориях рассматривал я столь важные для жизни проблемы. Ибо я не мог бы стать одним из тех многочисленных, лишенных честолюбия людей, что, равнодушно выполняя свою работу, без сожаления переходят из одного темного угла в другой, где и прозябают. Утрата возможности постоянно действовать «в луче света», отстранение в тень означали бы для меня гниение заживо.

Именно так подсознательно я все еще и представлял себе это, когда в ту пятницу, 11 ноября, вошел в 15 часов в кабинет директора и увидел на его лице эту живительную для меня улыбку.

— Рад, что вы пришли, коллега,— сказал директор.— У меня есть

разговор к вам. Речь идет о конгрессе в Мексике... К сожалению, я не смогу туда поехать и выдвинул вашу кандидатуру...

Мая всегда утверждала, что мне во всем исключительно везет. Воистину. Даже пагубная любовь директора к его молодой жене неожиданно пошла мне на пользу: в последнее время директор всячески отбояривался от каких бы то ни было поездок, чтобы не покидать свою супругу ни на одну ночь. Разумеется, это выглядело как сражение с ветряными мельницами. Предстоящий конгресс был событием мирового значения, и вообще командировка в Мексику ценилась на бирже заграничных поездок очень высоко. И потому я смотрел на директора, как пес, которому показали здоровенный кусок мяса.

— Очень жаль, что вы не можете с нами ехать,— сказал я.— Это придало бы нашему выступлению больше веса.

— Не могу,— с грустью ответил директор.— Вот приглашение и программа заседаний. Подумайте и предложите состав делегации.

Я выбежал от директора с радостью в сердце. Еще бы! Получить такое могучее оружие против Обуховского! Да я теперь могу поставить своего зама на колени хотя бы тем, что включу его в состав делегации. Ведь само по себе участие в конгрессе — уже огромная честь для «танка»! А, кроме того, для пользы дела я возьму с собой Радневского, которому велю подготовить доклад о его проектах. Это может стать сенсацией на конгрессе и испортит Обуховскому все удовольствие от поездки.

Представив себе путешествие в неизвестный край, я бросился к лестнице, как семнадцатилетний юноша, готовый тут же съехать вниз по перилам, и вдруг меня снова скрутила острая боль. Я остановился, ожидая, пока она пройдет. На этот раз боль заставила меня согнуться до земли и продолжала держать в стальных тисках, ни на минуту не отпуская. В этом было что-то настолько противоречившее моему радостному настроению, настолько идиотски глупое, что я даже скорее обозлился, чем испугался. Когда боль немного утихла, я медленно сошел вниз, стараясь не обратить на себя внимания сотрудников, которые привыкли видеть меня шествующим с гордо поднятой головой. Впрочем, как только я сел в машину, боль прошла. Я подумал, что не худо бы, пожалуй, показаться врачу, тем более что мне предстоит далекая поездка, но через минуту уже забыл об этом, ведя машину среди серых ноябрьских сумерек, быстро и мягко переходивших в ночь. Шел пятый час, и движение на улицах достигло максимума, но я вел машину автоматически, по привычке, размышляя в это время о том, до чего хороша жизнь, цветущая красота которой раскрылась передо мной довольно поздно, но зато во всем своем блеске, щедро одарив меня успехами на всех фронтах.

Оставив машину на Маршалковской, я прошел пешком на Вильчую улицу, так как из предосторожности никогда не подъезжал к самому дому Маи. Чтобы проверить свое состояние, я взбежал по лестнице, прыгая через три ступеньки, и остановился лишь у двери на третьем этаже. Убедившись, что все обошлось без боли и даже без одышки, я, довольный собой, позвонил: два длинных звонка и один короткий.

Мая открыла сразу же. Я уже два года жил с этой красивой двадцативосьмилетней женщиной и, несмотря на левые заходы, которые позволил себе раза два за это время, всегда возвращался к ней. Мая ничего никогда от меня не требовала. Одинокая и независимая, она жила в однокомнатной квартире, которую снимала, и работала в какой-то кооперативной организации. Она была идеальной любовницей в нашем новом стиле: никаких хлопот, никаких расходов, никакой ответственности, никаких обязательств, никаких вопросов — не связь, а сплошное удовольствие. Крупная мужская победа в справедливой борьбе женщин за равноправие. Я не собирался восставать против этого прогрессивного поряд-

ка: один пятидесятилетний директор торгового учреждения, отсталый элемент, который по-довоенному ухаживал за любимой девушкой и купил ей на казенные деньги однокомнатную квартиру и массу подарков, ныне уже четвертый год сидит за измену и предательство мужских интересов, и ему еще далеко до конца срока, а девица теперь уже совершенно бескорыстно принимает в его квартире молодых людей.

Мая всегда была ласкова со мной, но умела и остановиться вовремя. Я же, хотя и чувствовал себя превосходно в атмосфере постоянного поклонения, ни разу не произнес ни одного обязывающего меня слова. Она кончала работу в три и теперь, набросив на себя плотно облегавший ее полную грудь халатик, ждала меня, стосковавшаяся и готовая к встрече.

— Наконец-то, милый! — воскликнула она.

Я вошел, обнял ее и поцеловал. Она страстно поцеловала меня в ответ. Как обычно, стол уже был накрыт на две персоны: на нем стояли закуски и бутылка водки. На тумбочке возле дивана рядом с маленькой настольной лампой, как всегда, красовалась моя фотография. Мая говорила, что часто смотрит на нее, и тогда ей бывает легче переносить длинные одинокие вечера. Должно быть, в минуты мучительной тоски она покрывала ее поцелуями.

— Что слышно, милый? — спросила Мая, наливая в рюмки водку.— Ты думал обо мне хоть немного?

— Конечно,— ответил я, заглянув в декольте ее халата.— Знаешь, я еду на конгресс в Мексику. Это немалая честь.

— Чудесно! — просияла она.— Так и должно было быть! Ты же самый способный из них всех! Они вынуждены признать это!

Мая была по-настоящему рада. А я был восхищен ее самоотверженностью. Другая на ее месте тут же захныкала бы: «Вот ты едешь, а я...» Она же бескорыстно радовалась всем моим успехам. Я снова подумал, что эта красивая женщина любит меня глубоко и страстно, и, хотя у нее нет надежды прочно соединить со мной свою жизнь, она отвергает всякую возможность создать собственную семью, предпочитая ей встречи со мной, хотя бы и раз в неделю. Мысль об этой величайшей жертве со стороны женщины была для меня тем приятнее, что я никогда ничего не требовал от нее. Не требовал — и все же мог дать голову на отсечение, что она мне верна. Эта добровольная тихая верность была самой большой наградой за мой безмерный мужской эгоизм.

— Ты преувеличиваешь,— сказал я.— Возьми хотя бы того же Радневского... это способный парень. Он быстро перегонит меня.

— Ну, о чем ты говоришь, Кшись! — рассмеялась Мая.— Такая дубина! Да если бы ты не растрачивался на всю эту административную работу, ты бы им показал! Ведь ты такой молодой! Все зависит от тебя!

Я подумал, что, может быть, она права, и снова решил попросить у директора месячный отпуск, чтобы осуществить свою мечту и создать проект, который опрокинет на обе лопатки их всех, во главе с Радневским. Эта женщина всегда возвращала мне подорванную веру в себя.

— Ты говоришь так, потому что любишь меня,— продолжал я кокетничать.

— Нет! — прошептала она.— Я знаю тебя лучше других, Кшись! Я верю в тебя! Ты великолепен!

Она страстно обняла меня. Обеими руками я распахнул на ней халат, он тут же послушно упал с ее плеч. Она прижала меня к обнаженной груди. Ее тело, которым я пользовался в разумных дозах, всегда влекло меня, как течение в Висле. Кожа у Маи была мягкая и эластичная и согревала, как теплый компресс. Когда нас разлучали время и пространство, Мая снилась мне, как родник страждущему. На какое-то время я забыл о Мексике и обо всем, чем жил в этот день.

Потом я лежал рядом с Маей, не касаясь ее. Она знала, что сейчас

меня не надо обнимать, хотя ей наверняка хотелось бы положить мне голову на плечо и прижаться ко мне всем телом, с головы до пят. Попыхивая сигаретой, я смотрел в потолок, но чувствовал на себе ее печальный влюбленный взгляд. Я был благодарен ей за то, что она удерживалась от слов, не просила, не шептала, как другие: «Брось все, останься со мной!» Потянувшись к пепельнице, я украдкой взглянул на часы: мое время истекало. Надо было как-то деликатно улетучиться. Еще через несколько минут, как только я захлопну за собой дверь, Мая скроется в темном углу моей памяти, чтобы снова выйти на свет через неделю, в следующую пятницу. В моем сознании уже брали верх разные дела, и я хотел как можно быстрее уйти.

Мая, все понимающая и умная, как всегда, облегчила мое положение.

— Тебе уже надо идти, милый,— сказала она,— а то опоздаешь туда, где тебя кто-то ждет...

В приливе благодарности я поцеловал ее и начал быстро одеваться. Она протянула мне бутерброд, и я жадно проглотил его на ходу. Мая знала, что мои мысли уже далеко за пределами этой комнаты, и ничего не старалась продлить. А ведь остаток вечера ей предстояло провести в одиночестве...

— Что нового у тебя на работе? — спросил я, и это прозвучало очень фальшиво.

Мая хотела работать вместе со мной, и я мог взять ее к себе в учреждение, но ее появление там могло привести к самым неожиданным осложнениям, и наша столь надежно скрываемая связь наверняка распалась бы.

— Все в порядке,— ответила она.

— Борецкий отвязался от тебя? — спросил я.

Это был ее начальник. Он никак не мог примириться с тем, что под носом у него существует такое прекрасное тело, а он не может к нему прикоснуться. Мая отделывалась от его постоянных ухаживаний шуточками, стараясь, однако, не обидеть его и не обозлить, поскольку работа у нее была не слишком тяжелая и хорошо оплачивалась. Однако пылавший страстью Борецкий приставал к ней все более настойчиво.

— Он уже хочет развестись с женой. Предлагает мне выйти за него замуж.

— И ты согласна? — спросил я, причесываясь перед зеркалом.

— Я требую, чтобы он еще ограбил нашу кассу и бежал со мной в Южную Америку. Но он реагирует на мои шутки все хуже и хуже. Боюсь, что скоро мне придется просить о переводе в другой отдел.

— Я тебе помогу,— твердо сказал я.

И, действительно, я был готов помочь ей. Но ведь она не этого ожидала от меня! Мая была хорошим работником, но, как каждая красивая да еще и одинокая женщина, была лишена возможности долго и спокойно работать на одном месте, поскольку у нее всякий раз возникал конфликт с каким-нибудь местным Казановой.

Я мог уже идти. Оставалось лишь выполнить последнюю формальность — попрощаться.

— Не беспокойся, Кшись,— сказала Мая, когда я обнял ее.— Я сама все улажу. У тебя хватает дел поважнее.

На какую-то долю секунды я почувствовал себя порядочной свиньей, но время шло и надо было торопиться. Поэтому я быстро поцеловал ее, презрительно взглянул на свою физиономию, улыбавшуюся мне с фотографии на тумбочке, и выбежал на лестницу. Мая, несмотря на холод, стояла в дверях. Она уходила к себе не раньше, чем за мной закрывалась дверь в парадном.

Едва я сделал несколько шагов по лестнице, как меня резанула знакомая боль в паху, и притом так сильно, что я уже хотел остановиться. Помня, однако, что сверху на меня смотрит Мая, я лишь сбавил темп и, напрягая мышцы, медленно пошел вниз. Услышав, что я замедлил шаг. Мая подошла к перилам, но я заставил себя улыбнуться и помахать ей на прощанье.

Осторожно неся живот, я вышел на улицу. Эти боли начали серьезно беспокоить меня. Ведь надо было как можно скорее включиться в переговоры с Филлони, встретиться с одним академиком, потом съездить домой, переодеться, забрать Зосю и успеть на прием, который давал по случаю именин жены очень нужный мне человек — профессор Забельский. В этой плотной программе не было места для каких-то дурацких болей.

Я осторожно сел в машину, решив по-прежнему игнорировать боль. И она почти тотчас же прошла.

Когда я подъехал к своему дому, было уже около семи. На этот раз я поднялся на лифте, хотя обычно взбегал к себе на второй этаж чуть ли не в два прыжка: я заметил, что мои боли начинались именно на лестнице.

Зося уже ждала меня, сидя в черном платье, глубокое декольте которого подчеркивало ее стройную шею. Она была старательно причесана, тяжелые густые волосы собраны в пучок, как я когда-то любил. Словом, она нарядилась для меня тщательно, до мелочей. Кстати, я заметил, что в последнее время Зося похорошела. Трудно было поверить, что она — мать шестнадцатилетней девушки, ей можно было дать не больше двадцати восьми. Увы, на меня это не производило никакого впечатления.

Когда я вошел, она отложила том Всеобщей энциклопедии. Зося имела обыкновение изучать каждый очередной, только что купленный том энциклопедии, и это неизменно вызывало во мне раздражение, хотя страсть ее могла бы показаться куда более благородной, чем, например, приверженность к пасьянсу, за которым множество женщин проводит не один час, предаваясь загадочным размышлениям, главным образом о том, как бы покрепче закабалить мужчину. Зося обладала феноменальной памятью. Например, желая доказать, что я изменил о чем-либо свое мнение, она способна была напомнить все мои высказывания по этому поводу в течение многих лет, чем, разумеется, приводила меня в ярость. Ее голова, во избежание боли в висках, нуждалась в постоянном наплыве всевозможных данных, и в ней скопилось несчетное множество самых различных сведений, зачастую совершенно бесполезных. В последнее время Зося почему-то отдавала предпочтение технике.

— Вот и ты, милый,— улыбнулась она мне.— Мы не опоздаем?

— Я буду готов через пять минут,— ответил я и бросился в ванную.

Я слишком хорошо знал Зосю, чтобы думать, что женская интуиция ничего не подсказывает ей. Просто, как и многие другие умные жены, она решила игнорировать Маю и других моих дам, ждать, пока я набегаюсь досыта, остепенюсь и вернусь к ней уже навсегда, до конца наших дней. Но в эту пятницу, 11 ноября, я чувствовал себя весьма далеким от этого. Мой запас жизненной энергии, нашедшей выход с таким опозданием, казалось, был неисчерпаем. Мудрая тактика этой женщины, соблюдавшей осторожность вот уже семнадцать лет, часто раздражала меня, и я, пожалуй, предпочел бы, чтобы она дала мне право на моральную свободу, оказавшись неверной или даже просто потребовав развода. Зося, однако, всегда была безупречна, всегда ожидала меня, не моргнув глазом принимала любое мое вранье и никогда не задавала никаких вопросов. Нет, она ни за что не хотела облегчить мою совесть! К счастью, как я уже сказал, совесть пробуждалась во мне только на мгновение, и

я быстро справлялся с ней. Наконец, разве я был виноват в том, что женщины так глубоко привязывались ко мне без малейших усилий с моей стороны?

Я быстро переоделся, и мы вышли.

— Должно быть, в декабре я поеду в Мексику,— сообщил я, когда мы сели в такси.

— Завидую тебе! — искренне вздохнула Зося.— Я кое-что знаю об этой стране.

— Из последнего тома энциклопедии,— съязвил я.

— Не только,— спокойно возразила она.— Ты будешь жить в Теночтитлане?

— Где?

— Ацтеки называли так город Мехико,— пояснила она.— Ты не будешь там скучать. Говорят, креолки прелестны.

— Но они наверняка требуют долларов,— деланно пошутил я.— Придется удовольствоваться только их видом.

— Меня всегда увлекала религия ацтеков,— сказала Зося, как бы думая вслух.— Они были одержимы мыслью о тленности всего земного, о смерти. Ради того, чтобы мир существовал, а солнце светило, они вырывали живое человеческое сердце и приносили его в жертву богу. Женщинам перед тем, как вырвать у них сердце, из гуманности отрубали голову.

Я искоса взглянул на нее, она улыбалась. Мне не хотелось поддерживать эту тему, в ней чувствовался какой-то туманный намек. Принесение в жертву женщин из страха перед смертью? Я всегда подозревал, что в высказываниях Зоси таится какая-то задняя мысль, и потому предпочитал говорить с нею о конкретных вещах.

— Ты едешь один? — спросила она.

— Во главе делегации. А уж спутники... прямо скажем, не из самых приятных!

— И долго ты там будешь?

— Две недели.

Мы замолчали. Должно быть, она пыталась угадать, нет ли в составе делегации какой-нибудь красотки. Мы уже давно не говорили с Зосей начистоту, так как любая тема немедленно становилась опасной. Пытаясь обойти скользкие, хотя и существенные для нас вопросы, мы оба постоянно балансировали на канате взаимовежливости, как двое малознакомых людей.

Я лихорадочно подыскивал новую тему для разговора.

— А где Эва? — вспомнил я наконец.

— В кино.

— Что-то она слишком часто уходит из дому. Все-таки впереди выпускные экзамены,— покачал головой я.— Надо будет мне с ней поговорить.

— Конечно. Было бы неплохо,— согласилась Зося.

— Если она не сдаст экзаменов в университет, то целый год будет сидеть на нашей шее. У этой девчонки ветер в голове.

— Не знаю только, чье это наследство,— беззлобно сказала Зося.

Говорить становилось все труднее. Как назло, старая «варшава» скрипела, кряхтела и тащилась, точно заезженная насмерть кляча. Это вынужденное пребывание наедине друг с другом становилось невыносимым, и мы замолчали. На повороте Зося наклонилась ко мне, и я ужаснулся, подумав, что сейчас она повторит попытку, совершенную два года назад: обнимет меня без видимой причины, прижмется и начнет целовать, пытаясь воскресить то, что давно умерло. Но тревога оказалась ложной: такси выровнялось, и Зося снова уселась, как прежде.

Наконец, мы доехали до места, и я выскочил из темницы на волю.

На именины супруги профессора Забельского прибыло около двадцати человек. Гости расположились в двух комнатах. В одной из них возле самого окна был а-ля фуршет накрыт стол. Он ломился от закусок, на него широким жестом были выброшены — после того как за ними набегались по магазинам и настоялись в очередях — всевозможные салаты, копчености и колбасы. Привлекал внимание копченый угорь — гордость именинного стола и главный выигрыш в торгово-гастрономической лотерее. Вокруг, сидя на диване или на стульях, попивали и закусывали в неудобных позах человек десять.

Во второй комнате, освещенной не так ярко, были устроены танцы и на паркете кружилось несколько пар. Общество резко разделилось на две группы: те, что постарше, оживленно беседовали, гости помоложе без устали танцевали.

Я сразу же заметил среди танцующих самую прелестную и молодую из всех гостей — красотку Эльжбеточку, прослывшую танцовщицей после того, как она, неуклюже размахивая изящными ногами, выступила несколько раз в самодеятельном ансамбле. Однажды я танцевал с ней на какой-то вечеринке, и у меня осталось воспоминание о ней как о жизнерадостной дуре с крепким телом. В последнее время ее сопровождал, а вернее, возил по Варшаве некий загорелый блондин, возбуждавший всеобщую зависть своим голубым «мерседесом-250»,— человек неопределенных занятий, источники доходов которого были никому не известны, что следовало бы отнести на счет польского экономического чуда, но что неминуемо должно было повлечь за собой арест. В салоне почтенной профессорши, усиленно старавшейся развлечь гостей, иногда случалось наткнуться и на этакий «сюрпризец».

Все-таки мы с Зосей немного опоздали и потому первым делом направились к столу, чтобы наверстать упущенное. Я схватил предпоследний кусок угря и выпил подряд две рюмки, стремясь как можно скорее включиться в ритм вечера. Зося же присела на подлокотник кресла, в котором полулежала ее подружка Марта, гинеколог и общественный деятель. Они познакомились и подружились, встречаясь на заседаниях Комитета борьбы с алкоголизмом: вот уже несколько месяцев, как это было страстным хобби моей супруги.

Я не очень симпатизировал Марте, уж слишком она была уверена в себе и независима в суждениях, и мы лишь сухо обменивались приветствиями. В ее злых глазах можно было легко прочесть все, что она обо мне думала: «Хам из хамов, пьяница, эгоист, загубил жизнь такой женщины, как Зося,— это же сокровище, а не женщина, он ей ноги целовать недостóин, скотина!»

Бросив Марте пренебрежительную улыбку, я демонстративно повернулся к профессору Забельскому. Специально к этому вечеру я прочитал его новую книгу о строительстве мостов из алюминия и теперь стал безудержно, как и учил меня мой опыт жизни, расхваливать ее.

— Я уезжаю на конгресс в Мексику,— небрежно заметил я в заключение.— Если вы захотите дать мне с собой аннотацию вашей книги, разумеется, на английском языке, я постараюсь заинтересовать ею мир.

Это было сильно сказано. Профессор просиял. Конечно, поспешил заверить он, у него есть аннотация на английском языке, и он может вручить мне ее, но лично он не верит в успех моего намерения, так как в этом вопросе у него на международном рынке много конкурентов. Я энергично возразил, поскольку ничем, собственно, не рисковал. В случае чего я насильно воткну кому-нибудь его аннотацию, и профессор будет много месяцев жить в радужной надежде на успех. Так или иначе, а он, как член комиссии, утверждающей проекты, будет благосклонен ко мне, если я предложу когда-нибудь свой собственный проект.

Мы выпили за всемирный успех его книги, и я, покончив с делами

полезными, собирался приняться за дела приятные, то есть за флирт и танцы, когда вдруг мужчина, сидевший ко мне спиной в темноватом углу возле Марты, поднялся и подошел к столу. Я застыл с рюмкой у рта. Судьба снова столкнула меня с Анджеем Белецким.

Должно быть, каждый человек прячет в закутке памяти воспоминание о людях, которые когда-то были свидетелями его малодушия. Иногда, очень редко, в минуты одиночества и раздумья, что чаще всего случается поздним вечером, когда чашка крепкого кофе или чая надолго отгоняет сон, эти люди вылезают из темных пещер памяти и возникают у нас перед глазами, как грозное memento. И напрасно мы мечемся по постели, закрываем глаза руками, до боли трем виски. Образ этого человека стоит перед нами, в сотый раз напоминая сцену нашего позора или унижения, глаза его взирают на нас с издевкой или презрением, волна жгучего стыда покрывает краской наши щеки, мы едва удерживаем крик, хотим вскочить, бежать, забыть, спешим воскресить радостные воспоминания, возводим яркие декорации, вытаскиваем из-под стекла в рамке наши жизненные успехи и пытаемся, не отрывая глаз, смотреть в будущее, которое слепит блеском орденов, утопает в солнечном сиянии... Напрасно! До самой смерти будем мы носить на себе клеймо нашей слабости: ее свидетели скроются в своих темных пещерах, чтобы через какое-то время снова появиться и в сто первый раз повторить все ту же сцену, терзая нас и нанося нам пощечины. Нам не уйти от кары на земле, чего же страшиться кары небесной? Ибо, даже если бы ад и существовал, он был бы лишь ненужным добавлением к тому наказанию, какому мы подверглись при жизни. Вера в небесное правосудие, в возмездие и в спасение души, легенды об аде и рае, мечта о вмешательстве в наши будничные дела бога и черта — ведь все это лишь отражение происходящей в нас борьбы. И ад, и рай мы носим в себе, мы сами наказываем и сами награждаем себя.

Я позволил себе высказать здесь несколько мыслей более общего характера, ибо, мне кажется, это поможет лучше понять, что меня связывало с Анджеем, который так внезапно возник передо мной среди этой банальной именинной обстановки: у стола с ветчиной, угрем и водкой, на фоне пар, скачущих в ритме модного танца, и женщин, высоко обнаживших ноги согласно последней моде... Появление его прервало ход моих мыслей, круживших вокруг заграничных поездок, различных дел и любовных похождений.

Здесь мне придется, к сожалению, сделать небольшое отступление и вернуться к черным дням оккупации, а вернее — к светлым дням нашего героического прошлого. Я говорю «к сожалению», потому что вот уже много лет, как события и страдания людей во время последней войны превратились в некий неиссякаемый источник, из которого произвольно черпают «вдохновение» разные авторы, часто руководствующиеся не внутренней необходимостью, а соображениями выгоды, какую дает эксплуатация этой выигрышной темы. Ухватившись за нее, они возводят с помощью избитых схем некие искусственные конструкции, изображают поверхностные, надуманные, не пережитые ими самими моральные конфликты, приправляя их остреньким соусом, сфабрикованным из грохота выстрелов, жестокости и смерти... На смену классическому трико дьявола из рождественского фарса и черному одеянию бандита из вестерна пришел мундир эсэсовца, и, хотя он обтрепался на службе у кинематографа и телевидения, он олицетворяет собой мрак тех времен, и это принимается зрителем без всяких оговорок. В свою очередь такое произведение, как правило, легко и гладко утверждается во всех инстанциях. Пустая формальность и никакого риска. Однако мое воспоминание о военных временах будет кратким и основанным не на спекуляции, а на личном переживании.

Анджея я знал еще по школе. Он был старше меня на два класса и получил аттестат зрелости перед самой войной. Мы не дружили тогда — я был на два года моложе и выглядел в его глазах щенком. Но мне он очень нравился, и я мысленно поклонялся ему: он лихо играл в футбол, ходил пить пиво в притон на Доброй улице и обнимал за талию девушек, которых я мог бы обнять только во сне. Анджей жил с матерью, сестрой и младшим братом в крохотной квартирке на Повисле, в нескольких минутах ходьбы от меня. Отец его, железнодорожник, погиб в двадцатые годы под колесами экспресса Париж—Негорелое, неудачно спрыгнув на повороте, хотя раньше благополучно делал это в течение многих лет, сокращая, таким образом, путь к дому. Не имея средств для поступления в высшее учебное заведение, Анджей подал заявление в Школу младших офицеров бронетанковых войск, которая обеспечивала своих курсантов жалованьем, квартирой и питанием. Каким-то чудом его приняли. И там его застала война. На пятый день войны его танк загорелся, он успел выскочить из него, остальной экипаж сгорел живьем. Спустя несколько дней польские бронетанковые войска прекратили свое существование. Остаток сентябрьской кампании Анджей провоевал пехотинцем. Бежать вместе с другими во Францию он не мог: на нем лежала забота о матери, сестре и брате.

Я видел его несколько раз вскоре же после капитуляции, он бежал по улице с чемоданчиком в руке — ездил за табаком под Люблин, а потом продавал табак и на вырученные деньги кормил свою семью. Пассажирские поезда не ходили, но как сын железнодорожника, он мог ездить на паровозе или в вагоне для угля, что другим было недоступно. Семья его жила тогда в невиданном достатке: ела до отвала сало и колбасу.

В марте 1940 года меня вовлек в подпольную работу мой самый близкий школьный дружок Янек Трусик. Командиром, который принял у меня присягу, оказался Анджей. Он был официален и деловит. Вскоре я узнал, что его торговля табаком служила лишь приносившей доход маскировкой более важной деятельности: вместе с табаком он привозил оружие, найденное в лесу, где его закопала какая-то кавалерийская бригада. Я был пунктуален, добросовестен и — по крайней мере до поры до времени — умел скрыть страх. Анджей, будучи человеком подозрительным, решил проверить меня и однажды взял с собой. Каждый из нас вез по мешку табака и по два извлеченных из ямы польских пистолета «вис». Накануне мы оплакали падение Франции, далекая Англия выглядела тогда как шлюпка,тонущая в штормовом море, и наша деятельность казалась мне временами чистым абсурдом. Следовало, однако, спасать честь поляков даже в тот, худший из моментов, когда еще ниоткуда не брезжил никакой луч надежды. В Демблине в поезд ворвались немецкие жандармы. Они не любили молодых людей, и у нас был крупный шанс завалиться. Напряжение росло по всем правилам. Того и гляди, могла вспыхнуть убийственная стрельба, так как у нас под пиджаками были пистолеты, а имея при себе оружие, мы не дались бы им в руки живыми. Для меня это была прежде всего борьба со страхом, вернее, борьба между страхом перед жандармами, готовыми в любую секунду выпустить нам в живот длиннейшую автоматную очередь, и боязнью скомпрометировать себя в глазах Анджея. У меня стала зудеть спина и икры ног, я вспотел, но боязнь скомпрометировать себя победила: она была мне ближе, была более человечной. Итак, насвистывая какую-то мелодию, я продолжал читать продажную газетенку с речью Франка в Вавельском замке, хотя все эти вонючие фразы, из которых я запомнил только одну: «Никогда больше не будет польского государства!», прыгали у меня перед глазами. Жандармы приближались к нам с обоих концов вагона. Анджей искоса наблюдал за мной и спокойно разглаживал

«млынарки»* типичным жестом спекулянта, словно все происходящее не имело к нему отношения. Сцена, в общем, была довольно банальной, но так выглядели тогда наши вступительные экзамены.

Наконец, жандармы, покрикивая, подошли к нашей лавке, вытащили у баб из-под юбок колбасные круги, куски копченой свинины и сала и принялись за нас. Табак-то они вынюхали сразу, и теперь встал вопрос: потащат они нас с собой или не потащат? Будет стрельба или не будет? Я держал руку как можно ближе к «вису». Мы вытащили липовые документы, нахально подделанные нами с помощью лезвия и туши (тогда еще не было центрального пункта по изготовлению подложных документов и каждый подделывал их сам, как умел), и протянули их жандармам. Я не рассчитывал остаться в живых — моим липовым документом нельзя было бы обмануть и ребенка. Положение становилось невыносимым. Напряжение росло с секунды на секунду, вот-вот его должны были разрядить выстрелы... и тут жандарм открыл удостоверение Анджея. Я успел заметить в нем новенького «гураля»**. Лицо жандарма просветлело, он бросил нам понимающий взгляд: героизм переродился в подкуп. В 1940 году это было новостью, я еще не слышал о жандармах, которые брали бы взятки.

Напряжение упало, как мешок с плеч. Немец схватил деньги, Анджей улыбнулся мне, и мы поехали дальше. Опасность миновала, и я помчался в туалет.

Экзамен на хладнокровие был сдан, Анджей стал брать меня с собой все чаще, мы бегали с ним по крышам вагонов, как Бэстер Китон, и постепенно он снизошел до дружбы со мной. В это время у меня появилась девушка, с которой я гулял и целовался возле электростанции на берегу Вислы. Все было точно так и 21 мая 1941 года, в этот день моя девушка поступила на курсы, где под видом обучения кройке и шитью тайно преподавали историю и польскую литературу. В тот вечер мы целовались дольше обычного и не заметили, как время подошло к восьми. Это был комендантский час, и нам пришлось проститься на углу Набережной и Тамки, возле стоявшего на посту жандарма. Я сразу же свернул в Радную улицу и неожиданно увидел Янека Трусика. Он выходил из своего парадного в сопровождении неизвестных мне мужчин. У меня всегда было к нему какое-нибудь дело, связанное с нашей организацией, потому что он занимался закупкой оружия на черном рынке, и я ускорил шаг, чтобы не упустить его. Около восьми вечера было еще светло, и Трусик увидел меня. Но глаза у него были какие-то странные, стеклянные, и, будто не узнавая меня, он тут же отвел их в сторону. На какую-то долю секунды я замер, пораженный, и вдруг понял: Трусика вели гестаповцы. Их машина, на которой для маскировки висел варшавский номер, стояла тут же, у тротуара. Меня обдало холодом, руки и ноги мои одеревенели, но гестаповцы ничего не заметили, вероятно, они не рассчитывали на столь благоприятное стечение обстоятельств. Они втолкнули Трусика в машину и уехали, а я двинулся дальше, чувствуя, как у меня подгибаются колени.

Это был первый провал в нашей организации. Теоретически я был готов к такой возможности, но впервые столкнувшись с этим на практике, был оглушен и парализован. Перед глазами у меня стояло неподвижное лицо Трусика. У него наверняка нашли оружие, и Трусик знал, что он уже живой труп, но что прежде, чем он умрет окончательно, ему еще придется пройти через ад, где отбивают внутренности, превращают в кровавую котлету тело, вырывают суставы и терзают людей множе-

---

* Польские банкноты периода гитлеровской оккупации, прозванные так из-за стоявшей на них подписи Феликса Млынарского, председателя эмиссионного банка. *(Здесь и далее прим. перев.)*

** Пятисотзлотовый банкнот с изображением польского горца, гураля.

ством других невыносимо мучительных и долгих пыток. Эта геенна на земле предназначалась не для грешников, а для праведников и, хоть не была вечной (это зависело от выносливости тела — а для превращения здорового юноши в кучу истекающего кровью мяса достаточно всего лишь нескольких дней), была более «огненной», чем это могли себе представить отцы церкви, какой-нибудь Тертуллиан или Кирилл Александрийский, когда они создавали для верующих картину преисподней и вечных мук в ней. Ибо брошенный в ад при жизни не становился безвольным осужденным, которого безоговорочно жгли огнем и душили серным чадом. Он всегда мог прервать пытку, выдавая товарищей, а следовательно, в то же время отрекаясь от самого себя, зачеркивая смысл своей жизни. Он спасал тело от дальнейших истязаний и от смерти, обрекая душу на проклятие и вечные муки. Избавляясь от ада, сотворенного другими, он создавал новый ад в самом себе. Если же он выдержал пытки, если усилием воли победил свое тело, наградой ему перед смертью была только мысль о том, что товарищи скажут про него: «Не выдал». И это было все, что он мог получить взамен за свою недолгую жизнь.

Только единицы шли сознательно на это последнее испытание, результат которого зависел от выносливости их тела. И потому многие из нас носили в потайных карманах ампулы с цианистым калием, который дал бы нашей душе возможность почетно бежать, оставив в руках взбешенных мучителей уже ненужное им тело.

В то время, однако, мы еще не носили с собой яда, впрочем, и знали-то мы немногое, так что не могли бы выдать важных тайн. Кроме того, идя домой и размышляя о происшедшем, я все больше утверждался в мысли, что Трусик не может ничего выдать, что он умрет молча, с презрением глядя на своих палачей, то есть так, как мы всегда и представляли себе это. Я даже мирился со смертью друга, она была естественна, ибо входила в правила навязанной нам немцами игры, и я совершенно не задумывался о кардинальных вопросах или о тленности. Трусик должен умереть, и, вдобавок, молча. Слишком многое связывало нас с самого детства — сначала общие игры и мальчишеские забавы, потом полное энтузиазма совместное участие в борьбе против оккупанта,— чтобы он мог сознательно выдать меня в руки врага. Я подчеркиваю, что именно так думал в тот момент о Трусике потому, что мое убеждение в его твердости, став для меня смягчающим обстоятельством, трагически отразилось на судьбе Анджея.

Когда я подошел к своему дому, до восьми еще оставалось минут десять. И только тут я сообразил, что обязан как можно скорее предупредить Анджея, поскольку Трусик прекрасно знал его адрес. Анджей жил в нескольких минутах ходьбы от меня, я мог успеть добежать до него еще перед наступлением комендантского часа и вернуться обратно минут через пять после его начала, что не представляло особенного риска. Но у меня дома, помимо разных бумаг и инструкций подпольной организации, хранились также два пистолета — все богатство нашего маленького отряда. Несмотря на уверенность в том, что Трусик будет молчать, мысль, что я должен провести эту ночь в квартире с оружием, переполнила меня страхом. Надо было немедленно вынести пистолеты из дома. В этом решении крылось столько же боязни за свою шкуру, сколько и неподдельной заботы о том, чтобы надежно спрятать оружие, с таким трудом добытое Трусиком. Именно из-за этого оружия он и пошел на смерть. На нашем рынке цена оружия была не ниже цены жизни; найти новых людей было всегда легче, чем добыть пистолеты.

Поэтому я сломя голову бросился на свой четвертый этаж, влетел домой, где мы жили вдвоем с матерью (отца, обвинив в саботаже, немцы забрали прямо с электростанции, и он уже два месяца сидел в Ос-

венциме), нащупал под матрацем бумаги, бросил их в топившуюся «козу»*, вынул из вентиляционной трубы оба пистолета, которые были завернуты в пропитанное жиром тряпье, вытер их и сунул в карманы куртки. Мать, живущая с момента ареста отца в каком-то полусознательном состоянии и поглощенная мыслью о том, как бы спасти отца, как подкупить немцев, чтобы отправить ему побольше посылок, рассеянно смотрела на меня, должно быть, даже не понимая, что я делаю. Бросив ей только: «Трусик арестован, мне надо унести оружие»,— я выбежал на улицу. Вокруг уже все опустело, запоздавшие прохожие жались к стенам, надвигалось царство пустоты, темноты и выстрелов.

Единственным надежным местом, где я мог укрыть свои пистолеты, была комната тети — старой девы, спящей под портретом любимого, который двадцать лет назад вышел из дому купить конфет и попал под колеса пожарной машины. Сжимая рукоятки своих пистолетов, я — ковбой с Вислы в куцых старых брючках — бежал, почти касаясь стен домов, и на каждом углу сердце мое выстукивало бигбитные ритмы. Так я добежал до улицы, на которой жил Анджей, и осторожно выглянул из-за угла. У меня оборвалось сердце: в двадцати шагах от меня из грузовика выскакивали жандармы. Я посмотрел на часы: уже было больше восьми. Свернуть на улицу, полную жандармов? Но я наверняка буду задержан, а значит — неминуемы стрельба, смерть, утрата пистолетов. Жандармы беззаботно смеялись, гортанно выкрикивали что-то и не спеша строились по группам. Я проклинал себя за мысль перепрятать пистолеты и тут же неопровержимо доказывал себе, что Трусик не проговорится, а я из трусости просто впадаю в истерику. Чтобы спасти пистолеты, следовало отказаться от попытки предупредить Анджея: каждая секунда в непосредственной близости от этих пятидесяти жандармов неизмеримо увеличивала опасность. Сколько в этом ощущении было от трусости, я определить не могу. Позднее я говорил себе: «Как я мог предупредить Анджея, если жандармы устроили возле его дома пункт формирования ночных патрулей! Туда не прополз бы и таракан. Во всем виноват не я, а роковая случайность. Только полоумный полез бы на улицу, где все было зелено от мундиров и повсюду сверкали дула. Да еще с двумя «вальтерами-7,65» в кармане, то есть — с момента ареста Трусика — единственным вооружением нашего отряда!»

Жандармы продолжали горланить, готовясь к ночному обходу. Побежав назад, я пересек улицу, нырнул в сквер и, пробравшись за кустами до самого дома тетки, вскоре уже был у нее. И лишь позднее мне пришла в голову мысль, что я мог переждать в этих кустах час-другой, пока жандармы расползутся по улицам, а потом пробраться к Анджею. Но ведь я был уверен, что Трусик не выдаст.

Арестованный в 19.45 и приведенный на допрос в 21.00, Трусик начал продавать всех уже в 22.30. Гестаповцы были у меня в 23.30, поломали мебель, вспороли матрацы и высыпали из мешков муку. Ничего не найдя, они увезли испуганную мать, которую, впрочем, выпустили через несколько дней, так как сочли ее помешанной. Анджею, как более взрослому, да еще командиру отряда, они оказали больше почестей, хотя и прибыли в тот же час, что ко мне: его дом был окружен со всех сторон, на улице установили пулеметы, а брать квартиру отправился отряд штурмовиков. Видно, они ожидали вооруженного сопротивления, так как приготовились выламывать двери, жечь их огнем, взрывать гранатами. Меры совершенно напрасные, поскольку едва только перепуганный дворник тихо постучал в дверь и сказал: «Вам велели передать письмо»,— как дверь спокойно открыл младший брат Анджея. Ворвавшись в квартиру, гестаповцы застали Анджея, его мать и сестру в постелях и, найдя

---

* Железная печурка с трубой, «буржуйка».

пистолет, увезли с собой всю семью. Допросы и концентрационные лагеря пережил только Анджей, наиболее здоровый физически.

Я подхожу к концу воспоминаний о мрачных годах оккупации и обещаю больше не возвращаться к ним. Скажу еще только, что вскоре я бежал к партизанам и неплохо воевал там, но после описанной выше ночи во мне постоянно жили угрызения совести, несмотря на смягчающие мою вину обстоятельства. Сам-то я ушел из дому и избежал ареста, но допустил арест Анджея и его семьи. Какое-то время я трусливо успокаивал себя тем, что Анджей не может знать о моей случайной встрече с Трусиком. Однако после войны, когда Трусик вернулся из концлагеря, он оправдывался перед товарищами, главным образом ссылаясь на эту встречу. Сам я не был при этом, но узнал обо всем от третьих лиц. Трусик утверждал, что я знал о его аресте и был обязан предостеречь Анджея. Сообщая в 22.30 его и мой адрес и прерывая, таким образом, кошмарные пытки, он был уверен, что гестаповцы не найдут уже по этим адресам ни оружия, ни людей. Он подчеркивал также, что не выдал адреса третьего товарища по оружию, который жил на другом конце города, поскольку понимал, что я не успею его предупредить. Его оправданиям нельзя было отказать в логике, хотя ясно было и то, что свою слабость и малодушие он преподносил теперь как разумную тактику. Виноватым же был я.

Я не успел объясниться с Анджеем: мы встретились на улице в 1946 году и, так как оба были не одни, лишь поздоровались друг с другом и обменялись адресами. Он выглядел плохо, как-то опух после пребывания в концлагерях. Глаза его смотрели на меня с недоверием и, пожалуй, презрительно. Поэтому я со дня на день откладывал свой визит к нему. А спустя две недели узнал, что Анджей арестован на квартире его бывшего командира, который был замешан в деятельности организации «ВИН»*. Органы безопасности устроили там засаду и забирали всех, кто туда приходил. Не знаю, действительно ли Анджей был связан с подпольем, боровшимся против новой действительности, но на свободу он вышел только в 1952 году, начиная жизненный путь в весьма неблагоприятных условиях, тридцати лет от роду и без какой-либо профессии.

Тогда-то я и встретил его в трамвае. Я вскочил в вагон, торопясь после работы на занятия в Политехнический. Как и всегда в это время дня, давка была жуткая, меня со всех сторон толкали и пинали, и вдруг я очутился с ним лицом к лицу. Избежать этой встречи было невозможно: нас плотно прижали друг к другу.

Так мы ехали, почти сплюснутые, нос к носу, давние товарищи по борьбе, разделенные той ночью и нынешним днем.

Кровь приливала у меня к голове. Я не знал, что он вернулся из тюрьмы. Да и откуда я мог бы это знать: атмосфера после войны не располагала к воспоминаниям. Как многие другие, я не искал контактов с прежними товарищами по оружию — ни с теми, кто был в организации вместе со мной и Анджеем, ни с более поздними соратниками по партизанскому отряду и Варшавскому восстанию. Действительность требовала отказа от прошлого и от лозунгов, во имя которых мы когда-то сражались.

Должно быть, Анджей убедился в этом, выйдя на свободу: одинокий, лишенный семьи, он делал свои первые шаги, волоча за собой груз

---

* «Вольность и независимость» — реакционная подпольная организация, выступавшая с оружием в руках против народной Польши. Организованная в 1945 г., она была тесно связана с лондонским эмигрантским польским правительством. В 1947 г. ликвидирована органами безопасности.

политического приговора, и пробуждал повсюду недоверие или страх. (Позднее я узнал, что нашелся какой-то директор строительной организации, который, несмотря на запутанную биографию Анджея, не побоялся взять его к себе сначала простым рабочим, а потом служащим в конторе. Этот директор совсем не знал его, и не от него должен был ждать помощи Анджей.)

И вот я стоял перед ним нос к носу, я видел его иссеченное преждевременными морщинами лицо, его потрепанную одежду, чуть сгорбленную спину и густую седину на висках. В одно мгновенье он вырвал меня из моей интенсивной жизни, поделенной между работой, учебой, молоденькой Зосей и двухлетней Эвой. Меня, отца семейства и великовозрастного студента без гроша в кармане, спешившего наверстать упущенное, он вырвал из привычной жизни и заставил вернуться к делам, воспоминание о которых я глушил в себе, заставил вспомнить о той ночи, когда из-за моей трусости начался его тернистый путь, усеянный трупами близких.

Я стоял, прижатый к нему, и тепло его дыхания жгло меня, точно адов огонь. Я перехватил его взгляд, мне показалось, что в нем снова сквозит презрение. Конечно, надо было объясниться с ним, поговорить не столько о тех годах, когда атмосфера вокруг заставляла сдерживать естественную человеческую реакцию и взвешивать каждое слово, сколько о той ночи. Я должен был рассказать ему о грузовике с жандармами у его дома, о моей обязанности спрятать оружие в безопасном месте— обо всех тех деталях, до которых уже никому не было дела и которые уже ничего не могли оправдать. Я даже не знал, чем вызвано его недоверие ко мне: моей ли трусостью в ту памятную ночь или той общей, программной, не зависящей от нас обоих трусостью, которую нам навязали извне.

Мысли эти проносились у меня в мозгу, а мы все ехали и ехали, прижатые друг к другу... Он еще раз посмотрел мне в глаза, а я снова не сумел выдавить из себя ни слова и только отвел взгляд в сторону. Мы продолжали молчать, согретые теплом наших тел, и уже больше не смотрели друг на друга, точно чужие, и это страдание было пострашнее физической пытки.

Трамвай въехал на оживленную площадь Конституции (все это происходило недели за две до окончания строительства домов на этой площади — гордости нового жилого района) и остановился, наконец. Люди проталкивались к выходу, давление толпы стало чуть слабее, но Анджей и не думал выходить. И вдруг я понял: это был вызов и осуждение, бежать предлагалось мне. До Политехнического было еще три остановки, но я не выдержал и бросился к выходу. Еще секунда, и мне пришлось бы остаться в вагоне: в него уже начали врываться с улицы люди. Отталкивая их с бешеной силой и безжалостно наступая им на ноги, я все же выбрался на улицу и, сопровождаемый проклятьями, побежал по Пенкной улице к Политехническому, чтобы поскорее нырнуть в свои лихорадочные будни. Так я предал Анджея вторично.

В тот вечер я не смог скрыть своего расстройства, хотя и пытался, как всегда, заниматься. Зося заметила это и встревожилась. Мы были женаты всего три года, и малейшая озабоченность на моем лице она воспринимала как личную трагедию.

— Что с тобой, Кшись? — спросила она во время нашего скудного ужина.— Ты схватил двойку?

— Нет,— ответил я неуверенно, не зная, что ей сказать.— У меня была неприятная встреча...

— С кем?

— Да так.. С одним малым. Анджей Белецкий с Повисля, где я

жил до войны. Он был вместе со мной в подполье, а потом его зацапали немцы, и он просидел четыре года в концлагере.

— Ты не любишь его, что ли?

— Н-нет... Просто он ко мне в претензии.

— Из-за чего?

— А из-за того, что я не попался, как он.

— Но это же глупо!

— Он думает, что я мог его предупредить.

— А ты мог?

Мне стало не по себе под огнем этих естественных вопросов. Зося интересовалась всем, что меня касалось, дотошней, чем любая тайная полиция, хотя и делала это из чистой любви.

— Я узнал о провале перед самым комендантским часом, и когда добежал до его улицы, увидел там жандармов, которые строились в патрульные группы.

— И ты ушел обратно?

— Нет! — воскликнул я.— Я хотел, прячась за кустами, незаметно пробраться к его парадному, но было еще светло, а я нечаянно задел за куст. Кто-то из немцев гаркнул «хальт!» При мнє было два пистолета, так что пришлось пальнуть по немцам из обоих. Двое упало, но прежде чем остальные сообразили, что к чему, я нырнул за угол, а там рванул через сквер к откосу и был таков. Не догнали меня...

— Какие же у него могут быть претензии? — воскликнула Зося, с изумлением глядя на меня.— Что ты не подставил грудь под пули у его подъезда?

— Нет, не в этом дело,— вздохнул я.— Понимаешь, у меня никогда не было возможности поговорить с ним, рассказать ему правду. Ведь я так и не видел его с тех пор.

— Так расскажи теперь!

— Теперь не время.

Мы замолчали. Зося больше ни о чем не спрашивала. Она боялась всего, что могло угрожать отцу ее ребенка.

— Не огорчайся, милый,— шепнула она, горячо обняв меня.— Это все уже в прошлом. Ведь твоя совесть чиста.

Я поцеловал ее вместо ответа, так как сказать мне уже было нечего, и сел за книжки, потому что постоянно догонял время; а она побежала кормить Эву, которая, ничего не ведая еще о моральных конфликтах, весело щебетала в своем углу. В ту ночь я долго сидел над цифрами, мало что понимая в них. А потом время постепенно все сгладило: я не видел Анджея целых семь лет. Встретились же мы в 1959 году в День поминовения усопших, среди толпы, бродившей вокруг могил варшавских повстанцев на военном кладбище «Повонзки». Люди медленно двигались друг за другом по тропинкам, пересекавшим ровные ряды могил. Повсюду горели лампады и свечи, трепетали на ветру маленькие бело-красные флажки, стояли в почетном карауле школьники. Это кладбище было средоточием славы и героизма народа. Те, что пришли на могилы, не обязательно были близкими покойных или их прежними товарищами по оружию. Сюда приходили почтить память и совсем незнакомых. И не только ради воздания почестей тянулись на кладбище люди, но и для очищения от собственных грехов. Они отключались тут от будничных дел, отдыхали от труда, избавлялись на время от разочарований и зависти, ссор и взяток, жалкой суеты и мелких свинств. Те, что покоились здесь в одинаковых могилах, зачастую почти дети, в своей недолгой жизни успели быть только героями, их не испортила никакая будничность и не запятнал никакой компромисс. И воспоминание о них было как кислород для затемненных легких, наполняло слезами

любые глаза, даже сухие и злые. В этот день люди становились лучше, ибо они чтили своих героев.

Анджей еще больше поседел, но лицо его, покрытое морщинами, сохранило молодое выражение. Он медленно шел среди могил, ведя под руку женщину лет тридцати, миловидную, со вздернутым носиком. Я сразу узнал в ней Басю, нашу пятнадцатилетнюю связную из отряда с Повисля.

— Вон идет Анджей,— шепнул я Зосе.

Она с любопытством взглянула на него. Я замедлил шаг, чтобы не догнать Анджея. Со времени встречи в трамвае в моей жизни произошли большие перемены. Я начал преуспевать по службе — получил назначение на ответственный пост, должен был поехать за границу,— да и в личной жизни начинало что-то меняться. Брак мой уже тяготил меня, и я стал оглядываться на женщин, а те благосклонно посматривали на меня. Словом, я выбрался на гладкую дорогу. К тому же и мое военное прошлое перестало быть поводом для дискриминации или препятствием в карьере. Но, хотя мне уже ничто не угрожало, хотя жизненные успехи породили во мне наглую самоуверенность, при виде Анджея я все же непроизвольно замедлил шаг. Никакие изменения не могли зачеркнуть фактов, которые встали между нами. Я знал об этом, и это меня раздражало. В нынешнем душевном состоянии я готов был полностью оправдать себя, свалив всю вину на тогдашнее исключительное и бесчеловечное время. Наконец-то дождавшись настоящей жизни, я хотел все начать с чистого листа. Анджей, живой свидетель тех времен, мешал мне в этом. Чувство виновности перед ним сменилось антипатией и даже ненавистью.

Мы шли медленно, разглядывая поблекшие надписи. Некоторые из них вызывали смутное воспоминание о похороненном, припоминалось его лицо, фигура или даже обстоятельства его смерти, но я все время следил искоса за удалявшейся фигурой Анджея, стараясь идти не быстрее, чем он. Вдруг, дойдя до конца тропинки, Анджей и Бася повернули обратно. Встреча стала неизбежной. Я знал, что Анджей меня заметил, Бася, которую я не видел много лет, шепнула ему что-то, наверно, мое имя, он ответил ей кивком головы. Зося пристально рассматривала Анджея, привлекая этим и его взгляд. После секундного колебания я все же приподнял шляпу. Анджей ответил поклоном, хотя не сводил глаз с Зоси, и мы прошли бы так, молча, мимо друг друга, если бы не Бася, всегда отличавшаяся непосредственностью, к тому же не имевшая представления о наших счетах с Анджеем.

— Здорово, Кшиштоф! — вскричала она, остановившись.— Что с тобой, как ты?

Мы были вынуждены остановиться. Я пожал ей руку и представил Зосю. «Моя жена»,— сказал я. Теперь следовало протянуть руку Анджею, но я колебался, боясь, что он не подаст мне руки. Однако ничего такого не произошло. Его пожатие было легким и совершенно ничего не выражавшим, а улыбка такой вежливой, как будто он видел меня впервые.

— Так как у тебя, Кшиштоф? — еще раз спросила Бася.

— Да ничего, потихоньку,— ответил я с ноткой скрытого превосходства.— А у тебя, Бася?

— Я замужем, у меня сынок, я не работаю, но помогаю мужу, беру на дом переводы.

Было очевидно, что Бася довольна жизнью.

Анджей продолжал вежливо улыбаться, и это спровоцировало меня:

— А ты, Анджей? Как твои дела? — спросил я.

Тон мой был нарочито пренебрежительным и покровительственным, Анджей представлялся мне этаким мелким чинушей, составляющим какие-нибудь списки на зарплату. Его потертое пальто, измятая шляпа и широченные, давно уже не модные брюки красноречиво свидетельствовали о том, как он жил. Мне захотелось унизить его публично, заставить признаться в крушении всех надежд, неизбежном после стольких лет концлагерей и тюрем.

— Существую,— неопределенно ответил он.

— Женился?

— Нет.

— А где работаешь? — не унимался я.

— По строительному делу,— кратко ответил он и приподнял шляпу.— Извините, мне уже пора.

И попрощался. Его пожатие снова было вежливым и соответствующим моменту.

— Позвони мне, Кшись! — крикнула Бася.— Поболтаем, вспомним старые времена!

— Я уезжаю за границу! — прокричал и я в ответ.— Но как только вернусь, позвоню!

Зося смотрела вслед Анджею, а он шел, ссутулившись, не оглядываясь.

— Почему ты не рассказал ему? — вдруг спросила она.

— Ты же видела, что он не хотел никаких объяснений! — негодующе воскликнул я.— Он просто напыщенный шут, вот и все!

— За что ты его не любишь? — спросила Зося.

— Я? Не люблю? Ты что, с ума сошла? Да он просто смешон!

— Чего-то я здесь никак не пойму,— покачала головой она.

— А тебе и понимать нечего! Не суйся не в свое дело!

Зося обиженно замолчала. Мне пришлось обидеть ее, чтобы она перестала копаться в моей ране. В последнее время я часто вызывал стычки, после которых мы подолгу хранили тяжелое, полное неприязни молчание. Со свойственным ей безошибочным инстинктом Зося иногда разоблачала меня, и я не мог простить ей этого.

С тех пор я снова не видел Анджея много лет и ничего не слышал о нем. Не позвонил я и Басе, поскольку ускоренный темп жизни был достаточной причиной, чтобы забыть о ней. Я снова вычеркнул из памяти все, связанное с Анджеем, и ничто уже не нарушало моего доброго расположения духа, как вдруг спустя семь лет (снова семь лет!), в эту роковую пятницу 11 ноября 1966 года, Анджей вылез из темного угла на пиру у профессора, точно живое воплощение «Мене, текел, упарсин»*.

Он изменился до неузнаваемости. Движения его стали энергичными, свидетельствуя о воле к жизни, его новый костюм сидел безукоризненно, а галстук был самой последней моды. Потрясенный, я застыл неподвижно с рюмкой в руке, глядя, как он накладывает на тарелку разные колбасы и салаты. Уголком глаза я заметил, что Зося внимательно смотрит на нас. Глупо было стоять так, с рюмкой в руке, одному, но я не хотел уйти первым — теперь у меня не было повода трусить. Поэтому я допил водку и повернулся к Анджею. Надо было сказать что-то немедленно и как можно более непринужденно.

— Не знал я, что ты знаком с профессором,— изрек я тоном завсегдатая, который неожиданно встречает в изысканном салоне знакомого дворника.

— Я спас ему жизнь, и он из благодарности пригласил меня,— ответил Анджей, не отрывая глаз от стола.

---

* Слова, которые, согласно библейской легенде, появились на стене во время пира у последнего вавилонского царя Валтасара, предвещая гибель Валтасара и его царства.

Он издевался. К счастью, в этот момент подошел профессор и, взяв Анджея под руку, тепло улыбнулся ему. Нужно было предпринимать что-то.

— На этом конгрессе в Мексике нам придется нелегко,— заметил я, как бы продолжая разговор, прерванный каким-то пустяковым эпизодом.— Конкуренция огромная. Но и у нас приготовлен сюрприз... Вы слышали, профессор, о проекте некоего Радневского?

— Да ведь это же мой ученик,— улыбнулся профессор.— Он далеко пойдет, если... никто ему не помешает.

— Я как раз повсюду выдвигаю его сейчас.

— Смотрите только, чтобы его не перекупили капиталисты! — рассмеялся профессор и вдруг, взглянув на Анджея, спросил: — А вы знакомы?

Мы оба молчали, и профессор, решив, что мы не знакомы, представил нас друг другу:

— Инженер Анджей Белецкий. Спас мне жизнь на стройке. Меня чуть не раздавило балкой, но он, рискуя жизнью, в последнюю минуту оттащил меня. А это — директор Максимович.

— Очень приятно,— улыбнулся Анджей.

Герой! Когда это он успел окончить институт? В тюрьме? Наверно, выдает себя за инженера, поскольку работает на стройке. Бахвальство Анджея рассмешило меня, но я не собирался его разоблачать. Однако слушать о его героических поступках тоже не хотелось. Вообще, вся эта чепуха мне уже надоела. Я вел себя глупо и понимал это, но не мог остановиться. В эту минуту из комнаты, где танцевали, вышла прелестная Эльжбетка.

— Эльжбетка! — крикнул я.— Иди сюда!

Она не заставила себя долго ждать. Окинув профессора равнодушным, а Анджея вызывающим взглядом, Эльжбетка подошла ко мне и протянула свою рюмку.

— Налей! — шепнула она.

Говоря с мужчинами, она всегда шептала, создавая интимно-эротическую атмосферу, чем доводила всех жен до белого каления.

Мы выпили.

— Идем потанцуем,— предложил я и потянул ее за руку, как хозяин.

Это был дешевый спектакль, и я чувствовал на затылке презрительный взгляд Анджея. Посмотрев мельком в угол, где сидели дамы, я поймал иронический взгляд Марты и печальный Зоси. В эту минуту я твердо решил разойтись с ней, и как можно скорее. Она во всем мешала мне этими своими печальными взглядами.

Эльжбетка заставила меня ритмично подпрыгивать, и я, конечно, выглядел как старый дурак, который изображает из себя юношу. Тогда я еще не понимал этого, все глупейшие прыжки получались у меня легко, даже не вызывая одышки, недаром же я систематически занимался горнолыжным спортом и уплывал в море до самого горизонта; но вот где-то в середине всей этой трясучки меня кольнуло в паху так сильно, что я остановился как вкопанный. Эльжбетка продолжала прыгать, из другой комнаты в распахнутую дверь на нас смотрели Марта и Анджей, я чувствовал на себе их взгляды и не хотел прервать танец из-за боли, как дедушка на свадьбе внучки.

— Давай, давай, Кшиштоф! — кричала Эльжбетка.— Шевелись как следует!

Водка брала свое, да и все эти взгляды злили меня, и я снова начал подпрыгивать в ритм музыки, несмотря на острую боль внизу живота. Я прыгал, побледнев и выпучив глаза, внутренности мои жгло огнем, какие-то когти или зубья пилы рвали кишки на части, а я прыгал все

зыше и выше в этом проклятом танце, и уже красные амебы и желтые крабы завертелись у меня перед глазами и лицо покрылось потом, но я упрямо продолжал истязать себя, тайный герой вечера, жертва кретинского честолюбия.

Эльжбегка ничего не заметила. Как видно, ей были не в новинку старые дурни, прикидывающиеся мальчиками. А может, она заметила мои страдания и теперь с радостью издевалась, мстя мне за всех тех скотов, которые ее топтали: за первого, которого любила без ответа, за второго, который заплатил ей, дав возможность выступить в танцевальном ансамбле, за того третьего, что теперь возил ее на своем голубом «мерседесе», как собачонку, напоказ,— за всех, перед кем она заискивала в надежде на легкий успех, на беззаботную и сладкую жизнь. «Давай, давай, Кшиштоф!» — кричала она, и глаза ее блестели, а во мне разрывалось что-то, невидимый нож ритмично поражал самые чувствительные ткани, полосовал кишки. Вся эта дьявольская пляска длилась всего три минуты, но для меня они растянулись в бесконечность, каждая секунда, точно под электронным микроскопом, становилась огромной, а я уменьшался, будто Гулливер среди великанов, и полз через эти три минуты, как гусеница на последний этаж высотного здания Дворца культуры и науки. Ритм звенел в ушах, от прыжков дрожал пол. Когда же, наконец, шум музыки утих, когда осталась только боль и пульсирование, я незаметно оперся о стену и стоял так некоторое время, ничего не слыша, безразличный ко всем взглядам.

Ничего никому не объясняя, я забрал слегка удивленную Зосю, сказав ей, что очень занят, и ушел, когда Анджей танцевал с Мартой, чтобы не прощаться с ним. В такси, несмотря на боль, я держался прямо. Мы снова молчали, а дома я быстро скользнул в свою комнату и плотно прикрыл дверь. Думаю, что Зося приписала мое странное поведение исключительно тому, что я встретил Анджея.

Всю ночь боль не отпускала меня, я вертелся, пытаясь улечься поудобнее, и задремал только к утру. Проснувшись, я позвонил известному терапевту, у которого лечился директор Тшос. Учитывая экстренность случая, профессор согласился принять меня до ухода в клинику. Я быстро выпил чай, не стал, к удивлению Зоси, ничего есть, потом, как обычно, столкнулся у ванной с Эвой и, бросив ей: «Не схвати двойку!», вышел. Машину я вел осторожно. Почему-то начали дрожать руки, лежавшие на баранке, потом дрожь передалась всему телу. До самого дома профессора я так и не смог совладать с ней.

Профессор ожидал меня в кабинете. В последний раз я был у врача лет десять назад, так что у меня вполне сохранилась острота восприятия.

Профессор был холоден и деловит: никаких улыбок, никаких шуток.

— Чем болели?

— Скарлатиной. В детстве.

— Какие еще заболевания перенесли?

— Серьезных никаких.

— Курите?

— Тридцать сигарет в день.

— Чрезвычайно много. Пьете?

— Когда бывает оказия. Сам я ее не ищу.

— Следовательно, тоже достаточно много.

Это был конец обычной жизни. Мне показалось, что я переступаю какой-то порог и двери с шумом захлопываются за мною. Начался осмотр: ощупывание, прослушивание, простукивание. Боль была четко выраженной, с легко определяемыми границами, хотя и расходилась лучами по всей брюшной полости. Быстро закончив обследование, профессор, ни слова не говоря, принялся писать что-то.

— Что вы предполагаете, профессор? — робко спросил я. Этот человек умел держать собеседника на расстоянии.

— Вам придется лечь в больницу для исследования и наблюдения,— лаконично ответил он.

— Надолго?

— Или на две недели, или на более значительный срок,— загадочно ответил он.

— Но я же не могу! — воскликнул я.— У меня полно работы, мне предстоит поездка в Мексику...

Профессор взглянул на меня, и я замолк на полуслове, поняв, сколь глупы мои возражения. Этот человек ежедневно выхватывал людей из их суетливой жизни и швырял на мель больничной койки. От него нечего было ждать ни понимания, ни снисхождения.

— Когда я должен явиться в клинику, профессор? — покорно спросил я.

— Сегодня суббота... в понедельник! — безапелляционно заявил он.

Вдруг кто-то постучал в дверь. В тот день я проклинал за этот стук не то жену, не то ассистентку профессора, не дождавшуюся, пока я уйду. Но позднее я понял, что в дверь профессорского кабинета именно в эту, а не в другую минуту постучал кривой палец судьбы, чтобы повелеть мне пойти дорогой ясной и прямой. Нет, этот стук не мог быть случайным... Профессор отложил вечное перо, встал, подошел к двери и, приоткрыв ее, стал слушать, что шепчет ему какая-то женщина. Я за это время успел взглянуть на бланк направления в клинику. В рубрике предполагаемого диагноза я прочел четко выписанное «cancer», а рядом еще что-то непонятное по-латыни.

Я отпрянул от стола. Профессор вернулся на свое место, заклеил конверт, но не дал мне его, а положил к себе в портфель.

— В клинику я сообщу, что вы придете,— сказал он.

Не стану рассказывать, какие мысли охватили меня, после того как я прочел диагноз профессора. Они были отчаянными и весьма банальными. Скажу лишь, что до этого я никогда не задумывался над вопросом о самоубийстве как протесте против абсурда существования, поскольку существование вовсе не казалось мне абсурдным. Вероятно, я никогда не поднимался над жизнью так высоко, как это делают бескомпромиссные философы-пессимисты. Должно быть, жизнь действительно выглядит бессмысленной суетой, если на нее смотреть даже с такой высоты, с какой смотрит на бегающих муравьев пятилетний ребенок. Однако достаточно вернуться к человеческим измерениям, включиться в беспрерывное и целеустремленное движение жизни, как мысли об абсурде немедленно улетучатся — до следующего раза, когда человек снова окажется выбитым из этого движения.

Теперь же, по дороге от профессора, мысль о самоубийстве показалась мне естественной. Оно сулило избавление от пытки длительной агонии, как в годы оккупации цианистый калий в кармане у подпольщиков. Какой разумной мне казалась теперь такая смерть! От мысли о самоубийстве я избавился только ночью. А пока что, терзаемый болью, я вел машину осторожно, как во время обучения езде. Несколько раз я с трудом поборол в себе желание резко свернуть, чтобы подставить себя под удар мчавшегося автобуса или трамвая.

В секретариате сидела Божена. Я сухо поздоровался с ней. Мысли плясали у меня в голове, мир рушился, и мне было наплевать на Божену и ее изящные бедра. Я уже хотел войти в кабинет, когда увидел ожидавшую меня на стульчике Боженцкую. Со вчерашнего дня я сто раз успел забыть и о ней, и о ее муже, моем однокашнике по институту. Теперь же я подумал, что если все будет развиваться как положено, вскоре я стану его соседом по кладбищу.

Боженцкая смогрела на меня просительно, видно решив бороться за жизнь терпением и покорностью. В эту минуту я был беспощаден — ведь я чувствовал себя несчастнейшим из несчастных. Мой приход на службу вдруг показался мне верхом идиотизма.

— Прошу,— буркнул я и впустил ее в кабинет.

— Я вижу, эта дама пришла,— несмело начала Боженцкая.

Я с тоской подумал о вчерашнем дне, когда, движимый одной лишь похотью, выбрал в секретарши Божену.

— Мне очень жаль,— сказал я.— Но я буду помнить...

— Если вдруг эта дама раздумает...

— Вряд ли она так уж сразу раздумает...

Она взглянула мне в глаза. На ее лице были написаны мудрость, терпение и печаль, присущие людям, которые хлебнули в жизни много горя. Теперь я завидовал ей и был готов поменяться с ней судьбой. Я поменялся бы судьбой даже с разносчицей молока, матерью пятерых детей и женой алкоголика. С сегодняшнего дня я стал никудышным товаром, протухшей рыбой в красивой консервной банке. Думая так, я тут же принялся утешать себя мыслью, что со мной произошла какая-то ошибка и вскоре все выяснится.

— Вы оставили свой адрес? — спросил я.

— Конечно. Благодарю вас.

И снова в ее улыбке слабо блеснуло былое обаяние. Я заколебался: что мне стоит выгнать сейчас Божену, которую и так охотно подхватит любой эротоман, и принять эту отчаявшуюся женщину, наверняка добросовестного работника? Ее муж никогда ни о чем не просил меня, зато я часто пользовался его конспектами и, не имея достаточно времени для учебы, бессовестно срисовывал его чертежи и проекты, присваивая плоды его ночных бдений. Он всегда был очень отзывчив и совершенно бескорыстен. После окончания института наша дружба развеялась сама собой. Спустя некоторое время он неожиданно встретился мне на Маршалковской.

— Что слышно? — вяло спросил я.

— Жизнь прекрасна! — радостно воскликнул он.

В устах столь невзрачного человека слова эти прозвучали так неожиданно, что я внимательно взглянул на него: он действительно выглядел счастливым человеком.

— У меня интересная работа, и я женился.

Я торопливо поздравил его, желая от него избавиться: этот человек сыграл в моей жизни свою роль и больше не был мне нужен.

— Ты обязательно должен познакомиться с моей женой! Ну и повезло же мне, брат... Такая женщина!

Он радовался своему браку, упивался счастьем, гордился женой и был влюблен в нее до одурения. К ним я, конечно, не пошел, но вскоре мы снова встретились на улице. Боженцкий меня не заметил, я же не горел желанием лично убедиться в его супружеском счастье, однако их светившиеся любовью взгляды и улыбку его жены я запомнил хорошо. Ни он, ни она в отдельности никогда не привлекли бы моего внимания — самые обыкновенные, невзрачные люди. Но когда они шли вот так вместе, озаренные сиянием любви, возвышающиеся духом над суетной толпой, произошло чудо: они стали красивыми, как в сказке.

Боженцкая тяжело поднялась и пошла к двери, при этом она держалась подозрительно прямо. Я ничего не сказал ей: в тот субботний полдень, несмотря на визит к врачу, я еще не дозрел до твердых решений. Мысли мои все время раздваивались: я дал Боженцкой уйти, и все же, когда она тихо закрывала за собой дверь, сгорбленная и исхудавшая, сердце мое неожиданно сжалось. В это время в кабинет проскользнул с бумагами на подпись бухгалтер Давидович.

— Я все сделал,— гордо доложил он.— Подмазал кое-кого в столярном цеху, и мне тут же вынесли гробы, сущее загляденье, а не гробы — красивые, с резьбой... словом, как и положено в приличной семье. Мы купили у них два гроба.

— Почему два?!! — воскликнул я.

— Второй для меня,— меланхолически улыбнулся Давидович.— Я не могу взваливать на плечи жены такие хлопоты. Теперь у меня есть там знакомство, и если вы тоже хотите на всякий случай...

— Нет! — заорал я.

Давидович выскользнул за дверь, испуганный моим криком.

Боль снова схватила меня. Пора было идти на переговоры с итальянцем, которые велись в соседней комнате. Встав со стула, я оперся обеими руками о письменный стол. Следовало немедленно позвонить директору Тшосу, найти себе замену с понедельника, передать дела и вообще проделать все, что положено человеку, который, проработав много лет, через несколько часов окончательно уходит. Однако ничего такого я не сделал — ведь это означало бы признание безжалостного приговора профессора, а я еще не был к этому подготовлен. Поэтому, пока боль не свалила меня с ног, я решил вести себя так, будто ничего не случилось.

Вошла Божена.

— К вам клиенты...— сказала она с улыбкой.

Глаза ее излучали здоровый животный оптимизм. Неожиданно моя боль исчезла. Я схватил Божену за локоть, она сейчас же прильнула ко мне. Эта ее готовность привела меня в хорошее расположение духа.

— Просите,— распорядился я.

Увы, это был последний рецидив моей беззаботности. Во время беседы с итальянцем, который действительно заинтересовался проектом Радневского, боль в животе возобновилась и уже не оставляла меня весь день. Я делал все автоматически, как бы в полусне: принимал участие в каком-то совещании, записывал что-то в блокноте, беседовал, даже обсуждал что-то и отчаянно с кем-то спорил, но все это происходило вне меня, по привычке, с разбегу, и остановиться мне было трудно.

Еще до ухода с работы я успел выслушать сплетни о Божене, принесенные сестрой нашей референтки. Она дружила когда-то с Боженой и была ее поверенной в сердечных делах, а теперь выдавала все ее секреты. Не слушая, я все же слышал все это, и мозг мой механически зафиксировал факты, что я понял лишь на следующий день.

Я тащился домой, скорчившись над рулем, и приехал поздно, застав квартиру пустой. На столе лежала записка от Зоси: она пообедала, так как не могла дольше дожидаться меня, и ушла на заседание Комитета по борьбе с алкоголизмом.

Этой неблагодарной в нашей стране работой Зося занялась, пожалуй, из духа противоречия. Сама она не пила, так как страдала потом из-за каждой выпитой рюмки. Деятельность же ее была нужной и тем более благородной, что не вознаграждалась ощутимыми результатами. Во всяком случае, каждую субботу и воскресенье Зося исчезала, отправляясь вместе с другими энтузиастами рубить эти немедленно отрастающие головы гидры.

Эва тоже оставила следы своего недавнего и лихорадочного пребывания: в ее комнате валялись части ее будничного туалета, значит, она побежала на вечеринку.

Я почти не притронулся к оставленному мне на плите обеду и, пройдя в свою комнату, разложил на письменном столе бумаги. Но мне было не до них. Пристроившись на тахте так, чтобы боль не очень докучала, я начал думать. Сославшись на срочную работу, я не вышел из комнаты и к ужину, несмотря на усиленные просьбы Зоси, которая вер-

нулась в десятом часу. В нашем быту это случалось часто, и Зося уже давно примирилась с моим затворничеством. Ко мне в комнату она входила редко, и только тогда, когда для этого был конкретный повод.

В одиннадцатом часу вернулась Эва. Захлопали двери, потом я услышал, как она напевает в ванной. Наконец все стихло, и на меня обрушилась бессонная ночь страданий.

Я — человек средней начитанности. До последнего дня заведующий книжным магазином откладывал для меня новинки, как заведующий мясным магазином откладывает под прилавок хорошую ветчину или филейную колбасу. Я знаю и «Смерть Ивана Ильича», и многие другие, более поздние произведения на эту тему. Во всех них согласно законам и биологического процесса и развития сюжета герои обычно умирают. Боль в паху или в другом месте проводила границу между активной жизнью и ее мрачным концом, предвещала страдания и, как правило, становилась катализатором расчетов с жизнью. Итог всегда получался отрицательный: каждый из героев, оглядываясь назад, с ужасом обнаруживал дымящееся поле брани.

И я, лежа на тахте в ночь с субботы на воскресенье, одинокий и отрезвевший, гакже испытал чувство настоящего животного ужаса. Я не был готов к тому, чтобы подводить итоги. Мог ли я еще вчера, в пятницу, подумать о каком-то итоговом балансе? Конец казался мне таким далеким и нереальным! Я жил в радостном сознании того, что впереди долгие годы жизни и что у меня еще не раз будет возможность заполнить пустоватые страницы актива. А в это время боль в паху сразила меня, как пуля из-за угла, когда я мчался на полном ходу. Расчеты были в беспорядке, сделки не завершены. Если бы не эта боль, я мог бы когда-нибудь, лет через двадцать или больше, взирать на прошлое с безмятежной меланхолией, сидя среди пенсионеров и попивая жиденький кофе, какой подают у нас в забегаловках. И подумать только, еще в августе я целыми днями плавал в Черном море, а по ночам без труда удовлетворял требовательную супругу некоего интеллектуала! До сих пор я был слишком здоров, чтобы допустить возможность столь хамского вмешательства какого-то внутреннего органа в основные вопросы моей жизни.

Но больше всего меня раздражало воспоминание о том, что именно мое безупречное здоровье и перечеркнуло когда-то мои честолюбивые планы. Это произошло в первые годы войны, еще до ареста Трусика и Анджея. Мой однокашник и сосед Янек Сувальский (тот, которого я встретил на аэродроме) как раз сочинял свои первые поэтические произведения. Не стану скрывать: я находился тогда под влиянием этой яркой личности и решил тайно последовать его примеру. К сожалению, хотя я и научился кое-как рифмовать, ни в одном из моих стихотворений никогда не прозвучала ни подлинная тоска, ни подлинное страдание. Теперь-то я знаю, что мне просто не на что было жаловаться. На войну? Из-за войны тяжело страдали все, кроме спекулянтов и богачей, каждый жевал хлеб, выданный по карточкам, и каждого поджидала гибель из-за угла. Мой зарифмованный патриотизм напоминал стихи из букваря, вроде:

Вперед без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!

Я, восемнадцатилетний мальчишка, в этой войне находил выход для своей энергии, хотя и рисковал жизнью. Каждое утро я срывался с постели, исполненный жажды действия, дрожа от тревоги, но и от радостного ожидания. И, стыдно признаться, я чувствовал себя счастливым.

Иное дело Сувальский: он от рождения был ребенком болезненным, со слабым сердцем, капризным пищеводом и загемненными легкими.

Вместо того чтобы гонять мяч, щупать девчонок, танцевать и тратить время на глупые занятия здоровых людей, Сувальский часто болел и, лежа в постели, волей-неволей читал все, что ему попадало в руки. Его заумные, на первый взгляд, стихи (у него была склонность к художественной усложненности и понятное стремление замаскировать свои физические недостатки) по сути были исполнены самой обыкновенной тоски по жизни, девушкам, по футболу. Позднее он стал выражать в стихах свою жажду действия, стремление к борьбе, то есть все то, что для меня было обычным делом. В его произведениях звучало подлинное страдание, источником которого было чахлое здоровье.

Наблюдая за своим впечатлительным товарищем, я пришел к наивному убеждению, что поэзии придают глубину главным образом болезни или физические недостатки. И в самом деле, разве Словацкий не был с детства болезненным, как свидетельствует «Час раздумья»? Разве Шелли не был чахоточным, а Байрон хромым? А Бодлер, постепенно съедаемый сифилисом? С полной серьезностью я думал о том, не заразиться ли мне от соседа туберкулезом или не проглотить ли толченого стекла. На венерическую болезнь я не мог отважиться даже в мыслях — слишком много мне довелось слышать в детстве об отваливающихся носах. Я удержался от подобного шага, вспомнив, что у Адама Мицкевича было довольно завидное здоровье. Кроме того, думая о нем, я понял, что страдания по причине неразделенной любви могут стать превосходной подкормкой и для моей поэзии.

Где же найти неразделенную любовь? Именно тогда я впервые распахнул свои объятия в скверике у электростанции, и моя избранница немедленно пала в них без лишних возражений. Жизнь моя показалась мне убогой и глупой. К счастью, этим горьким раздумьям положила конец моя все возраставшая деятельность под руководством Анджея, а вслед затем — провал, трагическая ночь и бегство из Варшавы. Потом я стрелял, пробирался через болота и спал в лесу на сырой земле.

А Сувальский все это время не покидал своей теплой комнаты, соблюдал, благодаря заботливой маме, диету, страдал, читал все книги мира и творил. Как же я временами завидовал ему!

Я встретил его вскоре после освобождения, среди развалин бывшей Маршалковской улицы. Выгнанный вместе с матерью из дому, который немцы подожгли, он унес оттуда, спрятав на груди, свои исписанные тетрадки. (В 1957 году я купил красиво изданный томик — его стихи из этих тетрадей.)

Мы зашли в бар, устроенный прямо на развалинах какого-то дома. Обрадованный встречей, он заказал пол-литра.

— Тебе можно пить? — изумился я, так как он был по-прежнему худ и бледен.

— Нельзя! — нехотя ответил он и тут же потребовал: — Налей!

Я налил. Сувальского передернуло, он поперхнулся, но с отчаянием продолжал пить. Вскоре речь его перешла в какое-то бормотание.

— Ты, тип,— сказал он вдруг, уже совсем пьяный.— А ты знаешь, что я тебя ненавидел?

— Ты, меня? — изумился я.— За что?

— А за то, что ты жил! По-настоящему! И был здоров как бык!

— Да это ты жил по-настоящему! — убежденно воскликнул я.— Это я завидовал тебе...

— Не трепись! Я тебе завидовал!

— Опомнись, парень! Ведь ты поэт, у тебя были настоящие переживания! Только страдание...

— Хрен собачий! — гаркнул он во весь голос.— Что ты понимаешь в страданиях! Ты знаешь... Да все эти бездарные творения... все это вонючее богатство... за одну счастливую ночь с девушкой...

И вытащил из-за пазухи помятые тетрадки со стихами, свое сокровище и награду за душевные страдания.

— Я их сейчас же порву... спущу в унитаз... сейчас же... только обещай... Но не шлюху! Только не шлюху! Мне нужна такая, которая проведет со мной ночь, и захочет быть со мной еще, и будет меня за это любить!

Он пьяно расплакался. Я утешал его, а он требовал, чтобы я нашел ему девушку, и все порывался изничтожить ценные тетрадки. Потом я проводил его домой и передал с рук на руки перепуганной матери: она никогда не видела его пьяным.

С тех пор он всегда избегал меня, стыдясь, как видно, своего стриптиза, и мы только обменивались поклонами или банальными фразами, как тогда, в пятницу на аэродроме.

Когда кончилась война, мне было немногим более двадцати, и хотя я уже давным-давно отказался от пустого стихоплетства, где-то в глубине моей души затаилось желание пережить какую-нибудь личную трагедию или хотя бы половое бессилие. Это была странная для тех времен поза — некий сплав почерпнутых из школьных учебников представлений о подвиге и моих собственных романтических мечтаний, вспыхнувших особенно ярко на мрачном фоне сожженного города. Вскоре под влиянием активной жизнедеятельности развеялось и это желание.

Ныне, когда возникла проклятая боль в паху, было уже слишком поздно: я перепрыл жизнь кролем, в трудах и в поту, но без всякого страдания. Лежа, одинокий, среди ночи я вслушивался в тупую боль с ужасом, но и с некоторым удовольствием: лишь теперь моя жизнь обретала под внешне блестящей и гладкой поверхностью какие-то очертания, становилась из плоской объемной. Подтвердились юношеские догадки: страдание оказалось единственным ключом к пониманию. Увы, оно пришло слишком поздно для того, чтобы можно было что-нибудь исправить или изменить. За одну эту ночь с субботы на воскресенье я пережил больше, чем за все предыдущие насыщенные движением годы. В муках лопалась и сходила с меня толстая, отвердевшая от времени скорлупа, обнажая розовое, невероятно чувствительное тельце. В этой метаморфозе было что-то от закономерности природы: из куколки, прозябавшей годы, вылупилась бабочка, чтобы прожить несколько дней. Моя мотыльковая красота, предвещавшая скорый конец, определялась не совершенством формы и окраски — я начинал понимать и чувствовать.

К утру я задремал, а когда пришел в себя, все началось снова: боль не унималась. За окном гремели цистерны с молоком — звуки эти я обычно слышал, возвращаясь с какого-нибудь ночного бала. Внезапно меня охватило свойственное мне по утрам оптимистическое настроение: ведь даже в самом худшем случае, если диагноз профессора подтвердится, у меня все-таки еще останется несколько недель жизни до того, как я окончательно слягу в больницу, где догорю в мучениях, испробовав на себе все безрезультатные средства. Киноцивилизация немедленно подсунула мне готовые схемы из картотек сценаристов, в которых герой фильма, выходящий от врача со смертным приговором, решает хорошо прожить свои последние недели. К сожалению, моя боль в паху и раздумья не настраивали на распутство и неистовства, а зарплата, которую я получал согласно штатному расписанию, не давала мне возможности совершить молниеносное путешествие вокруг света, или разделить состояние между одинокими пенсионерками, или завещать его в виде общественного дара на благоустройство улиц. И все же, когда я сполз с тахты и, боясь усилить боль, начал осторожно одеваться, я уже в общих чертах знал, чего хочу.

Моя комнатка была маленькой, едва умещались тахта, столик и книжный шкафчик, но зато я жил в ней один. Из-за этой отдельной комнатки я долго сражался с Зосей, которая привыкла спать вместе со мной на одной тахте. Надевая брюки, я покачнулся и, толкнув столик, уронил на пол тяжелую пепельницу. Я мог бы и не дать ей упасть, но мне вдруг захотелось, чтобы она упала именно так, с грохотом, отчего в это воскресенье дом проснулся бы как можно скорее.

И действительно, за стеной почти немедленно послышались шорохи. Я открыл дверь и пошел в кухню. Мне хотелось ускорить обычный процесс вставания моих домочадцев. Я сам поставил на газ чайник. Спустя минуту в кухню вошла опухшая от сна Зося. Я взглянул на нее совсем иначе, чем до сих пор, и улыбнулся.

— Здравствуй, Зося,— сказал я.

— Здравствуй, милый,— автоматически, не глядя на меня, ответила она и принялась готовить воскресный завтрак.

Я сел на табурет. Из комнаты рядом доносились звуки бодрой музыки: это проснулась и включила радио Эва. Боль в паху пульсировала сейчас ритмично, почти в такт передававшейся по радио сентиментальной песенке. Зося, занятая своими мыслями, не выказывала никакой охоты разговаривать. Ее медные волосы, торопливо стянутые в узел, поблескивали в неярком свете ноябрьского утра. Она резала хлеб. Этот хлеб был куплен в субботу, когда Зося по дороге с работы забежала в магазин и, лавируя между очередями, запаслась продуктами на воскресенье. Внезапно глаза мои наполнились слезами.

— Зося...— мягко сказал я.

— Слушаю тебя, милый.

— Я хотел бы поговорить с тобой.

Прошло немало времени, пока до нее дошел смысл моих слов и тот необычный тон, каким они были произнесены. Зося обернулась и подозрительно прищурила глаза. В свете серого ноябрьского утра лицо ее казалось старше, в глазах застыл холодок. Я вдруг испугался.

— Пожалуйста,— наконец ответила она.— Но давай побыстрее, а то мне надо уходить.

— Куда? — прошептал я.

— Ты же знаешь, на собрание комитета! — ответила она.— Мы идем с Мартой.

Мое обнаженное розовое тельце задрожало от этого неожиданного холода. От одного только имени Марты уже повеяло какой-то враждебностью...

— Вот именно...— пролепетал я.— Мне тоже надо было уйти... А может, мы посидим дома?

Руки Зоси застыли, будто их отключили от электросети.

— Кшись, подумай, о чем ты говоришь? Когда это мы в воскресное утро были дома?!!

— Ну, а если бы мы взяли да и остались однажды?..— робко предложил я.

— Это было бы пределом моих мечтаний! — засмеялась она.— Если бы ты сказал мне заранее... Но ты же всегда говорил: «Семейное счастье надо принимать небольшими дозами, осторожно, как сердечные капли... Раз в день, после обеда. Иначе оно убивает».

— Я шутил,— сказал я со вздохом.

Зося бросила на меня быстрый испытующий взгляд, стараясь понять, не смеюсь ли я над ней.

— Тебя что-то беспокоит? — спросила она участливо.

— Нет... не в этом дело...— торопливо ответил я.— Я многое передумал...

— Почему вдруг?

— Как бы это объяснить...— Я с трудом находил слова.— Бывает, что приходит такой момент... с человека вдруг спадает панцирь...

— Панцирь? — изумилась она.

— Ну... скорлупа, что ли... Или как будто с него сняли гипс. И он начинает чувствовать...

— А тебе не надо ли опохмелиться, милый? — спросила Зося.

Это уже было слишком: она даже не помнила, что вчерашний вечер я провел дома, без капли водки! Зося наклонилась к встроенному под окном шкафчику, чтобы достать оттуда сыр. Ее халат распахнулся, обнажив упругую, еще сохранившую загар грудь. Я тупо смотрел на эту живую, пульсирующую теплом грудь.

— Останься со мной дома! — тихо попросил я.

Зося перехватила мой взгляд и быстрым движением запахнула халат. Мы уже довольно давно не были близки, но ни один из нас не проронил на эту тему ни слова.

— Да не в этом дело! — вскричал я.— Честное слово, не в этом дело!

В кухню шумно ворвалась Эва. Лицом она напоминала мать, но фигура у нее становилась более грузной, чем у матери.

— Завтрак готов? Я тороплюсь! — воскликнула она.

Это вторжение шума, энергии и какой-то вызывающей молодости обрушилось на меня, как меткий удар боксера на незащищенную грудь. Я взглянул на дочь с болью и завистью.

— Куда это ты так летишь? — спросил я, не сумев скрыть недовольства.

Эва не обратила ни малейшего внимания на мой тон. Как видно, я был для нее лишь элементом домашней обстановки и ничем более.

— Я хожу на прогулки по предписанию врача! — отпарировала она, дожевывая бутерброд с сыром.

— Извини. Это хорошо, что ты слушаешься врача. А с кем ты ходишь гулять?

— Да так, с одним пареньком,— нехотя ответила Эва. Схватив ломоть хлеба, она положила на него кусок колбасы и исчезла.

— Надеюсь, она еще девица,— сказал я.

Зося не поддержала разговора. Поставив передо мной чай, она шагнула по направлению к двери.

— Подожди! — воскликнул я.— Неужели ты не можешь пожертвовать ради меня каким-то дурацким заседанием!

Зося остановилась, опершись о притолоку. Я был поражен тем, как могло меняться лицо этой женщины: сейчас оно было гладким и почти красивым! Мое беззащитное розовое тельце тянулось к нему.

— Не капризничай, Кшись,— улыбнулась Зося.— Я не могу подвести людей в комитете. А поговорить мы можем и после обеда.

— Но ведь это идиотизм! — вскричал я.— Бороться с водкой в Польше!

— Должна же я с чем-нибудь бороться! — ответила она.— К тому же я обещала Марте...

— Не нравится мне твоя Марта!

— Такая постановка вопроса может нас завести слишком далеко,— улыбнулась Зося.

— Ты что, не понимаешь, что я больше не хочу жить в этой атмосфере лжи! — воскликнул я.

Зося серьезно взглянула на меня.

— Я тоже не хочу, Кшись. Хорошо, что ты наконец надумал поговорить об этом. Я готова продолжить этот разговор после обеда.

И вышла из кухни. Я механически глотнул чаю. Это было полное поражение. Еще вчера я поклялся бы, что достаточно мне только протянуть палец, и Зося ухватится за него обеими руками. Сумею ли я

хоть что-то изменить теперь за то короткое время, какое у меня осталось? Я глядел в окно. В четырехэтажном доме напротив уже несколько лет шел капитальный ремонт. Недавно рабочие снова исчезли, пробив какие-то дыры в стенах и крыше, и сегодня жильцы еще раз собирали деньги в спирто-водочный фонд, намереваясь таким образом ускорить починку дыр. «Гитлера на них нет!» — кричала бабушка с первого этажа. Рядом дети месили грязь с цементом и готовились разжечь костер из пиломатериала. Вся эта картина запечатлелась в моей памяти как открытка, и мне даже сейчас легко воспроизвести ее.

Я осторожно нажал на вздутый живот и сморщился от боли. Из коридора послышались шорохи и шаги. Затем дважды раздался треск захлопнувшейся двери. Это быстрое равнодушное хлопанье двери отдалось у меня внутри болезненным эхом. Кроме меня в квартире осталась только тишина.

Я поплелся в свою комнату и включил радио. Какое-то время я стоял у стола и с отвращением смотрел на стопку книг и бумаг, которые приготовил, чтобы прочесть в воскресенье. Вдруг я задрожал от страха и глаза мои стали влажными. Я вытирал их медленно, с благоговением и экзальтацией, священнодействовал, сознавая значимость этих неожиданных слез, умиленно нянчился с самим собой, как с младенцем. Пустота квартиры подавляла меня. Страх перед небытием заставлял искать утешения.

Когда я был ребенком, бабушка таскала меня по всем костелам Варшавы, и особенно в костел францисканцев на Сенаторской улице. Мы проводили там у фигуры Святого Антония целые часы, так как бабушка перед ним благоговела. Она даже держала у себя в комнатке на Подвале фигурку этого святого, выточенную из дерева и ярко раскрашенную. Святой стоял у нее на столике в темном углу, среди искусственных роз, выглядевших лучше, чем живые. Подсвечиваемый снизу красной лампочкой, он прижимал к себе левой рукой не то молитвенник, не то Библию, а правую воздел, словно для приветствия или благословения. Вечно занятые родители оставляли меня у бабушки, как в камере хранения, и по вечерам я часто принимал участие в долгих молитвах у стоп фигуры. Бабушка не была ханжой: несмотря на больное сердце, она старательно, хоть и тяжело, опускалась на оба колена, широко, по-деревенски расставляла их и от всего сердца молилась за детей и внуков, за живых и усопших, за здравие других и за хорошую смерть для себя, готовая переложить на свои сгорбленные плечи грехи близких и искупить их, лишь бы только умереть спокойно, причастившись, в окружении потомства и быть похороненной в польской освященной земле. Она готовилась к этой смерти добросовестно и серьезно, без всякого страха, как некогда готовилась к свадьбе или родам. Я знал, что дедушка, муж бабки, не вернулся с первой мировой войны, пропав без вести после того, как его угнали в какую-то неведомую Маньчжурию. В те времена я любил бабушку гораздо больше родителей, которые всегда куда-то торопились, и немедленно выполнил бы все ее желания, если бы это зависело от меня. К сожалению, несмотря на ее горячие молитвы, деревянный святой ничего не обещал ей и по-прежнему стоял в красноватом свете, неподвижный и выцветший. Тогда и я начал обращать к нему пылкие просьбы, уговаривая его пойти навстречу бабушкиным мольбам и подтвердить, что вера ее не напрасна. Мне, мальчонке, начитавшемуся описаний разных чудес, казалось, что святому ничего не стоит подморгнуть бабушке: ведь, бывало, памятники даже истекали кровью или плакали! Увы, мои надежды были тщетны: страстные бабушкины просьбы продолжали по-прежнему разбиваться о дубовую мертвенность фигурки. Раздосадованный, я решил действовать, заботясь больше о бабушке, чем о том, что могу согрешить и провиниться перед богом

Я раздобыл у ребятишек во дворе проволоку и гвозди, потом одолжил у кого-то лобзик и, как только бабушка ушла из дому, принялся за работу. Отсутствие технической подготовки сказывалось: я проработал добрых полдня. Едва я прибрал с пола мусор, как вошла бабушка, а за ней почтальон. Он принес письмо, которое так огорчило бабушку, что она расплакалась над плитой, потом, тяжело дыша и пряча от меня слезы, приняла сердечные капли, а письмо сожгла. Однако я успел заметить, что адрес на конверте был написан рукой моей матери. Лишь спустя много лет, подслушивая как-то под дверью разговор родителей, я узнал, что в том письме мать сообщала из Вильно о перенесенной с опасностью для жизни операции, в результате которой я так и остался в семье единственным ребенком.

Бабушка родила пятерых детей (трое из них умерло), и мысль об аборте наполняла ее ужасом. Поэтому она особенно горячо молилась в тот вечер за грешную дочь и дитя, убиенное в ее чреве. Но я тогда ничего этого не знал, а видел только, что она в отчаянии и оттого исступленно молится. Я примостился на полу под фигурой святого, делая вид, что погружен в молитвы, но на самом деле напряженно следил за бабушкой. Она долго молилась, склонив голову, и я уже начал терять терпение, когда наконец настала долгожданная минута. Ударив себя несколько раз в грудь, бабушка подняла на святого умоляющие глаза, словно ожидая знака прощения или милости. И тогда я незаметно потянул за проволоку, конец которой все время держал в руке. Я мог гордиться своим достижением: правая рука святого, вознесенная для благословения, поднялась еще выше, приняв вертикальное положение, после чего медленно опала. Бабушка замерла с высоко поднятой головой, глаза ее широко раскрылись, лицо просветлело... Вдруг она приглушенно вскрикнула и рухнула, раскинув руки, лицом вниз. На мой крик сбежались люди и бабушку отвезли в больницу, но она уже так и не пришла в сознание и умерла тихо, со спокойным и ясным выражением лица. Не помня себя от отчаяния, я демонтировал свое изобретение и никто никогда не узнал о нем. Позднее бабушка не раз снилась мне, и не раз меня грызла совесть; но, если говорить честно, может быть, я нечаянно сделал ее смерть даже более прекрасной, чем та, о какой ей мечталось. С того времени, однако, стремление к добрым поступкам во мне притупилось, а вера моя стала угасать. Осталась только склонность к технической рационализации.

Боль в паху, исчезая на минуту, снова возвращалась, и я почувствовал, что не могу больше оставаться один в этой квартире-клетке. Выйдя в коридор, я схватил с вешалки пальто и, надевая его на ходу, бросился на лестницу, чтобы сбежать по ней через две ступеньки, как бывало еще несколько дней назад. Но при первом же толчке я скорчился от боли, замер на мгновенье, а потом начал спускаться медленно, боязливо ступая, точно впервые учился ходить. Так, осторожно глотая воздух, я добрался до угла улицы и при виде людей обрадовался: в случае чего они подоспели бы мне на помощь.

На стоянке такси скучала одинокая машина. Небо немножко очистилось, и теперь над городом нависла тускло светящаяся дымка. На перекрестке шофер резко затормозил, чудом не столкнувшись с автобусом. Я инстинктивно напрягся и крепко оперся о спинку сиденья.

— Что это вы нервный какой! — засмеялся шофер.— Жизни лишиться не так легко, как кажется.

— Это я с похмелья,— сконфуженно пробормотал я.

— Весь народ в воскресенье опохмеляется,— вздохнул шофер.— Кроме меня. Моя баба мне всю плешь проела.

Мы доехали. Шофер с меланхоличной завистью наблюдал за моими неуверенными движениями.

Осторожно поднявшись по лестнице к Мае, я в неуверенности остановился у ее двери: я никогда не приходил к ней в воскресенье, может, она ушла погулять или к ней приехала тетя из провинции? Но время подгоняло меня, и я позвонил как всегда — два длинных звонка и один короткий. Только я успел испугаться, что ее нет дома и мне снова придется быть одному, как услышал шаги, и дверь открылась. Мая была в халате, довольно сильно распахнутом на груди: мне сегодня положительно везло на распахнутые халаты! Все-таки я не мог удержаться от мысли, что грудь Маи моложе и полнее Зосиной. «Боже,— подумал я,— как бесконечно жалко расставаться со всеми этими дамскими прелестями и вообще с белым светом...»

— Кшиштоф?! — воскликнула Мая изумленно.— Что случилось?

— Ничего... Просто у меня есть сегодня немного свободного времени...

Я поцеловал ее в щеку, но сделал это совершенно бесстрастно. Изумление в ее глазах постепенно сменилось радостью.

— Что за сюрприз! — воскликнула она.— Ты, в воскресенье! Как я рада!

Именно такая встреча и была мне нужна. Я вошел в комнату. По-видимому, Мая никого не ждала, потому что в комнате было не прибрано. Она кинулась наводить порядок.

— Хочешь есть, Кшись? А может, выпьешь чего-нибудь?

— Боже упаси! — испугался я и осторожно сел на тахту.

Меня пугала даже мысль о том, что в мои пылающие кишки может попасть что-нибудь спиртное. Удивленная Мая присела рядом. При взгляде на ее грудь во мне на секунду вспыхнуло какое-то подобие желания, но «memento mori» в кишках немедленно дало о себе знать усиленным пульсированием. Я с завистью подумал о стариках: все это уже наскучило им, их не тревожит никакая страсть, и они без всяких конфликтов въезжают на транспортере в печь смерти. Но я-то здоровый бугай, я еще полон всяких желаний, а тут вдруг эта притаившаяся в животе внезапная смерть! Почему упавший сверху карниз должен был угодить именно в меня?

Когда я служил в армии, наш взводный Мондрасек назначал двоих человек нести тяжелую мишень на стрельбище, расположенное в пяти километрах. Только эти двое, обливаясь потом и тяжело сопя, тащились в хвосте колонны, в то время как сто двадцать остальных солдат маршировали в светлое будущее легко и весело. Шанс угодить в носильщики мишени равнялся 0,6 процента, но взводный Мондрасек безошибочно угадал меня среди всех прочих и назначил тащить мишень самым первым. И все же это не было таким абсурдом, как то, что свалилось на меня теперь. Просто мой гордый взгляд притягивал Мондрасека, как бутылка пьяницу, и он, бывало, частенько кричал с бешенством: «Максимович! Ну чего вы снова вылупились на меня?! Я вам покажу, как зенки таращить! А ну-ка на ту горку и обратно бегом марш!» В этом идиотизме все-таки был какой-то смысл: взводного Мондрасека терзали антиинтеллигентские комплексы, в моих глазах он вычитывал разлагающую иронию, унаследованную мною от отца, и с ней следовало покончить во имя дисциплины и боевой готовности.

Неужто и теперь где-то там, наверху сидит какой-нибудь разъяренный Мондрасек, который сбросил на меня карниз, потому что ему не нравится отсутствие скорби в моем нынешнем взгляде? Смею сомневаться в этом и потому предъявляю свои претензии слепому року, который вместо того, чтобы изничтожать мои внутренности, мог бы с таким же успехом принести мне главный выигрыш в самой крупной де-

нежной лотерее. Может быть, какой-то пьяница с завязанными глазами вытащил из миллиона шаров черный шар с моей фамилией? Но и такое объяснение — не для разумного существа. Я восставал против рока и искал справедливости. Я должен был найти ее.

— Кшись, скажи мне... что с тобой? Что-нибудь случилось? У тебя какой-то прибитый вид...

— Ничего не случилось. Просто я взял и пришел.

— Как это... взял и пришел?

Мая смотрела на меня, слегка приоткрыв рот. Она действительно была самим воплощением женской красоты, и я почувствовал гордость от того, что она меня любит. Еще позавчера мы резвились с ней на этой тахте, но это уже была иная эпоха, безвозвратно ушедшая в прошлое. Я нежно обнял Маю. Я нуждался сейчас в ее теплой, заботливой близости. Но она не могла предвидеть этого.

— Подожди, Кшись,— сказала она, выскальзывая из-под моей руки.— Я сегодня не очень-то настроена... Я не ожидала, что ты...

— Вот и отлично! — искренне обрадовался я.— Я пришел совсем не за тем.

— А зачем?

— Я хотел поговорить с тобой.

Мая слегка сощурила глаза. Пожалуй, я впервые видел ее лицо без краски и пудры, но от этого она показалась мне еще моложе, проще и ближе. Сегодня все фальшивое было мне противопоказано. Мне нужно было извлечь наконец и услышать подлинный голос ее сердца.

— Ты хочешь порвать со мной? — настороженно спросила Мая.— Кто-нибудь донес Зосе?

— Да нет, что ты,— печально улыбнулся я.— Мая... ты любишь меня?

— Конечно люблю, Кшись! — воскликнула она и, растопырив пальцы, провела ими по моим волосам, как часто делала это во время наших любовных встреч.

— Вот и чудесно! — обрадовался я.— А что бы ты сказала, если бы я остался здесь?

Мая явно погрустнела.

— Я сегодня договорилась с тетей... Она специально приедет из Венгрова... Если бы ты заранее предупредил меня... Но в пятницу, конечно, приходи, как всегда!

— Я не про это! Я хочу вообще остаться, совсем!

Мая отодвинулась от меня, улыбка сошла с ее лица.

— То есть как это? — медленно спросила она.— Не понимаю... Ты хочешь из-за меня бросить Зосю?

— Да,— убежденно сказал я.

Наверно, я осчастливил ее своим предложением, но поступил при этом нечестно: ведь я теперь был обесцененным товаром и мог принести ей лишь одни заботы, хлопоты и слезы. Но в эти последние дни со мной рядом должен был быть кто-то, в чьем сердце я останусь, даже уйдя в могилу.

Впрочем, может быть, именно это и доставит ей радость? Женщины, я слышал, часто предпочитают ухаживать за возлюбленным, который тяжело и даже неизлечимо болен, нежели видеть его здоровым, независимым и вечно отсутствующим. Потому что когда он болен, то целиком принадлежит им, а когда здоров — занимается какими-то своими делами и всегда готов изменить им. Эту естественную для женщин склонность к заботе о любимом, слабом и больном человеке Мая сможет отныне удовлетворить полностью.

— Так как же? — нетерпеливо спросил я, потому что Мая продолжала молча смотреть на меня.

Теперь, когда прозвучали именно те слова, которых Мая с такой тоской ожидала в течение многих месяцев одиночества, она не знала, что ответить.

— Глупая идея,— наконец сказала она.

Я взял ее за руку деликатно, робко. Рука была теплой, и я почувствовал, как в ней учащенно пульсирует кровь. Именно этого мне и хотелось: сидеть вот так и чувствовать чье-то учащенное из-за меня биение пульса. Надо было только преодолеть сопротивление Маи. Не могла же она знать, что нынешней ночью я лишился скорлупы.

— Прошу тебя, Мая, оставь эту циничную позу,— мягко сказал я.

— И ты меня об этом просишь? — она рассмеялась и вдруг вырвала у меня свою теплую руку.— Послушай-ка, Кшись, что все это значит? Что это за провокация? Я хочу знать, что случилось?

— Я говорю совершенно искренне. Я люблю тебя и хочу жить только с тобой. Я все обдумал. Я немедленно разойдусь с Зосей, и мы поженимся, как только это станет возможным. Эва уже достаточно взрослая...

Я говорил медленно и действительно искренне, мечтая, чтобы она поверила мне как можно скорее. Ведь за эти два года ее душе было нанесено немало травм, а теперь мне предстояло излечить их в одну минуту. Мая слушала, не отрывая глаз от моих губ, а когда я кончил, помолчала еще с минуту, потом схватила мою руку и начала покрывать ее поцелуями.

— Спасибо, Кшись, спасибо, дорогой! Боже, что за мгновение! Наконец-то я дождалась! И, вдобавок, прямо так, без предупреждения... А я-то думала, что ты не родишь этого даже на смертном одре!

— Мая, я не шучу! — воскликнул я, вырывая свою руку.

Мая взглянула на меня и вдруг стала серьезной.

— Хорошо. Тогда слушай: я не имею ни малейшего желания связывать с тобой свою судьбу.

Я опустил глаза. Она дождалась своего великого дня и решила отплатить мне за все. Надо было терпеливо перенести эти удары. Я был настолько выше подобных мелочей, что даже готов был подставить лицо для пощечин — сейчас для меня имело значение только самое главное.

— Сдаюсь, Мая,— сказал я.— Ты победила.

— Это уже не доставляет мне никакого удовольствия,— вздохнула она.

Я замолчал и рассеянно повел глазами вокруг. С самого начала, как только я пришел, мне чего-то недоставало в этой комнате, теперь я понял: под настольной лампочкой не было моей фотографии.

— А где моя фотография? — тихо спросил я.

— Но ведь сегодня не пятница,— ответила она, улыбаясь.

Надо было встать и уйти, но, к сожалению, вместо этого я продолжал со слепым упорством идти навстречу своему поражению — совершенно так же, как это происходило с Зосей тогда, в машине возле Повсина.

— Мая, почему ты неискренна со мной? Ведь я знаю, что ты ждала от меня решающего слова! Я знаю, что ты ненавидела меня за мое постоянное бегство в другую жизнь! Я знаю, что ты часто плакала по вечерам и считала часы до моего следующего прихода! Я знаю, что ты никогда не изменила мне, хотя у тебя было полное право на это! Зачем же ты сейчас кривляешься?

Мая меланхолично улыбнулась и поцеловала меня в лоб.

— Кшись, все это теперь уже совсем не так.

— Ты хочешь сказать, что изменяешь мне? — вскричал я.

Мая улеглась на тахте поудобнее. Это ее спокойствие предвещало

самое худшее. Мысли бурлили у меня в голове, а на язык просились одни лишь избитые фразы, годные в любой похожей ситуации; но ведь моя-то ситуация была исключительной и непостижимой и требовала иных слов, иных фраз, и я должен был их придумать, должен был быстро воспользоваться ими, чтобы они выразили эту мою совершенно неповторимую перемену и швырнули Маю мне на грудь, как теплый и нежный компресс, успокаивающий всякую боль. И вдруг я подумал, что, наверно, совсем не умру и что весь этот «cancer» — просто перестраховка профессора, которому собственный покой дороже всего, и поэтому он предпочитает предсказывать самое худшее, ведь от худшего всегда легче отказаться. Я не умру, потому что у меня зверское здоровье, и моя внезапная смерть была бы такой идиотской нелепостью, что даже слепой рок должен был бы прозреть. Зато с ужасающей ясностью я понял другое: если я сейчас, в горячечном пылу, не верну обратно Маю, мне грозит нечто гораздо худшее, чем смерть.

— Мая! — воскликнул я.— Не будем говорить о том, что было. Ты нужна мне сейчас! Нужна, как вода, как огонь, как воздух!

— Ничего-то ты не понимаешь, Кшись,— прервала меня она.— Впрочем, большинство мужчин ничего не понимает.

— Я уже все понимаю! Клянусь тебе...

— Ты понимаешь только себя,— возразила она.— Когда-то я очень тебя любила, Кшись, и отдала бы все, чтобы ты со мной остался. Но я быстро убедилась, что нужна тебе только в пятницу к вечеру, а в субботу или во вторник могу подыхать, как мне вздумается...

— Мая, теперь я стал другой...

— Молчи! В то время как ты, торопливо уходя от меня, беззаботно окунался с головой в свою мутноватую жизнь, я оставалась одна, задыхаясь, как рыба на песке. Я не могла ни работать, ни есть, ни спать. Я все время думала о тебе, и у меня дрожали руки, а глаза застилали слезы. Это было глупейшее самоуничтожение! Я должна была спасти себя и твердо решила убить в себе эту любовь. Но такие вещи не получаются сразу, мне было не под силу одним махом вырвать из сердца эту заржавевшую стрелу, и я решила бороться с ней осторожно, вытягивая ее миллиметр за миллиметром. Я начала разглядывать тебя, выискивать в тебе пятна, как астроном ищет их на солнце. Сперва стала замечать мелочи — пропахшие потом носки...

— Мая! — взмолился я.

— Не обижайся, Кшись, — спокойно продолжала она. — При таком лечении хороши были все средства. В тот же день я с радостью обнаружила в твоей левой ноздре три волоса... А ты их не заметил и до сих пор.

Я схватился за нос. Действительно, в левой ноздре торчали какие-то волоски. Я был готов сейчас отхватить их вместе с носом!

— К сожалению, все это были полумеры. И нередко вместо отвращения во мне пробуждалась жалость к тебе. Да и от Зоси в конце концов нельзя было требовать, чтобы она по-настоящему заботилась о тебе. Так что я оставила в покое изъяны в твоей одежде и твои физические недостатки, зато начала внимательно прислушиваться к тому, что ты говоришь. Постепенно я сделала открытие: под внешностью интеллигента и блестящего эрудита скрывался обыкновенный хвастун и самодовольный эгоист! Каждая твоя фраза была сплошным фонтаном самоуверенности, святой убежденности в собственном идеальном совершенстве. Каким ты был умным, значительным, способным! Каким огромным успехом пользовался у женщин! Как чудесно умел устраивать все в своей жизни! Я решила вывести тебя на чистую воду и начала изо дня в день разжигать твое самодовольство: лгала, говоря, что ты самый молодой, самый способный, самый красивый... В глубине души я надеялась, что ты не попадешься на эту удочку, что в конце концов почувствуешь в этом грубую

лесть — где там! Ты охотно глотал все это, принимая мои слова за чистую монету, и даже ожидал еще большего, домогался еще более цветистой лжи! Я познакомилась с Радневским. Он очень милый человек, и сам разъяснял мне свои проекты. Конечно же он способнее тебя в десять раз, хотя ты так легко верил, что стоит тебе только захотеть, и ты запросто победишь его! В конце концов я подумала про себя: неужели этот зазнавшийся дурак, не способный ни к какому бескорыстному чувству, унижающий меня каждым своим визитом по пятницам, и есть тот самый мужчина, которого я люблю?! Ну нет! Я почувствовала себя и умнее, и хитрее, и благороднее тебя. Чем еще ты мог меня пленить? И однажды, когда ты в очередной раз выбежал от меня, до отказа набитый моей лестью, которая бурлила в тебе, как кислота в аккумуляторе, когда тебе, поскольку ты уже закрыл за собой дверь, как всегда, стало до лампочки все, что со мной может произойти до следующей пятницы, — я начала смеяться. Я смеялась громко, долго, до слез и вдруг почувствовала, что я свободна, что при виде тебя у меня уже никогда не екнет сердце и не задрожат руки...

Я слушал все это с опущенной головой, даже не пытаясь возражать: в голосе Маи была искренность, а в словах — убедительная правда. Рука, которая, как я надеялся, поддержит и спасет меня, полным презрения жестом показывала мне издалека кукиш.

— Почему же ты не порвала со мной? — спросил я убитым голосом.

— Да потому же, почему и ты поддерживал эту связь, — она пожала плечами.— Мне с тобой было неплохо в постели... раз в неделю. Конечно, до поры до времени, пока я не полюбила бы кого-нибудь по-настоящему.

Она взглянула на часы и спохватилась.

— Уже поздно. Меня ждут.

— Кто? — спросил я неожиданно для самого себя.

Ответа не последовало. Мая откинулась назад и оперлась локтями о большую подушку. Халат ее, вероятно случайно, снова раскрылся. Полная, теперь уже, наконец, свободная грудь победно вздымалась. В глазах Маи появился недобрый блеск.

— Не такой ты меня всегда хотел, Кшись, не правда ли? — спросила она с иронией.

Я взглянул на нее с ужасом и, превозмогая боль, бросился на лестницу так стремительно, точно воочию увидел ад.

Выбравшись на улицу, я поплелся, опустив голову. Еще несколько часов назад я был убежден, что со всех сторон окружен людьми. Теперь трепетные руки хватали пустоту. Мое новое тельце отчаянно дрожало. Лавина, низвергнутая диагнозом профессора, с грохотом неслась вниз, сметая по дороге все мои постройки.

Ноябрьский дождик обволакивал меня густой влагой. Мой взгляд теперь обострился и примечал на улице все, чего не видел прежде, в той, минувшей жизни, промчавшейся в ускоренном темпе. Люди брели по слякоти, торопясь домой, в рестораны или кино. Я искал их взгляда, но никто не смотрел на меня, а, толкнув, скороговоркой извинялись. Большой город порождает равнодушие, и контакт между людьми ощущается единственно лишь в том, что они толкают друг друга. Если незнакомые люди встречаются в джунглях, тайге или пустыне, они бросаются друг другу на шею: там человек человеку брат.

Вдруг взгляд мой задержался на идущей впереди парочке. Парень, обнимавший девушку за талию, с наглым видом жевал торчавшую в уголке рта сигарету. Ему было лет семнадцать, этому зеленому юнцу, изображавшему из себя взрослого, и он, наверно, был неучем и онани-

стом. А его девушка была моя дочь Эва. Они щеголяли своей преждевременной свободой и нарочитой развязностью. Я сразу же увидел в этом пареньке себя — пятнадцатилетнего юнца с сигаретой «Пласка» в уголке рта. Я тоже тогда уверенно обнимал какую-нибудь девчонку из лицея. Это воспоминание и самозванная подмена, где вместо меня был чужой мальчишка, да еще с моей дочерью Эвой, бессовестно подставившей ему свое уже зрелое тело, кольнули меня в самое сердце. Меня поразило столь явственное, физически ощутимое перемещение поколений.

Я ускорил шаг, чтобы опередить их, и меня тут же резануло в паху. Неприязнь к дочери за эту ее внезапно обнаруженную мной сексуальную зрелость мгновенно растаяла. Эва заметила меня, и лицо ее выразило изумление: она никогда не видела меня гуляющим по улице в одиночестве, я всегда мчался куда-нибудь на машине.

Ловким движением она высвободилась из объятий онаниста и что-то шепнула ему. Я показал ей жестом, чтобы она шла за мной. Изумившись еще более, она что-то сказала пареньку и подошла ко мне.

— Что случилось? — дерзко спросила она.

Впервые за последние годы я видел ее днем на улице так близко. Глаза ее, под которыми легли синеватые тени, сверкали недобрым блеском, круглое личико было бледным. Я смотрел на это лицо, заново открывая его, и в душе моей затеплилась слабая надежда.

— Что случилось? — нетерпеливо повторила Эва.

Я быстро оглянулся вокруг и, увидев неподалеку кафе, потянул ее туда. Она шла, держась суховато и настороженно. Близилась обеденная пора, и столики освобождались один за другим. Втащив Эву в темный угол, я заказал две чашки кофе.

— Что случилось? — еще раз спросила Эва.— Получил двойку за поведение?

Я пропустил эту колкость мимо ушей, так как почувствовал, что за дерзостью Эвы кроется тревога.

— Ты не должна позволять обнимать себя на улице,— сказал я, хотя именно этого и не хотел говорить.

— У меня нет всегда свободной хаты, как у тебя,— порывисто ответила она, но тут же опустила глаза.

Наглость боролась в ней со стыдливостью. Вчера я, конечно, немедленно осадил бы ее, ныне это уже меня не касалось.

— И слава богу, что у тебя нет хаты,— засмеялся я.— А то, вон, твоя подружка Ася в подоле принесла.

— Ну, для этого-то мне хаты всегда хватает!

— Что это значит? — ужаснулся я.

— Я могу пользоваться хатой, пока вы на работе,— деловито пояснила Эва.— Около двух часов в день.

— Надеюсь, ты не хочешь сказать...

— Ася просто экзальтированная мышка и к тому же из семьи святош,— продолжала Эва.— Но ты-то ведь мне не отказал бы, дал бы денег на аборт, правда? Это ведь не должно оскорблять твоей идеологии?

Надо было возмутиться, но это у меня не получилось. Эва хотела разозлить меня, и то, что я не реагировал на ее слова, удивило ее. Она все сильнее, хотя и осторожно, стала нажимать на больные места, стремясь все-таки вывести меня из равновесия.

— Эва, зачем ты рисуешься? Хочешь убедить меня в том, что вульгарность — твоя идеология? — мягко спросил я.

— А твоя идеология? Не кради общественного имущества и не гневи начальства своего? Знаю я твою идеологию! — язвительно заметила она.— А может, ты предложишь мне что-нибудь получше?

Я смотрел на нее с изумлением. До сих пор нам как-то ни разу не случалось говорить вот так, серьезно, и я неожиданно нашел в ней достойного спорщика. Но не это мне было нужно сейчас.

— Мне нечего тебе предложить, кроме того, что ты можешь найти в любом учебнике,— ответил я.— Да и эти-то принципы трудно осуществить.

— Я знала, что ты соглашатель,— вздохнула Эва.

— У тебя много времени впереди, Эвочка,— сказал я и заметил, что мое ласковое «Эвочка» поразило ее.— И ты наверняка найдешь, за что бороться... А может, ты создашь что-нибудь новое? Я свои лучшие годы упустил и никогда уже не смог наверстать их.

— Наверно, поэтому ты и пытаешься все время жить двойной жизнью,— фыркнула Эва.

Все в этой девочке было настроено против меня. Она продолжала меня шпынять, и рассчитывать на примирение было трудно. К тому же боль в животе резко усилилась, надо было переждать приступ. А может быть, сказать ей обо всем? Ей одной?

— Послушание никогда ни к чему хорошему не приводит,— добавила Эва.— Послушание — это смерть.

— У тебя есть свое собственное средство улучшить мир? — спросил я, когда боль немножко отпустила меня.

— Каждый из вас только и норовит получше устроиться в жизни.

— Разве я так уж хорошо устроился?

— Ну... наверно, так, как тебе хотелось. Но я тебе не завидую.

Я не ответил и, пытаясь выиграть время, начал медленными глотками пить кофе, хотя мои бедные кишки не следовало заливать даже этой лишь напоминающей кофе бурдой.

— Тебе надо сначала сдать на аттестат зрелости,— сказал я поучительно, ибо больше ничего не смог придумать.

Ее горящие враждебные глаза лишали меня какой бы то ни было надежды. Она знала обо мне все.

— Да уж я знаю, что от тебя ни одного дельного совета не дождешься, кроме этой твоей фразочки «Смотри не схвати двойку!» — презрительно ответила она.— Ты и сам-то в гнусном положении.

— Откуда ты знаешь?!

— В тебе форма уже давно преобладает над содержанием! Там, где надо, ты послушен. Ведь тебе тоже ставят отметки.

— Всем ставят отметки,— согласился я.

— Я так и думала,— вздохнула Эва.— Просто ты теперь в старшем классе и уже привык к этому.

— Как раз сейчас я перешел в самый старший класс,— с грустью сообщил я.— И уже не нуждаюсь в аттестации.

Она впервые посмотрела на меня серьезно. Наши глаза встретились.

— Должно быть, тебя что-то здорово долбануло, если ты вдруг со мной заговорил.— Эва была беспощадна.

— Долбануло. Прости меня, Эва. Я не был хорошим отцом для тебя.

— И не был хорошим мужем для матери. Но мы пережили это. Впрочем, хороших отцов становится все меньше, так что на это нечего рассчитывать. Каждый теперь занят лишь своими делами, и все бегают, бегают, как кобели за сукой. Сплошная всеобщая беготня.

Я заколебался. Вот он, момент, когда можно протянуть ей руку, но Эва смотрит на меня с иронией. Она интуитивно чувствовала мою слабость.

— Пойдем обедать...— тихо сказал я.

— Да меня же ждет этот...

— Извини,— торопливо отступил я.— А с абортом... ты, конечно, пошутила?

— В случае чего сниму деньги со сберкнижки,— нагло заявила она.

— Ты что, с ума сошла? Деньги, подаренные бабушкой к торжественному дню Первого причастия?!

— Не волнуйся, папочка,— в знак сочувствия она положила мне руку на плечо.— Я бы никогда тебе не сказала... но ты сегодня был такой простой! Забудь об этом разговоре. Я уверена, что у тебя у самого на совести добрая дюжина абортов.

— Эва, как ты могла!

— А что ж мне было делать? Потерять парня, которого я люблю?— грустно улыбнулась она.

— Ты его любишь?

— Должна же я кого-нибудь любить,— серьезно ответила Эва, глядя мне в глаза.

Это ее признание подводило итог нашим отношениям. Коротко и ясно.

Я поднялся и направился за Эвой к выходу, неся свой проклятый живот, точно беременная женщина.

У газетного киоска топтался бледный онанист. При виде меня у него от страха забегали глаза. Вмешиваться в их отношения было слишком поздно. Эва должна была сама пройти через это жестокое испытание. Я мог только просить ее хотя бы сегодня отказаться от свидания и пойти со мной, но сразу же отогнал эти жалкие мысли. Ни на что подобное я не имел права.

Остановившись, я посмотрел моей бедной дочери прямо в глаза.

— Старенькая малышка,— сказал я.

— Маленький старичок,— сказала она.

И мы разошлись. Я снова остался один. Дойдя до аптеки, я купил болеутоляющие таблетки и принял две штуки сразу же, как только сел в такси, помчавшее меня к «Гранд-отелю».

Войдя в «Гранд-отель», я остановился. Кельнеры в смокингах, изысканный оркестр, треугольники белоснежных салфеток и соответствующие цены за всю эту роскошь. Одним словом, обособленная от остального города «европейскость» — весьма сомнительная и двусмысленная... Я не раз бывал здесь на официальных приемах, обедах или ужинах на казенные деньги и считал это своей прямой служебной обязанностью.

Окинув зал взглядом, я увидел своих: они сидели впятером, шестое место ожидало меня. Вокруг итальянца расположились веером все четверо: моя секретарша Божена и Радневский с одной стороны, директор Тшос на президентском месте и Обуховский с другой стороны. Подойдя, я извинился за опоздание, сославшись на внезапное недомогание Зоси, и уселся между двумя врагами, Радневским и Обуховским. При виде меня итальянец замахал было руками, но тут же возобновил свой флирт с Боженой. Девица явно не теряла времени и действовала на южанина, как валерьянка на кота. Итальянец, возбужденный несколькими рюмками водки, выглядел уже неспособным ни к каким деловым разговорам. Ясно было, что на сегодня его придется оставить в покое.

— Все идет самым лучшим образом,— доложил мне Радневский с прилежностью первого ученика.

Это означало, что все идет самым лучшим образом для него. Впрочем, я и так догадался об этом, увидев грустное лицо Обуховского. Теперь я смотрел на них обоих, как в перевернутый бинокль: я видел их на большем расстоянии от себя, но зато более четко, и они казались мне персонажами современной комедии «Дель арте».

— Этот итальянец дурак,— шепнул мне Обуховский.— Да вы и сами лучше меня знаете...

— Почему лучше?

— Ведь вы же были у него в Риме, он вас целую ночь возил по ресторанам.

Вместо того чтобы смутиться, я позволил себе улыбнуться. Обуховский уже выудил у итальянца подробности моего пребывания в Риме и, разумеется, преувеличил их. Значит, я все-таки был прав: в то время как я ставил ему оценки, он собирал обо мне всевозможные сведения, готовясь к атаке в подходящий момент. Вот она, благодарность за выдвижение, за заботу о нем! Знал бы он, что перед ним сидит человек, приговоренный к смерти, что преграду, которую он хотел брать штурмом, достаточно нынче всего лишь ткнуть мизинцем...

Я посмотрел ему в глаза и с состраданием улыбнулся. Это огорошило его. Должно быть, он подумал, что я крепко сижу в седле.

Потом я взглянул на Радневского, и он понимающе подмигнул мне. Это был верный союзник.

Мне налили водки и пододвинули закуску. Пить не хотелось, но я поднял рюмку и быстро опорожнил ее. Радневский налил мне вторую, я снова выпил ее. Боль благодаря порошкам уменьшилась, а водка развеяла страх. Я как бы повис между небом и землей и парил в пространстве. Впервые в жизни я присматривался к директору Тшосу, не боясь получить плохую отметку. Лицо директора выражало крайнее утомление; то ли дома у него не все было гладко, то ли по службе. Но дело было не только в этом. Я вдруг понял главное: директору скоро должно было стукнуть шестьдесят, и он думал о смерти!

Вокруг меня — на улице, в медленно движущемся трамвае, в очереди за ветчиной или в кассу кинотеатра, во время семейных праздников или служебных встреч — часть людей отравляет себе остаток жизни мыслями о смерти. Они притворяются беспечными, старательно скрывают свои думы, забывают о них во время насыщенного делами дня, но вечером эти мысли снова хватают их за глотку и заставляют ворочаться в постели до поздней ночи. Более пытливые начинают интересоваться произведениями, где ставится вопрос о смысле жизни, лихорадочно ищут утешения и, большей частью, не находят его. А что самое худшее — они никому не могут рассказать об этом страхе, даже самым близким, не хотят услышать в ответ: «Ну и что же? И я когда-нибудь умру, но не делаю из этого трагедии. И вообще не надо портить людям настроение пошлыми истинами». Вот все и делают вид, что смерть не имеет к ним никакого отношения, каждое утро с облегчением ныряют в жизнь, будто ночных страхов и не бывало, притворяются друг перед другом, выглядя жалкими лицемерами, забавляются игрой в мнимую бессмертность, а иногда им так хотелось бы гаркнуть во всю глотку: «Ко всем чертям! К чему эта глупая комедия?! Ведь я подохну через неделю, через год или через пять лет!!! Вы понимаете, что это значит для меня?»

Теперь я хорошо понимал, что это значит хотя бы для директора Тшоса. Пытаясь приостановить время, он после смерти жены-ровесницы женился на женщине, которая была моложе его на тридцать лет. Это отнюдь не приостановило старения его организма, но зато принесло ему дополнительные страдания вполне понятного характера. Должно быть, он уже давно принадлежал к той группе людей, которая думает о смерти. Это, главным образом, люди пожилые (хотя и здесь встречаются исключения. Например, мой школьный коллега, вечно болевший поэт Сувальский, думал о смерти с самого детства). В отличие от них более молодые чаще всего считают, что к ним смерть не имеет никакого отношения. За время, прошедшее от пятницы до воскресенья, я перешел из группы *беззаботных* в группу *думающих*.

Две недели назад я был на католических похоронах на «Повонзках»; хоронили мою семидесятипятилетнюю тетку. Она угасла тихо, безропотно, как и свойственно людям усталым и старым. С некоторых пор наши ксендзы отказались во время отпеваний от кабалистической латыни и перешли на польский. Некогда магические и для большинства слушавших непонятные слова ныне стали особенно сильно действовать на тех, кто *думает*. На похороны тетки притащились ее друзья, шестидесяти- и семидесятилетние люди, а одну из ее ровесниц, уже наполовину парализованную, привезли в колясочке. Вся эта небольшая кучка стариков или бормотала молитвы, или печально смотрела на гроб. Среднее поколение, помимо меня, было представлено дочерью покойной с мужем (оба теткиных сына погибли во время войны, что было тогда нормальным явлением в этой части Европы). Дочь искренне плакала, уткнув нос в платочек. Муж ее, микробиолог, избавившийся теперь от тещи, которая жила вместе с ними в их сорокатрехметровой квартире, тщетно пытался изобразить грусть: его выдавали частые взгляды, которые он бросал на ноги моей дочери Эвы. Эва и внук покойной, студент-медик, были представителями самого младшего поколения. Они то и дело что-то шептали друг другу, ни на минуту не расставаясь с маской печали — точно так же, как они делали это на скучных уроках, торжественных заседаниях или во время докладов. И вот на этих-то собравшихся здесь людей обрушились неожиданные для большинства из них слова (привожу их по памяти): «А теперь помолимся за душу того из присутствующих, кого бог призовет к себе следующим». Как и все вокруг, я незаметно взглянул на стариков. Семидесятилетние старики и старушки, обменявшись страдальческими, встревоженными взглядами, опустили очи долу, чтобы затем, как по команде, с облегчением устремить их на ту, что сидела в колясочке. А она вообще не подняла глаз и продолжала сидеть, низко опустив голову, с мертвым, залитым слезами лицом, — приговоренная всеми и готовая удовлетворить всеобщее желание.

Я тогда торопился на какое-то собрание и поэтому поцеловал кузину, пожал руку ее обрадованному мужу и, что было духу, побежал к воротам, довольный, что все кончилось, что мы так легко определили, кто будет призван следующим, и что этот выбор был принят старухой. Теперь, за столом в ресторане «Гранд-отель», мне вспомнились слова ксендза; если профессор не ошибся, этим следующим окажусь я, а сморщенная старушка пропустит меня вне очереди и, наверно, прикатит на мои похороны, чтобы снова покорно согласиться стать следующей. Директор, который думает сейчас о смерти, уставившись в тарелку с недоеденным бифштексом по-татарски, был бы приятно удивлен, узнав, что мне предстоит быть похороненным прежде, чем ему. Я мог бы ему сказать теперь: «Я тоже уже *думаю,* директор. Отныне я буду есть эту великолепную пищу жизни не с солью и перцем, а с лекарствами. К счастью, это продлится недолго».

И меня, и директора вырвал из раздумий голос Божены: приостановив на минуту наступление итальянца, она неумело пыталась втянуть нас в беседу, понимая, что иностранный гость уедет, а мы можем поставить ей за поведение двойку и в наказание больше не допустить к другим иностранцам. Меня уже не интересовали отметки, и это была единственная радость последних дней. Под влиянием алкоголя и порошков во мне зародилась слабая надежда, что эти последние дни можно будет растянуть и, прежде чем подтвердится диагноз профессора, я смогу некоторое время оставаться в этом ни к чему не обязывающем положении между жизнью и смертью — окончательно освобожденный, но еще абсолютно живой.

По-видимому, директор заметил в моем взгляде что-то необычное, а скорее не заметил обычного выражения готовности, и вопрошающе

взглянул на меня. Я не испытывал к нему злости и вовсе не хотел выпалить ему в лицо подобно некоему мелкому чиновнику из анекдота: «А теперь можете поцеловать меня в одно место, господин начальник! Целых десять лет я дожидался возможности сказать вам это!» Уходя, я вполне мог пожать ему руку, все-таки он был лучше других, потому что, вынужденный выслушивать доносчиков разных мастей и выставлять подчиненным отметки, он все же действительно заботился о благе своего учреждения и своих подчиненных. Если бы в минувшей жизни мне пришлось поменять этого начальника на другого, я оказался бы в затруднительном положении. Вообще не следует требовать слишком многого от начальства. Оно подчиняется высшим императивам, и горизонты его зрения шире, чем у подчиненных, — оно более четко сознает необходимость. Если же при этом начальство не только приказывает, наказывает и распоряжается, но еще и проявляет хоть какую-нибудь человеческую черту, как, например, юмор, или доброжелательство, или умение кататься на лыжах, или даже безнадежную любовь к жене, подчиненные готовы простить ему многое из того, что им в нем не нравится. «Смотрите-ка, начальник, а до чего остроумен!», «Вот так так! Начальство, а как простой смертный катит колясочку с ребенком». Или уже совершенно изумленно: «Нет, вы только подумайте — начальник, а я видел его в трамвае!»

Директор Тшос не пытался скрывать от нас свои человеческие качества, и мне это нравилось.

— Знаете, а я вас люблю, директор,— вдруг сказал я.— Я вас очень люблю!

Директор взглянул на меня с некоторым удивлением. Мой тон, как и сам я, были сегодня необычны.

Обуховский раскрыл рот от удивления, а Радневский тихо прыснул. Слова мои показались им столь глупыми, а тон столь недопустимо покровительственным, что они, должно быть, сочли меня пьяным.

— Спасибо, коллега, — ответил директор смущенно. — Я вас тоже люблю. Ну, мне уже пора...

И встал, чтобы попрощаться. Ему действительно следовало уйти. Благодаря Божене этот официальный обед превратился в воркование голубков, и положение директора становилось двусмысленным. К тому же мои искренние человечные слова всполошили его, прозвучав как издевка. Подчиненный волен любить или не любить свое начальство, главное — он должен уважать и слушаться его. А о смерти, притаившейся у меня в животе, никто не догадывался...

Итальянец с трудом оторвался от Божены, рассеянно пожал директору руку и тут же пригласил Божену танцевать, так как оркестр, допилив последнюю салонную пьесу, принялся неистово выстукивать ритм модного танца.

Я мог бы отправиться вместе с директором, но он посвятил бы мне не более четверти часа, потому что наверняка спешил домой, чтобы не оставлять молодой жене времени на опасные размышления хотя бы в воскресный день.

Так что я остался с теми двумя. Мне захотелось установить с ними какой-то человеческий контакт, не омраченный тактикой и подозрительностью. Я доброжелательно взглянул на Обуховского. «Танк», видно, уже испугался своей инсинуации касательно моего пребывания в Риме, потому что глаза его преисполнились преданности и послушания. И вдруг я понял: мои слова, адресованные директору, и мою улыбку он понял единственно доступным ему образом — как доказательство моей силы и близкого падения директора Тшоса.

— Что-то у нашего директора в последнее время вид усталый, — сказал он. — Если бы не вы, то...

— То что? — спросил я улыбаясь.

— Все могло бы развалиться, — пояснил Обуховский.

— Вы наш парус, вы наш руль! — шутливо добавил Радневский и снова подмигнул мне.

— Вы, наверно, станете директором вместо... — сказал Обуховский, торопясь достичь цели.

— За этакое повышение можно было бы даже и выпить, — предложил, улыбаясь, Радневский.

Бедный директор уже был похоронен ими. Они подняли рюмки, примиренные вдруг в припадке подхалимства. Но было между ними и различие: Обуховский подлизывался примитивно, нахально, низводя меня до своего уровня и оскорбляя этим. Радневский же подшучивал, всегда готовый к отступлению, делал мне знаки за спиной «танка», так что это выглядело скорее как издевка над примитивностью Обуховского. Я мог бы притвориться, что принимаю все это за чистую монету, выпить с ними в радостной атмосфере общего примирения и даже на брудершафт, о котором так давно мечтал Обуховский. Тем самым будет создана клика. Ведь Обуховский готов сойти с военной тропы и разрядить на некоторое время наведенную на меня пушку, если я в своем продвижении вверх подниму и его на ступеньку выше. К сожалению, мое впечатлительное тельце не выносило теперь фальшивой дружбы, подхалимства и нерешительности. Оно уже было лишено защитной скорлупы.

— Ошибаетесь, дорогие мои, — сказал я. — Я не стану директором.

Они застыли с рюмками в руках. Обуховский вперил в меня горящие глаза.

— Вероятно, я даже оставлю и свой пост, — добавил я с ноткой подлинной горечи.

— То есть как это?! — вскричал Обуховский.— Вам уже что-нибудь известно?!

— К сожалению, да, — твердо ответил я.

Обуховский залпом осушил рюмку, а Радневский, не будь дурак, сразу же отставил рюмку, не желая отравлять свой способный, предназначенный для карьеры организм. Он пил только тогда, когда в этом была необходимость. Обуховский же, воспитанник старой школы «обмываний» и брудершафтов, лакал водку бескорыстно, и это было хоть какой-то человеческой чертой в нем.

Теплая атмосфера единства и доброжелательства немедленно лопнула, а мое глупое признание директору в любви представилось им в ином свете: как жалкая псевдоироническая попытка сохранить фасон. Директор, который с такой легкостью съел меня без каких бы то ни было видимых на то причин, вызывал уважение и страх, несмотря на благодушный вид и неприятности с молодой женой. Следовало как можно скорее подлизаться к нему, проявить трезвость духа и получить хорошие отметки по дисциплине. Каждая проведенная со мной минута была потерянным временем и даже могла быть сочтена опозданием по неуважительной причине. Поэтому Обуховский начал беспокойно ерзать, интенсивно обдумывая тактику овладения креслом, которое чудом освободилось (враг вдруг без борьбы покидает свои сильно укрепленные позиции).

— Н-да...— пропыхтел он и не смог ничего добавить мне в утешение, чтобы в присутствии Радневского не сболтнуть по адресу директора что-нибудь лишнее.

— Смотрите-ка, смотрите-ка,— сказал с деланным оживлением Радневский и начал следить за танцующими.

Его мозг также усиленно работал. Мне очень хотелось, чтобы в минуту испытания Радневский оказался на высоте. Ведь он был мне многим обязан. Я с тревогой вглядывался в него. К сожалению, он уже,

вероятно, меня не видел. Я выпал за борт, вода сомкнулась надо мной, волны быстро успокоились, и поверхность снова стала гладкой. Меня вычеркивали из списка так грубо и быстро, что я задрожал от ужаса. Но ведь я сам хотел сорвать маски с их лиц! Однако такая доза искренности оказалась слишком сильной для моего деликатного тельца. Некоторое утешение мне доставила мысль, что я помучаю их после смерти, если, как это следовало из диагноза профессора, она действительно скоро наступит. Они не только досыта набегаются по городу в поисках приличного гроба (разве что директор раздобудет его из какого-нибудь спецфонда), но я загоню их на кладбище и заставлю изображать на лицах печаль, заставлю выслушивать разные словеса о моей жизни в дождь и ветер или в снег и мороз. В официальном некрологе будет сказано: «В лице покойного мы потеряли выдающегося специалиста (неправда), неутомимого организатора (полуправда) и ценимого всеми руководителя (липа). Честь его памяти! Подпись — дирекция, партийная организация, местком, сотрудники». А траурное извещение от семьи будет выглядеть, как и положено у католиков: «Священной памяти Кшиштоф Максимович, прожив 44 (45?) лет, умер после непродолжительной тяжелой болезни ... числа ... месяца ... года. Панихида состоится... в костеле Св. Карла Варфоломея, о чем извещают погруженные в печаль (скорбь) жена и дочь».

Долго я их всех не продержу, речи над гробом бывают самыми короткими. Обуховский с энтузиазмом возьмется за организацию похорон, стараясь почаще попадаться на глаза директору. Радневский убаюкает похоронную скуку мыслями об ожидающей его карьере. Может, Эва искренне поплачет, может, вспомнит обо мне спустя годы... Эх, да что там! Я и вовсе не был на похоронах своего отца. Мать получила от него из тюрьмы Павяк закатанную в хлебный шарик записочку. В ней было малоразборчиво нацарапано: «Наверно, я уеду куда-то... большая группа... прощайте». Это был и некролог его и похороны. Пепел отца развеял ветер, не знаю, когда и где. Мать уже никогда больше не смогла заснуть нормальным сном, покамест не угасла навеки. А я? Я выходил из окружения, пробираясь через трясины и топи под обстрелом пикирующих самолетов, среди пулеметной трескотни.

Тогда в меня не попали, в меня попали вчера, и это хуже, потому что теперь я начинаю понимать, что это такое, а лучше бы было тогда, тогда я еще ничего не понимал. Обуховский, который моложе меня только на год, здоров как бык и проживет еще по крайней мере лет двадцать.

— Так, так,— постучал пальцем по столу Обуховский. Вдруг глаза его снова заблестели, он улыбнулся мне: — Вы, должно быть, переходите в министерство?

— Нет,— ответил я.— Не перехожу.

— Полная отставка? — спросил он драматически.

— Полная и окончательная,— подчеркнул я.

Обуховский посерьезнел и опустил голову, но глаза его блестели: успех доставался ему слишком легко. Я теперь уже был ничем, я умер в эту минуту. И хотя в действительности смерть моя должна была наступить на несколько недель позже, я должен был уже теперь, немедленно исчезнуть с их глаз.

В этот момент как раз появился итальянец, цепко державший Божену под руку. Возбужденный до потери сознания, он улыбнулся нам, всем своим видом моля о снисхождении. Потом взглянул на часы и стал извиняться, пояснив, что ему необходимо вернуться в номер, так как он ждет важного звонка из Рима. Всем было ясно, что он врет; просто условился с Боженой во время танца, пригласив ее зайти к нему в номер примерить

привезенные им чулки и тряпки. У него дрожали от нетерпения руки, и, быстро попрощавшись, он побежал наверх стелить постель.

Радневский попросил подать счет, а Божена, как я и предвидел, вдруг вспомнила, что ее ждет дома мама. Она умоляюще взглянула на меня: это было сильнее ее. В глазах ее горела иная страсть, чем в глазах итальянца. Уж она так перетряхнет его заграничный чемоданчик, что из него пух и перья полетят! Явно не видя во всем этом ничего зазорного, Божена считала себя порядочной девушкой и независимым тружеником. Сеанс у иностранца выглядел для нее лишь дополнительной премией к зарплате, подобно казенной форме или ордеру на бесплатный уголь у железнодорожников, и в глазах ей подобных делал ее новую должность достойной зависти. Только идиотка не воспользовалась бы столь ценной возможностью.

— Пожалуйста, будьте умной, пани Божена,— предостерегающе шепнул я ей.— Они легко женятся.

Она взглянула на меня, и я понял, что угодил в самую точку. Женить на себе этого изысканного иностранца — да она никогда не додумалась бы до этого! Ее понятливая мордашка вспыхнула: врожденная смекалка сработала, и я был уверен, что теперь она пощадит чемодан итальянца ради значительно более высокой ставки.

Вообще-то, действительно, из всех пребывающих в Варшаве иностранцев влюбчивые итальянцы чаще всего увозили польских жен, плененные их северной красотой, и многие девушки, с трудом добывавшие себе вещи на местном базарчике, вдруг обретали благосостояние под солнцем страны, в которой, к счастью для них, не допускались разводы.

Божена пылко пожала мне руку и, озаренная надеждой, побежала делать величайший бизнес своей жизни: ей предстояло успеть до завтра так разогреть итальянца, чтобы он, одурев от тоски, вернулся к ней из Милана при первой же оказии. Я был убежден, что Божена станет образцовой католической женой, несмотря на сплетни о ней, которыми меня вчера начинила завистливая и некрасивая сестра ее подружки.

Эта женщина рассказала, что на предыдущей работе Божена — секретарша, обреченная на небольшую зарплату, но без удержу увлекавшаяся тряпками и косметикой,— решила подрабатывать, отправляясь каждую пятницу на «симфонический концерт» к некоему торгашу — сальному типу, возможности которого были весьма ограничены, но который зато обладал буйной фантазией. Его почтенная и увядшая супруга, меломанка, не пропускала ни одного концерта в филармонии, и Божена пребывала у него в полной безопасности в течение двух часов; нередко концерт транслировался по радио, после чего, при первых звуках заключительных аплодисментов, она одевалась и возвращалась домой с двумя стозлотовыми бумажками в сумке. С тех пор этот не самый приятный способ приработка неизменно ассоциировался у Божены с музыкой величайших мастеров, и при звуках музыки у нее срабатывал рефлекс отвращения — как у собак Павлова. Особенно же бурно, как утверждали, она реагировала на музыку Шопена, увядая на глазах, как роза в пустыне: во время конкурса пианистов им. Шопена супруга ее благодетеля и работодавца вообще не вылезала из филармонии, и алчная Божена пережила под звуки обоих шопеновских концертов и прочих многочисленных произведений великого композитора самую тяжелую неделю в своей жизни.

Сестра ее подружки, дама безукоризненного поведения, маленькая, жирная и уродливая, донесла мне об этом, рассказывая все трагическим тоном и изобразив на лице величайшее возмущение. Но я не могу презирать Божену за ее примитивную безнравственность. Выросшая в предместье, без отца, с детства предоставленная самой себе, развращенная постоянными приставаниями мужчин, она пренебрегла возможно-

стью учиться и поднялась на какую-то ступеньку повыше в социальном, но не в духовном отношении. Она извлекала выгоду из своего единственного капитала — дарованной ей природой красоты, но делала это глупо и хищнически. Лишь теперь я открыл перед ней ослепительные горизонты: итальянец был красивый, полный врожденного темперамента и вполне созревший для семейной стабилизации. Кроме того, он был богат и не имел ни малейшего представления как о ее прошлом, так и о ее возможностях на польском рынке. Ей достаточно было лишь сыграть самое себя, ту, какой она была, покамест за нее не взялись мужчины: скромную, добродетельную и эмоциональную девушку.

Итак, Божена помчалась пытать счастье. Сразу же после ее ухода поднялся Обуховский.

— С понедельника я беру отпуск,— сказал я.— Вы все знаете лучше меня. Так что до новых распоряжений вместо меня останетесь.

Обуховский кивнул в знак согласия и с выражением сочувствия на лице крепко пожал мне руку. Точно с таким же лицемерием он будет пожимать на моих похоронах руку Зосе. После нескольких рюмок водки мысль о кончине казалась мне уже не такой кошмарной, как ночью; никому не пожелаю пережить часа в два ночи жуткую картину собственных похорон. Особенную дрожь вызывала во мне возложенная на гроб черная «клепсидра»*, на которой серебряными расплывающимися буквами (у нас нет достаточно хороших красок) выписаны все мои персональные данные: имя, фамилия, дата рождения и т. д. Вот только даты смерти я не мог еще проставить: сейчас была середина ноября, процесс должен развиваться быстро, к Новому году, вероятно, все уже будет закончено — если профессор не ошибся. С той ночи на воскресенье мои похороны неотступно стояли у меня перед глазами, и, возвращаясь к ним в мыслях, я всякий раз видел все больше и больше участников этой воображаемой процессии. Я составил в уме список фамилий так же, как некогда составлял его для ежегодного приема в день моих именин (традиция, заброшенная года два назад из-за испортившихся отношений с Зосей), и хотя тех, кто придет наверняка, я насчитал около двадцати человек, возможных «гостей» оказалось более сотни. Я рассчитывал на успех в обществе. Это было развлечение приговоренного к смерти, которому не сразу отрубили голову, а дали жестокую отсрочку на несколько недель. Именинных гостей, пожелающих в последний раз почтить меня своим присутствием, ожидает также и некоторое развлечение: вероятно, двуобрядность моих похорон вызовет замешательство у организаторов, поскольку официально-гражданский обряд может войти в противоречие с семейно-религиозным. Ибо, если я не оставлю твердого распоряжения касательно своих похорон, не исключено, что мать Зоси сумеет уговорить ее пригласить ксендза. Теща сделает все, чтобы использовать такую внезапно открывшуюся возможность: пережить меня и вместе с освобожденной дочерью отслужить над моей могилой благодарственный молебен. Должно быть, это вызовет некоторые дипломатические осложнения: директор, как представитель государственной организации и партийный человек, наверняка будет недоволен религиозной манифестацией, и все же ему придется не только терпеливо выслушать все молитвы ксендза, но и произнести затем, возле кропильницы, речь о моих заслугах. Его немедленно поддержит Обуховский, который расхвалит от имени месткома мою энергию и доброту, а также мое чувство товарищества и прогрессивные убеждения в борьбе с отсталостью, темнотой и предрассудками. (Здесь он пошлет в сторону директора взгляд, полный преданности, после чего ядовито глянет в сторону ксендза.) В ответ на это взбешенный ксендз подаст знак к началу общей молитвы, который будет подхвачен

---

* Объявление о смерти, которое обычно расклеивается по городу.

тещей и ее старушками, а директор и Обуховский с достоинством ретируются. Однако эта последняя борьба за мою душу не примет драматического характера, поскольку я — фигура маловажная, и мои похороны не будут описаны газетами, да и скверная погода сделает свое и быстро разгонит публику.

Радневский вынужден был ожидать, пока ему подадут счет, а я тоже продолжал упрямо сидеть, хотя боль несколько утихла и я чувствовал себя куда лучше. Этот профессор с его аподиктическими суждениями нагнал на меня порядочно страху. Ну, уж и скажу я ему пару теплых слов, если диагноз не подтвердится! Ему бы собак и кошек лечить, а не людей с воображением!

Я с завистью взглянул на Радневского; он еще ничего не понимал в вопросах жизни и смерти. Он тоже посмотрел на меня, и я почувствовал по его лицу, что ему неловко. Он предпочел бы не видеть меня.

Мое впечатлительное тельце задрожало от холодного дуновения. До сих пор, видя все через призму собственной деятельности, озаряемой мерцающим светом власти, я замечал на лицах людей лишь улыбки и доброжелательное внимание. Теперь я впервые почувствовал себя нежелательным. Радневский, молокосос, который был моложе меня на пятнадцать лет и который еще так недавно горел услужливым рвением, фаворит, подталкиваемый мной в его подъеме на Пик Успеха, этот Радневский сейчас плевал на меня и не пытался этого скрыть. На моих глазах в мгновение ока произошло перемещение, какое обычно совершается незаметно, годами: меня оттащили в сторону, как разбитую в катастрофе машину, чтобы я не загромождал дорогу, и двинулись дальше, торопливо включая скорость. Я сожалел, что спровоцировал их, но отступления уже не было: простые механизмы жизни раздирали деликатную розовую кожицу моего тельца. Если мне, согласно диагнозу профессора, суждено исчезнуть в черной пропасти, то, видно, до этого суждено также испить полную чашу страдания и прозрения — этот мрачный конец я сам себе подготавливал долгие годы.

— Пожалуй, я пойду, коллега Радневский,— сказал я.— Завтра поговорим о вашем проекте.

Он с удивлением посмотрел на меня.

— Пожалуйста. Но мне кажется, что с ним все в порядке.

Он хотел дать мне понять, что мое участие в этом вопросе уже излишне. Действительно, путь перед ним теперь был открыт, чего же еще надо? А работу его вскоре заметят и в стране, и за границей. Он быстро сделает карьеру. В его возрасте я еще еле-еле выкарабкивался из своих послевоенных трудностей и ничем, ни одним достижением, кроме дочери Эвы, похвастаться не мог.

— Мне очень жаль,— сказал он, чтобы утешить меня.— Я не думал, что вас сковырнут. Ваши позиции казались мне сильными.

— Сильных позиций не бывает,— ответил я,— люди попадают под машину, умирают внезапно...

— Или пожирают друга друга,— добавил он.— Вы-то к этому привыкли!

— Кто... «вы»?

— Ну, все вы... те, что склеивали свою жизнь по черепочку. У вас вся спина исполосована шрамами от тюрем, войны, концлагерей, принуждений, извращений — и у каждого своя этикетка. Вы боролись с врагом и дрались друг с другом, убежденные каждый в правоте своего дела. В каждом из вас тлеет еще жар прежнего предубеждения и ненависти друг к другу, в каждом, как накипь, затвердели старые обиды и обвинения, всех вас тянет к разным идолам. Вы никак не можете избавиться до конца от угара ваших мифов и продолжаете вызывать духов прошлого, чтобы оправдаться перед ними. Вы прошли через такие испы-

тания, из которых лишь немногие вышли с целыми костями. А вы, пан директор, разве вы не сочинили про себя какую-нибудь удобную сказочку, не подправили действительность сообразно своим благим пожеланиям? Вы не можете до конца оправдаться перед самим собой и живете, постоянно опасаясь встретить на улице кого-то, кто помнит правду.

— Откуда вы знаете?

— Знаю! Время до сих пор не излечило вас от этих анахроничных страстей. И перед лицом новой действительности вы все еще не в состоянии очистить мозги от старой накипи.

— Самых лучших из нас грызут черви,— с горечью сказал я.— Время от времени каждое поколение удобряет собой землю — и своими ошибками также. Ваше поколение уже не совершит таких ошибок. Наши драмы, взлеты и падения подготовили почву для вашей личной карьеры.

— Вы, должно быть, думаете, что я карьерист? — он рассмеялся.— Но ведь это вы пытались использовать меня в своих целях, а я, улыбаясь про себя, согласился на эту несложную игру. Мое оружие в борьбе — моя истинная ценность, а не болтовня и приспособленчество. Просто я хочу как можно скорее получить возможность сказать то, что хочу и могу. К счастью, у нас теперь уже идет конкурс способностей и ума, а не связей, заслуг и знакомств. Теперь мы все одновременно начали заплыв, и тот, кто плывет быстрее, одолеет реку раньше других.

— Если речь идет обо мне, я готов для блага дела сойти с дорожки,— неуверенно пошутил я.

— Мне это безразлично,— ответил он.— Я и так выиграю состязание. Это только бездари ждут, пока освободится местечко, готовые рвать когтями, грызть и топтать соперников.

— Мне кажется, у вас тоже достаточно острые зубы,— заметил я

— Но я не собираюсь ни грызть, ни вообще подсиживать кого-нибудь, если только это не выдающийся дурак,— презрительно сказал он и взглянул на то место, где сидел Обуховский,— во мне нет закоренелой злобы, потому что у меня нет чувства виновности в чем бы то ни было

— Придет время и вашего испытания,— улыбнулся я.— Только дорастите до того, чтобы принимать самостоятельные решения.

— А я как раз жду не дождусь такой возможности! Я буду основывать свои решения на знаниях и рассудке, а не на предубеждениях, мифах и страстях.

— Желаю вам этого от всего сердца. Надо только, чтобы знания и рассудок победили повсюду в этой стране.

— Не только знания и рассудок! — воскликнул он.— Но и искренность и гласность, а самое главное — бескорыстие!

— Браво! — удивился я.— Вот уж не ожидал услышать от вас такие слова, особенно последнее! Только не угодите головой в стену...

— Это у вас всех головы в шишках,— фыркнул он.— Когда-то, двадцать с лишним лет назад, вас подхватил девятый вал, он вознес вас высоко-превысоко, но тут же и сбросил со всего маху вниз и стукнул головой о дно. У вас небось до сих пор в ушах шумит. Оттого-то вы и осторожный такой.

— Мы были тогда бескорыстны. И те, что погибли, и те, что выжили.

— Бескорыстие не такая уж великая заслуга, если оно проявляется, когда все вокруг — сплошная развалина, да и сама жизнь постоянно висит на волоске,— дерзко возразил он.— Зато оно куда ценнее, когда человек окружен отнюдь не романтическими атрибутами, а подвержен множеству соблазнов, вроде покупки холодильника, кооперативной квартиры или машины. Я бы советовал вам получше узнать свою страну — ух, сколько в ней еще всякого дела! Что там и говорить! А бескорыстия нам нужны тонны и тонны!

— Вы готовы работать задаром, без денег? — спросил я не без коварства.

— Бескорыстие, главным образом, нужно там, где слишком мало платят,— ответил он.— Иногда я даже готов немного подождать с деньгами.

— А пока что, временно вы, пожалуй, все-таки заботитесь о собственных интересах,— наконец подловил его я.— И охотно продаете свои проекты за границу.

— Тем больше со мной будут считаться здесь,— сказал он.— Типичная провинциальная психология, но я-то не заражен ею. У меня, уважаемый шеф, еще достаточно боеприпасов, хватит не на один выстрел, вы же обо мне ничего не знаете.

Говоря это, Радневский вынул полученные на сегодняшний обед казенные деньги и протянул их кельнеру. Он подал их поистине графским жестом, а ведь родом был из маленького городишка в Прикарпатье! Этот молодой человек сам был полон той злости и нетерпимости, которую так высмеивал в других. Его беспощадность вдруг предстала предо мной во всей своей силе, и я был готов повысить ему отметку.

Вышли мы из гостиницы вместе. Разумеется, он тут же загляделся на машины, и в его глазах загорелась страсть обладания ими. Должно быть, я уже не успею узнать, как он сумеет в будущем увязать свои лозунги с явной жаждой стяжательства и материального благополучия: когда он достигнет своей цели, я буду уже до костей обгрызен червями.

Мы простились, и он тут же ушел своим энергичным шагом. Я перестал быть его партнером и даже противником в борьбе. Он подвел итог, начисто вычеркнул меня из списка и будет считать каждое последующее свидание со мной излишне затянувшейся формальностью. Но у меня уже не было обиды на него.

Я стоял у входа в гостиницу, раздумывая, куда бы отправиться. Возвращаться домой еще не хотелось: быть может, я подсознательно рассчитывал на то, что, подождав подольше, Зося встретит меня более ласково, и я сумею растрогать ее и заразить теплом моего чувствительного тельца.

Вдруг передо мной возникла коренастая фигура. Это был Обуховский. Глаза его блестели, а щеки были покрыты кирпичными пятнами, видно, он неплохо заправился сегодня.

— Я хотел сказать вам несколько слов,— проговорил он с несколько вымученной улыбкой.

Я заметил, что у него слегка дрожат губы.

— Слушаю вас.

— Ведь мы можем теперь быть откровенны! — вскричал он.

— Разумеется. Прошу вас об этом.

— Я не хотел разговаривать при этом... щенке!

— Теперь мы одни, я слушаю вас, коллега.

— Почему вы... почему вы в последнее время так травили меня?

— Я?!

— Вы сами прекрасно знаете! Положение мое стало нестерпимым, и я уже хотел просить о переводе в другое место!

— Не может быть!

— Могу вам показать свое заявление! Я его сочинял целую неделю. К счастью, они сами вас раскусили!

— Вы чувствовали себя ущемленным?

— Разумеется! Да более преданного работника, чем я, не найти! Я же все за вас делал!

— Ну, это-то вы, пожалуй, преувеличили...

— Знаю я, почему вы себя так вели! Со страху, вот что!

— А чего или кого мне было бояться?

— Да каждого, если только он не канатный плясун! Вы ж, наверно, по ночам не спали, боялись, что кто-нибудь, кто по-настоящему работает. займет ваше место! И тогда кончится ваше царство: дирижирование, лавирование, подлизывание.

— Еще полчаса назад вы сами подлизывались ко мне,— напомнил я.

— Потому что вы всегда требовали этого! От всех! Вы окружили себя сплошными подхалимами, чтобы самому со спокойной совестью подлизываться к директору. И эти разные... секретарши... они, наверно, тоже вам твердили, что вы красивый, что вы гениальный! А вы в это верили!

— Нет,— ответил я.

— Верили! Верили! — завопил он, совсем уже расхрабрившись.— Мне жена каждый день твердит, что я тупица и олух. И я тоже ей верю!

— Не стану подтверждать этого из вежливости,— улыбнулся я.

— А я не нуждаюсь в вашей вежливости! — продолжал орать он, все более входя в раж.— Я вам еще не все сказал! Вы боялись потерять свое кресло, потому что тогда вам пришлось бы взяться за настоящий, тяжкий труд, пришлось бы *придумывать!* И тут вдруг оказалось бы, что вы ничего не можете, что ваши проекты бездарны и глупы! Что вы умеете только обманывать себя и других, создавая своей суетней много шума из ничего!

— В этом есть некоторая доля правды,— согласился я.— Не каждый обладает вашим талантом, коллега Обуховский!

— Талантом? — вскричал он.— А вы знаете, что мой отец еле-еле подписаться умел, когда у него корову за налоги отбирали? А когда мне было десять лет, меня отдали костельному органисту, чтобы в доме стало одним голодным ртом меньше,— это вы знаете? Я учился читать, ходить, есть, говорить, прибавлять и отнимать, когда вы от нечего делать держали экзамен на аттестат зрелости, готовясь к приятной и легкой жизни!

— Ничего себе, легкая жизнь! — рассмеялся я.— Я потерял из-за войны целых десять лет!

— А я двадцать пять лет из-за своего происхождения! — снова заорал он.— Из-за этого моего правильного социального происхождения! Талант! Вы говорите, мои работы ничего не стоят? А я все равно буду работать! Говорите, я бездарен? По теории вероятности, даже свинья, роясь в шрифте, может однажды сложить сонеты Шекспира. Что ж говорить о человеке, который научился читать и писать, хотя бы и с большим опозданием! Я буду рыть землю носом до самой смерти, понимаете? И у меня все-таки будет хоть какая-то надежда, один шанс из миллиона, а вы лишены даже этого! Теперь-то вас вдруг раскусили! Что же вы будете делать?

— Может, умру? — вздохнул я.

— Не умрете,— убежденно возразил он.— Вы всегда отовсюду выкарабкаетесь и снова окажетесь где-нибудь на ровном месте. Но придет такая минута, когда вы заплачете и воскликнете: «Как я глупо пропрыгал свою жизнь!» Что до меня, то я предпочитаю сказать себе: «Я делал все, что мог, и мне не в чем себя упрекнуть, потому что все остальное — дезоксирибонуклеиновая кислота».

— Какая кислота?! — изумился я.

— А вы почитайте что-нибудь о генетике,— посоветовал он.— Но в одном-то я уверен — у моего сына будет талант! Ему не придется галопом усваивать за двадцать лет то, на что надо сто лет! А мой внук будет гениальным. Обещаю вам это. Адью!

И он исчез так же внезапно, как появился. А меня охватило сомнение, действительно ли этот разговор был или я вообразил его под действием алкоголя и лекарства. Но разве этот день не был днем правды

и суда? Картонные декорации начинали валиться одна за другой, как только я пробовал опереться о них, как о настоящие стены.

Думая об Обуховском или о его призраке, я добрел до освещенной и пустой автоматной будки. Подул мокрый ветер, и дрожь пробрала меня. Я быстро вошел в будку. Теперь надо было схватить за рога другого быка: я должен встретиться с Анджеем до того, как он прочтет извещение о моей смерти. Это желание было искренним. От всей души (в загробное существование которой я ведь не верил) мне захотелось, чтобы, читая траурное извещение, он не подумал: «Это к лучшему. Одним подлецом на свете меньше».

Так, благодаря новой чувствительной кожице я вдруг начал заботиться о своей репутации после смерти, хотя при жизни далеко не всегда думал о ней. И снова меня охватил страх при мысли, что уже слишком поздно и все будет рушиться при одном моем прикосновении.

Я нашел в телефонной книжке нужный номер. Судьба не препятствовала мне — в трубке сразу же прозвучал голос Анджея:

— Я слушаю.

— Говорит Кшиштоф. Я хотел бы увидеться с тобой. Дело не терпит отлагательства.

Он ответил не сразу. Видно, был захвачен врасплох. Я терпеливо ждал.

— Какой Кшиштоф? — наконец спросил он.

— Ты же прекрасно знаешь какой!

— А... это ты!

— Мне надо поговорить с тобой. Это не займет много времени.

— Поговорить со мной? Впрочем... может, это и лучше. Приходи.

Я выбежал из будки. Боль в животе, заглушенная до того водкой и порошками, снова ожила и принялась за свои мрачные шалости. Минут через десять мне удалось поймать такси, и я отправился на Беляны. Уже стемнело, опять заморосил дождь, в железные крыши домов стучал ветер. Все вокруг вызывало не столько жуткое, сколько мерзкое, воистину похоронное настроение. Не лучше ли умирать, когда светит солнце и пахнут цветы? Это было бы куда более красивое прощание с земной жизнью, а участники похорон тоже отделались бы всего несколькими злотыми — летом ведь цветы дешевые! «Любимому начальнику от сотрудников»,— написали бы под руководством Обуховского на ленте, опоясавшей гвоздики (красные). Вторая надпись, от семьи, была бы, может быть, на венке из роз (чайных): «Нашему дорогому мужу и отцу, Зося и Эва». Ладно уж. Не напишут же они «Ненужному уже начальнику» или «Опостылевшему мужу и негодному отцу», хотя таким образом воспоминание о моих незаурядных похоронах, а следовательно, и память обо мне остались бы жить еще некоторое время, хотя бы как анекдот. К сожалению, нельзя выбрать сезона для своей смерти, и мне придется примириться с тем, что я, быть может, уже никогда не увижу листьев на деревьях и раскрытых бутонов.

Мы доехали до квартала кооперативных домов, где жил Анджей. Это были трехэтажные блоки, стоявшие параллельно друг другу и упиравшиеся одним торцом в негустой лесок, а другим выходившие на асфальтированную улицу. Варшава расплывалась все шире, как чернильная клякса, и ничто уже в этой части Белян не напоминало заброшенного поля времен моей юности.

Двери Анджеевой квартиры были окрашены в зеленый цвет. Этот неожиданный оттенок гнилой травы заставил вздрогнуть мое тельце. Я заново открывал для себя активное воздействие красок, дуновений, запахов. Мои обнажившиеся рецепторы передавали теперь каждый импульс в стократном увеличении.

Через несколько секунд, показавшихся мне часами, двери отвори-

лись. Анджей, одетый в шелковый стеганый халат, с минуту присматривался ко мне, словно оценивая меня взглядом.

— Прошу,— наконец сказал он.

Я вошел. Комнатка была теплая и небольшая. Над письменным столом, заваленным раскрытыми книгами, горела чертежная лампа.

— Работаешь? — глупо спросил я.

— Развлекаюсь,— ответил он.— Садись.

Я сел на краешек тахты, потому что единственный стул стоял у стола, и на него сел Анджей.

— Слушаю тебя,— сказал он.

Я набрал в легкие воздуха, и сразу же в животе у меня будто что-то застучало.

— Анджей, я хотел оправдаться перед тобой...

— В чем?

— Ты знаешь в чем. Этот твой арест тогда и потом встреча в трамвае...

— А в чем тут оправдываться? Не в чем.

— То есть как это?

— Не хочешь же ты сказать, что это далекое прошлое вдруг начало тебя тревожить?

— Бот именно. Оно не дает мне покоя.

— Зря. Во-первых, ты не мог меня предупредить, потому что улица была запружена жандармами. Во-вторых, ты не хотел разговаривать со мной в трамвае, потому что я был опасным человеком, так как только что вышел из тюрьмы. О чем тут говорить спустя столько лет?

— Ты не до конца откровенен! — воскликнул я.— И наверняка думаешь обо мне плохо!

— А что это тебя вдруг начало волновать?

— Я хочу спать спокойно.

— Ну, так скажи, зачем ты пришел?

— Именно за этим!

Анджей внимательно взглянул на меня.

— Давай не будем играть в прятки, ладно? Если ты считаешь нужным поговорить со мной — пожалуйста, давай поговорим!

— Да ведь я же говорю! Не хочу, чтобы ты считал меня последней свиньей! И хочу спокойно...

Нет, слова «умереть» я не мог произнести, это немедленно лишило бы весь разговор смысла: умирающему в отпущении грехов не отказывают.

Анджей взглянул на часы.

— Ты хочешь, чтобы я ушел! — воскликнул я.

— Наоборот,— серьезно ответил он.— Раз уж ты здесь, давай доведем дело до конца.

— Знаешь, я тогда мог тебя предупредить... если бы переждал в кустах, пока эти жандармы уйдут...

— Ну что ты заладил одно и то же, как испорченный патефон... мог, мог... Вот именно, что не мог! Ты — не мог.

— Рожденный ползать летать не может. Так, что ли?!

— Да что-то в этом роде,— с улыбкой ответил он. - Эту тематику я уже давно списал со счетов и даже не смотрю передач по телевидению, когда про это толкуют. Куда интереснее, например, вот эта новая система перекрытий...

Он указал на одну из книг и улыбнулся мне.

— У меня нет к тебе претензий,— добавил он.— Можешь умирать спокойно.

Разумеется, это была шутка, но у меня чуть не разорвалось сердце: этот человек не хотел сближения, он сознательно умалял все и даже издевался надо мною.

Я тяжело поднялся, и в эту минуту раздался звонок.

— Подожди,— сказал Анджей,— мы же должны это уладить.

И пошел открывать. В дверях стояла Зося. Видно, она очень спешила, потому что учащенно дышала. Ноги у меня подогнулись, и я вынужден был сесть.

— Ты хотел поговорить со мной сегодня,— сказала она.— А теперь приехал к Анджею. Давай уладим все сразу. Я надеюсь, это не кажется тебе трудным. Нам не к чему сохранять дольше видимость брака.

Я взглянул на них. Они стояли рядом, почти одного роста, и смотрели на меня. Весьма подходящая друг другу пара среднего возраста. Если бы я сказал Зосе утром про свою болезнь, они переждали бы несколько оставшихся мне недель и легализировали бы свои отношения после моей смерти. Но, видно, мне суждено было пройти и через это.

— Вы давно знакомы? — спросил я.

— Семь лет,— сказала Зося.— Ты представил мне его на кладбище. А потом мне захотелось узнать, почему ты его так ненавидишь. Меня очень интриговало то, что произошло между вами.

— И ты решила вознаградить его за то зло, которое я ему причинил...— грустно улыбнулся я.— Вы что же... все семь лет так?

— Ну, что ты! — возразила Зося.— Анджей учился по вечерам в институте. И только недавно... Ты был так занят своими делами... И я хотела, чтобы Эва спокойно сдала на аттестат зрелости. Но если ты сам сделал первый шаг...

— Вы любите друг друга?

— Ты даже и представить себе не можешь как, старик,— ответил Анджей.

Они стояли передо мной, несколько удивленные тем спокойствием, с каким я принял это как-никак неожиданное сообщение. Анджей лишил меня даже возможности сделать жест — отписать ему в завещании жену или соединить их руки на моем смертном одре... Они все устроили сами, у меня за спиной. От меня требовалось только не устраивать скандала.

— Ты действительно закончил институт? — вдруг вспомнил я.

— Зося уговорила меня кончить,— ответил он, нежно беря ее за руку.— Три месяца назад я получил диплом. Вообще, благодаря ей я встал на ноги.

Он улыбнулся точно так же, как некогда Боженцкий: прекрасной улыбкой любви. Этот сорокавосьмилетний выпускник стоял на пороге жизни, влюбленный в мир, и был полон сил, как омоложенный чувством Фауст.

Все смешалось, все снова перетасовалось, точно колода засаленных карт. На глаза у меня навертывались слезы страдания и зависти. Оставалось сыграть заключительную сцену.

— Желаю вам долгих лет счастья, мои дорогие,— сказал я со всей галантностью, на которую только был способен.

Анджей кинулся к тумбочке, вытащил оттуда какую-то бутылку и наполнил рюмки, чтобы окончательно завершить соглашение. Этим он давал мне понять, что мы квиты. На минуту повеяло чем-то из прежней жизни.

— Значит, все эти твои собрания комитета, эта борьба с алкоголизмом были липовыми? — спросил я, взглянув на Зосю.

— Только воскресные, как и твои заседания по пятницам,— ответила она.

Освободившись, наконец, от лжи и увертюк, она с облегчением улыбалась.

— За ваше здоровье,— сказал я, поднимая рюмку.

— И за твое,— сказали они в один голос.

Я влил водку в пылающий живот.

Вместо того чтобы немедленно уйти, как того и требовала ситуация, я выпил еще несколько рюмок и затеял идиотский разговор о разводе.

— Все расходы, связанные с разводом, я беру на себя, так как чувствую себя виноватым,— сказал я.

— Что тут толковать о вине,— возразила Зося.— Заплатим за развод поровну, и все.

— Ты меня обижаешь! Ведь это я разрушил наш брак, мне и платить!

— Время все разрушает. Ты не виноват, что у тебя прошло чувство.

— Но я мог не обманывать тебя! Если бы у меня была хоть капля разума...

— При чем здесь разум?

— Я был идиотом! Я во всем был идиотом и должен заплатить за все!

Они смотрели на меня с изумлением, не зная, как реагировать на этот взрыв всеобъемлющей самокритики. Их зрелое счастье вовсе не нуждалось в ней.

— Ну, если уж ты так хочешь платить...— пожала плечами Зося.

— Хочу? Категорически настаиваю! — прервал я ее и, закончив на этом дурацкий спор, встал, потому что оставаться дольше уже не было ни малейшего повода.

Что-то тут не клеилось: конец разговора не соответствовал ни моральному значению проблемы, ни ее существу.

Когда я вышел от Анджея, время близилось к шести. Я снова сидел на мели. Все мои дела ликвидировались так быстро и легко, что теперь, даже вне зависимости от того, окажется ли диагноз профессора правильным, я должен был умереть, не создавая ни для кого сложностей. Надо было отправиться к высотному зданию, влезть на последний этаж и броситься вниз. В моем положении самоубийство становилось не только чистым выигрышем и бегством от бессмысленных пыток, но и логическим следствием банкротства, столь убедительно и наглядно продемонстрированного в течение сегодняшнего дня. Я сам обрек себя на полное одиночество перед лицом возможной смерти: никто не обязан был ухаживать за мной, кормить меня, слушать мои стоны и вообще видеть всю эту агонию, я не имел права беспокоить кого бы то ни было, а тем более ожидать бескорыстной заботы о себе. Кроме того, я не имел права отрывать сейчас Эву от ее забот. Если бы мне подарили еще хотя бы один год жизни, я не умирал бы в одиночестве.

Такси довезло меня до центра. Дальше я шел пешком, минуя высотное здание, но не спешил войти в него. На улицах было пусто, механизм города работал на четверть оборота, как и всегда в воскресенье. Только телевизоры гремели так, что было слышно на улице. У дома, где помещалось мое учреждение, я остановился. Не потому, что мне хотелось, обливаясь слезами, проститься с местом моих взлетов и падений и в последний раз прикоснуться к своему письменному столу, который верно служил мне столько лет.

Я долго звонил к сторожу. Он встретил меня с удивлением. Сославшись на срочную необходимость заглянуть в документы и взяв ключ от секретариата, я пошел наверх. Если к концу дня, переполненного встречами и разговорами с людьми, пустая квартира радует и располагает к отдыху, то опустевшие комнаты учреждения пугают: они по самой своей природе созданы для движения и шума. Я шел по пустым коридорам скорее уже не как руководитель учреждения, а как его призрак, кото-

рый является каждую полночь, чтобы выравнять баланс грехов и покаяния.

Отворив дверь секретариата, я сел за столик Божены и выдвинул один из ящиков. За два дня работы она успела превратить его в мусорный ящик, вдобавок засыпав все бумаги пудрой. Все же мне удалось отыскать блокнот с адресами. Из него выпал листок почтовой бумаги, на котором стояла вчерашняя дата (12 ноября, суббота) и который был исписан неровными угловатыми буквами. Это было письмо Божены: она писала его, когда я был у врача, а потом, подхваченная итальянской лавиной, унеслась, забыв о нем.

«Дорогая Казя! Я работаю на другом месте. Работа такая же, как всюду, но начальник, кажется, не такая свинья, как все мужчины, хотя этот старичок тоже того... не против, в общем. Он ломается передо мной вовсю, разыгрывает из себя важного фрукта, а глазки у него так и блестят, и, того гляди, слюна потечет, когда он смотрит на мои ноги. Ну, уж я ему этих ног не пожалела: такое мини выдала, что он сразу взял меня на работу, хотя у него, говорят, штатов нету. У него дома жена и взрослая дочь, но я буду делать вид, что помираю по нем, пока что-нибудь не выяснится. Во всяком случае, за вшивые деньжонки не продамся, меня еще пока что от этого на блевоту тянет. К ним тут иностранцы ездят, так что работа может быть даже интересной, но что-то сердце мое чует, что не для меня все это. Скажи Зенеку, что он сволочь, я его любила, а он оказался обыкновенный хулиган и бандюга и всю мою жизнь покорежил. Но придет время, он еще увидит мою фотографию в газете или на обложке журнала, как пани Люцину Винницкую печатают. Он тогда хватится, да уже поздно будет. Вчера тут приехал такой итальянец, что ему пять Зенеков в подметки не годятся, а он прямо на аэродроме уже ко мне разбежался, всю дорогу слюнки глотал. Мой начальник даже взбесился, он ведь воображает, что купил меня в полную собственность за эту зарплату для старых дев! Уж я тебе честно говорю, так мне мучаться приходится, так белкой вертеться, что лучше б я в каменоломню пошла! Если бы не этот Зенек...»

На этом письмо обрывалось. Божену вызвали к итальянцу, а что было дальше — известно. Действительность складывалась передо мной во все более гармоничную картину.

Я положил в ящик письмо, о котором очаровательная вертушка, наверно, уже забыла, и принялся перелистывать блокнот с адресами. Пробегая глазами фамилии, я видел равнодушные лица их владельцев. Перелистав весь блокнот, я вернулся к страничке, где был записан адрес Эльжбеты Боженцкой. Она жила недалеко, на Новогродской. Записав ее адрес, я вышел. На лестнице меня снова резанула боль, но здесь я мог стоять, ожидая, пока она пройдет, мог даже усесться на ступеньке, как жук на навозной куче: тут мне не грозила никакая встреча. Посидев немного, я сошел вниз.

— Спокойной ночи, пан Тадеуш,— сказал я сторожу.

Это был пожилой человек, инвалид, потерявший руку, и хотя в течение многих лет мы виделись ежедневно, знал я о нем немногое. Вдруг я подумал, что вижу его, наверно, в последний раз. Я остановился.

— Вы просили дать вам отпуск, правда? — неожиданно вспомнил я.

— Просил. По семейным обстоятельствам. Сын женится,— подтвердил он.

— А где ваш сын?

— В городе Пулавы, техником работает.

— А невеста его вам нравится?

— Это дело темное,— он покачал головой.— Вообще-то она красивая, ничего не скажешь. И любят они друг друга. Вот только слишком она философией увлекается.

— Это ее специальность, что ли?

— Нет, она садоводством занимается. Но когда речь о детях пошла, она начала чего-то крутить да вертеть...

— Не понимаю: она не хочет иметь детей, что ли?

— Да вроде бы хочет, но и не хочет — не поймешь. Молодая больно. А я хотел бы внука дождаться.

— Смерти боитесь, пан Тадеуш?

Сторож серьезно посмотрел на меня.

— Что это вы! В воскресенье, на ночь глядя, да этакое... Придет время — умру.

— И не жалко будет жизни?

— Что ж, если человек все, что ему положено, сделал... Вот дождусь внука и, пожалуйста... Отъезд!

— Сколько человек ни сделай, а мог бы и больше...

— На старости лет и черт в монахи лезет,— сказал сторож с некоторым раздражением.— Если бы мне руку не оторвало машиной, я бы больше сделал. А у вас есть телевизор? Сейчас как раз знаменитый актер выступает. Цибульский...

— До свиданья, пан Тадеуш,— сказал я, протягивая ему левую руку.— Мне кажется, ваша невестка еще надумает, родит вам внука.

Он закрыл за мной дверь и торопливо пошел домой. Окна его квартиры выходили на улицу, и я увидел через щель в занавеске все его семейство. Вокруг стола, вперив взгляд в телевизор, сидели сторож, его худенькая жена, какая-то молодая женщина, должно быть дочь, и еще пожилая чета, быть может брат с женой или сестра с мужем. Посреди стола на большом блюде возвышался пирог, вокруг стояли чашки. Это была живая семейная картинка, и я долго стоял и смотрел на нее. Какой-то верзила в надвинутой на глаза кепке остановился рядом и, охваченный любопытством, тоже стал заглядывать в окно. Но увидев в щель что ничего «этакого» там не происходит, разочарованно свистнул и окинул меня презрительным взглядом. Я бросился наутек.

На Новогродской я без труда нашел старый замызганный дом с темным двором и вошел в подъезд, служивший до войны черным ходом. Это был типичный доходный дом, в котором после войны большие мещанские квартиры были поделены на маленькие ломтики, а бывшие кухни превращены в отдельные квартирки.

Шагая по скрипучим ступенькам, я добрался до третьего этажа и позвонил в дверь. За дверью была полнейшая тишина, но я не спешил уйти. Да и куда мне было спешить? Тут был предел моих странствий. На лестнице воняло плесенью или какой-то тухлятиной. Я позвонил еще раз и, подождав, еще раз. До сих пор я никогда не руководствовался интуицией, но сейчас знал, что дверь в конце концов откроется. Через некоторое время я услышал какой-то тихий шорох.

— Кто там? — спросил слабый голос.

— Максимович.

Она долго возилась с замком, наконец дверь отворилась. Придерживая на груди выцветший халат, Боженцкая смотрела на меня, как моя бабушка на фигуру святого Антония. Волосы ее были растрепаны, глаза отекли, а кожа на лице казалась почти синей.

— Вы?!

— Я же сказал, что не забуду о вас,— улыбнулся я.

— Кто теперь верит таким словам,— вздохнула она и отступила назад.— Пожалуйста, прошу вас, входите... У меня такой беспорядок... Но я ведь и подумать не могла...

Я оказался в коридорчике, а скорее в крохотном квадрате между дверями — точно в лифте. Боженцкая снова отступила, и я вошел в комнату. Она бросилась убирать постель, но по ее движениям и по тому,

как она держала голову, было видно, что она очень слаба. В какой-то момент она так покачнулась, что поспешила сесть на тахту.

Видно, они жили здесь вдвоем до смерти Боженцкого, потому что на письменном столике лежали чертежные принадлежности и готовые к работе рейсфедеры, стояли бутылочки с тушью и фотография моего деятельного покойного коллеги. Это была маленькая часовня, созданная в честь умершего, благодаря ей Боженцкая постоянно испытывала скорбь, все время заново переживала постигшее ее несчастье. Теперь она смотрела на меня подозрительно, с недоверием, глаза ее блестели от жара, а тело содрогалось, и она никак не могла унять эту дрожь.

— Вы больны, не правда ли? — спросил я, кивнув в сторону тумбочки у тахты, где стояли лекарства.

— Э, пустяки! — отмахнулась она.— Я могу работать!

— Давайте только без бравады,— сказал я и неожиданно схватил ее за руку.

Она вздрогнула, как пугливая овца. Рука ее горела.

— Тридцать восемь с десятыми! — определил я.— Что с вами?

— Да что-то там записали в историю болезни.

— А эта температура?

— То падает, то поднимается. Не стоит говорить об этом.

— Нет, давайте поговорим об этом,— возразил я.— Я подозреваю самое худшее. Вам просто не хочется жить.

— А разве я обязана жить? — вызывающе спросила она.

— Вот именно. Должно быть, вы скажете «не для кого».

— Не для кого.

— И обществу вы не нужны, не правда ли? Все места под солнцем заняты.

— Если я умру сегодня ночью, дворник встревожится лишь спустя два дня. Тогда выломают двери, и начнутся хлопоты с похоронами.

Она сказала это спокойно, без истерии, точно говорила о бесспорных фактах.

— Ладно. Знаю я эти дамские настроения. Умереть тоже надо уметь с достоинством.

— Да что вы знаете об этом!

— Вы давно не делали маникюр,— огорченно констатировал я.

Она так отдернула с колен руки, как если бы я плеснул на них кипятком.

— Ваша болезнь неизлечима, так, что ли?

— Не знаю.

— А почему вы не знаете?

— А потому, что меня направили в санаторий... а за путевками большая очередь. Впрочем, я не очень-то и хлопотала об этом. Зачем? Раз уж вы хотите все знать, я вам скажу: мне и так на днях перестают платить пособие. Смешно было бы надеяться, что за эти несколько дней я найду работу... Надеюсь, вам понятно, что у меня нет денег на санаторий? И давайте лучше не говорить об этом. Вы, вероятно, пришли с какой-то целью?

— Да. Хотел узнать, что слышно у вдовы покойного коллеги. И хватит распускать нюни. Что это за санаторий?

Название его ничего мне не говорило. Разветвленная сеть лечебных учреждений всегда представлялась мне в виде некоего таинственного лабиринта, по которому бесконечно бродят толпы стонущих. Мне лично готовился туда путь не бюрократический и прямой; вход через одни двери и вскоре же вынос через другие.

Я встал, притворяясь по-прежнему энергичным.

— Сейчас вернусь.

Эльжбета наблюдала за мной исподлобья, как затравленный кролик.

Добиться чего-либо здесь можно было только терпеньем. С грудом сбежав по лестнице, я взглянул на часы: было около семи. Это воскресенье растягивалось и растягивалось, как резина. На улице я быстро отыскал автомат и набрал номер директора Тшоса.

— Шеф, дорогой, извините, что я звоню в воскресенье,— сказал я.— Но речь идет о жизни человека. Надо немедленно достать путевку в санаторий.

— Как же я могу ее достать в воскресенье? — удивился он.

— Но я должен что-то ответить сегодня.

— Путевка нужна нашему сотруднику?

— Речь идет о жене моего друга, который погиб год назад. Она совершенно одинока, надломлена психически и из-за болезни потеряла работу. Ей уже не хочется жить. Я должен отправить ее в санаторий, потому что она или умрет, или покончит с собой. Боюсь, что это вопрос нескольких дней.

— Она красивая? — не без подозрения в голосе спросил директор.

— Некрасивая и совершенно опустившаяся. Так как пособие по смерти мужа на днях кончается, все расходы по лечению я оплачу сам

— Из собственного кармана?

— Хлопотать о денежном пособии сейчас нет времени. Впрочем, я с искренним удовольствием помогу ей.

Директор с минуту молчал, явно удивленный моим тоном.

— Ну, ну,— сказал он, наконец.— Продиктуйте мне, пожалуйста, ее имя и фамилию. Завтра утром я попробую это уладить.

— Хотелось бы, чтобы она завтра уехала,— добавил я.— Спасибо вам. Пожалуй, я уж больше никогда не побеспокою вас в воскресенье.

— И совершенно зря. Побольше бы было таких звонков, коллега!

Я вышел из будки, довольный своим директором. Если он обещал что-то, можно было спать спокойно. Напротив на Кручей улице светилась витрина фруктового магазина. К счастью, в Варшаву недавно завезли много апельсинов. Я покупал в магазине все подряд, точно деньги жгли мне руки. Схватив в охапку огромный пакет, я побежал искать цветы. Вдруг мне показалось, что каждая минута опоздания может привести к катастрофе, что Эльжбета умрет от разрыва сердца, отравится газом или выбросится из окна на мостовую, а следовательно судьба и на этот раз не позволит мне согреть мое продрогшее тельце. Не обращая внимания на боль в паху, я побежал к ее дому и, что было духу, помчался по скрипучей лестнице. Отдышавшись у дверей, я появился в комнате Эльжбеты как фея перед Золушкой. Она продолжала сидеть на тахте, но я заметил, что волосы ее были уже кое-как причесаны.

Я воткнул розы в вазу, вывалил на тарелку пирожные, прямо на стол высыпал конфеты, шоколад, апельсины и разную прочую снедь. От всей этой гастрономической роскоши в ее мрачной комнате сразу посветлело.

Эльжбета продолжала сидеть, как изваяние, но вдруг у нее странно задрожали мускулы щек. Она ничего не могла понять: вчера надутый и важничавший, я заставил ее не один час прождать в секретариате затем только, чтобы раздраженно сообщить об отказе, а сегодня хлопотал вокруг нее, точно мать родная.

— Вы в состоянии согреть чай? — резко спросил я.

Это внезапно оживило ее. Она встала и подошла к газовой плитке у окна. Там лежала пачка чаю, оказавшаяся пустой.

— Чая нет, — тихо прошептала она.

Я бросил ей на окно пачку английского чая со стола изобилия. Заметив, что Эльжбета едва стоит на ногах, я подошел поближе, чтобы в случае чего поддержать ее.

— Вероятно, завтра вы уедете в санаторий, — сообщил я. — И вы должны вылечиться, иначе не сможете работать.

В этот момент она как раз зажигала дрожащими руками газ, ломая спички одну за другой: при виде цветов и апельсинов эта женщина окончательно растерялась. Я хотел встряхнуть ее, дать ей тумака, пощечину... Но вместо этого вынул у нее из рук спички и сам зажег газ.

— Зачем вы это делаете? — вдруг воскликнула она.

— Со скуки.

— Не хотите же вы сказать, что это вас развлекает!

— Очень развлекает! Я рад, что могу провести с вами этот вечер

— Ну что за вздор!

— Эльжбета, я буду считать себя вашим должником.

— Но у вас столько возможностей провести вечер в сто раз интереснее! Это просто какая-то дикая насмешка!

— Я говорю совершенно искренне, — серьезно возразил я. — Мне не хочется уходить отсюда.

— Но почему? Что случилось? — вскричала она.

Она хотела понять, что все это значит, и я обязан был объяснить ей. Можно было бы, конечно, долго распространяться на тему о моей дружбе с Боженцким, о том, какой он был товарищ, о его конспектах, но она не поверила бы. Я выбрал самое простое толкование.

— Разве это так трудно понять? — улыбнулся я. — Вы мне нравитесь, вот и все.

Мы смотрели в глаза друг другу, и она первая опустила их. Такой аргумент рано или поздно примет любая женщина. Чайник шумел на плитке. Эльжбета, опершись о подоконник, растерянно молчала.

— Извините, — добавил я. — Может, получилось невежливо. Не будем больше говорить об этом. — И я, наклонившись, поцеловал ей руку.

Она подняла на меня влажные глаза и улыбнулась. Эта улыбка на минуту осветила ее лицо.

— Независимо от причины... я очень вам благодарна... Если бы вы сегодня не пришли...

— Я знаю, — прервал я ее.

Где-то высоко над нами парил дух Боженцкого, и он по-ангельски улыбался мне. Наконец-то мое чувствительное тельце вбирало в себя живительное тепло.

Мы начали готовить ужин. Глядя, как дрожали у нее руки, я больше не сомневался: эта женщина была доведена голодом до истощения.

Я ушел от нее около полуночи, когда она закончила рассказ о своей жизни. Дома я тихонько проскользнул в свою комнату. Из комнаты Зоси доносилось подозрительное похрапывание. Отбросив мысль о любовнике-мяснике, я догадался, что моя жена вызвала на помощь свою матушку, чтобы избежать дальнейших объяснений. Трудно было бы ожидать от нее полного доверия ко мне.

Несмотря на тупую боль, я заснул быстро, видно оттого, что предыдущей ночью не сомкнул глаз. В понедельник я проснулся как обычно. В кухне гремел бас моей тещи. Я быстро оделся и уже выходил из дому, когда в коридор выбежала заспанная Эва. Она, как всегда, мчалась в ванную.

— Не схвати двойку! — сказала она по привычке.

Я обнял ее и крепко поцеловал.

— Вот еще новости! — шарахнулась она и побежала в ванную.

Я тихо открыл дверь и вышел. Через несколько минут я был уже в машине. Рези в паху сменились какой-то неприятной сосущей болью. Медленно проехав несколько улиц, я свернул во двор, где была частная

станция обслуживания машин, услугами которой я обычно пользовался. Ее хозяин, живой, как ртуть, был способен купить и продать самого черта, отчего и процветал.

— Здравствуйте, пан Станислав! — сказал я, пожимая ему руку. — Сколько бы вы дали за этот «вартбург»?

Пан Станислав мог не заглядывать в машину: он знал ее наизусть. Меня он тоже знал, как облупленного, и прекрасно понимал, что я такой же торговец, как он — строитель социализма.

— В апрельский воскресный день, то есть в начале сезона, вы можете взять за него семьдесят пять тысяч. Это верх.

— А сегодня?

— Сегодня ноябрьский понедельник. Вы не можете подождать до весны?

— К сожалению... высшая сила торопит... — туманно пояснил я.

— Шестьдесят, — лаконично изрек пан Станислав.

— Машина ваша, — поспешил согласиться я.

Пан Станислав взглянул на меня, чтобы убедиться, что я не шучу, потом указал на двери конторы. Там он подсунул мне чистый лист бумаги.

— Заявление о продаже. Сумма сорок тысяч. У покупательницы гражданки Регины Курдель больше этой суммы быть не может.

Я написал нужное заявление, совершив этим последнее, должно быть, в моей жизни караемое финансовыми органами правонарушение. Пан Станислав с врожденным достоинством вытащил из кармана толстую пачку тысячезлотовых бумажек и с ловкостью автомата отсчитал большим пальцем шестьдесят штук. В его левой руке осталось по крайней мере вдвое больше бумажек, но я не почувствовал никакой зависти. У меня было такое ощущение, будто, внезапно освободившись от низменных желаний, я обретал подлинную мудрость — удел немногих. И все это я успел пережить в три дня, от пятницы до понедельника, пережить столь молниеносно, точно фильм моей жизни вдруг завертелся с бешеной скоростью, пущенный пьяным киномехаником в провинциальном кинотеатре «Фатум».

Спрятав деньги, я похлопал по затылку свою бывшую машину и вышел на улицу. Превращение движимого имущества в деньги заняло у меня пятнадцать минут. Опаздывающие на работу люди выскакивали из трамваев и мчались через улицу напролом, как зайцы через поле, торопясь успеть в последнюю минуту повесить табель.

Я не спеша вошел в каменный дом, где помещалось учреждение Зоси. Моя жена уже муштровала курьера, ужасного дубину, но, увидев меня, поперхнулась и быстро вытолкала паренька за дверь.

— Что случилось? — с тревогой спросила она.

Видно, она все время ожидала от меня какого-нибудь внезапного удара в спину. Я полез в карман. Глаза Зоси сузились: должно быть, она подумала, что я вытащу пистолет или бутылку с соляной кислотой. Но я достал всего лишь тысячезлотовые бумажки.

— Я продал машину... Вот, пожалуйста, сорок тысяч.

— Мне твои деньги не нужны, — гордо ответила она.

— Мы нажили их вместе, — возразил я. — Я хочу, чтобы ты истратила их на Эву. Она должна получить аттестат и закончить институт.

Это был убедительный аргумент. Зося взяла деньги. У меня осталось двадцать тысяч, но ведь гражданка Регина Курдель уплатила только сорок...

— К чему такая спешка? — недоуменно спросила Зося.— Что ты, до вечера не мог подождать, что ли?

— Я взял отпуск и сразу после полудня уезжаю.

— Может, так будет и лучше...

— Так наверняка будет лучше. Ты говорила с Эвой?

— Эва уже давно обо всем знает. У меня есть к тебе предложение.

— Слушаю.

— Нам надо поделить квартиру, не правда ли? Так вот, если бы ты после возвращения переехал в комнату Анджея, а он в твою, мы все могли бы избежать ненужных хлопот и беготни. Разве что...

— Мысль гениальна, ибо проста, — одобрил я. — Анджей может переезжать хоть завтра. Мои вещи уместятся в чемодане.

Зося недоверчиво взглянула на меня. Уж слишком легко решалось дело с разводом. Она, должно быть, даже почувствовала что-то вроде обиды. Ведь, как бы то ни было, женщины не любят, чтобы их отдавали без борьбы, я должен был хоть раз пригрозить ей самоубийством.

— Спасибо тебе, Кшись, — тихо сказала она. — Наверно, так будет лучше и для тебя и для меня...

— Так наверняка будет лучше, — подтвердил я и поцеловал ее в лоб.

Я почувствовал, что глаза у меня наполняются слезами. Мы стояли молча, не зная, что сказать друг другу в завершение нашей многолетней совместной жизни. К счастью, зазвонил телефон. Зосе пришлось дать какие-то указания по работе. Воспользовавшись этим, я вышел, избежав чувствительного прощания.

Такси доставило меня к директору Тшосу.

— А я как раз только что уладил вопрос с Боженцкой,— сказал он, пожимая мне руку.— Путевку можно взять сейчас же. Так что она может ехать хоть сегодня.

— Спасибо,— искренне поблагодарил я.— Надеюсь, она вернется оттуда здоровой... Боженцкая еще молодая женщина, и она из кожи вон вылезет, чтобы хорошо работать.

Директор взглянул на меня с некоторым подозрением.

— Вы подыщете ей какую-нибудь работенку?

— Я как раз хотел попросить вас об этом, товарищ директор.

— Меня? Почему?

— Потому что меня уже, наверно, не будет.

— Что это значит? Вы хотите остаться в Мексике?

— Я не поеду в Мексику. Я ложусь сегодня в больницу. Об этом никто не знает. Официально я прошу дать мне отпуск.

— Что-нибудь серьезное?

— Видимо, да. Боюсь, что я уже оттуда не выйду.

Директор обалдело смотрел на меня, ничего не понимая. Наконец до него дошел смысл моих слов.

— Я хотел бы, чтобы вы ошибались,— грустно сказал он.

— Я бы тоже хотел. С сегодняшнего дня меня заменяет Обуховский. Лучшей замены вы не найдете. Он действительно очень стоящий человек.

— О Боженцкой можете не беспокоиться,— тихо сказал директор.

Видно, он решил стать исполнителем моей последней воли. Мы перешли к обсуждению дел, которые надо было уладить. Через час я поднялся и пожал ему руку. Он вышел за мной в коридор, оперся о балюстраду и стоял так, пока я не исчез в холле. Я мог бы крикнуть ему: «Ау, директор! До скорого свидания на «Повонзках»! Я вижу в ваших глазах тоску о вечном отдыхе!» Но я не сказал ничего.

На улице у самого дома Эльжбеты я слегка покачнулся. Какой-то туман застил мне глаза. Я напряг всю силу воли и дотащился по узкой лестнице до ее дверей. Она открыла сразу же, должно быть, ждала меня у двери. Лицо ее засияло радостным удивлением. Наверно, она не рассчитывала на то, что вчерашний вечер будет иметь продолжение. На ней было довольно красивое платье, гладко причесанные волосы собра-

ны в пучок, глаза оттеняла полоска туши у самых ресниц, а щеки розовели тонко наложенными румянами. Вероятно, на это у нее ушло все утро.

Итак, лечение шло согласно плану: передо мной стояла милая и не такая уж некрасивая женщина.

— Собирайте, пожалуйста, чемодан,— властно скомандовал я.— Мы едем за путевкой. Оттуда я отвезу вас на вокзал.

Она взглянула на меня, и в глазах ее появились слезы. Слабость, пришедшая на смену напряжению последних месяцев, сделала ее плаксивой. Впрочем, я тоже готов был расплакаться. Диккенс, графиня де Сегюр и прочие любители сентиментов, должно быть, радостно хохотали на том свете: если бы я не сдержался, мы с Эльжбетой разрыдались бы в эту минуту в объятиях друг друга и обливались бы слезами до тех пор, пока не утонули в них. Но я должен был играть роль надежной опоры. Впрочем, мода на чувствительность должна была вернуться лишь после 2000 года, в эпоху всеобщего благосостояния в Европе. А пока что глазки современных литературных героев были еще алчными, налитыми кровью и сухими.

Эльжбета вытащила из-под тахты потертый чемоданчик и стала укладывать в него весь свой жалкий скарб. Я уселся спиной к ней и начал вертеть в руках чертежную линейку покойного Янека. Он погиб глупо, пал жертвой моторизации, торопясь после ночной смены к любимой жене, пьяный ковбой сшиб его грузовиком.

Мы вышли на улицу. Дождик перестал моросить. Я взял Эльжбету под руку и повел ее энергичным шагом. Это стоило мне некоторого усилия из-за боли в животе, но я чувствовал на себе испытующий взгляд Эльжбеты, а расставаться со своей ролью не собирался. Впрочем, вскоре подвернулось свободное такси, и мы сели в него. Я беззаботно курил, посматривая на людные улицы. Мы ехали молча, сидя по обе стороны ее чемоданчика. События развивались слишком быстро, для того чтобы сознание Эльжбеты могло вместить их: она сидела в углу, ошеломленная, то улыбаясь, то поглядывая на меня с недоверием.

С путевкой все прошло гладко. Я представился начальнику отдела и прямо у него в кабинете заплатил кассиру нужную сумму, попросив их обоих сохранить это в тайне. Начальник отдела смотрел на меня, как на полоумного: он, как и каждый из нас, привык к тому, что филантропия осуществляется лишь за счет государства.

Но... не трудно быть сказочным принцем, когда в течение нескольких часов тратишь сумму, скопленную за многие годы.

Потом мы снова вышли на улицу, и я снова взял Эльжбету под руку и снова стал играть роль беззаботного, жизнерадостного кавалера. Она же все время ожидала, что вот сейчас я выдам себя чем-нибудь и рухнет вся эта потемкинская деревня. Я без труда прочел все ее несложные мысли. Наверняка она поставила на себе крест, придумала теорию о том, что ей суждены в жизни сплошные несчастья, начиная с тяжелого детства и кончая внезапной смертью Боженцкого, одиночеством, болезнью и потерей работы. Эта теория парализовала ее энергию, лишила ее веры в любое начинание и обрекла на покорность жестокой судьбе, на бездействие, скорбь и болезни. С другой стороны, душевное состояние непосредственно влияло на ее здоровье, как это обычно и бывает у женщин, и каждое очередное расстройство немедленно вызывало повышение температуры или приступ болезни. С каждым днем она становилась все более одинокой, потому что все ищут себе веселых друзей и избегают тех, кто вечно несчастен. Так постепенно Эльжбета все более и более скатывалась на обочину жизни. Мне казалось, что я попал к ней в самую последнюю минуту. Если за то короткое время, что мне осталось жить, я сумею вдохнуть в эту женщину достаточно силы, чтобы она

смогла снова войти в русло жизни, мои нынешние страдания не будут казаться мне столь бессмысленными и жестокими, как до сих пор.

Мы дошли до гостиницы «Гранд-отель». Я потащил свою спутницу в ресторан. В первый и последний раз я оплачу здесь счет из своего кармана. Было еще пустовато, и я повел оробевшую Эльжбету в угол, где мы уселись за столиком, как двое влюбленных. Она не знала, какую еду выбрать, тогда я взял меню и заказал самые вкусные блюда.

— По рюмочке рябиновки нам тоже не помешает,— сказал я кельнеру в заключение.

Эльжбета не протестовала. Кельнер, почувствовав мое желание «гульнуть», через мгновение вернулся, неся водку. Я поднял рюмку.

— За ваше здоровье, Эльжбета.

Она подняла рюмку и, не спуская с меня глаз, героически выпила ее до половины.

— Я за ваше здоровье не пью, в этом вы нисколько не нуждаетесь, но я желаю вам счастья,— сказала она, ставя рюмку.

— Я уже счастлив.

Она опустила глаза.

— Конечно, у вас есть все для счастья: положение, успех, жена, дочь...

— Увы,— вздохнул я.— Жена требует развода, дочь меня презирает, любовница изменяет мне, а мой пост может в любую минуту занять целая куча более достойных людей. Мое положение не из самых блестящих.

Эльжбета рассмеялась коротким нервным смешком. Но я понимал, что ей нужен не такой разговор, шутка моя не имела успеха, и я стал серьезным.

— А теперь скажу без шуток: я действительно один.

— То есть как один?

— Я остался один.

В моем тоне было столько искренней горечи, что она больше не расспрашивала. Это нас сближало: такого хорошего человека, как я, могла бросить только последняя сволочь.

Я вытащил небольшой плотный пакетик.

— Почтовая бумага,— пояснил я.— Будете посылать мне из санатория отчеты. Сидя в теплых грязевых ваннах, вы сможете много размышлять и совершенствоваться духовно. Времени для этого будет предостаточно. Можно позавидовать!

— Вы бы там и недели не выдержали! — улыбнулась она и, пытаясь скрыть волнение, допила до дна свою рюмку.

Настроение немного улучшилось, во всяком случае оба мы удержались от слез, комок, подкативший было к горлу, растаял.

— Вы такой здоровый, такой цветущий! — добавила она.— Рядом с вами я сразу чувствую себя лучше!

— От вашего желания выздороветь теперь будет зависеть все ваше будущее,— поспешно прервал ее я.— Директор Тшос, мой начальник, фигура весьма влиятельная. У него есть для вас интересная, ответственная работа, и он будет польщен, если вы навестите его после возвращения и согласитесь принять его предложение.

Она громко расхохоталась. Я впервые видел, чтобы Эльжбета хохотала так искренне, от души. Быть может, из-за тоскливого настроения я подсознательно приукрашивал действительность, но вдруг эта женщина показалась мне очень красивой. Серость вдруг исчезла с ее лица, будто с него сдули пепел. Зато я явственно ощущал, как ее чувствительное, незащищенное и потому похожее на мое тельце расцветает сейчас, согретое неожиданным теплом. Под напором этого тепла исчезали даже температура и физическая слабость. К сожалению, я не имел права за-

ходить в этой своей «согревательной» деятельности слишком далеко: ошибочный диагноз профессора мог ведь оказаться и правильным!

Я вытащил из кармана конверт с деньгами и текст расписки, любезно напечатанный на машинке секретаршей директора («Настоящим подтверждаю получение суммы в 3 000 злотых, выданную мне в качестве единовременного пособия по болезни...»). Текст расписки был настолько официален и стандартен, что я и сам бы ни на секунду не усомнился в том, что расписка действительно выдается какому-то учреждению. К тому же и сумма пособия была не слишком высокая: я охотно положил бы в конверт гораздо больше, но тогда у Эльжбеты неминуемо возникли бы подозрения. А жаль, никогда в жизни я не тратил деньги с такой пользой...

— Подпишите это, пожалуйста,— сказал я Эльжбете.

Она взглянула на бумажку и подняла на меня изумленные глаза.

— Три тысячи... просто так?

— Родина может позволить себе такой риск. Будем надеяться, что вскоре вы встанете на ноги и отдадите все свои ценные силы работе...

Подозрительность в ее взгляде постепенно таяла. Ничего невероятного в этом акте не было: где-то наверняка существовали фонды помощи больным, и она могла предположить, что я, будучи человеком энергичным, выцарапал эти деньги где надо, минуя излишние формальности вроде разных справок, решений комиссий и т. д.

— С вами все кажется так легко и просто, как в сказке,— вздохнула она.

Мне, как добросовестному чародею, хотелось продолжить этот магический сеанс: пробежаться с ней по магазинам, сыпать деньгами, пока они не иссякнут, довершить эту чудесную перемену в ее жизни. Но ведь ей было нужно не это... Впрочем, уже надо было поторапливаться, мое время истекало: жизнь бабочки подходила к концу.

— Эльжбета,— сказал я.— Прошу вас, обещайте, что вы уже больше не позволите себе так падать духом.

— Вы действительно заинтересованы в этом?

— Я заключил пари с самим собой и не хочу проиграть его.

— Постараюсь, чтобы вы выиграли ваше пари.

Большего я требовать не мог. Мы встали. В дверях появилась влюбленная пара. Они шли, держась за руки. Это был итальянец и Божена. Моя секретарша мчалась к цели поистине как экспресс, не останавливаясь на промежуточных станциях. Итальянец высматривал уединенный столик в углу, но Божена заметила нас сразу же. При виде Эльжбеты, которую я вел нежно, как даму сердца, она не могла удержаться от изумления. Однако работа в секретариате больше не интересовала ее, и ей не к чему было ломать голову над тем, почему я ухаживаю за отвергнутой и некрасивой соперницей на ее должность. Поэтому она лишь снисходительно улыбнулась при виде этакого чудачества и побежала за объектом своих надежд.

— Эта девушка уже не работает? — спросила Эльжбета.

— Эта девушка как раз и работает,— ответил я.

Эльжбета продолжала деликатно изучать меня. Мы вышли из гостиницы. Увидев, что мы с чемоданом, портье немедленно подозвал такси. В машине я робко взял в руки ладонь Эльжбеты. Она ответила едва ощутимым пожатием. Мы ехали по темным улицам, вокруг было сумрачно от низко нависших туч. Я чувствовал тепло ее руки, пульс Эльжбеты бился ровно, без перебоев — силы явно возвращались к ней. Было радостно сознавать, что мне удалось перекачать в нее свою энергию, которая разжигает в ней затухшую было жизнь: так к механизму подключают аккумулятор, чтобы пустить его в ход. Все время я чувствовал на себе оживленный взгляд Эльжбеты, от нее веяло теплом и

благодарностью, мое согретое тельце на глазах оживало, выздоравливало, наслаждалось этой минутой. Но нужно было сказать еще что-то. Эльжбета ждала этого. Вся эта история должна была иметь либо продолжение, либо эффектный конец. Я не мог просто посадить ее в поезд и, сказав «счастливого пути», исчезнуть во мраке.

Вдруг такси резко свернуло, меня швырнуло на Эльжбету, и мое лицо неожиданно оказалось у самого ее лица. И тогда я не выдержал в первый раз, инстинктивно потянулся губами к ее щеке и очень нежно поцеловал ее. Она вздрогнула всем телом, но в моем поцелуе не было ничего, кроме нежности, и она не отодвинула лица, а лишь еще крепче сжала мою руку. Глаза мои мгновенно наполнились слезами, и я понял, что врожденная, но годами заглушавшаяся сентиментальность теперь хлынула из меня потоком через глаза, уши, рот, ноздри... Должно быть, я всю жизнь ждал минуты, когда смогу досыта наплакаться, наобниматься, навсхлипываться, нажаловаться, короче говоря — до ушей перемазаться в слащавых слюнях. И сейчас механизм самоконтроля действовал во мне все слабее. Мне уже было наплевать на то, как я выгляжу. Подумаешь! Все эти «герои нашего времени» тоже скулят дома! Клянчат, поди, у какой-нибудь шлюхи: «Ах, согрей меня, мне так не хватает материнского тепла, у меня было тяжелое детство, моя мать не любила меня, она отдавала всю себя младшему брату, прижитому с любовником...»

Мы ехали через самый центр в полдень, вокруг было полно людей, а я прильнул к теплой и близкой Эльжбете и, кажется, омочил ее щеку слезами. И только когда светофор задержал нас на углу Маршалковской и спешившие на работу или с работы прохожие стали с возмущением поглядывать на нас: «Вот, мол, как некоторые развлекаются среди бела дня!» (я действительно выглядел, как упившийся гуляка, который везет к себе домой дамочку), я выпрямился, сел с достоинством и отер глаза.

Эльжбета с изумлением взирала на меня. Я слишком часто менялся на ее глазах, чтобы она могла что-нибудь понять: то суховатый начальник, то дед-мороз, то вдруг обыкновенный плакса, нюня. Нет, нельзя было давать волю своей сентиментальности; в самой Эльжбете ее наверняка было столько, что хватило бы на нас обоих. Поэтому я заставил себя бодренько, как ни в чем не бывало, улыбнуться.

— Жаль, что я так поздно узнал тебя, Эльжбеточка,..

— Почему поздно? — удивилась она.

— Да так... Вот провели вместе несколько часов, и уже надо расставаться...— вздохнул я.— Ты очень быстро забудешь эти минуты.

— Бывает так, что какой-нибудь час человек вспоминает всю жизнь, а целый ряд лет исчезает из его памяти мгновенно,— многозначительно ответила она.

В такси становилось тесно от чувств: они заполнили его, как водород — воздушный шарик. Я едва сдерживался. К счастью, мы успели доехать прежде, чем наступил взрыв. На улице я вдохнул свежего воздуха. Когда мы вышли на перрон, поезд уже стоял. Усадив Эльжбету в пустом купе, я побежал за цветами, сладостями и какими-нибудь журналами для нее. Я метался от киоска к киоску, спешил, бежал — мне вдруг показалось, что я не успею. К счастью, поезда сразу не уходят, разве что в кино, так что я все успел и встал под ее окном с моей бодренькой улыбочкой на устах, готовый весело шутить... Но стрелки часов двигались быстро, я должен был смотреть и на них, и на Эльжбету, высунувшуюся из окна, у нас оставалось всего несколько минут, и вдруг, от страха перед убегающим временем, которое висело над нами, как нож гильотины над Марией Антуанеттой, я не выдержал во второй

раз. Собственно, не я, мы оба, потому что мы начали говорить одновременно. Я был как в бреду и поэтому лишь примерно передам этот разговор:

Я: Эльжбета, думай обо мне!

Эльжбета: Я буду беспрерывно думать о тебе! А вот ты забудешь обо мне! В твоей жизни столько разного ..

Я: И пусть... я не забуду, увидишь, я обо всем напишу тебе, ты вообще не понимаешь...

Эльжбета: Не понимаю. Но это неважно... не обязательно. Мне говорили, что такое бывает в жизни, но я никогда не верила...

Я: Такое должно быть, иначе жизнь ничего не стоит, жалко только, что так поздно, всегда слишком поздно...

Эльжбета: Почему слишком поздно? Совсем не поздно, если только ты захочешь, у нас еще столько времени, целая жизнь...

Я: У нас очень мало времени, я не могу тебе объяснить сейчас, я все тебе напишу, о господи... Черт бы все побрал!

Эльжбета: Почему у нас мало времени, ты говоришь чепуху, я вернусь, в конце концов я могу вообще не ехать в этот санаторий, я здорова, я сейчас выйду!

И она бросилась к двери купе, подхватив свой потертый чемоданчик, а я вскочил в вагон, чтобы остановить ее, и мы столкнулись в коридоре, я не пускал ее, и мы обнялись и стали целоваться, пока не задохнулись, пока нас не оттолкнули пробегавшие мимо пассажиры.

Я: Ты должна ехать, Эльжбета, а я должен остаться, я хотел бы рассказать тебе все, но это очень долго, я совсем не такой, каким ты представляешь меня себе, я много хуже, но я тебя люблю, Эльжбета...

Эльжбета: Кшиштоф, скажи, ты совершил что-нибудь ужасное, я не могла бы этого пережить, я видела этот колоссальный счет в ресторане, тебя должны арестовать?!

Я: Да что ты, Эльжбета, как ты можешь так думать, никто меня не арестует, не за что меня арестовывать, это были мои деньги! Помни, не за что, я люблю тебя, я буду любить тебя до самой смерти!

Эльжбета: Ты будешь ждать меня, Кшиштоф?!

Я: Буду ждать, все будет хорошо, у меня есть надежда, завтра я напишу и послезавтра тоже...

И тут поезд тронулся, я втолкнул ее в купе и бросился к выходу, стремясь поскорее выскочить из вагона, чтобы не воспользоваться тем, что поезд уже идет, и не уехать вместе с ней в несуществующее будущее. Я успел еще заметить на ее лице спазм страдания, судорогу жгучей боли, идущей от самого сердца, оттого что я ее покидаю, а в глазах — любовь, из-за которой она способна совершить безумие, пролить кровь, закричать истошным голосом. Это была царская награда. Мне должно было хватить ее на весь остаток жизни, надо было немедля забрать это с собой, в свое одинокое путешествие, и я ринулся к дверям. Я спрыгнул на перрон и закачался, но не упал, удержавшись на ногах усилием воли. Несмотря на боль, тотчас же пронзившую живот, я выпрямился и поднял руку в прощальном жесте. Эльжбета до пояса высунулась из окна, точно собиралась выскочить. Достаточно было позвать ее, и она наверняка выпрыгнула бы из окна на каменные плиты перрона. Уверенность в этом более всего и была мне необходима, но электровоз быстро набирал скорость, а состав, сворачивая, уже изогнулся мягкой дугой, и Эльжбета исчезла из виду, вся натянутая от напряжения, точно тетива в руках гигантского Эроса, а грохот мчавшегося уже поезда заглушил ее последний крик.

Согнувшись, я переждал, пока утихнет боль, и потащился к стоянке такси, чтобы отправиться в больницу.

P. S. Эти записи я закончил за два дня до операции и, вложив все в большой служебный конверт, адресовал его Эльжбете Боженцкой в санаторий. Она должна была получить его в случае моей смерти. Мой рассказ разъяснил бы ей все и позволил бы выдержать еще одно разочарование в жизни. Образ мой, облагороженный исповедью, занял бы в ее сердце избранное место рядом с коллегой Боженцким и, может быть, несмотря на все согрел бы ее, дал бы ей силы вернуться к жизни и труду.

К рукописи было приложено краткое письмо-завещание: «Ты не имеешь права снова пасть духом. Благодаря тебе смерть моя была более легкой и красивой. Пусть память обо мне помогает тебе быть сильной. Я требую этого и прошу тебя об этом. Соверши в жизни что-нибудь важное и хорошее, чего я сделать не сумел».

Когда я писал эти слова, я с трудом удерживался от слез. До этого я ежедневно посылал ей письма, какие и следовало ожидать от энергичного человека: полные силы, оптимизма и веры в наше с ней общее лучезарное будущее. Эти письма были мне необходимы не меньше, чем ей, так как помогали уничтожить в себе следы душевной слабости. В ней же они успокаивали тревогу, вызванную моим глупым поведением на вокзале.

Ежедневное писание писем по утрам стало для меня самой большой радостью, а когда я заметил, что под моим влиянием письма ее стали веселей, я почувствовал себя счастливым.

Так я дождался операции. Я шел на нее, а вернее, ехал в коляске, сравнительно спокойно — как человек, сделавший все, что ему полагалось. Мне вскрыли живот и обнаружили какую-то обыкновенную язву кишок. Через неделю я должен выписаться из больницы. Мне с доброй улыбкой пояснили, что профессор просто предположил самое худшее, а я сам виноват в том, что пережил, так как не должен был заглядывать в бумаги, предназначенные для врачей, тем более что они не содержали окончательного диагноза.

Изумленный и потрясенный услышанным, я заподозрил было, что меня обманывают из гуманности, как это часто делают в таких случаях. Но проведавший меня по секрету от сослуживцев и моей семьи директор Тшос по моей просьбе поговорил с врачами и с полной ответственностью заявил мне, что я проживу еще лет двадцать. Естественная радость смешалась во мне с вполне понятным чувством злости и досады. Однако делать было нечего: не подавать же на профессора в суд за то, что он ошибся в диагнозе и я не умер! Я хотел было сказать ему с глазу на глаз все, что думаю о его безответственности, но, поразмыслив, отказался и от этого.

Можно легко догадаться, что такое резкое изменение в моей судьбе немедленно повлияло и на ход моих мыслей. Стоило мне представить себе свое дальнейшее существование, как меня охватила паника.

Прежней жизни не существовало. Я не мог вернуться ни к своей жене и дочери, ни тем более к Мае, не мог продолжать работать вместе с Радневским и Обуховским. Это выглядело скорее не как бегство, а как изгнание из Ясной Поляны, хотя я создавал себе жизнь в ней по собственному проекту, сообразно своим желаниям и планам. Я очутился в идиотской ситуации и не очень-то знал, что делать с этой столь неожиданно дарованной мне жизнью.

Подведя итоги, я пришел к заключению, что актив мой невелик: в нем были только две статьи, да и то совсем разные — Эльжбета и крохотная квартирка Анджея. Конечно, я могу считать Эльжбету ценным приобретением в жизни, но ведь я ее почти совсем не знаю. Нас связывают всего несколько часов, проведенных вместе в состоянии вполне понятной тогда экзальтации. Но что собой представляет Эльжбета, если взглянуть на нее спокойно и более критическим взглядом? Это надо об-

думать без спешки и основательно, и я боюсь, как бы мы оба не пережили при первой встрече серьезного разочарования.

Вчера у меня был искренний и сердечный разговор с директором Тшосом.

С грустью, но и с некоторым облегчением он рассказал мне, что расходится с женой, поскольку она влюбилась в какого-то спортсмена и ушла к нему, покинув и квартиру, и все свои заграничные тряпки. Директор выглядел человеком, которому удалили горб: операция была очень болезненной, но пациент с облегчением распрямился.

Я также поделился с ним своими заботами, и после долгого разговора обо всем он предложил мне рядовую работу во вновь организуемом проектном бюро под Варшавой. Конечно, соглашаясь на эту работу, я здорово съезжаю вниз и с точки зрения служебного положения, и с точки зрения зарплаты, но зато передо мной открывается возможность проверить себя, выяснить, стою ли я чего-нибудь действительно: там будут считаться только с той работой, какую я представлю на кальке. Я уже не мечтаю создать проект, который поразит мир, и вообще иду на большой риск, поскольку могу оказаться посредственным или просто никуда не годным проектировщиком. И может быть, мне уже до самой смерти придется существовать на подачки, которые мне будут протягивать из жалости более способные коллеги...

Поразмыслив как следует, я все же решил принять предложение директора. Как-никак, а все случившееся со мной не должно пройти бесследно. Нет нужды пояснять, какой тяжелый труд ожидает меня, если я хочу действительно выбиться в люди. При мысли об этом я сразу стал скупцом, каждая минута, проведенная на больничной койке, кажется мне не только напрасно потерянным временем, но и покушением на самую идею попытки начать жить сначала. Еще недавно, когда из-за ошибочного диагноза профессора я готовился к смерти, несколько остававшихся впереди дней казались мне милостивым даром судьбы и отсрочкой приговора. Теперь, когда я стал хозяином долгих лет жизни, каждый день, проведенный без дела, приводит меня в содрогание.

Моя новая работа находится в двадцати с лишним километрах от моего дома, и я со злостью думаю о машине, которой так быстро и с таким легким сердцем лишился. Теперь пройдет не год и не два, прежде чем я заработаю на новую, и все это время мне придется толкаться в трамваях и пригородных поездах, да еще в часы пик.

Но, в конце концов, дело не в этом. Главное — столь дорого доставшийся мне опыт не должен пропасть даром.

Из турецкой поэзии

Нефзат Устюн

■

Перевод с турецкого Евгения ВИНОКУРОВА

Мы стояли у мемориального памятника Ататюрку в столице Турции. Величественный и суровый, он выдержан в строго национальном духе. Нефзат Устюн рассказывал о народном орнаменте, о символике скульптур, уходящей в глубины национальной истории. Охранявший памятник солдат морской пехоты в белой каске и с винтовкой на плече заинтересовался, подошел ближе.

— Я рассказываю иностранным гостям о национальном искусстве,— обернулся к нему поэт.— Говорят, что турки только завоеватели, между тем не войны, а культура — гордость народа, не так ли?

— Правда, эфенди,— ответил солдат, покраснев.

— Тебя как зовут?

— Мурат, эфенди.

— Родом откуда?

— Из Кайсери.

— Значит, земляки. Будем знакомы. Поэт Нефзат Устюн.

Солдат кивнул, улыбаясь. И пока мы осматривали музей, следовал за нами и внимательно слушал объяснения поэта. В неграмотной крестьянской Анатолии поэты пользуются истинным уважением.

...С Нефзатом Устюном мы познакомились в 1965 году в Москве, куда он приехал на встречу писателей Азии и Африки. По возвращении поэт написал книгу очерков о нашей стране. В ней не было социологических открытий, но о наших людях и городах, о нашей жизни рассказывалось доброжелательно и интересно, и эта книга оказалась тем словом живой правды, которую в Турции приходится слышать о нас не так уж часто.

Через год мы целый месяц провели вместе на родине поэта в Турции. И хотя я бывал в этой стране и прежде, переводил ее писателей, взгляд со стороны, пополненный взглядом изнутри, взглядом одного из ее поэтов, приобрел неожиданную глубину и объемность. А увиденное помогло понять истоки его поэзии.

Нефзат Устюн провел детство в провинциальном городе Девели под Кайсери, в самом сердце Анатолии. Песни народных «ашиков» побудили его испытать свои силы в сложении стихов. Он заявил деду, богатому купцу и землевладельцу, что хочет быть поэтом. Зачем? Чтобы радовать людей и помочь им стать справедливей. И дед ответил ему с дедовской мудростью: «Не стоит, дитя мое. Ты будешь несчастен. Да, мир несправедлив, но тебе ли исправлять его кривизну? Не лучше ли пользоваться его благами — они в твоих руках. Жизнь человеческая коротка и печальна». Давно умер дед. Нефзат Устюн стал известным поэтом, а помнит эти слова. Быть может, вся его жизнь — попытка оспорить дедовскую мудрость.

После второй мировой войны Н. Устюн выпустил книгу стихов, порвал с семьей и с тех пор зарабатывает на жизнь пером. В первых же книгах Нефзат Устюн выступает как один из видных поэтов «нового направления», сделавшего предметом высокой поэзии жизнь рядового труженика. Он пишет о кабачках на углу, о рабочем, которого выгнали на улицу, крестьянине Хасане, ушедшем в город в поисках человеческой жизни. И видит мир глазами своих героев.

27 мая 1960 года, когда армия свергла реакционное правительство Мендереса, Нефзат Устюн пришел на стамбульскую радиостанцию, и его стихи, приветствовавшие свержение неофашистского режима, прозвучали по всей стране сразу после сообщения о переходе власти к восставшим.

Начался новый этап его творчества. Великий поэт средневековья Джеляльэддин Руми писал: «Зашей глаза — пусть сердце будет глазом, и мир представится тебе совсем иным». В культе сердца Дж. Руми звучало отрицание бессердечного общественного устройства, равнодушного к страданиям людей. В программном стихотворении Н. Устюна «Врата отщепенцев» любовь — тоже протест. Отщепенцы — это те, кто потерян для общества, превращающего людей в функцию, в предмет — их больше нельзя ни купить, ни продать «в человеческой лавке на улице Черного Ветра». Но Устюн отрицает простейшее отрицание. Он не «зашивает глаза» — он «теряет себя» в любви, чтобы слиться с миром, с другими людьми. Врата отщепенцев оказываются одновременно и вратами в иной мир, мир торжества человечности.

Н. Устюн пишет свободным стихом. Им писали и пишут Брехт, Неруда, Элюар, Арагон, Хикмет. Этот стих требует сверхвысокого эмоционального и интеллектуального напряжения, он рассчитан на сотворчество читателей.

Поэзия Н. Устюна воздействует не смыслом каждой отдельной строки, а сопоставлением, нагнетанием, неожиданностью и точностью ассоциаций, позволяющими не следить за ходом мысли, а воспринимать ее всю целиком. Цель поэта — не рисовать картины и образы, а вызывать их в читательском воображении. И в лучших стихах ему удается достигнуть синтеза крестьянской эпической поэзии с самой изощренной, так называемой интеллектуальной лирикой.

Поэзия Н. Устюна — одно из интереснейших явлений в современной турецкой культуре. Она рождена временем, сближающим людей, народы, континенты. И, может быть, не менее знаменательно, что первые переводы его стихов на русский язык выполнены Евгением Винокуровым, с творчеством которого впервые познакомил турецкого читателя Нефзат Устюн.

РАДИЙ ФИШ

Вор Хасан

Раз подумал Хасан,
Два подумал Хасан —
Взял и ушел из деревни Кюнье,
Той, что под Девели.
Он пошел по дороге,
Когда расцвели абрикосы.

Не жалея ног,
По дороге Хасан
Шел к городу и спросил себя:
— Который час?
А ответить себе не смог.

Скажем, часов пять,
Стало быть, надо вставать.
Но в час, когда надо вставать,
Жизнь вот она —
Рукой подать.
Тут Хасан издал
Радостный крик:
— Руку протяну — и
Жизнь подойдет ко мне,
Как наш рыжий бык!
Руку Хасан протянул,
А жизнь чуть-чуть
Подалась вперед.
Он еще сделал шаг,
А жизнь еще чуть-чуть дальше.
Так и вошла жизнь в город.
А Хасан? Разве он отстанет?

И он вслед за ней вошел в город.
Жизнь постучала в дверь
Одного из домов.
Дверь приоткрылась.
Хасан постучал, и дверь
Превратилась в глухую стену.
— Жизнь! Жизнь! —
Прокричал Хасан.
Женщина лет двадцати
Выглянула из окна.
— Где жизнь? — спросил Хасан.
Женщина поджала губы...

Подумал Хасан раз,
Подумал Хасан два
Да и пошел в кофейню,
До ночи играл в карты.
Стемнело.
А когда стемнело,
Хасан пошел к тому дому.
— Жизнь,— позвал он тихонько.— Жизнь!
Но голос его затерялся в темноте.
Хасан нашел свой голос в темноте.
Подышал на него
(Он успел замерзнуть),
Отогрел, положил за пазуху.
Хасан тихонько вскарабкался по отвесной стене.
Открыл окно на чердак,
Третий этаж. Второй этаж.
Только он вскрикнул:— Первый этаж,—
Как очутился он там, где
Была жизнь.
Руку протянул Хасан —
А жизнь отбежала чуть-чуть.
Он за ней, а она еще чуть назад.
Ногой зацепился Хасан за ковер.
Что было дальше,
Не помнит Хасан.
Заковали его в кандалы.
Разве есть у жандармов жалость?
Посадили Хасана в тюрьму.
Смотрит Хасан на волю в окно:
Жизнь — стоит под стеной.
Руку Хасан протянул.

А жизнь отбежала чуть-чуть
В сторонку.

Свобода

Вот — я.
Вот — Париж.
Где ты сейчас, дорогая?

Свобода.

Рыбий век

Торс человека,
Он ослепительно-белый...
Одного и того же человека убивали
Много сотен лет подряд.
Но он бессмертен,
После каждого удара
Он удерживается на ногах.
Он в горсть набирает крови
Из порванной вены
И отдает тем, кто его убивает.

Мы с тобой приближаемся к человеку.
Эра плесени.
Эра амебы.
Эра рыбы.
Еще рано...

Мы разделяем с прочими
Их растительное существование.
В твоих глазах — новые надежды.

В Конго.
В Алжире.
В Анатолии.
Еще рано, еще очень рано...

Мы с тобой
Заключены в одном человеке,
Готов он к великому развитию.
За изгородью каждой эпохи
Открывается новая эпоха.
К эре страха повернулся спиной
Новый, новый человек.

Мы делим с тобой
То, чего еще не было.
Как мы делим —
Без споров, без драк.
Что-то в тебе закрылось,
Что-то болит. Знаю!

Еще рано, еще очень рано...

Ослепительно-белый,
Ослепительно-черный
Торс человеческий стоит прямо.
После очередного удара — он на ногах.

В тебе что-то очень болит,
Очень болит.
Что-то в тебе закрылось...
Еще рано, еще очень рано.
Мы должны довольствоваться
Тем, чего еще не было.

Сопротивленьем, которому нет конца.

Врата отщепенцев

Глянь, мы идем по улице,
Где мы нашли наши переживания.
Ты заплакала вновь на том месте,
Где в прошлый раз перестала плакать.
Не плачь.
Мои руки тянутся,
Вот-вот коснутся тебя.
Два разобщенных мира.
Два созданья, слившихся воедино.
Дождь едва касается воды.
Этот глаз — уже не мой глаз.
Море привязано к берегу.
Надо жить так, как принято,
Так, как установлено.

Я выбрал удел:
Смотреть в глубь себя.
Устало гляжу в свое сердце,
В своей прежней жизни
Я был любовью — жизнь любила меня.
Света не было.
Времени не было.
А теперь они есть.
Необходимо, чтобы ты пришла.
Не плачь! Я тоже поплачу немного.
(Первого января тысяча девятьсот
Пятьдесят девятого года
Ты отопрешь дверь. Ладно?)

Я от себя отрекаюсь.
От тебя отрекаюсь.
Человек смеется, как-то крупно,
Очень крупно.
У него ум напряжен.
— Жизнь не шутка.
— А ну, покажись-ка!
Заходясь как бы хохотом,
Он смотрит в мое лицо,
Еще чуть-чуть — и он увидит меня!
Если наконец увидит,
Я ничего не скажу.
Но он нарочно не видит,
Не видит, и все.
Он пальцем грозит —
Это трясущийся, как от одышки, палец.
Лозунги возникают в моем мозгу.
Мне их хочется сломать, и я их ломаю.
Это плодотворная глупость:
Трудно скучать.
А я всего три раза в жизни
Ходил на рыбалку.

Возьми себе эти улицы,
Слышишь, возьми, я говорю тебе.

И ты забираешь себе все улицы
И все переулки, тупики
Моих чувств.
И настает день, и я одиноко
Всматриваюсь в бесконечность.
Но это неплохо — с каждым взглядом расту,
Хорошо раздеваться для яркого света.
Целуй меня.
Ты берешь мое тело и целуешь.
Кто не целовал мою плоть.
Целуй меня — ну что тебе стоит,
Целуй хорошенько.
Наверно, легко меня любить,
Если глядеть на меня твоими глазами,
Я отрекаюсь от себя;
Если б и они отреклись!

А кто это они?
Это здравомыслящие люди.
Дети ужаса в мирской обители,
Как бульварные балаганы.

А чья это тьма?
Ужас? Бдительность? Страсть?
Дружба?
Ничего не желаю.
Я запираю дверь, мою дверь,
Врата отщепенцев.

Если не при мне мои руки,
То уж и не при тебе.
Я сажусь на лихого коня,
Я прижимаю свое лицо к лицу ветра.
Из меня исходит, курясь,
Тонкий фимиам счастья,
Шея моя на шее коня.
Я вижу, как течет его кровь,
Голубая кровь!
Ты видишь кожу и шерсть — ты смеешься.
Смех бьет что есть силы из горла,
Это вопль.
Ты остаешься в себе — а я ухожу.
Вот она — дорога ухода,
Вот он — разбитый стакан,
Они в конце концов приводят
К вратам отщепенцев.

Меня прописали на этой улице.
Я возвратился. Омылся. Усталые звезды.
Ближе ко сну — ближе к богу.
Я закрыл дверь — кто ее откроет.
Сколько раз принимал я смерть в одиночку!
Били меня хорошо,
Убивали отлично.
Разве я возражал?
Нет.
Они ничего не знают.

Женщина с увядающим лицом.
Рука, держащая стакан.
Откуда ей знать,
Как надо держать сердце?
А держать нож — и подавно...

В тени моей боли
Играют дети,
С глазами круглыми, как у рыб.

Я возвратился,
Еще раз возвратился.
Я достигаю тебя.
Это самое лучшее в мире.
Достигнуть тебя.
Уж теперь-то меня не купят,
Не продадут меня в человеческой лавке,
Что на улице Черного Ветра.

Я отрекаюсь.
Я откровенно
Отделываюсь от твоей любви
В это утро пятницы.
Я в тебе проживаю —
Любить-то стало старомодно.
Проживать в тебе — это значит
Быть бессмертным.
Ребенок продает газеты,
Освещенный неоном,
Газеты с голыми женщинами...

Я закуриваю сигарету,
Покупаю последнюю в жизни газету,
Я подхожу к дверям твоей судьбы,
Иными словами,
К дверям отщепенцев,
К вратам потерянных —
Я теряю себя.

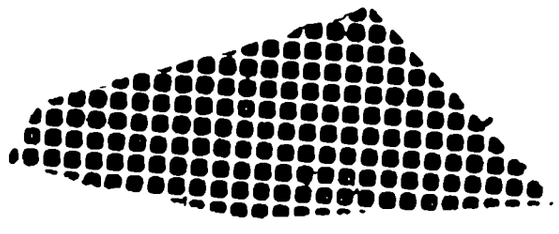
Белые ночи

Тонкая сырая серость
Окутала меня.
Эта серость как бы
Самая ранняя молодость темноты.

Из немой белизны ночи я гляжу в темноту
С самого большого моста в Ленинграде.
Подо мной проползает пароход.
Он уходит во тьму и уводит мое одиночество,
Туда, в молчание северных морей.

Время как бы остановилось.
Все ощущения как бы застыли.
Полночь без десяти минут.
Удивление, такое, которое я
Никогда еще не испытывал,
Растет во мне.

Я вижу девушку лет восемнадцати
С зелеными глазами.
Не рядом со мной,
А из глубины моего удивления
Появляется тонкое лицо.
Я прислонюсь спиной
К чугуну перил.
Тьма побеждена светом.
Тысяча девятьсот шестьдесят пятый.
Месяц июль.
Я держу на вытянутых ладонях
Бесконечность.



ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ

Сын ЗЕМЛИ ЧУЖОЙ

РОМАН

Перевод с английского
Е. ГОЛЫШЕВОЙ и Б. ИЗАКОВА

Глава восемнадцатая

С рождеством у Руперта не было связано семейных традиций. Когда еще был жив его легкомысленный отец, они иногда встречали рождество в каком-нибудь из лондонских больших отелей. Когда отец умер, рождество стали праздновать у матери — веселее, но уж никак не традиционно. Джо вернула его к английскому празднику рождества, который она любила и строго соблюдала.

Она все еще считала себя верующей, хоть и не отличалась набожностью. Руперт тоже придерживался если не христианской религии, то христианской морали. Джо водила детей к рождественской утренней службе в церковь св. Иоанна, и Руперт сопровождал их нехотя, но покорно: Джо настаивала, чтобы он хотя бы раз в год внушал детям, что именно религии обязан своими нравственными устоями. Он возражал, что воспринял их отнюдь не от приходского священника, она же доказывала, что, пожалуй, и от него. Откуда же иначе было Руперту знать, что хорошо и что плохо? Пусть косвенно, не прямо, но все равно научила его этому церковь.

Погода была холодная, ясная. Все сулило хорошее рождество. Джо нежно поцеловала Руперта. Она радовалась, что сегодня праздник.

Но Руперт, хоть и не подавал виду, настроен был грустно. Он винил в этом свои почки, однако обмануть себя ему было не так-то легко. В конце концов он потерял не просто работу, а то единственное, что придавало смысл его существованию. И это оказалось даже страшнее, чем он думал.

Джо беспокоило, что он такой тихий и задумчивый.

— Ну, чего ты так тревожишься? — спрашивала она.— Не умрем же мы с голоду. Ничего страшного, даже если ты и не получишь другого места.

Она запнулась: у них уже не раз поднимался спор на эту тему. Джо было известно, как муж дорожит работой, но она никогда не могла понять, почему он придает ей такое значение. Ее к тому же сердило, что он потерял место из-за какого-то каприза; она уговаривала его бросить глупое упрямство, сходить еще раз к Филлипс-Джонсу и уладить эту дурацкую историю.

— Гордость у тебя всегда затмевает здравый смысл,— укоряла она его.— Ты не отступаешься от своего, даже рискуя все потерять. Если бы ты захотел, ты бы мог с ним договориться.

Он в этом сомневался, он сомневался в том, что Филлипс-Джонс вообще пожелает его слушать. Он был бы счастлив вернуться на службу и кончить дело миром, однако дух непокорства, путавший ему карты всю жизнь, брал свое. Руперт не мог пойти на уступки, как бы дорого ни обошлось ему это упорство.

Что же касается денег, Джо никогда не принимала всерьез его отказа от отцовского наследства. Достаточно было сознания, что в любой момент деньги можно взять! Стоит только написать матери. Соблазн отказаться от самоограничения и вернуться к легкой жизни с полным кошельком был для Джо очень велик. Руперта же

Продолжение. Начало в № 3.

раздражали уговоры практичной Джо, советовавшей ему вернуть себе наследство; при мысли об этих деньгах его охватывал страх; он часто ссорился с женой, а потом сам жалел об этих вспышках и о своей резкости.

— Но деньги ведь твои? — негодовала она.— Что ты всегда выдумываешь? Почему ты их так боишься? Может, ты их стыдишься? Не понимаю этого. И никогда не пойму.

— Давай лучше о них не говорить,— предупреждал он ее, начиная горячиться.— Даже если мы будем умирать с голоду, я их все равно не трону.

— Черта с два я буду помирать с голоду! — вспылив, отвечала она.— А дети? Они тоже должны страдать из-за твоих дурацких выдумок и ослиного упрямства? Ты просто сумасшедший!

— Я знаю,— тихо говорил он,— но только...

Джо ничего не желала слушать, и хотя через час она уже заливалась слезами, а он просил у нее прощения, мира между ними не было.

Трудно было ожидать, что в такой обстановке рождество пройдет очень весело. Руперт решил, что переломит себя и в эти дни будет во всем угождать Джо. Он любил жену, любил детей; жизнь тесного семейного мирка была исполнена для него глубокой внутренней значимости (именно о такой жизни он и мечтал); в банке на счету еще лежали деньги, работу он себе в конце концов подыщет другую, на этой свет клином не сошелся, зато какое нынче выдалось рождество — солнечное, морозное, высоко в небе от пролетавших самолетов оставались чистые, белые дорожки.

Он потерпит до Нового года. А потом опять начнет борьбу. Снова вступит в поединок со своей биографией, с соблазном богатства и легкой, пустой жизни, со всем, что манило его — наследника своего отца и своей попрыгуньи-матери.

И тем не менее ему трудно было не винить Алексея Водопьянова во всей этой чудовищной неразберихе, которая ломала его жизнь.

■

Наступил Новый год, и Руперт сделал еще одну попытку вернуться на работу. Самому Филлипс-Джонсу он звонить не хотел, а позвонил Артуру Уонскому и попросил помирить его с Филлипс-Джонсом.

— Скажите ему, что́ сочтете нужным,— объяснял Руперт.— Скажите, что я принимаю все его условия.

— Но почему вы с самого начала не согласились выполнить то, чего требовал этот ублюдок,— недоумевал Уонском.— На кой черт вам вообще надо было спорить с такой дубиной?

— Я с ним не спорил,— отпирался Руперт.— Он орал мне в лицо о моей непригодности, о моем неумении работать, об использовании личных связей. В таких случаях трудно смолчать.

— Да, конечно,— нехотя признал Уонском и пообещал позвонить Руперту через день-другой, но лучше, если Руперт зайдет к нему сам.

Руперт терпеливо выждал два дня и отправился к Уонскому. По простодушному лицу моряка он сразу понял, что новости у него не очень утешительные. Они стояли у окна, выходящего во двор министерства, и смотрели, как напротив, в шифровальном отделе женщины из военно-морской службы возились около больших серых аппаратов и перепечатывали длинные ленты зашифрованных передач.

— Против вас контрразведка,— сказал Уонском, грызя мундштук своей трубки, как собака кость.— А там в последнее время со мной не очень считаются. По правде говоря, я не знаю у них никого, кто бы мог вам помочь,— это ведомство похоже на осьминога без головы. Стоит ему выпустить щупальца, и никто уже не может сказать, откуда они выпущены. Я, правда, откопал для вас этого типа из военной разведки, но это все, что я мог сделать.

— Но ведь я же с ним говорил, и все разъяснилось?

— Разъяснилось! Но никто же всерьез и не верил, что русский вас завербовал. Филлипс-Джонс хитрее. Он уверяет, будто в смысле ваших связей с русским вы, быть может, и вне подозрений, но вы — человек слишком неосторожный, слишком своевольный для такого рода работы. Он заявляет, что вы вовлекли его отдел в опасную склоку с американцами или что-то в этом роде.

— Господи! Значит, он все-таки решил меня выгнать из-за моей неблагонадежности!

— Совершенно верно. Это — мелкий выскочка, и власти у него кот наплакал. Но когда дело идет о его кадрах, тут он хозяин. В одной руке у него дубина неблагонадежности, в другой — тупого идиотизма, и мне не выбить у него это оружие из рук.

— А вы ему сказали, что я сожалею о том, что произошло?

— Более или менее. Но он понимает, что своего добился. Вы слишком затянули это дело. Надо было идти на мировую сразу, на другой же день. Впрочем, он все равно твердит, что с его точки зрения вы человек, не внушающий доверия, а это позиция неуязвимая.

— Ну, а как же будет с моей работой? Чего-то она стоит, ее не выкинешь на помойку...

— Почему? Выкинут,— уныло возразил Уонском.— Знаете, что этот Джонсик сделал, когда вы пропали без вести? Решил послать вместо вас другого, чтобы тот заново проделал те же исследования: все ведь думали, что вам крышка. Я вчера выяснил: на вашем месте в секторе давно уже сидит другой человек и заново проделывает ваши вычисления. К тому же у него есть научная подготовка и прочее и прочее...

— Ах, вот оно что! — воскликнул Руперт.

— Я узнал об этом только сейчас,— с сожалением признался Уонском.— Он все равно хотел от вас избавиться, и пока у него в руках такой козырь, как ваша неблагонадежность, ничего с этаким типом не сделаешь. Черт бы ее побрал, эту неблагонадежность! Для него она просто находка. Он всегда считал, что вы попали к нему только по протекции.

Какая несправедливость, какая чудовищная несправедливость! Так безжалостно калечить человеку жизнь из-за каких-то дурацких предрассудков. Руперта душила ярость, отвращение, беспомощная обида, сознание, что его предали.

Но он подавил в себе это чувство, понимая, что бессилен что-либо изменить. Все равно ничего не вернешь, а он не хотел, чтобы его разъедала злоба. На кого? На эту мелкую душонку? Вот бы Филлипс-Джонс порадовался, но Руперт не доставит ему этого удовольствия. Он молча слушал Уонскома, перечислявшего унылые вакансии в других отделах и управлениях. Но себе он говорил: «Затычкой я быть не желаю. Лезть в первую попавшуюся дыру? Черта с два!»

— Беда в том,— втолковывал ему Уонском,— что вы поставили его в идиотское положение этой историей с русским орденом. В конце концов, он же не может компрометировать себя перед американской разведкой. Вы же видите, какую они подняли свистопляску!

— Но вы-то ведь знаете, почему я принял русскую награду.

— Откуда мне знать!

— Послушайте, Артур! Я хотел, чтобы Алексей Водопьянов попал домой! Только мысль о доме нас там и поддерживала. Только она и помогла нам выжить. Нам обоим. Может, глупо с моей стороны было так прижимать американцев, но надо же было как-нибудь заставить их его отпустить.

— Я вас понимаю,— согласился Уонском,— но теперь пора кончать с этим делом.

— Пожалуй. Одно противно: брать назад свое слово.

— Придется. Иначе с Филлипс-Джонсом мира не будет.

Руперт понял, что иначе не будет мира и с Артуром Уонскомом. Дался им этот русский орден! Значит, дело было вовсе не в том, что Руперта в чем-то подозревали,— никто не сомневался в его благонадежности. Ни Уонском, ни даже Филлипс-Джонс. Он почувствовал смутный страх перед чем-то неосязаемым, что пыталось снова выправить его по готовому шаблону, но нет, он победит этот страх.

— Я думаю, что теперь мне от награды нельзя отказываться,— упрямо заявил он.

— Но, боже мой, почему? — возмутился Уонском.— Впрочем, если так, тогда не ждите, чтобы Филлипс-Джонс сменил гнев на милость. Я навязать вас ему не могу...

— А я и не хочу, чтобы вы меня кому-нибудь навязывали,— отрезал Руперт.

Ему не хотелось дурно думать об Уонскоме, но тот вел себя как запуганный чиновник.

Руперт ушел от него с мыслью, что в мире, наверно, очень неблагополучно, если иностранное вмешательство может повлиять на такого хорошего человека и вовсе не бюрократа, как Артур Уонском.

А Уонском еще долго стоял у окна и смотрел на трудолюбивых, послушных, безответных женщин из вспомогательной службы, задавая себе вопрос: «Неужели всем *нам* положено быть такими, как они?» Он был огорчен, что ему пришлось встать на сторону Филлипс-Джонса, но что поделаешь? «Да и чего Руперту беспокоиться? — спрашивал он себя.— Он не нуждается ни в этой службе, ни в Филлипс-Джонсе, да, собственно, и ни в ком». Руперт — человек богатый. Стоит ли ставить себя под удар из-за человека, для которого работа — всего-навсего развлечение?

Глава девятнадцатая

Руперт так и не узнал, откуда газеты пронюхали про его уход из сектора, но к нему явился толстый краснолицый журналист с растрепанными усами. Он бесцеремонно ворвался в дом, объявив, что фамилия его Сандерсон и что он слышал, будто у Руперта Ройса неприятности в министерстве авиации, что-то с допуском к секретным бумагам. Это правда?

Руперта он застал врасплох. З н а ч и т к т о-т о п р о б о л т а л с я! Но кто? Руперт заподозрил Филлипс-Джонса, он мог это сделать из мстительности, но потом Руперт отверг такое подозрение, как недостойное. Чем дольше разглагольствовал

Сандерсон, тем яснее становилось Руперту, что на этот раз ему придется защищаться всерьез. Поэтому он ввел Сандерсона в холодную столовую, и там, неловко пристроившись у стеклянного столика, Джек Сандерсон, в прошлом довольно известный спортсмен, а теперь репортер, поставлявший своей газете сенсации, начал клясться Руперту, что подаст материал сдержанно и соблюдая приличия. Но Руперт знал, что ни сдержанности, ни приличия от такого прощелыги не дождешься. Это не его стиль. И тем не менее разговор продолжался.

— Они вас выгнали? — без обиняков спросил Сандерсон.

— Нет. Я подал в отставку.

— Но вас же лишили допуска к секретной переписке?

— Это верно.

— Ага! А почему? Что произошло за те полгода, пока вы были в Арктике? Они подозревают, что вы находились совсем не там или делали совсем не то, о чем рассказали, когда вас спасли? Они подозревают, что на самом деле вы были в России или где-нибудь еще?

Руперт был поражен. Вот что, оказывается, собирались преподнести читателям! Он-то думал, что газеты будут писать лишь о том, как его завербовал Водопьянов,— дальше его фантазия не шла.

— Только этого недоставало, какой вздор! — воскликнул Руперт.— Это уж ни в какие ворота не лезет. Кто сказал вам такую ерунду?

— Ходят слухи.

— Мало ли какие слухи ходят.

— Но если я не узнаю правды, мне придется написать то, что я вам сказал.

— Это будет клевета. А правда заключается в том, что американцы волнуются, не завербовал ли меня русский летчик. Я не шучу, это совершенно серьезно.

— Честное слово? Неужели они думают, что вас завербовали?

— Именно так. Можете проверить через ваших друзей.

— Не надо. Я вам верю. Кстати, почему вы не вернули русским орден? Ведь, кажется, от вас этого требовали?

— Сам не знаю,— ответил Руперт, уже готовый вспылить.— Не вернул, и все.

■

Джо совсем растерялась. В газетах о Руперте стали писать всякие ужасы, которыми ее пугали с самого детства. Измена, шпионаж и еще бог знает какие мерзости — все это на газетном языке подразумевалось под словом «неблагонадежность».

— Если и дальше так пойдет,— отчаивалась она,— люди начнут обходить нас с тобой, как зачумленных!

Руперт спросил ее, о каких «людях» она говорит.

— Тебе не надо ходить за покупками, в гостях ты тоже не бываешь. А каково мне? — ответила она.

Руперт, которого статья Сандерсона нисколько не огорчила, заметил, что ему безразлично, что о нем думают и говорят.

— Конечно, ты будешь меня уверять, будто ты выше всего этого,— с горечью ответила Джо.

— Да ведь все это — полнейшая чепуха!

— Но он изобразил тебя очень странным и каким-то темным человеком. Неужели они в самом деле сомневаются, что ты провел полгода на льдине?

— Тут уж Сандерсон постарался.

— Но ведь это ужасно! Ведь он намекает, что ты ездил в Россию, а вовсе не погибал в арктических льдах!

— Ну кто же в это поверит? — спокойно возразил Руперт.

Но Джо доказывала, что поняла статью так, как поймут ее все: будто он находится под страшным подозрением и был вынужден подать в отставку из-за того якобы, что тайно ездил в Россию.

Они поссорились. А тут еще целая орава репортеров стала ломиться в запертую калитку, громко требуя: «Выйдите, Ройс! Мы хотим услышать ваше заявление!» Джо совсем перепугалась и от страха накинулась на них, в ярости чуть не окатив их водой из шланга. Теперь опасно было даже детей выпускать из дома и впускать в дом разносчика молока. Фотографы с телеобъективами держали под прицелом черный ход, окна второго этажа и лающую собаку.

— О! — в отчаянии стонала Джо.— И зачем только ты все это затеял?

Руперт понимал, что рано или поздно ему придется принять газетчиков. Джо догадалась, что он уже решился на этот шаг: в его глазах появилось хорошо знакомое ей выражение холодной отчужденности, которой он прикрывался, когда приходилось заниматься тем, что ему не по душе. Ее пугало, что Руперт стал совсем не похож на того покладистого, вежливого человека, каким она привыкла его видеть, и она решила, что лучше не вмешиваться.

Руперт вышел к воротам, где стояли репортеры. Моросил дождь.

— Что это за разговоры о неблагонадежности, мистер Ройс? Неужели они имеют основание?

Он повторил им то, что говорил Сандерсону, а они дотошно расспрашивали его о мифической поездке в Россию, о том, был ли он завербован и почему им так интересуются американцы, о Водопьянове, о русской награде. Наконец, один из них пришел к заключению:

— Все, по-видимому завертелось, когда вы приняли этот русский орден. Не думаете ли вы пойти на попятный и вернуть его?

— Да я его еще не получил.

— А у нас утверждают, что вы согласились его принять.

— Это правда.

— Но теперь вы заявите, что он вам не нужен?

— С какой стати? Это было бы невежливо.

— Говорят, будто вас пригласили в Россию. Это верно?

— Верно.

— И вы поедете?

— Почему же не поехать?

— А как вы думаете, вас выпустят?

— Кто меня может не выпустить? — поразился Руперт.

— Три года назад контрразведка задержала Эдмунда Джексона в аэропорту, когда он отправлялся на конференцию в Россию. Разве с вами не могут сделать то же самое?

— Но я же не атомник, как Джексон!

— Вы работали в засекреченном учреждении.

— Ну и что? Из-за этого мне нельзя путешествовать? Я поеду, куда захочу.

— Значит, вы едете в Россию?

— Я же вам сказал: если захочу, то поеду.

Он запер калитку, хотя только раздразнил их аппетит.

Глава двадцатая

Руперту и в голову не приходило ехать в Россию. Он даже забыл, что русские его приглашали. Однако после интервью у ворот какая-то не слишком чистоплотная газета подняла трезвон по поводу того, что он якобы принял приглашение и собирается лететь в Москву за своим геройским орденом.

Руперт не дал себе труда послать опровержение и, в угоду Джо, отказался побеседовать с репортерами еще раз. На все домыслы газет ответил от имени министерства Уонском, он опроверг сообщение о том, что Руперт лишен допуска к секретным матариалам и что он уволен по причине неблагонадежности. «Не подозревает ли министерство, что Ройс был в России, а не в полярных льдах?» — «Возмутительная выдумка!» — ответил Уонском и заявил, что Руперт подал в отставку из-за трений с начальником сектора. Руперт Ройс может работать в любом другом секторе управления, включая секретные. Его спросили относительно русского ордена, но Уонском заявил, что не желает этого обсуждать, потому что это мелочь, не заслуживающая обсуждения.

Потом Уонском позвонил Руперту.

— Ну, кажется, я разделался с их стряпней,— сказал он и снова предложил несколько новых должностей на выбор: ведь Руперт все же опытный практик!

Но, сам не зная почему, Руперт почувствовал какую-то непреодолимую брезгливость и от всего отказался, не без сарказма объяснив Джо:

— Староват я стал, да и чересчур неосторожен для их так называемой «практической» работы.

За это время он имел возможность разобраться в самом себе и трезво оценить свою работу. Теперь он много гулял по садику или бродил по холмам и старинным дорожкам Хэмпстеда.

Как бы там ни было, он больше не вернется в метеорологическое управление. Радости этого маленького мирка вдруг для него померкли. Филлипс-Джонс разрушил его иллюзии, и сейчас Руперт уже сам понимал, что в течение четырех счастливых лет, которые там провел, он целиком опирался на научные познания Джека Пирпонта за неимением своих собственных. Филлипс-Джонс прав. У него нет необходимой подготовки для серьезной научной работы.

Значит, со всем этим покончено и ему надо искать другое занятие. В сорок лет это не так-то легко. Он и представить себе не мог, с чего начинать.

■

После долгих сомнений и мук Руперт вспомнил о былом увлечении античной археологией и вернулся к ней, внешне ничем не показывая, что пережил катастрофу.

Каждый день он теперь ходил в Британский музей. Его всегда интересовала ранняя эгейская и догомеровская культура; он перечитал Гомера и Эсхила, чтобы восстановить в памяти эпоху, от которой как от отправной точки предполагал дви-

нуться в глубины истории. Попутно он прочел труд австрийского ученого Т. Г. Гомперца и в первом томе напал на краткое упоминание о греческих колониях на Черном море. Эта страница в истории греческой культуры была мало исследована — во всяком случае археологами,— и он ею заинтересовался.

Он обнаружил, что еще за семь веков до нашей эры жители Малой Азии уже начали заселять берега Черного моря, а в период расцвета полисов греки стали развивать эти колонии, чтобы вызвать отлив из метрополии беднейшей и наиболее выносливой части избыточного населения. Он представлял себе эти греческие поселения, тянувшиеся одно за другим от Донских степей до берегов Испании. Колонизаторы, по всей вероятности, были самыми сильными и отважными представителями греческой молодежи, а проникновение эллинской культуры было так стремительно, что она быстро впитала и поглотила местные верования. Его восхищали талант и упорство этих предприимчивых и мужественных людей.

Увлекшись этой героической страницей прошлого, Руперт стал глубже изучать историю черноморских колоний; прежде всего он прочел все древние источники: Гомера, Арриана, Геродота, Страбона, Плиния и Полибия. Он обнаружил отрывочные упоминания о колониях на Черном море у большинства античных географов, а вот современных исследований на Западе оказалось очень мало, если не считать хорошей работы о скифах какого-то Миннса.

У Страбона он прочел о небольшом, но загадочном островке на Черном море возле устья Дуная под названием Левка. Его звали также островом Ахиллеса. Тогда Руперт взял Арриана и узнал, что богиня Фетида подарила своему сыну Ахиллесу остров и что Ахиллес, по-видимому, жил на этом острове и воздвиг там храм. Жители острова приносили ему в жертву людей и коз; несомненно, что в течение ряда веков на острове процветал культ Ахиллеса.

Островок существует и поныне, хотя теперь он несколько дальше от устья Дуная. Русские, которым он принадлежит, зовут его Змеиным островом. Однако в Британском музее Руперт почти ничего не нашел о том, что делается на острове в наши дни, и, будучи дилетантом в этой области — как и во всех прочих,— он на основе свидетельств древних и собственных догадок стал создавать свою историю острова и наконец решил доказать, что Левка, остров Ахиллеса и теперешний Змеиный остров — одно и то же. А если он прав, место это заслуживает археологического исследования.

■

Джо равнодушно наблюдала за новым увлечением Руперта, она не относилась к нему всерьез, и все же душевное состояние мужа ее начинало тревожить. Газеты на какое-то время о нем забыли но она понимала, что занятия археологией — это лишь сознательная попытка себя отвлечь. Руперт не привык колебаться и не любил менять свои решения; и тем не менее Джо казалось, что к своим новым занятиям он перешел чересчур легко. Она в них не верила. Растерянные голубые глаза и осунувшееся лицо мужа говорили ей, что в нем происходит борьба куда более тяжелая, чем он хочет показать.

Но как-то раз он себя выдал в разговоре с Мэриан Крейфорд. Джо ревновала их друг к другу, потому что они могли говорить о серьезных вещах, о которых им никогда не пришло бы в голову разговаривать с ней. Мэриан спросила Руперта, что он сейчас делает, и Руперт невозмутимо ответил, что, наверно, попусту теряет время, хотя в его годы и с его взглядами ему трудно найти другое занятие.

— Послушайте, Руперт,— сказала ему Мэриан,— я ведь так до сих пор и не знаю, каковы ваши взгляды.

Ее добрые глаза смотрели на него испытующе, она хотела понять, не нуждается ли он в помощи.

— Это потому, что вы такая же, как все,— сказал он.— Вы тоже считаете, что они у меня идут вразрез с общепринятыми.

— А разве это не так?

— Почем вы знаете?

— Хорошо, пусть я не права. Но если вы такой уж ортодокс, то в чем же ваша ортодоксальность?

— Вот этого я вам точно не скажу. Но я иногда спрашиваю себя: что нам всем мешает жить? А ответа на этот вопрос я еще не нашел.

— Потому что пытаетесь его решить не на моральной основе,— сказала она.

Мэриан была верующей католичкой с твердыми нравственными устоями, что всегда восхищало Руперта. Она работала врачом в детской клинике и была членом педагогического совета той школы, где учился Роланд, членом комитета по охране природы Хэмпстеда, заседала в суде и к тому же активно помогала католической миссии в Юго-Восточной Африке, открывшей больницу для прокаженных.

— О какой моральной основе вы говорите? — спросил Руперт. Он играл у камина в домино с Тэсс и хлопнул ее в эту минуту по пальчикам за то, что она попыталась стащить одну из его костей и поставить вместо своей.— О религиозной?

— И религия бы вам не помешала,— ответила Мэриан.

— Религия больше не несет в себе нравственных ценностей, которые помогали бы людям жить.

— Может быть,— мягко согласилась она.— Но где же еще искать моральные ценности?

— Не знаю. И заботят меня не моральные ценности. Скоро мы будем вынуждены обходиться без них. Вы думаете, что все дело в морали? Меня, например, интересует ц е л ь. Какова наша цель?

— Но как же можно отделять нравственность от цели существования? — воскликнула она.

— Может быть, и нельзя,— согласился он.— Но когда я был там, на льдине, меня мучила мысль, что все мы — дикари, лишенные разумной цели.

Мэриан показалось, что она поняла его мысль.

— Да, человек начал с убийства и, как видно, всегда будет убийцей,— произнесла она горько.

— Нет, я совсем не о том. Я говорю, что мы неправильно живем. Наша жизнь чудовищно бесцельна.

— Вы не должны забывать, что вы — исключение,— сказала, поддразнивая его, Мэриан.— Что бы вы там ни говорили!

— Не болтайте ерунды.

— Нет, правда! Вам никогда не приходилось бороться за существование.

— Я — рядовой случай,— возразил он.— Все равно, богат я или беден. Толком меня так и не использовали. Вот в чем беда. Скажите сами, разве возможности большинства людей используются полностью?

— Ну, тут уж ничего не поделаешь.

— Почему?

— Потому что нельзя выпотрошить человека до конца. В мире всегда будет не хватать настоящего дела, чтобы использовать весь потенциальный талант человечества. Да ведь и не все мы способны на полезный труд.

— Как вы можете так говорить? — возмутился он.— Большинство людей может приносить гораздо больше пользы. Но они только наполовину подготовлены к жизни. Вроде меня. Большинство людей всю жизнь работает далеко не в полную силу, тоже вроде меня. Большинство людей искренне мечтает о лучшей участи. Я это знаю! Я уверен, что это так.

— Тогда вам надо заняться политикой,— сказала она.

— Ненавижу политику,— холодно возразил он.

Она уже несколько лет уговаривала его голосовать за лейбористов. А он всегда голосовал за консерваторов, утверждая, что не видит между партиями никакой разницы.

— Все мы учились в одних и тех же школах,— объяснял он ей,— и исповедуем одинаковые взгляды, обе стороны. Большинство лейбористов умрет от страха, если у нас когда-нибудь возьмут и устроят социализм. Даже вы, Мэриан. Вы называете себя социалисткой, но социализм вам был бы отвратителен. Как и мне. Я не буду за вас голосовать, потому что ваша партия — это всего-навсего полинявшая копия консерваторов, а я предпочитаю оригинал.

— Если вы ненавидите политику,— сказала она,— вы не смеете говорить ни о цели жизни, ни о нравственных устоях. Хотите морализировать — выбирайте либо религию, либо политику.

— Вы правы. Но я, наверно, слишком труслив, чтобы на это отважиться.

— Скажите Руперт, почему вы так боитесь своих денег? Я, как и Джо, видно, никогда этого не пойму.

— Потому что у вас никогда их не было.

— Вот это правда,— рассмеялась она, обнимая Тэсс.

— Вы не знаете, какой вред от денег,— серьезно продолжал он.— Деньги убеждают человека, будто все что он делает, правильно. А это превращает богачей в толстокожих... Вот что испортило и погубило моих родителей, да я и сам постоянно боролся с тем же соблазном. И до сих пор его не преодолел.

— В это я не верю. С вашей-то силой воли?

— Нет, не преодолел,— хмуро повторил он.— Но это еще полбеды. Как я теперь вижу, хуже другое. Я был очень маленьким и вполне заменимым работником в метеорологическом секторе. В сущности, никем. Не таким плохим, как думал Филлипс-Джонс, но все равно для меня это было всего лишь времяпрепровождением, и если такое времяпрепровождение чем-то оправдывалось, то лишь тем, что я очень старался. Но ведь точно так же работает большинство людей. Человек получает должность, выполняет свои обязанности так, что комар носу не подточит, вот и все. Проживет свой век, глядишь, пора умирать. И никакой цели во всем этом нет, только желание хоть как-нибудь прожить.

— А разве этого мало? — удивилась Мэриан.

— Неужели для вас достаточно? Право же, вы хотите большего. Вы хотите, чтобы в вашей работе был какой-то смысл. Разве не так?

— Это правда.

— Так почему же и мне не хотеть того же?

— Наверно, вы правы, Руперт. Но потому-то Джо и уговаривает вас жить как хочется и не морочить себе голову заботой о хлебе насущном.

— Нет. Джо хочет, чтобы я взял назад свои деньги, потому что она выросла в бедности.

— А вы возьмете? — прямо спросила его Мэриан.

— Не знаю. Еще не решил.

— Кстати, что вас так привлекает в археологии? В этой вашей Греции. Или чем вы там занимаетесь? Думаете, что это выход?

Он покачал головой:

— Да нет... Просто надо же найти себе какое-то дело. Почему не порыскать по разным местам? А вдруг что-нибудь раскопаю.

— Только богатые могут себе это позволить,— снова поддела его Мэриан.

Глава двадцать первая

Нелегко было уговорить Джо взять детей и отправиться всей семьей в Россию только потому, что Руперта интересовали греческие поселения на Черном море.

— Ты просто хочешь лишний раз доказать, что можешь поступать, как тебе вздумается,— сказала она.— Никуда я не поеду.

— По-моему, ты не права,— старался он ее переубедить, хотя сам понимал, что в его намерении ехать немалую роль играет чувство протеста.

— Это ужасная страна,— утверждала Джо.— Зачем тебе надо тащить туда нас? Поезжай один.

— Послушай, Джо,— уговаривал он.— Говорят, на Черном море замечательные курорты. Ты с детьми поживешь где-нибудь там, а я объеду побережье.

— А что, если дети заболеют?

— Там есть доктора.

— Доктора! — воскликнула она.— Какие там могут быть доктора?

— Да ведь это же всего один день на самолете до Лондона.

— Я ненавижу летать.

Джо капризничала, но Руперт знал: немного выдержки, и он поборет ее неразумный страх, убедит ее в заманчивости этой поездки.

— Ты же не хочешь отбить у детей любознательность и интерес к приключениям? Если тебе не понравится, ты уедешь домой.

— Мне наверняка не понравится,— твердила она.— Чего я там не видела? Почему мы должны все делать по-твоему?

Но Джо понимала, что Руперту хочется ехать, что он увлечен своей новой затеей, и под конец уступила.

Он позвонил в советское посольство и, переговорив с тремя или четырьмя незнакомыми, весьма сдержанными людьми, соединился с Маевским.

— Я вам звоню по поводу поездки в Россию,— сказал Руперт.

Маевский встретил его решение с энтузиазмом и предложил сразу же приехать в посольство. Особняк на Аллее миллионеров поразил Ройса своим старомодным великолепием. Руперт почему-то не ожидал увидеть такое прекрасное здание, хотя и понимал, что это глупо.

— Значит, вы решили посетить нашу страну? — спросил его Маевский.

— Да,— ответил Руперт.— Если это возможно.

— Конечно, возможно.

— Только я не знаю, можно ли осуществить то, что я наметил.

Руперт изложил довольно сложную программу Он хочет поехать на Черное море. («Пожалуйста!») Он хочет выбрать какое-нибудь тихое место, где сможет жить его семья, маленькую дачу или что-нибудь в это роде. («Пожалуйста!») Кого-нибудь, кто бы помог им по хозяйству («Понятно!»), пока он будет ездить по побережью и осматривать места древнегреческих поселений. («А, так вы интересуетесь археологией? Мы можем договориться с нашими специалистами, чтобы вам все это показали».)

— Нет, нет! Спасибо, никаких специалистов мне не надо. Разве что переводчика. Я не очень хорошо говорю по-русски.

Маевский сказал, что все это легко устроить, хотя, конечно, Руперту надо предварительно заехать в Москву, чтобы его могли там принять и вручить Золотую Звезду Героя Советского Союза.

Но Руперт упорствовал:

— К чему все это? Уверяю вас, мне ничего не нужно. Я хотел бы, чтобы все было как можно проще...

— А нет у вас желания посмотреть наши северные метеостанции или наши новые исследовательские институты? А вашей жене разве не интересно было бы познакомиться с нашими школами?

— Нет, спасибо,— сказал Руперт.— Нам хотелось бы провести день-другой в Москве, а потом месяц на Черном море. Меня особенно интересует островок в устье Дуная, который называется Змеиным.

— Да, но это уже Румыния,— сказал Маевский.

— Нет. Остров принадлежит России.

— Тогда вы сможете его посмотреть, мистер Ройс. Все будет устроено.

■

Руперт продолжал заниматься историей Ахиллеса и его острова и не получал никаких вестей ни от Маевского, ни из посольства; такое молчание казалось ему несколько странным, но для русских, по-видимому, это дело обычное. Приятель Руперта Поль Пул жил некоторое время в Москве. Будучи способным лингвистом, он, уже владея четырьмя языками, изучил еще и русский. Дело в том, что он обучал офицеров морской разведки трем языкам, вернее, учил их современным психологическим методам ведения допроса по-гречески, по-чешски и по-польски, ибо у каждого языка свой психологический строй. Теперь он изучал социальную психологию русских, чтобы расширить свой курс, и для этого год назад совершил гуристскую поездку по России.

У Руперта не было такой жажды приключений, как у Поля Пула, но, наслушавшись его рассказов, он стал представлять себе Россию гораздо отчетливее, чем раньше.

На Джо рассказы Поля произвели обратное действие: она раздумала ехать. Однако у Руперта нашелся союзник — Роланд, который уже раззвонил о поездке в школе. Ему неловко было бы перед товарищами, если бы она расстроилась.

— Ну как, едете вы на Черное море? — спросил однажды Поль.

Руперт утвердительно кивнул.

— Да, хочу все-таки посмотреть, что осталось от греческих поселений на побережье.

— Там есть немало других вещей, заслуживающих внимания,— загадочно произнес Поль.— Тебе до отъезда следует к о е - к о г о п о в и д а т ь.

Руперт понимал, что под этим подразумевает работник разведки, но воспринял его слова не слишком серьезно.

Глава двадцать вторая

За день до отъезда в Москву к Руперту зашел Поль и, пройдя с ним в сад, стал объяснять ему с жаром:

— Понимаешь, какая у меня замечательная идея? Послушай! Если ты совсем распростился с метеослужбой, почему бы тебе не пойти к нам? Ты ведь для нас идеальный человек! Во всех отношениях. Не смейся! Я знаю, что говорю. Начнем с того, что в Англии у тебя репутация неблагонадежного.— Поль был от этого просто в восторге.— Вот умора! — воскликнул он и стал дразнить спаниеля Фиджа, с которым они сразу стали закадычными друзьями.— Это всех собьет с толку. Лучше не придумаешь. А при твоем интересе к археологии, поверь, это идеально.

— Идеально для чего? — спросил Руперт, который любил разыгрывать перед Полем дурачка: тот почему-то считал, что все непременно должны разбираться в тонкостях его хитроумного ремесла.

— У тебя будут чеслыханные возможности,— продолжал Поль, расписывая Руперту его будущую карьеру.— У тебя такой независимый вид — ты ведь на все смотришь чуть-чуть свысока!.. А потом у тебя есть деньги, определенная репутация...

Руперт отлично понимал, о какой работе идет речь, и не был так уж шокирован, хотя его возмутило, если бы с подобным предложением к нему обратился кто-то другой.

— По-моему, я не очень для этого гожусь,— сказал он.

— Чепуха! Ей-богу, чепуха. Эта мысль пришла мне в голову вчера вечером, когда я ехал в автобусе домой; я готов был убить себя, что не сообразил раньше. Ну как, Руперт? М-м-м?..

Руперт рассмеялся. Он любил Поля, его нельзя было не любить.

— Ты же знаешь, что по характеру я не очень-то подхожу для разведки.

— Не болтай глупостей! — возразил Поль, прибегая к последнему доводу, которым обычно пользовался, чтобы сокрушить оппонента.— Ведь это же не контрразведка! Это морская разведка. Ну их к богу, этих разведчиков из военного министерства! Они же просто жандармы. Нет, нет! Я говорю совершенно серьезно. Ты ведь моряк, я уже рассказывал о тебе Джули Джонсону, и он тоже целиком «за». Ты можешь подключиться к нам хоть сейчас.

— А у вас начальником Джули Джонсон? — спросил Руперт. Он знал Джули со времен войны. Джули тогда с десятью людьми пробрался в Дьепп, замаскировав свой катер под французский. Его схватили, он бежал повторил ту же проделку возле Шербура и потерял глаз. Теперь он носил живописную черную повязку.

— Да, но видеть тебя хочет совсем не Джули.

— А кто же?

Поль любил поражать своих собеседников: он с мальчишеским торжеством поглядел на Руперта.

— Твой старый друг, адмирал Лилл.

— Как, он ваш начальник?

— Я знал, что удивлю тебя. Но имей в виду: это строго между нами.

— Еще бы! — сказал Руперт. Адмирал Лилл был близким другом его отца и еще более близким — матери. Руперт знал его с детства. Это был очень застенчивый человек с бледно-голубыми глазами, которые как-то ласково мигали от смущения. Руперт с ним сталкивался в разные периоды жизни: мальчишкой, потом — молодым человеком, сначала в Афинах, затем во Франции и Англии, а позже во флоте. Лилл работал в морском штабе с 1926 года и относился к Руперту неизменно дружески, хотя они редко встречались и не допытывались друг у друга, чем каждый из них занимается.

— Ну, как? — спросил Поль.— Пойдешь?

Руперт понимал, что не может отказаться, к тому же он был заинтригован. Когда Поль сказал ему, что штабная машина с шофером отвезет его и привезет обратно, он согласился.

— Вот и отлично! — воскликнул Поль, и они поднялись. Поль потрепал за уши ласкавшегося к нему Фиджа.— Прекрасный спаниель, Руперт. Но у этих спаниелей вечно болят уши. Сколько ему?

— Четыре года.

— Славный пес,— повторил Поль.— И здоровый.

— Каждое утро даем витамины.

Руперт пошел сказать Джо, что едет с Полем в адмиралтейство и вернется часа через два.

Но они поехали не в морской штаб, а в белый дом на той стороне Сент-Джеймс-парка, где расположены казармы. Пройдя пешком метров сто от главных ворот парка, они постучали в дверь красивого особняка восемнадцатого века с эркерами. Их впустила горничная, и они поднялись по великолепной белой лестнице на второй этаж. В проходной комнате сидел Джули Джонсон со своей черной повязкой на глазу, а в следующей — собственно, это была роскошная библиотека с огромным окном, выходящим в парк,— адмирал Дж. Б. Лилл. Волосы у него теперь были совсем серебряные, и весь он словно усох, стал меньше ростом; к тому же в первый момент он еще съежился от смущения.

— Привет, привет, Руперт! — Он широко улыбнулся.

— Привет, адмирал.

Они были рады видеть друг друга и обменялись крепким рукопожатием. Лилл сделал жест в сторону Джули, который провожал Руперта.

— Ты ведь помнишь Джонсона? — спросил он.

Это была теплая встреча старых друзей.

Через приоткрытую дверь Руперт увидел с десяток молодых женщин, работавших за столами стального цвета, заваленными книгами. Они были больше похожи на студенток, чем на сотрудниц особого отдела военно-морской разведки. Письменный стол адмирала тоже был завален книгами, картами, скоросшивателями и писчей бумагой. Одна стена комнаты была заставлена стеллажами с подшивками газет и журналами на иностранных языках.

Руперт помнил, что адмирал Лилл знал множество языков и был человеком очень образованным.

Они заговорили о том, как долго друг с другом не виделись: с Лиллом Руперт не встречался лет семь, а с Джули Джонсоном — восемь. Когда-то Джонсон увлекался охотой на лис и предлагал Руперту вместе купить несколько пони — для охоты, а может быть, и для игры в поло, от чего Руперт вежливо отказался.

— Ну как, купили вы пони? — спросил его теперь Руперт.

— Купил,— ответил Джули,— но они меня чуть не разорили. Я приобрел четырех пони, и выяснилось, что на мое жалование этих малышей не прокормить. Тогда я их продал за десятую часть того, что заплатил за них сам.

Джули, человек скромного достатка, держался с Рупертом суховато с тех пор, как этот богач отказался вступить с ним в дело.

— Скажите, чтобы нам принесли чаю,— попросил адмирал.— А теперь, Поль, раз вы доставили сюда Руперта в целости и сохранности, возьмите-ка всю эту ерунду, которую вы так старательно разбирали целое утро, и выкиньте в печку. Я вам крикну, когда мы кончим.

Лилл и Руперт остались одни.

— Как мама? — спросил адмирал.

— По-моему, прекрасно. Но я ее уже месяца два не видел.

— Вот, наверно, напугалась, когда ты остался там, на льдине.

— Ее не так легко испугать. Но все же она приехала к Джо.

— Знаю. Я хотел ее повидать, но был тогда не то в Монтевидео, не то где-то еще. Когда я там о тебе прочел, я был уверен, что ты выкарабкаешься, хотя толком не понимал, что с тобой произошло. Да и до сих пор не понимаю.

— Что теперь вспоминать!

— Ты садись,— сказал адмирал,— а я похожу по комнате. Когда хожу, мне легче думается. Я здесь частенько гуляю по парку, иначе мозги отказываются работать.

— Вид у вас тут очень деловой,— сказал Руперт, озираясь.

— Ну что ж,— скромно заметил адмирал,— может, мы и делаем какое-то дело, а может, и нет. Самому это не видно.

Руперт засмеялся. Он давно привык к тому, что адмирал любит скромничать.

— Да нет. Я говорю серьезно,— мягко попрекнул его Лилл.— Ведь это новая организация. Совсем непохожая на то, что было, и нам, пожалуй, трудно пока определить, насколько она эффективна.

— Почему? Что в ней нового?

— Мы еще об этом поговорим, Руперт.— Адмирал сел на обитый ситцем диванчик в эркере, в каждую из трех старинных рам которого был словно вписан кусок залитого солнцем парка.— А пока, давай о тебе Знаешь, я был очень удивлен, когда Поль Пул и Джонсон пришли ко мне вчера с предложением насчет тебя. Не понимаю, как я сам об этом не подумал.

— Спасибо,— поблагодарил Руперт.

— Не будь таким сухарем, мой мальчик.— Адмирал хорошо знал Ройса и умел различать интонации его голоса. Он достаточно хорошо изучил и его дурные и хорошие стороны.— Я говорю искренне. Ты для нас идеальный человек, и я просто ума не приложу, как же я раньше о тебе не подумал. Наверно, потому, что мне казалось, ты нашел себе место в жизни и стало быть, говорить больше не о чем.

— Я нашел свое место в жизни,— подтвердил Руперт.— Но оно ушло у меня из-под ног.

— Да, слыхал,— улыбнулся адмирал.

— Но все же объясните, адмирал, на что я вам нужен? — спросил Руперт, начиная испытывать нетерпение.— В вашей специфической области?

— Понимаю, понимаю, тебе сейчас некогда. Ты ведь завтра уезжаешь в Советский Союз?

— Да, на «Балтике», на их теплоходе.

— Завидная поездка! Тебе будет интересно все, что ты там увидишь. А ты старайся увидеть как можно больше.

— Я, в сущности, еду туда, чтобы разыскать следы греков на Черном море.

— Знаю. Однако, надеюсь, это только повод. Тебе надо увидеть и все остальное. Это ведь ни на что не похожая страна.

— Боюсь, ни на что другое у меня не хватит времени,— усомнился Руперт.— Россия слишком велика, слишком сложна, чтобы судить о ней с налету.

Адмирал соскочил с диванчика.

— Не называй ее Россией! — коротко сказал он.— Называй ее так, как они зовут ее сами: Советский Союз или СССР. Это очень важно, Руперт.

Руперт молча ждал, зная, что адмирал обиняком подходит к цели разговора. Однако в чем, собственно, его цель? Это был отдел морской разведки, но тут пахло чем-то еще, да и сам адмирал, видимо, стремился создать в своем учреждении атмосферу интеллигентности.

— Ты о нас ничего не знаешь?

— Нет.

— Позволь, я тебе объясню.— Адмирал снова уселся на диванчик; его короткие ноги не доставали до пола.— Мы — военно-морская разведка. Это ты знаешь. Однако мы занимаемся нашим делом по-новому. Мы затеяли это лет пять назад, но только недавно сообразили, как добиться того, что нужно.

Адмирал поглядел на него, словно спрашивая, все ли ему понятно, и Руперт неопределенно кивнул.

— Ну, мы, конечно, занимаемся и тем, чем занимаются все. Разведываем местность, собираем обычные сведения. Это дело немудреное. Приходится выполнять и это, чтобы обеспечить себя со всех сторон, действовать и вширь и вглубь. Но мы пытаемся вести разведку несколько обстоятельнее, чем это делают обычно. Тебе интересно?

— То, что вы говорите, весьма любопытно,— заметил Руперт.— Не думаю, однако, чтобы я мог быть вам полезен. Как вам известно, существует мнение, что у меня кое в чем странные взгляды...

— Вот это и делает тебя для нас идеальным человеком. Говоря откровенно, ты именно тот, кого нам не хватает. Почему? Потому что у тебя есть опыт: ты много жил за границей и можешь понять чужую точку зрения, чуждую нам психологию. Ясно, к чему я клоню?

— Вы говорите о национальном психическом складе? — спросил Руперт.— О национальном характере?

— Назовем это так,— подтвердил адмирал.— Но давай говорить конкретно. Поскольку мы — отдел разведывательного управления, мы, естественно, обязаны получать такие же сведения, как и все учреждения подобного рода. Но мы хотим большего, и я постараюсь тебе объяснить, чего именно. Вот ты, например, едешь в Советский Союз. Прекрасно. Когда ты там будешь, кто-нибудь из наших сотрудников попросит тебя поинтересоваться тем или иным объектом — думаю, что сейчас это либо радиостанции, либо радарные установки; заранее не скажу. Я не могу запретить им давать тебе обычные задания, да и с чего бы я стал это запрещать? Но это не все. Я хочу от тебя, Руперт, чтобы ты поехал туда как настоящий дипломат.

Руперт встал и подошел к окну. Садовник в парке срезал блестящими ножницами невысокие тюльпаны. Чик-чик-чик — и цветы падают.

— Когда ты приедешь в Советский Союз,— продолжал адмирал,— ты должен посмотреть на все, что там увидишь, глазами стратега. Тут нужен двоякий подход. С одной стороны, ты должен думать о том, какой удар они могут нанести нам, а с другой стороны — мы должны знать, в чем они уязвимы.

— Разве вы этого еще не знаете? — спросил Руперт.

— Да, но только с узковоенной точки зрения. А нам надо нечто большее, чем военным. Понимаешь?

— Не совсем.

— Если ты сможешь свободно передвигаться по Советскому Союзу,— сказал адмирал,— да, впрочем, и по любой другой стране, ни на минуту не переставая прикидывать в уме, что собой представляет эта страна со стратегической и психологической точки зрения и что может тебе дать для понимания этой страны каждое замеченное тобой явление и каждый человек, с которым ты сталкиваешься,— ты будешь просто поражен тем, что тебе откроется. Понимаешь?

— Более или менее.

— Но тебе надо иметь особый подход ко всему, что ты видишь, Руперт. Тебе надо научиться смотреть на каждую сторону их жизни с особым прицелом — на все: на местность, людей, события, даже на детей! Ты должен спросить себя: «Если нам когда-нибудь придется воевать с этой страной, что нам следует о ней знать?» Больше того: «Что нам следует о ней знать, если мы решимся взять ее в союзники?»

— А вы-то сами что предпочитаете? — шутливо осведомился Руперт.

— Не смейся,— возразил адмирал.— Коммунизм, сам знаешь, штука в общем не очень приятная. Но надо остерегаться и узости взгляда. Ты должен на все смотреть глазами военного, дипломата, пропагандиста, десантника, разведчика и, в конечном счете, стратега, который разрабатывает военную операцию. Ты следишь за моей мыслью?

— Да, конечно.

— И тогда ты увидишь там все совсем в другом свете, по-новому. Через какое-то время это занятие покажется тебе очень увлекательным. Ты будешь вести подлинную разведку, и в нее войдет все, что ты будешь там делать и наблюдать, а это значит, что интерес к стране у тебя возрастет, знание ее станет куда полнее, а польза, которую ты нам принесешь, увеличится во сто крат. И поэтому, когда ты будешь писать нам свои донесения, это не будет работой узколобого военного наблюдателя, а всеобъемлющим анализом психологии народа, начиная с его отношения к правительству или с отношения учащихся к их учебным заведениям и кончая расположением телеграфных столбов в определенной местности, манерой носить рубашки и даже тем, как они балуют своих детей. Словом, ты будешь давать исчерпывающий анализ всего, что полезно знать. Это и есть всесторонняя разведка. Так бы, наверно, работали люди эпохи Возрождения, если бы им понадобилось высокоорганизованная разведывательная служба. Понимаешь?

— Великолепно понимаю. Задумано здорово,— подтвердил Руперт.

Адмирал подставил лицо солнцу и улыбнулся.

— Я знал, что ты это оценишь. Пока что мы не очень большая организация, хотя уже имеем кое-какие достижения. Тебе может показаться странным, что этим занимается морская разведка. А почему бы нет? Даже лучше — путает карты. Однако теперь ты видишь, чем для нас ценен такой человек, как ты. И так же, как ты, мы не ортодоксы. Ты сразу можешь нам дать все, что представляет для нас интерес. Известно, что ты человек независимый, богатый, хотя я-то знаю, что ты отдал все свои деньги матери. Но мы будем платить тебе больше, чем ты сможешь истратить на жизнь. К тому же у тебя есть некоторые технические знания и довольно широкий кругозор. Археология — это, знаешь ли, просто прекрасно. И даже твоя стычка со службой безопасности нам полезна, потому что никто не заподозрит, что ты сам там работаешь. Словом, все складывается как нельзя лучше.

— Значит, вы предлагаете мне работу? — спросил Руперт.

— Конечно.

— Из-за моих несколько необычных качеств?

Адмирал почему-то покраснел и снова застенчиво отвел глаза.

— Вот именно. А если говорить серьезно, Руперт, то я хорошо тебя знаю и уверен, что это дело тебя увлечет. И, по-моему, не только в Советском Союзе. Для тебя почти повсюду открыто неограниченное поле деятельности. Даже среди наших друзей и союзников приходится вести такую работу. Ты можешь поехать в какую-нибудь союзную страну с той же целью и тоже принесешь нам большую пользу. Мы выясним, что думают наши друзья и как нам себя с ними вести, чтобы большего от них добиться. Видишь, как это важно?

— Похоже на бывший отдел психологической войны.

— Нисколько! Ну, что ты говоришь! Абсолютно ничего похожего. Наша разведка — разведка вглубь. И если нас занимают вопросы национальной психологии, то это только одна из сторон нашей деятельности. Мы вовсе не хотим следовать рецептам Макиавелли. Мы хотим проникнуть в душу нации, обнаружить ее национальные

слабости, уязвимые места. Но нам нужны и обычные, объективные сведения — куда ведут дороги, велики ли порты, где стоят радарные установки. Мы не выделяем этой информации, мы присовокупляем ее к остальной. То есть нам нужен максимум фактических сведений о портах плюс максимум понимания национального характера, такого понимания, какое необходимо, чтобы выяснить, скажем, отношение ребенка к родителям и учителям.

Теперь Руперт уже не удивлялся, зачем здесь столько книг и журналов и почему в отделе сотрудничают научные работники, а руководит ими Дж. Б. Лилл, владеющий несколькими языками и обширными познаниями в области культуры и жизни самых разных народов, стоящих на разных уровнях человеческого развития. Все это было необходимо для разведки.

— Видишь ли, Руперт,— произнес адмирал с неожиданно простодушной улыбкой,— ты будешь заниматься чем-то гораздо более значительным, чем простой шпионаж. Я ведь знаю, что́ у тебя на уме. Но ты должен преодолеть эти глупые предрассудки.

Руперт кивнул. Он оценил замысел адмирала и почувствовал его целесообразность. Руперт даже мог представить себя причастным к такому делу. Однако его не так-то легко было убедить в том, что он идеальный человек для подобной цели.

Но адмирал знал, с кем говорит.

— Ну что ж,— сказал он Руперту.— Я не требую, чтобы ты кидался в омут очертя голову. Если угодно, я пока все же зачислю тебя к нам в штат, а там видно будет.

— Не надо,— отказался Руперт.— Лучше я обдумаю свое решение, не состоя у вас в штате.

— Я ведь, в сущности, предлагаю тебе деньги. Ты же без работы?

— Да, но я как-нибудь обойдусь,— поспешно заверил его Руперт.

— Ну, смотри. Да это и не играет роли. Я ведь знаю: тебя интересуют не деньги. Да я и не хочу, чтобы ты относился к этому, как к службе. Надо, чтобы ты увлекся. Только тот, кто глубоко увлечен делом и видит всю важность нашей затеи, сможет быть нам полезен. Вот и все, что мне от тебя надо. Если ты такой, каким я тебя представляю, я уверен, что подобная работа придется тебе по душе. Ну, так как?

— Вы же знаете, адмирал, что у меня свои взгляды на работу.

— Мне они не помешают.

— Мне всегда казалось, что работа должна быть целесообразной. Человек должен приносить пользу.

— Конечно. А разве от того, что предлагаем мы, не будет пользы? На нашей работе тебе придется призвать на помощь все твои способности, все твои дарования. И пользоваться ими не от случая к случаю, а постоянно, все время,— подчеркнул он.

— Может быть,— с сомнением протянул Руперт.— Но какова все-таки конечная цель?

Адмирал Лилл смущенно опустил голову. Он понял, о чем его спрашивают, и задумчиво зашагал вдоль заставленных книгами стен.

— Видишь ли,— сказал он наконец,— я могу признать со всей откровенностью, что конечная цель такой разведки — подготовка одной страны к уничтожению другой. В наше время, в наш век война может привести только к этому. Ладно, допустим, что это так. Наверно, об этом ты и думаешь. Но я тебя спрашиваю: разве любой человек в нашей стране — все равно, работает ли он на заводе, учится ли в университете или обучает физике талантливую молодежь — не способствует в конечном счете достижению той же цели? Давай смотреть правде в лицо: мир в наши дни — это поединок разных общественных укладов и систем. Что бы мы ни делали, мы все равно участвуем в этом поединке. Мы против них; наш образ жизни против их образа жизни. Поединок социальных систем захлестывает не только жизнь всего человечества, но и жизнь отдельной личности. Следовательно, наша работа только выражение неизбежного раскола, происходящего в человеческом обществе. С этим, надеюсь, ты согласишься?

Руперт неуверенно молчал.

— Пожалуй... «Холодная война» ведь и в самом деле идет, что тут спорить!

— Возьми, например, твою работу. Почти все метеорологические исследования имеют военное значение, особенно твоя последняя работа в Арктике. Изучение верхних слоев атмосферы вблизи от полюса дает ключ к проблеме радиоактивных осадков.

— Верно.

— Тебя это смущало? Ты это считал нецелесообразным?

— Ничуть. Быть может, все это и в самом деле неотъемлемая часть общественного процесса. С такой постановкой вопроса я могу согласиться. Я не идиот, не пацифист и не политический недоумок. Я знаю, борьба идет острая.

— Значит, ты должен со мной согласиться, когда я говорю, что мы просто придаток нашего общества и пытаемся сделать то же, что и оно: выжить.

— Я не опровергаю общественной ценности работы разведчика,— сказал Руперт.— Она необходима. Но это не значит, что я хочу принимать в ней участие.

— А почему нет?

— Сам толком не знаю. Никому не хочется быть шпионом. Это естественное занятие во время войны, но оно дурно пахнет в мирное время.

— Какое же сейчас мирное время? Неужели ты этого не видишь? И к тому же тебе эта работа даст все, чего ты ищешь. Если ты к нам пойдешь, ты будешь жить, как человек совершенно независимый. Я знаю, что могу на тебя положиться, а ты сможешь до конца использовать все, что тебе дано от бога. И даже развить свои способности. Ведь говоря серьезно, ты, может быть, первый раз в жизни станешь полезным, активным членом общества.

Руперт рассмеялся.

— Послушать вас, все это звучит крайне соблазнительно! Но не надо преувеличивать.

— Нет. Я не преувеличиваю. Это самое увлекательное занятие, о котором может мечтать человек. Почти неограниченное поле деятельности: область, которую предстоит изучить, беспредельна, работе нет конца. Поверь, Руперт, как только ты научишься смотреть на людей и на страну глазами истинного разведчика, каким мы его себе мыслим, прощупывать ее кончиками стратегических нервов, ты никогда уже не бросишь этой работы. Все остальное покажется тебе скучным. Ты увидишь каждую страну, даже свою собственную, совсем в другом свете. Твоя восприимчивость необычайно возрастет. Уверяю тебя, это изумительная, высокоинтеллектуальная и очень нужная работа.

— Я вам верю,— сказал Руперт.— Но не думаю, чтобы из меня вышел ловкий шпион.

— Откуда ты знаешь, пока не попробовал?

— Дайте мне подумать.

— Тогда будем считать, что предварительно мы договорились,— сказал адмирал.

— Не ловите меня на слове,— возразил Руперт.— Позвольте сперва оглядеться, а потом я дам ответ. Я хочу посмотреть на все это своими глазами.

— Ну, а в принципе ты согласен?

— Что ж. Предположим...

— И если кто-нибудь из наших людей обратится к тебе в Москве с какой-нибудь просьбой, ты уж ему помоги. Тут ведь все важно, каждая мелочь.

— Постара́юсь,— не раздумывая, бросил Руперт.

— Отлично. Я рад, что ты теперь с нами, Руперт.

Руперт не был уверен, что он так уж целиком с ними. И тем не менее, когда после чая, за которым разговор перешел на семейные дела, Руперт вышел в парк, он вдруг, к своему удивлению, почувствовал: то, о чем говорил ему адмирал, занимает его мысли и щекочет воображение.

Ну что ж, может быть, дело это и в самом деле увлекательное.

Часть вторая

Глава двадцать третья

Они отплыли из лондонского порта на белом русском турбоэлектроходе «Балтика», и пока он отходил от пристани, Маевский, под аккомпанемент веселых маршей судового радио, кричал им снизу длинные напутствия. Джо, держа в руках большой букет, преподнесенный Маевским, косилась на русских матросов, русского капитана и русских стюардесс с опаской и подозрением, сомневаясь, сумеют ли они управиться с таким судном. Матросы глядели молодцами — все матросы всегда глядят молодцами,— но командный состав был совсем не похож на английский. Капитан и его помощники держались слишком просто — и не на английский манер просто, а на свой собственный, то есть как-то даже небрежно. Стюардессы опекали пассажиров по-родственному.

Джо заранее знала, что все здесь будет не по ней.

— Фу, как это старомодно! — сказала она, увидев, что койки завешены зелеными плюшевыми занавесками.

Им отвели три смежных каюты, и все на судне относились к Руперту с вниманием и интересом. Они взяли с собой Анджелину, без которой Джо не могла обойтись, и она спала с детьми в трехместной каюте. У Джо и Рупера была своя каюта, а кроме того, в их распоряжение предоставили еще одну, про запас.

— На случай, если мистер Ройс захочет отдохнуть,— сказал помощник капитана.

Как они не похожи на французских, итальянских, американских или английских моряков, думала Джо. Хотя на судне не было никакой суеты, и когда они вышли в море, могло показаться, что турбоэлектроход управляется сам собой, Джо никак не могла успокоиться.

— Ты лучше посмотри, какое красивое судно,— утешал ее Руперт.— Построили его в Голландии, но они хорошо его содержат.

— Чего-то здесь не хватает,— ворчала Джо.

Они миновали Копенгаген в воскресенье; зеленые шпили, пологие пляжи, красные крыши, маленькие яхты, бензохранилища компании «Эссо» — все дышало таким евро-

лейским комфортом, что Джо чуть не расплакалась: ведь это было их прощание с Европой. Ночью мимо них проплывали красные огоньки кораблей, бороздивших Балтику: советских траулеров, маленьких лесовозов с обрубленной кормой, турбоэлектрохода, точно такого, на каком находились они. Море было тихое, серое, северное. Но когда Джо увидела ленинградский порт — четко работающий, чистый, в то же время какой-то суровый, неприветливый, со зданиями, явно нуждающимися в покраске,— она вцепилась в рукав Руперта.

— Как все здесь мрачно,— шепнула она.

Русские женщины на палубе принялись махать платочками и перекликаться с теми, кто стоял на берегу; их счастливые звонкие голоса словно выражали радость избавления от непривычного, чуждого мира. Наконец-то они дома! Джо глядела вниз и, несмотря на веселую музыку маршей, твердо знала, что ей здесь не понравится.

— Мне это почему-то напоминает войну,— сказала она Руперту.

■

Алексей Водопьянов, его жена и четверо мужчин в длинных широких серых плащах встретили их в Москве, на Ленинградском вокзале. Руперт успел убедиться, что все его представления о России подтверждаются и одновременно опровергаются: легче всего было относиться к ней так, как требовал адмирал Лилл. Но Руперт почувствовал, что его уже влечет к этой стране.

Он очень обрадовался, увидев Алексея,— тот громогласно его приветствовал, с трудом ковыляя навстречу на негнущихся и все еще непослушных ногах. Он обнял Руперта, прижимаясь к нему шершавыми щеками и заливаясь смехом, словно это был самый счастливый день его жизни. Руперт слегка отстранился. Алексей снова сжал его в объятиях, приговаривая:

— Руперт, а, Руперт!.. Ну-ну-ну!

— Здравствуйте, Алексей,— сказал, наконец, Руперт.

Они стояли, разглядывая друг друга, и Руперт был поражен тем, что Алексей такой коренастый и приземистый. Потом он вспомнил, что никогда еще не видел Алексея на ногах. Его большое широкое лицо и копна черных непокорных волос, его могучие объятия свидетельствовали о том, что Алексей поправился, жизнь и дружелюбие били в нем ключом. На лацкане пиджака сверкали две Золотые Звезды, и Руперт удивился, что их две.

Алексей, позабыв обо всем, глядел Руперту в глаза и ожидал ответного изъявления чувств; но Руперт вдруг спохватился, что пора всех перезнакомить. Джо, дети, Анджелина, жена Алексея и его друзья молча стояли рядом.

— Джо,— поспешно сказал Руперт, беря ее за руку,— это Алексей Водопьянов.

Алексей с трудом сделал шаг вперед. Руперт заметил, что Джо в испуге отшатнулась, боясь, что ей грозят эти медвежьи объятия, но Алексей протянул ей руку.

— Здравствуйте! — воскликнул он.— Ах вот и они, ваши дети, Руперт! — Повернувшись к жене, он окликнул ее: — Нина!

Руперт только теперь разглядел хрупкую, привлекательную, но, как ему показалось, чересчур строгую и старомодно одетую молодую женщину, которая смотрела на него с таким откровенным любопытством, что он смутился. Она твердо, не по-женски пожала ему руку, да и в лице у нее не было и тени женского кокетства.

— Я рада с вами познакомиться,— серьезно сказала она, сдерживая волнение.

Она как-то неловко поцеловала детей и протянула Джо большой букет хризантем.

— Ну,—закричал Алексей и повернулся, словно вдруг вспомнив о своих обязанностях,— а это мои друзья. Саша! — позвал он, и вперед вышел самый рослый из его спутников. Алексей что-то произнес по-русски, потом, обняв одной рукой Сашу, добавил по-английски: — Это мой друг. Старый летчик нашего министерства, Александр Сергеевич Некрасов. Борис! — окликнул он и обнял второго.— Это тоже старый летчик, правда, не из нашего министерства, но все равно летчик, Борис Леонтьевич Горский. А вот тоже мой большой друг, знаменитый в Арктике человек: побывал со Шмидтом на льдине, да где только его не было! Тоже Борис — Борис Аполлонович Оржиноковский...

Руперт пожимал руки, чувствуя себя неловко оттого, что все на него смотрят. Сняв шляпы, русские поклонились Джо, и Руперт резко приказал сыну, словно мальчик пренебрег каким-то обрядом:

— Роланд, поздоровайся!

— Ну, вот,— сказал Алексей.— Пошли!..

— А багаж?..— начал было Руперт.

— Он позаботится,— Алексей показал на худощавого человека с зажатой в зубах папиросой.— Идемте же!

Водопьянов медленно двинулся вперед на своих негнущихся ногах, крепко взяв Руперта под руку; другой рукой он держался не то за одного из Борисов, не то за Сашу.

— Как вы себя чувствуете, Алексей? — вежливо спросил Руперт.

— Я приехал с самого Черного моря, чтобы вас встретить,— сообщил Водопьянов, сжимая ему руку.

— Неужели?

— Да, да! А теперь мы там будем с вами вместе,— радостно сообщил ему Алексей.

— Очень приятно,— пробормотал Руперт.

Они прошли еще несколько шагов, и у Водопьянова от напряжения лицо покрылось потом, на широких скулах отчетливо заходили желваки. Пришлось остановиться.

— Алексей! — вполголоса заботливо сказала Нина.— Ты бы здесь обождал. Можно подогнать машину поближе...

— Нет,— возразил Водопьянов.— Давайте пойдем.

Глава двадцать четвертая

Руперт без конца спорил с Джо о Москве, которая не понравилась им обоим, но по-разному. Их первое впечатление о Советской России было совсем не таким, какого ждал Руперт, но он считал, что непривлекательность чужой для них страны легко объяснить. Он чувствовал какое-то раздражение, что-то вроде желания поскорей отсюда сбежать. Джо, с самого начала настроенная недоброжелательно, утверждала, будто действительность превзошла ее худшие ожидания.

Они провели в Москве два дня. Гостиница «Метрополь» оказалась точь-в-точь такой, какой ее описывал Поль Пул; здесь еще царил дух прежней России. Потрепанная временем, пришедшая в ветхость, она казалась осколком старого мира.

Но Руперт приехал сюда не из-за Москвы и не ради Алексея Водопьянова.

Алексей радостно сообщил, что будет проводить с ними целые дни. Руперт догадался, что это русская манера проявлять гостеприимство. Когда он попробовал запротестовать, Алексей решил, что гость боится его утомить.

— Нет, нет, Руперт,— сказал он.— Я вас не оставлю.

Руперт чувствовал, что общество Алексея тяготит его не меньше, чем оно тяготит Джо. Их утомляла его безудержная жизнерадостность. Он ковылял на своих негнущихся ногах, и его Золотые Звезды мелодично позвякивали на лацкане пиджака. Стоило им остановиться на темной, отсвечивающей брусчатке и полюбоваться простором Красной площади, которая текла у кирпичных стен Кремля, исчезая внизу у реки, позади невероятной, фантастической церкви, как Водопьянова окружала толпа восхищенных зевак, которые сразу узнавали и его и Руперта.

— Английский герой,— говорили одни.

— Руперт Ройс,— поясняли другие.— Английский летчик, который спас Водопьянова на полюсе.

— Видите,— смеялся Водопьянов.— Вы настоящий советский герой. Вас тут каждый знает.

Алексей с его общительной натурой не только охотно вступал в разговоры, когда к нему обращались — он здесь был знаменитостью,— но радовался, что может втянуть в беседу и Руперта. Люди хлопали его по плечу и трясли ему руку, приговаривая:

— Желаю счастья, товарищ Ройс!

— Позвольте пожать руку нашему доброму другу и настоящему английскому джентльмену!

Уже через несколько часов, проведенных в обществе Алексея, Руперт содрогался при виде каждого нового человека; и хотя он был достаточно вежлив чтобы спокойно отвечать на рукопожатия и выражения дружеских чувств, к концу дня он сказал Джо:

— Мне, видно, будет здесь нелегко. Уж очень серьезно они относятся к своим героям.

Джо, со своей стороны, пожаловалась, что все это просто ужасно. Она провела день с Ниной Водопьяновой, и та ей действует на нервы. Между ними уже произошли стычки: Нина с чисто русским пылом пыталась увлечь Джо красотами Москвы, но они не произвели на англичанку никакого впечатления. Нина непременно хотела показать Джо картинную галерею, музей или сельскохозяйственную выставку.

— Ненавижу музеи,— заявила ей Джо.

— Но нашу Третьяковку знают во всем мире,— убеждала ее Нина.

— Никогда о ней не слыхала,— отрезала Джо.

Нина была поражена и перестала спорить.

Когда им понадобилось пересечь одну из главных улиц, Нина предупредила Джо, что надо обождать, пока не включат зеленый свет.

— Зачем вы мне это говорите! — воскликнула Джо.— Неужели вы думаете, что у нас в Англии нет светофоров?

— Я просто не знала, такие ли у вас порядки, как у нас,— ответила Нина.

Потом они поспорили о том, как одеты прохожие, о дворничихах подметавших улицы («Но у нас женщины работают»,— возражала Нина), и об автоматах с газированной водой, где стоял один стакан для общего пользования,— этого Нина Водопьянова

защищать не стала. Она вообще потеряла способность вежливо отвечать на замечания Джо, настолько они казались ей пристрастными. Джо не собиралась ни оскорблять, ни убеждать собеседницу. Но критические суждения англичанки, видимо, задевали Нину за живое, и она все больше и больше замыкалась в себе. К концу дня она стала держаться подчеркнуто сухо, избегала говорить о Москве, о своем народе и о советском общественном устройстве. Джо явно ее угнетала.

— Дело не только в том, что толпа какая-то серая,— жаловалась Джо Руперту, устало раздеваясь перед сном.— Но серость тут на редкость однообразная. Не удивительно, что мы ненавидим коммунизм. Интересно, как все это выглядело до их революции? Не верю, что было хуже. Ты видел, как все женщины куда-то торопятся?

Он видел то же, что и она, но его коробил не внешний вид людей, его раздражала огромность этого чересчур просторно раскинувшегося города. Тут были зеленые скверы, прелестные, усаженные деревьями проспекты и бульвары, но широкие, похожие на горные долины улицы и тяжеловесные в своей помпезности здания выглядели непривычно и непривлекательно. Он понимал, что требовать от незнакомого города уюта было слишком по-английски. Он понимал также, что массивность построек продиктована суровым северным климатом и характером этого северного народа.

— Вам нравится? — с гордостью спросил Алексей, когда они разглядывали высокие уступчатые башни нового университета.

— Очень красиво,— вежливо ответил Руперт.

— Там тридцать тысяч студентов! — сообщил Алексей.

— Могу себе представить.

— Хотите зайти посмотреть?

— Нет, нет,— поспешил отказаться Руперт.

Он напомнил себе, что приехал сюда осматривать развалины древних греческих поселений на Черном море, а не новый гигантский университет. Он приехал в Россию не для того, чтобы его ошеломляли чем бы то ни было — даже в интересах адмирала Лилла,— хотя и чувствовал, что поддается искушению.

— Тогда пойдем,— сказал Алексей, снова ухватив его под руку.

Руперт поморщился. Очень уж властной была железная хватка Водопьянова.

■

На следующее утро, не успели они опомниться после того, что было вчера, как Алексей уже снова явился к ним в ресторан «Метрополь», где они целый час прождали, пока подадут яйца всмятку. Тем временем Алексей занимал Джо рассказами, преимущественно об их с Рупертом совместной жизни на льдине, где Алексея ждала смерть, если бы Руперт не был таким решительным и храбрым.

— Хорошо жить на свете,— говорил он, дружелюбно обращаясь к Руперту за подтверждением.— Как видите, стоило пострадать, правда? Вот здорово, что все мы собрались здесь, в Москве.

Джо едва его слушала: она злилась, что приходится долго ждать завтрака, и больно шлепнула Тэсс, когда та захныкала. Тэсс, понимая, что с ней поступили несправедливо, с обидой посмотрела на отца. Руперт ласково покачал головой и сказал: «Ничего». Вчера вечером Тэсс пожаловалась, что у нее болит животик, но он болел у нее всегда, когда ей хотелось привлечь к себе внимание.

Не замечая, что тучи за столом сгущаются, Алексей объявил:

— Сегодня, Руперт, вам вручат Звезду. В двенадцать часов надо быть в Кремле.

— А где ваша жена? — поспешно спросил Руперт, боясь, как бы Джо не сказала какой-нибудь колкости.

— Она в институте. А тетка готовит дома обед. Сегодня вы обедаете у нас. Отпразднуем вашу Звезду.

— А как же дети? — спросила Джо: ей явно хотелось найти предлог, чтобы уклониться от приглашения.

— Детей мы, конечно, тоже возьмем.

■

В полдень Руперту вручили Золотую Звезду в одном из кремлевских залов, отделанном в белых и бледно-голубых тонах. Председатель Президиума Верховного Совета, имени которого Руперт не знал, сказал ему по-русски, что он смельчак и что советская страна чтит мужественных людей.

— Людям свойственно вести себя героически,— сказал он Руперту, сосредоточенно пришпиливая Звезду на лацкан его серого пиджака.— И не только ради своих близких, но и во имя человечества.

Он улыбнулся, пристально поглядел на Руперта своими темно-карими глазами и пожал ему руку.

Потом они чинно прошли по бледно-желтым коридорам и очутились на залитой солнцем площади, где светило летнее русское солнце, озаряя золотые луковицы кремлевских церквей.

■

Водопьяновы жили возле старого аэропорта, и министерская машина остановилась на посыпанном песком дворе, где какие-то мужчины без пиджаков играли в домино на деревянном столе под большим жестяным грибом. Начал накрапывать дождик, и они торопливо застучали костяшками, а когда дождь припустил, поднялись с веселыми криками, сгребли кости и побежали в дом.

— Трусы! — крикнул им вдогонку Алексей.

Шумная ватага игроков присоединилась в подъезде к Алексею, Руперту и его семье.

— Летчики! — с гордостью представил их Алексей. Он указал Руперту на маленького седого человека.— Вот этот облетел всю Антарктику. Встречался там с англичанами. Мы с ним большие друзья.

Руперт уже понимал, что он попал в общество арктических летчиков, где Алексея отлично знают и любят. Кто-то пожал Руперту руку, кто-то отпустил шутку; все смотрели на него с откровенным интересом и уважением, как люди, которые умеют ценить героизм.

Поднявшись по лестнице, они втиснулись в маленькую, тесную квартиру и расселись в небольшой комнате, которая служила одновременно кабинетом, гостиной и спальней. Нина Водопьянова в коричневом шелковом платье поздоровалась с ними с таким же радушием, как и с летчиками. Одетая непривычно для английского глаза, она казалась необычно хрупкой, но в ней чувствовался твердый характер, что как будто даже лишало ее женственности. Держалась она как-то настороженно. Это смущало Руперта, он пожалел Нину и решил предупредить Джо, чтобы та ее не задевала хотя бы преднамеренно.

Нина сообщила, что они пригласили десятилетнего племянника Сережу, чтобы составить компанию Роланду и Тэсс.

— Маша! — попросила Нина домработницу.— Пожалуйста, принесите вино.

Нина хотела представить гостям тетку Алексея, но тот, обняв старушку, прижал ее к себе и объяснил:

— Когда-то я от нее удирал, а она меня порола...

Он перевел ей свои слова, и ее морщинистое лицо расплылось в улыбке.

— Чего это ты срамишь меня перед гостями? Смотри, они еще тебе поверят!

Она заторопилась обратно на кухню, и Алексей закричал ей вслед:

— Но это ведь правда. Сама знаешь, что правда!..

Алексей поднимался по лестнице с трудом, а теперь с не меньшими усилиями передвигался по комнате, разливая водку и вино. Тэсс прижалась на диване к Джо и Анджелине, а Роланд удалился с Сережей на балкон, где они принялись фотографировать друг друга. Маша принесла горячие пирожки. Джо предложили на выбор мускат, портвейн или лимонад.

— Нет, нет, я хочу водки,— сказала Джо.

Алексей чокнулся с Рупертом, и все осушили рюмки со светлым, обжигающим рот напитком.

— Х-х-а! — вырвалось у них.

— Еще одну? — предложил Алексей Джо.

— Нет, спасибо.

Алексей ей все равно налил, но тут Тэсс шепнула матери, что хочет в уборную. На лице у Джо отразилось беспокойство: она усомнилась, есть ли в этой квартире уборная.

— Ты не можешь подождать? — спросила она шепотом.

Тэсс помотала головой, и Джо беспомощно взглянула на Руперта. Но Нина Водопьянова заметила эту немую сцену.

— Тэсс, пойдем со мной,— обратилась она к девочке и вместе с ней и Анджелиной вышла из комнаты.

— Вам нравится Россия, Руперт? — спросил Алексей, будто они не были все это время вместе.

— Да,— ответил Руперт.— Здесь очень интересно...

— Вы еще многое, многое увидите. Все, что захотите.

Заглянула тетка Алексея и что-то сказала ему по-русски. Алексей объявил:

— Ну, а теперь пойдем обедать.— Поднимаясь на ноги, он застонал.— Эх, Руперт, помните наши последние дни на льду? Я не забыл, как мы ели сырой ту птицу и я кашлял, давясь перьями.

■

Они уселись в соседней комнате вокруг накрытого стола, заставленного пирожками, фруктами, вином, тортами, всевозможными приправами, банками с икрой, блюдами с рыбой и холодным мясом, помидорами и огурцами, красным перцем и винегретом. Руперта поразило обилие еды. Тетка Алексея обвела руками стол.

— Дорогие гости! Милости просим,— сказала она.

Руперт любил икру и не стал возражать, когда тетка Алексея положила ему на тарелку целую ложку, а потом и другую, но когда она попыталась положить третью, он отвел ее руку. Джо от икры отказалась, но Нина все-таки положила ей икры, а также семги и осетрины с хреном. Алексей разлил водку, встал и провозгласил тост.

— Дорогие друзья,— сказал он,— сегодня у меня счастливый день. Мне так хотелось, чтобы Руперт побывал у меня дома в Москве и я мог поблагодарить его за то, что он спас мне жизнь. Правильно я говорю, Нина? — обратился он к жене.

— Да,— очень серьезно ответила она.— Правильно.

— Вы мне друг на всю жизнь, Руперт, что бы ни случилось! Я пью за вас, за вашу прекрасную семью и за нашу нерушимую дружбу.

Англичанин сидел молча с невозмутимым видом.

— Закусывайте,— распоряжался Алексей.— Нина, положи-ка Тэсс семги. Было время, мы с твоим папой отдали бы полжизни за какую-нибудь рыбку, правда, Руперт? Миссис Ройс, возьмите еще икры. Кушайте!

Все повеселели; Джо раскраснелась и стала подчеркнуто любезной с Ниной Водопьяновой, но та лишь еще больше замкнулась в себе.

Руперт и Алексей стали обмениваться тостами. Вежливость заставила Руперта подняться, и, поблагодарив Алексея, его жену и тетку за гостеприимство, он чинно предложил тост за их здоровье.

— За мир и дружбу! — провозгласил Алексей.

— Да,— ответил Руперт, чувствуя, как у него зашумело в голове.— За мир и дружбу.

Руперт догадывался, чего от него ждет Алексей. Но не хотел этого делать. Алексей надеялся, что он встанет, произнесет тост и выразит свои дружеские чувства к Советскому Союзу. Руперт не мог лицемерить. Он не имел права называть себя другом этой страны. Ведь по существу какой он ей друг? Такой тост был бы ложью. Он был другом Алексея и охотно пил за него, за его семью, за его друзей-летчиков, за их гостеприимство, но он не желал пить за тот прославленный новый мир, который был так дорог Алексею.

— За Лондон! — произнес Алексей.

— Хорошо! — мрачно буркнул Руперт и выпил за Лондон, но не ответил тостом за Москву. Он заупрямился и вдруг заметил, что Нина Водопьянова испытующе смотрит на него своими спокойными карими глазами — откровенно и чуточку грустно. Он понял, что в чем-то обманул ее ожидания. Неужели все русские женщины на нее похожи? Держатся на равной ноге с мужчинами и так не женственны? Эта мысль заставила его покраснеть. «Видно, я пуританин в душе»,— сказал он себе, разглядывая ее и пытаясь обнаружить в ней хоть что-то, возбуждающее мужской интерес. Лицо у нее было прелестное, но впечатление портил прямой, уверенный взгляд. Женщина должна быть податливой, но загадочной, думал он. Как Джо. Ее глаза должны намекать на какую-то сокровенную тайну.

— За детей вашей и нашей страны! — провозгласил Алексей последний тост.

— Да, за детей! — с некоторым вызовом ответил Руперт и выпил снова.

И тут Алексей сдался. Слегка пожав плечами, он громко расхохотался.

— Руперт, ну, до чего же вы типичный англичанин,— сказал он.— И все такой же. Такой, как на льдине. Ничуть не изменился. Ах, до чего же он англичанин,— повернулся Алексей к Джо.— До мозга костей. А я до мозга костей русский. Ничего, так или иначе, мы друзья до гроба.— Пошатываясь на своих больных ногах, он подошел к Руперту, обнял его, поерошил волосы Роланду.— Люблю англичан,— закончил он.— Чудесный народ, хладнокровный. До чего же хладнокровный...

И снова рассмеявшись, он вернулся на свое место и опять произнес тост за детей, но на этот раз с легким оттенком грусти, словно в его на редкость цельном мире появилась какая-то трещинка. Обед подошел к концу. Руперт так и не принял сердечный и цельный, но чуждый ему мир Алексея.

«Нет! Это не для меня»,— сказал он себе.

Глава двадцать пятая

Ройсы вернулись к себе в «Метрополь» часов в пять вечера. Там их ожидал молодой англичанин.

— Я друг Поля Пула,— сообщил он Руперту.— Не могли бы вы пойти прогуляться со мной?

— Сейчас?

— Да. Дело срочное.

Руперт нес на руках Тэсс — у нее снова болел животик; он поставил ее на пол и внимательно посмотрел злыми глазами на молодого англичанина. Тот был похож на прилежного студента — растрепанные волосы, очки, пиджак из твида. Таких молодых людей можно встретить на каждом шагу в коридорах английского политехнического института.

— Все ваши очень любят прогулки,— громко произнес Руперт.

— Что вы хотите этим сказать?

— Неважно. Пошли.

— Здесь есть садик...

— Опять в садик! — простонал Руперт и рассмеялся. Но этому серьезному молодому человеку было непонятно, что тут смешного.— Ладно. В садик так в садик. Как вас зовут?

— Колмен. Майкл Колмен.

— Хорошо, Колмен. Я пойду с вами гулять,— сказал Руперт с наигранной серьезностью.

Он поручил Тэсс передать матери, что ненадолго уходит, и, осторожно переступая со ступеньки на ступеньку, двинулся с Колменом вниз по старой, покрытой ковром лестнице; у него было ощущение, что он родился в Москве и прожил в этой гостинице долгие годы.

— Вы здесь давно? — спросил он молодого человека, когда они вышли на людную улицу.

— Недавно.

— Вы студент?

— Вроде.

Они замолчали. Колмен не хотел говорить, пока они не придут в сад, и Руперт посмеивался в душе, вспоминая Олега Хансена, американского агента в Лондоне. Какая поразительная выучка! Да, не зря, видно, сажают в городах сады, у них есть свое предназначение.

Воскресный день еще не кончился. Московская толпа несла их по тротуару через широкую горловину Красной площади прямо в сад, где вилась очередь длиной в километр — к Мавзолею.

Колмен молча шел, подняв брови, чтобы очки меньше давили на переносицу.

Руперт подумал: ну, совсем как Хансен. Отчего все они такие напыщенные? Этот, кажется, моложе Хансена, а выглядит еще большим фанатиком и к тому же не умеет делать беспечный вид, как американец. Неужели это один из экспертов адмирала Лилла, стратег тайной дипломатии, умеющий безошибочно разбираться в самых сложных вопросах чужой психологии? Руперт даже улыбнулся. «Он слишком молод и наверняка слишком невежествен»,— решил он про себя.

— Мне некогда,— сказал он.— Вечером мы уезжаем на Черное море.

— Знаю. Вот почему я и не хотел откладывать нашу встречу.

Они подошли к скамейке в дальнем конце сада. За спиной у них возвышалась массивная кирпичная стена Кремля. С одной стороны на куче песка играли дети в матросских шапочках, длинных чулках и черных ботинках; с другой — продавщица мороженого в белом халате и белой наколке устанавливала свой синий ящик и глядела на них во все глаза. Может, она следила за ними?

— Отсюда ей нас не услышать,— заверил Колмен, заметив, что Руперт пристально глядит на мороженщицу.

Руперт подумал, что на него все еще действует водка и поэтому он плохо соображает. Зачем он уставился на мороженщицу?

— Ладно, в чем дело? — Он хотел задать вопрос деловым тоном, но голос его прозвучал резко.

Теперь, когда они благополучно укрылись в саду, Колмен как будто немного оттаял.

— Вы обратили внимание, как много молодежи в очереди к Мавзолею? — спросил он Руперта.

— Нет.

— Обычно в очередях главным образом пожилые. Но теперь здесь повсюду видишь все больше и больше молодых лиц. Это подрастает поколение сорок пятого года. Вероятно, в тот год у них родилось особенно много детей,— глубокомысленно заметил Колмен.

— Как и везде,— сказал Руперт.

— Вероятно. Что касается меня, я родился в день, когда началась война.

— Да ну?

— Правда,— подтвердил Колмен, изучая Руперта внимательным взглядом. По-видимому, он остался доволен осмотром и, достав из кармана конверт, вынул из него маленькую карту.— Это Черное море,— пояснил он.

— Вижу.

— Понимаете, мистер Ройс,— сказал, переводя дух, Колмен,— мы хотели бы, чтобы вы понаблюдали вот в этих местах.— Он обвел карандашом несколько пунктов на карте.

Руперт вздохнул, он слушал рассеянно.

— Ну, и что же я должен для вас там высмотреть? — бросил он иронически.

— Прежде всего нам надо знать, какие районы считаются закрытыми. Великолепная идея — интерес к древнегреческим поселениям! Жаль, что она не пришла в голову кому-нибудь из наших ребят. Но, пожалуй, справитесь и вы.

— Вы думаете? — сонно спросил его Руперт· но тут же встряхнулся:— Чего же вы от меня хотите?

— О деталях потом,— произнес Колмен, искоса наблюдая за мороженщицей.— Главное, что вы побываете на Черном море в таких местах, куда с самой войны не пускали ни одного иностранца. Греческие колонии были рассеяны по всему побережью.— Он ткнул карандашом в карту.— Я выяснил это в справочниках.

— Ну и что?

— Нас интересуют там три вещи, которые, в общем, сводятся к одному и тому же. Во-первых, закрытые районы, где всегда расположено что-то секретное. Во-вторых, радиолокационные станции. В-третьих, и это важнее всего, их система раннего предупреждения. Мы знаем, что радиолокационные станции разбросаны по всему Крыму, но нам надо уточнить, в каких пунктах они находятся, и, в частности, выяснить все, что касается системы раннего предупреждения.

— Знаете,— начал Руперт,— я ведь здесь гость...

— Подумаешь! — прервал его Колмен.— Пусть это вас не беспокоит, мистер Ройс. Не забудьте, что они делают то же самое. Это в порядке вещей. Все отлично знают, что разведкой занимаются по мере сил обе стороны.

На миг Руперт почувствовал возмущение, но, взглянув на сосредоточенное лицо молодого англичанина, решил, что тот, наверно, прав. Так же, как и адмирал Лилл. Конечно же, занимаются все, под любой маской. Это игра без правил. И разве она не является логическим продолжением соперничества капитализма с коммунизмом?

— Значит и в ы т о ж е этим занимаетесь? — поинтересовался он, глядя на Колмена с возрастающим интересом.

— О таких вещах не следует спрашивать. Но зачем бы иначе я стал вести с вами подобный разговор?

— Ладно, ладно. Понимаю.

— Пускай вас этот вопрос не мучает,— ласково продолжал Колмен.— Каждому из нас сперва бывает не по себе. Но вы находитесь в выгодном положении. Все дело в том, чтобы добыть самые полные сведения или, вернее, как можно более полные. Все, что вы заметите, вы должны очень точно привязать к местности. Лучше ничего не наносить на карту или наносить так, чтобы они не могли вас уличить, если обыщут ваши вещи. Однако точность прежде всего.

— Постойте,— прервал его Руперт,— но ведь я не специалист по части шпионажа.

Молодой человек усмехнулся.

— Это вообще не специальность. Лучше всего заниматься таким делом в порядке импровизации. Хватаешь, что можно и где можно. Вот и все уменье. Пусть вас не беспокоит, что вы не специалист, мистер Ройс, у вас такой опыт, что вы будете полезнее многих других; только не волнуйтесь.

— А я и не волнуюсь,— с раздражением сказал Руперт; он начинал терять чувство юмора, и у него появилось подозрение, что все это в конце концов вовсе не шутка.

— Тогда в чем же дело? Вы вообще не хотите этим заниматься? — спросил Колмен без особого удивления.

— Может, и не хочу,— задумчиво произнес Руперт.— Не понимаю, почему вы рассчитываете на меня.

— Нам крайне нужны эти сведения,— пожал плечами Колмен.— А у вас отличная возможность побывать в тех местах, куда не может попасть никто другой. Не станете же вы отказываться?

Руперт молча изучал Колмена, стараясь понять, что́ он собой представляет. Так ничего и не поняв, он оставил это намерение, подумал о себе, подумал о Лилле, посмотрел на мороженщицу и на людей, стоявших между цветочными клумбами в очереди к Мавзолею, спросил себя, что они для него значат, и пришел к выводу: «Ничего не значат». Это убедило его, что Колмен прав. И адмирал Лилл тоже прав. Конечно, ему не следует отказываться, но хотелось бы, чтобы в голове у него было яснее, а на душе спокойнее. Надо взять себе за правило никогда больше не пить водки...

— Нет, я не отказываюсь,— сказал он.— Продолжайте. Я сделаю все, что смогу.

— Нам н е о б х о д и м о знать их систему предупреждения. Мы совершенно уверены, что она существует где-то на побережье Черного моря, скорее всего в Крыму. Вы ведь знаете, как выглядят радиолокационные антенны...— Руперт кивнул: ему вспомнилось Туле, там он их видел.— Если вы заметите оживление на дорогах, ведущих к закрытым районам, будьте начеку. О многом, например, говорят грузовики с баллонами жидкого кислорода. В горах возле Севастополя могут находиться и ракетные установки, но скорее всего там станция раннего предупреждения. Район Севастополя подходит для этого больше всего, так что понаблюдайте там повнимательнее за всем, что вам покажется подозрительным, а также за закрытыми районами в окрестностях города.

— Не знаю, попаду ли я в Севастополь.

— Уверен, что попадете, стоит вам только захотеть. Будьте очень осторожны,— предостерег его Колмен.— Мне, конечно, нечего вас об этом предупреждать. Но в своих пограничных районах они шутить не любят. Там у них прожекторы, посты и так

далее. Черное море — плохое море, слишком мелкое для ближней разведки с подводных лодок или кораблей. Хорошо, если бы вы смогли прокатиться на катере. Вам, быть может, удастся засечь радиолокационные маяки.

— А что мне делать со всеми этими ценными сведениями, если я их раздобуду? — все еще слегка насмешливо спросил Руперт.

— Когда вернетесь домой, передадите их Полю Пулу.

— Идет,— покорился Руперт,— сделаю, что смогу.

Они поднялись со скамейки, и юный Колмен ободряюще взял его под руку.

— Вот и прекрасно. Вы здесь знаменитость, и они вам ни в чем не откажут. Пользуйтесь этим вовсю.

Руперт взглянул на мороженщицу, которая снова смотрела на них в упор.

— Значит, я могу на вас положиться? — серьезно спросил студент.

— Я же сказал: сделаю, что смогу...

— Хотите мороженого? — Колмен позволил себе, наконец, улыбнуться.

— Нет, спасибо.

Он почувствовал отвращение при одной мысли о еде.

— А я хочу,— заявил Колмен.

Молодой человек подошел к продавщице и, пристально поглядев на нее, купил порцию мороженого. Он уже собирался отойти, но женщина ему что-то сказала, а затем обратилась по-русски к Руперту. Однако затуманенный мозг Руперта совсем не воспринимал сейчас русской речи.

— Что она говорит? — обратился он к Колмену.

— Она говорит, что узнала английского героя, который спас в Арктике русского летчика Водопьянова. Предлагает вам порцию мороженого бесплатно.

Женщина протягивала кирпичик мороженого и улыбнулась, показав золотые зубы, блеснувшие в лучах вечернего солнца,— женщина из другого мира.

— Большое спасибо,— сказал Руперт и взял мороженое.

Он понял, что она узнала его по Звезде на лацкане пиджака, и поспешил отойти, а она все что-то говорила ему вслед.

— Что за странный народ! — вздохнул Колмен.— Пожалуй, я не буду вас провожать. Мне надо в другую сторону. Попрощаемся.

Минуту они постояли возле очереди в Мавзолей, кивнули друг другу и разошлись. Проходивший мимо милиционер в синей форме внимательно посмотрел на Руперта, и тот опять вспомнил про свою Звезду. На ходу он нащупал ее свободной рукой, снял и положил в карман. Ему стало чуточку легче на душе. Не его вина, что его наградили Золотой Звездой.

«На кой черт мне это сдалось?» — спрашивал он себя, держа таявшее мороженое подальше от брюк.

Он уже пересекал широкую улицу, которая вела на Красную площадь, когда кто-то схватил его за плечо. Руперт вздрогнул.

— Простите! — Это был Колмен.— Я забыл вам кое-что передать.

— Боже, ну и напугали вы меня,— вырвалось у Руперта; мороженое он уронил.

Колмен сунул что-то Руперту в карман.

— Что это?

— Ручка с симпатическими чернилами.

Руперт уже потерял способность удивляться или шутить.

— Зачем она мне? — спросил он.

— Пригодится. Ею можно писать и рисовать на чем угодно, кроме пластмассы. Такие чернила невозможно обнаружить.

— Как же их потом проявить?

— Сам не знаю. И никто не знает, кроме одного человека, там, у нас. В этом-то и фокус. Все, что зарисуете и запишете, отдадите Полю Пулу. Он передаст дальше. Ну, всего...

Глава двадцать шестая

Водопьянов упорно держался на ногах двое суток, которые заняло их путешествие к Черному морю, а когда они приехали, свалился без сознания.

В дороге он спускался с высоких ступенек вагона чуть не на каждой станции; почти все пассажиры длинного поезда вылезали на остановках. Алексей возвращался с русскими лакомствами: неведомыми ягодами, солеными огурцами, крутыми яйцами, жареной курицей, раками, бутылками лимонада и пирожками с повидлом. По мнению Джо, все это было совершенно несъедобно. Непривычная пища вызывала у нее отвращение.

Руперт слушал Водопьянова и смотрел в окно на бесконечные дали, на проносившиеся мимо длинные бурые вереницы товарных вагонов, телефонные провода, крестьянские телеги, на женщин, работавших в поле, девчонок с веселыми и смышленными лицами, собиравших землянику вдоль железнодорожного полотна, мальчишек, пасших белых гусей, на глиняные деревни, глиняные поселки, на темные небеса.

Он еще ни в чем не мог разобраться, но после двухдневного путешествия уже

понимал, что́ имел в виду Лилл, уверяя, будто в России есть какая-то волнующая сила. Да, эта страна завораживает.

— Вам нравится Россия, Руперт? — чуть не каждый час спрашивал Водопьянов.

— Здесь очень интересно,— без особой убежденности отвечал Руперт.

■

На третий день утром они прибыли на станцию Гагра, поезд остановился у самой кромки молочно-белого черноморского прибоя; в десять часов уже было жарко. Они поспешили выбраться на перрон и вынести чемоданы, так как поезд стоял всего несколько минут. Их встретила Нина Водопьянова — она вылетела из Москвы самолетом, чтобы успеть все подготовить,— и еще какие-то люди. В этот момент, Алексей, благополучно доставивший своих гостей к месту назначения, вдруг пошатнулся и медленно повалился набок, словно корабль, идущий ко дну в просторах синего моря.

— Алексей! — в ужасе закричала Нина.

К ним бросились люди, которые пришли вместе с ней. Нина мгновенно взяла себя в руки. Одного из своих спутников она послала позвонить в санаторий.

— Алеша! — крикнула она другому.— Вызови «скорую помощь»!

— Сейчас позвоню,— сказал он.

— Нет. Садись в машину и поезжай за ними. Скажи, что вызывают к Водопьянову.— Кругом собрались люди, и она на них прикрикнула:— Товарищи, разойдитесь. Не толпитесь, пожалуйста.— Джо, Анджелине и детям она приказала:— Вам надо стать в тень. Пожалуйста, пройдите вон туда. Вы тоже, мистер Ройс. Я обо всем позабочусь сама. Пожалуйста...

Руперт пытался возражать — он считал себя виноватым в том, что произошло с Алексеем. Тот лежал желтый, обмякший, безжизненный. Силы явно покидали его, дыхание становилось все медленнее...

— Я так и знала, что это случится,— с горечью приговаривала по-русски Нина, подкладывая ему под голову чемоданчик, в то время как Руперт укладывал поудобней ему ноги,— так и знала,— страдальчески повторяла она.

— Я ужасно огорчен...— сетовал Руперт.

— Вы не виноваты,— прервала его Нина, сердито сверкнув глазами.— Это наша вина, моя и его. Вам незачем здесь ждать. Вы наши гости. Поезжайте с женой к себе. Анатолий Леонтьевич!..— позвала она одного из спутников.— Отвезите их на дачу. Прошу вас, мистер Ройс! Не ждите нас. Мы отправим его в санаторий.

Но Руперт, продолжая колебаться, не трогался с места.

— Вы все равно ничем не можете помочь,— настаивала Нина.

Он понял, что видит сейчас какую-то другую Нину Водопьянову. Вся ее хрупкость была мнимой, и если она позволяла Джо помыкать собою в Москве, сейчас в это трудно было поверить. Она смотрела на него твердым, ясным взглядом, в котором ему чудилось недоверие, а может быть, и неприязнь.

— Прошу, вас, ступайте с Анатолием Леонтьевичем,— повторила она.

Это была просьба, но Руперт услышал в звонком русском голосе Нины властную нотку.

■

Им предоставили небольшую белую дачу с дощатым крашеным полом, просторной низкой верандой и садом, где росли деревья, цветы и овощи, а вдоль деревянного забора выстроились в ряд кипарисы. Высокая раскидистая ива почти закрывала одну сторону дачи и по утрам загораживала ее от солнца. Она шелестела на вечернем ветру, а под ней приютилась белая сторожка, где жила кривая сторожиха тетя Марфуша.

Чтобы добраться до белого, покрытого галькой пляжа, им надо было пересечь железнодорожную линию, спуститься по короткой извилистой тропке, перебраться через шоссе — и тогда открывалось море.

Алексей пришел в сознание; он находился наверху, на горе, в санатории, откуда приезжал их встречать; теперь он был снова прикован к постели и лежал на спине, не двигаясь. Ему лучше, сообщила Нина, но его еще нельзя навещать. Больше она ничего не рассказывала. Сейчас, когда Алексей опять слег, Нина уже не робела и не отступала в тень — оказалось, что она женщина решительная, с твердым характером; она свято выполняла свои обязанности по отношению к гостям, но, как подметил Руперт, относилась к ним с легким оттенком разочарования и недоверия.

Он это понял, когда чуть-чуть виновато попытался наладить с ней отношения. Он доложил ей, что Роланд чувствует себя как дома. В первый день пяток наголо остриженных ребятишек разного возраста, детей местных жителей, подглядывали за его сыном с той стороны забора; потом они перемахнули в сад. Увидев это своим единственным свирепым оком, тетя Марфуша хотела их прогнать, но Руперт ей не позволил. Теперь Роланд куда-то с ними исчез, а время подходило к обеду.

— Он быстро нашел себе приятелей,— примирительно подытожил Руперт свой рассказ.— Это хорошо.

— Да, у детей нет предрассудков,— с ударением произнесла Нина.

■

Отношения между ними складывались натянутые, обостряясь взаимными обидами.

— Надо посадить Тэсс на диету,— сказала Нина Джо, узнав, что у ребенка болит животик.— Я вызову врача.

— Я сама знаю, что́ ей нужно,— резко возразила Джо.— И не желаю никакого врача.

— А все-таки будьте осторожны,— настаивала Нина.

— Неужели вы думаете, что я не буду осторожна, когда речь идет о моих детях,— оборвала ее Джо.

Нина покраснела, а Руперт, поняв, что между женщинами назревает конфликт, попытался разрядить атмосферу.

Джо заявила Нине, что никогда не полюбит Россию и что все здесь плохо. Но у Джо было необыкновенное умение видеть все в плохом свете.

Руперт спрашивал себя, долго ли еще жена будет капризничать; он предчувствовал, что, если так пойдет дальше, они не проживут в Советском Союзе не только месяца, но даже и недели.

Вдобавок Тэсс стало хуже. Вечером у нее сделался жар, она жаловалась, что болит в левом боку и она не может стоять. Нина Водопьянова в темноте бросилась бегом через железнодорожное полотно за санаторным врачом. Врач — молодая женщина — пришла, с трудом переводя дыхание: видно, тоже бежала. Она осмотрела Тэсс и сказала, что у нее, вероятно, легкий колит и что надо посадить ее на строгую диету: рис и чай. Джо выслу́шала врача недоверчиво, а когда она ушла, заявила:

— Это вовсе не колит. Это дизентерия. Я в этом уверена.

— Что вы! — испугалась Нина.— Не может быть.

— Ну да, еще как может. Едим бог знает что. А мух сколько!

Действительно, мух на веранде было много.

— Завтра вечером нас ожидают в Тбилиси,— вполголоса сообщила Нина Водопьянова Руперту, когда в конце этого томительного дня они на минутку остались одни на веранде.— Но если Тэсс больна...

— Кто сказал, что мы поедем в Тбилиси? — изумился Руперт.

— Вас и вашу семью приглашают ученые, специалисты по древней Греции.

— Но я ничего об этом не знал,— воскликнул он с возмущением.— Ведь я же предупреждал, что не желаю встречаться с вашими учеными.

— Но вас приглашают!

— А когда же я увижу греческие поселения, ради которых приехал? — спросил он.

Его раздражало, что она так носится со своим чувством долга и навязывает его другим. По-видимому, посещение Тбилиси было его долгом как туриста и гостя этой страны.

— Но это замечательные люди. И они так вами восхищаются!

— Слишком многим они восхищаются — впрочем, как и все тут у вас,— воскликнул он в сердцах и сразу же пожалел о сказанном, потому что прозвучало это грубо. Но она сама вызвала его на грубость.— А что, собственно, представляет собой Тбилиси? — попытался он загладить неловкость.

— Красивый город, столица Грузии. Неужели вам не интересно посмотреть Тбилиси? На весь Союз славится.

— Ладно,— сухо сказал он.— Но когда я все-таки увижу греческие поселения? Могу я это узнать?

— Как только вернемся,— твердо заявила она.— Это входит в нашу программу. Только бы Тэсс не расхворалась...

■

Тэсс поправилась, и Руперт, несмотря на дурные предчувствия, убедил Джо поехать в Тбилиси — ему все же захотелось посмотреть этот прославленный город. Он думал и о Роланде; мальчику полезно повидать как можно больше. К его удивлению, Джо согласилась. Ей не сиделось на месте.

Они снова ехали поездом целую ночь, а утром, в жару, на тбилисском вокзале их встретила группа смуглых мужчин, в белых просторных костюмах, и чернобровых, черноглазых женщин с букетами цветов. В группе встречающих выделялся крупный человек с копной черных волос, напоминавший тигра на привязи; его представили Руперту, как знаменитого антрополога. Англичан отвезли в крытых машинах в большое здание на горе, где женщины в белых накрахмаленных халатах отвели им красивые комнаты с просторными деревянными верандами, откуда открывался ошеломляющий вид на сумрачные предгорья Кавказа.

— Какая красота! Просто рай земной,— воскликнула Джо, выходя на веранду и глядя вниз на большой фруктовый сад, где росли яблони и персиковые деревья.

Нина объяснила, что это дом отдыха для гостей грузинского правительства.

— Слава богу, что мы гости правительства,— весело сказала Джо.— Мне здесь нравится.

Руперт спроси́л, как долго они здесь пробудут.

— Если вы не против — неделю,— ответила Нина.

— Неделю! Вы меня просто удивляете,— возмутился Руперт.— Вам отлично известно, что я не могу задержаться здесь на целую неделю.— Он едва владел собой.— Я не для этого приехал в Россию.

— Они будут очень огорчены, если вы уедете раньше,— упрямо возразила Нина.

— Значит, придется их огорчить. Неделю!..

Нина была обижена и отказывалась его понимать.

— Разве вам здесь не нравится? Ваша жена...

— Нравится, но я приехал в Россию не для этого. Мы можем пробыть здесь до завтрашнего вечера. Это крайний срок.

— Не понимаю.— Нина взглянула на Руперта, но увидев, что он непреклонен, слегка пожала плечами.— Ну что же, тогда я им позвоню. Они будут расстроены,— повторила она и пошла к телефону.

Детей оставили внизу с Анджелиной. Они звали Джо в сад: шеф-повар в накрахмаленном белом колпаке достал им из ящика под кухней целый выводок щенят.

— Какие они миленькие! — восхищалась Тэсс.

Внезапно она вскрикнула от боли. Руперт и Джо сбежали по лестнице в сад. Анджелина уже держала Тэсс на руках. Лицо девочки было искажено от боли, она схватилась ручкою за бок.

■

Случилось то, чего так боялся Руперт: Джо заявила, что Тэсс надо везти домой.

— Ты уверена, что это необходимо? — спросил он жену.— Зачем такие крайние меры?

— Она подцепила здесь какую-то гадость,— отчаивалась Джо.— Неужели ты хочешь положить ее в русскую больницу?

Они стояли на широкой веранде. Грузинское солнце пекло им спины, а внизу Роланд и Анджелина играли со щенками. Шофер стирал мягкую серую пыль со сверкающей черной машины. Нина Водопьянова, подавленная тем, что́ произошло, тоскливо бродила среди яблонь, не обращая внимания на тучки пыли, оседавшие ей на туфли. Под яблонями кое-где росли желтые полевые цветы, она наклонилась, сорвала цветок и замерла, держа его в руке. Руперту захотелось увидеть ее лицо. Что она, замечталась? Или, стиснув зубы, готовится к исполнению своих теперь уже неприятных обязанностей?

— Если ты считаешь, что надо ехать домой, ничего не поделаешь,— покорился Руперт.— Поедем.

— Т е б е ехать незачем,— резко возразила она.— Я отлично вижу, что тебе не хочется уезжать.

— Я приехал сюда с определенной целью и хотел бы довести дело до конца.

— А как мы поступим с Роландом?

— Пусть он останется, Джо. Ему полезно посмотреть новые места.

Со смешанным чувством тревоги и досады на самое себя Джо взяла его под руку.

— Прости меня, Руперт,— сказала она.— Я хотела, чтобы мне здесь понравилось. Правда хотела. Но ничего не могу с собой поделать. А Тэсс меня действительно беспокоит.

— Понимаю,— ласково произнес он.— Постараюсь сократить поездку насколько возможно и поскорее вернуться домой.

— Не надо. В этом нет никакой необходимости.

— Я и сам не скажу, что мне здесь нравится,— заметил он.— Но мне все же хотелось бы посмотреть эти греческие раскопки. А потом я вернусь.

— Ты ей скажешь? Ты с ней ладишь лучше, чем я.

— Хорошо,— согласился он.— Надеюсь, что она не воспримет это как личное оскорбление. И почему, черт возьми, русские все принимают на свой счет?

■

Сперва Нина Водопьянова промолчала. Потом, кивнула. Да, ей все понятно.

— Что ж,— пробормотала она примирительно, но тут же добавила с огорчением:— Ах, как это обидно. Ваша поездка только началась. Наши врачи вылечили бы Тэсс. У нас отличные врачи. Мы приставили бы к ней сестру.

— Знаете, с больным ребенком всегда столько волнений,— мягко возразил Руперт.— Да и детям лучше хворать у себя дома.

— А вы не могли бы уговорить жену задержаться хотя бы на недельку?

— Вряд ли. Если мы завтра вернемся в Гагру, Джо сразу же сможет сесть на московский самолет. Может быть, вам удастся устроить так, чтобы в Москве ей не пришлось долго ждать лондонского самолета.

— Конечно, но...

— Значит, вы все устроите?

Нина Водопьянова печально кивнула.

— Как обидно,— удрученно повторила она, и Руперт снова почувствовал к ней жалость.

Чтобы сгладить неприятное впечатление, он согласился пойти на ужин, который устраивали в его честь грузинские ученые. Остаток дня он осматривал город, который грузины называли вторым Парижем.

Парижем, как ему показалось, здесь и не пахло. Правда, были усаженные деревьями бульвары, но все они вели в гору; текла река, но это был мутный стремительный горный поток. У Тбилиси было свое очарование, но это было очарование южного города, раскинувшегося среди высоких гор и просторных сумеречных долин под блекло-голубым небом. Здешние черноглазые люди с сочными губами ничем не походили на усталых обитателей Парижа. Не было в них ничего и от деловитых парижских коммерсантов. В грузинах чувствовалась беспечная легкость, даже ветреность и горячий темперамент, которого не в силах охладить даже старческая немощь.

Руперт обратил внимание на то, как его новые грузинские знакомые относятся к Нине. Она была среди них единственной русской; они держались с ней неизменно вежливо, некоторые — галантно, но все же иначе, чем со своими соотечественницами.

Руперт вспомнил адмирала Лилла и полученное от него задание. Такие наблюдения представляли интерес и для самого Руперта. Но сейчас, подметив неуловимую отчужденность между грузинами и своей спутницей, он вдруг понял, что с самого приезда внутренне сопротивляется адмиралу, не желая становиться его соглядатаем.

Ему вовсе не хотелось смотреть на эту страну чужими глазами. Он пытался сохранить независимость и цельность собственных суждений, и до сих пор ему это удавалось. Но поручение Лилла оказалось куда более коварным, чем Руперт предполагал. Ему уже нелегко было смотреть на русских иначе, чем этого хотел адмирал,— слежка исподтишка и ее зловещая цель щекотали нервы. Любопытно было определять двигательные пружины, направляющие жизнь этой незнакомой страны, уяснить себе, в чем ее люди черпают силу и в чем их уязвимые места, каковы их слабости. Все, что он здесь подметит, могло стать ценнейшим подтверждением или опровержением надежды выиграть величайшее соревнование в мировой истории. И все же, как бы ни увлекательны были подобные наблюдения сами по себе, они неизбежно подводили к вопросу: смеет ли человек самоустраниться от борьбы двух враждебных миров, сталкивающихся друг с другом с такой грозной силой? Ответ явно гласил: «Нет». Разве можно укрыться от грядущего взрыва?

И Руперт поневоле превращался в глаза и уши Лилла, стараясь уловить и запомнить хотя бы отрывочные сведения, которые могли пригодиться адмиралу.

— Не надо расстраиваться,— сказала Нина, когда он предавался этим мрачным размышлениям.— Тэсс поправится.

— Да, конечно,— поторопился он ответить.

Они ехали в машине. Его поймали на тревожном раздумье, хотя тревожился он не о Тэсс. Руперт пристально посмотрел на свою спутницу: с некоторых пор у него появилась привычка ее разглядывать. Не прочитала ли она чего-нибудь на его лице? Не зародилось ли у нее каких-нибудь подозрений более глубоких, чем то непонятное разочарование в нем, которого она не могла скрыть?

Руперту неприятно было чувствовать себя виноватым перед Ниной Водопьяновой.

— Алексей мне правду рассказывал: вы часто погружаетесь в свои мысли и ничего вокруг не слышите,— заметила она.— Простите, если я помешала.

■

Вечером они ужинали высоко в горах, в местечке под названием Ценети. Тбилиси сверкал, как звездная пыль, далеко внизу в глубокой горной долине. В вышине голубели одетые снегом пики кавказских гор.

На открытой веранде небольшой дачи стоял стол, ломившийся от еды, и один из гостей, автор древнегреческого словаря, пел грузинскую народную песню. Преподаватель английского по имени Нико напевал вполголоса ее перевод на ухо Руперту; по его словам, это была песнь грузинского воина, плененного персами.

Затем хозяева предложили спеть Руперту. Он взглянул на Нину. Она чувствовала себя здесь одиноко, как и он,— их обоих закружило, словно щепки, в этом бурном грузинском море, и он ощутил к ней теплое чувство сродства. Но что он мог спеть? Ведь не споешь же у подножья этих гор, под этим небом какую-нибудь пошлую песенку?

— Нет,— сказал он.— Я не умею петь.

— Мы вас просим! — горячо убеждал его Нико.

— Английские песни не подходят к вашим горам.

— Но мы любим Шекспира! — кричал Нико.

Он запел по-английски, а гитарист подхватил мелодию, словно она была ему хорошо знакома:

Буду я среди лугов
Пить, как пчелы, сок цветов,
Ночью лютик даст мне кров...
Радостной, радостной жизнью свободы
Буду я жить средь цветущей природы

Руперт почувствовал, как его английское сердце дрогнуло. На какое-то мгновение любовь к родине затопила его согретую вином душу, и прелесть старой английской песни чуть не заставила его забыть привычную сдержанность. За всю свою жизнь Руперт еще никогда не ощущал себя до такой степени англичанином. Почему? Этого он и сам не понимал.

Похожий на тигра профессор, который был томадой, послал Руперту рог. Тот нехотя встал, взглянул на Нину Водопьянову и начал:

— Я чувствую себя здесь самозванцем...

Нина опустила голову; он не сводил с нее глаз.

— Ведь я не знаток греческой культуры...

— Ничего! — хором закричали все.— Зато вы наш друг!

— ...и уж совсем ничего не знал о Грузии, пока сюда не приехал. Вероятно, я бы вообще не приехал, если бы меня не уговорила миссис Водопьянова...

«Браво!» — закричали они, а Руперт пытался определить, доставил ли он ей своими словами хоть каплю удовольствия, сгладил ли те неприятности, которые ей причинил. Но она не подняла головы, и он решил, что, вероятно, грузинское вино (он выпил его уже больше двух литров) располагает к сентиментальности,— так ему вдруг захотелось, чтобы Нина взглянула на него своими ясными глазами и дала понять, что радуется его желанию помириться с ней.

Однако она все не поднимала глаз, и он кратко сказал, что был счастлив посетить Грузию, огорчен, что так быстро должен уехать и надеется когда-нибудь вернуться.

— Добро пожаловать! Добро пожаловать! — дружно приветствовали хозяева это заявление.

Он выпил вино из рога, сел и снова стал слушать, как грузины поют и декламируют, а потом смотреть, как они танцуют; изредка он отрывал от них взгляд и тогда различал сквозь мглу теплой ночи слабое свечение снежных вершин.

Глава двадцать седьмая

Джо улетела. Но в последнюю минуту, глядя из самолета на Руперта и Роланда, стоявших на раскаленном гудроне рядом с Ниной Водопьяновой, она почувствовала, что совершает ошибку.

— Я вернусь, если Мэриан скажет, что у Тэсс нет ничего страшного,— крикнула она Руперту с трапа.

Он грустно кивнул. В душе он ей не верил: она просто его утешала.

— Вы не вернетесь,— сказала ей Анджелина. Она сердилась: ей хотелось остаться.— Миссис Ройс думает только о себе,— бросила она Руперту, поднимаясь с девочкой на руках в самолет.

Под рев реактивных двигателей машина оторвалась от земли и стала набирать высоту. Джо заплакала: она уже ощущала предстоявшее ей одиночество и боялась за мужа и сына, которых оставляла одних в этой чужой, непонятной стране.

■

А внизу, на земле, шпион Руперт Ройс попытался возбудить в себе интерес к тому, что его окружало. Странно, он делал это почти против собственной воли. Где в точности находится аэропорт и каковы его размеры? Аэропорт расположен в Адлере; он мал и не может иметь стратегического значения. Кругом на дорогах не заметно большого движения, не видно ни цистерн с жидким кислородом, ни радиолокационных антенн. В душе Руперт посмеялся над собой. Какая же все это чепуха! И, однако, сведения разведывательного характера, и весьма ценные, здесь можно было получить — правда, не об аэродромах. Во всяком случае, на некоторые, особенно интересующие его, вопросы может ответить сама Нина Водопьянова.

В какой, например, степени Нина отражает настроения русских и советских людей? Их отношение не только к собственной стране, но и к внешнему миру, к его идеям и образу жизни? Нина его очень занимала, но теперь он уже не мог отделить свой личный интерес от разведывательного интереса к загадочной русской душе, внушенного ему адмиралом Лиллом.

Они вернулись в Гагру, и весь остаток дня он был сам не свой. Джо не следовало уезжать. Он сидел на пляже, вокруг него собрались люди и стали расспрашивать об Англии. Нина осторожно справилась, не надоедают ли они ему, но Руперт сказал «нет» и вежливо продолжал отвечать на вопросы. Домой он вернулся поздно, поужинал и лег спать, чувствуя себя без Джо и Тэсс очень одиноким.

■

Они оставили Роланда играть с местными ребятами, а Руперт сел вместе с Ниной в «победу»

До Сухумской бухты, где они в этот день намеревались осмотреть следы затонувшего греческого поселения, было сорок километров. Дорога извивалась, как лента, и, чтобы развлечь Нину, Руперт стал рассказывать ей историю греческих колоний на Черноморском побережье, но сейчас ее это, видно, не слишком интересовало.

— Чего вам дались эти древние греки? — спросила она, зажмурив глаза и стойко терпя приступы дурноты, а машина то и дело подкидывала и швыряла их друг на друга.

— То есть как? — удивился он.— Ведь Греция была колыбелью нашей цивилизации.

— А где была колыбель греческой цивилизации? — не отступалась Нина.— Почему вы восторгаетесь греческой культурой, а не египетской или ассирийской, которые старше? Почему непременно греческой?

Руперт никогда над этим не задумывался, и такая постановка вопроса была для него неожиданной. Вероятно, его увлекала не одна только абстрактная идея культурного наследия и надежда на то, что он может сделать открытие в науке, но и что-то еще. И вот теперь Нина хочет его убедить, что предмет его исследований вообще имеет лишь относительную ценность.

— В Афинах, а позднее и в остальной Элладе свободные граждане были равны перед законом. Эти смелые и мужественные люди имели свои слабости, но у них было сильно развито чувство товарищества, верность долгу, привязанность друг к другу. И в эти устои они верили.

— Зачем вам искать все эти добродетели у древних? — спросила она.— Вы можете найти их сегодня у нас.— Он рассмеялся.— Почему вы смеетесь? Это правда. Мы тоже хотим, чтобы наши люди обладали чувством товарищества, равенства, долга, а не были бы жестокими, грубыми и бессердечными. Древние греки далеко не всегда достойны восхищения. Вот вы говорите об Ахилле. А в нем еще сидел зверь, и вел себя ваш Ахилл как балованный ребенок. Чего ради восторгаться прошлым только потому, что оно прошлое?

Нину явно все больше укачивало. Руперт видел, как ее лицо побледнело, а глаза затуманились. Он ждал, что она попросит остановить машину, но так этого и не дождался. Тогда он попросил об этом сам и предложил ей выйти и передохнуть. Она спустилась к небольшому ручейку и легла, тяжело дыша, на прохладные камни, а он принялся бросать в воду голыши, глядя, как автобусы с советскими туристами поднимаются в горы по раскаленной извилистой дороге.

— Почему же тогда вы не сохранили древнегреческих идеалов? — спросила она, снимая босоножки.

— Мы их сохраняем.

— Но в вашем западном мире царят насилие и жестокость, в нем не слишком-то много героического. В вашем обществе,— продолжала она, садясь,— каждый человек думает только о себе. Вы допускаете, чтобы ваших детей учили быть жестокими. Ну, хотя бы в этих ваших комиксах и фильмах ужасов. У нас этого нет. Мы учим детей уважать друг друга, уважать общество, быть хорошими товарищами...

— Ну, не такие уж мы, в конце концов, плохие,— рассердился он.— Разве вы можете сказать, что Роланду привита жестокость?

— Нет, конечно,— смутилась Нина.— Но вы хороший человек, а хорошие люди остаются хорошими даже в самом плохом обществе.

Он расхохотался.

— Неужели вы никогда не сдаетесь? — спросил он.

Она его не поняла и даже не улыбнулась.

Они поехали дальше, и Руперт задумался: то ли это, что интересует адмирала Лилла? Может ли такой спор раскрыть что-нибудь важное для стратегии психологической войны? Покажутся ли адмиралу характерными прямолинейность Нины Водопьяновой и ее наивное восхищение своими соотечественниками и их странными утопическими взглядами?

«Вряд ли»,— подумал Руперт. Вероятно, он не узнал ничего нового; видно, надо быть гораздо более ловким и проницательным разведчиком, чтобы выяснить, чем же, собственно, образ мыслей советских людей так опасен для Запада.

В Сухуми Руперт пришел к выводу, что куда легче выполнять задания молодого Колмена: древний греческий город, который он хотел осмотреть, находился под водой, в районе современного порта, а в порту стояло много советских военных кораблей.

Трудно сосредоточиться на древностях, когда ум поглощен оценкой современного порта с военной точки зрения. Впрочем, эта беглая, на глаз разведка бухты доставила ему даже некоторое удовольствие. Уже много лет он не разглядывал портов с чисто профессиональным интересом к их глубине, защитным сооружениям, незащищенным участкам, причалам, фарватеру, якорным стоянкам.

Он стоял на дамбе и осматривался, а Нина терпеливо его ждала. Потом он засмеялся и пошел назад. «Пусть этим интересуется кто-нибудь другой»,— сказал он себе и решил заняться древним городом, ради которого сюда приехал, Диоскурией, самым восточным греческим портом на Понте Эвксинском.

■

Руперта познакомили с местным пчеловодом, любителем подводного спорта: все, что осталось от Диоскурии, лежало под желтоватой поверхностью теплого моря в глубине бухты. У пчеловода была лодка с подвесным мотором и два кислородных

водолазных аппарата; он снабдил Руперта запасными купальными трусами, ластами и маленькой самодельной картой подводной части бухты.

— Нет,— заявила Нина Водопьянова, когда они стояли на пляже в окружении толпы отдыхающих из соседних санаториев.— Нет, вы не должны спускаться под воду. Это опасно, Руперт! — сказала она.— Не надо нырять!

— А почему? — спросил он.— Я умею нырять с аквалангом, я ведь приехал сюда специально для того, чтобы посмотреть подводный город.

Завязался спор; кто-то предостерег Руперта по-английски:

— Опускаться на дно опасно. Среди развалин легко заблудиться, а тогда конец, одному вам не выбраться.

Пчеловод не произносил ни слова, стесняясь вступать в разговор; он молча стоял в своих вылинявших синих трусах и ждал конца препирательств. Нина настаивала на своем, и большинство присутствующих ее поддерживало.

— Кислород вреден,— заметил кто-то.— Он убивает водолазов.

Руперт знал, что это так. В английском военно-морском флоте не один водолаз погиб по вине кислородных приборов, их следовало остерегаться. Но его поразило, что эти люди принимают такое участие в его судьбе.

— Идем,— позвал он.

Жара стояла невыносимая, Нина приподняла свой белый зонтик, чтобы прикрыть им и голову Руперта.

— Пожалуйста, не спускайтесь с кислородным аппаратом,— упрашивала она.— Тут нужен опыт.

— Но у меня есть опыт,— возразил Руперт.— Честное слово.

Нина ему не верила. Она уже достаточно его знала, чтобы не всегда верить ему на слово. И была права: он умел пользоваться лишь аквалангами на сжатом воздухе и еще ни разу не спускался под воду с кислородным прибором.

— Пожалуйста, Руперт,— она почти умоляла его.— Подумайте о своей семье. Что я скажу Роланду, если с вами что-нибудь случится? Что я скажу вашей жене?

— Ладно, ладно,— отмахнулся Руперт.

Он закатал штаны, положил туфли в лодку, помог забраться Нине с ее белым зонтиком и вместе с пчеловодом оттолкнул лодку от берега. Пчеловод — его звали Михаил — запустил мотор.

Руперт рассчитывал, что они отплывут далеко в море, но они пересекли бухту наискось и остановились неподалеку от купающихся.

— Здесь? — спросил он по-русски Михаила.

— Где-то здесь,— ответил тот.

— Хорошо,— сказал Руперт и попросил Нину отвернуться.

Он снял брюки, надел синие трусы и ласты, а Михаил помог ему надеть кислородный прибор и объяснил Нине по-русски, как Руперту следует себя вести, а та перевела:

— Не задерживайте дыхания, дышать надо глубоко, ровно и время от времени выпускать кислород из баллона. Для этого откройте кран до отказа, а потом закройте его снова. Но, Руперт, если вы не знаете кислородного аппарата и как с ним обращаться, это опасно. Лучше вообще не нырять.

— Тс-с-с... Спросите у него, что мне делать под водой.

Она спросила.

— Я же говорила вам! Это бессмысленная затея. Он уверяет, что сегодня вы все равно ничего не увидите: вода слишком мутная. Вы сможете только нащупать...

— Что именно?

— Крыши домов,— пояснил Михаил и показал Руперту по карте общее расположение обнаруженных под водою строений.— Дома затянуло илом,— добавил он,— так что будьте осторожны.

Руперт надел маску и положил в рот загубник. Он сделал несколько глубоких вдохов и почувствовал аммиачный привкус искусственного воздуха.

— Михаил будет держать вас за руку и покажет, где это находится,— крикнула Нина.

Руперт взглянул на ее встревоженное лицо, улыбнулся ей и перебросил тело за борт. Михаил последовал за ним, сделал ему знак головой, и они нырнули.

Еще до того, как они окунулись в теплое, спокойное море, Руперт увидел, что вода мутная, но его все же удивило, когда уже в нескольких метрах от поверхности он ничего не смог различить. Он опустился еще на метр и очутился в кромешной тьме. На мгновение он растерялся.

Дружеская рука нашла его руку и потянула вниз. Он задержал дыхание, но тут же вспомнил, что так нельзя, и стал дышать ровнее, а в это время Михаил тянул его все дальше и дальше в глубину. Наконец, русский сунул его руку глубоко в тину — наслоения целого тысячелетия легли плотным покровом на крыши старого кирпичного города.

Рука его уперлась во что-то твердое.

Русский продолжал его подталкивать, и, хотя Руперт чувствовал себя в темноте неуверенно, он храбро двинулся вперед и скоро нащупал какой-то свод, отдельные кирпичи, ровные плоскости — очевидно, крыши.

Руперт был романтиком: положив руки на эти кирпичи в черной илистой глубине, он почувствовал биение пульса утраченного и неведомого, но все еще живого мира.

— Изумительно! — вырвалось у него сквозь загубник, и немного воды попало в рот; он ее проглотил.

Русский толкал его все дальше, и они очутились на куполообразной крыше. Руперт потерял над собой всякую власть и все щупал и щупал кирпичи, словно хотел удержать в руках потонувший город. Некоторое время спустя он почувствовал, что рука Михаила тянет и подталкивает его вверх.

Они вынырнули на поверхность, подплыли к лодке и забрались в нее, мокрые и неуклюжие.

Лицо Нины просияло от облегчения.

— Наконец-то!

— Это просто удивительно! — воскликнул он.— Даже лучше, чем я воображал.

— А он говорил, что вы ничего не увидите.

— Нет, нет, так даже лучше. Город погребен под тысячелетним слоем ила.

Пчеловод спросил, почему он считает, что это лучше.

— Когда-нибудь вы сумеете удалить этот ил и, вероятно, найдете весь город целым и невредимым. Ил его сохраняет.

Нина перевела, и Михаил кивнул.

— Да, когда-нибудь мы это непременно сделаем,— сказал он.— Но для этого придется осушить часть бухты, а тут рядом находятся санатории, где отдыхают тысячи людей.

Он спросил Руперта, не хватит ли на сегодня нырять.

— Ни в коем случае. А есть тут что-нибудь еще?

— Говорят, что там подальше — другая часть города. Старые водолазы утверждают, будто находили там амфоры, но мне ничего пока не попадалось.

— Давайте посмотрим,— предложил Руперт по-русски.

— Не надо! Пожалуйста, не надо,— стала упрашивать пчеловода Нина.— Хватит!

— Оставьте, Нина. Не портите мне удовольствия,— сказал Руперт.— Нечего беспокоиться. Пошли, Михаил.

Михаил запустил мотор, и лодка отплыла еще на сотню метров в море.

Руперт надел маску; Михаил объяснил, что здесь глубоко — почти максимальная глубина для ныряния с кислородным прибором — и что, следовательно, надо чаще пользоваться краном. Если Руперт почувствует головокружение, нужно немедлечно подниматься на поверхность.

Нина снова осталась сидеть под своим зонтиком и нервничать, а они, перемахнув через борт, скрылись под водой. Руперт, работая ногами, начал погружаться. Он опустился уже довольно глубоко, но дна все не было. Он стал дышать чаще, снова заработал ногами и продолжал медленно опускаться все ниже и ниже, пока вдруг не почувствовал чьи-то липкие объятия и не понял, что лежит на мягком илистом дне. Толстый слой ила окутал его всего, он ощущал всем телом противную слизь.

На этот раз Руперт потерял в темноте Михаила. Он принялся вслепую ощупывать дно в поисках твердых предметов. Ему казалось, что он плавает в киселе. Он нашел обломок кирпича, сунул его в трусы и продолжал свои поиски.

Инстинкт исследователя взял верх над осторожностью, и Руперт позабыл обо всем. Воздух у него во рту приобрел неприятный привкус, но он не обратил на это внимания. О беде он догадался лишь в ту минуту, когда неожиданно почувствовал головокружение. Нащупав кислородный кран, он отвернул его, но ощущение дурноты усиливалось, и он оттолкнулся ото дна, чтобы всплыть на поверхность. Он работал ногами изо всех сил, думая, что поднимается, но снова очутился на дне и понял, что описал круг. В темноте не было никакой возможности определить направление. Теперь его так мутило, что хотелось сорвать маску, и он удержался от этого только огромным усилием воли.

Руперт опять оттолкнулся ото дна и отчаянно заработал ногами; до поверхности было не близко, а ему с каждой секундой становилось хуже, он чувствовал, что теряет сознание.

Сидя под своим белым зонтиком, Нина увидела, как он с бессильно упавшей на плечо головой показался из воды, и сразу поняла, что ему плохо. Она окликнула его, но он снова погрузился под воду. Она стала звать Михаила, который уже раз всплывал и снова нырнул в поисках Руперта, но Михаил больше не показывался.

Тогда она прыгнула за борт. Сделав несколько взмахов, она подплыла туда, где исчез Руперт, и в тот момент, когда он вновь показался на поверхности, схватила его за волосы и громко закричала, зовя на помощь Михаила.

— Есть,— услышала она голос рядом с собой,— я его держу.

Пчеловод сорвал с Руперта маску, подтянул его к лодке и довольно бесцеремонно в нее взвалил. Руперт лежал на дне, прерывисто дыша, сперва без сознания, затем постепенно приходя в чувство, и боролся с тошнотой; подняв глаза, он увидел склонившуюся над ним Нину. С нее ручьями текла вода.

— Руперт...— звала она его.

Он окончательно очнулся, медленно сел и, взглянув на их испуганные лица, сразу понял, что произошло.

— Простите, пожалуйста...— пробормотал он едва слышно.

Нина его приподняла, а Михаил снял кислородный прибор.

— Как вы себя чувствуете? — спросила она.— Что с вами случилось?

— Теперь уже все в порядке. Наверно, потерял сознание. Кажется, позабыл пустить кислород...

— Вы не открыли как следует кран,— подтвердил Михаил.— Его надо отвернуть до отказа.

Руперт поднялся и посмотрел на Нину Водопьянову. Она еще не успокоилась; одежда на ней была мокрая, пряди волос прилипли к щекам, но лицо и шея горели, обожженные жарким солнцем. Она смотрела на него широко открытыми глазами и, когда взгляды их встретились, глубоко вздохнула и отвернулась.

— Надо поскорее отвезти вас на берег,— сказала она.

— Да я в полном порядке,— заверил он ее, садясь и уже совершенно приходя в себя.— Передайте Михаилу мои извинения за то, что произошло. Это я во всем виноват.

Пчеловод был тоже взволнован, но ни на минуту не потерял самообладания; Руперт понял, какой это надежный человек.

— Я подплыву к противоположному берегу бухты,— сказал Михаил,— и мы посмотрим развалины турецкой крепости. Там же и высадимся; по крайней мере, кругом не будет зевак.

— Но ведь мы же отплыли вон откуда,— удивилась Нина.

— Не важно,— возразил Михаил,— пристать лучше там.

Она поняла. Теперь они все трое отлично понимали друг друга. Зачем людям знать о том, что случилось? Михаил завел мотор. Они проплыли мимо четырех подводных лодок, и Руперт, окинув их взглядом специалиста, спросил себя, способен ли он напрячь внимание и определить их тоннаж, мощность и вооружение. Он быстро взглянул на Нину Водопьянову, словно она могла разгадать его мысли.

Она приглаживала мокрые волосы.

— Как вы себя чувствуете? — спросил теперь он.

Она молча пожала плечами и, поморщившись, поглядела на свое мокрое платье.

Руперт знал, чем ей обязан, и испытывал к ней теплое чувство. Какая ирония судьбы, думал он,— Нина Водопьянова в несколько секунд отплатила ему за то, что он делал для ее мужа долгие шесть месяцев. Он понимал, что мог утонуть, если бы она вовремя не схватила его за волосы. Ему захотелось выразить ей свою благодарность, но он вдруг заметил, как сквозь мокрое платье просвечивает ее тело.

Он отвел глаза и ничего не сказал.

Глава двадцать восьмая

Руперт позвонил по телефону в Лондон из дома отдыха Главсевморпути. Дом отдыха стоял на самом пляже, в нем жили мужчины и женщины, похожие на лапландцев, а также русские летчики, геологи, гласиологи, метеорологи — их профессию можно было определить с первого взгляда; во всяком случае, после первого же разговора. Все они наперебой выражали свое восхищение его походом по льду с больным Алексеем.

— Как здоровье Тэсс? — орал он в телефон на весь дом отдыха.

— Ей лучше,— сообщил невнятный голос Джо.— Мэриан говорит то же самое, что и русские врачи. Вероятно, это инфекция в толстой кишке. Она считает, что нет ничего серьезного.

— Ее надо положить в больницу? — кричал он, надрывая глотку.

Вопрос пришлось повторить, и он едва разобрал ответ; видимо, Джо сказала: «Может быть. Решат через несколько дней». Потом он расслышал:

— Сейчас Тэсс в саду, играет с собакой. Поправляется.

О возвращении в Советский Союз не было и речи, и теперь Руперт был этому даже рад. Надо сознаться, что без Джо все стало куда проще.

В Лондоне еще было утро, а в Гагре уже успели пообедать, и Руперт знал, что он мешает людям соблюдать мертвый час. Судя по объявлению у главного входа, всем сейчас полагается спать. Ради Руперта правило нарушили. А он так обрадовался известию о выздоровлении Тэсс, что расселся в холле в кресле под белым чехлом у стола, покрытого скатертью с бахромой, и затеял беседу с двумя десятками отдыхающих. Многие из них задавали настолько специальные вопросы о его пребывании в Арктике, что он затруднялся на них ответить.

— Как вы объясните, что дрейфовали в обратную сторону? — спросил его кто-то.

— Понятия не имею,— сказал он Нине. Он понял вопрос, но не решался отвечать по-русски, и Нина перевела: — Может быть, береговые течения идут там навстречу океанским.

— Я хорошо знал радиста, который летел с Водопьяновым,— сказал худощавый человек в очках.— С Сергеем мы были знакомы с детства. Бедняга.

Руперт вспомнил желтую, застывшую на морозе фигуру, скорчившуюся в уголке кабины под грудой бортовых журналов и навигационных приборов. Ему стало не по себе, и он промолчал.

Все вышли провожать его в сад и по очереди пожимали ему руку на прощанье.

— Вы ночуете в доме отдыха? — спросил он у Нины по дороге домой.

— Нет, во флигеле санатория, где лежит Алексей.

Руперт все еще чувствовал за Алексея какую-то ответственность. Он справлялся о нем каждый день; сейчас он спросил, что говорят о его состоянии врачи. Сумеет ли он снова нормально ходить?

— Они считают, что сумеет,— заверила его Нина.— У него ничего серьезно не повреждено, только атрофированы мускулы и нервы на ногах. Доктора убеждены, что это постепенно пройдет, надо лишь, чтобы он берег себя. А вы знаете, что он себя совсем не щадит.

— Так уж он устроен. Ничего не поделаешь.

— Знаю,— сказала она.— Знаю. Ради него же самого приходится держать его в руках. С тех пор как он вернулся домой, я придумывала тысячи уловок, чтобы заставить его утихомириться, но где там!

— Можно мне его повидать?

Этот вопрос он тоже задавал почти каждый день. Но Нина опять ответила осторожно:

— Конечно, вы с ним повидаетесь. Но сейчас ему дают успокаивающее, и нельзя, чтобы он возбуждался. Через несколько дней он снова встанет с постели.

— Наверно, вам трудно пришлось в эти месяцы — с тех пор, как он вернулся.

— Я этого не чувствовала. Алексей меня совсем не утомляет, даже если нездоров. Всем всегда доволен. И какая бы сильная боль его ни мучила, никогда не унывает.

— Что правда, то правда,— подтвердил Руперт.

— Ах, да,— рассмеялась она,— вы ведь знаете его с этой стороны не хуже меня.

— Ну, это вряд ли,— сказал он,— но Алексей сохранял удивительное благодушие, даже когда я бывал в дурном настроении. Мы ни разу не поссорились, а ведь временами он, наверно, ужасно страдал. А вы знаете, что он однажды даже пробовал утопиться, чтобы мне легче было спастись?

— Нет, этого я не знала. Но на него это похоже. Зато он мне часто говорит про вас: «Ройс — вот человек! Ты только представь, прыгнуть на лед с самолета!» — Нина задумалась.— У нас в стране восхищаются вами и Водопьяновым. Я тоже. Вы мужественные люди.

Ему сделалось неловко, и он стал расспрашивать ее о санаториях и домах отдыха: его заинтересовало, кто ими пользуется.

— Всякий, кто хорошо работает,— ответила она.

— Работа у вас — главный критерий?

— А что же еще? — запальчиво спросила она.— Да, у нас всех ценят по работе.

К ней вернулась настороженность, а в ее тоне он опять уловил легкий оттенок неприязни.

Он об этом пожалел. Ему не хотелось, чтобы его вопросы звучали вызывающе, но так получалось. Он утратил способность отделять свою любознательность от специфического интереса к этой стране, внушенного ему Лиллом. Но Нина вызывала у него острое любопытство; ему нравилось ее поддразнивать и смотреть, как она на это реагирует.

— Судя по виду, я бы сказал, что все отдыхающие здесь — «интеллигенты», так, кажется, у вас это зовется,— заметил он.

— Нет, среди них больше рабочих. Кое-кто из женщин, которых вы сейчас видели, работает в столовой нашей зимовки на Новой Земле.

— Это там, где вы испытываете атомные бомбы?

— Мы их больше не испытываем... Хотя общего соглашения на этот счет еще нет *.

— Нина! Нина! — с укором сказал он.

Она улыбнулась, и у него стало легче на сердце.

— А где вы бывали в Арктике? — поинтересовался он.

— Всюду. Даже на дрейфующих станциях.

— По вашей работе? Или как жена Алексея?

— Конечно, по своей работе! — Вопрос задел ее.— Жены не могут разъезжать по Арктике просто как жены. Я занимаюсь культурно-просветительной работой. Прошлой зимой мне пришлось побывать почти на всех наших зимовках.

Он машинально подумал, что следовало бы расспросить ее о советской Арктике поподробнее. Она должна хорошо ее знать, и несколько ловко поставленных вопросов позволили бы ему выяснить расположение зимовок. Никто в Англии точно не знает, где они находятся.

---

* Автор относит поездку Руперта Ройса к 1957 году. *(Прим. перев.)*

«К черту!» — выругался он про себя.

Ему было неприятно, что он стал рассуждать как заправский шпион, хотя мысли, внушенные Лиллом, все чаще приходили ему в голову. Казалось, он целиком проникся интересами адмирала. Он уже с почти профессиональной жадностью смотрел и на одноколейную линию электрички, и на рыболовецкую флотилию, проплывшую однажды утром вдоль берега, и на расписание движения автобусов; ему бросилось в глаза, что все местные дороги проложены в прибрежной полосе. Только одна вела в горы — к озеру Рица. Почему в горы нет больше дорог?

— Здесь слишком мягкая горная порода,— объяснила Нина.— Почва оседает, и бывают обвалы. Дорожное строительство себя не оправдывает.

До войны, рассказала она, эти места кишели малярийными комарами, так как вся прибрежная низменность была заболочена. Болота осушили, посадили эвкалипты, улучшили шоссе.

Интересно, знают ли в топографическом управлении английского военного министерства, что прибрежных болот больше не существует, а асфальтированное шоссе протянулось вдоль всего побережья...

Вечером Нина отправилась с ним за несколько километров в Старую Гагру — там был курорт еще при царизме. Все здесь выглядело солидно, старомодно; над ботаническим садом возвышалась гостиница в швейцарском стиле. Они прогуливались с Ниной по дорожкам парка, где юноши и девушки распевали русские песни или читали под тусклым светом желтых фонарей.

— Почему они гуляют здесь, а не по берегу моря или в горах? — спросил он.

— У нас любят гулять по вечерам в парках.

И это в то время, изумлялся Руперт, когда кругом такая благодать и безлюдье. Такая тишь среди диких гор и лесов. Он сказал, что ему это просто непонятно. И тут же подумал: дикие и необжитые места должны привлекать русских куда меньше, чем англичан. Англия — сплошной парк, и поэтому его соотечественники рыщут по свету в поисках уединения. Россия — огромная непричесанная страна, и, может быть, поэтому русских привлекают места ухоженные, возделанные, вроде этого маленького парка на берегу моря.

«Кажется, адмирал и тут прав»,— сказал себе Руперт, который сразу вспоминал Лилла, делая даже маленькие обобщения относительно русского характера.

Они шли домой под сенью эвкалиптов, выстроившихся вдоль шоссе. Мимо них дребезжа проносились автобусы, битком набитые людьми. Пассажиры громко распевали песни. Русские песни звучат повсюду. Русские любят держаться вместе.

Из парков далеко разносилось кваканье лягушек. «Да, он прав»,— мрачно повторял себе Руперт. У него мелькнула мысль, что ему теперь не уйти от Лилла. Все в этой стране было необычайным, все здесь будило воображение. Разве он мог подавить в себе любопытство к удивительному характеру этих людей?

Да, но с какой целью он будет его изучать?

Конечную цель адмирала Лилла он знал, но не принимал ее всерьез. Разве кто-нибудь в наши дни верит в возможность войны? Его больше занимал вопрос, как долго еще сумеет он удерживать в памяти наблюдения над русскими, не занося их на бумагу. Сознание нечистой совести мешало ему доверить дневнику свои в общем-то невинные и искренние раздумья. А вдруг это опасно? Но как ему не растерять своих впечатлений? А новые мысли осаждали его все настойчивее.

«Нет,— твердо решил он,— я ничего не буду записывать». И рассмеялся, вспомнив про чудо-ручку Колмена.

— Чему вы смеетесь? — спросила у него Нина.

— Разве я смеялся? Наверно, вспомнилось что-то смешное,— сказал он, чувствуя себя двурушником.

Он почувствовал себя им вдвойне, когда Нина доверчиво взяла его под руку.

Глава двадцать девятая

Руперт спрашивал себя, не слишком ли подозрительно он относится к Нине, но перед отъездом из Гагры к ним присоединился еще один спутник и к тому же при весьма загадочных обстоятельствах, это смутило Руперта, дав ему пищу для новых подозрений.

Когда Нина время от времени исчезала, Руперт знал, что она не только навещает Алексея, но и советуется с кем-то насчет своего гостя, англичанина Ройса. Если он ее о чем-то просил или предлагал какую-нибудь поездку, она отвечала: «Я подумаю», после чего куда-то уходила и возвращалась с ответом. С кем она советовалась? Куда ходила? Порой ему казалось, будто его жизнь направляет какой-то незримый оракул. И почему она не пускает его к Алексею? Мелкие подозрения возникали у него постоянно. Иногда поведение окружающих представлялось ему загадочным. Но он понимал, что многое из этого — только игра воображения и объясняется очень просто. Обидно, что он, вероятно, так и не узнает правды.

В восточной части Черноморского побережья ничто больше не представляло для

него интереса, и он напомнил Нине, что главной целью его поездки в Советский Союз было посещение острова Змеиного в устье Дуная, в другой части Черного моря.

— Это очень сложно,— сказала она.

— Однако Маевский говорил мне в Лондоне, что это возможно,— настаивал он.

— Возможно, но не просто. Придется подождать. Пока что мы могли бы посетить Фанагорию.

Фанагорией называлась знаменитая греческая колония на Черном море; этот город на Таманском полуострове был, по-видимому, важнейшим черноморским поселением древних греков, и русские уже много лет вели там раскопки на суше и в море.

— Остров для меня важнее,— упрямился Руперт.

Они поспорили, и он заявил, что не хочет больше терять времени в Гагре. Если нельзя отправиться на остров сразу они могут поехать в Крым, осмотреть остатки более мелких колоний и Севастополь, а затем попытаться попасть на Змеиный, оставив Фанагорию напоследок.

— Увидим,— сказала она и в полдень исчезла за раскаленным железнодорожным полотном.

Руперт наблюдал, как Роланд учится играть в шахматы у соседских мальчишек; двое из них прилично объяснялись по-английски. Ребята подружились и говорили между собой на какой-то смеси русского с английским. Руперт спросил мальчиков, где они учились английскому языку.

— В школе,— ответил старший из них.

— В какой школе?

— В здешней.— объяснил Вахтанг, самый младший.

Школа находилась на той же улице и занимала самое лучшее и большое здание в округе. Через раскрытые окна Руперту были видны микроскопы и волшебные фонари; он подумал: интересно, все ли школы так хорошо оборудованы или это какая-то специальная школа — и тут же одернул себя, не желая потакать адмиралу Лиллу. Правды все равно не выяснишь, решил Руперт.

— Завтра мы едем на озеро Рица,— вернувшись, сообщила Нина.

— А как насчет острова? — спросил он.

— Это решится завтра,— загадочно ответила она.

■

Зачем им понадобилась эта Рица? Руперту казалось, что Нина что-то скрывает. Они поехали на «победе» вдоль берега моря, потом вдоль быстрой речки поднялись вверх, в горы; Руперт боялся, что Нину укачает снова. Но она, хотя и побледнела, спокойно продолжала рассказывать Роланду про удивительный уголок на побережье под названием Пицунда, который сохранился со времен Ледникового периода. Где-то здесь проходила черта, на которой ледники остановились. Об этом свидетельствовали реликтовые сосны Доледникового периода на Пицунде. Она рассказала о пещерах, где, если верить легендам, жил Прометей, и о других пещерах поблизости с наскальными изображениями каменного века. Вот они уже оставили позади субтропики, и вокруг раскинулись альпийские луга.

— У вас страсть все время кого-то учить,— заметил Руперт.— Совсем как у французов.

— Но все это так интересно,— возразила она,— а у детей мало времени. Они быстро становятся взрослыми: глядишь, и лучшая пора, пора узнавания, остается позади. Разве тебе не интересно, Роланд?

— Иногда интересно,— коротко ответил мальчик; со взрослыми он замыкался в себе.

Роланду хотелось остаться с друзьями у моря, но Руперт настоял, чтобы он посмотрел знаменитое высокогорное озеро, расположенное так близко от знойного побережья. И мальчик еще дулся.

Озеро оказалось чистым, холодным, прозрачным и очень красивым. Но не было ли здесь в горах каких-нибудь радиолокационных установок?.. Гостиница в швейцарском стиле была полна туристов, они толпились у того конца ледяного озера, где из него вытекала река, стремительно убегавшая вниз к морю. Руперта и Нину встретил директор гостиницы, их прокатили на быстроходной моторной лодке вдоль скалистых берегов. Нина спросила Руперта, любит ли он удить форель, он ответил утвердительно, и она сообщила, что после обеда один врач пойдет с ним на рыбную ловлю.

Они пообедали на веранде с видом на озеро. После обеда к ним подошел врач, о котором говорила Нина,— высокий молодой человек. Откровенно разглядывая Руперта, он сказал по-русски:

— Меня зовут Федор Николаевич Папанин. Теодор, Тедди Папанин,— добавил он по-английски, затем снова перешел на русский.— Вы меня понимаете? — Потом он предложил по-французски: Allons-y *.

— Куда?

— Удить рыбу.

---

* Пойдем (*франц.*).

— А снаряжение?

— Все готово,— ответил Федор, лениво улыбаясь и глядя Руперту прямо в глаза.— Тедди готов к победе,— закончил он по-английски.

Он круто повернулся, точно они уже обо всем условились, и слегка ошеломленный Руперт последовал за ним вниз, в подвал гостиницы. Они прошли через кухню, где Федор бросил Руперту через плечо: «Я здешний диетврач»,—и очутились на дворе. Там Федор захватил небольшой сверток.

— Наживка. Икра,— сказал он своим ленивым тоном.

Он взял две длинные удочки и, не задерживаясь, двинулся вниз через густой, тронутый гниением сосняк, обступивший водопад; они спускались тенистыми, сырыми и прохладными тропинками по откосу, потом по почти отвесной крутизне; Федор преодолел ее с удивительной ловкостью, одним махом. Испуганный и задыхающийся Руперт пригнул колени и последовал за ним по гладкой хвое, скользя и падая, пытаясь не слишком отстать от своего стремительного спутника, похожего на разжатую пружину. Федор его далеко опередил, он мчался вниз, подняв удочки над головой, и что-то говорил ему на бегу, но Руперт не мог разобрать слов.

— Я сломаю себе шею! — крикнул он Федору, но тот не расслышал.

Руперт проехался на животе и наконец нагнал Федора; тот обернулся и с удивлением уставился на испачканного с ног до головы англичанина.

— Упали? — осведомился он.— Плохо дело...

Он помог Руперту почиститься, потом взмахнул удочками и исчез снова, бросив через плечо:

— Ne tombez pas! *

Руперт спотыкаясь побежал вниз по крутой тропинке. Впереди шумел ручей, сила инерции увлекала Руперта вперед, стремительно убыстряя спуск: он понял, что сейчас угодит прямо в воду. Остановиться было невозможно.

— Потише! — предостерег его Федор.

Он спокойно сидел на камне у воды, разматывая удочки, и в глазах Руперта, которого неудержимо несло к воде, эта безмятежная картина запечатлелась как моментальный снимок.

Федор вытянул одну из своих длинных удочек, и Руперт, споткнувшись о нее, полетел вверх тормашками на мягкую подушку из сырого папоротника и прелых листьев. Он так и остался лежать, с трудом переводя дух и пытаясь выяснить, все ли у него цело. Федор подал ему руку и помог подняться.

— Вы чуть-чуть не упали в Wasser **,— констатировал Федор; он сделал жест пловца, ныряющего вниз головой, и для ясности сообщил: — Бултых! — Потом ободряюще добавил: — Ничего, Руперт. А ну-ка, поднимайтесь.

Руперт встал на ноги. Федор, дернув его за рукав, показал на груду камней посреди ручья. За нею в глубоком омуте кишела переливавшаяся на солнце форель. Возня на берегу не распугала рыбу.

— Forellen***,— сказал Федор, вкладывая удочку в руку Руперта.— Тедди готов к победе.— Его худощавое лицо смеялось, светлая прядь, упав на лоб, закрыла один глаз.— Наживка.— Он протянул Руперту бумажный пакетик, в котором оказался комок красной икры; Руперт сунул пакетик в карман своих некогда белых брюк; он хотел отдышаться, но ему этого не дали сделать.— Avancez!**** Удите! — приказал Федор.

Не успев прийти в себя и все еще с трудом переводя дыхание, Руперт поднял удочку и опустил крючок, на котором висел комочек красной икры, в омут, где кишела форель. Не прошло и двух секунд, как он поймал рыбу.

— Raus! Raus!***** — возбужденно закричал Федор.

Удивленный Руперт дернул удочку с такой силой, что пойманная рыба забилась в в ветвях дерева у него над головой.

— А, merde!****** — выругался Федор и мигом очутился на дереве.

Руперт едва успел поднять глаза, как рыба, брошенная сверху Федором, уже лежала у его ног. Он вытер руки о штаны, решив минутку передохнуть, но Федор, сидя на суку, крикнул ему:

— Ну как? Нравится?

— Да. Безусловно,— ответил Руперт, чувствуя, что отставать стыдно. «Держись!»— сказал он себе и полез в карман за икрой.

Он нацепил комочек икры на крючок и забросил удочку прежде, чем Федор успел открыть рот. Но Федор его предостерег.

— Тише,— сказал он.— Они уже поняли. Очень умные рыбы.

Он оказался прав. Первый улов словно насторожил остальных рыб. Некоторое время они не клевали.

— Садитесь! — шепнул Федор по-английски.

---

* Не падайте *(франц.)*.
** Вода *(нем.)*.
*** Форель *(нем.)*.
**** Идите вперед! *(Франц.)*
***** Тяни! Тяни! *(Нем.)*.
****** Дерьмо! *(Франц.)*.

Руперт сел на камень, и Федор пристроился рядом с ним; он держал свою удочку всего в нескольких сантиметрах от удочки Руперта, крючки почти соприкасались.

— Хоп!

Федор перегнулся и выхватил удочку Руперта из воды. На крючке дергалась небольшая форель, Федор ее отцепил, сунул себе за пазуху вместе с первой и тут же поймал еще одну рыбу на свою удочку; Руперт и моргнуть не успел.

Не прошло и пяти минут, как они выловили из омута всю рыбу. За пазухой у них было уже штук двадцать форелей. и Руперт подумал: «Жадные маленькие обжоры!» Он осуждал форель за то, что она так легко давала себя поймать, хотя ловцом-то был он и винить ему следовало бы себя. Если бы он когда-нибудь попробовал ловить форель на кетовую икру в имении у одного из своих родственников на Тесте или Северне, они с полным правом могли бы его пристрелить, как злостного нарушителя благородных основ рыболовного спорта. Ведь подобная ловля — сущее преступление! Он попытался объяснить это Федору, тот согласился с ним, но привел любопытный довод.

— Только не в здешних местах,— заметил Федор по-русски.— Тут чересчур много рыбы и мало корма. Форель все равно не вырастет.

Судя по всему, он был прав.

Они оставили омут, и Федор пустился вниз по ручью, положив удочку на плечо и прыгая с камня на камень. Руперт пытался от него не отстать, стараясь в то же время увернуться от его удочки. Когда англичанин из предосторожности замедлял шаг, Федор сразу же командовал:

— Не отставайте! Не задерживайтесь!

Они пересекали широкую излучину ручья. Федор прыгал впереди по камням, как серна. Но вдруг он остановился и, вместо того чтобы сделать следующий прыжок, обернулся и грустно сообщил Руперту:

— Знаете, Руперт, вчера умер наш знаменитый chanteur * Вертинский.

Руперт узнал эту новость в воздухе, на полпути к очередному обломку скалы. Но тот еще был занят Федором. Руперт кивнул, услышав об этой неожиданной смерти, и тут же (поскольку приземлиться было некуда) плюхнулся в глубокий проточный омут. Вода была ледяная. Он ударился о дно и всплыл. Федор уже прыгал дальше, в погоне за уносившейся удочкой Руперта.

— Все в порядке! — послышался его голос; он схватил уплывавшую удочку.

Руперт вскарабкался на скалу, ловя полуживую рыбу, выпавшую у него из рубашки, и несколько уснувших рыбок, плававших на поверхности омута.

— Все в порядке! — храбро откликнулся он.— Чего мы стоим?

Федор критически оглядел его — с Руперта ручьями стекала вода — и предложил свою рубашку, совершенно сухую, чистую и даже щеголеватую, несмотря на набрюшник из форели.

— Нет, нет. Жарко, я высохну,— вежливо отказался Руперт, откидывая назад мокрые волосы.

Федор, кивая в знак согласия, сообщил:

— Там дальше хороший омут. И Forellen покрупнее.

Они снова пустились вскачь. Руперту казалось, что это не они бегут вдоль ручья, а ручей несется за ними вдогонку и никак не может их нагнать. По дороге они удили в каждом встречном омуте. Федор все время держался рядом с Рупертом. Когда после вторичного вынужденного купания Руперт до отказа набил мокрую рубашку рыбой, Федор сказал, что пора домой.

Руперт оглянулся на высокие, заросшие сосняком горы, уходившие в синее небо, и решил, что обратный путь займет у них пять или шесть часов, если они его вообще осилят.

— Мне ни за что туда не взобраться,— заявил он Федору.

— Мы поедем,— успокоил его Федор и быстрым шагом направился к шоссе; там они стали дожидаться автобуса.

Показался большой открытый автобус, набитый шумной компанией туристов. Шофер нажал клаксон и промчался мимо, не обратив на них никакого внимания. Из-за бугра вынырнул второй автобус,— пассажиры приветствовали их веселыми криками, но шофер снова проехал мимо. Прежде чем появился третий — они уже слышали, как он, пыхтя, поднимается в гору,— Федор отбежал шагов на пятьдесят вниз и встал как вкопанный посреди шоссе, подняв руки; шоферу волей-неволей пришлось затормозить. Федор подбежал к нему, что-то сказал вполголоса, кивнув в сторону своего спутника, а потом подозвал Руперта.

Руперт, подхватив обе удочки, понесся к автобусу, как гончая на зов хозяина. Он догадывался, что Федор сказал шоферу что-нибудь вроде: «Это тот герой англичанин, Руперт Ройс!»

И герой англичанин, нагруженный двумя длинными удочками и дохлой рыбой в мокрой рубахе, с карманами, вымазанными красной икрой, в разодранных и выпачканных белых брюках, с грязными до колен ногами и белокурыми волосами, в беспорядке падавшими на лицо, влез в автобус. Его встретили криком «ура».

Чувствуя себя зверски усталым, он ехал в гору без единой мысли в голове и под-

---

* Певец *(франц.)*.

тягивал песню, которую пели в автобусе (хотя ему и полагалось глядеть в оба по сторонам).

Когда они приехали на Рицу, он собрал удочки и рыбу — она то и дело выскальзывала у него из-под рубашки,— ему вторично прокричали «ура», и все попрощались с ним за руку. Пошатываясь, он вернулся в гостиницу. Нина уставилась на него с изумлением.

— Вы свалились в реку! — воскликнула она.

— Разок-другой, пустяки,— ответил он.

— На вас страшно смотреть! Вам надо сейчас же переодеться.

Безукоризненно чистый, подтянутый Федор снова предложил одолжить ему рубашку. Руперт отказался, предпочитая отступить с поля боя в собственных доспехах. Но Нина отослала его в гостиницу и отправилась в киоск у озера покупать ему рубашку и новые брюки. Рубашка из искусственного шелка была ему ниже колен, и когда он ее надел, Роланд нарушил свое обиженное молчание и покатился со смеху.

Руперт готов был бы разделить его веселье, если бы не противоречивые чувства, вызванные в нем сообщением Нины о том, что Федор поедет с ними.

— Куда? В Гагру? — спросил он.

— Да. И в Крым тоже.

Глава тридцатая

Нина объяснила, что ему, по-видимому, придется ехать в Крым вдвоем с Федором, а она, если сможет, присоединится к ним позднее: Алексей все еще нуждается в присмотре, и она не может его оставить.

— Мне очень жаль,— огорчалась она.— Мне бы не следовало вас бросать.

Руперт понимал, что забота о нем для нее — лишь служебный долг; Алексей же— ее муж, и, естественно, она предпочитает остаться с ним.

— Эх, если бы я была в состоянии заставить его беречь себя,— грустно добавила она.

— Это немыслимо,— отозвался он.

— Знаю.

Но к вечеру она вернулась от Алексея и рассказала, что врачи приставили к нему санитара, который будет при больном все время и проследит, чтобы тот не слишком много двигался.

И вот, наконец, перед отъездом они пошли проведать Алексея.

Руперт убедился, что ничего таинственного там нет. Алексею разрешили встать с постели, он сидел на балконе и играл в карты с другим больным, у которого была ампутирована рука, а шея изуродована страшным шрамом.

— Познакомьтесь с моим другом Николаем,— сказал Алексей, удерживая приятеля рукой, потому что тот сразу же попытался сбежать.— Он тоже из Арктики. На него свалилась железная бочка с керосином и чуть не снесла ему голову.

Николай неуверенно улыбнулся Руперту, пытаясь освободиться от крепкой хватки Алексея.

— Не уходите, Николай. Посидите с нами,— попросила Нина.

— Уж очень печет,— пробормотал Николай и поспешил удалиться.

— Робок, как красная девица,— бросил ему вслед Алексей.— Хочет жениться тут на одной сестре, да храбрости не хватает, просит меня объясниться с ней вместо него. Не ревнуешь? — шутливо осведомился он у Нины.

— Тише, Алексей,— произнесла она с мягким укором.— Он может услышать и обидеться.

— Он по-английски не понимает. Зато говорит по-немецки и по-японски. Я как-то спросил у него, не был ли он влюблен в какую-нибудь японочку, и он рассказал, что в Японии была такая писательница Мурасаки. Она писала книги, давным-давно. Николай уверяет, будто ни на одном языке нет ничего подобного. Просто чудо. Японские женщины, по его словам, владеют литературным даром куда лучше мужчин. Он бы с радостью женился на японке из какого-нибудь японского романа, если бы встретил такую.— Алексей весело расхохотался.— Бедный Николай. Надо помочь ему, Нина.

— А чем он занимается? — спросил Руперт. (Его заинтересовало, что делает в Арктике японовед.)

— Он ихтиолог,— пояснил Алексей.— Все понимает в рыбах, а в женщинах — ни бельмеса. Бедняга,— грустно повторил он.— А теперь он решил, что ни одна девушка на него и не взглянет. раз он так изуродован. Надо, чтобы он перестал думать о своей внешности. Все это пустяки, убеждаем мы его. При чем тут красота? Ты герой, вот что главное. Как-нибудь мы его все-таки обженим. Больше всего ему, конечно, хотелось бы жениться на моей Нине.

— Не болтай чепухи, Алексей,— оборвала его жена.

Алексей приподнялся и любовно усадил Нину на место Николая.

— Мне теперь лучше,— сказал он.— Не беспокойся ты обо мне. Вот подлечусь еще немного и нагряну к вам в Крым.

— Видите,— пожаловалась Руперту Нина и, повернувшись к Алексею, пригрозила: — Знаешь, если ты сорвешься с места, я просто возьму и уеду от тебя. Ей-богу.

— Вам нельзя переутомляться,— поддержал ее Руперт.

— Почему? — спросил Алексей. Он постучал себя ладонью по лбу.— Главное, чтобы голова была в порядке. Правда, Нина?..

Он был в отличном настроении и даже не пытался ковылять на своих непослушных ногах, доказывая себе, что ходит не хуже других, а спокойно рассказывал длинную историю про стадо гусей, которое напало в Сибири на самолет, пролетавший на небольшой высоте над птичьим базаром. Гуси заставили самолет приземлиться. Ей-богу, правда!

■

Если в движении Федор был похож на внезапно разжатую пружину, то в покое он больше любил наблюдать и слушать, был невозмутим и даже как-то неуклюж.

Но Руперт с самого начала заподозрил, что к нему приставили русскую разновидность Жавера — тайного агента, который будет ходить за ним по пятам и заглядывать ему через плечо. А что, если, подобно своему прототипу в «Отверженных» Гюго, он в один прекрасный день схватит Руперта?

На большом белом теплоходе, которым они плыли из Сочи в Ялту, Федор, удобно развалясь в кресле в каюте Руперта, почитывал роман Горького «Жизнь Матвея Кожемякина». Весь его багаж состоял из белого дождевика и черного чемоданчика. Нина с ним не ладила; казалось, оба они инстинктом угадывали, что никогда ни в чем не смогут прийти к согласию. Нина по малейшему поводу вступала с Федором в спор, он же обычно, высказав свое мнение, только молча и вежливо слушал, чем окончательно выводил ее из себя. Она звала его Федором Николаевичем и, чем больше сердилась, тем чаще Руперт слышал: «Федор Николаевич!» Обычно они говорили так быстро, что Руперт почти ничего не понимал.

На теплоходе Федор долго наблюдал за Роландом, прежде чем сделал попытку с ним заговорить. Потом он лениво выбрался из кресла и стал показывать мальчику фокусы с монетами и глотанием карандашей; научил его делать человечков из бумаги и писать свое имя по-русски задом наперед.

— Может, Руперт не хочет, чтобы мальчика учили фокусам,— сердито заметила Нина.

— Мальчишки обожают фокусы,— невозмутимо возразил Федор и сказал по-английски Роланду: — Зови меня «дядя Тедди».

— Ладно,— доверчиво ответил Роланд, чем немало удивил Руперта.

Федор говорил с Роландом по-английски, но отказывался говорить по-английски с Рупертом, узнав, что тот немного понимает по-русски.

«Постарайтесь совершить хотя бы одну поездку морем»,— советовал адмирал Лилл, то же повторил и Колмен. И вот он плывет морем — но что толку? Берег, правда, недалеко, но его скрывает синяя дымка. Где уж тут разглядеть радиолокационные станции и антенны! Новороссийский порт, где они под вечер простояли несколько часов, производил опрятное впечатление, но в нем было довольно пусто. Подходы к порту, по-видимому, расчищались регулярно, фарватеры были достаточно глубоки даже для таких больших судов, как два танкера, стоявших на рейде. Десяток торпедных катеров в отличном состоянии выстроились у пристани, а неподалеку виднелись четыре совершенно одинаковых пароходика, с виду выносливых и прочных: у каждого из них на борту была надпись: «Спасательный».

— Что означает это слово? — спросил он, и Нина объяснила. В условиях современной войны, прикинул Руперт, достаточно одной или двух бомб, чтобы вывести такой порт из строя, и, посмеиваясь про себя, подумал: «Ну-ка, Тедди, попробуй угадать мои мысли». Не может ведь этот русский Жавер проникнуть к нему в мозг. «Хоть Тедди и готов к победе, тут он пасс»,— заключил Руперт свои размышления.

Он решил принять вызов, который своим присутствием бросал ему Федор,— один вид этого спокойного человека в кресле, совершенно не такого, как тогда, на реке, уже настораживал и тревожил Руперта. Что бы ни представлял собой Федор, он не мог быть тем, за кого его выдавала Нина: рядовым врачом, которому поручено заботиться, чтобы ни Руперт, ни Роланд не заболели, как Тэсс.

Впрочем, Федор был хорошим и ненавязчивым спутником; с Ниной он спорил, не горячась, хотя стоял на своем твердо. А перед тем, как они прибыли в Ялту, он спустился вниз и уговорил дежурного по камере хранения заранее выдать чемодан Руперта.

Глава тридцать первая

В тихий, знойный августовский день молодой Колмен обнаружил «героя англичанина» загорающим на крыше цементной насосной станции у края узкой полоски крымского пляжа. Рядом десяток местных ребят разложили костер и жарили рыбу, подстреленную из гарпунного ружья. Они вели между собой суровый мужской разговор.

Руперт с удовольствием глядел на их смышленые, решительные лица и белокурые головы. Английское лицо Роланда, надо признать, тоже не было безвольным, но оно не дышало такой решимостью, как лица этих мальчишек из деревни на горе. Двое из них курили папиросы. Каждый раз, когда кто-нибудь украдкой пытался вытащить из огня кусок рыбы, остальные сердито на него прикрикивали и заставляли положить кусок обратно.

В этом кружке Роланду предоставлялись известные привилегии: ему разрешали брать рыбу из огня и есть ее, когда захочется, и он пользовался этим безо всякого стеснения.

Это был свой мальчишеский мирок, куда не давали доступа взрослым. Руперт повернулся и посмотрел на Нину и на Федора. Нине не нравилось, что мальчики курят. Федор пробовал нырять вместе с ребятами, пользуясь их самодельными масками и железными гарпунами, но лишь наглотался воды и бросил свою затею.

— Как только матерям не стыдно, что их дети курят! — негодовала Нина.

— Им некогда стыдиться,— возразил Федор,— они работают. А почему мальчишки должны быть ангелами? Я не нахожу в них ничего дурного.

— Вы хотели бы видеть таких ребят в вашей стране? — обратилась Нина к Руперту.

— Я хотел бы видеть таких ребят в любой стране,— ответил Руперт.

Нина всегда проявляла такое желание возиться с ребятами и командовать ими, что Руперт задумался, почему у нее нет собственных? В эту минуту он вдруг увидел Колмена — тот стоял в каких-нибудь двадцати шагах от него у самой воды, обливаясь потом в своем твидовом пиджаке.

— Здравствуйте, Колмен,— Руперт поспешно приподнялся.

— Здравствуйте, мистер Ройс.

Колмен подошел к ним неуверенно, словно нащупывая почву под ногами. Кинув искоса взгляд в сторону Федора и Нины, он впился цепкими глазами в Руперта.

Руперт представил своим спутникам Колмена, как знакомого английского студента из Москвы, а затем спросил у него с наигранным удивлением, что он здесь делает.

— Я приехал в Ялту с туристской группой,— объяснил Колмен.— Мы осматривали санаторий, и нам сообщили, что здесь отдыхает английский герой, вот я и пришел засвидетельствовать вам мое почтение. Но, к сожалению, я должен сразу же вас покинуть — меня ждут.

— Я вас провожу,— предложил Руперт.

Извинившись перед спутниками и прикрыв от солнца голову и плечи полотенцем, он пошел с Колменом по крутой каменистой тропинке.

— Так и думал, что, если не буду зевать, я вас где-нибудь здесь встречу,— сказал Колмен.

Он объяснил, что приехал на неделю в Ялту с группой иностранных студентов и что санаторий, расположенный в нескольких километрах от Ялты,— крайняя точка их маршрута. Колмен считал, что ему необходимо встретиться с Ройсом, чтобы его предостеречь.

— С неделю назад они задержали на Украине двух немцев, мужа и жену,— рассказал он.— Подробностей я не знаю, но они провалились на том, что пытались фотографировать. У них крупные неприятности. Я вспомнил, что не предупредил вас. Ради бога, никаких снимков, будьте осторожнее с фотоаппаратом!

— У меня вообще нет аппарата,— с раздражением отозвался Руперт,— можете не предупреждать меня о таких глупостях.

— Вот и хорошо,— сказал Колмен.— Но будьте осторожны, мистер Ройс. Эти немцы влипли, как маленькие дети. Они задавали такие наивные вопросы. Типичные немцы! Удалось вам увидеть что-нибудь стоящее?

— Ничего я не видел,— ответил Руперт, которому был неприятен весь этот разговор.

— Не огорчайтесь,— утешил его Колмен.— Там наверху вы можете кое-что обнаружить.— Он мотнул головой в сторону высокой скалистой вершины Ай-Петри, которая, нахохлившись над крымским побережьем, как огромная серая клушка, загораживала полнеба.

— Вы еще туда не поднимались?

— Нет.

— Поднимитесь и хорошенько оглядитесь вокруг. Ради этого стоит даже пойти на риск. И ради Севастополя. У них здесь есть какие-то секретные объекты — либо в горах, либо в Севастополе, поэтому надо как следует все осмотреть!

— А не опасно вам тут у меня появляться?

— Ничуть. Было бы хуже, если бы я не попросил разрешения вас навестить. Я — единственный англичанин в нашей группе, а гид нам сказал, что вы находитесь здесь. Но я должен вас еще раз предостеречь, мистер Ройс. Будьте очень осторожны. Они следят за всеми, даже за вами. У них есть свои способы узнавать, чем занимается человек на самом деле. Эти двое немцев выдавали себя за искусствоведов; у них были отличные связи.

Руперт заметил, что Нина поднимается в гору за ними следом, и поспешил распрощаться с Колменом.

— Мы интересуемся прежде всего станциями дальнего обнаружения,— настойчиво повторил тот напоследок.— Помните: высокие куполообразные антенны. Я уверен, они расположены где-нибудь в районе Севастополя. Мы на вас очень рассчитываем.

Колмен пожал ему руку и сел в автобус, который стоял у главного входа в санаторий. Молодые пассажиры с любопытством разглядывали Руперта, пока автобус не тронулся обратно к Ялте.

— Руперт,— сказала, подойдя к нему, Нина,— мне надо поговорить с вами о Роланде.

— А в чем дело? — встревожился Руперт.

— Знаете, надо бы его устроить в детский лагерь «Артек». Это было бы куда лучше для него, чем играть на пляже с кем попало.

— Ну что вы, Нина! — рассмеялся Руперт.— Для городского мальчика это только полезно. Его приятели — хорошие ребята.

— Знаю, что хорошие. Все дети хорошие. Но Роланду лучше проводить время так, как его проводят дети в «Артеке».

— А как они его проводят? — подозрительно спросил Руперт.

— Управляют лагерем, участвуют в туристских походах, изучают природу, играют в разные игры, читают книги, занимаются музыкой и устраивают концерты.

— Где этот лагерь?

— Здесь, недалеко. Роланду там понравится. А когда мы поедем в Севастополь, нам будет за него спокойнее.

— Я думал, что вы останетесь с ним.

— Нет, я хочу поехать с вами!

Не собиралась ли она оберегать его от сближения с Федором? Споря друг с другом, Нина и молодой врач теперь уже не пытались скрыть взаимной неприязни. Федор порой высказывал, по мнению Руперта, здравые суждения, но Нина всегда считала нужным его поправлять. И сейчас она, видимо, собиралась ехать с Рупертом в Севастополь, чтобы не оставлять его вдвоем с Федором. Но поехать она сможет, только если Роланд отправится в пионерский лагерь.

— Я у него спрошу,— сказал Руперт.— Если он захочет, не возражаю.

■

— Ладно,— подумав, согласился Роланд.— А там интересно?

Руперт заметил, что не может за это ручаться, но Нина сочла вопрос решенным. Она пошла посоветоваться со своим таинственным оракулом и вскоре сообщила, что все улажено.

На следующее утро они отправились на машине в «Артек». Дорога бежала мимо виноградников, затем они проехали через чистенький курортный город Ялту и, миновав мягкие склоны гор, снова спустились на холмистое побережье.

Пионерский лагерь оказался отлично организованным местом отдыха для тысячи ребят в красных галстуках. Мальчики и девочки жили в великолепных зданиях, кругом зеленел цветущий и хорошо ухоженный парк, дорожки были покрыты асфальтом. Над морем возвышался белый павильон в греческом стиле. Три стайки ребят завладели Рупертом, Роландом и Ниной. Крепко ухватив гостей за руки, они повели их осматривать лагерь. Малыш с волосами ежиком и девочка чуть постарше, с двумя черными косичками, сопровождали Руперта; они показали ему главное здание, где в спальнях стояли безукоризненно чистые кровати и тумбочки, а мебель в комнатах отдыха была обита красным плюшем. Потом его привели в парк, где ребята затеяли русские пляски под аккомпанемент аккордеона. Тут были таджики и чукчи, монголы и китайцы и даже африканцы. Нигде не было видно преподавателей, кругом веселились одни дети.

Руперт хотел убедиться в том, что здесь не станут пичкать Роланда коммунистической пропагандой. Он спросил девочку с косичками — ей было лет двенадцать, и она говорила по-английски,— рассказывают ли им о политике.

— Да,— ответила она.— Конечно.

— О чем именно?

— О Ленине.

Ему показали Ленинский уголок. Руперт пошел к начальнику лагеря и стал его подробно расспрашивать. Да, конечно, с ребятами здесь говорят о политике. Как и со всеми советскими детьми.

— Мне это не очень нравится,— сказал Руперт Нине.

Нина перевела его слова начальнику лагеря, и тот заявил, что Роланд может не посещать таких бесед. Но было бы трудно отстранить его от участия во всех мероприятиях — пионерских сборах, соревнованиях между отрядами, от работы в кружках юных натуралистов или художественной самодеятельности, от чтения русских классиков и литературных диспутов.

Классики не слишком беспокоили Руперта.

— Есть здесь книги на английском языке? — все-таки спросил он.

— Конечно. Теккерей, Джек Лондон, Смоллет, Честертон, Диккенс, Драйзер.

— Ну, там не так уж много политики,— облегченно вздохнул Руперт.

Начальник лагеря старался держаться в стороне. Он молча стоял, в то время как дети толпились вокруг гостей и болтали наперебой. Руперт, еще раз взглянув на него и на детей, решил, что здесь муштрой не пахнет.

— Ну что ж,— пожав плечами, сказал он начальнику лагеря,— пускай посещает и беседы.

— Мы их здесь, собственно говоря, ничему не учим,— перевела Нина слова начальника лагеря.— Мы предоставляем им самим учить друг друга. Вот почему было бы нелегко отгородить вашего сына от всего, чем дети здесь занимаются.

— Ну что ж,— повторил Руперт.— Рискнем.

Неужели английское воспитание не сможет противостоять одной неделе коммунистической пропаганды? Руперт был уверен, что сможет. Он спросил Роланда, хочет ли тот остаться.

— Пожалуй, да,— ответил Роланд.

Руперт знал, что сын слишком горд, чтобы пойти теперь на попятный. Мальчик явно колебался; когда они попрощались и Роланд остался со своим чемоданом у дверей, Руперт не был уверен, правильно ли он поступает; Джо безусловно этого бы не одобрила. Сидя в машине, Руперт в последний раз оглянулся. Роланд уже смешался с толпой детворы: девочка с косичками держала его за одну руку, маленький китайчонок — за другую.

Но на Руперта напал страх. Не успела машина подняться в гору, как он вспомнил про адмирала Лилла, Колмена и радиолокационные установки, которые, должно быть, спрятаны в этих безлюдных горах. На мгновение его обуяла паника. Если русские схватят его на месте преступления, как это произошло с той немецкой парой,— что они сделают с Роландом? Не оставят ли они его у себя в качестве заложника? Позволят ли ему вернуться в Лондон?

Не в силах совладать с тревогой, он чуть было не велел шоферу повернуть назад: ему захотелось, пока не поздно, спасти сына.

— Не беспокойтесь за него,— сказала Нина.— Ничего с ним не случится. Он мальчик здоровый.

Нина снова почти разгадала его мысли.

— Да, конечно,— откликнулся он.

Он говорил себе, что русские никогда не смогут схватить его за руку — ведь все, в чем его можно было бы уличить, останется у него в мозгу. А это такое место, куда они не в состоянии проникнуть, по крайней мере, в наш век.

■

Да, они не могли проникнуть в его мысли — только сам Руперт Ройс был там хозяином. И все-таки это было не совсем так: его мыслями часто владели адмирал Лилл, Нина, Федор. Неужели он нужен и той и другой стороне? Заслуживала ли его персона такой упорной борьбы сил?

Порой Руперту казалось, что линия фронта пролегла через его мозг.

По совету Колмена он попросил Нину подняться с ним на вершину Ай-Петри, и Нина с радостью устроила эту поездку. Теперь он в раздумье смотрел на цепь обычных радиолокационных установок, которая спускалась по голому склону. Это были не те большие куполообразные антенны, которые разыскивал Колмен, но по их расположению Руперт догадывался, что они представляют собой часть широко разветвленной радарной сети, ибо обращены только к югу и западу. А где же другие, повернутые на восток и на север? Может быть, там, по ту сторону этой высокой горы. Далеко внизу белела кружевная кайма Черного моря. У их ног под покровом плотных белых облаков пряталось ущелье. Вершина горы оказалась ровным, зеленым лугом, пересеченным множеством тропок и укатанных грунтовых дорог.

Даже если поблизости и не было больших установок, часть сети раннего предупреждения могла находиться на противоположном склоне горы.

— Может, пройдемся в ту сторону? — предложил он Нине, показывая на покатый спуск, уходивший за складку горы. Ландшафт отсюда открывался нежный, живописный.

— Англичане обожают ходить пешком,— заметила, поднимаясь, Нина.

— Обождите нас! — крикнул Руперт Федору. Тот разлегся под большим чугунным шаром, установленным на гранитном постаменте в ознаменование какого-то геофизического года, и принимал воздушную ванну под нежаркими лучами горного солнца. Услышав голос Руперта, он вскочил на ноги и присоединился к своим спутникам, с явным намерением пуститься вниз бегом.

— Давайте пойдем потихоньку,— попросил его Руперт.

— Я люблю ходить в темпе,— крикнул Федор, и, не успели они опомниться, как он уже понесся вперед, прыгая, как горный козел.

Они снова увидели его уже на противоположном склоне, и когда Руперт с деланным безразличием окинул взглядом открывшийся пейзаж, он сказал лукаво, словно видел Руперта насквозь:

— Видите? Здесь ничего нет. Только трава да горы, а там внизу — море.

Глава тридцать вторая

Вечером они сидели в гостинице на балконе номера Руперта, наблюдая, как пограничная охрана пронизывает черную ночь своими прожекторами и освещает темное море в поисках чужих подводных лодок и шпионов.

Внизу, на ярко освещенной бетонной площадке, культурник санатория учил парочки танцевать вальс; оркестр из трех человек в сопровождении аккордеониста наигрывал сентиментальную песенку о Черном море.

— Раз-два-три, раз-два-три...

Культурник Саша кружился по площадке с молодой девушкой, наверх доносилось шарканье ног по бетону.

— Товарищи! — крикнул Саша, хлопнув в ладоши.— Теперь давайте все вместе!

Друг он им или нет? — размышлял в это время Руперт. Он друг всего, что наполняет эту ночь, этих двух людей на балконе, друг Саши и всех танцующих там внизу. Он друг Татьяны, молоденькой официантки, которая подает ему еду. Сегодня утром она рыдала, закрыв лицо руками: ей позвонили, что Костя, ее маленький племянник, отравился рыбными консервами и лежит в больнице. Она чуть с ума не сошла от горя. Через несколько часов, когда опасность миновала, Татьяна была вне себя от счастья. Она подсела к Руперту за столик, вытирая глаза, пила с ним кофе, рассказывала про свою жизнь. Ей двадцать три года. Ее мужа убили год назад на деревенской улице четыре солдата. Муж до этого сообщил по телефону командиру строевой роты о том, что четверо солдат вошли в магазин, где он работал, набрали водки и ушли, не заплатив. Их за это наказали. Тогда они передали мужу, что с ним рассчитаются. Муж знал, что его убьют. Однажды ночью они поймали его на улице и так изувечили, что он умер от шока. Но разве это озлобило Татьяну, восстановило против своей страны или коммунизма? Такая мысль ей даже не приходила в голову, наоборот, она решительно отстаивала свой народ, свою страну и свое общество под градом вопросов Руперта... Татьяна была отличной официанткой, она старалась изо всех сил. У нее была нелегкая работа, а Руперт ценил и уважал всякий труд. Веселая и смышленая, Татьяна жила в ладу с окружавшим ее миром. Больше того, она была ревностным приверженцем этого мира.

Считал ли он ее своим другом? Конечно. Татьяна несомненно была его добрым другом, так же как Нина и Федор. Но все это — отдельные личности, а не советское общество в целом или его идеи. А когда Федор, да и все русские говорят: «Вы наш друг», они на самом деле имеют в виду «Друг советского общества».

Нет, он все же не был настоящим другом советского общества. В душе он решительно этому противился.

Над головой у них, под карнизами кровли, шелестели крыльями ласточки. Снизу доносились взрывы громкого смеха. Отдыхающие бросили танцевать и затеяли какую-то игру; Руперт оперся подбородком на все еще нагретую солнцем балюстраду и стал смотреть вниз. Он увидел Татьяну — она веселилась в кругу отдыхающих и чему-то смеялась, позабыв, по крайней мере на время, свои горести.

— Вон Татьяна,— дружелюбно обратился он к Нине.

Нине нравилась Татьяна; она перегнулась вниз, окликнула ее и помахала рукой. Татьяна подняла голову, отозвалась и показала на них окружающим. Руперт почувствовал себя в атмосфере общего, ничем не омраченного доброжелательства. Она была свойственна русским — эта душевность, заинтересованность, какая-то необъяснимая теплота.

— В одном вы, во всяком случае, правы,— сказал он Федору под влиянием нахлынувшего чувства.

— В чем? — спросил Федор.

— У вас, у русских, есть что-то свое. Вы привносите в жизнь нечто такое, что делает ее значительной — всю, от рождения и до смерти.

— А это хорошо? — рассмеялся Федор.

— Наверно, хорошо,— ответил Руперт и опять подумал об адмирале Лилле.

Не этих ли поразительных и неуловимых, чуть ли не мистических черт искал в русском характере Лилл? Может быть. Но Руперт уже понимал и другое: все это были мелочи, обертона. Советский характер куда сложнее. И тут впервые Руперт в какой-то мере понял, что требовалось Лиллу.

Он совершенно отчетливо представил себе, каким мощным оружием в руках любой разведки является понимание основных черт характера возможного противника,— не какие-нибудь поверхностные и случайные наблюдения рядового разведчика, а подлинное знание того главного, что делает нацию нацией; может быть, русские назвали бы это главное своей «русской душой», но бог его знает, как это называли бы англичане. Есть ли для этого определение в английском языке? Если есть, то, наверно, это какие-нибудь чопорные слова. Чопорность, которая отличает англичан от русских, и является, вероятно, одним из тех недостатков английского характера, которые Лилл пытался преодолеть в себе, когда силился постичь подлинные источники желания советского человека увлечь весь мир своей коммунистической идеей.

Наутро Руперт снова перекликался с Джо через всю Европу. Он сказал, чтобы она не приезжала, что он почти кончил то, ради чего приехал. Он съездит в Севастополь, а потом надеется посетить остров Ахиллеса, вот и все. Вряд ли ей с Тэсс стоит предпринимать теперь такое далекое путешествие. Когда он вернется, они проведут вместе месяц во Франции. «Как Роланд?» — спросила она. Он не сказал, что Роланд находится в пионерском лагере, и сам устыдился того, что у него от Джо завелись секреты. Но как он мог это объяснить по телефону? Впрочем, о главном он с ней договорился. С этой мыслью он попрощался и повесил трубку.

Они собирались поехать в Севастополь через два дня. Но на следующее утро, когда они вернулись с пляжа, Татьяна сообщила Нине, что звонили из гагринского санатория, ее срочно вызывают туда: Алексей упал и сильно расшибся.

— Что они еще сказали?

— Я так и думала, что вы захотите узнать поподробнее, и все спрашивала, спрашивала, но эта докторша какая-то бестолковая: ничего мне объяснять не стала, говорит, вы не родственница и только твердила: пусть жена немедленно приезжает.

Нина побледнела, в глазах ее застыли растерянность и страх.

— Но я же вчера говорила с ним по телефону,— недоумевала она.— Он был совершенно здоров.

— Так ведь он упал,— напомнила Татьяна.

— Только вчера он мне сказал, что снова начал ходить. Ну, что мне с ним делать,— воскликнула Нина вся в слезах.— Надо было мне остаться и не выпускать его из постели! — Но она тут же взяла себя в руки и спросила Руперта:— Это, наверно, что-то серьезное, раз они меня вызывают?

— Боюсь, что да,— ответил Руперт.

— Вы же знаете, как он себя не бережет! Вот они и не смогли удержать его в постели. Когда он вернулся из Америки, мне несколько месяцев пришлось спать у него в палате, чтобы он лежал спокойно. Он никак не верит, что ноги у него больные.

Руперт неожиданно получил возможность увидеть, что лежит в основе советского брака. Он наблюдал Нину и Алексея вместе и врозь и пришел к выводу, что хотя их связывала все та же старая как мир любовь, обе стороны куда более независимы, чем в Англии. У Нины есть свои общественные обязанности, как и у Алексея, оба они поглощены своей профессией и не требуют друг от друга жертв, как это бывает на Западе. Он не знал, приходится ли им делать друг другу какие-нибудь уступки в личной жизни. Может, и приходится. Но разве брак и семья становятся менее полноценными, если женщина так же самостоятельна, как мужчина?

Конечно, всякий брак наполовину скрыт от посторонних глаз, но Руперт полагал, что Нина, которая преклонялась перед мужем, несмотря на все его безрассудство, была по советским понятиям преданной женой, как, впрочем, и по западным понятиям тоже.

Теперь он видел Нину такой же озабоченной и испуганной, какой была бы Джо на ее месте. Да он и сам был встревожен не на шутку. В последнее время он мало думал об Алексее Водопьянове. Стоило ему расстаться с Алексеем, и он тут же о нем забывал, пока Нина не заговаривала о муже и не вспоминала какой-нибудь эпизод из их супружеской жизни. А Руперт иногда рассказывал некоторые подробности их путешествия во льдах или долгой зимовки в фюзеляже самолета. Но он знал, что будет глубоко огорчен, если с Алексеем что-нибудь случится: неуемность Алексея, его веселое мужество внесли в жизнь Руперта что-то светлое, новое.

— Могу я чем-нибудь помочь? — спросил он у Нины.

— Нет. Сейчас я поеду в Симферополь и постараюсь попасть на самолет до Адлера.

— Может, мне полететь вместе с вами? — предложил он.

Она бросила на него благодарный взгляд.

— Если вы действительно хотите поехать со мной, я буду очень рада,— сказала Нина.— Алексей спрашивает о вас каждый раз, когда я ему звоню.

■

Они провели ночь в зале ожидания симферопольского аэропорта, похожего на железнодорожный вокзал и, как вокзал, полного терпеливых пассажиров. У всех были чемоданы, узлы, дети. Самолеты приходили и уходили, но число ожидающих не убывало. В конце концов Нина и Руперт дождались своего рейса и перед самым рассветом улетели.

Нина сидела, напряженно сжимая в руках сверток с завтраком и, чтобы о чем-то говорить, расспрашивала его о Джо и о детях.

— Я очень привязалась к вашему сыну,— говорила она.— Хороший, серьезный мальчик и ведет себя не так, как наши ребята: внимательно слушает, и чувствуешь, что ему интересно. Знаете, он открыл мне свой секрет: показал самодельный паспорт, который ему понадобится, когда он убежит из дому.

— Убежит из дому?!

— Вы только не принимайте этого всерьез. Он вовсе не собирается убегать на самом деле. Все дети мечтают о самостоятельности. Смастерил книжицу, все честь честью, почти как в настоящем паспорте: имя, фамилия, рост, возраст и даже особые приметы, в графе «род занятий» проставлено: «Путешественник, сирота и холостяк».

Руперт расхохотался. Он любил сына.

— Роланд похож на вас, а дочка похожа на вашу красавицу жену.

Руперту было приятно, что Нина назвала его жену красавицей. Но он знал, что «красавица жена» вроде Джо порой может быть весьма обременительным достоянием, чего нельзя сказать о Нине. При всем своем изяществе и хрупкости Нина была слишком независима, чтобы стать чьим бы то ни было достоянием.

— У вас нет детей? — спросил он.

— Нет,— ответила она. Он не задал следующего вопроса — это было бы бестактно, но она ответила сама: — У меня была дочка, ей было четыре года.— Произнеся эти слова, Нина на минуту задумалась, и ему сразу показалось, что в самолете слишком жарко, и летит он слишком медленно.— Она заболела менингитом и умерла. Я тогда была беременна. От горя у меня произошел выкидыш, и меня так искромсали, что я никогда больше не смогу иметь детей.

— Какое несчастье,— вырвалось у него.

— Да. Если бы не Алексей, я бы бросилась под поезд. Он неделями не отходил от меня ни на шаг, а когда я поправилась, забрал меня с собой в Арктику, где они совершали трудные и опасные полеты, на одну из наших дрейфующих станций; он знал, что там у меня будет работы по горло и мне придется волноваться за него и за других летчиков. Я даже выучилась на радистку, чтобы постоянно знать, что с ними.

Он не нашел слов утешения и только подумал, почему он раньше воображал, будто русские иначе относятся ко всему, чем англичане. Теперь он видел, какая все это чепуха. Ему вспомнилось шутливое замечание Федора: «У каждого русского жизнь похожа на русский роман; вот почему мы так любим персонажей нашей классической литературы».

Пока что это замечание себя оправдывало.

■

Алексей был в полном сознании, но какой-то полусонный. Увидев их, он нисколько не удивился. Нина вошла к нему первая, а потом послала за Рупертом. Руперт переступил порог палаты, где кроме Водопьянова лежало еще двое больных, у него сжималось сердце от мысли, что он увидит Алексея при смерти.

— А-а, дружище,— слабым голосом проговорил Алексей. Он протянул руку и обнял Руперта с такой силой, какой не могло быть у умирающего. Да полно, собирался ли он умирать?

— Не забудь, Алексей, что англичане терпеть не могут обниматься,— сказала Нина, и по ее голосу Руперт почувствовал, что у нее отлегло от души.

— Обнимаются, но только на футболе,— улыбнулся Руперт, поддерживая взятый Ниной шутливый тон.

Было ясно, что ничего страшного не произошло, и счастливая Нина сердито отчитывала мужа.

— Два дня назад он встал на ноги и тут же отправился гонять футбольный мяч,— рассказала она Руперту, а Алексей смотрел на них, сощурившись, и улыбался.

— Чего ты злишься? — пытался отшутиться Алексей, превозмогая действие снотворного.— Огорчаешься, что я не умер?

У него была забинтована голова, а рука была подвязана к спинке кровати, зато другой рукой он крепко вцепился в Нинин рукав. Руперт посмотрел на Нину.

— Сломал два пальца и раскроил голову,— шепотом объяснила Нина.— Алексей! — заговорила она по-русски.— Посмотри, что ты наделал: заставил нас прилететь сюда из Крыма. Как тебе не стыдно!

— Но я отлично себя чувствую,— устало отозвался Алексей.— Малость не повезло. Приятно вас видеть, Руперт.

— Ну разве можно тебе играть в футбол,— мягко выговаривала ему Нина.

Но Алексей уже заснул, и лицо у него было счастливое. Он был рад, что рядом с ним родные люди. Полный неистребимой жизненной силы, он крепко держал Нину своей единственной здоровой рукой.

■

Они провели день в Гагре, пообедали с врачами и сестрами, а потом вернулись в Адлер и провели еще одну ночь в таком же зале ожидания, как в Симферополе. К себе в санаторий они попали на следующий день к полудню, и Татьяна встретила их широко улыбаясь. Она знала, сказала она, что все обойдется благополучно.

Федор тоже обрадовался, но по-своему. Он сообщил без лишних слов, что машина заказана на завтрашний день и они поедут в Севастополь, как было намечено.

— Если вы не слишком устали,— добавил он.

Они очень устали, и это было нетрудно заметить — ведь они не спали две ночи. Но кто считался с усталостью в этой стране? От усталости здесь просто отмахивались, как от назойливой мухи. Руперт сказал, что если Нина согласна, он готов ехать, но усомнился в душе, заслуживают ли Лилл и Колмен таких жертв.

Все как будто вошло в свою колею. На следующий день по пути в Севастополь — злополучный Севастополь, где с Рупертом чуть не произошла катастрофа,— Нина сказала, что ей необходимо выполнить одно поручение. Она оставит его на несколько часов на пляже, так как ей нужно выступить в маленьком поселке перед рабочими новых виноградных плантаций в Байдарской долине.

— А почему бы мне не поехать с вами? — спросил Руперт.— Это разрешается?

Она покраснела. Руперт теперь знал, как заставить ее краснеть, и полюбил это развлечение. Ему нравилось видеть жаркий румянец на ее нежном, таком русском лице.

— Пожалуйста, если хотите,— согласилась она.

Когда они проезжали сквозь арку Байдарских ворот, их остановил милиционер на мотоцикле. Здесь дорога покидала берег моря и сворачивала в горы, а дальше вела к Севастополю, Балаклаве и к полям сражений сотни ненасытных войн.

— Кто вы и куда едете? — обратился к ним милиционер.

Федор коротко и не без раздражения объяснил ему, и машина покатила дальше, мимо белого бетонного водоема; потом они увидели с горы растянувшиеся на многие километры плантации молодых лоз, которые выстроились, как солдаты, на склонах известковых холмов.

— Эти виноградники разбиты после войны,— пояснила Нина.— Со временем они будут давать больше вина, чем вся Франция.

Руперт выслушивал такие заявления с недоверием, но виноградники тянулись все дальше и дальше, насколько хватал глаз. Ему захотелось узнать, почему Нину пригласили прочесть лекцию именно здесь.

— Местный директор раньше работал в нашем министерстве,— ответила она.— Это наш старый друг, и мне неудобно было ему отказать.

Они миновали какой-то новый поселок с похожими на кубики домами, крытыми гофрированным железом. Дорога вела к длинным белым строениям, видимо, складам.

— «Миру — мир»,— вслух прочитал Руперт.

Этот лозунг можно было прочесть всюду: на алых полотнищах, на стенах домов, над воротами фабрик, его выкладывали белым и красным кирпичом у железнодорожных станций и в городских парках, ежегодно печатали в газетах; был он начертан и на арке при въезде в пионерский лагерь «Артек».

Нину ждали несколько сот молодых женщин и человек пятьдесят мужчин. Они встретили ее веселыми аплодисментами, окружили, завалили цветами. Какие-то люди вручили Руперту охапку розовых гладиолусов. Руперт пожимал чьи-то руки, Федор отошел в сторонку. Толпа вынесла Нину вперед. Все последовали за нею к длинному белому сараю, в одном конце которого стояли грузовики и были сложены мешки и инструменты; остальная часть помещения была чисто подметена и превращена в просторный зал со скамьями, трибуной и красным полотнищем вдоль стены.

— «Мир всему миру!» — снова прочел Руперт.

Федор тронул его за руку и указал на другой плакат: «Мы создадим действительно свободный труд. Ленин».

Чего хотел Федор? Искренне убедить его в благородстве труда? Или вызвать у него ироническое замечание?

— Товарищи! — раздался звонкий женский голос.

Многоголосый гомон в зале стих.

Нину приветствовали продолжительными аплодисментами и такими же аплодисментами, стоя, приветствовали английского гостя, Героя Советского Союза Руперта Ройса.

Нина подошла к трибуне и вынула из кармана листок. Вид у нее был сосредоточенный.

— Товарищи! — голос ее звучал выше обычного.

Руперт подумал, как отнесся бы Лилл к этой сцене: к мужественным молодым лицам вокруг, к хрупкой женщине на трибуне, к дружескому приему, который повсюду оказывали Руперту и который так его смущал!

Он сразу потерял нить того, о чем говорила Нина; до него доходили только отдельные слова, что-то о ледяном Севере и жарком Юге и о рабочих, насадивших эти виноградники. Товарищи в Арктике знают и ценят их труд, людям, которые работают там, в вечных снегах, доставляют на самолетах виноградные гроздья, брызжущие жизненной силой. «Ваш виноград — живое хранилище солнечных лучей, а мы там, лишенные солнца, утоляем свой голод в нем, получая плоды вашего труда».

— Вы все понимаете? — спросила Руперта девушка в белой спецовке.

— Да, понимаю,— поспешил он заверить ее: ему не хотелось, чтобы она переводила.

Нина прочитала одно из своих стихотворений.

Ее наградили громом аплодисментов, и Руперт с удивлением почувствовал, что взволнован. Он видел, как молодые женщины в первых рядах вытирают слезы. Они

слушали Нину с напряженным вниманием, самозабвенно. Но он и сам испытывал какой-то подъем. Нина повернулась и посмотрела на него, он увидел ее бледное лицо и сияющие карие глаза, и ему вдруг пришла в голову мысль, что таких женщин он еще никогда не видел. Правда, минуту спустя это ощущение исчезло — перед ним была та же, привычная Нина, и он по-прежнему пытался проникнуть в ее внутренний мир.

Руперт взглянул на Федора.

— Тедди,— нагнулся он к нему,— это в самом деле хорошие стихи?

— Не знаю,— прошептал после минутного колебания Федор.— Может, стихи и плохие. Не знаю. Но дело не в стихах, а в чем-то другом.

Руперт понял, что дело в самой Нине и в том, что связывает ее с этими людьми. Все они такие же, как она, и она сумела проникнуть к ним в сердце, ответить на какой-то очень важный для них вопрос.

Аплодисменты стихли, Нина глубоко вздохнула. Руперт заметил, как распрямились худенькие плечи и напряглись сильные — для такой тоненькой женщины — руки, покрытые легкими веснушками; он не мог издали разглядеть ее глаза, но знал, каким чистым светом они сейчас сияют — чистым светом чистой души.

— А вам понравились? — шепнул ему Федор.

Руперт неуверенно кивнул. Делая скидку на свое слабое знание языка и даже допуская, что стихи плохие. ему нечего было возразить против того, о чем в них говорилось — против благородных стремлений, уважения к труду и надежды на счастье будущих поколений. Кто стал бы прстив этого возражать?

— О чем тут спорить? — ответил Руперт, с какой-то непонятной досадой, он словно пытался убедить в чем-то самого себя.— Я вполне согласен с тем, что она хочет сказать.

В глазах Федора вспыхнул насмешливый огонек. Это задело Руперта. Федор явно подсмеивался над ним. А может быть, это была насмешка над Ниной или даже над ними обоими?

■

Неужели его могло так взволновать плохое стихотворение? Его почему-то обидела эта мысль, и вскоре после того, как они тронулись дальше, он сделал первые пометки ручкой Колмена с невидимыми чернилами; жидкость стекала на бумагу, как разбавленное молоко, и тут же исчезала.

«Эти горы,— начал он,— словно созданы для войны»...

Они подъезжали к Севастополю, преодолевая подъем на каменистую гряду, которая полукругом тянется от Балаклавы. С вершины гряды, где теперь высился Памятник советским воинам, открывался вид на знаменитые своей красотой долины, лежащие к югу, и горы, господствующие над Балаклавой, которая (как многозначительно заметил Федор) была закрыта для туристов. К северу на плоскогорье лежали Инкерман и Севастополь.

Нигде не было видно ни деревца, ни признаков селений или памятников старины — один только монумент в честь советских воинов высился на вершине гряды, да по склонам Байдарской долины тянулись бесконечные молодые виноградники. Два тысячелетия войн опустошили эти места, тут навсегда осела пыль бесчисленных сражений, но земля, как видно, была плодородной, а мягкие теплые холмы так и жаждали трудолюбивых человеческих рук.

Руперт писал чудо-ручкой Колмена на страницах советской книжки в синей обложке под названием «Путеводитель по Черноморскому побережью Советского Союза». Федор и Нина пошли осматривать памятник. Руперт, который вообще терпеть не мог напоминаний о войне, отказался от этой прогулки; он остался сидеть под палящими лучами солнца на краю воронки от снаряда и делал записи на потребу адмирала Лилла: память его начинала сдавать, он уже успел позабыть многие свои первые, наиболее живые, а потому и важные впечатления.

Здесь, писал он, все дышит войной.

Склоны холмов чуть ли не сплошь были изуродованы воронками от снарядов последней войны. Федор здесь воевал. «Танкистом»,— сказал он. Он дрался на этих высотах; перед последним сражением, говорил он, ночью можно было читать газету: огонь советских пушек, минометов, «катюш» освещал окрестности, как днем, истребляя все живое в расположении врага.

— Мы оттеснили немцев на Херсонесский полуостров,— рассказывал Федор,— туда, где вы собираетесь искать остатки древнегреческих поселений. Мы загнали немцев на узкую полоску земли: их было пятьдесят тысяч, с танками, пушками и автотранспортом, но судов для эвакуации морем у них не было. Мы разрубили их группировку на части. В разгар нашей последней атаки мой танк подорвался на немецкой мине. У нас было свыше двухсот танков на фронте шириной немногим более километра; мы просто натыкались друг на друга. Когда мой танк подорвался, я выскочил из него вместе с наводчиком — он тоже уцелел,— и мы забрались в немецкий танк с большой пробоиной на боку; водитель на переднем сидении был еще жив, но нам некогда было его вытаскивать. И тут нас шарахнуло снова, и наши санитары потом никак не могли понять, почему мы очутились в немецком танке, да еще вместе с немцем.

Руперт спросил, каким образом Федор стал после войны врачом.

— Я лежал в госпитале,— пояснил Федор.— Война шла к концу. Я и мои товарищи решили поступить в медицинский институт. Все мы были танкистами; до войны один работал на тракторе, другой был машинистом в Одессе, третий — электромонтером... Пятеро из нас добились своего — получили дипломы врачей. Кое-кто вернулся к прежней профессии. Двое, увы, пристрастились к бутылке. Не знаю, что стало с остальными,— Федор вздохнул.

Федор то и дело вздыхал, поглядывая на эти холмы; Нина слушала его рассказы. Не собирала ли она материал для новых стихов о советском человеке, в то время как Руперт собирал материал для психологической стратегии адмирала Лилла?.. Впрочем, кто поручился бы, что речь идет не о стратегии всеобщего уничтожения?

Эта мысль угнетала Руперта. Завидев приближавшихся Нину и Федора, он поспешил спрятать свою ручку.

— Нам надо торопиться, если мы хотим еще сегодня осмотреть Севастополь и Херсонес! — сказала Нина.

■

Они приближались к Севастополю. У въезда постовой милиционер их не остановил. Федор велел водителю подняться на Малахов курган. Во время Крымской войны эта возвышенность, господствующая над центром Севастополя, считалась ключевой позицией. На вершину кургана они взошли пешком. Старый форт стал сейчас музеем, а старые пушки все еще были повернуты на юго-восток, в сторону английских и французских траншей. С круглой вершины открывался вид на растянувшуюся внизу севастопольскую бухту.

Руперт осматривался кругом со жгучим интересом. Федор уговаривал поскорее отправиться на Херсонесский полуостров, но Руперт не спешил. Он тщательно изучал окрестности.

— Когда мы вступали в Севастополь, здесь не было ни одного целого здания,— рассказывал Федор.— За десять лет мы отстроили город заново.

У их ног раскинулись совершенно новые кварталы белых жилых домов.

— А что находится там, с другой стороны? — спросил Руперт.

— Пойдем посмотрим,— сказал Федор, продолжая рассказывать.— Здесь было очень красиво до Крымской войны. После нее в Севастополе уцелело четырнадцать зданий. В тот раз его восстанавливали пятьдесят лет... Вот это — знаменитая бухта,— как-то подчеркнуто произнес Федор, пока они спускались с кургана,— она все еще в состоянии вместить объединенный флот Англии и Франции, а возможно, и Соединенных Штатов, если только им удалось бы сюда пробраться.

Руперт и его спутники спускались по дорожкам парка, а потом по улицам к бухте, которая лежала перед ними, как синий металлический щит. В порту было очень оживленно. У причалов стояли подводные лодки.

Они прошлись по городу пешком. Федор условился с шофером, что тот позднее подъедет за ними к Херсонесскому музею, где собраны реликвии античной культуры.

Когда они, наконец, добрались до музея, у входа их остановил милиционер в белой гимнастерке.

— Кто этот гражданин? — спросил он, указывая на Руперта. Нина, которая держала Руперта под руку, попыталась было пройти мимо, но милиционер их не пропустил.— Нет,— сказал он,— подождите. Кто этот гражданин?

— Это англичанин, Руперт Ройс,— отрезала Нина, давая понять, что нечего задавать глупые вопросы.

— Севастополь и Херсонес закрыты для иностранцев,— заявил милиционер.— Как он сюда попал?

— Это Руперт Ройс,— повторила Нина.— Разве вы не знаете, что он наш гость и друг?

— Ему нельзя находиться в Севастополе. Попрошу обождать.

— Но...

Милиционер отвел ее в сторону, и они скрылись за дверью канцелярии музея. Федор, присев на тумбу у входа, вытирал разгоряченное лицо с таким видом, будто весь этот инцидент его нисколько не интересует.

— Почему мне нельзя здесь быть? — удивился Руперт.— Разве никто не позаботился получить для меня разрешение, если Севастополь закрыт для иностранцев?

— Нина Сергеевна все уладит,— успокоил его Федор.

Но Нине ничего уладить не удалось. Встревоженный Руперт услышал доносившуюся из канцелярии сердитую перебранку.

— Если мне запрещено здесь находиться,— сказал он Федору,— давайте уйдем.

— Нет, подождем и посмотрим, чем это кончится,— безмятежно ответил Федор.

Милиционер вернулся. Вышла и разъяренная Нина. Милиционер направился прямо к Руперту.

— Вам придется пройти со мной,— объявил он.

— Куда? — по-английски спросил Руперт.

— Это единственный человек в Советском Союзе, который ничего о вас не слышал,— с раздражением бросила Нина.

— Куда он хочет меня вести? — переспросил Руперт.

— В отделение милиции.

— Только этого недоставало! — рассердился Руперт.— Если здесь нельзя находиться иностранцам, давайте уедем из города, и дело с концом.

Нина перевела это милиционеру, но тот лишь надвинул фуражку ниже на лоб и произнес фразу, начинавшуюся решительным «Нет!» Господину Ройсу придется проследовать с ним в отделение, настаивал он.

— Но я только сегодня утром говорила с секретарем горкома партии,— убеждала его Нина.

— Закон есть закон,— твердо произнес милиционер, не спуская глаз с Руперта. Он успел вызвать синюю милицейскую машину, которая остановилась около них.— Вам придется поехать со мной,— снова повторил он Руперту.

— Федор Николаевич! — позвала Нина.— Скажите ему, пожалуйста...

— Что я могу ему сказать, если он такой темный,— равнодушно откликнулся Федор.— Поезжайте с ним,— посоветовал он Руперту,— а я найду секретаря горкома и улажу это недоразумение.

— Мне не очень-то хочется садиться в милицейскую машину,— возразил Руперт.— Если мне нельзя быть в Севастополе, почему он, по крайней мере, не даст нам уехать?

— Так обходиться с гостем! — возмутилась Нина.

Милиционер потерял терпение. До сих пор он не обращал на Нину внимания. Но сейчас вдруг он напустился на нее и заявил, что предложит и ей поехать в участок, если она будет вмешиваться не в свое дело.

— Ну ладно,— разобрав, что он говорит, согласился Руперт.— Везите меня куда хотите.

Он сел в синюю «победу». Нина села следом за ним, милиционер устроился рядом с водителем; машина тронулась. Федор пошел по улице вразвалку, не оборачиваясь, и эта его неторопливость показалась Руперту чрезвычайно подозрительной. Если бы Федор хотел действовать, он пустился бы бегом.

Синяя «победа» поднялась в гору и остановилась в чистеньком переулке. Они вошли в подъезд. Несколько ступенек вели в помещение, которое, как подумал Руперт, походило на все полицейские участки на свете: голый пол, пустые столы, все так безлико, будто ни один человек никогда не заглядывал в эти комнаты. Милиционер провел их в кабинет, где стояли стол и два стула.

— Гражданка,— обратился он к Нине,— пройдемте со мной.

До сих пор Руперт не испытывал особой тревоги, но, прождав один в этой комнате с четверть часа, он стал нервничать. Он уже хотел открыть дверь, но тут в кабинет вошел другой милиционер; сняв фуражку, он положил ее на стол и предложил Руперту папиросу, от которой тот отказался.

— Вы говорите по-русски? — спросил милиционер.

Он был молод, подтянут, на его высоких сапогах не было ни пылинки. Судя по звездочкам на погонах, это был офицер.

— Я говорю плохо,— ответил Руперт.— Где мадам Водопьянова?

— С ней ничего не случилось,— отозвался офицер.— Как вы оказались в Севастополе?

— Я у вас гость, узнайте у моих русских друзей,— проговорил Руперт.

Он спрашивал себя, почему они не задержали заодно и Федора. Почему они отпустили его с такой легкостью?

— Вы сразу пошли в Херсонесский музей?

Молодой офицер курил папиросу, не спуская глаз со своей жертвы. Руперт решил, что и этот милиционер, по-видимому, ничего о нем не знает.

— Встаньте, пожалуйста,— попросил тот. Руперт нехотя поднялся. Он сидел на своем путеводителе, и офицер, наклочившись вперед, спросил:— Что это за книга, мистер Ройс?

«Значит, он знает, кто я!» Не дотрагиваясь до книги, Руперт ответил, что это путеводитель.

— Позвольте взглянуть.

Руперт взял со стула книгу и впервые почувствовал, какая страшная ему грозит опасность. Он исписал несколько страниц ручкой Колмена. На память ему приходили отдельные фразы: «Подходы к Севастополю не охраняются. На холмах нет никаких признаков оборонительных сооружений. Балаклава — закрытый город»...

Все это были довольно невинные наблюдения, предназначенные скорее для Лилла, чем для Колмена. Но любое исследование, которому подвергла бы книгу опытная контрразведка, должно было обнаружить, что он вел в ней записи симпатическими чернилами. Это уже подразумевало самое худшее. Неужели одного такого факта достаточно, чтобы его осудить?

Он почувствовал сильное искушение спрятать ручку, которая торчала у него из кармана рубашки, но удержался и решил не поддаваться панике. Слишком многое было сейчас поставлено на карту.

— На английском,— сказал офицер, перелистывая книгу. Он довольно сносно прочитал английский текст под рисунком:— «Дети купаются в море под наблюдением врача. Евпатория».

Если бы он посмотрел страницы на свет, он безусловно заметил бы следы записей, хотя Руперт и старался писать без нажима. Какая глупая, ребяческая выдумка! Неужели такими идиотскими фокусами можно решать судьбы мира?

— В Евпатории, рядом с товарной станцией, стоит памятник русским солдатам, которые сражались против англичан и французов в восемьсот пятьдесят четвертом году. Это очень старый город,— произнес офицер.— Вы туда поедете?

— Не знаю,— ответил Руперт.

— Теперь этот курорт предоставлен детям. Там наилучший климат в стране. Песок на пляже не содержит пыли, поблизости нет заводов, температура всегда отличная. Каждый год в Евпатории отдыхает у моря свыше ста тысяч детей.

Руперт кивнул. Офицер перелистывал путеводитель, рассматривая иллюстрации, потом поглядел на Руперта.

— Разве вы не знали, что Севастополь закрыт для иностранцев, мистер Ройс? — спросил он.

— Знал. Но я думал, что мы получили разрешение. Это не моя...— Он не находил русского слова, чтобы сказать «забота» и вместо этого произнес:— ...работа.

— Ну, а Херсонес? — осведомился офицер.— Разве вы не знали, что Херсонесский полуостров закрыт для всех, даже для советских туристов?

Руперт получил, наконец, нечаянное, но вполне авторитетное подтверждение того, что хотелось знать молодому Колмену; да и Лилл мог быть доволен. Если полуостров закрыт даже для советских людей, значит, там расположено что-то очень важное.

— Нет, я не знал.— Руперт мобилизовал весь свой запас русских слов:— К сожалению, меня особенно интересовал Херсонес. Я приехал в Советскую Россию, чтобы познакомиться с древнегреческими колониями. Херсонесский полуостров одно из самых интересных мест.

— Понимаю,— протянул офицер. Он все еще держал в руках путеводитель. С приятной улыбкой он сказал по-английски:— Подождите, пожалуйста, минутку.

Он ушел, унеся с собой книгу.

Пальцы Руперта потянулись к ручке Колмена. Но он сдержался и оставил ее в покое. Однако он не мог подавить своего страха. Руперт был потрясен собственной глупостью. Он вспомнил, как арестовали немецкую пару. Колмен сказал: «У них есть свои способы выяснить, чем вы занимаетесь в действительности». Руперт подумал о Роланде, и его обожгло сознание собственной вины. Роланд может пострадать больше всего. Пострадать могут и Джо, и Тэсс, но они, по крайней мере, находятся в безопасности. Пострадать может и Нина. Федора он ненавидел. Вероятно, все это его рук дело. Похоже, что именно Федор задумал всю эту операцию; он довел его до двери музея, а потом бросил. Нина была тут, по-видимому, ни при чем. Вряд ли ее смогут в чем-нибудь обвинить, и она, наверно, сумеет из этого выпутаться. Что касается его самого...

Руперт терзался угрызениями совести минут десять, виня во всем себя. Лучшей участи он не заслуживает, не надо быть таким болваном.

Тут дверь отворилась; на этот раз вошла Нина.

— Руперт! — Она бросилась к нему, точно он избежал серьезной опасности.— Я так огорчена! — Ее искренние чистые глаза выражали раскаяние.— Это все моя вина. Когда я звонила секретарю горкома, я ничего не сказала о Херсонесе. Я думала, что это часть Севастополя. Простите меня, я такая дура!

— Ничего,— утешил он ее.— Мы можем идти?

— Да. Федор Николаевич был у секретаря горкома, и тот сюда позвонил. Он сказал, что Херсонес закрыт для всех, даже для Федора Николаевича. Это военная зона. Мне это не пришло в голову. Дурная русская привычка — не доводить дела до конца. Когда нам кажется, что все в порядке, мы становимся легкомысленными. Такая безалаберность! Простите меня!

— Ладно, не расстраивайтесь,— успокаивал ее Руперт.

За спиной Нины стоял милиционер, который доставил их в отделение. Вид у него был сконфуженный.

— Я так на него разозлилась,— говорила Нина, кивая на милиционера.— Должен же он был о вас слышать. Ничего не понимаю. Похоже, что он даже газет не читает. Мог нам просто сказать, чтобы мы уехали из Херсонеса, вместо того чтобы тащить нас сюда.

— Не беда,— произнес Руперт, которому не терпелось поскорее уехать.— Давайте больше об этом не думать.

— Но мы можем посмотреть еще город. Нам разрешили. Посмотрим панораму.

— Нет, не стоит. Поедем обратно в санаторий.

— Но почему бы нам не остаться? — уговаривала Нина, пока они спускались по ступенькам в сопровождении милиционера, который следовал за ними по пятам.— Я никогда себе не прощу, если вы тут ничего не увидите.

Руперт взял ее под руку.

— Офицер, который меня допрашивал, забрал мой английский путеводитель — тот, что я купил в Ялте. Могли бы вы получить его обратно?

Нина сказала несколько слов милиционеру, который смотрел на нее теперь уже другими глазами. Тот повернулся и исчез за дверью, ведшей в голые комнаты участка, а Руперт и Нина снова стали ждать.

— Дежурный, который взял вашу книгу, ушел.— сообщил, вернувшись, милиционер.— Мы не можем ее найти. Но мы перешлем ее вам в санаторий по почте.

— Она нужна мне сейчас!

— Мы купим другой экземпляр,— нашла выход Нина.

Руперт понимал, что ему даже не так важно вернуть книгу, как спокойно, без паники обдумать свое положение. Не преувеличивает ли он опасность? Может быть, произошло простое недоразумение. Ну, а вдруг его тайные подозрения верны? Тогда ему надо выручить книгу во что бы то ни стало.

— Мне нужна м о я книга,— заявил он Нине.

— Но зачем? Мы достанем другую.

— Сам не знаю зачем. Но я хочу, чтобы мне ее возвратили.

Она снова обратилась к милиционеру. Тот ушел опять, а когда вернулся, сказал, что говорил с офицером по телефону. Офицер передал, что оставил книгу на столе, но там ее нет. Она пропала.

Руперт понял, что настаивать бесполезно и даже опасно.

— Ладно,— пожал он плечами, положившись на судьбу.— Так и быть, посмотрим вашу панораму, а потом вернемся сюда еще раз и узнаем, не нашлась ли книга.

— Отлично,— обрадовалась Нина.— Но я думаю, что мы могли бы купить ее даже здесь, в Севастополе. Я не сомневаюсь, что ее можно найти в любом книжном магазине.

— На английском?

— Конечно. Она нужна изучающим иностранные языки.

Руперт даже вспотел от волнения, и Нина почувствовала, что он не на шутку взволнован.

— Пожалуйста, не огорчайтесь,— попросила она.— Не всегда все идет ладно. Не надо принимать это к сердцу.

Они под руку вышли на улицу. У подъезда стояла их машина; рядом с водителем сидел Федор и читал небольшую книгу в синей обложке. Руперт вздрогнул.

— Она у Федора! — выпалил он.

— Я нашел русский путеводитель по Крыму,— обронил Федор, лениво поглядывая на Руперта.— Вот не знал, что Севастополю дал название Суворов и что по-гречески это означает: «Прекрасный город». А вы это знали? — спросил он у Руперта, когда тот садился в машину.

— Ничего я не знал,— сердито огрызнулся Руперт.

Руперт пытался разгадать Федора. Простак он или хитрец? Не нарочно ли он подстроил весь этот таинственный инцидент? О чем он знает или догадывается? Почему он купил тот же путеводитель, но на русском языке? На худощавом, спокойном лице Федора нельзя было прочесть ничего. Но, наверно, подумал Руперт, таким же непроницаемым кажется Федору и лицо его английского спутника, и, уж конечно, Тедди невдомек, как мучает Руперта совесть.

«Господи, ну и влип же я в гадкую историю!» — мысленно корил он себя. И все же он знал, что главной бедой было не это, а разлад в его душе. Борьба миров происходила и в его собственном сознании. Это он теперь понимал.

Машина снова повезла их вверх; выйдя из нее, они очутились в круглом здании и увидели огромную круговую панораму обороны Малахова кургана. На ней были изображены все подробности битвы: солдаты, пушки, кучи пушечных ядер, врачи в забрызганных кровью передниках, разрушенные траншеи, генерал в зеленом мундире, а у подножия кургана — атакующие английские и французские бригады под белыми облачками разрывов. Все это было изображено так живо, что на мгновенье Руперту почудилось, будто он сам находится на этом пригорке рядом с его отважными защитниками.

«Война, война, война! — грустно размышлял он.— Весь этот край точно для войны и создан».

Войны одного столетия переходили в войны другого, и кровь разноплеменных солдат пропитала эти прекрасные холмы. Они вышли на воздух. Какое облегчение — оказаться снова под горячими лучами мирного предвечернего солнца!

Они вернулись в отделение милиции, но книгу там все еще не нашли. Никто не знал, куда она девалась, однако ему пообещали выслать ее, как только она будет найдена.

Руперт решил немедленно уехать из Советского Союза. Он улетит завтра же. Надо выбраться отсюда прежде, чем они обнаружат его бессмысленные, дурацкие и, вероятно, бесчеловечные записи над фотографиями детей в белых панамках, купающихся в море у Евпатории, ибо записи его говорили о том, что он считает этот край естественной ареной кровопролития и человекоубийства.

Глава тридцать третья

На другой день он успокоился и раздумал уезжать.

Он не мог допустить, чтобы страх и сознание вины взяли в нем верх. В три часа душной ночью, лежа без сна в комнате санатория и прислушиваясь к однообразному плеску волн, омывающих пляж, он чувствовал себя во власти безотчетного страха. Но в семь, когда он побрился, выкупался и стоял на скале, глядя на гладкую, ласковую поверхность моря, он уже знал, что не смеет струсить.

Пусть это безрассудно, пусть его поймают, но бежать он не намерен.

Он уедет, лишь повидав остров Ахиллеса — Змеиный остров,— то, ради чего он сюда приехал. Правда, Нина все еще ссылалась на трудности, она говорила, что к крошечному островку может пристать лишь рыболовный катер. А рыболовные катера теперь, как на грех, в ту сторону не ходили. Нина то и дело исчезала, чтобы посоветоваться со своим оракулом. Она изо всех сил старалась загладить свой севастопольский промах и предлагала ему поездки в Фанагорию, Евпаторию, Феодосию и в места других знаменитых греческих поселений. Нет, говорил он, ему нужен остров, а времени у него остается в обрез.

Да и безрассудство его имело какие-то пределы.

Федор исчез.

— Он скоро вернется,— уверяла Нина.

Это исчезновение Руперту совсем не нравилось.

В конце концов Нина все-таки раздобыла катер.

■

Каждое утро Руперт теперь пытался читать советские газеты. Весь остальной мир стал для него уже «заграницей».

По вечерам он слушал передачи Би-Би-Си с помощью мощного приемника, стоявшего у него в комнате. Сначала он думал, что приемник поставили специально для него. Но как-то раз Нина пригласила его на вечеринку в комнату безрукого инженера, женатого на красивой женщине, которой приходилось кормить мужа с ложечки, подносить ему ко рту водку, зачесывать со лба волосы, так как руки у него были ампутированы почти до самых плеч (он был инвалидом войны, одним из бесчисленных инвалидов войны, встречавшихся Руперту в России на каждом шагу); в комнате инженера Руперт увидел точно такой же приемник. В санатории и в местных магазинах стояло немало других приемников; часто, сидя на балконе, он слышал доносившиеся откуда-нибудь снизу передачи «Голоса Америки», турецких или английских станций. Передачи принимали громко, и, по-видимому, никого не заботило, что их слушают.

Еще одна лепта в психологическую копилку Лилла? Руперт старался теперь блюсти интересы Лилла потому, что этого требовало его собственное душевное состояние. Он намеревался сказать адмиралу, что было ошибкой пытаться совместить в одном лице два вида разведки. Для того, чтобы точка зрения оставалась непредвзятой и наблюдатель мог впитывать то, что хотел знать Лилл, не надо было заниматься той чепухой, которая интересовала Колмена: сбор таких сведений мешал более серьезным наблюдениям и подвергал наблюдателя слишком большой опасности. Эта работа требовала большого нервного напряжения, а при серьезном отношении к заданиям адмирала нужен полный душевный покой.

Однако нервное состояние, в котором находился Руперт, заставило его еще внимательнее приглядеться к Нине — к ее бесхитростному поведению, к ее одежде, даже к походке. По-видимому, она была совершенно безразлична к чулкам, когда их вообще надевала. Она их не берегла на прогулках, как это делает большинство женщин на Западе. Да и другие русские дамы были на нее в этом похожи. Они от этого не становились менее женственными. Его представление о них постепенно менялось. Они, конечно, другие, чем их западные сестры. Бессмысленно было бы сравнивать с машинистками и продавщицами Лондона этих хорошо сложенных, крепких, пышнотелых женщин, румяных деревенских девушек или даже нарядно одетых городских модниц. Правда, машинисток или продавщиц здесь в санатории явно было мало, все девушки, по-видимому, были студентками. А молодые женщины — работницами, инженерами, педагогами, геологами. Как-то в автобусе он шепотом осведомился у Нины, какова профессия их спутниц; Нина обошла весь автобус, спрашивая (к его величайшему смущению) пассажирок от имени английского героя Руперта Ройса о роде их занятий. Шестеро оказались геологами, совершавшими путешествие на велосипедах, две — инженерами-электриками, две — студентками института иностранных языков, четыре — работницами консервной фабрики и две — водителями троллейбусов из Москвы. Среди них не было ни одной продавщицы и ни одной машинистки. В России, наверно, меньше переписки, меньше продают и меньше покупают, думал Ройс.

Руперт обнаружил также, что он испытывает какой-то клинический интерес к тому, как любят в России, хоть и не знал, говорило ли в нем собственное любопыт-

ство или желание просветить Лилла; он наблюдал за молодыми парочками на улицах Ялты, на пляже, в кипарисовых аллеях санаторного парка. Нет, любовь повсюду одинакова. Любовь одинакова, но влюбленные — разные. Здесь они избавлены от рекламы сексуальной жизни и не так погружены в мир сексуальных эмоций, сексуальных проблем, которые на Западе повсюду лезут в глаза и уши, бьют в нос. В Советском Союзе, насколько он мог судить, отношения между полами не принято широко выставлять напоказ.

Руперт считал, что он достаточно осведомлен, чтобы делать такие сравнения. Он воспитывался в пресыщенной среде — быть может, самой пресыщенной на свете — и хорошо знал, как ведут там себя женщины. Разумеется, доступные девицы, толкавшиеся на улицах Лондона, эти убогие копии светских дам, были не в счет. Но и сами подлинники часто казались ему чудовищными. Только богатые люди знают, какими глупыми, невежественными, невоспитанными, пустыми и отталкивающими могут быть богачи. Он отлично понимал, что делает, порывая с кастой имущих и переходя в ряд среднего класса, умственно ограниченного, но, по крайней мере, обладающего какими-то нравственными устоями, не такого растленного и — что самое важное — трудового.

Но уйдя из метеорологического управления, Руперт распростился и со средой средних буржуа, и теперь смысл их жизни не казался ему таким уж непреложным. Одновременно он как будто утратил и веру в свой труд. Веру в деньги он потерял давно. И уж во всяком случае не мог больше верить в извечность привилегий того класса, к которому принадлежал по рождению; все это умерло безвозвратно. А сейчас ему даже казалось, что поколеблено его безоглядное уважение к науке...

Почему?

Было в Советской России, в этой чужой стране, нечто, подрывавшее все, во что люди верили раньше, но он не знал, что именно. Нельзя сказать, чтобы здесь предлагали взамен что-то лучшее. Он был убежден в превосходстве своего мира — люди там лучше едят, лучше воспитаны, более образованны (впрочем, то, что он тут успел увидеть, заставляло его усомниться в превосходстве западного образования). И все же достаточно было провести несколько недель в этой стране, чтобы почувствовать себя так, словно ты перенесся на другую планету или долгое время плаваешь на корабле в открытом море. Твой критический взгляд на мир вдруг делался острее, и от этого все в жизни меняло свой смысл, рушились привычные представления. Тебя вынуждали задуматься, и ты обнаруживал сложности там, где раньше все казалось просто. И хотя адмирал Лилл сумел внушить Руперту образ мыслей и любознательность совершенно особого свойства, он уже все ставил под сомнение и не знал, являются ли русские с их морскими крепостями и радиолокационными установками такими смертельными врагами, какими их считает адмирал Лилл.

Что ему еще осталось здесь сделать? И осталось ли вообще что-нибудь? И не зря ли он рискует, задерживаясь лишний день, лишний час?

Он не находил ответа, его тянуло домой. Он стосковался по Джо и Тэсс.

А тут еще пришло письмо от Роланда. Руперт сидел на балконе, задрав ноги, читал письмо сына и не мог подавить в себе неприятного чувства: в тоне мальчика проскальзывала какая-то новая, чисто русская нотка. Руперт отложил письмо и, взяв горсть жучков, которых он набрал еще утром, стал приманивать ласточек, носившихся под его карнизом. Но тут в комнату влетела возбужденная Нина, за ней Татьяна несла обед.

— Завтра едем! — в восторге сообщила Нина.— Все в порядке, Руперт. Завтра вечером из Одессы отплывает катер-лаборатория. Мы можем вылететь из Симферополя в девять утра; в Одессе нас встретит машина и отвезет на катер. Через сутки мы будем на острове. Федора Николаевича ждать не станем.

— А где же все-таки Тедди? — угрюмо спросил Руперт.

— Снова умчался в Севастополь,— нетерпеливо объяснила Нина.— Вернется завтра вечером, но нам это уже поздно. Поедем без него.

Руперт даже привстал.

— А что ему понадобилось в Севастополе?

— Понятия не имею. Какое-то срочное дело. Ничего, обойдемся и без Федора.

— Руперт! — позвала его своим молодым, звонким голосом Татьяна.— Идите скорее. Обед стынет.

Он поспешно поднялся. Татьяну он слушался. Ему нравилось, что официантка зовет его по имени, как будто это в порядке вещей. Однажды он шутливо спросил Нину, почему Таня зовет его запросто Рупертом.

— Но она же вас любит! — ответила Нина.— Все вас здесь любят. Поэтому вы для них просто Руперт.

Нина теперь часто бесила Руперта, выводила его из себя. А она видела, что он чем-то расстроен, но, должно быть, не догадывалась, чем именно. Разумеется, она ничего не подозревала о его тревогах насчет Федора, Севастополя и дурацкого синего путеводителя.

■

Утром, очень рано они вылетели из Симферополя; злополучный Севастополь остался далеко в стороне. Совершив посадку на маленьком раскаленном аэродроме Николаева, они вскоре прилетели в Одессу, закрытую темным облаком пыли. Огромный бурый город стоял на бурой равнине, и его омывало мелкое желтое море.

Руперт был с Ниной вежлив, но держался отчужденно — между ними снова выросла стена взаимных подозрений, хотя он и понимал, как это глупо. Нина была молчалива. Она порой обращалась к нему за советом, но когда нужно было принять решение насчет багажа, машины, обеда или маршрута, все решала сама и лишь коротко сообщала ему, что надо делать. Она была целиком поглощена своими обязанностями гида. Его это устраивало; ему не хотелось отягощать свою жизнь новыми привязанностями; вот он посмотрит остров Ахиллеса, исследует его, насколько это будет возможно, а потом заберет Роланда из пионерского лагеря и наконец-то унесет ноги из этой страны.

— Почему вы так торопитесь? — обиженно спросила она.— Мы могли бы осмотреть еще и Фанагорию. Там самые интересные древнегреческие раскопки на всем Черном море.

— По-моему, с меня хватит,— сухо ответил он.

Она подчеркнуто старалась ему угодить по долгу гостеприимства и так же подчеркнуто, по долгу гостеприимства, старалась рассеять малейшее его недовольство, но внутренне недоумевала и огорчалась. «Что случилось? — казалось, спрашивали ее сердитые глаза.— Почему вы вдруг стали со мной так холодны?»

Он знал, чего она от него хочет: все того же — дружбы. Но он упрямо смотрел на мир глазами адмирала Лилла. Одесса была открытым портом, однако присланная за ними «победа» отвезла их с аэродрома на хорошо охранявшуюся военную верфь, окруженную высоким дощатым забором. Машину пришлось оставить за воротами, и они двинулись пешком вдоль пристани в сопровождении вооруженного сторожа. Они прошли мимо шести стоявших на якоре небольших подводных лодок (новой конструкции) и двух эсминцев, а потом увидели странную передвижную площадку с высоким краном — по-видимому, погрузочное устройство для перемещения каких-то сложных и тяжелых механизмов. Может быть, для перемещения ракет. А может быть, дизельных двигателей к подводным лодкам. Не исключено, что русские применяют на подводных лодках новейшую систему съемных двигателей, это очень современно и обеспечивает наилучший способ эксплуатации: двигатель вынимается и заменяется другим, как на моторной лодке. Не то в Ньюкасле, не то на Клайде как раз строили по такому принципу довольно крупное грузовое судно, а для небольших подводных лодок это было необычайно удобно.

Их ожидал маленький катер, судя по оснастке — плавучая лаборатория рыбных промыслов. У сходней их встретил капитан — невысокий, приземистый, в рубашке и брюках цвета хаки, с непокрытой головой: он выглядел таким же крепким, как тумба, к которой был пришвартован катер; капитан с ленивой усмешкой сообщил Руперту, что фамилия его Кирпотин. На вид ему было лет тридцать. Он провел Нину и Руперта в отведенную им каюту с четырьмя койками. Кирпотин еще стоял у двери и разговаривал с ними, объясняя назначение шкафчиков, когда Руперт почувствовал, что заработали двигатели. А когда капитан закрыл за собой дверь, чтобы дать гостям устроиться, катер уже вышел в море.

■

Руперт помнил, что его друзья из английского военно-морского флота относились к советскому флоту со смешанным чувством уважения и высокомерия, поскольку никто из них ничего толком о нем не знал. Крейсер «Свердлов», который во время празднеств коронации вслепую вошел в гавань Плимута с помощью счетно-вычислительных устройств радиолокации, многим открыл глаза на истинное положение вещей. Если прибавить к этому атомный ледокол и первоклассных спутников, круживших вокруг Земли, глупо было сомневаться в том, что Советский Союз имеет атомный ракетный подводный флот или что русские — превосходные моряки.

Руперт в этом и не сомневался, но теперь он почувствовал, что русские моряки обладают крепкими морскими традициями — и это его удивило. Наличие традиций в британском флоте казалось ему легко объяснимым. Но откуда они взялись в русском? Однако, поразмыслив, он понял, что и Советская Россия с ее длинной береговой линией тоже должна обладать давнишними мореходными навыками. Многие друзья Руперта по Арктике были твердо уверены, что русские знают о навигации во льдах больше кого бы то ни было; он где-то читал, что огромный советский рыболовный флот новее и лучше оснащен, чем рыболовный флот любой другой европейской страны. Сейчас у него появилось такое ощущение, будто он плывет на корабле, который управляется сам собой — без приказов с капитанского мостика, без неизбежного антагонизма между верхней и нижней палубами, без тех атрибутов власти, которые хоть и не слишком подчеркиваются на английских судах, тем не менее всегда бросаются в глаза.

Временами казалось, что капитан — единственный человек на катере. Он меланхолически им подтвердил, что катер пройдет мимо острова Змеиного, так как плывет к устью Дуная, где им предстоит исследовать некоторые свойства морских рыб.

Нина и Руперт даже позабыли про свою невысказанную взаимную обиду, так их заинтересовала лаборатория, где молодые женщины трудились над картами, колбами, медными ситами и черпаками. Оба смотрели на все это с увлечением, хотя, как полагал Руперт, по разным мотивам. Его интерес был чисто практическим, Нину же, как видно, больше привлекала романтика труда рыболовов.

— Тут, к западу от Крыма, повсюду мелководье и живая вода,— застенчиво объясняла Нине девушка в белом халате.— Но к югу от Крыма глубина моря доходит до двух с половиной тысяч метров и на дне образовалась стоячая вода. Когда-то здесь было пресноводное озеро. Потом сюда прорвалось Средиземное море и убило пресноводных, которые так и остались лежать на большой глубине, разложились и выделяют вредные газы, убивающие все кругом. В нашем море мы все время ищем границу между жизнью и смертью.

«В нашем море»... Руперта всегда поражало это русское словечко «наш»; его применяли к людям, рекам, друзьям, к долгу и к будущему. В устах этой девушки оно обозначало свое, домашнее море.

— Как здесь обстоит дело с течениями? — спросил Руперт.

— Все они идут против часовой стрелки. И не очень быстрые.

— А Средиземное море все еще вторгается в Черное? — спросила Нина.

— Воды Черного моря текут по поверхности Босфора. На глубине двадцати метров в обратном направлении текут средиземноморские воды. Это замечательное явление.

Тем временем на море поднялась мертвая зыбь, и Руперт заметил, что Нину одолевает морская болезнь. В маленькой, обитой цинком лаборатории пахло химикалиями и рыбой. Руперт вывел Нину на палубу. Они постояли в узком проходе, Нина взяла его под руку и стала глубоко вдыхать свежий воздух.

— Как же вы путешествуете на Севере? — спросил он.— Вам, наверно, приходится терпеть муки ада.

— Меня всегда укачивает,— призналась она.— Но когда-нибудь я привыкну и к самолетам, и к автомобилям, и к кораблям.

Да, Нина есть Нина, внутренне улыбнулся он. Ее вера в прекрасное будущее так же непоколебима, как и ее вера в то, что она сумеет побороть морскую болезнь. Она убеждена, что когда-нибудь все переменится, все достигнет совершенства, даже ее вестибулярный аппарат. Он снова залюбовался ее бледным бесстрашным лицом.

— Вы редкое существо, Нина,— сказал он, слегка ее поддразнивая.

Но она улыбнулась и только крепче взяла его под руку: они снова были друзьями.

■

Чтобы не стеснять Нину, Руперт лег спать на верхней койке над ее головой. Он надел пижаму под одеялом и крикнул ей, что готов. Ее все еще мутило, и он не знал, разделась она или нет,— свет она выключила. Катер качало, его били волны, и Руперт мгновенно заснул.

Ранним утром катер встал на якорь и кто-то их разбудил, крикнув за дверью: «Товарищи! Мы прибыли». Было еще темно. Нина быстро встала. Руперт тоже оделся и даже умудрился побриться. Потом они позавтракали копченой колбасой и буженины. Чисто выбритый, меланхолический капитан объяснил, что погода хорошая. Их высадят на берег, как было намечено, и катер вернется за ними к полуночи или, может быть, на следующее утро чуть свет.

Они условились обо всем остальном: им оставят продукты, спальные мешки, лопату для раскопок и несколько ракет с ракетницей, чтобы помочь ориентироваться катеру, если, придя в полночь, он даст несколько пистолетных выстрелов в воздух.

Они вышли на мокрую палубу. Катер слегка покачивало, и в теплом утреннем море, словно присыпанном розовой и желтой пудрой, они увидели остров. Он был величиной примерно в одну квадратную милю. Прямо перед ними тянулась невысокая скалистая гряда, в глубине подымался конусообразный холм.

— Какой он маленький,— заметила Нина.— Я думала, он больше.

— Я тоже так думал,— признался Руперт.

Их снаряжение лежало на носу. Капитан готовился пристать к берегу. Руперту казалось, что они несутся с безрассудной скоростью, но когда до песчаной полосы под скалами оставалось рукой подать, катер дал задний ход, задрожал и волна легко и мягко вынесла его нос далеко на песок.

С носа спустили одну за другой две доски. Руперт и Нина, взяв спальные мешки и рюкзак с едой, сбежали по шатким мосткам прогибавшимся под их тяжестью. Не успели они сойти на песок, как доски были убраны и катер дал задний ход. Капитан стоял на носу, глядя на них, как на полоумных. Они ему помахали, и он затопал назад, на свой мостик.

— Подумайте! — воскликнула Нина.— Мы с вами одни на необитаемом острове, единственном необитаемом острове на всем Черном море.— И восторженно взмахнув руками, она пробежалась по берегу. Ее ноги оставляли в песке глубокие следы.

— Пожалуй, надо прежде всего подумать, куда сложить наши вещи,— сказал Руперт.

Он поднял спальные мешки, лопату, перебросил через плечо тяжелый рюкзак с едой и, отказавшись от помощи Нины, двинулся вверх по ложбинке. Нина сразу же от него отстала.

— Правда, хорошо очутиться снова на твердой земле? — весело крикнула она ему.

— Не отставайте,— откликнулся он.

— Ох, до чего же я люблю землю! — добавила Нина и поспешила за ним.

■

Руперт стоял на округлой верхушке холма и озирал окрестности; вокруг виднелась только пожелтевшая летняя трава и тучи птиц, стремительно круживших у берега. Он спрашивал себя, откуда же начинать раскопки.

Как ни странно, здесь могла решиться его судьба. Он знал, что если найдет хоть какой-нибудь обломок античной утвари, его воображение поможет ему придать этому обломку такое значение, что он вырвется из заколдованного круга, где господствовали интересы адмирала Лилла. В сущности, наибольшего успеха в археологии добивались любители, а стоит ему захотеть, и он будет достаточно богат, чтобы позволить себе заняться археологией всерьез.

И теперь, разглядывая остров, он ощущал такой подъем, точно у него выросли крылья. Все тревоги внезапно растаяли. Он позабыл и Лилла, и Колмена, и синюю книжку, пропавшую в Севастополе, и загадочное исчезновение Федора. Он позабыл обо всем, что его терзало. Сейчас даже Джо и дети отступили куда-то на задний план. Да, думалось ему, здесь на острове многое поставлено на карту, и он целиком отдался во власть этого радостного чувства.

Они укрыли свои пожитки в небольшом углублении в скале и стали осматривать остров с каким-то наивным, детским восторгом, все время ощущая, что здесь они совершенно одни посреди теплого зеленоватого моря; впереди день, а может быть, и ночь на острове. И, хотя Руперту очень хотелось что-нибудь найти, его вместе с тем не покидало веселое ощущение, будто они приехали на пикник. Никто не мог помешать им позавтракать на пляже, поплавать, растянуться на песке и делать все, что душе угодно. Но Руперт был слишком деловит, чтобы бездумно получать от жизни удовольствия; он стал размышлять о цели, которая его сюда привела.

Он проделал долгий и трудный путь, надеясь найти остатки храма Ахиллеса. Возможно, где-то здесь под слоем земли лежит изваяние героя, созданное резцом древнегреческого мастера. Сейчас предстояло отделить легенду от исторической правды. Предания утверждали, что богиня Фетида* подарила этот остров своему сыну Ахиллесу, он здесь жил и пас коз. Однако самые старые языческие мифы, в основе которых, вероятно, лежала история какого-то подлинного героя или воина, никогда так тесно не связывали Ахиллеса с морем.

— По-видимому,— рассказывал Руперт Нине, пока они сидели под жаркими лучами солнца на вершине холма, разглядывая окрестности,— Ахиллес поселился у моря много позднее. Он всегда был одним из любимых героев в черноморских колониях. И все же я не пойму, как они могли устраивать здесь в его честь театральные представления и спортивные празднества. Странно,— удивлялся Руперт.— Пока что нигде не видно даже следов обработанного человеком камня.

— Развалины, вероятно, засыпаны землей,— утешала его Нина.

— Вряд ли. Тут нет места, где бы мог стоять храм. Вершина острова скорее выветрилась, чем обвалилась. Если здесь когда-нибудь находилось селение или стоял храм, мы бы увидели хоть какой-то его след.

— Вы огорчены? — спросила она.

— Не очень,— рассмеялся он.— В конце концов, это была только мечта.

— Вы слишком быстро сдаетесь.

— Я никогда не сдаюсь! И чтобы это доказать, я сейчас пораскину мозгами.— Становилось все жарче, он встал и снял рубашку. (Нина сидела под своим белым зонтиком.) — Допустим, что я греческий архитектор и собираюсь построить на этом маленьком острове храм,— где я его поставлю?

— На возвышенности,— высказала предположение Нина.— Где-нибудь здесь. Давайте посмотрим, что там на другой стороне,— предложила она.

— Сперва надо точно решить, где искать. Если здесь строили храм или хотя бы алтарь, он должен был находиться на восточной стороне острова, куда падают лучи утреннего солнца. Иными словами, там, где мы пристали; в древности, как и сейчас, наилучший подход к острову был, наверно, с этой стороны.

Ему припекало голову, и он обернул ее рубашкой; они стали спускаться по

---

* В греческой мифологии морская богиня. *(Прим. перев.)*

голому склону холма. В небе пронзительно кричали чайки. Они вернулись к скалистой гряде и принялись тщательно осматривать ее гребень в поисках обработанного камня, черепков или других следов древности. Кое-где Руперт пускал в ход лопату. Они обследовали обрыв, потом берег. Стоя по колено в воде, с туфлями в одной руке, подбирая юбку другой, Нина крикнула:

— Мы будто пришли сюда по грибы.

— Давайте пройдемся по берегу вокруг острова и осмотрим его со всех сторон,— предложил Руперт.

Они решили надеть купальные костюмы и до полудня осмотреть большую часть побережья.

Но вскоре все снова превратилось в веселую прогулку: слишком трудно было отказаться от этого удовольствия. А, в сущности, так ли ему важно гоняться за прошлым? — подумал Руперт. В нем снова боролись противоречивые чувства. Нина шла вдоль берега, по воде, разглядывая ракушки и отгоняя круживших над головой чаек. Она нашла гнездо пеликанов, и это обрадовало Руперта: во всех храмах Ахиллеса пеликаны считались священными птицами, хранителями алтаря. Руперта снова охватил археологический азарт.

Жара стала нестерпимой, Руперт и Нина пустились вплавь. Пообедали они в тени небольшой расселины между скалами. Судовой кок снабдил их красной икрой, семгой, вяленой и копченой рыбой; крутыми яйцами, колбасой, курицей, яблоками, черным хлебом, датским сыром, двумя бутылками сладкого — слишком сладкого — муската и двумя большими термосами с питьевой водой.

— Немудрено, что рюкзак был такой тяжелый,— заметил Руперт.

Они лежали в тени, пока Руперт не почувствовал угрызений совести, что теряет драгоценное время. Он снова отправился бродить по острову, заглядывая в щели между скалами.

— У нас на Севере,— сказала Нина, бредя рядом с ним под своим зонтиком,— охотники говорят, что если все время думать о красном звере, только о нем и ни о чем другом, непременно на него нападешь. Но мне-то о чем думать? — спросила она насмешливо.— Храма здесь явно нет.

— Ладно,— ответил он.— Я знаю, что вы мне не верите. Но давайте так: я буду искать обломки, а вы монеты.

— Монеты?

— Да. Монеты бывают повсюду.

— Но они ведь такие маленькие...

— Ничего. Вы ищите.

— Хорошо! — весело согласилась она и, опустившись на четвереньки, принялась исследовать склон.

Внезапно она засмеялась, вскочила, побежала вдоль берега и скрылась за скалами, а Руперт терпеливо продолжал орудовать лопатой, раздумывая, зачем его понесло в этакую даль в погоне за какой-то дурацкой химерой.

■

Было душно, жарко; зайдя за бугор, он обнаружил спавшую под зонтиком Нину. «Значит, и этот человеческий механизм иногда останавливается»,— удивился Руперт. Нина открыла глаза, улыбнулась и показала пальцем на горизонт.

— Молния,— сообщила она.

Далеко на горизонте протянулась черная полоска; тучи то и дело освещались по краям слабыми зарницами.

— Поспите еще,— сказал он.

— Нет. Кажется, собирается гроза. Очень душно.

Он тоже чувствовал в воздухе тяжесть. Море стало свинцовым, небо потускнело, горизонт дышал скрытой угрозой. Нина пошла прятать одежду, обувь и рюкзак в расселину на случай дождя, а Руперт забрался повыше на скалистую гряду и, к своему удивлению, увидел на откосе над самым берегом остатки какого-то жилья.

Он сообразил, что в последнюю войну здесь, очевидно, стояла артиллерийская батарея; подойдя поближе он обнаружил сколоченное из досок укрытие с жестяной крышей. Судя по всему здесь стояла немецкая 80-миллиметровая зенитная пушка, кругом валялись старые металлические снарядные ящики.

«Грустно,— подумал он,— даже здесь все замусорено отбросами войны». Рядом торчал кусок колючей проволоки — самое безобразное о ней напоминание.

Он собрался снова зыкупаться, но услышал голос Нины.

— Смотрите! Смотрите! — кричала она, показываясь из-за скалы и держа что-то в протянутой руке.— Смотрите, что я нашла!

На ладони у нее лежал свинцовый или бронзовый грубо вырезанный кружочек; несмотря на то, что он был залеплен землей, сразу было видно, что это древняя монета.

— Греческая,— определил он. На одной стороне можно было различить бородатое лицо, на другой — изображение колесницы и несколько букв древнегреческого алфавита. Он знал размеры тетрадрахмы и статера; эта монета была похожа на александрийский статер.— Где вы ее нашли?

— Я просто выдернула пучок травы,— рассказывала Нина по дороге к месту находки.— Монета лежала под корнями.

— Вам повезло,— сказал он.— Может быть, это очень важная находка.

— Ну, и умница же вы,— вырвалось у Нины.— А ведь я в душе вам не верила.

Нина была так взволнована, что, когда Руперт опустился на колени и начал копать землю в том месте, где нашлась монета, она принялась отгребать землю руками. Он ее остановил.

— Я буду копать землю, а вы ее просеивайте,— предложил он.

— Хорошо.

Нина работала с увлечением. Они тщательно исследовали каждый клочок земли, и когда ей попадался камешек, она так долго его рассматривала, словно ее взгляд мог превратить его в еще одну монету.

Они были настолько поглощены своим делом, что забыли о времени и не обращали внимания на удушающий зной. Вдруг близкий удар грома обрушился на них, как гигантский зверь, обнаруживший их на пороге своей пещеры.

— Начинается! — тревожно произнесла Нина.— Смотрите!

На северо-востоке почти все небо заволокло аспидными тучами. Они были такими темными, что их отсвет изменил все кругом: почернела земля, почернело море и даже солнечные лучи, падавшие им на лица, казались черными. Море заволновалось, словно от каких-то гигантских толчков, и молния расколола черный день ослепительно-белой полосой.

— Скорее! Надо все затащить в укрытие,— распорядился Руперт.

Они побежали к скалистому обрыву, и тут тучи совсем закрыли солнце, а гром и молния оглушили и ослепили их.

Дождь начался не сразу. Это был еще только пролог к буре. Руперт и Нина бежали по острову, роняя вещи, спотыкаясь и поддерживая друг друга; они вбежали в укрытие, обливаясь потом. Руперт осмотрел крышу. Она была вся в дырах.

— Я позабыл лопату,— спохватился он и побежал назад.

— Не надо! Вернитесь! — кричала ему вдогонку Нина.

Молния разрезала огненным ножом гребень холма. Руперт помахал рукой и устремился вверх по склону; буйство первозданной стихии приводило его в восторг. Но он давно не бегал и скоро стал задыхаться. Найдя лопату, он постоял, наблюдая, как сильные порывы ветра кромсают поверхность воды. Словно смерч обрушился на остров, потом наступила тревожная тишина.

— Какая красота! А ну, скорей, скорей! — подстегнул он себя вслух.

Первая капля дождя свинцовой дубинкой ударила его по голому плечу.

— Руперт! — выбежав за ним из укрытия, звала Нина.

Он отвел глаза от картины надвигающейся грозы и помчался обратно; черное небо разверзлось, и хлынул ливень. Весело схватив Нину за руку, он увлек ее вниз по склону; с неба на них низвергался водопад теплой воды.

Под дождем Руперт принялся осматривать и чинить крышу. Он выпрямил лопатой погнутые листы кровли и заложил камнями зиявшие щели. Мокрые волосы свисали ему на лицо; он успокаивал Нину: она боялась грозы. Море билось о скалы валами мутной воды и коричневой пены, и вскоре уже нельзя было ничего разглядеть сквозь потоки черного дождя.

— Руперт! — отчаянно закричала Нина, когда молния ударила в землю совсем близко от него.

— Не надо бояться! — крикнул он и поскользнулся. Земля уже превратилась в месиво, а дождь бешено отбивал дробь по перевернутой лопате.

Вбежав в укрытие, он встал рядом с Ниной, весь мокрый, с трудом переводя дух. После каждой вспышки раскаты грома сотрясали остров, а стены укрытия жалобно дрожали.

— Немудрено, что греки верили в Зевса и Гефеста,— пошутил он.— Это игра титанов.

— Мне страшно! — воскликнула Нина, кутая плечи в полотенце.

Он потрепал ей волосы на затылке, поднял ее голову за подбородок, потому что она опустила ее, устыдившись своего испуга, и рассмеялся.

— Вас она не убьет.

— А если ударит сюда?

— Ну, это не обязательно.

Она дала ему другое полотенце, чтобы он вытерся.

Первый порыв ветра, налетевшего на них там, на холме, был только пробой сил. Теперь поднялся настоящий ураган,— он навалился на укрытие, как гигантская рука, пытавшаяся то раздавить его, то поднять в воздух. Веселый бог забавлялся вовсю, но убежище держалось. Щели пропускали струйки горячего воздуха, дождь сочился по стенам, но пол оставался сухим, и сверху почти не текло. Нина хотела закрыть дверь, однако Руперт настоял на том, чтобы оставить ее открытой: ему хотелось наблюдать олимпийские игры богов на помутневшем бурном море.

— Катер не вернется за нами в такую погоду,— сказала Нина, натягивая блузку на глаза, чтобы ничего не видеть.— Терпеть не могу грозу. В ней есть что-то противоестественное. Может убить зазря.

— Какая разница? — возразил он.— Всякая насильственная смерть противоестественна. Чем молния страшнее потерявшего управление автобуса?

— Может быть, вы и правы,— сказала она.— Но я бы не хотела умереть от молнии.

— А как бы вы хотели умереть? — шутливо спросил он.

— От старости,— серьезно ответила она.— А уж если мне суждена внезапная смерть, хочу умереть за что-нибудь стоящее. Можно умереть насильственной смертью, но только за то, во что веришь больше, чем в саму жизнь.

Да, смерть от молнии была бы слишком легкой для Нины. Но эта женщина, которая так боялась молнии, готова была пройти через огонь, ужасы и пытки, защищая свой коммунистический мир. Эта мысль его рассмешила.

— Вы напоминаете мне первых христиан,— сказал он, с аппетитом жуя колбасу.

Новый удар грома так сильно тряхнул их укрытие, что оно чуть не обвалилось.

— Ерунда! — насторожилась Нина.— Я не верю в бога. Неужели вы в него верите?

— Иногда верю, а иногда нет,— сказал он.— Скорее, я верю в языческих богов, олицетворяющих силы природы. В общем, они куда человечнее и привлекательнее наших богов.

Нина почувствовала себя в безопасности только с наступлением темноты, когда о буре напоминали лишь гигантские валы на море, непрерывные удары грома и редкие вспышки молнии.

В укрытии было сухо и совсем темно, только молнии освещали его желтым, пронзительным светом. Строение было сбито на совесть и, по мнению Руперта, простоит еще долго, хотя те, кто его сооружали, наверно, давно сложили головы на поле битвы. Руперт и Нина переоделись и, растянувшись на полу, стали рассказывать о себе. Он узнал, что до встречи с ним Нина никогда не разговаривала ни с одним англичанином. Где же она так хорошо научилась говорить по-английски?

Нина объяснила, что училась в московском институте иностранных языков. Как же она стала культработником? По ее словам, сначала она была в Арктике учительницей английского языка. Ее послали туда по окончании института. Там она встретила Водопьянова, вышла за него замуж и стала читать лекции на дальних зимовках. Ее лекции о русской и английской поэзии понравились. Управление Северного морского пути предложило ей остаться и продолжать эту работу. В свою очередь, Нина спросила, чем занимается Джо, и, когда он ей ответил, сказала:

— Но ведь она даром тратит свою жизнь, Руперт. Разве вам не кажется, что ей хотелось бы жить интереснее? Возможно, она боится вам это высказать, потому что женщин, которые добиваются независимости, у вас считают плохими женами и плохими матерями? Наверно, у вас это так.

Ее слова почему-то его раздосадовали, не потому ли, что втайне он сознавал их справедливость? Руперт поразился проницательности Нины, ведь она жила в совершенно другой среде. Она продолжала его расспрашивать: как они встретились с Джо, богатые ли они люди и как чувствуют себя богачи в стране, где столько бедных? Он не стал разрушать ее иллюзий, но удивился, когда она вдруг заметила:

— И у нас тоже можно быть богатым. Можно, например, иметь свой дом, нельзя только наживать деньги на деньгах, то есть пускать свои деньги в оборот.

Ему было покойно лежать в темноте и откровенничать о своей жизни, как принято только в России. Время от времени Руперт выходил наружу, чтобы взглянуть на черное небо и проверить, не кончился ли дождь, но каждый раз, когда он возвращался и снова устраивался рядом с Ниной, он чувствовал, что просто старается уйти от того, что было уже неизбежно.

■

Позднее Руперт старался убедить себя, что во всем было виновато их уединение, необычная обстановка, разгул стихии, пробудившей в них смятение чувств. Но, как бы там ни было, сила, толкнувшая их друг к другу, оказалась могущественнее всего, чем они пытались ее побороть.

Все началось со случайного, дружеского прикосновения. Она взяла его за руку — ей было спокойнее от этой невинной близости.

Но близость трудно удержать в рамках.

Его пугало то, что происходит. Они тянулись друг к другу, но все еще сдерживали свое желание, и это его только усиливало. Руперт притянул Нину к себе и почувствовал, что она вырывается. «Нет, нет!» — шептала она.

Но он уже не мог побороть себя. Внезапно она уступила, и это его обезоружило.

«Надо уйти!» — твердил он себе.

Но он уже не мог уйти и, хотя ощущал, как что-то мешает не только ему, но и этой сдержанной, преданной долгу Нине, которую он так почитал и которой так восхищался, он знал: уже поздно. Они зашли слишком далеко и не могли остановиться. Вместо этого остановилось время...

■

При свете дня Руперт не в состоянии был объяснить себе, как два порядочных человека могли себе это позволить.

Ведь ничто этого не предвещало — не было ни бездумного заигрывания, ни скрытого влечения. Понадобились необычайные обстоятельства, эта первозданная буря, чтобы толкнуть их друг к другу. Но и когда они завтракали, и потом, когда нехотя копались в земле, отыскивая уже не нужные монеты, он понимал, что все куда сложнее.

— Я виновата и перед вами, и перед вашей женой,— сжав зубы, твердила Нина.— Я никогда себе не прощу...

— Не смей так говорить,— сказал он.

Думала ли она при этом о своем муже? Любит ли она Алексея? Он знал, что любит. Разве в этом можно сомневаться? Они стояли на холме, глядя вниз на бурую пену и водоросли у края воды, и он смотрел, как она молча плачет. Он знал по ком. Она ведь предала и себя.

— Ничего,— промолвил он с нежностью, но до того неубедительно, что ему самому стало больно.

— Нет, чего! Простите, что я плачу. Простите меня, Руперт.

Если бы она повела себя по-другому, легко отнеслась к тому, что произошло, сочла это минутным заблуждением, которое можно тут же забыть, если бы она, наконец, позволила себе вновь уступить страсти — он бы, наверно, ее возненавидел и прожил бы остаток жизни с сознанием, что совершил чудовищный проступок, ничего не получив взамен. Но стыд, который мучил их обоих, разбудил в нем глубокое чувство, которого он прежде не знал.

Глава тридцать четвертая

Алексей ждал их в санатории, на затылке у него красовался большой кусок пластыря, а два сломанных пальца были забинтованы; санитар Гриша все время упрашивал его посидеть.

Он встретил их в холле, на ногах, крича во весь голос:

— Нина! Руперт! Вот и я! — точно это они его здесь ожидали, а не он их.

— Ну,— беспомощно сказала Нина,— что ты еще наделал?

— Ничего,— ответил он с невинным видом.— Мне разрешили приехать.

— Это правда? — спросила она Гришу, абхазца с грустным лицом, который, казалось, заранее покорился всем превратностям судьбы, в том числе и безрассудным выходкам Алексея.

— Правда,— вздохнул Гриша.— Мне было велено сопровождать товарища Водопьянова и следить, чтобы он не слишком много ходил.

— Вот видите! — с довольным видом произнес Алексей.— А там мне одному было скучно.

Руперт внимательно наблюдал за этой маленькой семейной сценой и за Алексеем: ему хотелось понять, не привели ли его сюда, подозрения или ревность. Но нет, натуре Алексея не были свойственны ни подозрения, ни ревность. Он слишком верил в себя и был непоколебимо уверен в своей жене, своих друзьях и в своем замечательном английском друге Руперте Ройсе.

Зато сам Руперт на миг почувствовал острую ревность, и это его поразило.

Шагая по широким полутемным коридорам, Алексей неловко оперся на руку Руперта своей забинтованной рукой — он с открытой душой принимал помощь своего английского друга. Другой рукой он попытался в знак покаяния, а может быть, из бравады нести Нинин чемоданчик, но она сердито отказалась от его услуг.

Руперт шел, привязанный к Алексею знакомой хваткой его железной руки. Он чувствовал себя как узник, прикованный наручниками к своему тюремщику, и, шагая, лихорадочно думал о том, что уедет из России немедленно, завтра же и уж никак не позже чем послезавтра.

■

Немного погодя он попросил Нину заказать разговор по телефону с Джо и с Роландом. Ему пора уезжать. Он выполнил все, ради чего приехал в Советский Союз.

— Да,— тихо сказала она.— Вы правы. Вам надо уехать.— Она уже не пыталась его удерживать, взывая к его привязанности или дружбе. Ей изменило чувство долга, а вместе с ним надломилась и ее воля.

«Надо держать себя в руках,— твердил он себе сурово.— Все кончено. Я совершил непростительную ошибку, но теперь уже ничего не исправишь».

Руперт напрасно пытался себя утешить, он ведь был человек старомодный. Его нравственные устои ничем не отличались от моральных принципов Нины. Ничто не могло заставить его забыть о том, что произошло.

— Роланд у телефона! — крикнула ему Нина.

Руперт подошел к аппарату и невольно отметил про себя, что они с Ниной снова одни. Алексея отправили в пустовавшую комнату отдохнуть. Но как только Нина передала ему трубку и он услышал далекий голос Роланда, все остальное отступило на второй план.

— Это ты, отец?

Обращение «отец» прозвучало довольно церемонно. Вероятно, Роланд был в одном из тех необщительных настроений, когда он изображал взрослого.

— Да, это я,— прокричал в трубку Руперт.— Как ты поживаешь?

— Спасибо, очень хорошо. Что-нибудь случилось?

— Нет, нет. Я звоню потому, что пора собираться домой,— сказал Руперт.

Роланд немного помолчал.

— А можно мне остаться здесь до четверга?

— Тогда я приеду за тобой в пятницу.

Они сухо и вежливо попрощались, и Руперт повесил трубку.

Нина взглядом спросила его, что сказал Роланд.

— По-моему, он чувствует себя там как рыба в воде,— заметил Руперт.— Хочет остаться до четверга, поэтому закажите нам места на самолет до Москвы на пятницу. Это возможно?

— Думаю, что да.

Они тоже были друг с другом необычайно вежливы, но странное дело: чем дальше они старались друг от друга держаться и чем больше прилагали к этому усилий, тем больше разжигали в себе чувство, которого прежде не испытывали. А оно, в свою очередь, толкало их на близость, которой они так упорно старались избежать.

— Вы можете соединить меня по телефону с Джо? — спросил он.

— Вам придется подождать до одиннадцати вечера,— сказала она.— Я к тому времени вернусь. А сейчас, если я вам больше не нужна, я должна пойти утихомирить Алексея.

— Спасибо, мне ничего не нужно.

— Тогда я пойду.

— Хорошо.

Нина уходила нехотя, и он отпускал ее тоже неохотно. Он вдруг осознал, что последние две-три недели проводил с ней целые дни, а вот сейчас она закроет за собой дверь и уйдет к другому. «Что она будет делать, когда войдет к Алексею? — спрашивал он себя.— Как она будет себя с ним держать? Неужели она будет такой, какой была раньше?»

— Нина! — окликнул он ее.

Она неуверенно обернулась.

— Да?

— Где Тедди? — осведомился он, принуждая себя думать о другом.— Он вернулся из Севастополя?

— Вернулся, а потом снова уехал, когда узнал, что нас нет. Не знаю, где он сейчас. Кажется, гостит у приятеля. Кто-то приезжал с ним из Севастополя... А что? Он вам нужен?

— Нет, ничего. Я просто подумал, куда он девался.

— Вернется. Не беспокойтесь,— сказала она и поспешно ушла, воспользовавшись тем, что Татьяна принесла обед.

Тревожные мысли о Федоре и о синем путеводителе были сейчас для Руперта даже облегчением. Что угодно, лишь бы не думать о Нине!

Хотя время обеда прошло и Руперту совсем не хотелось есть, он все же сел за стол, чтобы Танины труды не пропали даром.

■

Руперт и Нина просидели на балконе битый час, ожидая соединения с Лондоном. Вокруг синела тихая, теплая летняя ночь. Наконец Руперт услышал нетерпеливый голос Джо, донесший до него аромат другого, английского лета.

— Здравствуй, Джо! — его крик нарушил полуночную дремоту.— Как поживаешь?

Но Джо вдруг куда-то пропала, и он закричал громче, чтобы ее вернуть.

— Джо, ты меня слышишь?

— Когда ты приедешь домой? — спрашивала она.— У тебя даже голос обрусел. Ты съездил на остров? Я только что получила твое письмо...

— Да,— ответил он, мысленно кляня этот остров.— Мы там были. Ты слышишь? Мы вернемся, наверно, через неделю...

— Я ждала вас сегодня или завтра. Роланд с тобой?

Она снова исчезла, и он крикнул ей:

— Нет, он спит!

Он до сих пор так и не сказал ей, что Роланд в пионерском лагере. Успеется. Многое еще успеется. Связь опять прервалась. Наступило молчание. Потом Джо появилась снова в середине торопливой фразы о том, что Тэсс уже два дня в больнице.

— Почему в больнице? — кричал он.— Я ведь думал, что она выздоровела.

Тут их разъединили, и он передал трубку Нине: некоторое время она громко пререкалась с телефонисткой, потом развела руками.

— Они попытаются соединить вас вторично,— пообещала она.

— Джо говорит, что Тэсс в больнице...

— Давайте подождем.

Они вернулись на балкон, утонувший в синеве над темным морем,— оно было покрыто глазурью белого лунного света, но прожектор пограничников то и дело резал его, как пирог.

— Зачем вам ждать, Нина? — сказал Руперт.— Вы, наверно, устали.

— Ничего. Разговор скоро дадут.

Она вновь обрела свое чувство долга, свое бесстрастное гостеприимство. Зато он вновь почувствовал опасность — ее сдержанность только напоминала ему о том, чего нельзя было себе позволять. И чем дальше, тем было хуже. Спокойствие не возвращалось к нему. Он надеялся, что голос Джо все поставит на свое место, но дело оказалось не так просто. Джо — это Джо. Голос ее был спокойным, далеким и безличным, какой сейчас казалась ему и она сама. Одно душевное слово от Джо — и он почувствовал бы себя совсем иначе, но Джо не умела говорить душевных слов. Все у нее было на редкость трезво и прямолинейно, даже любовь.

— Алексей не будет беспокоиться, если проснется? — спросил Руперт Нину.

— Нет,— тихо ответила она.— Он знает, где я; а пока с ним побудет Гриша. Алексей спит.

«А ты пока сидишь здесь со мной»,— чуть не вырвалось у него цинично. Но цинизм был несвойствен ни его настроению, ни его натуре. Он знал, что она испытывает то же, что и он. Ей было, наверно, даже труднее — ведь другая часть ее жизни находилась всего в нескольких шагах от нее, и ей приходилось и там и тут сохранять спокойствие и выдержку.

— Мне очень жаль: Нина...— с отчаянием произнес он.

— Теперь уже это касается только меня,— тихонько прервала его она.

Да, но и у него самого не все решено! Голос Джо напомнил ему об этом. Правда, для него не было новостью, что у них с Джо разные натуры, разный душевный мир. Но теперь он начинал понимать, что между ним и Ниной это различие не так велико. И какой бы характер ни носила человеческая слабость, с которой оба они боролись, даже эта борьба рождала между ними странное душевное сродство, какого Руперт раньше никогда не ощущал в своих отношениях с другими людьми.

— Не надо себя терзать,— мягко сказала Нина.

Женщины так спокойны и выносливы, подумал он. Во всяком случае, она казалась спокойной, хотя он и не был в этом уверен. Телефон избавил его от дальнейших мучительных расспросов, на которые он все равно не получил бы ответа.

Руперт опять услышал ровный голос Джо, и опять в нем вспыхнула тайная надежда, что в ее далеких словах он обретет поддержку и спасение. Но этого не случилось.

— Они сделали Тэсс очень болезненную клизму,— сообщила Джо.— Вот и все. Взяли анализы и говорят, что она здорова.

— Прекрасно! — воскликнул он.— Я постараюсь приехать как можно скорее.

— Хорошо, но только не смей лететь,— приказала Джо.

— Почему?

— Пожалуйста, не лети! С Роландом не надо. Поездом из Москвы всего два дня, так что, прошу тебя — самолетом ни в коем случае!

— Ладно,— пообещал он и вдруг, как ни странно, почувствовал облегчение.

Жизнью детей дорожишь больше, чем своей, и защищаешь ее упорнее, чем что бы то ни было на свете, о детях думаешь всегда в первую очередь, а у Руперта к тому же была с детьми та близость, которая не нуждалась ни в каких подпорках. Дети — венец любви, даже если любовь не приносит полного удовлетворения. Даже если вдруг — довольно поздно в жизни — ты обнаружил душевное сродство с кем-то другим.

■

Руперт и так считал, что дела его плохи, но утром, когда Нина читала ему в парке «Правду» — Алексей в это время ловил соломенной шляпой бабочку,— его по-настоящему испугала короткая заметка, на которую сама Нина не обратила никакого внимания.

— «В пятницу в Москве арестован так называемый английский «студент», который в действительности оказался агентом иностранной державы и подвизался в Советском Союзе на поприще шпионажа. Задержанный собирал информацию экономического и военного характера. Он сознался в своей противозаконной деятельности и раскрыл имена других агентов...»

— Как его фамилия? — спросил Руперт.

— Здесь не сказано,— бросила Нина и принялась читать ему о событиях в Конго, от которого американцы, по утверждению газеты, пытались отколоть Катангу; затем она прочла о результатах запуска советского спутника с животными на борту — он благополучно приземлился две недели назад.

— А Тедди еще не вернулся? — поинтересовался Руперт.

— По-моему, он в Москве,— ответила она, подняв глаза от газеты.— Что вы так о нем беспокоитесь? Вы его еще увидите.

— Я по нем соскучился,— солгал Руперт.

Он знал, что возвращение Тедди наверняка грозит ему гибелью, без всяких преувеличений. Теперь он в этом не сомневался. Ну что ж, ничего не поделаешь. Нина заказала места на самолет до Москвы на пятницу. Если повезет, он прилетит в Москву в пятницу вечером и сядет на воскресный поезд в Лондон.

Но Федор наверняка появится раньше, а, может быть, его, Руперта, схватят в Москве.

Руперту становилось все труднее прятать снедавшую его тревогу под маской внешнего спокойствия. Может быть, это и привело к физическому недомоганию, во всяком случае, наутро он проснулся, чувствуя слабость и жар. У него была высокая температура, все тело ныло. «Грипп»,— решил он. Руперт попробовал скрыть свое состояние от Татьяны и Нины, когда те пришли к нему, как обычно, с утренним завтраком. Но болезнь его была слишком явной, он даже не смог долго высидеть на стуле.

— У вас жар,— констатировала Татьяна.

— И совсем больной вид,— добавила Нина.

Он беспомощно кивнул. Конечно, приятно, когда две молодые женщины о тебе беспокоятся. Но он был слишком болен даже для такого тщеславия. Они велели ему лечь в постель, и он с наслаждением забрался под горячую простыню.

Глава тридцать пятая

Нина и все доктора санатория забили тревогу.

Нина не пускала к нему никого, даже Алексея. Входить в его комнату разрешалось одной Татьяне. Его изолировали как раз тогда, когда он начал привыкать к тому, что люди запросто стучат к нему в дверь с единственной целью — сообщить, как они рады с ним познакомиться. И вот Нина наложила на все это запрет.

Зато стали ходить санаторные врачи — их было девять человек, и дверь к нему в комнату не закрывалась целый день. Он считал, что доктора чересчур серьезно относятся к его болезни, хотя чувствовал себя и в самом деле отвратительно. Сестры щупали ему пульс и брали кровь на анализ, врачи мерили давление, слушали сердце и легкие, выстукивали его.

— Хватит с меня докторов! — взмолился он на второй день.

— Но им же надо выяснить, что с вами,— сказала Нина.

— Я и так знаю, что со мной.

Нина покачала головой. Она была очень встревожена. Она была так встревожена, что ни на минуту не хотела оставлять его одного. Засыпая днем, Руперт знал, что она сидит в соседней комнате, читает и боится, чтобы он не отослал ее прочь.

— Даже врачи не знают, что с вами,— возразила она,— так откуда же вы можете знать? Придется делать вам рентген.

— У меня грипп,— доказывал он ей, с каким-то странным удовольствием ощущая слабость и истому.

Теперь он не обязан ни о чем беспокоиться. Все уладится само собой. Нина о нем позаботится. Возле этой женщины с каштановыми волосами он чувствовал себя в безопасности. Но ночью, когда он оставался один, им овладевал страх, дышать становилось трудно, хотя жар у него уже почти спал, да и других признаков гриппа не было.

Тут он решил, что болен чем-то серьезным.

Утром врач-рентгенолог — черноглазая армянка — спросила у него, может ли он спуститься к ней в кабинет.

— Конечно,— ответил он, хотя вовсе не был в этом уверен.

Он накинул свой защитного цвета халат и без посторонней помощи, с трудом передвигая ноги, спустился на нижний этаж. Нина куда-то пропала, и в темном рентгеновском кабинете его встретили армянка-докторша, которая говорила по-французски, и какой-то старичок в резиновом переднике. Когда его отпустили, он с трудом добрался по лестнице до своей комнаты и снова улегся в постель; его разбудила Татьяна, она принесла ему курицу.

— Мужчины — слабосильный народ, Таня,— сказал он ей, вдруг расчувствовавшись.— Женщины куда выносливее. Правда?

— Это потому, что мы всегда можем выплакаться,— деловито разъяснила Таня.

Руперт рассмеялся. Он снова слышал этот неунывающий голос — голос России. Откуда у них столько душевных сил?

Нина вернулась вместе с десятым по счету врачом, тоже женщиной, чем-то напоминавшей английскую крестьянку, худенькой, усталой и, вероятно, умной. В руках она держала рентгеновские снимки. Нина представила ее как специалиста из Ялты, доктора Долидзе и стала переводить ее вопросы. Был ли у него туберкулез?

— Конечно, нет,— ответил он.

— Вас часто просвечивали?

— Во флоте и когда я вернулся из Арктики.

— И ничего не находили?

— Абсолютно ничего. А что?

— В семье у вас кто-нибудь болел туберкулезом?

Руперт ответил, что отец его умер от туберкулеза в Пенанге в 1935 году; и хотя ему было ясно, какая у доктора Долидзе специальность и к чему клонится этот разговор, он не верил, что у него туберкулез.

— Не может быть, Нина,— сказал он.— У меня нет никакого туберкулеза.— Она бросила на него грустный взгляд и ничего не ответила.— Что говорит доктор Долидзе? — спросил он.

— Она говорит, что у вас недавно была вспышка туберкулеза, и, возможно, обострение еще продолжается. Было бы неправильно скрывать это от вас. У вас все симптомы туберкулеза.

— Я в это не верю,— настаивал он.

— Но ведь туберкулез излечим! — горячо успокаивала его Нина.— Это вовсе не страшно. У нас есть лекарства. Сейчас повсюду есть лекарства от туберкулеза, и в Англии тоже. Конечно, лечение требует времени, но болезнь теперь уже не так опасна, как прежде. Не надо только волноваться, пожалуйста, не надо волноваться!

— Да я и не думаю волноваться, я просто в это не верю,— сказал он.

Но Нина поверила. Он понял это по тому, как озабоченно она говорила с врачом, и по упрямому, исполненному решимости выражению, вдруг появившемуся на ее милом русском лице. Она брала на себя ответственность и за него, и за его здоровье, и за его благополучие, и, откинувшись на подушки, он понял, что ему теперь из-под ее власти не уйти.

■

Руперт не мог поверить, что его тело поддалось такой гнусной болезни. В то же время он верил, что, если дело обернется совсем худо и его обвинят в шпионаже, Нина вступит за него в бой. Виновен он или нет, она ни за что не позволит Федору так просто с ним разделаться.

Но он тут же подумал: а что на этот раз подскажет ей долг? И попробовал поставить себя на ее место, тем более что это ему было нетрудно: в каком-то смысле они очень походили друг на друга. Конечно, Нина поймет, что нелепая запись невидимыми чернилами в синем путеводителе — случайность и никак не выражает его человеческой сущности.

Она поехала за Роландом. Все десять врачей пришли к заключению, что если температура у Руперта не поднимется, можно переправить его в Москву, там его осмотрят светила советской медицины.

Он с нетерпением ожидал возвращения Нины, коротая время за шахматами с Алексеем; тот сметал кавалерийским наскоком осторожные дебюты партнера и не скрывал при этом своего удовольствия, что раздражало Руперта. Теперь он окончательно убедился, что в любом серьезном поединке Алексей со своей энергией возьмет над ним верх. Это тоже была их, русская, черта. Не мешало бы объяснить Лиллу, что если дело дойдет до войны, русские — Руперт был в этом уверен — преодолеют и переживут все: они выносливее других, увереннее в своих силах и лучше умеют приспособиться к обстоятельствам — психологическим и физическим, рядом с ними он чувствовал себя выходцем из очень изнеженного мира.

— Вы зеваете! — ликовал Алексей.— При таком дебюте, Руперт, есть верный способ вас побить.

— Ладно,— бормотал Руперт, пытаясь сосредоточиться на игре.— Пойду пешкой, а потом слоном, как вы советуете.

Но он знал, что опять проиграет, и невольно поймал себя на нехорошей мысли: ничего, зато неизвестно, кто из них победит в сердце Нины Водопьяновой, может, вовсе и не Алексей при всей его жизненной энергии. В той борьбе нет классических дебютов и защит, там все решает неуловимая, загадочная нервная связь, которую не объяснишь ни интеллектуальным сродством, ни даже физическим влечением. Если это можно назвать любовью, то он влюблен в Нину Водопьянову, а она в него. Но разве он мог назвать это любовью, нельзя ведь любить двух женщин сразу! Такого не бывает. А у него не было сомнений, что он любит Джо.

— Вы думаете о чем-то постороннем,— упрекнул его Алексей.— Вы играете невнимательно.

— Простите,— извинился Руперт.— Никудышный из меня шахматист!

— Но это же такая простая игра! Только правила у нее жесткие. Вы — вроде Нины: она всегда спрашивает, зачем относиться к игре так серьезно. А я отвечаю: игра тренирует внимание, учит рассчитывать свои действия. Вы ведь штурман, Руперт, вам полагалось бы хорошо играть в шахматы... А Нина считает их пустой тратой времени.— Алексей принялся складывать шахматные фигуры.— Знаете,— сказал он,— она за вас очень беспокоится.

— Я доставляю ей массу хлопот.

— Нет! Хлопоты причиняю ей только я. Мне кажется, что она сейчас очень устала, устала от меня. Я ее измучил.— Вид у Алексея был задумчивый и встревоженный.— Сегодня ночью ей было плохо. Я вам никогда не рассказывал... Один раз она была у меня очень больна...

Руперт кивнул; он вовсе не желал этого слышать, но решил вытерпеть до конца — дослушать и понять.

— Она совсем не такая крепкая, как ей кажется. Когда у нее что-нибудь не ладится, она сразу сдает, начинает худеть. Нервы.

Руперт боялся смотреть Алексею в глаза: неужели он догадывается и хочет его предостеречь? Но нет, Алексей просто делился с ним своей тревогой за Нину — больше ничего. Взглянув на Алексея, Руперт понял, что тот ничего не знает, кроме того, что Нина чем-то удручена, и это, быть может, напомнило ему другое горе, которое она испытала, когда умерли ее дети и она хотела броситься под поезд.

— Когда я уеду, ей сразу станет легче,— сказал Руперт.— И вам будет спокойнее. Она слишком серьезно относится к своим обязанностям.

— Это верно,— озабоченно кивнул Алексей.

■

Увидев больного отца, Роланд не проявил никаких признаков беспокойства. Выглядеть он стал совсем как русский мальчик. Возможно, в этом была повинна его новая манера носить рубашку, его стрижка, его красный галстук. Он привез с собой целую кучу книг, фотографий, значков, моделей машин. С ним пришли двое друзей. Лежа в постели, Руперт вел светский разговор с прелестной девочкой с соломенными волосами; эта двенадцатилетняя особа, очевидно, уже прочно вошла в жизнь Роланда; ее сопровождал невысокий мальчик, сверстник сына,— судя по всему, отчаянный фантазер. С Рупертом он был неразговорчив, но Роланду явно очень нравился. Между собой они говорили по-русски, и Руперт с удивлением слушал, как свободно, хоть и по-ребячьи, владеет чужим языком Роланд.

— Смотрите, какой молодец! — горячо похвалила его Нина.— Уже выучился по-русски.

— Как это тебе удалось так быстро? — удивился Руперт.

— Я и сам не знаю как,— ответил мальчик.— В «Артеке» почти все ребята говорят по-английски. Их в школе учат.

Невозмутимый голос сына почему-то сразу успокоил Руперта. Ему показалось, будто он вдруг вырвался на волю из темноты. Последнее время он чувствовал себя загнанным, отрезанным от привычной жизни: не мудрено, что он стал все преувеличивать — и свои чувства, и свои страхи.

— Отлично,— весело сказал он Роланду.— Теперь мы можем ехать домой.

— А воспаление легких у тебя прошло? — сдержанно осведомился Роланд.

Нина чуть заметно кивнула Руперту, и он ответил:

— Да. Почти.

Вещи его были уложены; Нина позаботилась обо всем — о билетах, о машине, даже о грустных русских проводах. Она ехала в Москву вместе с ними. Добрая сотня людей пришла с ним прощаться и завалила его подарками; кто-то даже принес огромный арбуз. Особенно жалко было расставаться с Татьяной. Душа у нее была нараспашку, но для Руперта так и осталось загадкой, что двигало этой молодой женщиной — симпатия к нему, симпатия к Нине или просто преданность делу. Он понимал, что встретился с примером идеального отношения человека к своей работе. Он сам верил в непреложность труда, в его значение в человеческой жизни и даже в его величие. Но он знал, что Таня над всем этим не задумывается — ей не надо было размышлять над тем, что было заложено в самой ее природе и воспитано окружением. Татьяна показала ему, что при всем его уважении к труду он и в этом смысле был всего лишь дилетантом.

А Татьяна плакала. Она вытирала глаза платочком и горячо целовала Нину. Руперту изменила его обычная чопорность, он наклонился и прикоснулся губами к щеке Татьяны, но она обняла его за шею и крепко поцеловала.

Оставалось проститься с Алексеем и, видимо, навсегда. Вряд ли они когда-нибудь снова встретятся. Алексей тоже хотел ехать в Москву, но Нина уговорила его остаться, напомнив, что Руперт серьезно болен и нуждается в покое, а не в шумном обществе.

Все же Алексей проводил их до вокзала в Симферополе.

— Эх, ну и жалко расставаться с таким другом! — приговаривал он, обнимая Руперта.

Руперт подумал, что когда он уедет из Советской России, слова о дружбе, эти огромной вместимости слова, взывающие к его сердцу, будут ему последним напутствием. Но его это теперь не смущало. Призывы к дружбе больше не пугали его, они уже не казались ему пустым обращением к человеку, который твердо решил запереть свою душу на все замки и сберечь ключи от них в недосягаемом месте. Теперь он чувствовал себя с Алексеем свободно, слова о дружбе не раздражали его — он уже не боялся, что они накладывают на него какую-то непосильную ответственность.

Чудовище, от которого ему предстоит отбиваться, совсем другого рода и выпущено на волю им самим. Федор так и не вернулся, и Руперт не знал, миновала ли опасность. А может, его страхи — только плод расстроенного воображения и вызваны сознанием своей вины?

На вокзале, пока Нина торопливо прощалась с Алексеем, он отошел в сторонку. Вероятно, они успели попрощаться раньше, потому что сейчас обнялись наспех, как будто для формы. Нина просила Алексея не переутомляться и вести себя осторожно. Он обещал:

— Не беспокойся. Я буду тебя ждать.

Потом он, хромая, подошел к Руперту и сжал его в объятиях. Руперт заметил в глазах Алексея слезы, и ему стало неловко.

— Вы хороший человек, Руперт! — пробасил Алексей.— Я никогда не забуду, что́ вы для меня сделали. Я никогда не забуду вас. Только не давайте врачам над собой воли, ладно?

Руперту самому захотелось воскликнуть: «Ты тоже хороший человек, Алексей. И я никогда тебя не забуду».

Но английская сдержанность взяла верх, и они обнялись молча.

Глава тридцать шестая

Двухдневное путешествие в душном купе с Ниной и Роландом оказалось довольно мучительным, и когда они прибыли в Москву, Руперту стало хуже. Тело его было словно набито опилками, и, хотя он рвался домой, уехать он не мог. Он упрашивал Нину завтра же отправить его поездом или самолетом, но все его мольбы разбивались о ее непреклонное благоразумие. В таком состоянии, уверяла она, ему нельзя уезжать. К тому же паспорт Руперта был у нее, поскольку ей же предстояло идти за выездной визой.

— Вам хуже,— твердила она ему.— Вы плохо выглядите.

— Тем больше оснований мне поскорее уехать,— слабым голосом доказывал Руперт.

— Я боюсь отпускать вас домой таким больным. Я ведь не поеду с вами в Лондон. Кто присмотрит за вами в дороге? Еще два дня в поезде с Роландом — и неизвестно, чем это может кончиться.

— Тогда отправьте меня самолетом.

Между тем из газет, которые читала ему Нина, он узнал, что арестовано еще два человека: американский турист с чемоданами, набитыми религиозными листовками на русском языке, и немец, который путешествовал по дорогам Украины на своей машине. При аресте у немца нашли фотоаппараты и записные книжки с заметками о военных объектах под Одессой. «Слава богу, хоть этот не имел отношения к Колмену»,— утешал себя Руперт. Отобранные фотоаппараты как будто исключали такую возможность, а впрочем, немцы неразлучны с фотоаппаратами так, что даже Колмену вряд ли удалось бы преодолеть эту немецкую страсть. Нина сказала, что возможны новые аресты.

— Вы обещали Джо, что не полетите самолетом,— напомнила она, когда речь снова зашла об отъезде.

— Но ведь возникли непредвиденные обстоятельства.

Она покачала головой. Руперт лежал в постели в гостинице «Пекин»; за окном расстилалась теплая, мокрая от дождя Москва; автомобили слизывали с мостовых лужи, словно огромные тигры — молоко.

— Хватит Роланду бездельничать,— попытался он подойти с другого конца.

— Я говорила по телефону с Федором Николаевичем. Он сказал, что если вам нельзя будет ехать, мы найдем кого-нибудь, кто сможет отвезти Роланда домой.

— Ну, нет! — воскликнул Руперт.

Он почувствовал, что кровь у него отхлынула от лица. Если Федор хочет отослать Роланда домой одного, нетрудно понять, какие у него на это причины. «Если преступник у тебя в руках, мальчика можно и отпустить», — подумал Руперт.

— Ради бога, не отсылайте Роланда без меня. Джо сойдет с ума. Только этого еще не хватало. Как вам могла прийти в голову такая мысль?

— Вы правы,— согласилась Нина.— Поговорите об этом с Федором. Завтра он к вам придет.

Она сидела у него на кровати в старомодном двухкомнатном номере гостиницы. «Пекин» все же был лучше, чем «Метрополь»: номера чистые, большие и, несмотря на чересчур пышное убранство, удобные. В соседней комнате Роланд прилежно писал автопортрет. В «Артеке» его научили писать маслом, а Нина купила ему краски и грунтованный картон.

— Разве Тедди в Москве? — спросил Руперт.— Куда он пропал, чем он так занят?

— У него здесь семья. Завтра он придет.

Руперт откинулся на подушки и стал думать о Федоре. А потом, глядя на склонившееся над ним русское лицо, вдруг решил:

«А что, если я ей все расскажу? Если я сумею ей объяснить, как я впутался в эту историю, что делал и чего не делал, она, может быть, меня поймет».

— Что говорят эти новые врачи? — спросил он.

— То же самое, что сказала в Ялте доктор Долидзе. Но они ждут еще анализов и рентгеновских снимков. Сегодня мы поедем в туберкулезную клинику.

Он поморщился.

— А вы-то что думаете?

— Ох, Руперт! Я так за вас беспокоюсь, что и думать ни о чем не хочется.

Руперту показалось, что сейчас она забудет всякую сдержанность и даст сердцу волю — бросится к нему на грудь и заплачет.

И в эту минуту он вдруг почувствовал, что действительно болен чахоткой. Врачи, наверно, правы. Что-то грызет его изнутри, подтачивает нервы и душу. Да, дело его дрянь.

— Вероятно, я сам во всем виноват,— начал он, не зная, как повести разговор, чтобы не огорчить ее еще больше.— Можно задать вам один вопрос, Нина?

— Пожалуйста.

— Почему вы отнеслись ко мне с таким недоверием, когда я сюда приехал?

— Не смейте этого говорить!

— Но ведь это правда,— настаивал он.

— Не смейте этого говорить! — с негодованием повторила она, но потом добавила, уже спокойнее: — Это вовсе не было недоверием. Просто мне хотелось, чтобы вы оказались таким, каким я вас себе представляла по рассказам Алексея. Вот и все. Я испугалась, что вдруг вы не такой...— Она запнулась.

— А какой?

— Я же ничего о вас не знала. Но я верю в людей. Во что же еще верить? Если знаешь, что твоя жизнь целиком зависит от бескорыстия самых разных людей... Я так восхищалась вами, когда Алексей мне про вас рассказывал. Вы совершили удивительный поступок, Руперт. Но я не была уверена, что люди вроде вас, которые ничего о нас не знают, могут приехать к нам как друзья. Разве можно быть другом того, кого не понимаешь? Вот что меня смущало. Ведь если нет настоящего понимания, всегда найдется место недоброму чувству.

— Даже у Героя Советского Союза?

Она покраснела и не ответила.

— Ладно,— сказал он,— в общем, вы, наверно, были правы.

— Не надо так говорить. Я ошибалась.— И, помолчав, она добавила: — Как это все-таки не легко — быть просто человеком!

— А раньше вы этого не знали?

— Нет, не знала. Это вы мне объяснили. Благодаря вам я поняла, до чего это трудно. Человек — такое сложное существо. Раньше мне и в голову не приходило, что можно так относиться к человеку из другого мира, как я сейчас отношусь к вам. Никогда не думала, что я буду счастлива, всю жизнь буду счастлива только потому, что вы существуете на свете. Я счастлива...

Глаза ее наполнились слезами. И он понял, что ничего уже не сможет ей рассказать. Никогда.

Внезапно она рассмеялась — по-русски, заразительно — и крепко сжала руку Руперта.

— Знаете, что меня больше всего удивляет и чего я до сих пор не пойму?

— Нет,— сказал он,— не знаю.

— Вы и я, мы очень похожи друг на друга, хотя я верю в коммунизм, а вы — нет. Я похожа на вас, Руперт, больше чем на кого-либо другого на свете. Как будто мы с вами владеем тайной жизни и она поровну заключена в вас и во мне. Я все спрашиваю себя, а в чем тут дело, почему? Откуда это ощущение?

— И я не пойму.

— Не знаю точно, но думаю, что вы мечтаете о таком же будущем для всех людей, как и я. Я это чувствую, хотя понимаю, что сейчас вы со мной не согласитесь. Чувствую наперекор здравому смыслу, наперекор всякой логике.

— Что правда, то правда,— подтвердил он.— Я с вами, конечно, не соглашусь. Но к чему здравый смысл и логика, если вам что-то подсказывает чувство?

— Одного чувства мало,— перебила Нина.— Чувство может обманывать.

— Но может и не обмануть.

— Дай бог,— сказала она, ласково высвобождая пальцы из его руки потому, что ее снова позвал Роланд.— Я бы не пережила, если бы это чувство меня обмануло и мы бы оказались врагами.

Глава тридцать седьмая

Вид у Федора был какой-то загадочный и даже зловещий. В городском костюме — белом плаще и шляпе — он казался другим человеком. Он был сух, неразговорчив, пожалуй, враждебен.

— Как это вас угораздило? — спросил он лежавшего в постели Руперта.

— Не задавайте таких вопросов,— ответил Руперт.— Почем я знаю?

Федор передернул плечами. Он посмотрел на Нину, которая не находила себе места и, пытаясь скрыть это, еще больше выдавала свое волнение. Глаза Федора перебегали с Нины на Руперта, с Руперта на Нину — было ясно, что он обо всем догадался.

— Почему бы вам не присесть? — обратился к ней Федор.

— Не знаю,— ответила она.— А я вам нужна?

— Да, я ведь иногда не понимаю Руперта, а мне с ним надо поговорить.

В Крыму у них выработался свой метод разговора: Руперт говорил по-русски или по-английски, а Федор понимал по-английски, но сам говорил по-русски. Они с грехом пополам объяснялись, пока разговор не затрагивал тем, требовавших более точного выражения мыслей.

— Хорошо, я останусь, Федор Николаевич,— сказала Нина.

— Почему вы так торопитесь домой? — неторопливо начал Федор, словно показывая, что предварительные переговоры окончены и пора перейти к делу.— Почему вы нас покидаете, Руперт?

— Я сделал все, ради чего приезжал сюда,— пожал плечами Руперт.

— Вы не осмотрели и половины древнегреческих колоний. Не заехали даже в Фанагорию. Вам, кажется, хотелось побывать в этом знаменитом месте?

— Не совсем так. Мне нужен был остров Змеиный, и все, что я там искал, я нашел,— храбро заявил Руперт, решив не играть в кошки-мышки, тем более что ему отводилась роль мышки. Он будет играть в открытую, хоть и не собирается ни в чем сознаваться. Он не должен врать хотя бы себе самому, чтобы не запутаться в собственной лжи.

— Нашли? Что же именно? — спросил Федор.

— Признаки того, что там побывали греки.

— И это все, что вы искали? — в голосе Федора внезапно прозвучала ирония.

— Может, и нет,— признался Руперт, испытывая облегчение оттого, что намерения собеседника — пусть и опасные — начинают проясняться.— А что? Чего еще я, по-вашему, искал?

Федор лениво улыбнулся.

— Знаете, Руперт,— сказал он,— вы, кажется, напрасно тратили время.

— Вот как?

— Да. Разве вы не могли узнать у наших специалистов все, что вас интересовало, без всяких хлопот?

— Это совсем не то, что искать самому. Особенно, если что-то находишь,— возразил Руперт.— Спросите Нину. Помните, как вы нашли монету, Нина?

Но Нина явно решила держаться в стороне. Она только кивнула. Вид у нее был немного озадаченный, и ей как будто не терпелось уйти. Была ли это просто застенчивость или она чувствовала, что должно произойти нечто жестокое, а может быть, и трагическое? Федор не обращал на нее никакого внимания. Он был спокоен, холоден, насторожен.

— Пусть так,— произнес он,— но мне часто хотелось вас спросить: какой смысл ехать в этакую даль, в страну, вокруг которой кипит с т о л ь к о страстей, лишь для того, чтобы порыться в остатках мертвой цивилизации? А?

— А почему бы и нет? Не все же интересуются современностью и политикой, Тедди.

— И вы не интересуетесь?

— Совсем не интересовался, когда ехал сюда. Во всяком случае, не так, как вы.

Федор рассмеялся.

— На Западе все думают, будто мы интересуемся только политикой...

— Так оно и есть,— перебил его Руперт.— Вы не видите ничего, кроме коммунизма и капитализма.

Федор встал и снял плащ. «Он как будто устраивается надолго,— подумал Руперт.— Кажется, это будет длительная осада». Но Федор улыбался.

— А что вы можете знать о коммунизме и капитализме,— задал он ехидный вопрос,— если ваши мысли витают в заоблачных высотах античности?

— Не так уж много. Но, наверно, немножко больше, чем до приезда сюда.

— Например? — спросил Федор; он бросил плащ на спинку кресла и снова развалился в нем, закинув руки за голову.

— Сейчас вы меня об этом не спрашивайте,— ответил Руперт,— я еще этого не продумал.

— Вам нечего бояться, Руперт,— сказал Федор.— Можете говорить откровенно.

Руперт пристально на него посмотрел. Что он ходит вокруг да около? Или хочет, как инквизитор, выпытать, что у жертвы на уме, а потом уже решит, как с ней поступать. «Похоже, что я сейчас борюсь за свою жизнь,— несколько театрально подумал Руперт,— но пресмыкаться и двурушничать я не стану. Буду говорить правду, чего бы мне это ни стоило. Да ничего другого мне, пожалуй, и не остается».

— Бояться? — переспросил он.— Чего мне бояться?

— Не знаю,— отозвался Федор.— Но большинство людей, приезжающих с Запада, ведут себя так, словно страшатся заразы, страшатся нас, нашей дружбы. А вам разве не было страшно?

— Пожалуй, было чуть-чуть,— ответил он, взглянув на Нину. Неужели и она чувствовала в нем этот страх? Он вспомнил, с каким подозрением относился вначале к ней и к ее мужу. Да, это так, весь мир охвачен подозрительностью.— Во всяком случае, это не столько страх — сказал он, оправдываясь,— сколько глупая подозрительность.

— А какая разница? — спросил Федор.— Разве одно не вытекает из другого?

— Может быть, но...

— Вы и сейчас думаете, что нас надо бояться?

От этого вопроса у Руперта перехватило дух, будто его ударили в солнечное сплетение. Легко сказать «нет», спасая свою шкуру. Легко сказать «да» из чистой бравады и отделаться полуправдой.

— Нет,— сказал он.— Я не думаю, что мы должны бояться вас, то есть России. Но я думаю, что мы должны бояться коммунизма, а ведь это почти одно и то же.

— С чего вы это взяли? Коммунизм не только русское явление.

— Нет. Но иностранные коммунисты слушаются ваших приказов.

— Откуда вы это знаете, Руперт? Как вы можете с такой уверенностью это говорить? — вступила в спор Нина; это его удивило; теперь он понял, что борется не за одну, а за две свои жизни: за жизнь физическую, которой угрожает Федор, и за жизнь духовную, накрепко связанную с Ниной несмотря на разделяющую их стену разногласий, непонимания и предрассудков.

— Я этого не знаю,— сознался Руперт.— Но почему иностранные коммунисты всегда думают и поступают, как вы?

— Потому что и они, и мы — коммунисты,— горячо воскликнула Нина.

— Все это было бы хорошо,— возразил он с такой же горячностью,— если бы не делалось так прямолинейно. Вы говорите, что Сталин бог, и они соглашаются. Вы говорите, что Сталин уже не бог, и они опять соглашаются. Они послушны вам, как собака своему хозяину.

— Неправда! — крикнула Нина.

— В общем, правда,— спокойно заметил Федор.

— Федор!..— сердито обернулась к нему Нина.

— Только они послушны не как собака, а, скорее, как солдат,— ответил Федор, не обращая внимания на Нину.— Мы все сражаемся уже не первый год, Руперт, против общего врага. Конечно, они шли за нами. Наша страна — первая социалистическая страна, и каждый капиталист на свете хотел бы увидеть ее поверженной и разбитой. И какие бы важные задачи ни стояли перед коммунистами всего мира, важнее всего им было, чтобы первая социалистическая страна уцелела. Важнее всего,— повторил он,— чтобы уцелели мы.

— Вот они и поступают, как вы прикажете,— упорствовал Руперт.

— Нам ничего не приходится приказывать. Они все знают сами,— услышал Руперт лаконичный, сухой ответ Федора и вдруг подумал, что за эти недели стал неплохо понимать по-русски. Сердце его громко стучало от волнения и страха, он чувствовал, что загнан в угол (притом не одним, а обоими собеседниками), и тем не менее русские фразы легко текли у него с языка.

— Так или иначе,— продолжал Федор,— теперь это все позади. Мы уже не нуждаемся в помощи. Мы достаточно сильны, чтобы защитить себя от врагов, и коммунисты в других странах могут больше не оберегать нас и заниматься своими делами.

Руперт снова пожал плечами. Все это его, в сущности, мало интересовало.

— Никто не требует, чтобы вы стали коммунистом,— говорил Федор.— Все, чего мы хотим от вас, да и от любого англичанина,— это чтобы вы не готовили против нас войну.

Федор бросил это замечание как будто невзначай, вполголоса. Но Руперт покосился на Нину и в душе пожалел, что она не встала и не ушла. Он не хотел, чтобы она слышала остальное,— они, наконец, подходили к сути дела.

— С чего вы взяли, что англичане готовят против вас войну? — спросил он, все еще намереваясь быть смелым и прежде всего правдивым.

— У нас столько доказательств этого, что мы не можем думать иначе.

— Вы имеете в виду шпионов?

— Шпионы есть у всех,— вздохнул Федор.— У нас тоже. Шпионаж, по существу, не такое большое преступление, как заговоры, которые с ним связаны и которые плетутся там у вас, наверху.

— Об этом я ничего не знаю,— сказал Руперт.

Федор внимательно на него посмотрел.

— А если бы знали? Если бы это зависело от вас лично, вы бы готовили войну против нас?

Руперт снова почувствовал желание солгать. Но что-то его удерживало. Какое-то упрямство не позволяло ему поступиться своим достоинством.

— Да,— подтвердил он.— Наверно, я готовился бы к войне с вами.

Нина посмотрела на него с ужасом, словно он ее предал, всадил ей нож в спину.

— Но почему, Руперт? — спросила она, не веря своим ушам.— Как у вас язык поворачивается это сказать?

— Послушайте,— ответил он.— Я убежден, что ваши политические деятели и генералы готовят с в о и планы войны против нас не потому, что хотят на нас напасть,

а потому, что таков сегодняшний мир. Нам приходится готовить планы войны против вас, а вам против нас. Что поделаешь!

— Но это же цинизм!

— И все-таки это правда. От этого никуда не денешься.

— Ладно, ладно,— примирительно махнул рукой Федор.— Но скажите, Руперт, какой вы видите выход? Или вы хотите, чтобы все продолжалось по-прежнему?

— Какой дурак этого хочет! — с раздражением воскликнул Руперт.— Неужели я хочу, чтобы атомный взрыв уничтожил мою жену и моих детей? Неужели я такое чудовище?

— Ну, так как же? — прищурился Федор.

— Я не знаю, где выход. Ей-богу, не знаю. В таких делах я круглый невежда. Я как-то не очень над этим задумывался.

— Это потому, что вы ненавидите политику,— холодно заключила Нина.— Вы позволяете другим думать за вас. А они-то как раз и внушают вам ненависть к политике — так им удобнее делать все, что заблагорассудится.

— Хорошо. Согласен: я не прав,— ответил он.— Но политика у вас в стране и у нас — это разные вещи. Вы связали с политикой вашу жизнь, вашу культуру, ваше образование. Вы сделали это сознательно и без колебаний. И на этом стоите. А в Англии считается, что каждый здравомыслящий человек должен избегать политики, как чумы, потому, что она состоит на девяносто процентов из лицемерия, а на десять процентов — еще черт знает из чего.

— Вот и получается, что вы позволяете другим распоряжаться вашей судьбой,— сказала она.

— Согласен, тут я не прав,— повторил он.

Он не хотел ссориться с Ниной. Даже мысль о ссоре с ней казалась ему невыносимой.

Федор слушал их перепалку со скучающим видом; Руперт бросил на него нетерпеливый взгляд и завозился в постели, словно побуждая его продолжить спор и выложить свои карты.

— Некоторые люди ведут себя необдуманно,— произнес Федор дружеским тоном.— Очень необдуманно...

— Человеку свойственно ошибаться! — запальчиво перебил его Руперт.

— Это не оправдание,— заметила Нина.

— Видите ли,— продолжал Федор, обращаясь к Руперту,— некоторые люди попадают в двусмысленное положение по ошибке, не взвесив своих поступков, не подумав, к чему они могут привести. Вот в чем сейчас опасность, не правда ли?

«Солгать? Или сказать откровенно?» — спросил себя Руперт.

— Верно,— проговорил он вслух.

— Война может начаться потому, что даже порядочные люди не задумываются порой над своими действиями.

— Может быть, в этом-то и трагедия,— согласился Руперт.

— Даже порядочный человек, вроде вас, может натворить бед, если решит, что в этом его долг.

Руперту это замечание не понравилось.

— Что же вы предлагаете? — огрызнулся он.— Обсудить, в чем состоит мой долг?

— А почему бы и не обсудить? — сказал Федор.— Если это долг порядочного человека, он выдержит любое обсуждение. Если же долг ложно понят, а вы — человек честный, вы сами его отвергнете. Так или нет?

«Для чего он взывает к моей совести? — лихорадочно размышлял Руперт.— Может, пытается спасти меня от моей глупости и даже показывает выход? Или же это новая ловушка, хитрый трюк, чтобы расшатать мою последнюю опору, заставить меня разувериться в том, что я выполнял свой долг?»

Руперт понимал, что не должен себя обманывать. Вопрос, который поставил Федор, уже давно его мучил, и совесть больше не позволяла ему уклоняться от ответа. Даже если не принимать в расчет того, что он делал для адмирала (эти робкие попытки шпионажа казались ему несущественными), был ли он прав, согласившись вообще на эту роль, не изменил ли он себе, не унизил ли этим свое человеческое достоинство?

— Видите ли, я считаю...— медленно произнес он,— что человек должен смотреть на все открытыми глазами — не только для того, чтобы понять, в чем его долг, но и для того, чтобы найти выход из нашей кошмарной действительности, прежде чем мир превратится в сгусток крови и радиоактивной пыли...

Федор задумался, взвешивая этот ответ.

— Что вы подразумеваете под словами «смотреть на в с е»? — недоверчиво спросил он, делая ударение на слове «все», отчего оно прозвучало зловеще.— Смотреть можно по-разному. Да и задачи при этом могут быть разные. Чтобы побольше у з н а т ь? Кстати, много ли вы з н а е т е, Руперт? Что вы знаете, например, о нашей стране?

— Очень мало,— согласился Руперт.

— Так как же вы собираетесь смотреть на нее открытыми глазами? Вы же сами признаете, что не знаете ее...

— Но я же могу узнать то, чего не знаю сейчас. Это в моих силах.— Руперт чувствовал, что дело идет к развязке. Федор обдумывал какое-то решение. Руперт все еще считал, что судьба его висит на волоске; он ждал, что дверь вот-вот откроется и войдет какой-нибудь здоровенный русский с ордером на арест, или обвинительным заключением, или еще чем-нибудь в этом роде, и пока не поздно, он торопился высказать то, что было у него на душе.— Понимаете, Федор,— сказал он,— каждый из нас не бог весть как умен, у каждого из нас в голове порядочный сумбур. Даже у вас и у Нины.— И тут же, взглянув на Нину, подумал, что к ней это вряд ли относится; она сидела молча, чем-то похожая на девочку, несомненно чувствуя, что за этим спором идет какая-то отчаянная, непонятная ей борьба, догадываясь, что она лишь немой статист в драме, исход которой может предрешить и ее судьбу.— Человек, который пережил, перевидал, перечувствовал в вашей стране столько, сколько я, не может остаться прежним. Наверно, я изменился. Конечно, изменился! Изменился и мой образ мыслей. Я еще не знаю, как именно...

— А-а! — насмешливо протянул Федор.

— Я не хочу, чтобы ваша страна была уничтожена,— решительно продолжал Руперт,— и, наверно, не сделаю ничего, что могло бы этому способствовать. Мне не нравится коммунизм. Но, увидев, каких людей вы создали с его помощью, я, во всяком случае, перестал его бояться. И если вы говорите, что страх — это подозрительность, а подозрительность — это страх, я избавился и от подозрительности, хотя, может быть, не совсем. Но не в этом суть.— Он повернулся к Нине.— Понимаете, Нина, вы ведь почти ничего не знаете обо мне и о таких, как я. А мы знаем о вас и того меньше. Это мне совершенно ясно. Мы гораздо невежественнее, чем вы...— Нина попыталась было заговорить, но он прервал ее: — Дайте мне досказать!

— Хорошо,— кивнула она,— пожалуйста! — Ей, по-видимому, тоже хотелось поскорее кончить этот разговор.

— Никто не виноват в этом невежестве, кроме нас самих. А виню я не только себя, но и вас. Что касается меня, я шел по проторенной дорожке, позволяя, чтобы за меня думали газеты и всякие специалисты-международники; я брал на веру сложившиеся в нашей части света представления, не давая себе труда усомниться в них. И если я ставлю их сейчас под сомнение, то потому, что понял: так дальше нельзя. Не начни я теперь сомневаться, я был бы круглым дураком.

— Все мы порой бываем дураками,— благодушно вставил Федор.

— И тем не менее,— перебил его Руперт,— вы никогда не сделаете меня коммунистом. Напротив! Когда я приехал сюда, я был чудаком, который отказался от своего наследства. Я еду домой с твердым намерением вернуть свои деньги. Еще не знаю зачем. Раньше я не был капиталистом, но могу им стать теперь.

— Не сможете,— заверил его Федор.

— А почему нет? Все мои теории были глупыми, мои воззрения незрелыми. Теперь мне нужны деньги. Я хочу, чтобы моя жена и дети жили в свое удовольствие и пользовались тем, что я могу им дать. Каждый человек имеет на это право, так почему бы не начать с собственных детей? Я же лично хочу одного: выяснить, что к чему; для этого мне нужны время и деньги. Прежде всего, время. Не удивительно, если человечество себя не понимает: кому хватает времени и терпения, чтобы хоть что-нибудь понять? Пусть я буду капиталистом, но я вооружусь терпением и докопаюсь до сути. Где-то должен быть ответ.

Федор улыбнулся и встал.

— Не выйдет из вас настоящего капиталиста, Руперт. Да и какой ответ вы найдете, став эксплуататором? Нет, нет. Я как-то плохо вас себе представляю разжиревшим капиталистом.

Федор стал надевать белый плащ. Нервы у Руперта были натянуты до предела. Федор чего-то ждал. Рассеянно глядя на Нину, он, казалось, принимал какое-то решение, но когда он уже открыл рот, чтобы заговорить, в дверь громко постучали.

«Поздно!» — промелькнуло в голове у Руперта. Это тысячеликая судьба стучится к нему в дверь, неведомое будущее. Руперт похолодел.

Нина отворила дверь, и на пороге действительно появилось его будущее, но не то, которое он ожидал. Пришел сын.

— Роланд! — воскликнула Нина.— Где ты так извозился?

Он был мокрый и грязный с головы до ног.

— Мы в саду играли в футбол,— сообщил он, с трудом переводя дыхание,— а полицейский сказал, что там играть в футбол нельзя, и я убежал.

— Сейчас же переоденься! — скомандовала Нина.— Быстро! Ты весь в грязи! Посмотри на свои туфли!

Роланд даже не взглянул на отца и, уж конечно, не заметил, как тот возвращается к жизни. Мальчик снисходительно относился к Нининым попыткам им командовать — пожалуй, даже благосклонно. В них он инстинктом улавливал какую-то другую любовь, не такую обыденную, как любовь родителей. Руперт посмотрел на Нину и вдруг с небывалой ясностью почувствовал, сколько нежности к Роланду у этой матери, потерявшей своих детей. Роланд для нее был не просто сыном человека, которого она любит, а немножко ее собственным сыном.

— Руперт! — окликнул его Федор.

Руперт совсем о нем забыл.

— Да?

— Как вы себя чувствуете? — внимательно на него глядя, спросил Федор.

Руперт сразу вспомнил, что он болен, что его бросает то в жар, то в холод, что воля его подточена болезнью. Но вдруг неожиданно для себя ощутил прилив бодрости.

— Ничего, спасибо,— ответил он.— В общем-то не плохо.

— Так почему бы вам не встать?

Руперт посмотрел на загадочно улыбающееся лицо Федора и в который раз задал себе вопрос, что же это за человек.

— Я думаю, что никакого у вас туберкулеза нет. Когда такой человек, как вы, заболевает, причину недуга надо искать не в телесной немощи, раньше всего следует поискать здесь,— Федор постучал себя по сердцу.— Я думаю, у вас нет ничего серьезного. Ничего такого, с чем вы не смогли бы справиться сами. И, по-моему, все, что вам требовалось, это немного поспорить о жизни. Правильно?

Неужели Федор занимался с ним только психотерапией? Неужели он затеял этот чисто русский спор о смысле жизни с единственной целью его расшевелить, поднять его дух и согреть его онемевшее от страха сердце? Неужели Федор так чуток? Неужели он так хорошо понимает человеческую душу?

— Нина! — крикнул Федор.— Я ухожу.

— Сейчас,— откликнулась она и, приказав Роланду сменить рубашку и надеть тапочки, вернулась в комнату.

— Отправьте его завтрашним поездом домой, Нина,— посоветовал Федор, беря ее под руку.

— Но врачи...— начала было она.

— Бог с ними, с врачами. Я с ними поговорю. Пусть едет домой. Это для него лучшее лекарство. А если он задержится, то, чего доброго, застрянет здесь навсегда.

Нина понимающе кивнула, хотя Руперт был совсем не уверен, что она правильно поняла слова Федора.

— Я приду проводить вас на вокзал,— пообещал Федор, приостанавливаясь в дверях.

— Спасибо,— ответил Руперт.— Вы меня здорово поддержали, Тедди. Не знаю, как вас и благодарить.

— Ах, да! — Федор взялся было за ручку двери, но тут же сунул руку в карман.— Совсем забыл вам передать. Мне это вернули, когда я был в Севастополе.

Он вынул синий путеводитель Руперта; книга была сильно потрепана, но Руперт сразу ее узнал.

— Между прочим, здесь нет ничего интересного,— заметил Федор.— Не знаю, почему вы так о ней беспокоились.

Руперт молча взял книгу; он не мог произнести ни слова. Но когда дверь за Федором закрылась, Руперт, глубоко вздохнув, сказал Нине:

— Знаете, Нина, мне будет нелегко проститься завтра с русскими друзьями.

Она кивнула. С минуту они молча смотрели друг другу в глаза.

Глава тридцать восьмая

На этот раз Нине изменили организационный талант и выдержка: когда они сломя голову примчались на вокзал, времени оставалось в обрез, к тому же они не смогли найти носильщика.

— Мы опоздаем на поезд! — в отчаянии воскликнула Нина и, схватив тяжелый чемодан Руперта, поволокла его сама.

Утренние часы она провела как в бреду: оформляла паспорт, покупала билеты, отваживала незваных посетителей, узнавших, что Руперт в Москве. Она успела забрать белье из прачечной, почистить Роланду туфли, упаковать его книги, наконец, вызвать врача из туберкулезной клиники, чтобы тот дал разрешение на отъезд. В этом Нина была непреклонна. Профессор послал к Руперту свою молодую ассистентку; они ждали, ждали ее, а она все не появлялась.

— Боже мой! Я уже думала, что вы никогда не приедете,— сказала ей Нина.

Молодая докторша была раздражена тем, что ее оторвали от работы по пустякам. Она сухо поздоровалась, показывая всем своим видом, что медицина не терпит суеты и главное достоинство пациента — терпение.

— Сразу по возвращении в Лондон вам надо обратиться со всем этим в легочную клинику,— сказала она Руперту, вручая ему пачку справок и рентгеновских снимков.— Исследование мокроты дало отрицательные результаты, но анализ крови показал, что у вас острое малокровие.

— Значит, у меня нет туберкулеза?

— Судя по всему,— проговорила она нехотя,— нет. И, вероятно, никогда не было.

Еще один камень свалился с души Руперта. Он с торжеством посмотрел на Нину — ее лицо сияло.

— Слава богу! — вырвалось у нее.

Всю дорогу в машине Нина держала Руперта за руку.

Они подбежали к вагону, новенькому, синему, роскошному. Нина растолкала пассажиров, теснившихся у двери и на площадке. Купе уже было завалено подарками: цветами, коробками, свертками, игрушками для Роланда, посылками, адресованными Джо и Тэсс.

Нина проверила, все ли вещи на месте, и тут только поняла, что все кончено. С трудом сдерживая слезы, она пыталась подавить нестерпимое чувство утраты.

Они вышли на перрон. До отхода поезда оставались считанные секунды. И тут они увидели Федора — тот несся по платформе, раскачиваясь на длинных ногах.

— Все в порядке? — спросил он Руперта по-английски.

— Да! Успели. Все нормально,— ответил Руперт.

— Тогда прощайте,— сказал Федор.

Руперт пожал ему руку и еще раз заглянул в лицо, стараясь найти хоть намек на разгадку. Нет, он так ничего и не узнает. Никогда.

Наступила очередь Нины. Она не могла оторвать от него глаз. Говорить с ним при всех она была не в состоянии, она не могла его даже обнять теперь, когда их отношения потеряли свою невинность.

Руперт положил ей что-то в руку.

Нина с ужасом увидела на своей ладони Золотую Звезду.

— По-моему, я ее не заслужил,— сказал Руперт.— Я не должен был ее брать. Сохраните ее для меня...

— Нет, нет! — воскликнула она, плача и сжимая его руку.— Ох, нет! — Ее взгляд упал на Роланда, она склонилась к мальчику и стала жадно его целовать; ее слезы закапали ему на лицо, и он испуганно на нее взглянул.— Иди, иди! — с трудом выдавила она, уже не владея собой и чувствуя, что внутри у нее все оборвалось.

Раздался свисток, Руперт наклонился и отстранил от нее Роланда; Нина выпрямилась, он отвел ее мокрые волосы со лба и пригладил их. Потом вслед за Роландом вскочил на площадку. Поезд тронулся.

Он видел только Нину; она сгорбилась, закрыла лицо руками, чтобы на него не смотреть. Поезд набирал скорость. Перрон и люди на нем скрылись из виду.

«Вернусь ли я сюда? — спрашивал себя Руперт.— Смогу ли? Посмею ли?» Он покачал головой. Как знать? Что он здесь погубил, какую надежду оставил? Что ждет его дома? Ответить на эти вопросы он не мог. А он на столько вопросов должен ответить... Да, держать ответ ему придется. Перед Лиллом, перед Джо, перед самим собой. Что он им скажет, он не знал.

— Ты видел, сколько у нас подарков? — спросил Роланд.

Они вернулись в купе. На нежной загорелой щеке сына остались разводы от Нининых слез. Как теперь жить? Не видеть ее, не чувствовать, что она рядом. Забыв обычную сдержанность, он прижал к себе голову сына, поцеловал его и в который уже раз спросил себя: что же теперь будет?

Этого он еще не знал.

Он вышел в коридор, нащупал в кармане злосчастную ручку Колмена, сломал ее об оконную раму и, поглядывая, как течет по стеклу бесцветная жидкость, выкинул обломки.

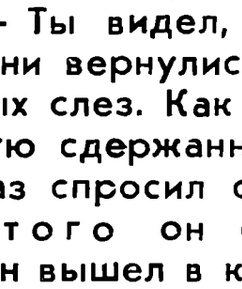
Новую жизнь надо начинать с чистой страницы, бессмысленно цепляться за прошлое — ведь жизнь у него одна, и теперь ее надо чем-то оправдать.

Он послал Роланда вымыть лицо.

КНИГА II

Часть первая

Глава первая



начала я хотел написать историю Руперта Ройса в привычной форме романа, излагая события хронологически, и рассказать, что произошло с этим моим дальним родственником в то короткое время, когда я его близко знал.

Но из этой затеи ничего не вышло.

Решив описать события, как я их видел, я выбрал в рассказчики человека, чем-то похожего на Ника Каррауэя, от имени которого ведет повествование Скотт Фицджеральд в «Великом Гэтсби». Я, правда, не Каррауэй с американского Среднего Запада, а Руперт Ройс уж наверняка не Джей Гэтсби (смешно даже сравнивать!). Однако

порой, когда Каррауэй описывает в «Гэтсби» свою собственную жизнь, я чувствую, что между нами есть сходство.

Но вот и первая трудность: как остаться в стороне? Ведь история, которую я рассказываю, не моя, а Руперта Ройса. Однако принять в ней какое-то участие мне придется, потому что почти все, что я знаю, я услышал от него самого или от Джо. Я очень близко с ними сошелся. В сущности, я был довольно близок почти со всеми участниками событий. В том, что мы так сдружились, нет ничего удивительного: англичанин иногда охотно открывает душу австралийцу, хотя никогда не приоткроет ее даже на волосок своему брату-англичанину. Я, со своей стороны, старался отвечать уважением на предложенную мне дружбу и не пользоваться ею в своих интересах.

Я, как и Руперт, тоже Ройс, но Руперт родился богатым, а я — нищим; в семнадцать лет я ушел в море и служил на парусных суденышках у ловцов жемчуга, на танкерах, на грузовых судах, перевозивших руду, на лайнерах, землечерпалках, океанских буксирах, а однажды у меня было даже свое собственное двухмачтовое судно, от которого мне пришлось отказаться, потому что плавание на маленьких судах (если вы не занимаетесь этим для удовольствия) — бесполезное дело.

Но я никогда не терял надежды, на каких бы судах ни плавал и каких бы безрассудств ни совершал. Во всем, что я делал, всегда была цель; а жизненный опыт был мне нужен только для того, чтобы описывать виденное и пережитое.

Но, как ни странно, я начинаю писать не о том, что я видел и пережил на море, а о богатом англичанине, герое, шпионе, хорошем муже и отце, который, страдая и от того положения, в которое был поставлен, и от того, что творится в мире, пытался вопреки всему найти какой-то выход из всей этой нынешней неурядицы. Писать о Руперте мне легче всего не только потому, что это так свежо в моей памяти, но и потому, что, несмотря на модный, пусть и естественный скептицизм молодости, общение с ним явилось для меня серьезным уроком.

Глава вторая

Руперт вошел в дело Ройсов примерно в одно время со мной, и хотя я люблю воображать, будто переступил порог здания судостроительной компании Ройсов с морской котомкой за плечами и в тельняшке, как Мартин Иден, на самом деле я искал работу и поэтому был одет в дорогой синий костюм. Я хотел познакомиться с делом, а заодно скопить денег, на которые мог бы прожить года три. Это я себе внушал, хотя и не сомневался, что сбегу, как только мне подвернется под руку что-нибудь получше.

Фредди Ройсу было интересно поглядеть на бедного родственника из Австралии, и он пригласил меня к себе поужинать, познакомил со своей женой Пегги и с девятнадцатилетней племянницей Пепи, причинившей мне впоследствии немало горя. Мы проговорили до двух часов ночи — болтали обо всем на свете. Фредди решил взять меня на работу в свой отдел компании Ройсов.

В то время Фредди искал предприимчивых людей, которым можно доверять, способных и в то же время обладающих опытом — пусть не деловым, а жизненным,— готовых принимать смелые решения и покончить с рутиной и устарелыми методами ведения дел. Фредди собирался в корне преобразовать судостроительную компанию, а решать судьбы модернизированного предприятия Ройсов предстояло Руперту и мне, представителям зрелого и молодого поколения семьи. Теперь мне это смешно, но в то время, признаюсь, я отнесся к словам Фредди вполне серьезно, так же, впрочем, как и Руперт, вошедший в дело со своей собственной целью.

Хронологически все, что я расскажу, не совпадает с появлением Руперта на предприятиях Ройсов, но мне удобнее начать с этого. О большинстве событий, описанных мной, я узнал позднее, когда ближе познакомился с Рупертом; наша работа связывала нас все тесней, особенно же мы сблизились в ту пору, когда Руперт затеял продавать России суда фирмы «Ройс и К°» в обмен на русскую нефть.

Фредди привел его как-то утром и сказал мне:

— Видите, Джек, я же вам говорил: что-нибудь интересное подвернется! Это — Руперт, еще один ваш двоюродный брат или дядя, словом, какая-то родня. Он самый знаменитый человек в нашей семье, у него есть идеи. Вам небесполезно поработать под его началом. Познакомьтесь, он вам расскажет, что он придумал.

Мы дружелюбно переглянулись, хотя, на мой австралийский глаз, Руперт сначала показался мне холодным, как рыба. Но это впечатление быстро рассеялось.

Сидя за письменным столом и засунув руки в карманы пальто, он спросил меня, из каких я Ройсов (никто в семье никогда обо мне не слыхал), и я рассказал ему, как прежде уже рассказывал Фредди, что мой дед Ройс приехал в Австралию старым человеком, жестоко не поладив с родней («Он не получил ни гроша в наследство») и в возрасте семидесяти пяти лет женился на австралийке двадцати одного года, которая родила ему сына, моего отца. Старый Ройс умер, когда ребенку было восемь лет, оставив молодую жену и сына на произвол судьбы.

Бабушка — ей в то время было двадцать девять лет — вложила небольшой капитал, который он ей оставил, в издание газеты в городке Молли, штат Виктория, выпускала ее, пока не разорилась во время кризиса, а мой отец, тогда еще совсем моло-

дой человек, уехав из родного городка в австралийских джунглях, занялся поставкой провианта для рефрижераторных судов Мельбурнского порта. Он женился на дочери фермера, которая приехала в Мельбурн искать работу. Я родился, когда экономический кризис шел уже на убыль. Мой отец умер от лейкемии, оставив, как и мой дед, восьмилетнего сына.

— Моя мать знает нашу родословную наизусть,— сказал Руперт, когда я кончил рассказ,— но, ручаюсь, что этого она не слыхала. А почему ваш отец не пытался найти своих родственников в Англии?

— Надо было знать моего отца. Он никого из вас никогда не видел, однако уже за глаза терпеть не мог.

Руперт рассмеялся.

— Внешне вы — типичный австралиец, но где же ваш акцент?

— Неужели не слышите? — спросил я чуть-чуть обиженно.

Когда Фредди нас познакомил, Руперт всего несколько недель как вернулся из России, и вид у него был такой самоуверенный, такой беззаботный, что я, зная теперь, какие у него были тогда неприятности, задним числом восхищаюсь особенностями английского характера.

— Русские прекрасно были осведомлены, чем я занимался,— сказал он мне, когда мы полгода спустя летели через Россию в Китай,— и все же дали мне уехать.

— Почему? — недоверчиво спросил я.— Потому, что были вам благодарны?

— Нет,— ответил Руперт.— Потому, что у них поразительное чувство меры.

И в самом деле, то, что его отпустили с миром, было редким великодушием. Однако близость Руперта с Ниной Водопьяновой, его отказ сотрудничать с адмиралом Лиллом и считать, что такое сотрудничество — патриотический «долг», напугали Лилла и его начальство. Они решили, что Руперт завербован и совершил измену: выдал — может быть, и ненамеренно — двух английских студентов, из которых один был его связным. Оба студента были арестованы в Москве.

С адмиралом Лиллом Руперт виделся за день до того, как мы познакомились в конторе фирмы «Ройс и К°», и в сущности, мой рассказ начинается как раз с этого дня, с разговора, произошедшего между Рупертом и Лиллом.

Некоторое время спустя Лилл и меня пригласил к себе: он пытался войти ко мне в доверие и «конфиденциально» расспросить о Руперте — «для его же, понимаете ли, блага».

Вот эта сторона английской жизни и пугает меня больше всего: то «благородное» обличье, которое они придают своей тайной полиции. Я уж предпочитаю гестапо, потому что лицемерная маскировка власти и джентльменский налет, под которым прячется насилие, угнетают гораздо больше, когда ты с ними сталкиваешься, чем думают многие наивные англичане. Нам ненавистна в других странах самая идея прощупывания, проверки благонадежности и прочие методы тайного полицейского надзора, но у себя на родине мы принимаем все это как должное.

Глава третья

Штаб-квартира Лилла помещалась в одном из белых особняков в стиле короля Георга, выходящих задней стеной в Сент-Джеймс-парк; вид у этого дома был такой, будто он переживет всех и вся: беды, войны и революции. Подходящее местечко для обозревающих мир с одной-единственной целью — во что бы то ни стало сохранить английские порядки и не допускать не только пересмотра идей, но даже попыток взглянуть на мир с какой-то иной точки зрения.

Но ведь и сам Руперт был с детства воспитан в этом духе, и, поднимаясь по белой лестнице в кабинет Лилла, оборудованный всем, что необходимо для расширения умственного кругозора шпиона, он, видимо, уже чувствовал, что изменил принципам, которые в него вбивали всю жизнь.

Они торопливо обменялись обычными любезностями.

— Нет, выглядишь ты не так уж плохо,— заметил адмирал.

— Я давно выздоровел,— ответил Руперт.

— А что с тобой было?

— Русские думали, что у меня туберкулез.

— Не дай бог! — воскликнул адмирал.— А мы тут боялись, что они тебя не выпустят.

Каждое слово требовало от них выдержки. Когда адмирал, наконец, высказал Руперту свои сомнения (опять-таки по праву человека, считающего себя его вторым отцом), Руперт заявил, что не желает обсуждать с Лиллом своего пребывания в России.

— Но ты не можешь просто-напросто на нас наплевать! — возмутился адмирал.— Ведь это же безответственно. Почему? Почему они тебя отпустили? Можешь ты это объяснить?..

— Откуда мне знать?

Адмирал налил чаю, сел на ситцевый диванчик под окном и стал смотреть на парк, где среди цветов, в желтой дымке английской осени, прогуливались по песча-

ным дорожкам чиновники из министерств. У каждого на голове был котелок, а в руках — зонтик.

— Что с тобой сделала эта женщина? — допытывался адмирал.— Ты обязан мне это объяснить.

— Какая женщина?

— Нина Водопьянова.

— А вы не лучше американцев! — сказал Руперт, стараясь не терять самообладания.— Янки считали, что меня завербовал Алексей Водопьянов, когда я его тащил по льду. А вы теперь решили, что меня завербовала его жена во время нашей поездки на Черное море.

— Почему бы и нет? Она явно заставила тебя смотреть на все другими глазами.

— Я сам стал иначе на все смотреть,— сказал Руперт.— Я не имел права шпионить в стране, которая пригласила меня в гости. Это было подло.

— В наш век, мой милый, без подлостей не обойдешься. Ты это знал, когда туда ехал.

— А теперь знаю другое. Я не шпион и никогда не смогу быть шпионом. Вам неприятно это слово, адмирал, но оно точно выражает существо дела, сколько бы вы ни твердили об особой природе вашего учреждения и об особых сведениях, которые вам требуются.

— Но ведь мы совсем не то, что...

— Какая разница? — перебил его Руперт.— Русские меня научили, что нельзя сидеть сложа руки, надо искать выход из нынешнего положения, этим я и предпочитаю теперь заниматься.

— То есть?.. Ты, надеюсь, не вообразил, будто их образ жизни — это и есть выход? Это было бы абсурдом.

— Нет. Я сам, своим умом буду искать выход. Неужели вас так пугает, что я изменил свои взгляды и отказываюсь заниматься для вас шпионажем?

Но Руперт знал, что ничего не сможет объяснить Лиллу: и адмирал, и его начальство жили в постоянном, неразумном страхе предательства со стороны своих же людей. Прежде они питали простодушную веру в то, что выходцы из их класса, люди их породы не могут изменить своих взглядов, а теперь больше всего боялись, что их предаст кто-то из их же собственной среды, предаст «изнутри».

В тот день адмирал сообщил Руперту, что отныне не только он будет находиться под постоянным надзором, но и работа его будет подвергаться строжайшему контролю службы безопасности. Он не имеет права выезжать из страны без особого разрешения, не смеет поддерживать связь с русскими и с советским посольством, с коммунистами и с организациями, близкими к коммунистам, а также и со всякими комитетами борьбы за мир. Ему воспрещается принимать участие в политической жизни и поступать на работу, связанную с секретной документацией, что относится также к фамильной фирме «Ройс и К°», поскольку она, во-первых, получает крупные правительственные заказы, а, во-вторых, Фредди и старый дядя Рандольф являются членами комитетов военного снабжения при английском правительстве и НАТО.

Не знаю, что ответил на это Руперт. Когда я как-то раз спросил его, чем кончился их разговор с адмиралом, Руперт отделался шуткой:

— Я сказал Лиллу, что уеду за границу, когда мне заблагорассудится.

Однако за шутливостью тона чувствовалась нешуточная злость. Выйдя из белого особняка, Руперт решил, что будет действовать наперекор всем адмиральским запретам. Первое, что он сделал в пику адмиралу, было предложение, с которым он обратился к Фредди: заключить с русскими крупную сделку на строительство судов.

— Не говоря уже о Лилле,— заметил он,— мне хотелось чем-нибудь искупить свое не очень приличное поведение в России.

Глава четвертая

Когда Руперт выступил с предложением строить суда для России, ему пришлось действовать сообразно этикету, принятому в их семейном деле. Мне удалось этого избежать по неведению: я прошел прямо к Фредди. Но Руперт, который всегда придерживался правил, раньше всего нанес визит дяде Рандольфу (лорду Бэркемстеду), который, будучи председателем правления, формально являлся главой судостроительной компании, хотя и явно проигрывал в жестокой борьбе, которую он вел за судьбы предприятия со своим племянником Фредди (директором-распорядителем и заместителем председателя правления фирмы).

Старик был очень вспыльчив, и первое, что, по словам Руперта, он ему сказал, звучало примерно так:

— Дела нашего ты не любишь. Пошел, видно, в отца — такой же выродок, как он.

— Скорей уж как вы,— отрезал Руперт, зная, что старику нельзя спускать.— А работать я люблю, и если к вашему делу я равнодушен, то, верно, потому, что ничего в нем не смыслю.

— Тогда зачем ты хочешь в него войти? Нам не нужны люди с завиральными идеями! — продолжал старик тоном громовержца.

Но Руперт был не робкого десятка.

— Не надо преувеличивать, дядя. Не такие уж они завиральные, мои идеи. Я просто хочу работать.

— В коммерческом деле авантюрами не проживешь.

— А почему вы думаете, что у меня страсть к авантюрам? — спросил Руперт.— Не надо верить всякой чепухе, которую пишут в газетах.

— Думаешь? А что ты смыслишь в выгодном помещении капитала?

— Ничего.

— А в управлении предприятием ты уж наверняка ничего не смыслишь,— съязвил Рандольф,— ты ведь никогда ничем не управлял.

— Это верно, не управлял.

— Кстати, как поживают твои? Давненько я не видел Джо. А детей и вовсе ни разу. На кого они похожи?

— Мальчик — на меня, а девочка — на Джо.

Старик сделал пометку в своем блокноте. Они сидели за письменным столом красного дерева, друг против друга, как сердитые шахматные игроки. Старомодная контора Ройсов помещалась в отдельном доме, против церкви Сент-Мэри-Экс, почти рядом с Балтийским банком, тесно связанным финансовыми интересами с их фирмой. Кабинет Рандольфа был памятником викторианской эпохи, когда пароходы еще ходили на угле. Руперт отлично понимал, что главная движущая сила предприятия, с которой ему придется иметь дело, пребывает совсем в другом месте. Тут, у дяди Рандольфа, в апартаментах нижнего этажа под сенью старомодного портика, царство денежного мешка попахивало склепом. Наверху же, у Фредди, конференц-залы, оборудованные по последним требованиям современности, уходили в небеса, а небеса эти были разгорожены множеством тонких перегородок, за которыми колдовали операторы счетных машин, колотили по клавишам секретарши и трудились технические эксперты, работники рекламы и двадцать молодых исполнителей, запертых в стеклянные клетки. Впрочем, дядя Рандольф, хотя он и сидел внизу, тоже был на свой лад щеголем. Он носил белый крахмальный воротничок, туго завязанный галстук, держал носовой платок в рукаве пиджака, напоминавшего морской китель.

— Привези своих в будущую субботу к нам, в Уошберн,— приказал он Руперту.

— К чаю?

— Нет. На весь день. Если у тебя нет машины, приезжай поездом, который выходит в девять двадцать.

— Хорошо, мы поедем поездом,— сказал Руперт.

Машины у него не было.

— Самое лучшее занятие для такого человека, как ты,— неожиданно начал уговаривать его дядя Рандольф,— политика. Погляди на Артура и Поля...

— Но я не собираюсь заниматься политикой. Я намерен вступить в дело Ройсов, давайте поговорим лучше об этом.

— А ты, часом, не сторонник Общего рынка?

— Нет. Во всяком случае, пока.

— Что ж, тогда тебя можно использовать. Я кое с кем переговорю, и мы подыщем тебе местечко в парламенте. Ты еще не стар.

— Но я не консерватор,— заявил Руперт, догадываясь, о чем его сейчас спросят.— Сам еще толком не знаю, кто я, но, пожалуй, что-то вроде социалиста. Никак не решу, куда меня тянет.

— Ну, если ты социалист, проку от тебя для нас будет мало. Вашего брата нам с головой хватает.— В тоне Рандольфа прозвучала горечь. Его единственная дочь Кэти стала коммунисткой и ушла из семьи.— А насчет политики советую тебе серьезно подумать. Давай я поговорю с Криклвудом.

— Не надо! — твердо сказал Руперт.— Если позволите, я сначала сам разберусь в своих убеждениях.

Рандольф пожал плечами.

— Дело твое. Сходи пока наверх к Фредди. Вся наша сила там,— желчно заметил он.— Ведь ты туда и собирался идти с каким-то проектом, не так ли?

— Так.

— С Фредди ты быстро найдешь общий язык, можешь не сомневаться.

— Посмотрим.

Руперт спокойно отнесся к словам старика, несмотря на их резкий тон. Он берег себя для предстоящего свидания с Фредди, который теперь вел все дела фирмы. Это был человек, который мог помочь Руперту в осуществлении его замысла.

■

Руперт собирался предложить Фредди самый простой план действий. Не последнее место в его расчетах занимало открытие, которое он недавно сделал: прежние времена для всей Англии в целом и для одной из ее крупнейших судостроительных и судоходных компаний — фирмы Ройсов — безвозвратно миновали. Он съездил в Россию, понял, что глупо смотреть на то, как эта страна восстает из пепла, точно феникс, и делать вид, что ничего этого нет.

Фредди понимал положение дел не хуже Руперта, но по-своему. В то время как Руперт искал решения проблемы, Фредди обдумывал, как ее обойти и в то же время на ней нажиться. Он был почти ровесником Руперта; одевался и жил как человек сугубо современный, хотя тоже держал носовой платок в рукаве пиджака. Фредди был настоящим воротилой. На письменном столе у него не лежало ни бумаг, ни папок с делами, не видно было даже ручки или карандаша — стояли лишь пять разноцветных телефонов, по ним он мог в любую минуту связаться с верфями, биржевыми маклерами, техническими консультантами, банками, страховыми компаниями. Вместо пера и бумаги у него за спиной висела большая грифельная доска, и он мелком записывал на ней свои выкладки и расчеты. Фредди тут же предложил Руперту:

— Давайте пройдем в зал заседаний.

Он повел своего посетителя через бесшумные, автоматически закрывающиеся двойные двери в белый конференц-зал с великолепным, голубым с золотом, потолком, расписанным Веджвудом, и голубыми с золотом колоннами, поддерживающими изящный купол. Посредине стоял массивный подковообразный стол, портреты одиннадцати уже покойных Ройсов заполняли ниши в стенах.

Самой примечательной частью комнаты был кофейный уголок — небольшая квадратная ниша, где перед окном стоял квадратный столик в окружении четырех плюшевых банкеток. Это было похоже на роскошный кабинет очень дорогого, старинного ресторана.

— Выпьем кофе,— предложил Фредди, усаживаясь за кофейный столик.— Ева! — окликнул он молодую официантку, появившуюся из скрытой в стене двери. За стеной помещалась вполне современная кухня и персонал из пяти человек.— Ну, так что же вас привело к нам? Вы хотите войти в дело?

— Да.

— Это нетрудно. У вас есть какие-нибудь конкретные планы?

— Планы-то есть, но беда в том, что я почти ничего не смыслю в судоходстве.

— Какое это имеет значение? Важна деловая жилка, предпринимательский нюх. Если у вас это есть, остальное приложится.

— Насчет жилки и нюха сомневаюсь... Послушайте, Фредди, Лилл подозревает, что русские меня завербовали. Он окружил меня целым частоколом запретов. В частности, запретил мне работать в фирме Ройсов. Я отнюдь не собираюсь ему подчиняться, но считаю нужным довести об этом до вашего сведения, чтобы вы знали, на что идете.

Фредди не выказал никакого испуга.

— Лилл — союзник Рандольфа и друг вашей матери, но мне он не может диктовать.

— Тут замешана контрразведка,— пояснил Руперт.— Я ведь в России работал на Лилла.

— А мне начхать. Если вы на него работали, а потом раздумали, я даже знать ничего об этом не должен. Это ваше личное дело. Лишь бы вы не вздумали использовать фирму, чтобы помогать русским.

— В каком-то смысле именно это я и собираюсь сделать,— сказал Руперт.

— Что?

Руперт изложил Фредди свой план постройки судов для Советского Союза. Через месяц ожидается приезд советской торговой делегации, которая, помимо всего прочего, предполагает договориться о закупке судов на сумму 13 миллионов фунтов, и он, Руперт, хочет им в этом практически помочь.

— А почему вас все это так волнует? — спросил его Фредди.

— Сам еще не пойму. Но мне кажется, что заказ на поставку судов — это нечто вполне реальное. Зачем же отказываться от выгодного контракта?

— Я объясню вам зачем. Во-первых, в настоящее время основная наша политическая линия в отношении России — не давать русским ничего, что может быть им полезно с военной точки зрения,— например, кораблей. Во-вторых, к тому моменту, когда вы обойдете все правительственные рогатки и разрешите вопрос о кредитах (русские стремятся получить долгосрочные кредиты, а наше правительство не хочет их давать), сделка разладится и вы только зря потеряете время. К тому же, вообще неизвестно, получите ли вы этот заказ от русских.

— А конкуренция большая?

— Суть не в этом. Обычно бывает так: работаешь, как черт, тратишь уйму денег на сметы и прочее и даже добиваешься каких-то кредитов, либо честным путем, либо с помощью уловок, а в это время кто-то другой получает заказ вместо тебя. Какая-нибудь другая страна. У нас в Англии слишком высокие цены и слишком долгие сроки поставки. Ну как, я не отбил у вас охоту?

— Если мне за месяц удастся заключить сделку с русскими, вы на нее пойдете? — спросил Руперт.

— А вы имеете на них какое-то влияние? — насторожился Фредди.

— Никакого. Но почему бы нам не попробовать? Неужели заказ на тринадцать миллионов повредит фирме Ройсов?

— Конечно, нет. Солидный договор с русскими даст работу нашим Бэркемстед-

ским верфям. Они сейчас наполовину в простое, и около двух тысяч рабочих уволено. А первого числа мы уволили еще двести. Но старик будет против.

— Даже при том, что верфи в простое?

— Ну, эти верфи нас не так уж волнуют.

— А можем мы построить для русских те суда, которые им нужны?

— Все, что угодно, кроме океанских лайнеров. Мы строим любые суда вместимостью до двадцати пяти тысяч тонн — рефрижераторы, танкеры и сухогрузные: зерновозы, рудовозы. В строительстве более крупных судов нас бьют японцы — сейчас, например «Ишимицу» строит для нас самих рудовоз на сорок тысяч тонн. Но в Бэркемстеде мы в общем справляемся с чем угодно, если, конечно, суда не слишком велики или не слишком специального назначения и спецификация не слишком запутана. Но русские обычно дают сложные задания и очень придираются. Поэтому работать на них невыгодно.

— Позвольте мне все-таки попытаться,— настаивал Руперт.

Фредди рассмеялся:

— А почему бы вам просто не пойти и не раскроить Лиллу череп? Это гораздо проще.

— Вы думаете? Смешно сказать, но если бы он не стукнул меня по башке, я бы, наверно, так и не начал шевелить мозгами.

— А вы, случайно, не затеяли всей этой истории только ради того, чтобы ему насолить?

— Кто его знает? Но мне хочется попытать свои силы.

— Что ж, валяйте,— засмеялся Фредди.— Люблю хорошую драку, особенно когда такие противники. Я и сам ненавижу этих старых чертей... Ископаемые какие-то. Но помните уговор: вы будете заниматься только делом, и нашей фирме это должно быть выгодно. На таких условиях я против торговли с русскими не возражаю. Дайте срок, нам еще придется самим пойти к ним на поклон, чтобы они с нами торговали.

— Мне понадобится техническая консультация...

— За этим дело не станет. Я выделю вам кабинет и кого-нибудь в помощь. Ваша задача заключить сделку, об остальном не заботьтесь. Заключение контракта почти никогда не зависит от технических деталей, поэтому не забивайте себе ими голову. Действуйте, как найдете нужным.

Руперт допил кофе.

— Ладно. Значит, по рукам? — спросил он.

— Да, но первое, что вам надо сделать, это — уломать Рандольфа. Если вы с ним заранее не договоритесь, он вам будет ставить палки в колеса на верфях. До сих пор хозяин в Бэркемстеде он, а не я.

— Но какие у него могут быть возражения?

— Политические. Как это ни глупо, он с удовольствием будет возить вам грузы для русских и даже страховать им поставки зерна по самым высоким тарифам, но ни за что не станет строить для них суда. Мы как-то пытались его уломать. Куда там! И слушать не желает. А еще хочет, старый дурень, заниматься судостроением, это при нынешней-то бешеной мировой конкуренции! Лично я изъял бы капитал из Бэркемстедских верфей. Продал бы: все и вложил деньги в нефтеперегонку или в любое другое производство Нам надо перестать строить суда, пусть этим занимаются японцы. Все равно они строят их лучше и дешевле. Это один из предметов наших постоянных споров. Он пригласил вас в Уошберн?

— На субботу.

— Хороший признак. Он вам уши прожужжит о нашей семейной междоусобице. Выложит все как есть, и тогда решайте, на чьей вы стороне.

— Я уже кое-что знаю о ваших распрях,— сказал Руперт.— Но неужели мне непременно надо становиться на чью-то сторону?

— Безусловно. Вам всем, даже вашей милейшей матери. Рано или поздно дело дойдет до голосования, члены семьи сами должны будут решить судьбу фирмы, а точнее, решить вопрос о собственной жизни и смерти.

И вот Фредди привел ко мне Руперта и назначил его моим начальником. К тому времени я уже два месяца скитался по разным отделам, словно букашка, случайно попавшая в огромный и очень сложный механизм, которого ей никогда не понять. Ничего у меня не получалось. Но каждый раз при встрече Фредди уговаривал меня не терять терпения.

— Скоро подвернется что-нибудь интересное,— уверял он.

И вот, когда я совсем уже осатанел от скуки и с радостью все это бросил бы, появился Руперт со своей идеей и мы с ним засели в кабинете со стеклянными стенками и окном, выходящим на Сент-Мэри-Экс, на том же этаже, где сидел Фредди.

Глава пятая

В то время я не совсем понимал, почему Руперт решил снова вступить во владение своими деньгами, но думаю, что сделал он это главным образом из-за Джо.

Как-то раз Руперт пригласил меня к себе обедать. Мы поехали в метро, а потом поднялись по Хэмпстедскому холму к старому дому Руперта. Я лично взял бы такси,

но Руперт всегда старался жить так, как живет большинство людей (иногда он в этом отношении даже перебарщивал), на что у него уходило много времени и сил.

Мать Руперта приехала из Оржеваля, возле Парижа, чтобы переписать на него все отцовские акции, доходы, страховые полисы, текущие счета и прочее наследственное имущество, которое Руперт передал ей пятнадцать лет назад. Дело было узкосемейное, деликатное, но они открыто его обсуждали за обедом, и мне поначалу даже было неловко — казалось что я здесь вроде и не присутствую. На самом же деле мной, наверно, не пренебрегали, а наоборот, показывали, что я свой, проявляли доверие, но австралийцы склонны подозревать англичан в высокомерии. Руперт принялся расспрашивать мать о своем отце. Каким тот был в молодости?

— Твой отец? — с удивлением переспросила она.

— Ну конечно, а чей же еще?

— Не раздражайся. Ты меня о нем никогда не спрашивал.

— Мне просто интересно,— успокоил он ее.

— Он был похож на тебя и привычками, и упрямством, и красивыми голубыми глазами, он был таким же порядочным и честным, как ты; но вот в легкомыслии он тебе уступал.

— Ну и слава богу,— сказал Руперт.— К сожалению, молодым я его не помню.

— Да, ты помнишь его в последние годы жизни, когда он стал жертвой семейных неурядиц среди Ройсов,— загадочно проговорила Кристина Ройс.— Но почему ты вдруг так этим заинтересовался? Прошло столько лет...

— Я никогда толком не знал, что ему сделали Ройсы и в чем он был виноват сам.

— Какое теперь это имеет значение?

— Я собираюсь работать у Ройсов, и мне надо знать правду.

— Зачем тебе идти к Ройсам? Ты же не делец.

— Откуда ты знаешь, что я не делец?

— Не болтай глупостей. Ты с твоей щепетильностью в денежных делах... Какой из тебя коммерсант? Да и к тому же зачем тебе зарабатывать деньги? Я вот никогда этого не делала... Впрочем, войти в дело к Ройсам все-таки лучше, чем отказываться от денег вообще. Тебе надо подумать о Джо.

— Да, о Джо ему уже давно надо подумать,— твердо сказала жена Руперта. С этими словами она встала и вышла на кухню.

— А у тебя теперь гораздо больше денег, чем раньше,— продолжала Кристина.— Знаешь, сколько я для тебя их нажила за последние десять лет?

— Уйму...

— Пятьдесят восемь тысяч!

— Пятьдесят восемь тысяч чего? — спросила, возвращаясь, Джо.

— Фунтов,— ответила Кристина.— У Руперта теперь около трехсот тысяч фунтов, даже больше, а когда я умру, у него будет огромное состояние.

— Господи! — воскликнула Джо, ставя на стол горячую сковородку.— Я и не знала, что у него так много денег. Руперт, почему ты мне не сказал, что ты такой богач? Вот негодяй! — Она подошла к нему и обхватила руками за шею.

— Это капитал, Джо,— предостерегла ее Кристина.— Его нельзя трогать. Ни при каких обстоятельствах!

— Да я и не собираюсь ничего трогать! — весело отозвалась Джо.— Пусть бы только у нас, наконец, хватало денег и еще оставалось, чтобы их не считать!

— Ну, особенно ты их никогда не считала,— возразил Руперт.

— Ладно, не обижайся,— примирительно произнесла Джо.— Я хочу быть богатой!

— Тебе никогда не приходилось всерьез заботиться о деньгах,— стоял он на своем.

— Но ты вечно жаловался, что мы слишком много платим за центральное отопление, за телефон и что налоги скоро нас разорят.

— Ну что ж, если ты решил пойти к Ройсам,— прервала ее мать,— они должны тебя назначить одним из директоров, это твое наследственное право. Тогда ты сможешь месяцев по шесть в году жить на представительские и сэкономишь не одну тысячу фунтов.

— Когда ты повзрослеешь? — спросил Руперт.

— Но ведь в этом же и есть смысл богатства! — возмутилась Кристина.— Избегать уплаты налогов и не давать другим отнимать у тебя деньги. Люди такие мошенники. А как же тогда сохранить состояние? Вот чему тебе надо научиться, Руперт, а не коммерции.

Но он ее уже не слушал.

Джо и Кристина продолжали щебетать о деньгах, а Руперт все более и более замыкался в себе, словно выключил слух.

Тогда мне казалось, что он поступает умно, но потом я понял, что это вредная привычка — она отгораживала его от Джо в трудную минуту, когда он особенно нуждался в поддержке. А такая минута настала, и я понял, что он сам не дал жене возможности прийти к нему на помощь.

(Окончание следует)

Рассказы филиппинских писателей

УИЛЬЯМ ПОМРОЙ

Приказ

Телефонный звонок был явно не ко времени. Полковник, командующий военно-воздушной базой, и офицеры штаба, склонясь над картой, обсуждали план предстоящих маневров. Полковник торопливо прижал к уху протянутую адъютантом трубку.

— Говорят из центральной проходной, докладывает лейтенант Боланд. Сэр, тут пришли филиппинцы, хотят вас видеть.

— Как вы сказали? Филиппинцы? — спросил полковник, не отрывая взгляда от карты.

— Да, сэр. Мэр города и еще несколько человек. Что-то вроде депутации, сэр.

— Пусть обождут,— сказал полковник и положил было трубку, но передумал.— Постойте...— Он озабоченно потер щеку.— Вот что, лейтенант, дайте им сопровождающих и пусть идут сюда. Заодно проследите, чтоб их провели дорогой, которой мы водим важных гостей. Невредно будет, если они увидят кое-что из нашего хозяйства на взлетных дорожках.

— Слушаю, сэр,— ответил голос.

Полковник посмотрел на часы, резко сдвинул карту на край стола и сказал, обращаясь к офицерам:

— Эти дела отложим до четырнадцати ноль-ноль.— И, усмехнувшись, добавил: — Ничего не поделаешь — с обороной свободного мира придется повременить. Надо с нашими союзниками побеседовать.

Офицеры засмеялись и двинулись к выходу.

Полковник обратился к адъютанту, собиравшему карты:

— Срочно вызовите ко мне капитана Росистера из отдела информации. А мне налейте стаканчик, сейчас это будет очень кстати.

Он допивал виски, когда в дверях появился капитан с фуражкой под мышкой.

— Вы меня вызывали, сэр? — спросил капитан.

— Наши друзья пожаловали,— сказал полковник, отодвигая стакан.— Быстро их проняло, а?

— Вы правы, сэр. Ждать пришлось недолго.

— Теперь скажите, капитан, можно отделаться от них побыстрее? Маневры вот-вот начнутся, и у меня дел по горло.

— Постараюсь, сэр. Я думаю, все обойдется без особых осложнений.

— Ну, а с мэром как? Нашли вы к нему подход?

— Вы же знаете, полковник, эту публику раскусить не так сложно. Сейчас сами убедитесь.

— А как с этим парнем, который мутит воду? Вы думаете, он тоже здесь?

Капитан кивнул:

— Уж такого случая он не упустит.

— Черт бы его побрал! Лейтенант,— обратился полковник к адъютанту.— Мне надо, чтоб вы были под рукой, я позвоню, когда дело дойдет до угощения. Только сначала мне надо во всей этой истории разобраться, чтобы не тратить виски зря.

В кабинет вошел сержант.

— Сэр, вас спрашивают какие-то люди, гражданские...

— Знаю,— перебил полковник,— сколько их там?

— С полдюжины,— сказал сержант.

— Впустите.

Полковник сел за стол и открыл папку с бумагами. Капитан устроился рядом. Когда филиппинцы вошли, оба офицера встали, и капитан через всю комнату устремился им навстречу с протянутой рукой.

Филиппинцев было шестеро. Они тесной кучкой остановились в дверях, оглядывая обшитые деревом стены, портьеры, мягкие кресла, стоящие полукругом перед столом полковника. На всех шестерых были местные рубашки «баронг тагалог» и тщательно отутюженные брюки. Прохладный кондиционированный воздух заставил их поежиться.

Впереди стоял человек средних лет. Лицо у него было худое и бледное, под глазами — темные мешки. За ним — тучный, коротко стриженный, с острыми глазками на широком лице. Еще двое степенного вида были в роговых очках. Тот, что стоял рядом с ними, походил на китайца. Последний — совсем молодой еще человек — хмуро и пристально глядел на американских офицеров.

— Доброе утро, господин мэр! — капитан тепло поздоровался с худым филиппинцем и, не выпуская его руки, повел к столу.

— Здравствуйте, капитан,— отвечал мэр, на ходу поглядывая на полковника.— Мне, право, неловко. Я надеюсь, мы вам не очень помешали...

Но капитан не дал ему договорить.

— Вы, кажется, еще не имели удовольствия познакомиться с нашим новым начальником базы?

Мэр и полковник через стол пожали друг другу руки.

— Где бы я ни служил,— заговорил полковник, и голос его звучал чуть ли не задушевно,— я всегда старался сохранить добрые отношения с местным населением. Для вас, господин мэр, наши двери всегда открыты. Я и сам собирался к вам заехать. Да вот дела.

— Господин полковник в любое время будет у нас желанным гостем,— ответил мэр с легким поклоном.

— В сущности,— с улыбкой сказал капитан,— наш полковник с полным правом мог бы называться мэром. Ведь наша база — это целый город.

— Да,— улыбнулся мэр,— мне бы такую силу, как мы только что видели... Уж поверьте, я бы не волновался за исход выборов.

Все трое засмеялись, а полковник с капитаном незаметно обменялись взглядами.

Тут капитан вспомнил об остальных посетителях, все еще стоявших у двери.

— Пожалуйста, господа, проходите.

Невнятно бормоча слова приветствия, филиппинцы подошли к столу. Мэр представлял всех по очереди. Широколицый толстяк оказался начальником полиции.

— О, страж закона! — пошутил полковник, пожимая его мясистую руку.

— А эти три джентльмена, мистер Ретана, мистер Дисон и мистер Яп, представляют деловые круги нашего города,— мэр указал на двоих в роговых очках и на того, что был похож на китайца.

— А мы чем не деловые люди? — со смехом подхватил капитан.— Видели, сколько у нас скобяного товара — хоть открывай торговлю.

— Ну, если говорить о деле всерьез,— уже без улыбки сказал полковник,— то для нас главное дело — оборона всей вашей страны, а значит, и вашего города, господин мэр.

— Благодарю вас,— сказал мэр, внимательно слушавший каждое слово полковника.— А теперь позвольте вам представить самого молодого члена нашего муниципалитета, советника Хавьера.

Молодой человек, нахмурившись, протянул руку, капитан бросил быстрый взгляд на полковника, и тот молча коснулся протянутой руки.

— Господа, рассаживайтесь, пожалуйста,— сказал полковник.

Когда все уселись, капитан поставил на маленький столик коробку сигар и сигареты. Мэр и начальник полиции потянулись за сигарами, бизнесмены взяли по сигарете. Лишь молодой человек не шевельнулся. После первой затяжки все стали поудобнее устраиваться в креслах.

— Господин мэр,— заговорил капитан,— вам, наверно, будет интересно узнать, что полковник уже бывал на Филиппинах и даже в вашем городе. В 1935 году, не так ли, сэр?

— Совершенно верно,— ответил полковник. Он сидел очень прямо, положив руки на стол.— И я еще тогда убедился, что Филиппины — самое подходящее место для военно-воздушной базы. А когда мы ехали сюда во второй раз, я говорил своей жене, что другого такого гостеприимного народа во всем мире не сыщешь.— Он оглядел гостей и спросил: — Господа, кто-нибудь из вас участвовал в боях с японцами за Батаан?

Мистер Дисон, кашлянув, сказал:

— Мой сын воевал там.

— Вы вправе им гордиться,— сказал полковник.

— О да,— подтвердил мистер Дисон и приосанился.

— А я в свое время помогал партизанам,— вставил мистер Яп.

— Я полагаю...— начал молодой советник, но полковник, точно не слыша, снова заговорил с мэром:

— Я бы с большим удовольствием сам показал вам базу и надеюсь скоро это сделать. Но сегодня, если я не ошибаюсь, вы пришли с другой целью. Поэтому давайте перейдем к делу.

— Да, пожалуй,— проговорил мэр, стряхнул пепел с сигары и обвел взглядом своих спутников.— Видите ли, господин полковник,— начал он,— мы в городе решили послать к вам депутацию, чтобы выяснить создавшееся положение. Вернее сказать, мы пришли к вам с жалобой, извините за такое неприятное слово. Речь идет о последнем приказе...

Полковник и капитан хранили молчание, поэтому мэр продолжал:

— Вам, должно быть, известно, господин полковник, что два дня тому назад по базе был отдан приказ, запрещающий американским солдатам появляться в нашем городе?

— Мне известно,— сказал полковник.— Я сам издал этот приказ.

В наступившей тишине было слышно, как кто-то из гостей заерзал в кресле.

— Но, позвольте, господин полковник. Как это понять? В нашем городе американских солдат всегда так хорошо принимали!

— Да что там,— вмешался мистер Ретана.— Вот уже сколько лет вся торговля только на ваших солдатах и держится, и вы это прекрасно знаете. Все магазины, рестораны и кабаре...

— Мистер Ретана и мистер Яп,— негромко пояснил капитан,— владельцы кабаре. А мистер Дисон — хозяин самого крупного ресторана в городе.

Полковник кивнул.

— У нас первоклассные заведения,— вставил мистер Ретана, вытаскивая из кармана платок и отирая взмокший лоб. Мистер Яп энергично закивал, подтверждая его слова.

— Разрешите объяснить, господа,— заговорил капитан,— командование базы уверено, что большинство жителей в городе и в особенности наиболее видные граждане искренне и дружески к нам расположены. И приказ, о котором идет речь, издан лишь для того, чтобы оградить гарнизон базы от безответственных, я бы сказал, поступков некоторых личностей.

Заметив, что молодой советник порывается что-то сказать, полковник жестом остановил его и вытащил из папки лист бумаги.

— Вот,— сказал он,— передо мной рапорт нашего военного патруля. Тут речь идет об инциденте, который произошел вечером 16 июля. Я прочитаю вам одно место: «Наш патруль был вызван к бару «Одинокая звезда» в связи с возникшими беспорядками. По сообщениям очевидцев, группа филиппинцев устроила демонстрацию, они шли по улице, неся плакаты: «Кано (насколько я знаю, это слово у вас означает «американцы»), убирайтесь домой!» Проходивший мимо солдат нашей базы недостаточно, по их мнению, быстро уступил дорогу. Его грубо оттолкнули. Завязалась драка. Из бара выбежали другие солдаты с целью защитить своего товарища. Прибывший на место происшествия патруль также подвергся нападению. Нарушители порядка разбежались лишь после того, как к нам прибыло подкрепление». А вот другой документ. Это жалоба, поступившая от нашего сержанта. 10 июля, когда он шел по главной улице города, средь бела дня двое филиппинцев позволили себе оскорбительные выкрики в его адрес. В ответ на его протест они сбили его с ног, нанесли удары по лицу и в живот. И это, господин мэр, вы называете гостеприимством? Мы с вами, вероятно, по-разному понимаем это слово.

Мэр беспокойно задвигался в кресле.

— Уверяю вас, господин полковник, мы тоже считаем такие инциденты достойными всяческого порицания. Мы приняли все меры, чтобы задержать виновных. Уже заготовлены ордера на их арест.

— Господа,— сказал капитан,— мы предприняли эти шаги, вовсе не имея в виду ущемить интересы уважаемых граждан города. Но мы вынуждены были принять меры, ибо все эти стычки — не случайность. Они — результат явного подстрекательства.

— Несомненно,— подтвердил полковник,— подстрекательство здесь налицо.

Посетители молчали. У молодого человека еще резче обозначилась хмурая складка между бровей. Мэр созерцал кончик своего башмака.

Полковник достал из папки еще одну бумагу:

— Вот сообщение манильской газеты о митинге — он состоялся в вашем городе, господин мэр, еще до всех этих беспорядков. Вот послушайте, что там говорил главный оратор: «Для того чтобы стать свободным и независимым, у филиппинского народа есть только один путь: аннулировать договоры о военных базах и изгнать с нашей филиппинской земли всех чужеземных солдат. Мы должны отстаивать свою свободу! Я приветствую каждого из граждан, у кого хватит мужества дать отпор чужеземцам, бесчинствующим на улицах нашего города. Честь и

слава тому, кто умеет защитить свое национальное достоинство!» Я полагаю,— продолжал полковник,— для вас не секрет, что человек, которому принадлежат эти слова, находится сейчас здесь, среди нас.

Наступило молчание. Посетители сидели, опустив головы, и искоса поглядывали на молодого советника.

— Очень вам благодарен, господин полковник,— насмешливо заметил советник Хавьер.— Я безуспешно пытался вставить хоть одно слово, но то, что я хотел сказать, вы сказали за меня, благодарю вас.

Он поднялся, и голос его зазвучал громче.

— Так вот, я пришел сюда вовсе не для того, чтобы вместе с ними просить об отмене приказа. Я твердо уверен, что наш город прекрасно обойдется без ваших войск. Куда достойнее зарабатывать на жизнь полезным трудом, чем ублажать ваших солдат.

Вы тут жалуетесь, что на американцев нападают. Но почему же в вашей бумажке не сказано, что возле бара «Одинокая звезда» этот ваш солдат — воплощение невинности — первым полез в драку, стал вырывать плакат из рук филиппинца. А тот сержант из второго вашего протокола, разве он просто «шел по улице»? Он нагло приставал к филиппинской девушке.

Чего только мы не терпим от вашей пьяной солдатни — оскорбления, ругань, издевательства,— об этом ваши доклады целомудренно молчат. Известное дело, вор кричит: «Держите вора». Как вы поступили с негодяем, который изнасиловал Хуаниту Гальвес? Стоило ей подать жалобу, как его тут же «перевели» в США. Даже если ваши солдаты давят людей у нас на дорогах — и тогда их немедленно отправляют в Америку. А как же иначе? Разве можно, чтобы белого американца судили желтые филиппинцы?

До каких пор, по-вашему, филиппинцы должны сносить это издевательство над их суверенными правами? Вы толкуете о подстрекателях. А подстрекатели — вы сами. И вот что я вам еще скажу...

Он шагнул к столу полковника. Мэр и начальник полиции вскочили, чтобы его удержать.

— Ну, Чико, пожалуйста,— просительно заговорил мэр,— не надо горячиться.

— Оставьте меня,— отрезал советник.

— Господа,— сказал капитан,— не будем терять спокойствия и благоразумия.

— Благоразумие,— с горечью воскликнул советник, сбрасывая с плеча руку мэра.— По-вашему, быть благоразумными — значит примириться, примириться с тем, что мы бесправны в собственной стране.

Он повернулся к полковнику:

— Вы правы. Это я организовывал митинги. И это мои слова вы только что цитировали. Таков мой ответ избирателям на их жалобы, чем еще я могу им помочь?!

Полковник смотрел в окно. По лицу его ходили желваки.

— Мы навели справки,— сказал капитан.— Хуанита Гальвес, оказывается, девица из бара «Одинокая звезда», в ее обязанности входит развлекать гостей. То есть попросту — она проститутка.

— Позвольте,— запротестовал мистер Ретана,— это мой бар, и мои девушки развлекают гостей исключительно за столиками.

— Но если клиент захочет увести девушку с собой, она, вероятно, пойдет с ним, не так ли? — спросил капитан.

— Ну, это уж как ей заблагорассудится,— сказал мистер Ретана, пожимая плечами.

— Понятно,— заметил капитан.

— Что вам может быть понятно! Вы же видите только то, что хотите видеть. В том-то и штука,— снова вмешался советник, что Хуанита

Гальвес с солдатом идти отказалась. За это она и поплатилась. Дело должно быть передано в суд. Только вы ведь не допустите до суда.

— Сэр,— обратился мистер Ретана к полковнику,— я хотел поставить вас в известность, что я на днях уволил Хуаниту Гальвес.

— Вот как? — заинтересовался капитан. Полковник, повернув голову, прислушался.

— У нее была неважная репутация. А это бросало тень на мое заведение. По-моему, она просто распущенная девушка,— мистер Ретана вспотел от напряжения.

— Прежде всего она филиппинка! — выкрикнул советник, его пальцы на спинке кресла побелели.— А знаете, что будут говорить в городе? Что вы ее выгнали из-за американцев — как бы они не подумали, что ваши девушки к ним враждебно настроены.

— Ну это уж просто смешно.— И мистер Ретана хихикнул.

— А кому эта Хуанита Гальвес подавала жалобу? — обратился капитан к начальнику полиции.

— Мне,— ответил за него советник Хавьер,— в два часа ночи она появилась у меня в истерзанном виде — вся в грязи, с окровавленным лицом. Ее избили, изнасиловали, а потом выбросили из машины где-то за городом, в поле.

— А вы что нам скажете? — снова обратился капитан к начальнику полиции.

— Видите ли, они явились вместе с советником Хавьером. Она назвала этого солдата. Я немедленно переслал ее заявление командованию базы, как положено, сэр.

— Да, да. Понимаю,— сказал капитан.— Но дело в том, что есть приказ о переброске подразделения, в котором служит этот солдат. Ну, а приказ изменить мы не можем. Поэтому, к сожалению, он теперь не подчинен командованию нашей базы.

— И нашим законам,— подхватил советник.— Подумать только, какое совпадение!

— Сэр,— сказал начальник полиции,— я так решил, что Хуаните Гальвес лучше уехать из города. Репутация у нее скверная, потом этот случай. И вообще, у нее здесь нет ни семьи, ни работы. Я припугнул ее судом за бродяжничество.

— Вот оно что?! — изумленно воскликнул советник.— Когда же вы успели? Я только вчера виделся с Хуанитой, и она ничего мне не сказала.

— Вчера вечером,— сказал начальник полиции, отводя глаза.

— Ну, ничего. Уезжать ей не придется. Я позабочусь об этом.

— Она уже уехала,— сказал начальник полиции.

— Ловко состряпано! И не подкопаешься! А главное, вы ведь тоже довольны, господин мэр?

— Когда я назначаю начальника полиции,— сказал мэр,— я знаю, что делаю. Прежде всего я верю, что он в состоянии обеспечить в городе порядок.

— Прошу прощения,— заговорил молчавший до сих пор мистер Дисон.— Я насчет приказа.... Ведь из-за этого мы и пришли.

— Сейчас дойдем и до приказа,— ответил капитан.

Полковник молча глядел в окно и нетерпеливо барабанил пальцами по столу. Потом резко повернулся:

— Все это пустые разговоры. Ни к чему они не приведут. А за этими разговорами мы, черт побери, упускаем из виду самое главное.

Он решительно шагнул к стене и, потянув за шнурок, раскатал висевшую там карту.

— Знаете ли вы, что это такое? — он провел пальцем по цепочке островов от Японии до Филиппин.— Здесь проходит граница свободного мира. А там? — он положил ладонь на материк.— Там миллионы людей

живут в условиях невиданного угнетения и тирании. И защищает вас от этой тирании наша база, джентльмены, да, да, наша база. Если бы не она, красные хлынули бы сюда, и демократии в вашей замечательной стране давно пришел бы конец. У меня нет времени разбираться в уличных происшествиях. Моя задача — защищать свободный мир, а для этого необходимо сотрудничество филиппинцев и американцев.

Полковник помолчал и, сурово оглядев присутствующих, добавил:

— Как же, скажите на милость, можем мы вас защищать, если кое-кто сознательно подрывает это сотрудничество?

— Я категорически протестую,— вскочил со своего места советник.— Господин офицер, вероятно, не дает себе отчета в том, что его слова есть попытка открытого вмешательства в филиппинские дела. Вы смеете меня учить, как мне вести себя в моей собственной стране?! А что до так называемого сотрудничества, то у меня есть свое мнение на этот счет...

— Не пора ли кончать эти разговоры? — яростно набросился на советника мистер Дисон.— Знаете, во что нам обходится каждый час, пока вы тут защищаете эту потаскуху?

— Я знаю другое,— воскликнул советник,— если перед вами стоит вопрос: честь или чековая книжка,— вы, не задумываясь, выбираете второе. И о приказе вы беспокоитесь потому, что вас ударили по карману. Ну так сидите здесь и слушайте старые сказки о красной опасности.— Он перевел взгляд на американских офицеров.— А вы напрасно принимаете эту кучку прихлебателей за представителей народа. Я, во всяком случае, участвовать в этой сделке не намерен.

Он с грохотом отодвинул стул и быстрым шагом пошел к двери, но на пороге обернулся и бросил филиппинцам:

— Я вас не дожидаюсь. Как-нибудь доберусь до города сам. А что скажет народ, вы еще услышите.

Он рванул дверь и с шумом захлопнул ее за собой.

Капитан облокотился на край стола, потер подбородок.

— Весьма откровенный молодой человек,— сказал он.

— Мистер Хавьер еще молод,— заметил мэр, разминая новую сигару.— Видите ли, сам он из очень хорошей семьи. Он просто еще не уразумел, с кем ему по пути.— Мэр аккуратно снял с сигары обертку.— Должен признаться, я проявил мягкотелость. Ведь разрешение на эти митинги он получил у меня в муниципалитете. Боюсь, что я был слишком терпим к деятельности мистера Хавьера. При нынешних обстоятельствах — я готов это признать — разрешать такие выступления не годится.

— Мне не понравился его угрожающий тон,— сказал капитан.

— Это все слова,— заметил мэр, зажигая сигару.— Беда наших юных крестоносцев в том, что они могут кормить народ только одними разговорами. А когда людям надо что-нибудь посущественней, они знают, куда обратиться.

— Пожалуй, вы правы,— заметил капитан.

Мэр затянулся сигарой, потом заговорил снова:

— Капитан, помнится, вы говорили, что командование базы готово помочь нам в благоустройстве города.

— Разумеется,— ответил капитан,— это одна из основ американской внешней политики.

— Если бы вы передали в наше распоряжение кое-какие строительные материалы, хотя бы сборный армейский барак, пусть старый, мы бы построили школу где-нибудь на окраине города. Это не только подняло бы авторитет городской администрации, но и стало бы прекрасным символом дружбы между нашими странами.

— Ну, я думаю, это нетрудно устроить,— сказал капитан.— Вы как полагаете, сэр?

— Сборный барак? — переспросил полковник.— Это проще простого.

— Ну, а как же все-таки насчет приказа?..— начал было мистер Ретана.

Полковник взглянул на часы.

— Действие этого приказа,— сказал он, отчеканивая каждое слово,— истекает сегодня в двенадцать тридцать.

Он нажал кнопку селектора.

— Лейтенант Мюллер? Мы закончили.— Затем, повернувшись к посетителям, с улыбкой спросил:— Что будете пить, господа?

Флора

Через открытое окно было слышно, как у лестницы перед домом кто-то вытирает ноги.

— Доброе утро! — раздался мужской голос.

Миссис Фортунато, утирая распухшие от слез глаза, вышла на крыльцо. Внизу у лестницы стояли двое мужчин, держа в руках соломенные шляпы. На обоих были чистые рубашки и белые туфли, резко выделявшиеся на темной земле.

— Кто это там? — спросил из комнаты мистер Фортунато.

— Молодой мистер Рейна... и с ним кто-то еще,— всхлипывая, сдавленным голосом ответила жена.— Проходите, пожалуйста,— уже более внятно проговорила она, обращаясь к пришедшим.

Мужчины стали медленно подниматься по лесенке свайного дома и в нерешительности остановились на крыльце. Один был совсем молодой, другой, с крупными оспинами на лице,— постарше. Оба старательно отводили глаза от миссис Фортунато.

Она вошла в комнату и выжидательно остановилась у двери — худенькая женщина в бесформенном выцветшем домашнем платье. Робкая, застенчивая улыбка дрожала на ее заплаканном отекшем лице.

— Входите, что же вы,— пригласила она.

Мужчины вошли в небольшую кухню. Справа у стены стоял стол.

Мистер Фортунато, худой, с редеющими волосами и встревоженным лицом, встал со своего места и поздоровался с гостями. На столе перед ним лежала развернутая газета.

— Вот, познакомьтесь,— мистер Рейна показал шляпой на своего спутника,— это мой двоюродный брат, мистер Пина. Между прочим, он родственник Пепе Морено,— зачем-то добавил он.— А это,— он еще раз взмахнул шляпой,— это мистер Фортунато.

— Извините, что принимаем вас на кухне,— смутился мистер Фортунато.— В комнате не прибрано с ночи. Мы... У нас тут... Беда у нас.

— Я понимаю,— отозвался мистер Рейна, глядя в пол. Он теребил свою шляпу и переминался с ноги на ногу. По всей кухне шел сладковатый запах от его густо напомаженных волос.

— Наша Флора пропала! — громко и надрывно выкрикнула миссис Фортунато. Она расплакалась, слезы, сбегая с ее покрасневших глаз, текли по щекам и припухшим губам.

Гости не вымолвили ни слова и, переглянувшись, снова уставились в пол. Мистер Фортунато, вглядываясь в их лица, сказал жене:

— Похоже, что им кое-что известно. Может, мы сейчас что-нибудь узнаем.

— Вы разрешите нам присесть? — вежливо спросил мистер Рейна.

— О, пожалуйста, конечно,— спохватился мистер Фортунато — Такое несчастье. Я совсем голову потерял.

Миссис Фортунато, вытирая глаза, опустилась на скамейку рядом с ним, напротив обоих мужчин. Она положила руки на стол и подалась вперед.

— Может, вы и вправду что-нибудь слышали? — с отчаянием в голосе заговорила она.— Бедняжечка, доченька моя. Мы ее всю ночь прождали. Отродясь у нас этого не бывало. Хоть бы раз Флора запоздала домой.— На мгновение слезы перехватили ей горло.— Она у нас такая красавица. Я ей никогда по вечерам не разрешала гулять. Оно, может, и ничего плохого, а люди, знаете какие, ведь оговорят девочку. А сегодня наши дети с самого утра бегают, повсюду ищут Флору, только никто ее не видел, ни родня, ни соседи.

— И в газете никаких таких происшествий нет,— добавил мистер Фортунато.

Миссис Фортунато дотронулась до руки мистера Рейна.

— Вы-то знаете, какую мы дочку вырастили, скромную, воспитанную. Вот, к примеру, приди вы к нам, когда меня нету, так она вас и не примет, даже в дом не впустит.

Мистер Рейна откашлялся.

— Вы, наверно, давно заметили,— начал он,— что в вашу дочь без памяти влюбился Пепе Морено. Сколько времени он все ходит и ходит к вам. Так он ее любит, что на все готов. Теперь уж до того дошел, что по ночам не спит.

— Да, да,— согласно закивала миссис Фортунато.— Флору все любят. Она такая славная девочка.

На минуту наступило молчание. Мистер Рейна беспомощно посмотрел на мистера Пина. Тиская в руках свою шляпу, тот, наконец, произнес:

— Ваша Флора сейчас у меня в доме.

— Что? — только и смог произнести мистер Фортунато. Он точно оцепенел.

Миссис Фортунато часто задышала, а рука с платком замерла в воздухе на полпути к мокрым глазам.

— У вас дома? — ошеломленно спросила она.— Да что ей делать в вашем доме? Она вас и в лицо-то не знает.

Мистер Пина ничего не ответил, только посмотрел на мистера Рейна.

— ...Мы,— запнулся было тот, потом скороговоркой выпалил: — Это Пепе привел ее туда.

— Пепе Морено? — спросил мистер Фортунато.

— Он самый.

Мистер Фортунато стиснул кулаки, весь дрожа. Его жена смотрела на гостей расширившимися от ужаса глазами.

— Флора его видеть не может, этого Пепе Морено,— тихо проговорила она.— Никуда с ним пойти не хотела. Вы же знаете.

— Мало ли что! А сейчас они оба у меня дома,— возразил мистер Пина. Было видно, что он теряет терпение.

— Так вы что, хотите сказать...— растерянно заговорил мистер Фортунато прерывающимся голосом, но мистер Рейна перебил его:

— Мы вам хотим втолковать, что ваша дочь и Пепе... Ну, одним словом, Пепе сказал, что женится на ней.

— Женится? — с болью вскрикнула миссис Фортунато.— Да никогда в жизни она не выйдет за него по своей воле. Вы ее силком увезли! — Она вскочила с места, задыхаясь от слез.

— Ну, миссис, успокойтесь,— уговаривал мистер Рейна, прижимая руками к груди свою шляпу.— Мы же всем можем сказать, что они сбежали тайком.

— И Флора всю ночь пробыла с ним в этом доме? О, господи. Он изнасиловал ее! Надругался над моей бедной девочкой! — Она опусти-

лась на скамейку и зарыдала.— Я так и знала... так и чувствовала, что случилась беда, страшная беда. Флора, доченька моя, такая добрая, скромная. Она с мужчиной ни разу в жизни одна не оставалась. Как она будет смотреть людям в глаза?

Мистер Фортунато вскочил со стула, прошел в другую комнату и через минуту вернулся, застегивая на груди чистую рубашку.

— Я иду в полицию,— сказал он.

Мистер Рейна и мистер Пина как по команде встали, преградив дорогу к двери.

— Да останови же ты его,— сказал мистер Рейна, заметно нервничая.

— Погодите минуту, сэр,— решительно заговорил мистер Пина. Вся его вежливость улетучилась, и рябое лицо приняло угрожающее выражение.— Смотрите, как бы не натворить такого, что потом и вам и Флоре придется раскаиваться.

— Раскаиваться? — крикнула миссис Фортунато.— Иди, сейчас же иди в полицию. Надо было еще вчера заявить.

— Ну что ж, заявляйте. Только сами знаете, что дальше будет.— Мистер Пина угрожающе поднял палец и показал на газету, лежащую на столе.— И вы и Флора попадете в газету. А там уж, будьте покойны, про вчерашнюю ночь такое пораспишут, что не обрадуетесь. Тут не только соседи, весь город узнает. Подумайте хорошенько, ведь стыда не оберетесь. Неужели вы этого добиваетесь?

Миссис Фортунато беззвучно плакала.

Мистер Фортунато, весь поникший, опустился на скамейку.

— Пусть только явится сюда, я убью его на месте.— В голосе его дрожали слезы.

— Это он вас и прислал сюда? — спросила миссис Фортунато.

— Ведь Пепе нам родня,— ответил мистер Рейна.— Вот и помогаем ему.

— А Флору увозить вы ему тоже помогали? — с горечью спросила миссис Фортунато.

— Ваша Флора жива и невредима,— поспешно заверил мистер Рейна.

— Невредима,— повторила женщина.

— Убью я его,— сказал мистер Фортунато.

— Послушайте,— заговорил мистер Пина.— Давайте лучше посмотрим на это дело с другой стороны,— голос его снова звучал вежливо. Он и мистер Рейна уселись на прежние места и облокотились на стол.— Ведь тут разговор идет о любви, верно? Ну, а наш Пепе любит Флору, хочет на ней жениться. И все равно он ее никому не уступит. Спорю на что хотите — никто ее так любить не будет, как Пепе.

— А Флора его ненавидит,— печально сказала миссис Фортунато.

— Ну, это пустяки,— отмахнулся мистер Пина.— Ведь девчонки сами не знают, чего хотят. А пройдет время, увидите, она его полюбит. А может, уже и сейчас полюбила. А как же иначе — ведь он в ней души не чает.

— Флора сама пойдет в полицию,— сказал мистер Фортунато.— Уж она ни на что не посмотрит. Вот увидите, моя дочь сумеет притянуть к ответу этого вашего родственника.

Мистер Пина задумчиво потер подбородок.

— В том-то и штука,— начал он.— Флора так и сказала, что сама пойдет в полицию... Но вы-то должны понимать, чем это пахнет — страшный будет скандал. Мы поэтому и пришли. Уговорите ее, чтобы не делала такой глупости. И вам и ей только будет хуже. Семью вашу опозорят на всю жизнь. А с Флорой что будет? Вы думаете, кто-нибудь на ней же-

нится после такой истории? А так она, по крайней мере, выйдет замуж, и Пепе ее любит.

— Пускай Флора решает все сама,— устало сказал мистер Фортунато. Он посмотрел в окно и добавил: — Только этот Пепе — просто шалопай.

В кухне стало тихо. В открытое окно долетали голоса и шум с улицы.

— Самое главное, чтобы как-нибудь обошлось без скандала,— тихо сказала миссис Фортунато. Она робко дотронулась до руки мужа.— Может, Флоре не так уж и плохо будет. Раз он ее любит.

— Еще как любит,— подхватил мистер Рейна.— Ну, сами посудите, стал бы он все это затевать, если бы не любил ее?

Слезы снова хлынули из глаз миссис Фортунато.

— Недаром я так дрожала за Флору,— причитала она.— Чуяло мое сердце, что погубит ее красота...

Мистер Фортунато молча смотрел в окно.

— Значит, на том и порешили? — спросил мистер Пина.— Вы поговорите с ней?

— Поговорим,— едва слышно прозвучал голос миссис Фортунато.

— Ну, вот и хорошо,— оживился мистер Пина.— К вечеру Пепе приведет сюда Флору. Я вам говорю, все устроится и все будут довольны.

Оба гостя встали.

— До свидания, миссис, до свидания, мистер Фортунато,— прощался мистер Рейна.

Пятясь, они добрались до двери и торопливо спустились с лестницы.

Перевод с английского С. РАПОПОРТ

ХЕНОВЕВА ЭДРОСА-МАТУТЕ

Возвращение

Было за полночь, когда Роман пришел в родное селение. Деревья на холме стояли тихими часовыми перед человеком с настороженным лицом, который был частью ночи. Небо, покинутое светом, слилось в объятиях с кромешной тьмой.

Роман остановился на миг и потом сел на длинные узловатые корни большого дерева. Как ни холодна была ночь, у Романа выступал пот на шее и перехватывало дыхание. Холодный ветер доносил до его ушей все тихие шорохи ночи. Даже в чуть слышном поскрипывании бамбука на косогоре человеку слышался призывный свист.

Темны, как ночь, были мысли, и никак не хотели они идти против чувств, которые стучались теперь в дверь его сердца.

Еще несколько месяцев назад он задумал это. Сначала он не подпускал к себе близко даже тень, которую отбрасывал этот замысел. Но зов равнины был силен. Он скрывался вместе с Басилио на горной вершине, но его глаза полнились расстилавшейся внизу равниной. Свет луны и мерцающих звезд не мешал видеть слабые огоньки в нескольких хижинах на равнине, огоньки, отважно споривших с ветром, который дул с гор.

Сейчас, сидя в темноте, Роман уже не помнил, как несколько дней и ночей он отгонял от себя эти мысли. Замысел окончательно созрел после одного известия, о котором он тоже долго пытался не думать: известия о

гибели командира отряда с соседних гор. Какими-то судьбами до их убежища дошла старая газета. Его мысли смешались, когда он прочел там о случившемся в горах по соседству. Педро Реансасо, один из вождей мятежников, был выслежен в горах... дрался... убит... правительство наградило выдавшего 80 000 песо... в настоящее время продолжаются поиски и других... в том числе Басилио Лафорте... назначено тоже 80 000 песо... тоже 80 000 песо... тоже 80 000 песо...

Той же ночью словно хищные птицы ринулись на его душу — ему представилось лицо женщины, которую он привел когда-то в маленькую часовню на холме, лица их детей, неулыбающиеся губы его тещи и ее глаза, требующие 80 000 песо.

На другое утро он уже не мог смотреть в глаза Басилио...

Несколько ночей слушал он в темноте биение своего сердца — и боялся, что Басилио тоже услышит его со своей постели. Его сердце отсчитывало дни, остававшиеся до его очередного выхода в долину за припасами.

Но в этот раз — не только за припасами...

В те дни глаза Романа, когда он говорил с Басилио, бегали и не могли остановиться.

И вот наступили для Романа день и минута сойти с вершины, чтобы как прежде... нет, не как прежде...

Роман больше не вернулся на вершину. Вместо него по тем же тайным тропам, по которым недавно ступали ноги спешившего вниз Романа, поднялся отряд вооруженных солдат. Тишина дней и ночей на вершине горы была взорвана страшной схваткой. В эту ночь те, чьего возвращения с вершины ждал Роман, принесли весть о том, что там произошло.

Теперь он сидел на узловатых корнях дерева, и по всему его телу снова ползали мурашки, такие же, как в тот час, когда он услышал весть с гор: благодаря карте, которую Роман начертил в присутствии больших людей, Басилио удалось окружить; он так и не сдался: пули изрешетили изможденное тело Басилио, которое висело теперь в лунном свете на дереве среди плодов манго.

Все холоднее становился ветер, порывами налетавший на потный лоб Романа, а Роман все сидел на узловатом корне. Шевелящиеся ветви деревьев вокруг были для него солдатами ночи, которые медленно окружали ничего об этом не знавшего Басилио; тихое поскрипывание бамбука на склонах — оглушительной стрельбой во тьме ночи, а белая одежда Романа, маячившая в темноте,— качающимся на дереве телом Басилио.

Роман с трудом отогнал от себя эти мысли — так же, как он отгонял их до своего ухода с вершины. Он медленно поднялся с корня и посмотрел в темноту. Равнина, на которую он глядел по ночам с гор, стала теперь черным бушующим морем. Он оперся одной рукой на большое тело дерева, а другой ощупал толстые пачки денег в своих карманах.

Ему не надо было развертывать в темноте эти пачки, чтобы узнать, сколько там.

Он хорошо знал: 80 000 песо! Бóльшая часть — в кармане штанов, остальные — в кармане рубашки. Эти он пощупал: они были прямо против его сильно бившегося сердца. Он быстро опустил руку вниз.

Он побрел прочь от большого дерева. Перед ним на равнине было бушующее черное море. Роман ускорил шаг, чтобы рядом с женщиной, которую он привел когда-то в маленькую часовню на холме, и во взглядах троих ни о чем не ведающих детей найти убежище от воспоминаний, которые шли за ним, не отставая ни на шаг.

Он шел, и с каждым шагом крепла его надежда, что он сможет забыть все: и расправу солдат с Басилио, такую легкую благодаря карте, которую Роман начертил в штабе, и отказ Басилио сдаться, и его изре-

шеченное пулями худое тело, висевшее на дереве среди манговых плодов, и свет луны на этом качающемся теле.

Он шел все быстрее, пока не увидел впереди белые камни на старом кладбище их деревни. Он поднял глаза к небу — из-за черных туч чуть выглядывало печальное лицо луны, поэтому и были видны белые камни на старом кладбище. А за ними, между кладбищем и первой хижиной на равнине, стог необмолоченного риса.

«Почему,— вдруг спросил себя Роман,— с тех пор как я себя помню, там всегда стоит рисовый стог? Между кладбищем и первой хижиной. И теперь... и в детстве... когда мы с Басилио были еще детьми».

Стог все рос и рос перед его глазами. Не было никакой разницы между этим стогом и стогом их детства. Это был тот же самый стог. Такой же большой, как стог, хранивший в себе веселые голоса Романа и Басилио, когда одной лунной ночью они впервые говорили о женщинах. Они провели перед этим целый день, пася буйволов и подглядывая за девушкой, купавшейся в реке, а вечером встретились у стога, и их звонкий смех поднимался оттуда по серебристым лучам луны.

Роман остановился на миг, пытаясь изгнать из своего слуха усилившееся поскрипывание бамбука, вновь возвращавшее к нему ту ночь и звонкий смех Басилио. Но несмотря на все эти старания, с прежней силой и чистотой возвращался к нему голос Басилио, смех Басилио, веселые крики, в которых звучала беззаветная вера в жизнь. Почти бегом Роман удалялся теперь от стога к хижинам. Он слышал шаги, переходящие в бег, у себя за спиной — свои собственные шаги по сухим листьям.

Еще до того как Роман увидел хижину, служившую кровом дорогим ему людям, у него уже созрело решение: они уедут отсюда. Он и женщина, отданная ему перед алтарем на холме, и трое детей, которых принесла ему любовь этой женщины. Он увезет их четверых от всего — от воспоминаний о стоге и висящем теле, освещенном луной.

80 000 песо унесут их далеко.

Теперь уже было рукой подать до хижины его родителей. Школа осталась позади, школа, где учатся читать и писать двое его детей — и двое детей Басилио. Он старался не думать об этом, но не мог. Значит, в тех комнатах... также и дети Басилио? Потому что они с Басилио почти одновременно стали юношами и почти одновременно остепенились.

«Роман! Роман! — радостно и гордо звучит голос Басилио.— У меня мальчик! Мальчик! Как и у тебя!»

Совсем близко один от другого, в той же самой комнате, они оба учатся читать и писать. Как... как они с Басилио в свое время.

Вон на ту лестницу позади школы он и Басилио взбегали в два прыжка. Сколько раз они доводили до сердечных приступов старую школьную уборщицу, гонявшую их с этой лестницы, сколько раз они сердили ее, прячась на дереве во дворе, куда, они знали, старухе до них было не добраться...

Шаги Романа все ускорялись. Слишком многое вокруг напоминало ему о Басилио. А этого не должно быть. За ночи размышлений на вершине горы он убедил себя в том, что не должен оглядываться назад. С того момента, как он привел в исполнение свой замысел, не оставалось больше места для оглядок на прошлое.

Да, места для оглядок на прошлое теперь не оставалось. Не оставалось ничего, кроме видов на будущее, обеспеченное ему пачками денег в двух карманах.

И вот он перед своим домом. Его фигура сливалась в темноте с тамариндом, крона которого нависла над четырьмя ступенями крыльца.

Он знал: стоит ему негромко произнести два раза, а может быть, три... стоит ему только произнести имя матери троих детей, спящих креп-

ким сном,— и ветхая дверь откроется. И кончатся все его страдания, все его волнения, все его одиночество. Завтра утром — нет, еще на рассвете — они уедут отсюда. Но (и Роман окаменел от этой мысли) что он скажет в ответ на вопрошающие взгляды жены? Что он скажет этим глазам, которые поднимутся к его лицу, о том, почему они вдруг покидают родные места? Что он скажет им о пачках денег, которые унесут их в далекие края?

Он услышал ее голос: «Роман, почему Басилио не спустился вместе с тобой?»

Он отступил назад, и его спина прижалась к толстому стволу тамаринда.

Он увидел в темноте глаза жены, глядящие прямо в его глаза. Он знал: ничего он не сможет скрыть от глаз жены. И... он не сможет встретить ее взгляд.

Роман медленно сел под тамариндом.

Через дорогу, в третьем домике, мигал огонек.

Наверно, проснулся мальчик Басилио. Или, может, один из троих заболел? Или мигающий огонек ждет того, кто уже не вернется?

Роман не мог оторвать взгляда от лучей света, проникавших наружу сквозь щели поднятого на сваях бамбукового пола.

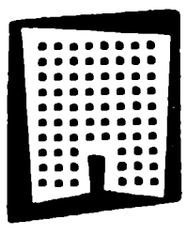
Ветхая дверь с тамариндом у крыльца так и осталась закрытой.

На другое утро спокойствие деревушки было нарушено зрелищем, открывшимся в лучах солнца: там, где кончалась дорога, висело мертвое тело Романа.

А жена Басилио срывавшимся от волнения голосом рассказала своей единственной подруге (жене Романа), что, проснувшись рано утром, она нашла под дверью своего дома две пачки денег — всего 80 000 песо.

ГЛОРИЯ ВИЛЬЯРАСА ГУСМАН

Подарок



режде чем войти в универмаг, Эньонг скользнул взглядом по своей рубашке и брюкам. «Хорошо, что сменил сегодня утром»,— подумал он. Не сделай он этого, было бы стыдно — ведь послали его в такой большой магазин!

«Вон как отутюжено — ни морщинки не осталось»,— удовлетворенно подумал Эньонг. Улыбаясь, он открыл дверь магазина.

Эньонг пощупал бумажник, где лежали деньги, которые ему дал мистер Ромеро, посылая его купить подарок для своей жены — ей в этот день исполнялся тридцать один год. В этом же бумажнике лежали деньги, которые Эньонг получил за сверхурочную работу в последние две недели, так что всю дорогу из конторы до самого магазина, куда послал его мистер Ромеро, Эньонг не отнимал руки от бумажника в заднем кармане брюк.

И только теперь, когда Эньонг вошел, наконец, в магазин, он вздохнул свободно. Теперь уже ничего не может случиться с его деньгами.

Эньонг судорожно глотнул воздух и опустил глаза. Где же тут продают духи? Продавщицы такие красивые... Кого бы другого спросить?

Эньонг решил подойти к швейцару, стоявшему у входа. Лучше говорить с мужчиной. Тихо-тихо Эньонг спросил:

— Отец, где тут продают духи?

Поблагодарив швейцара, Эньонг неуверенно двинулся к сверкающим прилавкам с парфюмерией.

Он остановился на миг, прежде чем подойти к продавщице, глядевшей на него из-за прилавка. Надо снова посмотреть, как называются духи, которые ему поручил купить шеф. Не дай бог ошибиться — тогда широко раскрытые глаза продавщицы, глядящие на него, раскроются еще шире!

Несколько мгновений Эньонг смотрел на тонкие буквы, написанные рукой его шефа на клочке бумаги. Он несколько раз повторил в уме слова, составлявшие непривычное для его слуха название.

Взглянул Эньонг и на цифру, написанную на бумаге. Пятьдесят песо. А что, если продавщица запросит больше? Что тогда ему делать? Торговаться? Но ведь в больших магазинах, таких как этот, не торгуются. Что же тогда, добавить из своих?

И Эньонг сразу решил: он скажет мистеру Ромеро о том, что духи обошлись дороже. Не может не сказать! Не может не дать понять шефу, что тот должен возместить потраченные Эньонгом собственные деньги! Ведь Перта требует от него отчета за каждый сентимо, полученный им за сверхурочную работу.

В ушах у Эньонга зазвучали слова Перты, которые она обычно говорила ему: «Иди, иди сюда, нечего дурака валять! Давай-ка мне деньги! Я тебе что говорю?!» Эти последние слова она прокричит, и на ее шее вздуются жилы. И как можно скорее он протянет Перте свой бумажник.

Но зачем думать об этом заранее? Эньонг сунул бумажку с названием духов в карман и подошел к продавщице.

Он без запинки выговорил название духов. Продавщица чарующе улыбнулась, и Эньонгу показалось, будто весь магазин засверкал огнями.

Она достала маленький красивый флакончик. «Там и двадцати капель не будет»,— подумал Эньонг. Каждая капля дороже двух песо. Да, духи только для богатых.

Эньонг вынул бумажник и достал деньги.

— Больше ничего не нужно? — Голос продавщицы был сладок, и еще слаще была ее улыбка, когда она взглянула на бумажник в руках Эньонга. Ее красные острые ноготки играли карандашом, готовые выписать чек.

Глаза Эньонга широко раскрылись, когда он услыхал слова продавщицы, но она быстро продолжала:

— Есть хорошие духи, которые очень понравятся вашей миссис. Только дешевые...

Для Перты! Эньонг чуть не расхохотался. Купить духи Перте? Да она разобьет флакон о его голову!

— Не только наши боссы могут покупать духи,— сказала продавщица.

— Ну конечно, не только.— Язык Эньонга еле повиновался ему. Что хочет сказать продавщица? Что ему не по средствам купить духи? Вот у него в руках бумажник с деньгами, полученными за сверхурочную работу!

— Это я и хотела сказать,— быстро подхватила продавщица и сразу же наклонилась за прилавком. Когда ее красивое тело выпрямилось, пальцы с острыми ноготками уже держали флакон духов.— Пожалуйста. Всего двадцать песо.

Эньонг повертел флакон в руке и хотел уже сказать, что «потом» купит его, когда продавщица снова заговорила:

— Так я выпишу чек?

Эньонг увидел, как карандаш быстро заскользил по бланку. Он провел языком по пересохшим губам.

— Стой,— невольно вырвалось у него, и он чуть потянул чек к себе.

Продавщица мило улыбнулась и искоса взглянула на Эньонга.

— Не беспокойтесь, здесь все правильно. Пожалуйста, это для вас.

Карандаш скользнул по чеку, и Эньонг увидел цену 20 песо.

Эньонг проглотил слюну. На втором чеке он увидел цену, указанную его шефом: 50 песо.

...Остаток дня Эньонг просидел в конторе, не вставая с места. Снова и снова возвращался он к своим подсчетам. Из головы Эньонга не выходили воспоминания о прежних ссорах с Пертой. Таких воспоминаний было больше, чем других. Недели две назад был, например, такой случай...

Эньонг пощупал рубец на левой щеке. Прошло лишь несколько дней, как затянулась рана. Он еще не забыл резкой боли от удара скребка, которым запустила в него Перта после того, как он увернулся от горшка с рисом. Лучше бы уж горшок, а не скребок попал ему в лицо — тогда был бы только синяк, не то что от острого края скребка, надолго оставившего на его щеке память о Перте.

Эньонг смочил языком пересохшие губы. Что же будет сегодня? Как он отдаст духи Перте?

Неплохо бы передать ей духи через их сына Тотоя. Он даст Тотою духи и скажет, чтобы тот отдал их матери. Он скажет также, что его отправляют в командировку и что он вернется только через несколько дней. Он побудет эти несколько дней у своего дяди Бенигно. Он подождет там, пока Перта не начнет его искать. А искать его она будет наверняка, потому что Перта любит его.

Но что если ночью в его отсутствие у Перты будет сердечный приступ? По спине Эньонга побежали мурашки. Тотою еще только пять лет. Случись это глубокой ночью, кто побежит за врачом?

Эньонг скрипнул зубами. Нужно возвращаться домой. Он не может не быть дома ночью. С Пертой, особенно когда она рассердится, бывают сердечные приступы. Когда Перта бросила в него скребок, она тут же потеряла сознание. Так что Эньонг, даже не дотронувшись до раны, сразу побежал тогда за доктором.

Эньонг с тоской подумал о том, что будет, когда он придет домой.

И вот прозвенел звонок — рабочий день кончился. Эньонг стал в очередь к часам отбить свой уход. Мысли его путались.

Делать нечего — надо было приготовиться к худшему.

Эньонг все ощупывал рубец на щеке, поднимаясь по лестнице своего дома. Еще не войдя в дом, он услышал резкий голос Перты, раздававшийся на кухне. Наверно, она говорила с детьми.

— Это ты, Эньонг?

Колени Эньонга задрожали. «Началось»,— прошептал он про себя.

— Я, Перта! — выдавил он из себя.

Фигура Перты появилась на пороге кухни и заполнила весь дверной проем. Уперев руки в бока, она смотрела на приближавшегося мужа.

— Я уж думала — ты где-нибудь заночевал по дороге!..

— Т... трудно было сесть на автобус,— Эньонг облизал пересохшие губы.

— А почему у тебя рука в кармане?

Эньонг сразу вынул руку, сжимавшую флакон, и робко улыбнулся.

— Куда ты идешь?

— Что же мне, и не переодеваться? — Эньонг снова облизал губы.— В комнату иду,— тихо сказал он.

— Что-то ты слишком часто переодеваешься в комнате! — Слова Перты громом прогремели по всему дому. В проеме кухонной двери по обе стороны от жены Эньонг увидел два настороженных детских лица. Глаза детей были широко открыты: они ждали чего-то страшного.

— Что это такое ты прячешь? — Эти слова кинжалом вонзились в переполненную страхом душу Эньонга.— А? Говори!

— Ну...— Эньонг попробовал засмеяться.— Если захотел переодеться в комнате, так уж значит что-то прячу?..

— Пойди сюда. Пойди сюда! — Полная рука поманила Эньонга.— Не забыл ли ты о чем-нибудь?

— Я... я тебя не понимаю.

— А твои сверхурочные?! — грозно загремело в ушах Эньонга.— Где они? Ты почему не отдаешь мне деньги? Думаешь, я забыла, какое сегодня число?

— Ах, так ты про это? — тень улыбки показалась было на губах Эньонга.— Вот... сейчас я отдам тебе. Разве могу я тебе не отдать? — Теперь он уже был готов ко всему.

Мгновенно у него промелькнула мысль: «Что лучше отдать ей сначала — деньги или духи? Если деньги — она разъярится еще больше: сразу увидит, что не хватает. Если духи — начнет бросать что попало, но потом отойдет и не будет уже так сердиться, когда я отдам ей деньги... Будь что будет!»

Первое, что Эньонг вынул из кармана, была коробка с флаконом. Храбро улыбаясь, он протянул ее Перте.

Перта наморщила лоб, принимая коробку. Она еще больше наморщила лоб, открывая ее. И, остолбенев, уставилась на флакон.

Но почему она такая тихая? Почему не кричит и не ругается? Что это, затишье перед бурей?

Наверно, Перта сейчас упадет в обморок... наверно, она в такой ярости, что сердечный приступ начнется раньше обычного...

Страх Эньонга рос с каждой секундой. Почему Перта такая тихая?

Две слезы заблестели на ее круглых щеках, и оставили след на ее судорожно вздымавшемся на груди платье. Перта стояла наклонив голову, с закрытыми глазами.

— Перта...— осторожно позвал ее Эньонг. Он взялся за руку, вцепившуюся в косяк двери.

Перта сильнее прижалась к косяку. Теперь она обеими руками держала флакон, крепко прижимая его к вздымающейся груди.

— Перта... Перта, я позову доктора! — испуганно проговорил Эньонг.— Тотой, Нанинг, уходите отсюда... Принесите вон тот стул! Мама может упасть в обморок!

Но Перта закачала головой: нет, не надо. И — улыбнулась!

— Что с тобой, Перта? — Эньонгу стало не по себе.

— Мама, что ты? — захныкал Тотой.

— Папа...— Нанинг ухватился за брюки Эньонга.

— Я очень счастлива,— донеслось до них сквозь рыдания.

— Что?!

— Я говорю, я очень счастлива!

— Что ты хочешь этим сказать? — Эньонг забыл про всякую осторожность.

Вместо ответа округлая рука Перты обвила шею Эньонга.

— Что с тобой, мама? — осмелел Тотой.

Губы Перты прижались к щеке Эньонга.

— Мама!..— Нанинг ухватился за платье Перты и теребил его.

— Так, значит, ты помнишь! Я думала, что ты уже забыл,— сказала Перта, вытирая глаза и мокрые щеки,— а ты, оказывается, помнишь мой день рождения!

Перевод с тагальского **Р. РЫБКИНА**

ХОСЕ ГАРСИА ВИЛЬЯ

Человек, который был похож на Рисаля

Жил-был человек, очень похожий на Рисаля. Лицо его было печально и печальными были его глаза — даже тогда, когда он радовался. Волосы сидели на его голове черной курицей-наседкой; наседка опустила одно крыло, и оно черной тучей закрыло правую сторону его лба. Он был тщедушен, и его темная кожа была сморщенной, как будто его окунули в клей и клей ссохся. Сердясь, он оставался таким же тихим, как всегда, только стучали его полусгнившие, желтые, квадратные зубы.

Он выглядел совсем незначительным человеком, если не считать его лица, которое напоминало лицо Рисаля. Он всегда был скован, старался держаться в тени, и ритм его жизни был томительно однообразным. Однако он всегда оставался чувствительным к тому, что происходило вокруг него, но нравилось это ему или нет — он соглашался со всем, не говоря ни слова. Иногда во время купания он смотрел на свое нагое тело и сгибал руки, пробуя силу своих мышц, и очень огорчался, видя, как он слаб, но потом успокаивался и продолжал купание.

У него были узкие покатые плечи и очень тонкая шея. Посреди его груди шла глубокая ложбинка, и иногда он воображал, что это длинная река, что она несет в своих водах тревогу и эта тревога оседает в его груди. Но если река, катившая свои воды посередине его груди, и оставляла такой осадок, ложился он где-то совсем глубоко, потому что человек был очень тихим и безобидным.

Своей жене он был верен и любил ее — как любил и двоих детей, которых она ему родила. Дети были худы и прожорливы; они (он знал это) не были красивы, но все равно он любил их. Когда было не о чем думать, он думал о них, и его сердце переполнялось гордым и радостным чувством.

Его жена была невысокой молодой женщиной с маленькой темной родинкой на шее у затылка. Он любил эту родинку, и иногда ему хотелось до нее дотронуться, чтобы узнать, какая она на ощупь. Он думал, что если он прижмет к ней мизинец, жене, может быть, станет щекотно и она засмеется. Но он был робок и боялся показаться смешным. Он так и не набрался смелости дотронуться до родинки, и жена так никогда и не узнала о его маленьком тайном желании.

Когда она вышла за него замуж, он был старше невесты на половину ее возраста. Свадьбы не было, потому что оба они были бедны, и день прошел совсем скучно, но ночью они спали вместе. Она и теперь была еще молода, хотя уже не так стройна, как прежде. Она часто одевалась в зеленое, и ему это нравилось, потому что этот цвет напоминал ему о деревьях. Он был плотником и любил деревья за то, что они давали свежую, ароматную, плотную древесину. Однажды он даже сказал жене, что ему хотелось бы жить с ней в деревне, где пышность зелени рождает радость. Здесь, в городе, сказал он, зелень бесцветна и не заполняет пустоту в душах людей.

Он говорил ей такие вещи, потому что в душе он был поэтом и испытывал желания, которые (он знал это) ничто вещественное не могло утолить. Иногда в его воображении рождалось что-то прекрасное, но ему не хватало слов, чтобы передать эти мысли. Когда он не мог их высказать, он прикладывал руки к вискам и закрывал глаза, а его губы дрожали. В таких случаях жена смотрела на него и молчала, потому что она не понимала его и даже думала, что он немного сумасшедший.

Он сказал однажды:

— Не будь я плотником и бедняком, мои руки были бы красивыми.

Он сказал это, глядя на свои обезображенные работой руки, в то время как жена расстилала на полу их спальную циновку. Жена, не понимавшая его, смотрела на него сочувственно, и он подумал, отвечая на ее взгляд, что она прекрасна, и это она поняла.

Однажды с этим тихим и скромным человеком случилось несчастье. Как плотнику, ему приходилось пользоваться в работе молотком, гвоздями и долотом. Он обрабатывал доску, когда долото вдруг соскользнуло и вонзилось ему в палец ноги. Из раны хлынула кровь. От сильной боли он потерял сознание, и десятник велел вызвать «скорую помощь». Машина отвезла его в больницу. Там ему ампутировали палец.

Когда он вернулся домой, жена стала выговаривать ему за его неосторожность. Она плакала, но в ее голосе звучал упрек: «Так уж много у тебя пальцев, что тебе надо было отрезать один?»

— Но я ведь не нарочно,— говорил он, оправдываясь перед ней.

Когда нога зажила, он стал ходить, слегка прихрамывая, и жена насмешливо сказала ему:

— Ты научился танцевать.

Но он решил, что она его просто поддразнивает, и не обиделся на нее.

Когда его дочь достигла школьного возраста, он записал ее в городскую школу. Как отец, он гордился ею и каждое утро перед уходом в школу давал ей несколько сентаво, чтобы она могла что-нибудь себе купить. Иногда она просила больше, и он давал ей, отказывая себе на этот день в сигаретах.

Однажды дочка, втиснувшись между его колен, стала рассказывать ему о том, что они делали в классе. Она рассказала, что учительница знает очень много — каждое слово в книжке, по которой они учатся. Откуда учительница знает все это, спросила она, и он сказал: это потому, что она много училась.

— Учителя сначала учатся по многу лет, а потом уже сами начинают учить,— сказал он ей.

Потом дочка рассказала ему, что «кэт» значит «кошка», а «бой» значит «мальчик» и что Хуан, ее маленький брат, тоже «бой». Чтобы отец понял ее до конца, она сказала ему:

— Когда ты был маленьким, ты тоже был «бой»,— и он кивнул в знак того, что понял.

Наполнявший ее восторг переливался через край. Она сказала отцу, что ей очень нравится ходить в школу.

Потом она спохватилась, что чуть не забыла рассказать ему самое интересное.

— У нас в классе,— сказала она,— на стене за спиной учительницы три картинки. Средняя больше тех, которые по бокам, и человек, который на ней нарисован, похож на тебя, итай *. Учительница говорит, что его звали Рисаль.

Потом, видя, что он ничего не отвечает на это, она снова сказала:

— Ты похож на него, итай.

Тогда он посмотрел на нее из печальной обсерватории своих глаз, и ей увиделся в них непонятный свет, и она тихонько пошла прочь, оглядываясь через каждые два-три шага. Остановившись у двери, она снова взглянула на него, но он сидел все так же неподвижно. В ней зашевелилось какое-то странное чувство, и она начала плакать.

Когда дочь сказала ему, что он похож на Рисаля, в его голове зароились до этого не посещавшие его мысли. Он был слаб и тщедушен, а дочь сравнила его с Рисалем. Сказанное дочерью стало первым звеном

---

* Ласкательное обращение к отцу на тагальском языке.

целой цепи новых для него мыслей. Он действительно вообразил себя Рисалем и позабыл о своей невзрачности. Он стал великим, благородным человеком, которого все любят. «Я герой,— думал он,— и люди любят меня. Я бессмертен, я никогда не умру. В смерти за свою родину я обрел вечность. Я есмь воскресение и жизнь». Он вознесся ввысь и разбрасывал семена среди ждавшего внизу народа. Семена были легки как пух, ветры ласкали их; нежные, как лепестки цветов, они плавно опускались вниз, и на грудь каждого из его сограждан попадало хотя бы одно из этих семян. «Они пустят корни, мои семена, и сам я снова стану семенем. Я буду семенем и дам жизнь детям-семенам, ибо я люблю их». Поймав себя на этой мысли, он понял, что стал поэтом, и это потрясло его. Он сказал себе: «Я поэт». Губы его дрожали.

Теперь он был уже не плотником, а совсем другим человеком. Он был Рисалем, и душа его вмещала в себя всю гордость расстрелянного под Багумбайяном. Он в камере, и назавтра его должны расстрелять. «Меня расстреляют,— сказал он.— Меня расстреляют, и мое тело отдаст свою кровь. Кровь моего тела потечет алыми реками... Пусть обретет красоту бледный цветок — душа моей родины. Возьмите меня. Я — яркость, я — цвет, и я отдаю себя вам».

Он был Рисалем, и он был поэтом. «Я буду писать стихи»,— сказал он. Его огрубелая рука схватила воображаемое перо и начала водить им, как по бумаге, по его коленям. Он писал стихи. В его душе было много песен, и ему хотелось, как птиц, выпустить их на волю. «Я человек многих песен, я чрево, рождающее песни». Как легко двигалась его рука, писавшая стихи! «Я — лоно песни, и я полон музыки. Мои песни еще не родились, но они рвутся наружу».

Он написал много стихов, а когда устал, положил голову на подоконник и перестал думать. Как будто в нем больше не осталось жизни, как будто он был лишь мертвой плотью, нечувствительной к тому, что происходит вокруг. Он чувствовал усталость и хотел только отдыха.

Отдохнув, он стал искать написанные им стихи. Но он ничего не нашел, даже пера, которым он писал. И он почувствовал внутри пустоту, от которой было больно. Он не ожидал, что исчезнут стихи, которые он написал, пока был великим человеком. Разочарование было почти непереносимым.

Теперь он снова был плотником, хотя хорошо помнил, что всего за несколько минут до этого он был великим человеком, был Рисалем. Когда он был Рисалем, он писал стихи, но теперь, снова став плотником, он не мог найти эти стихи — красоту, которая всегда жила в его душе и для которой у него не было слов — нет, были, но только пока он был Рисалем. Это и были его песни, и теперь он потерял их. «Я был поэтом. и я писал стихи. Сначала они были семенами в доме моей души, потом они превратились в стебли, а потом — в цветы. Я дал им красоту, и они покинули меня. Они покинули меня, и я не могу найти их».

Потом, когда он победил разочарование, он коснулся рукою своей груди и тихонько постучал в нее. «Откройся,— сказал он.— Ты земля, Рисаль — дерево, и это дерево растет в тебе. Его корни сильны, и ты тоже сильна, потому что в тебе корни Рисаля. Ты — земля, черная и грубая, но ты обретаешь красоту, потому что даешь жизнь дереву».

Острая жалость к самому себе пронизала его, но он сказал себе: он не жалеет о том, что он не Рисаль.

Через несколько дней жена ушла от него к другому мужчине. Детей она оставила ему. Сам он узнал об уходе жены одним из последних — когда плачущая дочь прибежала к нему. С рыданиями она рассказала ему, что соседи между собой говорили: ее мать ушла к другому мужчине. Она сказала, что не хочет другого мужчину себе в отцы.

— Ты мой отец,— сказала она.

И он принял случившееся безропотно — ведь он был всегда покорен судьбе. Но заполнить пустоту было нечем. Он любил жену, а она от него ушла. «Она ушла от меня, но я не могу убежать от нее. Это потому, что у меня нет дыхания — я дышал только ею, и у меня уже нет дыхания, чтобы бежать».

Он узнал имя человека, к которому она ушла. Это был живший по соседству здоровяк с квадратным лицом, волосатыми руками и такой же волосатой грудью. Люди звали его Педронг-Сабонг — Педро Петушатник. Он был водопроводчиком, но зарабатывал больше на петушиных боях. А еще он тайком играл в карты. По воскресеньям он надевал яркую одежду, и женщины заглядывались на него. Ему это нравилось.

В первое время человеку, от которого ушла жена, хотелось встретиться лицом к лицу с Педро Петушатником. Он бы дал тогда волю гневу, нашел бы слова, которые ранили бы другого в самое сердце, пустил бы в ход кулаки. Гнев его — он знал это — будет так силен, что он и не почувствует ответных ударов. «Я буду как крепость и не почувствую ничего. Побив его, я стану великаном. Я превращу его в месиво, в месиво, в месиво». Он повторил три раза: «в месиво, в месиво, в месиво», потому что звук этих слов ласкал ему слух.

Потом он подумал о жене. Она была добра к нему и хорошо вела хозяйство. Она умела готовить и очень заботилась о детях. Его удивило, что она не взяла их с собой, но в конце концов это его радовало. «Я люблю своих детей,— сказал он себе,— думаю, что и они меня любят»

Он до этого и не подозревал, что между его женой и Педро Петушатником что-то есть. Почему она оставила его? Ведь она никогда не жаловалась ему на их жизнь. Он всегда считал ее верной, и сам был верен ей. Она была миловидна и еще молода (ей было сейчас всего лет двадцать пять), и у нее был застенчивый меняющийся голос. Стоило ему услышать танцующие ноты этого голоса, как в нем поднималась гордость за обладание ею. «Она вся моя — ее тело и ее голос принадлежат мне. Ее руки — две моих возлюбленных. У них нет страха передо мной, и они умеют любить».

Думая о ней, он вдруг поднялся со своего места и стал закрывать одно за другим все окна в доме. «Она ушла от меня, и теперь я один. Меня шатает ветер, и если окна будут открыты, он унесет меня с собой. Если через окна этого дома ветер унесет меня в бесконечность, значит, я тоже убегу, как бежала моя жена. Ее вина станет и моей виной. Но если я от себя убегу, как я потом найду себя?»

Потом (ибо в комнате стало темно и дети начали плакать) он сам открыл окна, которые перед этим закрыл. Он посмотрел на детей и спросил, почему они плачут. «Ведь вы совсем маленькие, несмышленыши, так с чего же вам плакать?» — молча спрашивал он их.

Мысли о мщении постепенно оставили его. Если он встретит Педро Петушатника, он не даст воли своему гневу, как думал вначале. Он постарается понять. «Она ушла от тебя, потому что ты ей больше не нравишься. Это не твоя вина. Женщине кто-то нравится больше, чем ее муж, и она бросает мужа ради него — разве я этого не понимаю?» Он пожмет руку Педро Петушатнику, и от обиды не останется и следа. «Еще я скажу ему... чтобы он был добр к ней».

Проходили месяцы. Жизнь постепенно возвращалась в свою колею. Дети привыкли к нему — привыкли есть с ним, спать рядом с ним, привыкли к тому, что он их купает. Он стал для них матерью, и, когда он понял это, его охватила радость.

Дети любили его, он знал это и был счастлив. Дочка-школьница причесывала его и учила тем немногим английским словам, которые знала сама. Он рассказывал ей о своей работе, а по воскресеньям они втроем (он, девочка и ее маленький брат) ходили вместе в кино. Перед тем как

войти, они покупали вареную кукурузу, а иногда земляные орехи и ели их в зале. Читать он не умел и терялся, когда дочь спрашивала его о том, что написано в субтитрах. Он отвечал ей тогда, что они на испанском или английском языке, а он этих языков не знает. Она ему верила и говорила, что никакой беды в этом нет.

Случилось однажды, что человек, похожий на Рисаля, пошел за сигаретами в китайскую лавку на углу неподалеку от его дома. Дочь пошла с ним. Он взял ее за руку, когда они переходили улицу, и сказал ей, чтобы она шла скорее: вон едет большая синяя машина, а машины, сказал он, переезжают детей, и бедные дети или умирают, или становятся калеками — горбатыми, хромыми, безногими и безрукими.

— Не хочу, чтобы машина тебя переехала,— сказал он ей.

Итак, они торопливо пересекли улицу и вошли в похожую на кубик китайскую лавку. Внутри на стенах красовались прибитые гвоздями жестяные листы с рекламой американского мыла и сигарет. Они были раскрашены яркими красками, они сверкали глянцем, и девочка, не отрываясь, смотрела на них, пока отец покупал себе сигареты.

Отец попросил спички, и теперь все ее внимание принадлежало ему: она хотела увидеть, как он закурит сигарету, которая уже была у него во рту. Он чиркнул спичкой по коробку — вспыхнуло бледное пламя.

Он хотел было поднести огонь к сигарете, но вдруг опустил руку, взглянул на девочку и спросил ее:

— Ты видела? Видела?

Он побледнел, сигарета выпала изо рта. Шатаясь, он вышел из лавки. Он не смог закурить сигарету, потому что увидел прохожего. Лица его он не разглядел, но зато сразу узнал широкие плечи и мерную поступь.

Да, это был Педро Петушатник. Перед человеком, который был похож на Рисаля, вновь встало прошлое. Была жена с застенчивым меняющимся голосом, и она ушла с Педро Петушатником... Он вспомнил свое решение не поддаваться гневу — его хватит на то, чтобы простить. Гнев оставил его, в его душе открылся и ласково бил теперь журчащий фонтан доброты. Надо пойти и окликнуть Педро Петушатника. Надо сказать ему несколько слов: «Будь добрым с моей женой. Она больше не жена мне, раз она ушла к тебе, но она мать моих детей. Люби и не брани ее, Педро Петушатник,— я не бранил ее никогда. И скажи ей, что я понимаю. Скажи: мне жаль, что я был недостаточно хорош для нее...»

Его мысли складывались в это послание, а перед глазами стоял туман. И на ощупь поймав в этом тумане руку дочери, он заспешил вслед за человеком, которому повезло больше, чем ему.

Они бежали за Педро Петушатником, и когда между Педро и ними оставалось лишь несколько метров, человек, который был похож на Рисаля, крикнул:

— Педро!

Педро Петушатник обернулся, увидел их, и его колени задрожали. Он покачнулся, и сердце в его груди забилось чаще обычного. В один миг им овладело чувство вины, и в душе он обругал себя за то, что пошел по этой улице. Но он решил не уступать. Если оскорбленный муж жаждет отмщения... что ж, он увидит сам, что из этого получится. Педро хотел было сбежать, но человек с дочерью был уже совсем рядом.

После мгновенного колебания Педро Петушатник ринулся на человека, который был похож на Рисаля, и начал избивать его. Тот согнулся и упал, беспомощный, на мостовую. Но его горящие глаза, не отрываясь, глядели на Педро. Он молчал — ни стона не сорвалось с его губ, но они дрожали. Он исцарапал лицо о каменистую землю, и теперь оно кровоточило. Кровь шла и из прикушенных губ. Он не мог подняться, и дочь заливалась плачем.

Когда человек, который был похож на Рисаля, смог, наконец, под-

няться, вокруг уже собралась толпа. К его щеке прилипли мелкие зернышки щебня, а изо рта тонкой струйкой текла кровь.

— Он кинулся на меня сзади,— объяснял тем временем толпе Педро Петушатник,— я повернулся и сшиб его с ног. Что поделаешь, пришлось защищаться.— Он стоял, большой и высокий, и в его голосе слышалась сдерживаемая ярость.— Вы только подумайте — сзади набросился! Разве это не подлость? — И он посмотрел на своего недруга лживыми и бесстыдными во лжи глазами.

Человек, который был похож на Рисаля, не сводил с него взгляда своих бессильных и печальных глаз, а девочка рядом с ним все плакала и плакала. Он видел, что глаза людей вокруг с обжигающей жалостью глядят на его жалкую, съежившуюся фигуру. Он почувствовал, как в нем все восстает, он порывался сказать им: это неправда, нет, он совсем не такой, как о нем говорит Педро Петушатник. «Я не подлец. Я бежал за ним, чтобы сказать, что я простил. Я хотел попросить, чтобы он был добр к ней!..» Но сила этого чувства душила его и душила слова в нем.

— Не будь он таким жалким, я бы еще не так его отделал,— сказал, обращаясь к толпе, Педро Петушатник.

Тогда сердце тщедушного человека поднялось надо всей обидой. над всей беспросветной тоской, воцарившейся в его душе, и его рука одним патетическим жестом приковала к нему слух всей толпы:

— Вы слышали, вы слышали, что сказал Педро? Да, все так и было.

Он сжал своей рукой худенькую руку девочки, и они медленно пошли прочь. Толпа провожала их глазами, кто-то захихикал с издевкой. Педро Петушатник стоял как вкопанный, но когда он услышал смех, он не смог справиться с комком, вставшим у него в горле, и его ручища, описав дугу, свалила весельчака. Педро Петушатник не взглянул на упавшего — он не мог оторвать глаз от удалявшейся понурой фигуры человека, с которым он так низко поступил. И его толстые губы почему-то дрожали.

Когда плотник и его дочь пришли домой, он посадил ее на стул и стал перед ней на колени, как если бы она была маленькой бесценной богиней, которой он дорожил и которую любил бесконечно, как если бы он был кающимся грешником и хотел исповедаться перед ней. Он плакал и оправдывался, судорожно сжимая ее маленькие руки.

— Я не боялся его, дочка. Нет, не боялся,— взывал он к этой маленькой девочке с влажными глазками, похожими на больных котят.— Только большой и сильный человек сможет признать себя неправым,— говорил он, тихо всхлипывая и не сводя с нее умоляющих глаз.— И нужно быть еще больше и сильнее, чтобы признать себя неправым... когда на самом деле ты прав... и еще извиниться. Вот видишь, дочка, я... большой и сильный,— и он выпрямился, оставаясь на коленях, и выпятил свою узкую и худую грудь, а его дрожащие губы попытались сложиться в высокомерную улыбку.— Это потому, что я похож на Рисаля,— добавил он, осмелев.— Это потому, что я такой же, как Рисаль, а он был... великим... великим и благородным человеком. Это потому, что Рисаль — во мне...

Маленькая богиня сидела все так же неподвижно и лишь смотрела на него беспомощными, влажными, непонимающими глазами.

— Ты поняла меня? Ты поняла меня, дочка? — взывал он к ней, целуя ее маленькие испуганные руки.

А девочка все смотрела и смотрела.

Перевод с английского Р. РЫБКИНА

Б. СУЧКОВ

РОМАН И МИФ

С тех пор как у человека появилось сознание, его не перестает волновать вопрос о своем месте в мире, в бесконечной цепи превращений бытия. Древнейшие космогонические мифы, сказания и легенды, искусство и рождающаяся философия — все они проникнуты стремлением разгадать или разъяснить величайшую тайну жизни: как возник человек и для чего существует он под небесным сводом, озаряемый звездным сиянием, светом солнца и луны: есть ли человек господин земли и украшение вселенной или он — игрушка божества, раб собственной натуры.

Эта двойная загадка издревле тревожила человеческий ум, толкая его на путь самопознания, заставляя его среди повседневных дел, забот и труда задумываться о собственном предназначении на земле.

С неслыханным мужеством и настойчивостью за исторически обозримое время человек проник в огромную мастерскую природы, вырвав у нее множество тайн. В наши дни бесстрашно прокладывает он себе путь в микро- и макрокосм, в недра атома и клетки, в беспредельные дали звездного пространства, где возникают и рушатся миры, где идет беспрерывное становление материи. Он достиг вершин могущества, о котором раньше было трудно и мечтать.

Научный, технический, индустриальный прогресс человечества очевиден. Но почему двадцатый век стал свидетелем двух чудовищных по своим масштабам мировых войн: почему одновременно с научными и социальными дерзаниями человека, великим искусством, которое он создал, стали возможны костры из книг, Освенцим и Майданек, геноцид и расовая ненависть; почему в мире не перестает литься кровь и творятся леденящие душу насилия и злодеяния? Не повинна ли во всех негативных процессах общественного развития сама человеческая натура, независимо от тех социальных условий, в которых живет и действует человек? И если его натура дуалистична, поскольку в ней соседствуют добро и зло, то не праздным становится вопрос: какое из этих начал преобладает в человеке и определит будущее всего человечества.

Многочисленные мыслители-моралисты прошлого, указывая на то, что в природе человека есть и теневые стороны, отнюдь не считали их главенствующими, а тем более решающими для грядущей судьбы человечества. Их вера в человека не была слепой, она зиждилась на опыте истории, ее питал творческий гений человека. Они отдавали себе отчет в том, что на человека, как на существо общественное, воздействуют условия его бытия и их несовершенство питает многие недостатки и пороки человеческой натуры.

В современную переломную эпоху, когда обозначились горизонты будущего как бесклассового общества, на вопрос: что же такое человек — разум природы, величайшее и благороднейшее ее порождение или средоточие стихийных, не поддающихся контролю и укрощению инстинктов, пленник страсти к насилию и жестокости?—дал ответ реальный гуманизм, то есть коммунизм. Переделывая общество, реорганизуя его на разумных и гуманных основаниях, человек меняет и самого себя, постепенно, в ходе перестройки мира, приближаясь к тому, чтобы стать всесторонне развитой, гармонической личностью. Таковы идеал и цель коммунизма.

Дала ответ на вопрос о природе человека и буржуазная идеология. Либерально-демократические круги буржуазии хотели бы видеть человека атомом в обществе «массового производства», существом с пониженной социальной активностью, чьи интересы замыкались бы и сосредоточивались на потреблении, которое рассматривается как заслон против идей социализма. Но политика подачек и частичных уступок массам не кажется идеологам империализма достаточным средством для сохранения капиталистических общественных отношений Уже в девятна-

дцатом веке, полном предчувствий грядущих социальных катастроф, предощущений близящихся революционных потрясений, более крупных и бескомпромиссных, нежели те, которые были ведомы этому веку, идеологи буржуазии стали вырабатывать концепцию личности, чуждую и традициям эпохи Возрождения, которые рассматривали человека как жизнерадостное, творческое создание, и традициям эпохи Просвещения, для которой человек был вместилищем и носителем разума.

В то время как Шопенгауэр — отец европейского пессимизма, «философ капитализма», как его называл Томас Манн, еще ограничивался тем, что признавал за человеческим умом и сердцем лишь немногие хорошие свойства, подчиняя интеллект воле, Фридрих Ницше полностью переосмыслил понятия зла и добра и стал считать благом те качества человеческой натуры, которые связаны с ее инстинктивными, иррациональными сторонами.

С полным правом и основанием Томас Манн в статье «О месте Фрейда в духовной истории современности», написанной в 1929 году, во времена, когда фашизм активно домогался власти в Германии, рассматривал философию Ницше как исходный этап развития философского и этического иррационализма, который Ницше в книгах «Человеческое, слишком человеческое» и «Утренняя заря» определил формулой «реакция как прогресс».

В русле того течения общественной мысли, у чьих истоков стоят Шопенгауэр и Ницше, по справедливой оценке Манна, находится много «...писателей девятнадцатого и двадцатого столетия, которые — будь они историками, философами, исследователями культуры или археологии — выступают против рационализма, интеллектуализма, классицизма и, говоря коротко, вере в разум восемнадцатого, а также девятнадцатого века противопоставляют ночную сторону человеческой натуры и души как единственное жизнеопределяющее и жизнетворящее начало и, извращая понятия, утверждают примат всего первобытно-предысторического, «порывов», вожделения, бессознательного или, как говорил Ницше, революционно заменяют «разум» «чувствами». Слово «революционно» употребляется здесь в парадоксальном и, с точки зрения нормальной логики, извращенном смысле, поскольку мы обычно соединяем понятие революции с могучей лучезарностью, эмансипацией разума, с идеей будущего, а помянутые громогласные благовестия и призывы противопоставляются ей в духе решительного отступления в ночное, первобытно-священное, растворенное в жизни подсознательное, в мифически исторически-романтическое материнское лоно. Это проповедь реакции».* Томас Манн указывал далее, что этот комплекс воззрений опирался также и на взгляды реакционных, националистически настроенных немецких романтиков Арндта и Гёрреса, бравших под сомнение и преуменьшавших значение разума перед силой национальных чувств. Существенную роль в формировании этого идеологического комплекса сыграли и теории историков первобытного общества — Крейцера, Мюллера и Бахофена, подчеркивавших власть инстинктов над человеческим сознанием, погруженным в хтонические, довременные глуби прошлого, где владычествовали ночь, смерть, демоническое. Эту традицию продолжил Фрейд, сосредоточивший внимание на сфере подсознания, а также реакционные философы XX века, такие как Клагес и Шпенглер, а также Бергсон, чью философию Бернард Рассел называл консервативной и вполне согласовавшейся с движением, «...достигшим кульминации в Виши» *,— то есть с профашистским режимом Петена.

Манн резко и принципиально отгораживает себя от этого течения общественной мысли двадцатого века. И если, например, Клагес в своих работах «О космогоническом эросе», «О сущности сознания», Боймлер в обширном предисловии «Мифы Востока и Запада», написанном к сочинениям Бахофена, Зигмунд Фрейд в своих трудах утверждали вневременность человеческой души, ее независимость от воздействия социальных факторов, то для Томаса Манна общественный опыт человека представлялся решающим, цивилизующим историю началом.

При всей своей внешней отвлеченности вопрос о природе человека стал на деле узловым вопросом современной истории, ибо она подошла к тому рубежу, когда человечеству предстоит решать вопрос и о своем будущем и о своем существовании.

Многие писатели-гуманисты нашего века, в том числе и Томас Манн, считали, что если позволить возобладать тому представлению о целях человечества, которое утверждали и в философии, и в жизненной практике защитники и проповедники политической реакции, то история превратится в хаос. Разгул насилия и бесчеловечности истребит цивилизующее начало в человеческом бытии и приведет к кровавому установлению господства властвующей элиты над порабощенными и подавленными людскими массами. Поэтому единственной возможностью для спасения рода человеческого, для создания разумных и справедливых условий его существования, для развития и обогащения культуры становятся, согласно его воззрениям, поддержка конструктивных, созидательных сил истории, служение гуманности, борьба за торжество и победу разума и человечности.

Этот круг идей и натолкнул Томаса Манна на мысль написать на основе библейской легенды об Иосифе Прекрасном роман о становлении человеческой личности, ее природе и прояснить вопрос о том, какое начало господствует в человеке — доброе или злое. Другой побудительной причиной был дав-

* Th. Mann. Gesam. W., Brl., Aufbau, 1956. Bd. XI, S. 201.

* Б. Рассел. История западной философии. Москва, ИЛ. 1959, стр. 799.

ний интерес писателя к древнему Египту, его своеобразной и таинственной культуре. Роман этот и был написан Манном в 1933—1943 гг.

Автор «Будденброков» и «Волшебной горы» — двух монументальных фресок, запечатлевших распад буржуазной общественной системы и рождение в ее недрах реакционных, охранительных сил, готовых любыми средствами отстоять и укрепить буржуазный миропорядок. писатель, пристально вглядывавшийся в изменчивый лик современности и чутко улавливающий в гуле времени воинственную барабанную дробь марширующих фашистских колонн, не прятался от грозных и тревожных проблем живой истории в хтонические глуби прошлого. В статье «Иосиф и его братья» (1942) он объяснил свой интерес к мифу желанием изобразить извечность стремления человека к гуманности, поднимающейся над бытовой, конкретной, житейской повседневностью, временным и исторически ограниченным, а также желанием запечатлеть нечто, обобщающее долговременные стороны жизни людей. Подобный интерес к сюжетам и событиям, обладающим универсальностью, исторической емкостью, проявляли многие художники, в том числе Гете и Толстой, в свое время намеревавшиеся пересказать и творчески переработать и библейский рассказ об Иосифе Прекрасном, обладающий богатством человеческого и психологического содержания.

■

«Как повествователь я пришел к мифу, правда, гуманизируя его»,— писал Манн в «Путешествии по морю с «Дон-Кихотом». Гуманизация мифа означала для него нечто большее, чем только защиту идей человечности — она вела Манна к разрушению и идейно-художественной критике основных принципов мифотворчества двадцатого века, будь то фашистская теория мифа или интерпретация мифа буржуазной антропологией и нереалистическими видами искусства.

Как одна из форм мышления первобытных народов миф представляет собой фантастико-художественное толкование мира природных явлений и заключает в себе столь же фантастическое, основанное на сказочности и преувеличении изображение человеческих отношений и деяний, нередко героизированных. Первобытные народы и народы древности обобщили в мифе свой жизненный опыт, размышления над связями человека с действительностью, в которой он существует, его понимание жизни и смерти, и эта органическая тяга к осмыслению мира реального, пробивающегося сквозь фантастически-сказочную оболочку мифа, сообщает ему непреходящую эстетическую ценность и позволяет провидеть за его фантастикой истинные духовные и социальные процессы, шедшие в жизни народов древности, их образ мышления, их психологический облик, их этические представления. В мифе также нашли свое отчетливое выражение и культовые, магико-религиозные представления и чувства первобытных народов и народов древности, ибо миф — сложнейший сплав разнородных элементов, обусловленных конкретно-историческими условиями бытия его творцов.

Возрождение интереса к мифу в идеологии и искусстве двадцатого века неоднозначно и вызвано весьма сложными причинами.

Теоретики фашизма (Х. С. Чемберлен, Розенберг и др.), выдвигая в качестве стимулов человеческих поступков комплекс инстинктивно-расовой общности, волю фюрера и якобы извечно присущую человеческой натуре страсть к насилию, агрессии, воинственности, широко практиковали подмену мифами социальных факторов, действующих в обществе. Утверждая культ почвы, нации, крови, теоретики и пропагандисты фашизма, а также прочая духовная обслуга тоталитарного режима — литераторы, университетские профессора, этнографы и археологи, антропологи и т. д.— фальсифицировали историю и противопоставляли разуму оргиастическую стихию низших эмоций, разнуздывающих в человеке зверя.

Обращение к мифу в нереалистическом искусстве двадцатого века не было вызвано стремлением подхватить и развить применительно к условиям нашего времени героизирующую традицию мифа как одного из важнейших порождений народного духа. Обращение это связано прежде всего с ослаблением познавательных возможностей и способностей искусства, что характерно для современного буржуазного сознания в целом. В произведениях Кафки, Джойса, сюрреалистов, художников-кубистов мифологизирующие тенденции возникали прежде всего как эмоциональная реакция на неосознанность общественно-исторических процессов, как следствие того, что целостная картина мира ускользала от творческого воображения художника и мир распадался на элементы, на части, которым представители нереалистического искусства не могли возвратить целостности. Мифотворческие произведения нереалистического искусства двадцатого века создавали неадекватный реальности (речь идет, разумеется, не о внешнем жизнеподобии) субъективистски-фантасмагоричный образ мира. В этой, подобной галлюцинации * картине человеческое сознание отторгалось от формирующей его объективной почвы, и облик реальности конструировался произвольно — воображением художника, лишь оперирующего ее элементами без исследования их взаимосвязи с действительностью. *Комбинаторика* подменяла эстетическое познание мира. Например, в художественном изображении Кафки формально-логические связи получали господство над связями диалектически-

---

* Стоит отметить, что понятие «галлюцинирующий реализм», ставшее ходовым в буржуазной эстетике новейшего времени, на самом деле не очень свежее и имеет аналог в философской литературе. Термин «бредовый реализм» (Traumrealismus) впервые употребил немецкий идеалист В. Шуппе в 1878 году, полемизируя с непоследовательным материалистом Евгением Дюрингом (см. об этой дискуссии у В. И. Ленина в «Материализме и эмпириокритицизме»).

ми, жизненными. Поэтому для него становилось возможным создание внешне упорядоченных и логически стройных произведений, основанных на совершенно нереалистической или иррациональной ситуации. Эта внешне логическая, формально безупречная стройность кафковских сочинений вводит в заблуждение многих критиков, рассматривающих в наше время Кафку как художника, продвинувшего вперед искусство реализма.

Для мифотворческих произведений нереалистического искусства двадцатого века характерно также представление о мире, как о стабильной, замкнутой в себе неразвивающейся системе, где прафеномены, архетипы якобы определяют человеческое существование, лишь меняя облик в вечном круговороте превращений, по сути оставаясь теми же самыми, как и в прошлом. Примеры подобного рода можно было бы приводить без конца, но они сами по себе не могут перечеркнуть эстетические богатства мифа или доказать его нежизнеспособность в наше время, ибо революционное искусство и в прошлом и в настоящем создавало мифические образы огромной мощи. Достаточно назвать в этой связи хотя бы «Освобожденного Прометея» Шелли или горьковского Данко. Существо проблемы сводится, следовательно, не к самому обращению художественной мысли к мифу, который входит в культурно-эстетическое наследие человечества, а к толкованию мифа, к тем представлениям, которые вкладываются в наше время в самое *понятие мифа.*

Нельзя также не отметить, что при том богатстве художественных средств, творческих методов и стилевых исканий, каким обладает искусство современности, миф может стать и становится для него лишь одним из элементов художественной выразительности. Попытки универсализировать миф, превратить его в столбовую, даже единственную дорогу искусства не могут не встретить серьезнейших возражений, ибо подобного рода рекомендации закономерно ведут к обеднению искусства, лишают его многообразия, упрощают его связи с жизнью и действительностью, с духовным опытом XX века, поскольку идейные и нравственные устремления нашего времени далеко не во всем и не всегда могут быть втиснуты в сферу и границы мифа.

Поэтому весьма спорной и, на наш взгляд, дезориентирующей современное искусство является концепция мифа, которую развивает в своей книге «Марксизм XX века» Роже Гароди.*

Чем же является миф в его интерпретации?

«Миф — это не участие, а творчество. Миф у Маркса в отличие от Фрейда не сублимированное выражение *желания,* а момент *труда.* Различие коренное, поскольку *желание* продолжает природу, тогда как *труд* преодолевает ее».** «Мы оставляем название «миф» за всяким символическим повествованием, которое напоминает человеку о его истинном призвании творца, что определяется прежде всего будущим, которое человек творит, а не прошлым человеческого рода, когда человеком управляли инстинкт и желание. Миф... является не искусством выхода из истории, а напротив, напоминанием о том, что является специфически историческим в истории,— об инициативном человеческом действии».*

Мифологический символ Гароди рассматривает как «модель», несводимую к понятию, а сам символ определяет как «третью сигнальную систему».

Из этих общих положений следуют довольно существенные выводы: «...Современная концепция искусства родилась из утверждения автономии человека: искусство не подражание, а творчество».** «Поскольку установление критерия красоты не требует более ссылки на реальность (ибо красота, как полагает Гароди, не заложена в самой природе, а есть выражение творческих потенций человека.— *Б. С.),* находящуюся вне произведения, на реальность, определенную раз и навсегда, согласно нормам греческого рационализма и техницизма эпохи Возрождения, то ставится на обсуждение само понятие реального: определение реального все более и более выступает как функция исторического развития человека, науки, техники, общественных отношений — словом, как функция деятельного человека».*** И если «на обсуждение» ставится «само понятие реального», а реальность предстает как «функция деятельного человека», то это меняет изобразительные свойства искусства. Живопись, например, переживает настолько существенные изменения и в своей технике и в подходе к изображаемому, что картина становится объектом, «...ценность которого не измеряется отношением к миру, который он якобы представляет».**** Искусство же в целом «...есть познание, но познание специфическое, благодаря своему объекту и своему языку: познание человеком своей творческой силы выраженное неисчерпаемым языком мифа».*****

Роже Гароди настойчиво подчеркивает в своей книге, что он защищает активную роль сознания или диалектический разум (термин, кстати говоря, употреблявшийся Гегелем, которого Гароди весьма третирует в своем сочинении) от тех марксистских философов и эстетиков, которые, во-первых, смотрят на реальность как на нечто раз и навсегда данное и по сути дела не меняющееся; во-вторых, считают человека функцией социального бытия, на это бытие воз-

---

* Roger Garaudy. Marxisme du 20-e siècle. Paris — Genève, la Palatine, 1966. Здесь не дается разбор этой дискуссионной работы в целом.

** Op. cit. p. 180.

* Roger Garaudy. Marxisme du 20-e siècle p. 181-183.

** Op. cit. p. 201.

*** Op. cit. p. 204.

**** Op. cit. p. 205.

***** Op. cit. p. 210.

действующего весьма слабо. И, наконец, сводят искусство к подражанию природе и к познанию, как таковому. Заметим, однако, что живой, а не карикатурный марксизм, будучи учением диалектическим, никогда не рассматривал реальность как нечто статичное, столь же статично воспринимаемое сознанием. Ленин писал: «В теории познания, как и во всех других областях науки, следует рассуждать диалектически, то есть не предполагать готовым и неизменным наше познание, а разбирать, каким образом из *незнания* является *знание,* каким образом неполное, неточное знание становится более полным и более точным».*

Бесспорно также, что человек есть активная сила общественного процесса, меняющая его и на него воздействующая разными способами, в том числе и революционными. Это тоже общеизвестная марксистская истина, которую нет нужды рассматривать как нечто абсолютно новое для марксизма XX века. Дело лишь в том, как рассматривать взаимодействие человека и бытия, и в этом смысле подход Гароди к человеку вызывает возражения, ибо для марксиста человек не есть некая абстракция, а понятие, наполненное исторически-конкретным содержанием. Кроме того, человек действует не в неких отвлеченных и вневременных, а во вполне определенных социальных условиях, которые во многом определяют и характер и особенности его деятельности. Наконец, марксистская эстетика не рассматривает искусство только как *познание.* (Не делал этого и Гегель, вопреки утверждениям Гароди.) Для нее искусство есть эстетически-познавательный континуум, нерасчленяемый и двуединый по своим объективным свойствам. И, разумеется, подлинное искусство не копирует слепо природу. Оно создает, опираясь на материал реальности, эстетические ценности, то есть нечто, не существовавшее ранее в природе, но связанное с ней органическими узами, ибо и человек и его творчество есть часть природы, понимаемой в широком смысле этого слова, а не некая надприродная или внеприродная сущность.** Но это, так сказать, попутные замечания. Для того же, чтобы отчетливее представить, что же понимает Гароди под мифом, следует рассмотреть его интерпретацию теории познания.

Считая марксизм критической философией — критической в кантовском смысле этого понятия,— Гароди пишет: «Проще говоря, критическая точка зрения в философии — это осознание того факта, что все, что мы говорим о действительности, носит субъективный характер. Догматизм же, напротив,— это иллюзия проникновения внутрь вещей или претензия на такое проникновение и на высказывание о них абсолютной и окончательной истины» *. Здесь явно смешаны, и смешаны сознательно, разные вещи: способность проникновения нашего разума в суть вещей, без чего невозможно знание как таковое, и абсолютизация этого знания, бесспорно становящаяся догматической. Вряд ли Гароди сможет отрицать, что таблица Менделеева, законы Менделя, «Капитал» Маркса, расшифровка генетического кода, открытие «резус-фактора», расщепление атома и т. п. и т. д.— есть «догматическая» претензия на проникновение «внутрь вещей». На деле все научные открытия и познания приближают нас к ядру абсолютной истины. Наши субъективные суждения о «действительности» (кстати, что понимает Гароди под этим термином?) имеют и субъективный и объективный характер,** ибо мы узнаем и закрепляем в знании нечто объективно-сущее, в том числе и аспекты неисчерпаемой и бесконечной материи.

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., 5-е изд., т. 18, стр. 102.

** Вопрос о «подражании природе», на которое обрушивает свои инвенктивы Гароди, обвиняя всех мыслителей и художников, так или иначе исходивших из этого тезиса (Аристотеля, Спинозу, французских материалистов XVIII века и в первую голову Дидро) в догматизме, не так прост, как это ему представляется. «Отец кибернетики» Норберт Винер рассказывал в своих автобиографических записках «Я — математик», что, работая в Массачусетсском технологическом институте, окна которого выходили на реку, он любил наблюдать за рябью воды и движением волн. «Но для меня, математика и физика, в этой красоте была совсем особенная привлекательность... Как дать математическое описание всех этих бросающихся в глаза явлений?.. Было ясно, что эта задача как-то связана с проблемой статистического осереднения, родственной понятию интеграла Лебега, изучением которого я в то время как раз занимался. Так у меня впервые появилась мысль, что абстрактные математические теории, которые я изучал, имеют непосредственное отношение к описанию природы. Отсюда было уже недалеко до убеждения, что природа, в широком смысле этого слова, может и должна служить не только источником задач, решаемых в моих исследованиях, но и подсказывать аппарат, пригодный для их решения». (Н. Винер. Я — математик. М., «Наука», 1967 г., стр. 27). Очевидно, что без «подражания природе» в наше время не было бы ни кибернетики, ни такой новой отрасли знания, как бионика, ищущей в природе решений инженерных и научных, то есть «чисто человеческих» задач. Без «подражания природе», то есть без обобщения ее законов, не было бы знания вообще, и человек не стал бы тем, чем он является,— то есть природно-социальным существом, мощь которого в конечном итоге определяется природными ресурсами. В искусстве момент «подражания», то есть эстетического освоения реальности, был исторически необходимым этапом его развития, сохраняющим свое значение и посейчас. Во избежание неясностей укажем, что проблема «подражания природе» и критерий практики — разные вещи. Признание Гароди критерия практики не снимает вопроса о его нигилистическом отношении к проблеме «подражания природе».

* Roger Garaudy. Marxisme du 20-e siècle, p. 44.

** Во второй книге трактата «Назначение человека», озаглавленной «Знание», Фихте также говорит о «субъективно-объективности познания», но исходя из тождества субъекта и объекта. Замечательный диалектик, он, однако, преувеличивал значение субъекта, за что его в свое время справедливо критиковал Шеллинг, отметивший, что природа, перенесенная Фихте в сферу субъекта или «я», превращается в абстракцию. Гароди, противопоставляя Фихте с его учением об активности «я» другим мыслителям, в частности Фейербаху, игнорирует шеллинговскую критику фихтеанства потому, что сам разрывает связи «я» с реальностью, стремясь вывести субъект из-под зависимости от мира объективного.

У Гароди в его рассуждениях то, что познано разумом, лишено природной чувственности — оно не имеет, фигурально говоря, ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Оно лишено историчности, дающей свою окраску познанию, которое у Гароди похоже на дистиллированную воду.

«В нашем научном представлении мира становится все труднее и труднее и в конечном счете невозможно радикально отделить в объекте то, что является «вещью в себе» и существует без нас, от того, что мы о ней знаем, то есть изолировать «вещь» от совокупности технических и познавательных операций, с помощью которых мы ее осмысливаем и осваиваем». И далее: «...на современном этапе развития наук мы не можем отделить друг от друга, подобно тому, как пирог отделяют от формы, противопоставить друг другу два понятия — произведенное отражение и объективный факт».*

Нет, мы не станем упрекать Гароди в идеалистичности подобного рода рассуждений. Они грешат другим, тем не менее существенным пороком: нефилософской постановкой проблемы отражения. Гароди дает операционалистское толкование отражения с точки зрения квазинауки, в которой гипотеза и эксперимент, самая постановка проблемы исследования, его логика, вопросы анализа и синтетизации результатов, соотношение абстрактных постулатов и конкретного материала присутствуют как бы имманентно (с точки зрения ученого или, если это Гароди больше нравится, субъективного разума) и трудно отделимы от объекта исследования. В философии — независимо от уровня развития науки — в теории познания в ее марксистском толковании всегда рассматриваются и будут рассматриваться отношения *познающего субъекта и объекта познания,* то есть существующей вне субъекта объективной реальности. И здесь не отделаешься от проблемы ни ее операционалистским описанием, ни сведением познанного к знаку, символу или модели.

«...для всякого материалиста, формы нашего чувственного восприятия имеют сходство с формами действительного, т. е. объективно-реального существования предметов.

..для всякого материалиста, предметы, то есть, говоря вычурным языком Канта, «вещи в себе», *действительно* существуют и *вполне* познаваемы для нас, познаваемы и в своем существовании, и в своих качествах, и в своих действительных отношениях...

...для всякого материалиста, законы мышления имеют не только субъективное значение, т. е. законы мышления отражают формы действительного существования предметов, совершенно сходствуют, а не различествуют с этими формами».** Вот как решал вопрос о характере нашего познания Ленин, вот что представляет собой *философская* постановка проблемы теории познания. Критикуя взгляды Гельмгольца на символ, Ленин отмечал, что «Теория символов... вносит некое недоверие к чувственности, недоверие к показаниям наших органов чувств. Бесспорно, что изображение никогда не может всецело сравняться с моделью (здесь Ленин употребляет термин «модель» не в том смысле, в каком его употребляет Гароди. «Модель» у Ленина означает объект познания, а не изоморфную конструкцию явлений реальности.— *Б. С.*), но одно дело изображение (то есть нечто сохраняющее чувственно-природное свойство познанного.— *Б. С.),* другое дело символ, *условный знак.* Изображение необходимо и неизбежно предполагает объективную реальность того, чтó «отображается».* Разумеется, многие абстракции и в естественных и еще более в общественных науках не имеют и не должны иметь чувственно-природной оболочки. Но борьба Гароди с чувственно-природным моментом познания, напоминающая борьбу отцов церкви с плотью, ведет его к обеднению образного строя искусства и нашего знания.

Обвиняя всех, кто с ним не согласен, в заведомом догматизме или прямом игнорировании активного момента познания, Гароди *формализирует* его. «Познание — это *построение* «моделей», а единственным критерием этих моделей является практика».** Этот тезис Гароди вульгаризирует и упрощает процесс познания, ибо далеко не все мы можем моделировать или формализировать, начиная хотя бы с живого, не искусственного языка, который не поддается формализации, позволившей бы осуществить машинный перевод. Множество процессов, идущих в природе и сознании, переходы, изменения, качественные скачки также не поддаются моделированию, ибо оно не единственное, а лишь вспомогательное орудие познания.

Весьма произвольно излагая марксистское учение о соотношении абсолютной и относительной истин, Гароди, наконец, утверждает, что «...диалектический материализм Маркса, впитав в себя богатый вклад немецкой идеалистической философии об «активной стороне познания», устанавливает, что отражение не является отправной точкой познания (sic!): оно складывается через последовательные приближения при помощи гипотез, создаваемых активным человеком и опровергаемых или подтверждаемых практикой».***

В заключение стоит привести итоговые рассуждения Гароди о характере познания, которое он последовательно отъединяет от предметной истины, от плоти материи: «Таким образом, остается справедливым, что познание *по своей природе* является «отра-

---

* Roger Garaudy. Marxisme du 20-e siècle, p. 67,
** В. И. Ленин. Полн. собр. соч., 5-е изд., т. 18, стр. 382 и сл.

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., 5-е изд., т. 18, стр. 248.
** Roger Garaudy. Marxisme du 20-e siècle, p. 44.
*** Op. cit. p. 49.

жением» в том смысле, что оно является познанием действительности, не являющейся нашим творением, и вместе с тем что *по своему методу* оно представляет собой «конструкцию». Понятие «модели» позволит выделить два основных момента теории познания: материалистический момент отражения, исключающий для нас идеалистическую, гегельянскую иллюзию, которая смешивает наше понятийное воспроизведение действительности с ее подлинным строением (!), и *активный момент,* момент конструкции, исключающий для нас догматическую иллюзию, которая смешивает эту временную модель с абсолютной и окончательной истиной».* Мы уже имели возможность показать ранее операционалистский характер подхода Гароди к проблеме познания. Заметим только, что и в понятии «модель», которая, как он справедливо пишет, «...всегда является формальным представлением о совокупности отношений, о структуре»**. Гароди отъединяет познание во имя «активности» от его материнской почвы, поскольку диалектические черты, могущие сделать модель частично адекватной природным явлениям, заложены, согласно его точке зрения, не в этих моделирующих явлениях, а привносятся или вводятся в модель сознательно или бессознательно конструктором, то есть субъектом.

Эти общие теоретико-познавательные предпосылки позволяют яснее представить, что миф, согласно интерпретации Гароди, есть не только символическое произведение, но и нечто творимое художником, игнорирующим или пренебрегающим чувственно-природными или исторически конкретными формами жизни и превращающим свое творение в шифр, символ, знак, конструкцию. Сознавая уязвимость своей концепции мифа, Гароди старается отгородить себя от мифологов прошлого и настоящего, от Беркли и Кассирера, Гусдорфа и Дюмери, Юнга и Фрейда. Но сделать ему этого не удается. Действительно, если брать, например, работу Кассирера «Философия символических форм» (Ernst Cassirer. «Philosophie der simbolischen Formen»), то с этой работой книжка Гароди перекликается не очень активно. Но вот с такими его работами, как «Язык и миф» («Language and Myth») или «Опыт о человеке» («An Essay on Man»), перекличка у Гароди полная. Основной тезис Кассирера, гласящий, что поскольку наше познание всегда активно и хотя так называемое данное (то есть реальность, действительность.— *Б. С.)* существует, мы всегда имеем дело с уже интеллектуализированным данным, или его положение, что символические формы есть не *имитация,* а органы действительности, через посредство которых идет постижение реальности, заставляет вспомнить и «рациональное построение действительности»,*** и «конструктивный момент» в теоретизированиях Гароди, и его пренебрежение чувственными, природными сторонами познания и художественной образности.

Но отвечают ли подлинной художественной практике *реалистического* искусства построения Гароди, укладывается ли в его схему мифа художественное произведение, *сознательно* опирающееся на мифологическую основу и использующее миф реалистически в идейно-эстетических целях? Всем своим художественным строем тетралогия Манна «Иосиф и его братья» противостоит выкладкам Гароди.

■

Манн подошел к созданию своего романа как художник-реалист, для которого человек не есть некая, заключенная в себе самость, отъединенная от сферы своей практической жизнедеятельности и независимая от воздействия внешнего объективного мира и сил, в нем борющихся и присутствующих. Человека Томас Манн рассматривает и изображает как часть общего, множеством неразрывных нитей связанного с социальным континуумом, от него зависящего, но и способного на него воздействовать, ибо дух, разум, личность человека не пребывают в покое, а беспрерывно развиваются, обогащаясь в процессе развития. Идея становления, развития, органическая для тетралогии и воззрений Манна, включает его роман-миф в число тех произведений искусства XX века, которые ратуют и борются за общественный прогресс.

Всеми средствами своей огромной и утонченной художнической техники Т. Манн добивается ощущения достоверности всего происходящего в той древней истории, которую он пересказал сынам XX века — своим современникам. Но достоверность «Иосифа» лукава. В своей тетралогии великий писатель отдавался — вдохновенно, радостно и вольно — игре собственного воображения, с поразительным артистизмом обрабатывая и обогащая жизненный материал, весьма непросто поддающийся художественной обработке. Но он не стремился гальванизировать прошлое. И несмотря на то, что действие романа отнесено к XIV веку до нашей эры, к тому времени, когда властителем земли Кеме, или Египта, был фараон Аменхотеп IV, называвший себя Эхнатоном и поклонявшийся богу Атону, олицетворявшему солнечный диск,— тетралогию нельзя причислить к историческим романам. «Прежде чем я начал писать,— указывал Томас Манн,— я снова перечел «Саламбо» для того, чтобы увидеть, как не следует этого делать ныне. Никаких археологических украшений!» * И действительно, в «Иосифе» бытовой сфере жизни уделяется столько места и внимания, сколько нужно для того, чтобы сохранить ощущение истинности происходящего в романе. Главное для Манна — это духовная жизнь человека, и ее Манн описывает весьма подробно, опираясь и на собственные догадки, и на сведения, полученные от современной антропологии и истории первобытного общества.

---

* Roger Garaudy. Marxisme du 20-e siècle, p. 49.
** Op. cit. p. 75.
*** Op. cit. p. 63.

* Th. Mann. Gesam. W.. Fr. a, Main, 1960, Bd. XI, S. 626.

Исследуя нравственный мир — а это мир запутанный,— нельзя обойтись без некоторой учености, писал он в одной из книг своего романа. И это верно: роман насыщен множеством сведений, почерпнутых у науки, но переосмысленных художественно. Сами эти научные сведения входят в изобразительную ткань романа как ее необходимый элемент и благодаря духу иронии, разлитому в повествовании, не противостоят бытовым сценам романа и не воспринимаются как нечто чужеродное для повествовательного искусства.

Пестра и цветиста, как восточный ковер, изобразительная ткань романа: мифологические сцены чередуются в нем со строго реалистическим описанием пастушеского быта, подчеркнуто иронические картины придворной жизни перемежаются обширными философскими отступлениями, и над всем повествованием, щедро приправленным юмором, царит мудрая вера в достоинство человека, в стойкость его нравственных принципов, в его способность сохранить в целости и защитить свой нравственный мир от посягательств низменных, жестоких инстинктов, способных обесчеловечить человека.

В соответствии с авторским замыслом в романе существуют два плана: собственно мифологический и реалистически-бытовой. Они неотделимы друг от друга и неразрывно связаны, ибо мифологические представления составляют важную часть сознания героев романа и определяют их поступки и роль в повествовании. В свою очередь, жизненная практика и жизненный опыт действующих лиц романа обусловливают их мифологические воззрения.

Обращение Манна к мифам и сказаниям народов Ближнего Востока, создавших великие цивилизации, было естественным, ибо эти мифы и сказания составили подоснову Библии, откуда писатель заимствовал сюжетную схему своей тетралогии. Кроме того, культура народов, населявших Малую Азию и окрестные земли,— шумеров, хеттов, хурритов, филистимлян, арамеев, ассирийцев, вавилонян, иудеев и египтян,— их мифы были гораздо старше, нежели культура и мифологические воззрения греко-римского мира. От них веет дыханием седой древности, загадочной и манящей. В обширном вступлении к тетралогии «Сошествие в ад», написанном в тонах высокой иронии, создающей дистанцию между рассказчиком и содержанием рассказанного, Томас Манн приоткрывает завесу над кладезем прошлого, в глубинах которого клубятся века и тысячелетия, и показывает, что нельзя рассматривать Библию как источник, повествующий об изначальных днях человеческой истории. Многие представления и мифы, легшие в основу библейских легенд и существенно повлиявшие на духовный мир героев романа, уходят своими корнями в безмерные дали минувшего и повторяют мифы народов, некогда населявших и Двуречье и другие малоазиатские земли. Так, библейскому Ною предшествовали легендарный шумерийский царь Зиусудра — строитель ковчега и вавилонский Ут-Напиштим, соорудивший корабль, в котором он спасся сам и спас всевозможную живность во время всемирного потопа. Да и сам миф о всемирном потопе встречается в разных частях света. То же можно сказать и о мифе об Эдеме и сотворении человека. В библейской Вавилонской башне угадывается архитектура урских зиккуратов — многоступенчатых зданий, строительство которых вызвало раздражение у взыскующего бога Авраама — праотца Иосифа — и заставило его покинуть Ур халдейский и отправиться в странствия сначала в Харран, а затем в Ханаан.

Дабы подчеркнуть мысль о невозможности начинать рассказ о свойствах человеческой натуры, отталкиваясь лишь от библейских легенд, и усилить ироническое глубокомыслие пролога, Томас Манн возводит многие мифологические представления к сказочным культурам Атлантиды, Гондваны и Лемурии — легендарным материкам, якобы погрузившимся в воды Мирового Океана.

Но философским центром вступления, конечно, является пересказ восходящей к орфическим мифам и учению о Троице неоплатоника Плотина антропософской легенды о «романе души» — о соединении души с материей, облагородившем материю. Согласно этой легенде, которую Манн перелагает с легкой, но вполне явственной усмешкой, до сотворения мира уже существовал некий идеальный и светоносный образ прачеловека, борца со злом (еще Гильгамеш хотел стереть все зло с лица земли), оставившего в материи частицу собственной лучезарности, которая при сотворении рода людского и человеческой натуры пошла в дело как важнейший строительный материал. Поэтому бессмысленно искать в какой-либо точке прошлого истоки высоких нравственных качеств человека — они присущи ему от рождения, они извечны, как извечно стремление человека к высшему, к добру, человечности. История Иосифа Прекрасного и должна была подтвердить эту истину.

Она, эта история, возникает в романе в мифологическом обрамлении, и многие ее особенности сами зависят от мифа, который, по мысли Манна, будучи одним из выражений коллективной памяти человечества, соединяет в себе прошлое и настоящее, как бы устраняя временной промежуток между разновременными явлениями и сообщая событию, о котором рассказывается в мифе, непосредственную актуальность, сиюминутность. Из этого свойства мифа Манн выводит и характерную для библейского рассказа об Иосифе повторяемость ряда ситуаций, в которых оказываются герои и легенды и романа, и то чувство соединенности, особой связи с множеством явлений и процессов внешнего мира и событий прошлого, свойственное психологии героев тетралогии.

В самом деле, история Исаака в некотором роде повторяет историю Авраама, и Исаак это чувствовал, но чувствовал своим сверхличным «я», поскольку его личность еще не была полностью исключена из жизни рода и он не ощущал себя как законченную индивидуальность.

Враждебные и неприязненные отношения Иакова с его братом Исааком повторяют мифологическую схему отношений Авеля и Каина, а если обратиться к другим мифам, то и отношения египетских богов — братьев Сета и Озириса (в коптском произношении — Усири). Сама судьба Иосифа, перипетии его жизни представляют собой своеобразное повторение житий умирающих и возрождающихся богов — шумерского Думузи (в Библии — Таммуза), финикийского Адониса, греческого Диониса. Это повторение мифологизирующим сознанием уже некогда возникавших ситуаций, а также ощущение специфической духовной связи собственной личности со многими явлениями мира порождено у героев романа особой формой ассоциативного мышления и самовосприятия, которую известный историк первобытного сознания Леви-Брюль определял термином «сопричастие», или «партиципация». Сопричастие давало возможность человеку отождествлять или уподоблять себя своему предку, роду, местности, небесному светилу, какому-либо материальному объекту, тотемическому животному или растению и т. д.

Эту особенность мышления своих героев, живших уже в развитом обществе, находящемся в стадии распада родовых связей, Томас Манн изображает как слабеющую под воздействием цивилизации, опиравшейся не на пастушество — чем занимался род Авраама,— а на земледелие — основу мощи Египта, однако особенность, еще воздействующую на их мировосприятие. В сцене смерти Ицхака писатель изобразил, как в предсмертном забытьи глава рода Ицхак, к ужасу ближних, ощутивших в этот миг дыхание безмерной старины, неожиданно для всех очень похоже и весьма непристойно заблеял, как овен, и в чертах лица умиравшего вдруг проступило сходство с бараном — забытым тотемом рода. Умирающий Ицхак отождествил себя с ним. Также и умирающий Иаков, раздававший коснеющим языком благословения своим двенадцати сыновьям, путал их с двенадцатью знаками Зодиака, а его злополучный брат Исав, у которого Иаков хитростью выкрал права первородства, стал называться Едом — по имени местности, куда он ушел со своими чадами и домочадцами, женами и стадами, уязвленный совершившимся над ним обманом. И во время прогулок в рощу Адониса вместе со своим младшим братом Вениамином украшавший себя миртовым венком Иосиф подчеркивал тем самым тождество своей судьбы с судьбой погребаемого и возрождающегося бога, ибо мирт был деревом Адона-Таммуза.

Томас Манн эти психологические метаморфозы своих героев объясняет тем, что он называл «тайной сферы». Проще говоря, вращение небесной сферы, перемещение светил, созвездий Зодиака, солнца и наконец важнейшего божества народов Двуречья — Луны, культ которой был необыкновенно распространен, толкало людей на мысль найти соответствия этим небесным явлениям в земной жизни и, более того, установить неразрывную связь между движением небесной сферы и превращениями земных богов, которые, подобно небесным светилам, заменяли друг друга в беспрерывной цепи превращений (заметим, что подобная точка зрения не поддерживается современной наукой). Так, Усири был то царем земли Египетской, то божеством. То же самое относится и к его брату Сету, превращавшемуся то в огнедышащего отца вихрей — Тифона греков, то во владыку огня Молоха, то, после других изменений, в красную планету Нергал, или Марс.

Однако эти представления, согласно воззрениям Манна, характеризовавшие мифологическое сознание прародителей Иосифа, уже вытеснялись другим представлением о метафизических силах, господствующих над людьми, более отвечавшим новым духовным и моральным потребностям человека. Поверья, обычаи и нравственные нормы древности препятствовали тому, чтобы частица лучезарности, оставленная в людях светоносным героем «романа души», смогла определять поступки и образ мыслей человека. Чувствуя это, Иаков начал в мыслях своих трудиться над созданием образа нового божества, которое должно было заменить кровожадных, распутных и жестоких богов древности. Но эта духовная его деятельность была вызвана нуждами вполне материальными, изображению и анализу которых Томас Манн как художник-реалист уделяет достаточное внимание.

Пастушеский быт, привычный для Иакова, родовые отношения, которые были священны и, казалось бы, незыблемы для членов рода, на самом деле разъедались жизнью, что находило отражение и в богостроительских раздумьях Иакова, и в его «историях», порой не вполне благовидных, шельмовских — вроде похищения первородства или проделки с овцами Лавана, позволившей Иакову завладеть большей частью скота своего хмурого и нелюдимого тестя, а также в нарушении им, как главой рода, закона передачи власти в роду или ее наследования по старшинству, что он и сделал, следуя примеру своего отца.

В новых условиях человек становился самостоятельнее, его индивидуальность отпочковывалась от коллективной жизни рода, и возникала объективная потребность в выработке новых нравственных и этических норм, регулирующих жизнь племени.

Племя Иакова, давным-давно ставшее патриархальным, выступает в романе как уже сложившаяся этнически-хозяйственная единица, получившая собственное племенное наименование, вырабатывающая собственное племенное самосознание, знающая рабство и по сути находящаяся на грани перехода к классовым отношениям.

Томас Манн, разумеется, не пишет истории распада родовых отношений — его интересуют другие вопросы, но он не проходит в своем романе-мифе мимо реальных условий жизни, воздействовавших на судьбу героев повествования, и очень искусно изображает переплетение духовного и материального начал в отношениях и представлениях действующих лиц тетралогии.

Когда человеческая личность отрывалась от коллективистской жизни рода и становилась более независимой от норм родовых связей и обычаев, когда человек должен был сам решать нравственные вопросы, менялись и его религиозные представления. Иаков, трудившийся над созданием образа бога, на деле был занят выработкой более высоких этически-нравственных норм человеческого поведения. Фактически он занимался очеловечиванием божества, не в смысле придачи богу антропоморфных черт, а в смысле *гуманизации* божества, устранения из его образа черт жестокости, кровожадности, чувственности, жадности, свойственных многочисленным баалам и эль-эльонам окрестных племен и народов, не говоря уже о божествах развитых деспотий. Жестокий и неистовый бог Яху бродячих племен, родственных пастушескому племени Иакова, еще не слился с тем образом, который он вылепливал и выстругивал в сердце своем.

По существу, Томаса Манна мало интересует процесс формирования собственно религиозных представлений мифологизирующим сознанием его героев. В финальной части тетралогии он недвусмысленно говорит о том, что божественным является не сам бог, а свидетельство о нем, и такое свидетельство есть сам человек с его мечтами и помыслами. Иными словами, человек не только несет в себе частицу извечной своей «лучезарности», делающей его богоподобным, но он *ответствен* за все свои дела и поступки, ибо нет иной силы на земле и в небесах, кроме него самого, кто мог бы творить добро и зло, нет силы, кроме его собственной совести, перед которой он нес бы высшую ответственность.

Личное решение человека, его выбор, определяет его место в мире, в столкновении и борении добра и зла и, соответственно, истинную ценность его личности, а также ценность того идеала, которому человек служит, за который он борется. Эта идея пришла в роман не из недр довременной древности, где человеком руководил животный индивидуализм, не из времен начальных цивилизаций, когда человек был порабощен, а из дней наших, из раскаленной истории Европы кануна второй мировой войны, из дней, когда над миром и жизнями людскими нависла фашистская угроза и перед всеми людьми доброй воли встал вопрос — неумолимый и неотвратимый,— что делать для спасения цивилизации и будущего человечества.

Томас Манн всем содержанием тетралогии, судьбой ее героя показал, что человек в своей жизни неизбежно встает перед проблемой выбора, оказывается на развилке судеб и должен решать, как ему поступать, чтобы остаться человеком: или сохранить в себе частицу высшего начала, заложенного в человеческой натуре, или, утратив все это, вступить в сделку и с собственной совестью и со стихией зла, которая вовлекает человека в свою власть. Так за несколько, казалось бы, отвлеченной иронией Манна встает весьма сложная и актуальная проблема дней наших.

Иаков был по натуре «человеком кротким», не в пример своему козлоподобному близнецу — косматому Исаву. Кротость или гуманность и было то новое, что утверждалось в жизни. Припоминая в разговоре с Иосифом, происходившем теплой, сияющей, благостно теплой лунной ночью, на краю колодца — бездонного кладезя прошлого, свои истории — уподобляя себя в своем живом и подвижном воображении праотцу Аврааму,— Иаков рассказал о том, как он, обязанный по закону принести своего сына в жертву и связавший его по рукам и ногам на месте жертвоприношения, отбросил нож — орудие человекоубийства и возопил, протестуя против кровавого обычая, отказываясь повиноваться богу. В этом, казалось бы, неожиданном для богостроителя Иакова рассказе он передавал своему любимцу новое миропонимание, противостоящее обыденной жестокости повседневной жизни. И любимый сын, лукавый и непоседливый, слушал этот рассказ с почтительным вниманием, глубоко вбирая его в свою душу.

Новый порядок утверждался над родом, но еще зыбко, непрочно. Существовал лишь один закон, который мог бы укрепить этот порядок,— закон силы, но с ним Иаков был не в ладу не только потому, что он был человеком кротким, но и потому, что он был человеком чувства.

Способность личности отдаваться воздействию высокого чувства рассматривается Томасом Манном тоже как сторона человеческой натуры, связанная с тем новым, что входило в жизнь. Иаков позволял себе отдаваться любви, нежности, жалости — тем эмоциям, без которых не может жить полноценная человеческая личность, и платил за это дорого. На конфликте чувства с тупым корыстным расчетом и строились его отношения с Лаваном — сребролюбцем и стяжателем, «перстью земною», отцом возлюбленной сердца Иакова прекрасной Рахили, которую он любил неизменно и нежно, перенося свою любовь и на Иосифа, унаследовавшего легендарную красоту от матери.

Эпизоды романа, в которых рассказана история любви Иакова и Рахили, написаны мощно, с такой же самостоятельностью, с какой великие живописцы эпохи Возрождения перекладывали на свои полотна библейские легенды и сказания. Бесконечное пространство красноватой пустыни под розовеющим небом, одинокий источник под ним — прибежище стад, небольшая толпа

пастухов и запыленный беглец, увидевший перед собой прекрасную дочь чужой земли, где ему предстояло прослужить за нее лучшие годы жизни,— сцена встречи Иакова и Рахили — полны горького лиризма, как бы предвещающего печальный конец их внезапной любви. И столь же властным чувством печали пронизана и сцена смерти Рахили — в дороге, среди блеяния стад и рева верблюдов, под стенания служанок и неизмеримую скорбь Иакова. В этих сценах Томас Манн достиг высочайшей степени своего художественного мастерства.

Но чувство Иакова было беззастенчиво попрано Лаваном, заставившим Иакова прослужить ему немалый срок за Рахиль и в ночь свадьбы подсунувшим охмелевшему Иакову свою старшую дочь, подслеповатую Лию. Разумеется, ничем хорошим это предприятие Лавана кончиться не могло. Рожденный от Лии первенец — великан Реувим — формально мог претендовать на право первородства, но по сути дела в сердце своем Иаков считал первенцем сына Рахили — прекрасного Иосифа и не мог скрыть перед роптавшими сыновьями от служанок-наложниц своей к нему склонности. Так в племени Иакова возникло тяжкое разногласие, родилась ненависть братьев к Иосифу, и все потому, что естественные чувства Иакова пришли в противоречие с омертвелым законом, которому истово и тупо служил Лаван.

Иаков был не только кроток, он отличался человеческой гибкостью и живостью ума. Эту человеческую гибкость унаследовал от него и Иосиф.

Для уяснения сути его образа важно понять отношение Манна к столь прославленной в веках красоте Иосифа. Заметив, что смысл и содержание самой красоты — в ее неуловимости, писатель рисует весьма своеобразный облик Иосифа, тайна и очарование красоты которого — в сочетании миловидной внешности с одухотворенностью, с доброжелательной человечностью, сразу же становящейся явной всем, кто останавливал на нем свой взгляд. Иосиф человечен еще больше, чем его кроткий отец. Человечность присуща Иосифу, как и многим людям, но только в большей мере, чем другим. Она — частица лучезарности, которой наделен человек от природы, и заслуга Иосифа в том, что он не растерял и не утратил этот драгоценный дар в превратностях жизни.

Вместе с тем Иосиф отнюдь не порабощен своей красотой, способностью располагать к себе людей и часто использует эту способность в свою пользу, склоняя к себе сердце отца ласковыми и разумными речами и одновременно разжигая гнев сводных братьев неосторожными рассказами отцу об их проделках и проступках. Их отношения не могли не кончиться взрывом, коль скоро обнаружилось, что Иаков склоняется к тому, чтобы передать право первородства Иосифу.

Ласками и уговорами выманил он у отца венчальную одежду Рахили и, украсивши себя этим одеянием, отправился в пустыню к братьям, и без того разъяренным сновидениями, которые пересказал им Иосиф, содержавшими в себе некий неприятный для братьев намек на возможное вознесение Иосифа. Кара не заставила себя ждать. Он был связан, сильно помят в свалке и скинут братьями в заброшенный колодец на верную смерть.

В эпизоде расправы братьев над Иосифом полностью господствует символика мифа. Подобно зерну — прообразу умирающих и возрождающихся богов, носителей благ, как и злаки, которые они олицетворяют,— Иосиф брошен в материнское лоно земли, в яму, в колодец, одновременно являющийся и кладезем прошлого, где идет вечное чередование гибели и возрождения, где возникают и гибнут миры и события. Подобно Адону, Таммузу, Дионису, он окроплен жертвенной кровью зарезанного братьями ягненка, чья кровь должна была в глазах Иакова предстать как кровь Иосифа, якобы растерзанного зверями пустыни. И подобно воскресающим богам, ему предстояло возродиться для новой жизни или, попросту говоря, выбраться из ямы, куда его бросили братья, и спуститься вниз, в страну Кеме, олицетворявшую в сознании Иакова и людей его племени преисподнюю.

Определение Кеме как низлежащей страны было порождением мифологизирующего сознания, которое немного путало не только временные, но и пространственные категории, трансформируя сообразно собственным представлениям реальную географию. Но дабы усилить символическое звучание эпизода перехода Иосифа из мира полупустыни в мир утонченной цивилизации, из пастушеской жизни племени в городскую жизнь Египта — писатель дает ему соответствующего вожатого, который трижды появляется перед Иосифом, то есть столько раз, сколько нужно было для того, чтобы сопроводить его до того места, где Иосифу и надлежало быть и оставаться. Путь Иосифу и купившим его у братьев купцам указывает не кто иной, как Ануп, или Анубис, египетский шакальеголовый бог — проводник душ в царство мертвых.

В своем повествовательном искусстве Томас Манн не останавливался перед тем, чтобы изображать выходцев из *иного*, нелюдского мира. В романе «Доктор Фаустус» он изобразил беседу героя романа Адриана Леверкюна с самим сатаной. Но дьявол в романе о художнике-авангардисте, сыне нашего тревожного века, возникает как плод и порождение больного воображения самого героя, как признак близящегося его безумия. Анубис в романе Иосифа появляется по другой причине. Он приходит в роман из сказки, из мифа, напоминая, что и сама история Иосифа есть сказка, прекрасная легенда, которая рассказывается с легкой усмешкой, с радостным чувством изумления перед ее переливами и с оттенком иронии, снимающей с рассказа всякий налет назидательности, во имя глубокого поучения.

После того, как Иосиф был извлечен купцами-маонитами из колодца — материнского лона земли, он, как бы родившийся вто-

рично, принял новое имя — Осарсиф, что означало — Умерший Иосиф. Для прошлого Иосиф действительно умер, и оно представало перед ним только в воспоминаниях. Но содержавшийся в его имени намек на близость к имени возрождающегося египетского бога Осириса — Усири — был залогом того, что Иосифу Умершему суждено возродиться также и со столь же великой пользой для людей, какую приносит им возрождение бога — дарителя злаков. Чувство призванничества не оставляло Иосифа и в Египте, позволяя ему выдержать тяжкие испытания, выпавшие ему на долю.

Разумеется, попавший в дом к Петепра — библейскому Пентефрию—прекрасный, расторопный, сообразительный и доброжелательный раб Осарсиф, обладающий, вдобавок, выдающимися административными способностями и умением располагать к себе людей, быстро выдвинулся и сравнительно скоро занял место управителя дома. Но дом Петепра, содержавшийся в великом изобилии, был странным домом, а порядок, соблюдавшийся в нем,— хрупким, непрочным порядком. Отношения между членами дома — родителями Петепра — видного сановника фараона, господами Туий и Гуий, и между Петепра и его супругой — были по сути чисто формальными в самом точном смысле этого слова, ибо, храня форму, они не имели действительного содержания. Петепра лишь номинально был управителем и начальником многих ведомств фараона и столь же номинально он был супругом прекрасной Мутеменет, владелицы его дома и жрицы храма бога Атум-Ра, или Амуна, почитаемого народом египетского божества.

Мнимость, призрачность и фальшивость отношений между этими людьми, изуродовавших их жизни, лишивших их полноты бытия, были порождены борьбой новых, гуманных начал, входящих в жизнь со старыми, жестокими, кровожадными обычаями и представлениями, и являлись плодом победы старозаветных начал. В борьбе, длящейся между гуманистическими силами нового, будущего и силами косной и кровавой старины приходилось участвовать и Иосифу, выбирая, не считаясь с опасностями, свое место в этой борьбе на стороне блага.

Тайну дома Петепра разгадать Иосифу удалось тогда, когда он услышал разговор родителей высокого вельможи, написанный Томасом Манном с таким проникновением в сокровенные углы человеческой души, которое приближает его к исповедальным диалогам романов Достоевского. В этом разговоре дряхлых стариков, ищущих оправдания тому злодеянию, которое они совершили некогда над своим сыном, оскопив его в младенчестве, ставится центральная идейная проблема всей тетралогии: как служить своему времени и как человеку надлежит его понимать.

Единственно важный вопрос, который встает перед человеком в его повседневной жизни, если, разумеется, человек сыт и не раздавлен заботами о хлебе насущном, а способен мыслить,— это вопрос о сути века, в который он живет, и о том, соответствуют ли мысли, которым подчинена жизнь человека, тем веяниям, которые несет в себе век.

Гуий и Туий будто бы хотели служить новым веяниям века, чтобы искупить старомодную греховность собственного брака, поскольку их родители поженили их в детстве по старозаветному обычаю, не обращая внимания на то, что они были брат и сестра. Оба они хотели принести жертву новому, послужить ему, но сделали это на старый лад, старыми способами, в духе омертвевших обычаев. Этот их поступок повлек за собой цепную реакцию человеческих несчастий и катастроф. По существу, историей Петепра и его малопривлекательных родителей Манн отрицательно отвечает на вопрос, поставленный некогда Ницше о возможности реакции как прогресса.

Ницше решал эту проблему, казалось бы, в чисто этическом плане, не касаясь кардинальных противоречий общественного процесса: они лишь просвечивают в его рассуждениях. Томас Манн тоже придерживается в тетралогии границ этики, но сквозь сбивчивый тревожный разговор хитрых и недобрых стариков в романе тоже просвечивает жгучая конфликтность века нашего, ибо служение новому, которое провозгласила своим знаменем политическая реакция фашистского толка, было на деле утверждением старого, реакционного и кровавого под флагом новизны. За это людям пришлось расплачиваться жизнями.

Петепра, зная о том, что родители могли и не совершать над ним кощунственного злодеяния, тем не менее почти простил их, ибо был добр, и лишь в самых глубинах церемониальной вежливости его обращения с Гуий и Туий скрывалась горечь. С формальной супругой, госпожой Мутеменет, его связывали сложные обрядово-придворные обязанности и отношения, в конечном итоге скрывавшие тщательно упрятанную взаимную ненависть, в общем-то понятную. Ожиревший гигант, всячески стремившийся компенсировать собственную неполноценность, ходивший с копьем на гиппопотама и собственноручно управлявший упряжкой непокорных коней, он был внутренне беззащитен и жил в постоянной тревоге и за внешнее благополучие дома своего, и за благополучие государства, ибо он знал — Иосиф читал ему об этом из старого папируса,— что были времена, когда первые стали последними, и за несправедливости людям благополучным пришлось понести расплату. Он знал, что и в его дни строители царских усыпальниц стонут под бичами надсмотрщиков и в народе живет глухое беспокойство. Он чувствовал непрочность мира, всей жизни, но сам ничего не мог сделать, предаваясь меланхолическим размышлениям над бренностью сущего. Но прежде всего он был добр и стал относиться к Иосифу как к человеку, а не рабу, и

Иосиф отплатил ему тем же, то есть человеческой приязнью. Стойкость этой приязни предстояло проверить Мутеменет, хозяйке дома.

Среди богатых женских образов романа образ Мутеменет, прекрасной искуситель-ницы Иосифа, как и возникающий где-то на обочине повествования и вырастающий до грандиозных масштабов характер фанатично убежденной в своих замыслах и не отступающей от них Фамари, отмечен истинной монументальностью. Резкие краски пустыни легли на смуглое, властное лицо Фамари, солнечный свет подсушил ее легкое тело, и страсти, руководствующие ее помыслами, придали ее поступкам мощь. Не менее мощен и характер Мутеменет, изнывающей среди роскоши придворного дворца, рядом с мудрым и терпимым мужем-евнухом, брак с которым имел для нее чисто юридическое и символическое значение. С тем большим неистовством обрушивает она свои неутоленные желания на прекрасного раба, на Иосифа, клевеща на него и добиваясь его казни, после того как он устоял перед великим соблазном.

С исключительным искусством психологического анализа в романе изображены нарастание страсти Мутеменет к Иосифу и его колебания перед чарами соблазна, греха и наслаждения. Эпизоды, связанные со сценами соблазнения Иосифа, являются одной из кульминаций романа. Страсть Мутеменет к нему — это высшее испытание его этического отношения к человеческому долгу.

Но что же он отвергает?

Если до эпизода с Мут в романе господствовали гуманизированные аспекты мифа, то в сценах, изображающих ее страсть, властвует ночная, оргиастическая стихия мифа. В задыхающихся заклинаниях Мутеменет, в ее исступленных речах, в ее призывах к Иосифу убить Петепра, в главном ее доводе, что «все позволено» и нет преград для огненного потока вожделения, до слуха Иосифа доносится тот строй мыслей, который в наш век знаменем своим сделали поборники реакционной «революции духа», провозглашавшие релятивность всех этических и духовных ценностей, господство инстинкта над разумом, нигилистическое презрение к гуманности. Хмельное, помраченное состояние Мут доводит ее до крайней степени морального падения, что особенно наглядно показала сцена приворотного заклятия, и Томас Манн вкладывает в ее речи, в ее демагогию, обращенную на Иосифа, некоторые мысли Фрейда и Клагеса для того, чтобы их осудить.

Он полемизирует и с фрейдовским учением об эдиповом комплексе, вызвавшем отталкивающее ощущение у Иосифа, когда он услышал откровенное изложение этого учения из уст Мутеменет. Он полемизирует и с его учением о толковании сновидений, прямо заявляя, что неверно рассматривать сон как дикую область, где все, что запрещено днем, берет свое и начинает господствовать в человеке. Он указывал далее, что того, чего не знает явь, не знает и сон, отвергая тем самым коренной пункт учения Фрейда о подсознательном, из которого во время сна вырываются желания и комплексы, неведомые человеку. Он полемизирует и с Клагесом, считавшим душу человека рабыней эроса. Но еще отчетливей связывает он демагогию Мут с комплексом современных реакционных учений, делая ее жрицей бога Амуна, верной и послушной последовательницей его жреца Бекнехонса.

Образ этого служителя порядка, поборника благочестия и покорства яснее, чем другие образы романа-мифа Томаса Манна, перекликается с днями нашими и являет собой, говоря современным языком, тип законченного реакционера, сторонника сильной власти и националиста. Особенности характера Бекнехонса связаны со всей социальной философией романа и объясняются отношением Томаса Манна к политической борьбе второй трети нашего века, его антифашистскими воззрениями.

И Петепра и Бекнехонс были придворными лицами повелителя Египта фараона Аменхотепа IV, изображенного на стелах, сохранившихся в развалинах города Ахетатона, молящимся вместе со своей семьей солнцу, которое протягивает к нему и его ближним длинные, прямые лучи, несущие символ жизненной силы — «анх».

Аменхотеп IV, чье имя означало «Амун доволен», фараонствовал в сложный период, когда разгорелась борьба за реальную власть в египетском государстве между фараоном и храмовым жречеством, усилившимся и необычайно разбогатевшим в то время. Видимо, чтобы подорвать влияние жречества, Аменхотеп IV провел в стране религиозную реформу и взамен распространенного культа Амуна-Ра ввел опирающийся на древнюю традицию поклонения богу Ра-Гор-Ахуту культ солнечного бога Атона-Ра, или Атона, переименовав себя в Эхнатона и выстроив — поспешно и не очень фундаментально — новую столицу Египта, город Ахетатон, разрушенный после его смерти противниками всех его религиозных и политических реформ.

Бекнехонс всей душой был предан своему божеству — неподвижному, не терпящему новшеств и самостоятельности мысли, застывшему в приверженности слепому обычаю, косному и топорно упрямому Амуну-Ра. И хотя культ этого бога был моложе, чем традиция, на которую опирался культ Атона, он был носителем духа мертвой старины, а не старинный бог, который щедро откликался на все истинно творческое, новое. И в случае с культом Амуна-Ра косное старое прикидывалось новым. Но в парадоксальном заострении отношения двух борющихся между собой культов к новому в жизни и истории отчетливо проступила концепция истории самого Томаса Манна.

Он отвергал фашизм и все те духовные учения XIX и XX веков, которые выдавали реакцию за прогресс, отмирающее старое за нечто самоновейшее, стараясь помочь старому сохраниться в жизни, приспособиться к ней. Вместе с тем Томас Манн подчеркивал, что нельзя отвергать старое, традицию только потому, что она — прошлое, ибо мно-

гое в старом, в традиции открыто зовам современности и способно служить и служит свободе, прогрессу, гуманности. Дело в существе традиции и отношения к принципу гуманности. Писатель потому отвергает Бекнехонса и все за ним стоящее, что тот думает лишь о насилии, верит в насилие и служит насилию, хотя и выступает от лица более новой традиции, нежели приверженцы Атона. Истинный прогресс способны нести лишь те явления в культурной и общественной жизни человечества, которые, независимо от того, новы они или стары, служат человечности.

Узнав о любовных мучениях Мутеменет, старый жрец Амуна-Ра требует от нее, чтобы она принудила своего раба к любви, ибо негоже считаться с волей человеческой, хотением человека.

Таким образом Иосифу противостоит не только она и ее страсть, не только ее демагогия, но и демагогия Бекнехонса, сторонника беспощадной государственности. И он должен делать свой выбор, опираясь только на собственную личность, ибо никакой иной силой он не обладал. Собственная воля и стремление к высшему — вот тот заслон, который выдвинул против домогательств Мут прекрасный Иосиф. Он не капитулирует перед стихией инстинктов. Из своего опыта, из раздумий над ним он извлек фундаментальную мысль, что и в самом бытии, и в человеческой душе есть грань, переступать которую, оставаясь человеком, нельзя, ибо за ней разверзнется бездна, которая поглощает и разрушает все высокое, достойное и благородное в человеке, открывая его внутренний мир хаосу бесчеловечности, отдавая его власти слепых инстинктов, тому низменному и жестокому, что таят они в своей стихии. Не случайно задает себе вопрос Иосиф, что может быть еще выше, чем высочайшее, тягу к чему испытывала его душа, и вместе с писателем отвечает, что если у тебя есть вкус к будущему, вера в его возможности, сознание того, что оно будет прекраснее, чем настоящее, то еще выше — высочайшее завтрашнего дня. Историческим оптимизмом дышит тетралогия Томаса Манна, возносящая хвалу человеку и преисполненная глубокой к нему любви.

Мифологическая схема, которой была подвластна судьба Иосифа, сработала еще раз. После того как он был оклеветан Мутеменет, он предстал перед судом Петепра, которому выпала житейская, бытовая роль обманутого или почти обманутого мужа и мифологическая — быть судьей в царстве мертвых, где пребывал Иосиф-Осарсиф, что означало «умерший». Судья был строг, но вместо немедленной казни, которой требовала Мутеменет, проявил мудрую терпимость и приговорил Иосифа к заключению в островной тюрьме, и вторично, как зерно в борозду, попадает Иосиф в яму, из которой на сей раз ему удалось выбраться благодаря собственной сообразительности и ясности разума.

Изображая необычную, можно сказать, чудесную судьбу и жизнь Иосифа, писатель почти все необычные происшествия, встречавшиеся на жизненном пути героя и его сородичей, объясняет естественными причинами за тем небольшим исключением, когда в роман-миф, роман-сказку закономерно начинают проникать сказочные элементы. Но заключительное и, на первый взгляд, воистину чудесное восхождение Иосифа к престолу фараона, рядом с которым он занял одно из самых важных мест, объясняется Манном весьма трезво и реалистически.

Заурядное событие — дворцовые интриги — привело в тюрьму, где проводил свои дни Иосиф, помогая начальнику тюрьмы и облегчая труд каторжан, придворного пекаря и придворного чашника, причем один из них наверняка был виновен в выдвинутом против них обвинении, и для наблюдательного Иосифа тревожное поведение пекаря говорило о многом. Сны, которые он им истолковал, подтвердили его наблюдения: рассказ пекаря о том, что он видел во сне, яснее ясного говорил о его вине и о том, что он знал свою вину и пробовал ее скрыть.

Вводя эпизоды с толкованием Иосифом сновидений в роман — центральные в библейском рассказе о его жизни,— писатель не только следует своей манере — зримому изображению того, о чем бегло, вскользь и неполно говорилось в Библии,— но и продолжает полемику с фрейдовским учением о толковании снов, иронически отбрасывая сексуальную символику, обязательную для фрейдовского разбора сновидения, и связывая сон не со сферой подсознания, а с материальными процессами и явлениями повседневной жизни, реального опыта человека. Собственно, этот подход к сновидению помог Иосифу объяснить и истолковать сны фараона о тощих и тучных коровах и колосьях и дать совет главе государства в присутствии его матушки, оказывавшей весьма серьезное влияние на ход государственных дел, что и как надо совершить, дабы спасти землю Кеме, или Египет, от грозящих невзгод и бедствий. С того момента, как Иосиф стал ближайшим советником фараона, его правой рукой — Иосифом Кормильцем, роман Томаса Манна перестает быть произведением, исследующим извечное свойство человеческой натуры, прославляющим ее лучезарность, и превращается в социальную утопию в духе гетевского «Вильгельма Мейстера» или заключительных сцен «Фауста».

Как и в гетевском «Фаусте», перекличка с которым в тетралогии Манна чрезвычайно сильна, в ней происходит сцена на небесах, во время которой ангелы потихоньку сплетничают и судачат о делах земных и небесных, позволяя себе исподтишка поворчать на всевышнего, решившего на свою беду и по совету диавола из бога общечеловеческого стать богом племенным и тем самым утратить власть над родом человеческим. Сходство между гетевскими произведениями и тетралогией Манна об Иосифе — глу-

бинное, оно основано на родственном понимании человеческого долга, на близком толковании гуманизма как действенного и длительного свойства человеческого духа. Иосиф перестает быть человеком, приспосабливающимся к житейским обстоятельствам, он начинает сам воздействовать на жизненные условия во имя блага людей, а не во имя отвлеченной государственной или религиозной идеи. Он в полном смысле слова становится Кормильцем, избавляя народ от голода — одного из самых страшных бедствий, и его действенная гуманность отличает его от гуманности чувствительного и склонного к мечтательности фараона.

Эхнатона и его окружение Томас Манн изобразил в неожиданно и парадоксально иронических тонах, с чувством мягкой симпатии, но безо всякого стремления героизировать или возвеличивать его личность и его религиозную реформу, о которой столько было говорено историками нашего времени.

Причина подобного изображения Эхнатона — в стремлении писателя возвысить идею *деятельного гуманизма,* которой служит в романе Иосиф, противопоставляя этой идее иной, недеятельный вид гуманизма. И верно, гуманизм Эхнатона в романе мечтателен, сентиментален и несколько слезлив. Фараон мог расплакаться при мысли о бедной мышке, но о людях, населявших его царство, он не пекся, предоставив их тревогам и заботам Иосифа. А тот заготовлял зерно, скупал его у богачей, был прижимист в делах и, вероятно, казался многим черствым рядом с чувствительным фараоном. Однако Иосиф продолжал поступать так, как ему подсказывал расчет, а не эмоции. Что же он сделал?

Эхнатона, как и его сановника Петепра, как и множество других сановных и несановных, а просто богатых граждан страны Кеме тревожил вопрос — очевидный для всех них — о социальном неравенстве египтян, о грядущей опасности массового взрыва, когда мятеж сможет охватить всю страну, в которую тогда ворвутся разбойники бедуины, когда богатые станут бедными, а бедные богатыми, когда не станет больше старых законов и сын будет в междоусобице убивать отца, а брат — брата, когда звери. а не люди начнут пить воду из каналов, а люди станут смеяться смехом смерти. Жуткое, зловещее предчувствие вполне возможных событий. Оно — это чувство тревоги перед недовольством масс — не оставляет героев романа и пришло в него не из глубин древности, а из социальной истории нашего времени, сулящего, говоря словами русского поэта, «неслыханные перемены, невиданные мятежи». Дабы избежать этого тяжкого времени, которое может наступить, Иосиф создает новую систему экономики, сочетающую в себе спекуляцию и благотворительность, государственное ростовщичество и меры общественного призрения, систему, вообще ставшую возможной лишь при наличии полной, говоря современным языком, тотальной монополии на зерно, в условиях, когда многолетние неурожаи создали и в Кеме, и в окрестных странах, и мелких княжествах, и султанатах нехватку хлеба, грозящую голодом.

Иосиф этим воспользовался. Сначала он прибрал к рукам, то есть в казну фараона, все золото и серебро у богатых и бедных, почти весь их скот, всю землю и сделал многих людей государственными рабами, направив их в подходящие для государства места жительства и работы.

Потом он ликвидировал крупное землевладение и земли бывших владельцев крупных земляных угодий населил мелкими землевладельцами, ответственными перед властью, то есть государством, за качество обработки земли, что влекло за собой в конце концов не только улучшение агрикультуры, но и более справедливое или почти справедливое распределение земли между народом. Затем Иосиф обложил налогом земледельцев, достаточно крупным, чтобы иметь свободный капитал, и достаточно умеренным, чтобы, не разоряя их и не превращая в фактических рабов или крепостных, поставить в зависимость от государства. Таким образом, идеальная система, которую создавал Иосиф, сочетала принцип обобществления с принципом свободы отдельного собственника, что в общих чертах отражало то значение, которое придавал госкапитализму — при сохранении частной собственности — рузвельтовский «новый курс» — аналог Иосифовых реформ.

Писатель видел в этом курсе противовес антицивилизаторским, варварским акциям фашизма, который пришел в Германии к власти и грозился стать явлением интернациональным. Манн в тридцатые годы воочию увидел практическое воплощение тех идеологических теорий, с которыми он вел бой в своей тетралогии. В 1933—1934 годах он написал в форме дневника антифашистский памфлет «Страдания по Германии», в котором дал своего рода публицистический комментарий к происходившему в Германии. Человек большой выдержки, неприязненно относившийся к Лютеру, как олицетворению немецкой грубости, он по-лютеровски смачно, грубо и прямо бранит фашистов, не стесняясь в выражениях, из которых «лгуны, убийцы, подонки», пожалуй, были наиболее сдержанными. С огромной проницательностью разгадал он природу «коричневой революции», отметив, что она представляет собой «яростное и разнузданное завершение контрреволюции, под знаком которой мы жили четырнадцать лет», то есть начиная с 1919 года, когда в Германии была подавлена революция социалистическая. Обвиняя фашистов в том, что они «узурпировали и оболгали слово «революция», подчеркивая, что у них нет жизнесозидающей, творческой идеи, клеймя фашизм за преступления и кровавые насилия, он пророчески предсказывал, что «пробуждение, которое предстоит, будет в десятки раз чудовищнее, чем после 1918 года»*.

---

* Th. Mann. Gesam. W., Brl., Aufbau, 1956, Bd. XII, S. 103.

Вскоре после окончания второй мировой войны, в 1946 году, Томас Манн писал в письме мюнхенскому рабочему Прошу: «Гитлера и его компанию я ненавидел — это была справедливая и здоровая ненависть, которой я горжусь»*. Эта справедливая ненависть дала ему возможность подвергнуть резкой критике в тетралогии реакционную профашистскую философию и концепции человека, следующие из этой философии. Но ненависть к гитлеризму, к его антицивилизаторским акциям порождала у Томаса Манна, впрочем, не у него одного, веру в конструктивные возможности «истинной демократии», противостоящей и фашизму, и парламентским формам буржуазного демократизма. Он надеялся, что реформизм рузвельтовского толка сможет вывести западный мир из тупика и сблизит его с социализмом, чья творческая сила все более активно начинала захватывать Манна. И лишь после окончания второй мировой войны, когда Манн отчетливее стал представлять очертания грядущего как коммунистические, он пересмотрел свой взгляд и на сущность реформаторской деятельности Рузвельта. В докладе «Германия и немцы» (1945), критикуя реакционные традиции немецкой идеологии, он, между прочим, писал: «Лютеровская революция (имеется в виду Реформация, вдохновителем которой был Лютер.— *Б. С.*) сохранила христианство примерно так же, как New Deal («новый курс».— *Б. С.*) предназначен сохранить капиталистический строй (пусть даже капитализм этого и не понимает)»**. Сказано достаточно ясно.

Заключительная часть тетралогии, рассказывающая о примирении Иосифа с братьями, о переезде Иакова со всеми чадами и домочадцами, овцами, козами, верблюдами, ослами, мулами и рабами в одну из отведенных для них областей Египта — землю Госен, Косем, Кесем, или Гошем,— написана как торжественное, мажорное, театрализованное шествие, с бурлескными, фарсовыми вкраплениями, с легкой меланхолией, вдруг впархивающей в громогласную, приправленную кликом фанфар радостную мелодию финала. Полифоническая вязь романа, его многоголосие сливается в лучезарный гимн, славословящий единственного и главного героя тетралогии — человека.

■

В своем романе-мифе Томас Манн разрешал вставшие перед ним сложнейшие эстетические и мировоззренческие задачи реалистически, изображая человека и мир, в котором человек живет, в их единстве и взаимовоздействии. Подобного рода изображение связей человека и мира типологически объединяет фундаментальные творения реализма, и у нас нет оснований переименовывать образы, созданные великими художниками-реалистами в разные исторические эпохи (Пантагрюэля, Дон-Кихота, Фауста, Жана-Кристофа), из реалистических в мифологические, как это делает Гароди. Мифологизм и реализм — два несовместимых способа видения и понимания человека и мира, что, в частности, подтверждает и тетралогия Манна, где мифологический элемент был переосмыслен и использован художником для реалистического раскрытия взаимосвязей человека и истории, духа и бытия.

Марксизм — настоящий, творческий марксизм, а не его ревизионистские или догматические извратители — всегда придавал огромное значение субъективным факторам в истории и классовой борьбе. Люди *делают* свою историю, люди *совершают* революцию, *перестраивают* сложившийся общественный уклад, *создают* технику и промышленность, видоизменяющие природную сферу человека, но делают они все это не по своему произволу или вследствие своей трансцендентной автономии от мира внешнего, а потому, что они научаются ценою огромного труда сочетать свои устремления с объективными, познанными и познаваемыми законами, действующими в природе и обществе. В этой способности постигать объективный мир и изменять его заложены истоки активности и величия человека.

Искусство как один из важнейших видов человеческого творчества тоже участвует или в преобразовании мира и общества, или в консервации существующего, будучи одной из наиболее активных форм воздействия на эмоциональную и интеллектуальную стороны человеческой натуры. Согласно Гароди, оно создает «вторую природу» при посредстве мифологического символа или символического мифологизма, для которых ссылка на реальность необязательна, поскольку искусство, как он писал в книге «О реализме без берегов», есть «выражение формы присутствия человека в мире». Понятия «вторая природа» или «природа, человечески завершенная» заимствованы Гароди из примечаний Гете к переводу «Опыта о живописи» Дидро. Однако Гароди в угоду собственным взглядам искажает гетевскую мысль, ибо Гете, подчеркивая активный аспект творчества, писал, что «...гений, художник по призванию, должен действовать согласно законам, согласно правилам, которые предписаны ему самой природой, которые ей не противоречат, которые составляют величайшее его богатство, потому что с их помощью он научается подчинять себе и применять как богатство своего дарования, так и всякие богатства природы»*.

Гете не изымал ни художника, ни искусство из стихии природных связей и как истинный реалист придавал огромное значение чувственной стороне художественного образа. Что касается Гароди, то его миф — это нечто стерильное, спекуляция в духе

* "Frankfurter Rundschau", 3.VI.1967.
** Т. Манн. Собр. соч., т. 10. М., Гослитиздат, 1961, стр. 311.

* В.-И. Гете. Статьи и мысли об искусстве. М., «Искусство», 1936, стр. 91.

его рационалистического и операционалистского толкования теории познания. От подобного восприятия мифа не спасают и рассуждения Гароди о том, что миф выражает устремления человека в будущее, или человеческую инициативу. Для того чтобы двигаться вперед, человек должен быть очень крепко соединен с областью своей практической, земной деятельности — будь то в науке или искусстве, не говоря уже о революционном действии.

С некоторыми положениями Гароди по поводу особенностей мифа (например, о том, что миф есть творчество и труд, или о том, что миф несводим к понятию) нет необходимости спорить — они тривиальны. Но ориентацию всего современного искусства на мифотворчество следует отвергнуть из-за очевидного догматизма этого тезиса, обедняющего и нивелирующего развитие современной художественной мысли. От того, что картины Пауля Клее мы назовем мифотворческими, мы не обогатим своих эстетических критериев, ибо неясно, как дифференцировать мифологизм внутри самого этого понятия, поскольку, если строго следовать выкладкам Гароди, мифологическими мы должны будем назвать и работы Пикабиа или Пита Мондриана и вообще любое произведение, где превалирует отвлеченная фантазия. Деление мифов на «разумные» или вредные по меньшей мере малоубедительно, если не наивно.

Здесь нет возможности дискутировать с Гароди по поводу его утверждения, что символ есть «третья сигнальная система», ибо это «открытие», напоминающее своей поспешностью и бездоказательностью перевороты в науке, произведенные в свое время господином Евгением Дюрингом, повисает в его книге в воздухе. Заметим, однако, что если даже не принимать во внимание нетождественность символа и сигнала, то в отличие от «второй сигнальной системы», то есть языка, для которого, как выражаются семантики и лингвисты, характерна «прозрачность для значения»,— символ этими качествами не обладает, поскольку он является образованием, замещающим некое понятие или свойство, и понимание символа зависит от конвенциальных условий. Поэтому символика не может сложиться в универсальную систему, подобную языку, обладающую «прозрачностью» для восприятия и неисчерпаемыми возможностями для объяснения и выражения нужных представлений.

Однако, не принимая концепции мифа, развиваемой Гароди в его книге, мы не можем не видеть реальной проблемы, стоящей за его рассуждениями. В наше время искусство приобрело необычные свойства; эксперименты в области формы и содержания, которые в нем происходят, не укладываются в нормы классического искусства минувшего века, не говоря уже об эпохах более отдаленных; современное искусство создает высокие эстетические ценности. Как должна ко всем этим явлениям относиться марксистская эстетика? Объективные трудности анализа современного искусства Гароди попытался преодолеть сначала концепцией «реализма без берегов», включающей в реализм явно нереалистические и декадансные создания искусства, а теперь он делает это при посредстве понятия «миф». Обе эти попытки не достигают желаемого результата, ибо истинный критерий определения ценности эстетической ценности мы должны искать в отношении произведения искусства и художника к конкретной живой истории современности, а не в эстетических абстракциях или нормативах. Можно согласиться с Гароди, что концепция глобального упадка искусства в современную эпоху не выдерживает критики, и нам об этом уже приходилось писать не раз *. Но Гароди, защищая этот тезис, не дифференцирует разнородность общественных тенденций, стоящих за нереалистическими произведениями нашего времени, ибо некоторые из них отражают декаданс буржуазного общественного уклада, другие — революционные процессы, идущие внутри современного капитализма, и ломку всех его ценностей, в том числе и эстетических, третьи занимают промежуточное положение в современной битве идей. Стоит привести выдержки из писем великого живописца XIX века Ван-Гога, чтобы пояснить суть вопроса. Он писал в 1884 году своему брату Тео: «Я постоянно сожалею, Тео, что мы с тобой стоим по разные стороны баррикады; хотя баррикады как конкретного сооружения из камней на мостовой нигде больше не видно, социально она несомненно существует и будет продолжать существовать... Сегодняшнее поколение не хочет меня; ну что ж, мне наплевать на них. Я люблю поколение 48-го года и как людей и как художников больше, чем поколение 84-го, но в 48-м году мне по душе не Гизо, а революционеры — Мишле и крестьянские художники Барбизона».** Вот это самоопределение художника в социальной борьбе своего времени, умение художника сделать свое произведение общезначимым и адекватным реальности есть ключ к решению проблемы, исходный пункт для выяснения истинной ценности его творений. Лишь обращаясь к живой истории, мы сможем верно оценить развитие искусства и созданные им ценности. Иной подход уводит нас в дебри риторики или схоластики.

---

* См., например, статью «Влияние Октября на развитие художественной мысли», «Коммунист» № 17, 1967 г.

** В. Ван-Гог. Письма. Л.—М., «Искусство», 1966, стр. 224.

БЕРНАР ДАДЬЕ

ЛЮДИ МЕЖДУ ДВУМЯ ЯЗЫКАМИ

Моя задача состоит прежде всего в том, чтобы привлечь внимание к проблемам, которые возникают перед человеком, и особенно перед писателем, живущим в условиях двуязычия.

Двуязычие порождает множество проблем, недостаточно еще исследованных. Дело в том, что сама эта проблема возникла сравнительно недавно, во всяком случае мы не сталкивались с ней так часто, как в наше время, когда образование и культура все быстрее распространяются в молодых странах, где двуязычие было введено новыми законами. Правда, в подобной ситуации люди оказывались уже давно — широко известны примеры таких писателей, как Джозеф Конрад, Фредерик Мистраль, Сэмюель Беккет, но эти явления оставались все-таки единичными и не дают ключа для решения проблемы в целом.

I. ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД ДВУЯЗЫЧИЕМ

Стоящую перед нами проблему можно сформулировать следующим образом: каково духовное состояние человека, в детстве овладевшего навыком речи на языке бесписьменном (на который нередко даже те, кто говорит на нем, смотрят как на язык незрелый), а позднее, в школе, изучившего язык, широко распространенный в мире, язык высокой культуры?

Пока что оставим в стороне писателя, ибо писатель не изолирован от окружающей его человеческой среды: сознает он это или нет — он составляет часть этой среды. Прежде всего мы попытаемся описать ситуацию в целом.

Для начала мы лишь отметим, что двуязычие характерно для развивающихся стран — фактор, который имеет немаловажное значение: во-первых, он сплошь и рядом определяет эмоциональный, или во всяком случае субъективный, подход к языковым проблемам; во-вторых, он значительно повышает ответственность писателя перед обществом. Подробнее остановиться здесь на этих вопросах мы не сможем, однако необходимо все время иметь их в виду.

Некоторые из общелингвистических проблем, порожденных двуязычием, уже довольно хорошо изучены — например, те, что касаются языковых явлений.

1. Объективные результаты взаимодействия языков

Речь пойдет о проблемах интерференции. Ум ребенка сформировался в неких языковых рамках, и воспринятые им понятия связаны для него с определенной формой. Сама эта форма создается системой двигательных навыков, проявляющейся в произношении известного числа звуков. В соответствующем возрасте (довольно рано во франкоязычной Африке, позднее — в англоязычных странах) он усвоит в школе новый язык, который помогает ему приобщиться к культуре. И тогда вновь усвоенные языковые навыки войдут в постоянное взаимодействие с ранее приобретенными навыками, которые уже успели придать форму его мысли и ее звуковому выражению.

a) **В плане фонетическом** это выразится, например, в трудности произношения некоторых звуков, несуществующих в родном языке. Хорошая школа помогает преодолеть трудности произношения, однако они не остаются без последствий в каких-то более глубоких пластах сознания.

б) **В грамматическом плане:** ребенок будет стремиться передать на изучаемом языке формы того языка, который уже знает, и этот вид интерференции может оказать чрезвычайно сильное воздействие на развитие его мышления.

в) **В понятийном плане,** наконец,— а это наиболее важный для нашей задачи план,— произойдет взаимодействие того же порядка. К сожалению, это наименее исследованный аспект проблемы. Как известно, языки стремятся воссоздать структуру чувственного мира. Как все социальные явления, они представляют собой попытку человека упорядочить хаос, внести порядок в беспорядочность восприятия, придать форму бесформенному. Но каждый язык делает это по-своему, разными путями приходя к одинаковым результатам. Когда два языка вступают в контакт и как бы соперничают

О проблемах, поднятых в этой статье Бернаром Дадье, писателем Берега Слоновой Кости, см. послесловие Г. Потехиной (стр. 249).

в одном индивиде, то это означает, в сущности, что в контакт и в конфликт приходят два видения мира. Думаю, со мной согласятся, что ситуация эта — не из легких, в дальнейшем мы постараемся выяснить для себя ее последствия. А сейчас попытаемся разглядеть сущность проблемы на одном из наиболее известных примеров — на том, как в разных языках обозначаются цвета. Каждый язык установил свою цветовую систему, и эти системы нередко разнятся между собой. Все знают, как трудно даже специалистам интерпретировать обозначение цветов у Гомера и Вергилия. Один народ объединяет в едином слове синее и зеленое, другой — синее и черное, третий разлагает на разные цвета ту часть спектра, которая считается у иных одноцветной. В то же время доказано, что, если не считать индивидуальных патологических отклонений, все люди видят цвета одинаковыми. Следовательно, это чисто лингвистическая проблема.

Если столь велики расхождения в таком простом вопросе, как обозначение цвета, каковы же они, когда речь идет о более абстрактных понятиях? Что такое **слава, счастье, беда, причина, связь** для тех, чей лингвистический мир отличен от нашего? Что такое **семья, плодородие, болезнь, смерть?** Когда языки имеют общее происхождение, например индоевропейские или еще более близкие — романские или германские,— совпадения довольно часты. Но в случае, который занимает нас, речь идет о языках, весьма отличающихся друг от друга,— тамильский и английский, фон и французский, майя и испанский. Здесь есть все основания полагать, что переход от одного языка к другому может вызвать в мышлении глубокие потрясения.

2. Субъективные результаты взаимодействия языков

Теперь попробуем описать состояние человека, в сознании которого два языка сливаются словно воды двух рек в единое, несущее в себе многовековой человеческий опыт течение.

а) **Интеллектуальный план:** с самого начала приобретение школьных знаний будет затруднено языковыми барьерами. И хотя о школьных проблемах мы говорить здесь не станем, это препятствие следует также иметь в виду. Как бы там ни было, овладение новой культурой, необходимой для стран, находящихся на пути к обновлению, совершается через чужой, иностранный язык. Это справедливо также и для тех довольно многочисленных случаев, когда семья учащегося не владеет европейским языком, на котором ведется школьное обучение.

б) **Психологический план:** мышление такого человека начинает формироваться, питаясь из двух источников, и будет испытывать их соперничающее влияние. Здесь надо иметь в виду следующие психологические факторы: речь идет не о таком человеке, который владеет двумя языками в силу своей профессии (ведь он стал двуязычным уже после того, как мышление его отлилось в формы родного языка); и не о таком, который свободно выбирает язык или в какой-то степени уже от рождения является двуязычным, поскольку его родители говорят на разных языках. Наше положение совсем иное: второй язык навязан нам внешними потребностями и пользуется престижем, каким не пользуется родной язык, с которым, однако, связана вся эмоциональная жизнь. Легко представить себе конфликты, порожденные подобной ситуацией: некоторые из них, например, могут выродиться в комплекс неполноценности и проявляться в агрессивном поведении.

в) **Социальный и культурный плаиы:** нельзя забывать, что именно посредством языка осуществляется связь человека с окружающей средой. Образование, полученное не на родном, а на глубоко отличном от него языке, таит в себе угрозу разрыва с этой средой: с общественной средой деревни, квартала, даже семьи. Конечно, какую-то компенсацию человек получает: он приобщается к технической культуре, которая дает ему материальные блага и возможности социального продвижения. Но достаточно ли этой компенсации, чтобы свести на нет действие внутреннего конфликта, ощущения разрыва со своим языком и в связи с этим — вполне понятного чувства вины?

3. Возможно ли преодоление конфликтов, порожденных взаимодействием языков?

Теоретически преодолеть эти конфликты можно, лишь придя к полному, совершенному двуязычию. Такое двуязычие предполагает, во-первых, существование чего-то вроде двойного внутреннего (мыслительного) мира, каждая часть которого автономна — это означало бы, что интерференции больше не существует, что ее действие снято. Кроме того, оно предполагает и соответствующее психическое равновесие. Но подобного равновесия добиться трудно.

Добиться его тем труднее, что сама ситуация по-прежнему лишена равновесия. В уже упомянутом нами случае с Сэмюелем Беккетом оба употребляемые им языка обладают (в его глазах, по крайней мере) одинаковым статусом. Но бесписьменные языки часто рассматриваются теми, кто учился в школе, как языки низшие. Их считают едва ли не обреченными на вымирание. И чем сильнее убежден в этом человек, тем острее будет у него чувство вины. Кроме того, два языка, которыми он владеет, функционируют в обществах и ситуациях неидентичных, которые почти никогда не пересекаются. Не свидетельствует ли это о том, что желаемого равновесия достичь трудно? Человек, лишенный этого внутреннего равновесия, не является обладателем двух взаимозаменяемых средств выражения: на самом деле он разорван между двумя мирами, ибо различие языков воспринимается им как отражение многих других различий между народами. Может быть, он просто стоит в точке

соприкосновения двух миров, которые никогда не поймут друг друга?

Но не грозит ли вылиться в раздвоение сознания полное, совершенное владение двумя языками в условиях социального неравновесия, о которых только что говорилось? Как уже было сказано, перед нами то и дело встают вопросы, и нет у нас ни нужных исследований, ни достаточного времени, чтобы дать на них полные и мотивированные ответы. Раздвоение сознания африканских писателей, пишущих по-английски или по-французски, мы ощущаем во всем, написанном ими, пока что это — факт. И разве не является одной из важнейших задач интеллигентов, особенно писателей развивающихся стран, в которых говорят на бесписьменных языках,— взять полностью на себя преодоление этих конфликтов, выявить и объяснить их людям, чтобы помочь своему народу прийти к новому состоянию цивилизации, которая обогатится многообразием ценностей, то есть не отвергнет традиционных элементов, но и не откажет в доверии ценностям, приходящим извне.

4. Можно ли говорить о взаимном обогащении между традиционными и заимствованными языками?

Как же обстоит дело с самими языками? Обогащаются ли они за счет различия между ними и способствуют ли тем самым развитию новых, складывающихся обществ? В этом нет ничего невероятного, но не следует забывать и о подстерегающих опасностях:

а) Местные бесписьменные языки (если энтузиазм говорящих на них людей сохранит им жизнь) включатся в процесс ускоренного развития. В нормальных условиях язык развивается вместе со всей цивилизацией, частью которой является, вслед за культурой и техникой. Он вырабатывается постепенно в соответствии со своей структурой и своими законами. Если социально-культурная система развивается быстро и под влиянием (которое, конечно, неизбежно, но все-таки является чуждым) другой системы, то язык либо не развивается вслед за системой, оставаясь провинциальным, либо претерпевает слишком стремительную трансформацию, которая несет в себе угрозу исказить его. Конечно, иностранное влияние совсем не обязательно оборачивается катастрофой для языка. Пример воздействия французского языка на английский достаточно хорошо доказывает это, но там речь идет о двух равно развивающихся системах, и, кроме того, вклад французского в английский совершался на протяжении многих веков. Быстрое развитие таит в себе опасность обезличить язык. Только в том случае, если стремление сохранить его наряду с языком образования и технической культуры будет проявляться с большой настойчивостью, если удастся привить уважение к нему, этот язык сможет со временем стать языком письменности, образования и займет свое место в общем наследии человечества. Вот вам еще одна немаловажная задача, стоящая перед интеллигенцией наших стран. Но готовы ли деятели культуры взять на себя решение этой задачи?

б) Не подвергается ли, с другой стороны, какому-нибудь риску тот язык (французский, английский, испанский), который стал государственным языком африканской страны, языком общения с миром и проводником новых влияний?

Мы считаем, что для этих языков опасность менее серьезна. Интерференция коснется произношения и части словаря, но, по всей вероятности, при хорошей постановке школьного дела эти языки смогут жить в добром соседстве с местными языками. Было бы достойно сожаления, если рядом с языком интеллигенции и чиновничества, очень близким к подлинному языку, разовьются пиджин и креольские языки, которые станут не только проявлением, но и ферментом социального неравновесия.

Такая ситуация может возникнуть, например, в результате слишком поспешной ликвидации неграмотности или слишком быстрой урбанизации. Но так ли уж на самом деле велика опасность, что европейские языки — инструмент школьной и университетской систем — перестанут быть понятными для тех, чьим родным языком они являются? Не думаем, что жажда независимости, стремление к самоутверждению приведут к подобной деформации языка. Во всяком случае, это нежелательно. Мексиканцы, американцы, франкоязычные канадцы не перестали быть мексиканцами, американцами или канадцами оттого, что говорят на языке, очень близком к их европейской модели. Глубоко ошибаются те, кто считает, что национальная самобытность ограничена языком.

II. ПОЛОЖЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ

1. Выбор языка

Каково же в описанных условиях положение писателя? Если его родной, африканский или азиатский, язык имеет письменную традицию, он может выбрать родной язык. Но в этом случае писатель лишает себя массового читателя, иногда даже внутри своего народа. И поскольку у него есть возможность обратиться к широкой публике, минуя предательство перевода, стоит ли ему отказываться от этой возможности? Если же его родной язык не имеет письменности, а следовательно и читателей (как, например, на Береге Слоновой Кости), такого выбора просто не существует.

И действительно, в большинстве случаев писатели выбирают языки широкого распространения. И тут встает вопрос: способны ли эти языки, поскольку они для писателя не родные, достаточно хорошо выразить его мысли и чувства? Язык всегда в известной мере ведет за собой писателя, ибо нелегко найти грань, отделяющую мысль от лингви-

стической формы, в которую та облечена. Но мысль нашего писателя питается из двух источников, она получает информацию от двух языковых моделей. А что, если язык, который он избрал и который пока лишь поверхностным образом затронул его страну, возник для выражения совершенно иной социально-культурной жизни? Что, если этот язык не способен передать, не исказив, глубокого содержания, тех духовных ценностей, истоки которых — в древних традициях?

2. Мышление и язык

Все эти вопросы связаны с более общей проблемой, которой мы уже не раз касались, то есть с проблемой взаимоотношения языка и мышления. Долгое время существовало распространенное мнение, что язык выражает мысль, существующую вне его, независимо. В этом случае естественные языки являются лишь несовершенным передатчиком мысли. Современная лингвистика исходит из того, что между мышлением и языком существуют глубокие связи: и то и другое есть лишь две стороны одной и той же системы знаков — стороной обозначаемой и стороной обозначающей. Лингвистике предстоит еще много исследований, прежде чем в этом вопросе будет установлена ясность.

Превосходные работы Жоржа Мунена* о теоретических проблемах перевода оставляют открытым вопрос о том, существует ли универсальная система понятий — метаязык,— переводом которого являются все частные языки, или же наоборот: каждый язык является носителем самостоятельной системы мышления. Для самого автора вопрос состоял в том, возможна ли общая теория перевода. В первом случае — возможна, во втором — невозможна. Но важность этого вопроса выходит за рамки проблемы перевода. Двуязычный писатель не прибегает к переводу: язык произведения рождается где-то в глубине его сознания, и в зависимости от того, как мы ответим на поставленный вопрос, мы будем по-разному оценивать его положение. Если верна гипотеза, что каждый язык есть лишь проявление метаязыка, то дилемма двуязычного писателя, его внутренний конфликт — вымышлены. Если верна другая гипотеза — они реальны.

3. Преимущества многоязычия

Однако на деле вышеназванная альтернатива не так уж проста, ибо универсального метаязыка, в строгом смысле слова, не существует. Такой метаязык образуется постепенно, он есть точка взаимодействия и конфликтов, вызванных ситуацией двуязычия. А следовательно, и наш писатель представляет собой как бы точку, где в результате слияния двух потоков рождается нечто новое. Он избрал чужой язык, но это ставит его в известной мере в положение вне избранного языка, что позволяет ему увидеть этот язык новым, сторонним взглядом. Писатель обнаруживает свою власть над языком. И, что особенно важно, писатель отдает себе отчет в том, что избранный им язык не является универсальным и исключительным средством отражения человеческого опыта. В этом открытии он находит источник обогащения языка и расширения своего понятийного багажа. Таким образом, двуязычие, как и перевод, служит одному и тому же делу: делу распространения человеческой мысли, делу взаимопонимания и солидарности.

Столь плодотворный эффект двуязычия и языкового многообразия сможет осуществиться только в том случае, если это многообразие сохранится, если все устные языки как третьего мира, так и развитых стран найдут свое место в поступательном движении, а не будут им сметены. Мы построили эту статью в защиту двуязычия. То есть мы не только описали реальную ситуацию, но и выражаем нашу заинтересованность в том, чтобы эта ситуация сохранилась. Разве не было бы крайне жаль, если бы исчезли проблемы, которые мы здесь описали? Ведь это означало бы, что исчезнет один из элементов двуязычия, что какие-то языки будут начисто и целиком забыты. У этих языков есть две возможности. Первая—превратиться в достояние академической науки, подобно египетскому или ассирийскому. Вторая, более естественная, состоит просто в том, чтобы на них продолжали говорить. Будет весьма прискорбно, если социальный и культурный престиж, техническая эффективность вторых языков столкнет во мрак забвения исторические языки целого континента, вставшего на путь экономического развития. Не кажется ли вам, что уменьшение числа разговорных языков в мире может привести к обеднению всего человечества?

Однако не следует закрывать глаза и на неизбежные издержки эволюции. С изменением образа жизни, с развитием образования все формы устной традиции, как в поэтическом ее выражении, так и в практическом (то, что ученые называют этнонаукой, то есть, проще говоря, народная наука), могут навсегда исчезнуть. Вот почему перед интеллигентом развивающейся страны стоит двойная ответственность: не только вести за собой свой народ к овладению широким миром культуры, используя для этого второй язык, но и оберегать, фиксировать, воспроизводить, отливая в законченные формы, традиционное устное наследие.

Вот несколько тем для размышлений и дискуссий. Малый многоязычный мир, который мы, африканские писатели, представляем собой, дает идеальную возможность для подобного обсуждения. Ведь Вавилонская башня — не только храм великой путаницы, она может стать генератором интеллектуальной энергии, где слияние разных источников ведет к духовному становлению единого и миролюбивого человечества.

г. Абиджан

---

* Известный французский ученый, автор книг по теории перевода.

Вот уже много лет писатели Африки на страницах журналов, на конгрессах и конференциях вновь и вновь возвращаются к обсуждению своего сложного положения: они вынуждены писать не на родных языках, а на европейских. Большинство писателей ощущают свое положение как трагическое. И не только потому, что это лишает их своей национальной аудитории, но и потому, что, по словам генерального секретаря Африканского общества культуры Альюна Диопа, «традиции и каноны европейских языков не всегда правильно доносят до читателя ритм, строй чувств, ход мысли и миропонимание африканского автора». Положение действительно сложное, но все ли африканские писатели воспринимают его как безысходное?

Мы предлагаем вниманию читателя статью Бернара Дадье, посвященную проблеме двуязычия: крупнейший писатель Берега Слоновой Кости, не снимая вопроса о трудностях, порожденных вынужденным двуязычием, пытается подойти к этой проблеме с другой стороны — увидеть не только сложности, но и преимущества положения писателя, в одинаковой степени владеющего двумя языками, родным и европейским.

На ту же тему Бернар Дадье выступал на XXXV конгрессе ПЕН-клуба, который состоялся летом прошлого года в Абиджане. Темы, предложенные для обсуждения, были сформулированы хозяевами конгресса — деятелями культуры Берега Слоновой Кости: «Легенды и мифы как источник вдохновения в области литературы и искусства», «Традиционные ценности в обществах, вступивших на путь преобразования», «Люди между двумя языками». Все эти проблемы представляют большой научно-теоретический интерес, но для Африки и развивающихся стран на других континентах, где перестройка всей общественной и культурной жизни происходит в условиях, когда сталкиваются «век нынешний и век минувший», они приобретают непосредственно практическое значение. Так, например, с вопросом о национальном или государственном языке связаны все проблемы культурного строительства: образования, национальной культуры, литературного творчества и т. д.

В большинстве стран Тропической Африки процесс формирования наций еще далек от завершения. К началу империалистической эпохи народы Африки еще не перешли к капиталистическому способу производства, больше того — многие народы не успели к тому времени пройти и феодальную стадию развития: они находились в процессе перехода от первобытнообщинного, доклассового общества к классовому, феодальному обществу. Следовательно, в доимпериалистическую эпоху в Африке не могли сложиться нации. А в эпоху империалистическую народы Африки на долгое время оказались в условиях колониального порабощения, и это явилось сильнейшим препятствием на пути формирования наций. Главное здесь в том, что при разделе континента никак не учитывались границы расселения народов: многие народы оказались в пределах различных колониальных владений. Кроме того, колониальные власти поддерживали племенную раздробленность и соперничество между отдельными племенами, что мешало консолидации племен в народности даже там, где в границах одной колонии оказались родственные племена.

Медленное становление народностей и наций в Африке естественно мешало и развитию национальных языков. До начала колонизации во многих районах Тропической Африки уже шел процесс выделения межплеменных языков, то есть языков общения больших этнических массивов, которые могли затем превратиться в нации. Так было в бассейне Конго, где язык ки-конго широко распространился среди племен, входящих в состав государства Конго. В Восточной Африке уже в средние века язык суахили играл роль языка-посредника на огромной территории. В Западной Африке так же давно выделился язык хауса.

Установление колониального режима в большинстве стран континента прервало нормальное развитие этого процесса. Официальным языком колоний стал язык метрополии: это был язык делопроизводства, прессы, радио, школьного обучения. Он стал языком общения людей, принадлежащих к разным племенам и говорящих на разных языках. Африканец, желающий найти себе место в жизни за пределами родного племени, должен был прежде всего знать этот официальный язык. Таким образом, в какой-то степени, во всяком случае в городах, отпала объективная необходимость превращения одного из местных языков в язык всего населения колонии.

Так получилось, что страны Тропической Африки подошли к независимости с несложившимися национальными языками. Сейчас, в связи с созданием национальной государственности, перед правительствами новых стран встала проблема национального языка. Самая большая сложность этой проблемы состоит в том, что границы достались им в наследство от колониального административного деления. И в пределах каждого государства живут разные народы, говорящие на разных языках. Наиболее пеструю картину представляет собой лингвистическая карта стран Западной Африки. Степень сходства и различия этих языков в разных странах не одинакова: в одних — это языки, относящиеся к разным лингвистическим семьям, в других — языки одной семьи или даже диалекты одного языка. В соответствии с этим по-разному решается и задача создания национального языка: в одних странах может сложиться и будет принят один национальный язык, в других — два или несколько. В результате, одни государства превратятся в однонациональные, другие — в многонациональные. Так будет, но будет, по-видимому, еще не скоро. А пока что государ-

ственным языком почти всех новых государств Тропической Африки является один из европейских языков. Исключение составляет лишь Танзания.

Уже задолго до независимости деятели культуры Африки пытались решить вопрос о национальных языках Африки. Строились прогнозы, принимались решения, даже создавались лингвистические комиссии по выработке национальных языков будущей, независимой, федеративной Африки. Тогда многие склонялись к мысли, что Африка решительно должна отказаться от европейских языков в пользу языков местных. Были и другие, которые считали, что коль скоро местные языки неразвиты, а многие из них не имеют даже письменности, они не могут быть инструментом модернизации африканского общества и что к современному уровню цивилизации Африка может прийти, лишь полностью обратившись к языкам европейским. Это были, конечно, крайние позиции. Жизнь показала, что решение вопроса о европейских языках в современной Африке не может быть ни простым, ни быстрым. Оно потребует от правительств и деятелей культуры осторожности и терпения. Ни в какой мере нельзя отрицать, что такие языки, как французский и английский, служат сейчас мощным средством приобщения Африки к культурному опыту человечества, к новейшим научно-техническим достижениям. Однако признание важности европейских языков для современной Африки не может отменить тот несомненный факт, что наиболее благоприятные условия развития национальной культуры — это условия «внутри» национального языка.

Статья Бернара Дадье интересна, на наш взгляд, прежде всего тем, что, используя последние исследования лингвопсихологии, он призывает к трезвому и всестороннему обсуждению тех возможностей, которые заложены для писателя во владении двумя языками. Дадье не предлагает никаких конкретных решений. Его статья — лишь постановка проблемы, но уже в том, как он ее ставит — залог оптимистического разрешения того внутреннего конфликта, раздвоения сознания, о которых так много говорят африканские писатели. Он призывает писателей извлечь выгоду из исторически сложившейся ситуации, показывает, что двуязычие не обедняет, а напротив — обогащает художника, делая более объемным его взгляд на мир, давая ему возможность черпать изобразительные средства из разных источников, и в конечном итоге помогает сближению всех народов мира. Необходимым для этого условием он считает совершенное двуязычие, то есть одинаково полное владение как родным, так и европейским языком.

Дело в том, что попытки как-то приспособить европейские языки к выражению национального мировосприятия делались многими писателями. Но эти опыты часто вызывают возражения, потому что они, как правило, носят поверхностный характер. Очевидно, использование пиджин-инглиш некоторыми нигерийскими писателями или попытка построить английскую фразу по правилам грамматики Йоруба есть по видимости наиболее легкий, но на деле не наиболее верный путь для передачи национального своеобразия. Здесь потребуется, конечно, большая творческая работа, основанная на глубоком понимании «души» обоих языков. И в этом требовании к писателям Бернар Дадье не одинок. Еще в 1964 году нигерийский писатель Чинуа Ачебе говорил: «Африканский писатель, пишущий на английском языке, сталкивается с серьезными трудностями. Он часто описывает ситуации или обычаи, которые не имеют эквивалента в английском образе жизни. Положение затруднительное, выйти из него можно двояким способом. Либо остаться в рамках традиционного английского языка, либо расширять эти рамки и попытаться приспособить язык к своей идее или сюжету. В первом случае получается произведение, по сути весьма посредственное и поверхностное, которое тем не менее имеет право на существование. Второй метод несет в себе нечто новое и ценное как для развития английского языка, так и для самого писательского творчества. Но он иногда трудно осуществим. И может привести к узаконению плохого английского языка, который будут отстаивать на том основании, что это африканский или нигерийский вариант английского. Тот, кто стремится расширить границы английского языка, чтобы приспособить его к африканскому образу мышления, должен, по-моему, обладать блестящим знанием языка... Нам необходимо сначала изучить правила английского языка, а потом уж ломать их, если мы этого хотим».

В статье Бернара Дадье поставлена еще одна немаловажная проблема: необходимость сохранить все лингвистическое разнообразие Африки, не дать ускоренному движению к прогрессу сбросить в бездну забвения ни один из самых малых языков. Ибо каждый язык есть часть накопленного поколениями опыта, и в своем поступательном движении человечество должно сберечь каждую крупицу этого опыта.

Бернар Дадье принадлежит к тем писателям, для которых цель творчества — в скорейшем сближении и взаимопонимании людей всех рас и континентов. Будущее человечества представляется ему единым. Но как истиный художник он понимает, что это должно быть единство в многообразии: только подлинно национальные ценности способны войти в сокровищницу мировой культуры.

Г. ПОТЕХИНА

ЗНАКОМЬТЕСЬ: «РЕЗОН ПРЕЗАНТ»

«Резон презант» *, по замыслу группы деятелей культуры, основавших этот ежеквартальный журнал год тому назад, должен быть органом «воинствующего рационализма». Его организаторы поставили перед собой задачу активного вмешательства в идейную борьбу, «которая идет здесь и сегодня», борьбу со всеми формами фидеизма, мифологии и фетишизма, порождаемыми современным буржуазным обществом, со всеми прямыми и замаскированными попытками церкви, приспособляющейся к уровню науки XX века, овладеть умом человека, «чувствующего себя игрушкой неподвластных ему сил, находящемуся в положении столь угрожаемом, что зачастую он утрачивает мужество трезво смотреть на мир».

В программной статье первого номера «Резон презант» четко сформулирована опасность вторжения иррационализма в современную науку, обусловленная тем, что

> «когда наука входит как составной элемент в производительные силы, она становится частью структуры данной общественной формации. Поскольку с ее помощью оказывается возможным воздействовать на человеческое поведение, ею завладевает аппарат, который контролирует и направляет общество».

Борьба с иррационализмом во всех его разновидностях зиждется прежде всего на

> «осуществлении критики, неподвластной никаким табу, не ограниченной никакими заранее поставленными рамками».

Поэтому журнал ставит перед собой цель

> «не только привлечь специалистов с целью информации широкой публики о достижениях в соответствующих областях науки, но и потребовать от них формулировки *полемического* значения данной отрасли науки по отношению к той или иной идеологии, к той или иной социальной форме».

«Резон презант» видит в этом развитие традиций великих французских рационалистов, продолжателем которых он себя считает.

Противопоставляя подлинный рационализм позитивистской теории «непрерывного поступательного движения разума, которое посредством постоянного развития науки и распространения просвещения порождает непрерывный прогресс человека и общества», отказываясь от метафизической концепции неизменной природы человека как «существа универсального и разумного по самой своей сути», журнал опирается на марксистскую идею общественного развития, в ходе которого «люди творят самих себя». Внимание журнала сосредоточено поэтому на конкретной проблематике, будь то кризисные моменты в развитии естественных наук, с учетом которых необходимо выработать «новые формы рационалистической мысли», будь то поиски новых путей в науках гуманитарных, где журнал решительно отстаивает позиции историзма.

«Освещая разумом историю, журнал должен попытаться отдать себе отчет в том, как возникают определенные типы рационального сознания — техническо-

---

* «Raison présente ». Revue trimestrielle editée par les « Editions Rationalistes », Paris.

го, экономического, юридического, этического, политического, теоретического, как они создаются человеческими сообществами на той или иной стадии общественного развития. Отдать себе отчет также и в том, почему развитие человеческого разума прерывисто, как возникает регрессивное движение, волны иррационализма, который, если рассматривать его в этой перспективе, не может быть сведен к простому проявлению невежества или ошибкам и нуждается в научном объяснении, выходящем за рамки голословного осуждения, как правило, неэффективного».

Четыре номера журнала, вышедшие с момента его основания, позволяют сказать, что задачи, поставленные в этой программной декларации, выполняются редакционным коллективом последовательно и успешно.

Прежде всего следует подчеркнуть подлинный демократизм «Резон презант». Статьи, опубликованные в журнале, сколь бы ни была сложна их проблематика — критика неосхоластики, понимание причинности в современной физике, полемика с фрейдистским истолкованием античной трагедии, структурализм, специфика восприятия искусства,— написаны просто, ясно, понятно для читателя, профессионально далекого от данной области. При этом они совершенно лишены той коммерческой вульгаризации, упрощенности, которая отличает «массовую культуру», псевдонаучно-популярное чтиво, рассчитанное на бездумное проглатывание в поезде или приемной зубного врача. «Резон презант» требует от читателя напряженной работы разума, умственных усилий, он рождает то драгоценное состояние жизнедеятельности интеллекта, когда разговор о вещах, весьма далеких от повседневных занятий и забот читающего, возвращает его к сложностям и проблемам, лично его — как специалиста, гражданина и частного человека — касающимся, к проблемам, задуматься над которыми ему, возможно, и не довелось бы, а нужно.

Тематика журнала разнообразна, как и формы преподнесения материала. Это публикация дискуссий: «Психология и философия», «Отчуждение, миф и реальность», «Аборт, жизнь, смерть»; это библиографические заметки; это проблемные статьи, касающиеся, как правило, самых острых, самых дискуссионных тем, по которым журнал считает необходимым выступить со своей точкой зрения. Следует подчеркнуть две методологические особенности, присущие всем статьям и выявляющие, при всем индивидуальном своеобразии авторского почерка, единую линию, лицо журнала: будучи чрезвычайно *конкретными,* пристально внимательными к факту, теории или книге, которой они касаются, авторы их не остаются на уровне объективистского анализа, они всегда выходят в своей полемике к общеидеологической постановке вопроса, они стремятся показать, какое место занимает исследуемое явление в идейной борьбе сегодняшнего дня, как оно отражается на действительности. И второе: во всех статьях последовательно отстаивается *историзм,* необходимость исторического подхода к изучению культуры, этики или социальной структуры.

Показательно в этом смысле отношение «Резон презант» к структурализму. Отдавая должное научным достижениям структуралистов, подчеркивая то новое, что вносят они в постижение человека и общества, обогащая науку о человеке, авторы статей о таких видных его представителях, как Леви-Стросс, Альтюссер или Фуко, подводят читателя к выводу, что структурализм не только наука, но и идеология, связанная с определенным характером социальных отношений. Причем эта «идеологическая» сторона структурализма проступает наиболее явно как раз там, где научная ценность открытий сомнительна, там, где структуралистские построения умозрительны, оторваны от эмпирических наблюдений, зачастую произвольны. Резко критична, к примеру, статья Оливье Рево д'Алонна «Мишель Фуко: слова против вещей» (№ 2), посвященная анализу модной книги Фуко «Слова и Вещи». Рево д'Алонн концентрирует внимание на антиисторизме Фуко, на его отказе рассматривать культуру эпохи во всей ее полноте, а следовательно, не только под углом зрения аналогичности структур различных областей знания, позволяющей говорить о структуре мироощущения эпохи, но и в плане противоречивости развития в каждую данную эпоху различных отраслей науки, неравномерности их эволюции.

«Мишель Фуко систематически отдает предпочтение связности,— пишет Рево д'Алонн,— чтобы элиминировать противоречия; он произвольно ставит на первый план структуру в ущерб трансформациям; он описывает застывшие моменты, ни слова не говоря о переходах; он предлагает нам, как заметил Сартр, моментальные фотографии, там, где нам интересно проследить движение; он претендует на роль историографа, но отметает историчность. Короче, преднамеренно обособляя себя от диалектической мысли, он отбрасывает историю и вместе с ней, естественно, рационализм».

Статья Эдмунда Лича «Клод Леви-Стросс, антрополог и философ» (№ 3), перепечатываемая «Резон презант» из «Нью лефт ревью», написана в академически спокойном тоне. В ней последовательно изложены истоки идей Леви-Стросса, формирование его взглядов, основные идеи ученого, являющегося одним из наиболее ярких и плодотворно работающих представителей французского и мирового структурализма, подчеркнута оригинальность его построений, грандиозность его замысла создать модель

«не более не менее, как модель структуры человеческого сознания, понимаемую как некая логическая конструкция, как некий ансамбль математических уравнений». Лич видит во взглядах Леви-Стросса развитие идей антропологов XIX и начала XX века. Он показывает связь их с современной лингвистикой, их важность для познания «человека в обществе».

Но ни в какой мере не преуменьшая важности проблем, над которыми работает Леви-Стросс, в частности проблемы «аккумулирования информации и ее передачи» в человеческом обществе, и значимости предлагаемых им решений, автор статьи ставит под сомнение право Леви-Стросса называть себя марксистом.

> «Его позиция представляется отчасти идеалистической, поскольку он считает, что объект познания находится с действительностью в весьма ослабленной связи. К тому же, коль скоро он полагает, что наши действия определяются тем, что мы знаем, или, вернее, тем, что мы думаем, кажется логичным заключить, что природа реальности, скрывающейся за словесными категориями, в конечном итоге, не имеет решающего значения».

В статье «Читая Альтюссера» Эмиль Ботижелли дает критический обзор работ этого исследователя «За Маркса» и «Читать «Капитал», опубликованных в 1965 году и вызывающих обширную полемику. Позитивную роль трудов Альтюссера Ботижелли видит в том, что о творчестве Маркса уже давно не размышляли с такой остротой проникновения, не подходили к его прочтению столь новаторски. Он подчеркивает, что влияние этих работ весьма значительно: ближайшее окружение было захвачено аргументацией Альтюссера, что позволило ему привлечь молодых исследователей к коллективной работе, труды их были опубликованы, так что результаты налицо, метод отшлифован, можно почти сказать, что создалась «определенная школа».

Однако при том, что «вклад Альтюссера капитально значителен» и «отражает прогресс знания, ибо использует в философском плане... достижения современной науки», он, по мнению Ботижелли, является «в большей мере счастливой инициативой, чем завершенным достижением». Опираясь на тексты Маркса, Ботижелли критикует произвольность периодизации творчества Маркса в работах Альтюссера, натяжки, обусловленные «концептуализмом» Альтюссера, его тенденцией «полностью отделить произведение от автора и от того, как сам автор понимал свое произведение». Ботижелли спорит с утверждением Альтюссера, что Маркс ничем не обязан диалектике Гегеля, расходящимся с утверждениями самого Маркса.

Корень ошибок Альтюссера Ботижелли видит в отрыве теории от практики.

> «Он намеревался... придать бóльшую строгость марксистской мысли, подвести под марксизм как науку точнее установленные критерии научности, которые создали бы предпосылку для более точного предвидения и избавили бы нас от эмпирических решений... Альтюссер явно стремится отойти от некоторых концепций, имеющих хождение среди марксистов, очистить философскую мысль от посягательств политической или социальной практики, очистить ее от эклектизма; но читая его, ощущаешь опасение, что эта предосторожность превращается в систему, которая изолирует науку об обществе от ее объекта».

Касаясь некоторых положений Альтюссера, породивших спекулятивные разговоры об «антигуманизме» Маркса, Ботижелли разъясняет:

> «Для Альтюссера философская революция, совершенная Марксом, заключается, действительно, в его разрыве с антропологией Фейербаха. То есть в отказе от представления о человеке как о конечной цели мира и истории, идеале, который должен быть реализован. Поскольку Маркс видит движущую силу эволюции в борьбе классов, во главе угла для него, по Альтюссеру, не человек, а экономическая и социальная структура, играющая детерминирующую роль, по отношению к которой человек в его реальности является продуктом и опорой...»

Отсюда возникает некоторая опасность недооценки человека как действенного фактора истории. Альтюссер протестует против

> «сведения производственных отношений к отношениям человеческим. Он берет это основное понятие марксизма и стремится рассматривать его в самой его природе, не отсылая к человеку... Однако трудно себе представить, каким же образом могут функционировать эти производственные отношения... если отвлечься от человека, являющегося все же их носителем.... Если устранить человека из этих отношений, то действующее лицо производства окажется низведенным до роли орудия производства... Каким образом может свершиться социальная революция (результат действенности, заключенной в самих структурах), если человек не осознает конфликта производительных сил и производственных отношений, существующих в обществе, и не разрешит этот конфликт? Ситуация становится революционной, в конечном итоге, только потому, что существуют люди, которые хотят свершить революцию и осуществляют ее».

Ту же методологию пристального, объективного изучения предмета и аргументированной научной критики мы находим в статьях «Резон презант», посвященных литературе и искусству. Общеизвестно, сколь влиятельно сейчас на Западе психоаналитическое литературоведение, опирающееся на Фрейда. «Резон презант» не мечет громы и молнии против фрейдизма. Журнал остается на почве конкретных исследований. Он обращается к одному из основополагающих понятий теории Фрейда — эдипову комплексу — и показывает на примере анализа античной трагедии несостоятельность фрейдистского подхода.

> «Предмет трагедии,— пишет известный французский исследователь античности Жан-Пьер Вернан в статье «Эдип без комплекса» (№ 4),— не психический комплекс, взятый как некая внеисторическая человеческая реальность, а общественная мысль, присущая обществу V века, с ее напряжениями, противоречиями, возникающими, когда появление правовых понятий и политических институтов ставит под сомнение в плане религиозном и нравственном древние традиционные ценности».

Вернан показывает, к каким натяжкам и неточностям в истолковании античной мифологии и произведений великих трагиков древности вынуждены прибегать фрейдисты, чтобы свести все к вечному эдипову комплексу, и противопоставляет психоаналитическому методу метод «исторической психологии»:

> «Фрейд исходит из некоего интимного переживания — переживания зрителя,— исторически необусловленного; смысл, приписываемый этому переживанию, проецируется на произведение, независимо от его социо-культурного контекста. Историческая психология... исходит из произведения, как оно нам дано, из свойственной ему формы; она исследует его во всех направлениях... Если речь идет о трагедии «Царь Эдип», в частности, то текст должен быть подвергнут лингвистическому, тематическому, драматическому анализу, и на каждом уровне исследование должно подводить к постановке более широкой проблемы: проблемы исторического, социального, духовного контекста, который только и сообщает тексту весомую значимость».

Статья Вернана доказательно утверждает, что толкование фрейдистов не только не помогает понять античную трагедию — время ее возникновения, причины исчезновения жанра, социальную роль в античном обществе,— но, сводя все к вечной категории подсознания, обедняет и извращает понимание даже той конкретной трагедии Софокла «Царь Эдип», которой Фрейд воспользовался, чтобы дать имя одному из важнейших понятий своей теории.

Можно отметить историчность подхода журнала к ставшей весьма модной в последние годы и все еще недостаточно исследованной фигуре маркиза де Сада. Тогда как «Тель кель», выпуская специальный номер, посвященный «божественному маркизу», акцентирует его «выламывание» из общей линии культурного развития, тогда как Филипп Соллерс видит ядро творчества Сада в «отрицании какой бы то ни было причинности, в том, что, отрицая Бога от имени Природы, он в конечном счете приносит и Природу на заклание непрерывному потоку слов...»*, Жан Депрен в статье «Сад и просветительство» (№ 3) ставит перед собой задачу понять, какое место занимает этот писатель в культурной сфере своего времени, показать его связь и его отталкивание от философии просвещения. Депрен подводит нас к выводу, что

> «Сад, благодаря сложному взаимодействию своего психического склада и социального положения, то есть благодаря, с одной стороны, личным комплексам, перенесенным травмам, и, с другой стороны, благодаря своему положению феодального сеньора и наследника феодальных традиций, осознал то, что было искусственного и, можно сказать, блаженненького в концепции всеобщей гармонии интересов, позволявшей теоретикам просветительства полагать, что эгоизм может вылиться в альтруизм».

Экстремизм Сада предстает, таким образом, не как случайное и изолированное явление, не подлежащее историческому осмыслению, а как выражение скрытых противоречий общественной мысли его эпохи.

Тема обусловленности психологии творчества историческим контекстом развивается также в статье Клода Руа о «Гернике» Пикассо (№ 3), в размышлениях Элен Пармелен об употреблении глагольных времен в современном романе, в частности в ее собственных книгах (№ 1).

В статье Жана Кассу «Что означает знать искусство?» дается отпор примитивному представлению о познавательной роли искусства. Чудо искусства, его специфика, невозможность «понимать» искусство как некую чисто логическую данность для Жана Кассу не свидетельство некой непознаваемой сущности художественного творчества. С позиций рационализма искусство может быть понято как особая форма человеческой деятельности.

---

* «Тель кель» № 28, 1967 г. Филипп Соллерс «Сад в тексте».

«Хотя одни и те же глагольные и грамматические формы, одни и те же слова употребляются в художественной литературе и в текстах иного назначения, понимание художественной литературы — акт, совершенно отличный от понимания обычной речи. Так что термин «понимать» приобретает двусмысленность: его требуется заменить другими понятиями, означающими нечто иное, другой вид интеллектуального восприятия или даже другой порядок восприятия, который связан уже не столько с интеллектом, сколько с миром чувств».

Оперируя, главным образом, примерами из области живописи, Кассу показывает недостаточность и неадекватность понятия «понимание» в восприятии искусства, поскольку оно «ограничивает понимание живописи установлением сходства» с действительностью, знакомой зрителю. Кассу говорит о развитии пластических искусств, об историчности понятия стиля, о том, что произведение искусства это «определенная структура, некое подобие организма», которое должно быть воспринято как единое целое. Особенность этой структуры в ее неповторимости, непредвиденности. В каждой картине есть

«содержание, идея, сообщение особого порядка, сообщение оптического характера, именно оптического, идущего от глаза (художника) к глазу (зрителя), и проблема состоит именно в том, чтоб понять, способен ли наш глаз уловить это сообщение...»

Он показывает, что исторично не только искусство, но и его восприятие. Что уменье «слышать» воспитывается в человеке: недоступное в конце XIX века искусство импрессионистов нашими современниками воспринимается естественно, без внутреннего сопротивления.

«Картина является, таким образом,— пишет Кассу,— конденсатом, концентратом, резервуаром, аккумулятором, потенциалом духовной энергии; она излучает духовную энергию сквозь времена, самым неожиданным, самым непредвидимым образом; в этом ее потрясающая сила».

Поэтому, как считает Кассу, термин «понимание искусства» следует заменить термином «потребление искусства», но потребление особое — «подразумевающее соучастие» в творчестве, подразумевающее рождение эмоционального содружества с художником.

Журнал «Резон презант» воспитывает в своем читателе стремление не только быть в курсе новейших открытий и теорий, но и относиться ко всему для него новому — в науке, в искусстве, в литературе — сознательно, ничего не осуждая и не принимая вслепую, поверяя все строгим мерилом разума.

Л. ЗОНИНА

КОЛЬ РЫЛЬЦЕ В ПУШКУ...

В одном из недавно полученных в Москве номеров мексиканского журнала «Сьемпре» опубликовано письмо читателя Тирсо Берумена, проживающего в столичном федеральном округе. Откликаясь на напечатанное несколько ранее в этом же журнале интервью главного редактора издающегося в Париже литературного ежемесячника «Мундо нуэво» Эмира Родригеса Монегаля с испанским драматургом Максом Аубом, автор письма пишет:

«Скандальные делишки, в которых замешаны писатели Эмир Родригес Монегаль и Макс Ауб. печальны и скандальны не только для них, как интеллектуалов. Все происшедшее дает представление о том, в каких условиях — в этом грязном мире наших дней — находятся и какому нажиму подвергаются люди, которым положено выражать современную мысль. Писатель Родригес Монегаль, состоящий на службе у крупной монополии, какой является компания Форда, пытается оправдаться, выдавая последнюю за нечто, не имеющее отношения к империализму, и твердит о полной свободе, которую она якобы предоставляет ему. Макс Ауб, с одной стороны, совершенно справедливо ставит под сомнение независимость своего собеседника, который изо всех сил старается доказать, что он-де «свободен» духовно. А с другой стороны, сам вынужден признаться в том, что получает субсидии от другой североамериканской фирмы — Гуггенгейма...»

Но прежде немножко истории. Не так уж давно уругвайский критик и литературовед Эмир Родригес Монегаль покинул родные пляжи Монтевидео, чтобы на берегах Сены спасать обанкротившийся «Конгресс в защиту культуры» и его журнальчик «Куадернос», прекративший свое существование из-за отсутствия подписчиков. Сообщая об отбытии Родригеса Монегаля в Париж, уругвайский еженедельник «Марча», осве-

домленность которого у нас нет оснований подвергать сомнению, весьма недвусмысленно дал понять, что почтенный критик и литературовед отнюдь не бескорыстно взял на себя столь непочтенную миссию. В целях «реанимации» мертворожденного отпрыска «холодной войны» и антикоммунизма были приняты срочные меры. Вместо дискредитированного «Конгресса в защиту культуры» в Париже стал действовать «Латиноамериканский институт международных отношений», вместо дискредитированного журнальчика «Куадернос» там стали выпускать ежемесячник «Мундо нуэво», вместо дискредитированного главного редактора «Куадернос» колумбийского писателя Хермана Арсиниэгаса, широко известного своим антикоммунизмом и проамериканизмом, новым главным редактором нового издания «Конгресса...», простите, «Латиноамериканского института международных отношений» был назначен Эмир Родригес Монегаль, политические взгляды которого, по мнению шефов, не столь широко известны, как политические взгляды Арсиниэгаса. Кто эти шефы, не скрывает ни Эмир Родригес Монегаль, ни Макс Ауб, высказывания которых воспроизведены на страницах журнала «Сьемпре».

В ходе беседы Макс Ауб сказал:

«Что характерно для нашего времени? По моему мнению — и в случае чего вы меня поправите,— для нашего времени характерна путаница. И первый ее образец — деятельность Эмира Родригеса Монегаля, который в Париже руководит журналом, издаваемым для Латинской Америки и фактически оплачиваемым Соединенными Штатами...»

Родригес Монегаль прерывает Ауба:

«...Фондом Форда, а это не одно и то же...»

Макс Ауб продолжает:

«Согласен, Фондом Форда, однако Форд как раз и является наивысшим воплощением Соединенных Штатов. С другой стороны, вы говорите с человеком, который в последние дни начал пользоваться стипендией Гуггенгейма...»

Родригес Монегаль опять прерывает его:

«То есть также Соединенных Штатов».

Макс Ауб подтверждает:

«Также Соединенных Штатов. Таким образом, уже с самого начала мы, как видите, никого не хотим обманывать...»

Когда Макс Ауб далее заявляет, что журнал «Мундо нуэво»

«...зависит экономически от Соединенных Штатов...»,

Эмир Родригес Монегаль делает оговорку:

«Только экономически зависит от Соединенных Штатов...»

В ответ следует реплика Макса Ауба:

«Только экономически, но как раз это-то и важно...»

Однако Родригес Монегаль высказывает величественное презрение ко всем тем, кто делает единственно логический вывод из факта этой зависимости, который уже невозможно отрицать:

«Что касается лично меня, то я скажу вам, что когда основал (оставим это утверждение на совести Родригеса Монегаля! — *Д. В.*) «Мундо нуэво» в 1966 году, я отлично представлял себе, что мне сразу же предъявят обвинение в том, что журнал финансируется из американских фондов и, следовательно, будет находиться «на службе у североамериканского империализма». Я знал, что такого рода аргумент пустят в ход еще до того, как журнал выйдет в свет,— и не ошибся; я знал, что им будут злоупотреблять и после того, как журнал появится,— и также не ошибся; я знал, что будут продолжать им злоупотреблять и в том случае, если будет невозможно доказать, что в журнале есть что-либо, благоприятствующее «империализму»...»

Уверяя всех в своей невинности и стараясь сохранить хорошую мину при явно плохой игре, Эмир Родригес Монегаль даже посчитал нужным слово «империализм» поставить в кавычки. Что вы, какой там еще «империализм», это только так, метафора! И тут поистине трогательную поддержку ему оказывает его собеседник Макс Ауб:

«Разрешите мне объяснить, что я думаю о североамериканском империализме. Мы не будем оспаривать сам термин. Но скорее, чем «империализм», я употребил бы слово «гегемония», поскольку это классическое определение, принятое историками. По-видимому, мы живем в такую эпоху, когда существует североамериканская гегемония, ведь Соединенные Штаты в настоящее время — самая сильная страна в мире... Североамериканская гегемония отличается от всех предыдущих... Прежде всего она не имеет вождя, который жаждал бы мирового

господства; это гегемония, которая не желает быть гегемоничной в том смысле, как мы понимаем это определение. Это значит, что Соединенные Штаты, которые могли бы быть и являются хозяевами по меньшей мере половины мира, тем не менее не прибегают к ставшим традиционными средствам для того, чтобы заставить почувствовать свое господство, как это делают другие».

Итак, ни Хиросима, ни Вьетнам, ни Куба, ни Санто-Доминго не почувствовали на себе американскую «гегемонию», а в таких новаторских методах ее утверждения, как блокада, интервенция, геноцид, нет ничего предосудительного. Спасительным открытием Ауба, естественно, спешит воспользоваться Родригес Монегаль:

«Ваше суждение о Соединенных Штатах представляется мне ценным в чисто политическом плане, оно содержит весьма важный момент: в том, что мы называем, чтобы не употреблять слово «империализм», североамериканской гегемонией, нет ничего монолитного, а это не всегда понимают латиноамериканские интеллектуалы. Полное отсутствие централизации и, более того, соперничество между отдельными органами власти и даже неофициальными учреждениями создают возможность абсолютной независимости тех деятелей, которые работают под североамериканским патронатом. ...Отсюда и вытекает, что Соединенные Штаты или их фонды могут покровительствовать разного рода международным организациям, которые в то же время остаются совершенно автономными в том, что касается их ориентации (как это и происходит с «Мундо нуэво»)...»

В подтверждение своего ничем не стесняемого свободомыслия Родригес Монегаль даже журит госдепартамент за наиболее одиозные акции «негегемоничной гегемонии» и изливает благородное негодование на «печально известное учреждение», как он именует ЦРУ. Ничего не поделаешь: и капитал приобрести, и невинность соблюсти — задача нелегкая, и без некоторых издержек тут не обойтись. Но при мысли, что этак он рискует не потрафить боссам, Родригес Монегаль спохватывается и снова впадает в дифирамбически-патетический тон:

«Я не верю, что ныне американцы хотят обманывать кого-либо; наоборот, мы сталкиваемся, и это также нас глубоко трогает, с их чрезвычайно большой и даже потрясающей искренностью».

Еще бы! Это ли не искренность — разглагольствовать о воле к миру и бомбить Ханой, выражать свою озабоченность ближневосточным конфликтом и поставлять вооружение Израилю?

Но автора приведенного выше письма в редакцию мексиканского журнала почему-то не душат слезы умиления. По всей видимости, Родригесу Монегалю не удалось убедить читателей ни в своей собственной «чрезвычайно большой и даже потрясающей искренности», ни в бескорыстии американских «филантропов»: черного кобеля не отмоешь добела.

Д ВЛАДИМИРОВ

КРИТИКА КРИТИКИ

«У одного только народа критика предшествовала литературе — у германцев» Пушкин мог судить подобным образом — он был свидетелем блестящего взлета критической мысли, истового филологического рвения представителей романтической школы, выступивших к тому же вслед за Винкельманом, Лессингом, Гердером. Немецкие критики той поры были властительными мэтрами в литературе, составляли истинный ее авангард.

Литература нашего века, напротив, полна сетований ведущих мастеров на отсутствие значительной критики. А между тем потребность в ней растет: наше время — эпоха бурного накопления знаний и грандиозных научных открытий — дало уже ряд сложнейших произведений, одновременно и философских и художественных, авторы которых идут в ногу с самыми дерзновенными интеллектуальными поисками века. Отсутствие посредника может затруднить или вовсе поставить под сомнение нравственное воздействие на широкого читателя многих книг современных авторов. И тогда появляется опасность, что духовные ценности, заключенные в этих книгах, так и останутся достоянием немногих,— опасность элитарности литературы. Все это заставляет литераторов с особой серьезностью подходить к вопросу о роли и месте критики в современном литературном процессе. Вопрос этот не раз уже ставился на повестку дня в зарубежной печати. Не раз уже в бурных дискуссиях выяснялись отношения внутри треугольника писатель — критик — читатель.

Такая дискуссия состоялась недавно на страницах венского журнала «Нейес форум». Поводом для нее явилась статья Хеймито Додерера «Достоинство критики».

Критик в наши дни важнее писателя — такова суть парадоксального тезиса, который выдвинул Додерер. Взяв эпиграфом слова австрийского литературоведа Гюнтера

Буша: «В литературе ничто так быстро не ведет к хаосу, как игнорирование толкователей», Додерер пишет:

«Критике должно принадлежать ведущее место в литературе: настоящие проблемы именно здесь. В искусстве же проблемы чисто технические. Художник работает с опущенными глазами, глядя на свой материал, на свои руки».

Писатель, думает Додерер, неизбежно индивидуалистичен и субъективен, тогда как критик — зеркало его объективной значимости и ценности. Додерер стоит за последовательное разделение труда: писатель изображает жизнь, критик выносит приговор — ей самой и ее изображению. Писатель делает свое дело по возможности беспристрастно,

«лишь иногда, в немногих местах, подставляя читателю перила собственного суждения, чтобы уберечь его от падения, от ошибок и заблуждений»; критик, напротив, сама активность, его задача — «снабжать наконечником стрелу, которая уже находится в полете. Только благодаря этому действию живущий действительно овладевает жизнью и извлекает уроки из того, чем он уже владеет»

Додерер, как видим, стремится удержать писателя от всякой тенденции, обнаруживающей себя в произведении, от вмешательства в жизнь. Уязвимость его объективистской эстетики особенно очевидна в наш век, когда, по словам австрийского писателя Германа Броха, «само невмешательство в политику — уже политика».

Но в чем же, по Додереру, секрет активности критики? Может быть, в гражданском пафосе, в том, что он, критик,— выразитель социального заказа? Ничуть не бывало. Задачу критики он видит не в раскрытии идейного пафоса произведения и его общественной значимости, а в создании словесных опусов, полных интеллектуального блеска, красивой игры ума. «Эссе — это новелла чистого интеллекта» — этой цитатой из Гютерсло венчает он свой критико-критический опыт, расписываясь в эстетизме и объективизме.

Сомнительность положений, выдвинутых Додерером, и в то же время актуальность проблем, в этих положениях затронутых, не остались незамеченными. Вскоре после опубликования этой статьи редакция журнала получила четыре отклика на нее. Однако опубликованы они были лишь год спустя — из-за кончины писателя полемика вынуждена была уступить место почтительности, свойственной некрологу. Когда истек траурный год, были напечатаны возражения, которые прислали профессор из Кембриджа Дж. Питер Стерн, венские критики Михаэль Шаранг и Пауль Крунторад, венгерский критик Бела Абоди.

Впрочем, в случае Стерна слово «возражения» вряд ли уместно. В кембриджском германисте Додерер нашел единомышленника.

«Пора, наконец, понять, что литература не занимается изготовлением лекарств и протезов»,— сердится Стерн на инакомыслящих. Он против того, чтобы «из театра устраивали причащение, из стихотворения — агитацию». Он не скрывает, что ищет в литературе отдохновения и развлечения. Додерер рядился в красивые одежды орфических гимнов, Стерн их с него сдернул.

Трудно судить, насколько обрадовало бы Додерера выступление Стерна. Бывает такая солидарность, которая похожа на разоблачение. Однако совершенно очевидно, что три других выступления особой радости ему бы не доставили. Внешне наиболее остро концепция Додерера критикуется в статье Михаэля Шаранга, в которой многое зашифровано по испытанному в западном литературоведении способу: строить лабиринты и небоскребы из эзотерических терминов и абстрактных рассуждений. Краткий смысл его выступления сводится к следующему: Шаранг мало верит в возможности критики, если она не философична. Он взывает к традициям немецкой культуры, давшей «философское сознание, которое в понятиях достигало той же глубины, что искусство в образах». Примером эффективности такого рода сознания для него служат работы Адорно. Пример чрезвычайно показательный, ибо как раз Адорно выступает как апологет элитарности современного искусства. Шаранг нападает на Додерера за его строгое деление литераторов на художников и критиков. Но тот синтез, за который он ратует, синтез философии и критики а-ля Адорно, окончательно лишает критика возможности быть советчиком и наставником читателя.

Это прекрасно понял другой венский критик, Пауль Крунторад.

«Художнику не закрыты пути к анализу при изображении действительности, как не закрыты критику пути к изображению в его аналитических штудиях...— пишет он.— Произведение искусства может использовать традиционную форму или создавать новую. Задача критика — содействовать пониманию действительного и всестороннего значения всякого произведения искусства».

По мысли Крунторада, замыкать искусство в сугубо эстетической сфере значит наносить ущерб общению людей, их стремлениям к взаимопониманию и совершенствованию.

Точку зрения, близкую к изложенной, занял в своей статье и будапештский критик Бела Абоди. Он ценит в литературе, а также и в критике, выявляющей смысл и значимость художественного произведения, прежде всего их связь с жизнью. Он решительно выступает против критиков, рассматривающих художественное явление как «вещь в себе» и сопоставляющих ее лишь с некими эстетическими канонами.

В противоположность Шарангу Абоди скептически относится к жизненности «духовного союза» писателя и критика, изолированных от широких кругов читателя.

«Я верю в другое — в союз критика и читателя. Этот союз как нельзя более характерен для нашей эпохи»

Писатель пишет не для критика, а для читателя, напоминает Абоди. Критик должен способствовать интеллектуальному и духовному росту читающей публики. Абоди возражает против распространенного представления о широком читателе, которое, по его мнению, давно уже не отвечает действительности: читатель вовсе не подгоняет литературу под свой маленький рост, но, впитывая ее, растет и крепнет.

Критик должен судить о литературе с демократических позиций, тогда его лепта в общем росте и распространении духовных ценностей будет велика. И ему надлежит

«выбирать такой ракурс, чтобы иметь возможность анализировать не только произведение, но и воздействие его на читателей».

В треугольнике писатель — книга — читатель нужно внимательнее, чем это часто бывает, относиться к грани книга — читатель. Только точное знание сложной механики воздействия книги на читателя позволит критику содействовать раскрытию эстетической и этической сущности литературы.

В статье Абоди получают серьезную поддержку разумные мысли Крунторада относительно коммуникативно-познавательного значения литературы. Мысли тем более обнадеживающие, что высказывает их новый главный редактор журнала «Нейе форум», от которого ждут, что он будет содействовать оздоровлению литературной атмосферы в этой стране. Хочется верить, что этим ожиданиям суждено сбыться. Тем более что журнал «Нейе форум», возникший два года назад на базе старого «Форума», предстал перед многочисленными подписчиками в 60 странах мира в значительно измененном виде. Смена редакционно-издательского состава благотворно сказалась на его курсе. Журнал значительно полевел, стал трибуной подлинного «диалога» (таков с 1968 года его подзаголовок) видных деятелей науки и культуры Запада и Востока.

Ю. АРХИПОВ

НАШИ ГОСТИ

ЖОРЖИ АМАДУ, ЕГО ГЕРОИ, ЕГО ДРУЗЬЯ

Прошло уже много времени — почти десять лет — с того дня, как мы виделись с Жоржи Амаду. А кажется, что совсем-совсем недавно он был у нас в редакции и рассказывал о своей работе над романом о простой и обаятельной девушке-мулатке, которую зовут Габриэлой.

Мне живо вспоминается, с каким искренним удивлением, хотя и не без лукавства, Жоржи говорил тогда:

— Я, право, собирался написать страниц сто или сто пятьдесят, не больше. И вдруг совершенно неожиданно для самого себя обнаружил, что написано уже более пятисот... Габриэла заставила меня работать против моей воли. Что делать! Мне очень хотелось написать солнечную книгу. Книгу, которую читали бы все, которая заинтересовала бы всех и которая не только развлекала бы читателя, но и заставила бы его задуматься над многими явлениями нашей бразильской жизни...

Да, с тех пор прошло почти десятилетие. За это время «Габриэла» появилась и на русском языке, и на многих других языках — ее, конечно, полюбили всюду, где познакомились с ней. Мы успели посмеяться над злоключениями отважнейшего капитана дальнего плавания Васко Москозо де Араган и диву давались, читая о необычайных похождениях Кинкаса Сгинь Вода из тех же «Старых моряков». Вместе с героями «Пастырей ночи» мы спускались на «дно» бразильской жизни, и перед нами раскрывались сердца людей, очутившихся за бортом буржуазного общества, но не потерявших, по словам писателя, «свое человеческое величие». А на редакционном столе уже лежит новый роман Жоржи Амаду «Дона Флор и ее два мужа», не так давно изданный на родине автора.

И вот, повстречавшись и подружившись со многими героями новых произведений бразильского романиста, мы наконец снова встретились с ним. Понятно, прожитые годы не могли не наложить на него отпечаток — как говорится в бразильской народной песенке, «прощались с ним черноволосым, а встретились уже с седым»,— но он остался тем же темпераментным, динамичным, интересующимся всем и немедля реагирующим на все, упоенно любящим жизнь. Правда, я чуть было не упустил из виду, что на этот раз мы встречались с его превосходительством академиком Жоржи Амаду — так принято в Бразилии обращаться к члену Национальной академии и Академии бразильской литературы, каковым он является ныне. Однако академические титулы на этот раз оказались излишними. Перед нами был тот же Жоржи Амаду, которого мы знаем и ценим как талантливого писателя, обладающего чудесным даром многое в жизни увидеть и поразительно ярко показать, как нашего большого и хорошего друга.

И если годы назад мы говорили о героине одноименного романа — Габриэле, то теперь разговор завязался о героине другого однюименного романа — доне Флор.

— Я надеюсь,— сказал Жоржи Амаду,— что и этот мой роман заинтересует советских читателей. На его страницах я описываю народную жизнь в Баие — там, где, кстати, сейчас живу и где, между прочим, родился. История доны Флор позволила мне воссоздать картину быта и нравов моих земляков, рассказать о крупных социальных и о самых простых человеческих проблемах, затрагивающих каждого. Народ действует в этом романе как сила, которая может выдержать удары судьбы; лишь народ способен оказать сопротивление и изменять ход событий. Вместе с тем мне хотелось написать сатирическое произведение, изобличающее нашу мелкую и

среднюю буржуазию. Хотелось показать столкновение разных сил. И, видимо, мне удалось коснуться каких-то злободневных, жгучих вопросов нашей внутренней жизни, потому что бразильские читатели не остались равнодушными к моей книге, очень горячо откликнулись на выход романа в свет, даже назвали его подлинно бразильским романом.

— Чем можно объяснить такой успех романа «Дона Флор и ее два мужа» в Бразилии?

— Я тоже задумывался над этим,— говорит Жоржи,— и мне представляется, что наши читатели уже устали от произведений, в которых нет никаких горизонтов, нет перспектив, зато царят безнадежность, отчаяние, тоска. Ведь и нашу нынешнюю жизнь в Бразилии не назовешь улыбающейся. И вот со страниц романа в нашу бразильскую повседневность шумно вторгается дона Флор — жизнерадостная, весьма острая на язычок, очень естественная; как сущая баиянка, она искренна, непосредственна, ее оптимизм — это не что-то надуманное. Откровенно признаться, дона Флор, как и в свое время Габриэла, задала мне много работы. При всей своей внешней несерьезности, простоватости, подчас наивности, она — очень сложный человек. И мне пришлось долго работать над ее образом, как, впрочем, и над образами других героев романа. Все они — живые люди, с которыми я встречался на улицах Салвадора да Баиа... Только не подумайте, пожалуйста, что я писал портреты каких-то определенных лиц, скажем, портрет сеньоры имярек, либо сеньора такого-то...

Тут рассказ Амаду придется прервать, чтобы сообщить нашим читателям об особом авторском предупреждении, предваряющем бразильское издание романа «Дона Флор и ее два мужа»: «Одно и то же — постоянно и монотонно — повторяется после публикации каждого нового романа автора этой истории доны Флор и ее двух мужей: всякий раз находится некий комедиант (некая комедиантка), готовый залезть в шкуру того или иного персонажа и затеять громкий скандал на колонках газет, сопровождающийся саморекламой, взрывами шутих и угрозами в адрес романиста — избить, отдать под суд, убить. Желая заранее предупредить такого рода деяния, автор извещает всех, что никто из живущих здесь, в этом произведении, не списан с натуры... Автор хотел лишь зафиксировать некоторые аспекты жизни в Баие, и в компании с читателями посмеяться над некоторыми домогательствами и некоторыми нравами мелкой буржуазии... Таким образом, любое сходство между действительностью в жизни и действительностью в романе — одна порождается другой и воссоздает другую — это следствие опыта и поиска».

— В моем романе,— продолжал Жоржи Амаду,— речь идет о самых простых, обычных, естественных вещах — о любви и труде, о хлебе и мечтах. В жизни каждый сталкивается ежедневно с теми проблемами, о которых говорится в романе, но не каждый вдумывается в философское значение этих проблем, а ведь мудрое кроется и за покрывалом простоты. Иными словами, мой новый роман представляет собою полную противоположность тем произведениям, в которых выражаются тенденции, ныне господствующие в литературе Запада. Но если многие произведения западной литературы могли бы быть написаны писателем любой национальности, и по такому произведению порой невозможно заключить, писатель какой страны написал его, то моя «Дона Флор» могла появиться только на бразильской земле, и написать ее мог только бразильский писатель.

— Многие критики и литературоведы считают, что ваши произведения последних лет радикально отличаются от всего написанного вами прежде, и утверждают, что в вашем творчестве появились некие новые нотки. А как вы полагаете?

Писатель улыбается и отрицательно покачивает головой.

— Нет, это ошибочное суждение. Возможно, что не все критики внимательно читали мои ранние произведения или, быть может, уже позабыли их. Корни моих последних романов можно обнаружить в моих первых произведениях — в романах «Жубиаба́», «Пот», «Какао», «Мертвое море» и в других, которые были мною написаны десятки лет назад. Возьмем, например, Габриэлу. Полистайте мои ранние книги и вы найдете силуэт Габриэлы, да, да, той самой Габриэлы. Пусть этот силуэт несколько прозрачен, не особенно четок, но черты Габриэлы бесспорны... Разумеется, мой путь в литературе всегда был связан с конкретными условиями и обстоятельствами, в которых я, как и любой другой человек, находился. Но как писатель, неразрывно связанный со своим народом, я всегда иду по тому же пути, по которому идет мой народ. И каким бы ни был пройденный путь, я искренне считаю, что весь мой писательский труд сохраняет нерушимое единство, начиная с «Какао», написанного более тридцати лет назад, и кончая «Доной Флор»... И неизменно мое отношение к героям моих книг — простым людям, труженикам Бразилии. Они — мои лучшие друзья, с ними я живу, каждый день их вижу, с ними подолгу и задушевно беседую, их понимаю...

Амаду задумывается и спустя минуту добавляет:

— Я должен сказать, что ни в одном из моих произведений народ никогда не предстает пораженным, сломленным, разгромленным, сколь трагичными ни были бы обстоятельства, в которых находилась моя страна. Мои книги нельзя отделить от моего народа. Именно в этом основа единства всего моего творчества.

— А каково положение бразильской литературы сегодня?

— После государственного переворота 1964 года,— говорит писатель,— наши ли-

тераторы показали и показывают образцы активного и мужественного сопротивления, выступают в защиту демократии и прогресса, в защиту гражданских прав. Да и нынешняя литература, можно сказать, стала более боевой, воинствующей. Один мой хороший знакомый, писатель, ранее уклонялся от какого-либо участия в политической жизни страны и в своих произведениях обычно старался не задевать политических проблем. После переворота мы видим его как одного из выдающихся борцов за интересы народа. Периодические выступления в печати — эффективное оружие этого писателя, и своими выступлениями, проникнутыми демократическим духом, он завоевал себе популярность в народе. Публицистическая деятельность писателя, в свою очередь, оказала положительное влияние на его творчество — последний роман моего друга посвящен борьбе народных масс после переворота. Не обходится, с другой стороны, и без своеобразных курьезов. Произведение, не блещущее особыми художественными достоинствами, вдруг приобретает широкую известность, все его ищут и читают. Почему? Потому что цензура или полиция обнаружила в названии этого произведения что-то, показавшееся «подрывным», и конфисковала его. Это становится известным, издатель спешно выпускает новое издание и делает «бизнес», автор книги превращается в «звезду», пока читатели не прочтут его книгу и не сделают своего вывода. Но даже и в подобном курьезном случае есть нечто знаменательное — читатели ищут свободного слова. А полиция сбивается с ног, разыскивая крамолу. В бразильской и иностранной печати, как известно, сообщалось о разных фактах, когда подвергались репрессиям наши видные писатели за свою демократическую, антиимпериалистическую деятельность. Но литература живет и борется.

— А что нового в бразильском театре? Наш журнал знакомил своих читателей с пьесой современного бразильского драматурга Алфредо Диаса Гомеса «Вторжение» и предполагает опубликовать другую его пьесу...

— Наши молодые драматурги и вместе с ними молодые композиторы в последние годы создали по существу новую драматургию, так же характеризующуюся своей боевой целенаправленностью. По всей стране возникло много новых небольших театров, но в их репертуаре не так уж много развлекательных вещей. Театры чаще ставят политически острые пьесы, достигая небывалого контакта с народом. Очень популярны спектакли, воспроизводящие эпизоды нашей национально-освободительной борьбы в прошлом,— например, подвиг прославленного борца за нашу независимость Тирадентиса. Зрители воспринимают и переосмысливают эти спектакли по-новому, с точки зрения бразильца наших дней. Нередко театрализованные выступления приобретают оригинальные формы. Так, огромным успехом пользовалось представление под названием «Свобода, свобода...» Автор этого драматургического произведения остроумно обыграл высказывания о свободе как бразильских классиков, так и писателей разных стран и разных времен. Полиция не может запретить постановку этого спектакля, потому что по ходу его актеры со сцены декламируют фрагменты из... евангелий, из библии!.. Если, с одной стороны, ведется наступление на культуру, то с другой — культура не сдает позиций и даже переходит подчас в контрнаступление...

Жоржи Амаду подробно рассказывает о своих товарищах и друзьях — прозаиках, поэтах, драматургах, композиторах, художниках, кинематографистах, об их труде в нынешних сложных условиях, о том, как они, несмотря ни на что, отстаивают национальную культуру, создают прогрессивные произведения — оружие в борьбе.

— А каковы ваши личные творческие планы, Жоржи?

— Сейчас выходит из печати моя небольшая книжка. Нет, это не роман. Это книжка о моем родном крае — о Баие... Что же касается романов... Пока есть замыслы — четыре или пять. Частенько бывает, что внезапно начинаешь писать о чем-то, не имеющем ничего общего с тем, что было задумано. Новое возникает и в процессе работы. Мы вспоминали здесь Габриэлу, но и «Габриэлу» я задумывал писать как новеллу, да и предназначалась она для сборника десяти новелл десяти разных авторов, а вот в конце концов получился большой роман... Конечно, в течение года надеюсь начать какой-то роман. Тему его еще определенно не знаю. У меня, как, впрочем, и у многих других писателей, работа над произведением складывается из двух этапов. Первый этап — внутреннее созревание романа. Второй этап начинается тогда, когда садишься за машинку. Как-то один бразильский писатель, мой друг — он живет в Рио-де-Жанейро,— полеживал в гамаке в своем садике. Проходит сосед и говорит ему: «Отдыхаете?» «Нет,— ответил мой друг,— работаю». Спустя несколько дней сосед видит моего друга, копающегося в саду, и спрашивает: «Как работается?» И друг запротестовал: «Что вы, я наконец отдыхаю!» Так и я. Сейчас я пока что работаю. Обдумываю, перебираю в памяти то, другое, отбрасываю ненужное. За что примусь — еще не могу определенно сказать... Каковы же все-таки мои замыслы? Видите ли, пока трудно сказать, какое влияние окажут на задуманное события в моей стране. Мне, например, очень хочется написать какую-то вещь, в которой шла бы речь о военщине в Бразилии, о деятельности милитаристских кругов и групп. Сюжет пока не созрел. Есть и другие идеи, почерпнутые в гуще жизни народа. Уже давненько родилась у меня мысль написать роман о шофере грузовика — в экономике нашей страны шоссейные дороги и автомобильный грузовой транспорт играют исключительную роль, потому что железных дорог у нас мало,

страна огромная, авиалиний и самолетов не хватает. Но и этот замысел еще не созрел в должной степени. Я много езжу по провинции, по самым дальним дорогам, но, по-видимому, надо еще поездить. Есть и другие замыслы, но все они находятся примерно в таком же состоянии, в каком находится и вся моя Бразилия — в смутном...

— В западном литературоведении много пишут и говорят о кризисе романа. Каково на этот счет ваше мнение — мнение писателя, творчество которого посвящено главным образом жанру романа?

— Что-то толковали и толкуют о кризисе романа,— замечает Жоржи Амаду,— но разве мы не слыхали других глупостей, которые произносились также с самым серьезным видом? Помню, лет двадцать назад на вид серьезные люди оповестили мир о смерти поэзии. И поэзия уже была похоронена. Но я убежден в том, что, пока на свете существует хоть один мужчина и хоть одна женщина, поэзия будет жить. Теперь же некоторые прорицатели вещают о кончине романа. По моему убеждению, из всех литературных жанров именно роман обладает наибольшей жизнеспособностью, более того, он обладает наибольшими возможностями **воссоздавать** жизнь. Пока будет жизнь на земле — будут писать и читать романы. Толки о кризисе или гибели романа мы слышим от тех, кто представляет обанкротившийся мир, пораженное кризисом общество, социальный строй, обреченный на гибель. У нас, в Бразилии, появилось немало и появляется все больше и больше молодых романистов, а у них много силы, таланта, мужества, высокоразвитого чувства патриотизма, горячего стремления бороться за лучшее будущее нашей страны. Они, эти молодые романисты, наглядно опровергают теории о кризисе романа. Я восхищаюсь ими — они будущее бразильской литературы. О том, насколько значительна нынешняя бразильская литература, можно заключить по следующему факту: несколько месяцев назад вместе с ныне уже покойным Жоаном Гимараэнсом Розой и другими литераторами мы провели конкурс романов. Было представлено 243 романа, многие из них весьма интересные, и нам, предполагавшим учредить три премии, пришлось выдать семь премий авторам произведений...

Возвращаясь к вопросу о творческих планах писателя, мы спросили, что Жоржи Амаду предполагает делать в самое ближайшее время. Писатель ответил:

— Возвратившись из этой поездки на родину, я прежде всего хочу написать книгу о Советском Союзе. Пусть не особенно большую, но в популярной форме — для всего народа.

Я остаюсь верным и искренним другом Советского Союза, вдохновленным не только тем, что Советский Союз представляет собою надежду человечества, но и тем, что он уже дал человечеству. За годы, истекшие после моего первого, в 1948 году, приезда в СССР, я побывал здесь одиннадцать раз, это — уже двенадцатый приезд, правда, после почти десятилетнего перерыва. Я посещал разные районы страны, завел дружбу со многими людьми. По впечатлениям от первых приездов в Советский Союз и другие социалистические страны я написал книгу «Мир, где царит мир». Из-за этой книги в Бразилии возбудили против меня судебный процесс. Едва я вернулся в Бразилию, как узнал, что меня привлекают к судебной ответственности — это было в 1950 или 1951 гг. Я был у судьи. Он заявил, что меня намерены судить за то, что я написал, по оценке тогдашнего правительства, «подрывную» книгу. Познакомившись с книгой и со мной, судья вынес определение, что решение привлечь меня к суду необоснованно, поскольку книгу нельзя отнести к «подрывным» изданиям — она, по его мнению, «сектантская»!.. Теперь я приехал в Советский Союз, вооруженный опытом жизни и борьбы, и мне кажется, что теперь я смогу написать новую книгу, которая будет несомненно полнее, шире и глубже, и даже судьи буржуазные не назовут ее «сектантской». Это будет чествование Страны Советов одним из писателей, искренне и открыто признающим, что Советский Союз — земля его любви. Как я назову эту книгу? Еще не знаю, название рождается обычно после того, как напишешь половину книги. Написать эту книгу мне помогут и многие мои советские друзья, хотя, не могу об этом не сказать, мой нынешний приезд был омрачен тем, что я не застал в живых моих дорогих Александра Фадеева, Всеволода Пудовкина, Илью Эренбурга, которые всегда делились со мной хлебом познания. Правда, все советские люди — мои друзья. Они — мастера дружбы, учителя дружбы. И все, что я напишу в своей новой книге о Советском Союзе, будет написано с горячей любовью. Вот об этом я могу сказать уже сейчас, это я знаю!.. Так же как знаю, что я не одинок в мире...

А разве один Жоржи Амаду был в этот день у нас в редакции? Нет, вместе с ним побывали у нас герои его произведений, его — и наши — друзья.

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

ИЗДАНО В СССР

МУЗА ПЕЧАЛИ И ПРЕЗРЕНИЯ

Строки времени. Молодые писатели ФРГ, Австрии, Швейцарии, Западного Берлина. Составитель И. Фрадкин. Предисловие Л. Гинзбурга. Москва, «Молодая гвардия», 1967. 118 стр.

Споры, переводима ли поэзия, не закончились и вряд ли когда-нибудь закончатся. Бесспорно, однако, что переводят поэзию очень мало, особенно по сравнению с прозой или драматургией.

Наш читатель довольно хорошо знает романистов и новеллистов ФРГ — Борхерта, Бёля, Кёппена, Шаллюка, Зоммера и еще десятерых, по крайней мере. Между тем знакомство с поэзией западных немцев исчерпывается немногочисленными журнальными публикациями.

Книга, изданная «Молодой гвардией», включает стихи молодых поэтов ФРГ, Австрии, Швейцарии, Западного Берлина. Это стихи, слагаемые на немецком языке за границами ГДР.

Понятие «молодость» толковалось издательством расширительно. В книге и Борхерт, умерший 20 лет тому назад, и знаменитые Бахман, Целан, Энценсбергер, и студент Делиус, 23-го года рождения.

Четверо поэтов успели побывать на фронте и в плену. Еще несколько человек выросло в эмиграции. Остальные — помоложе. Они родились в 30-х и 40-х годах. Один из авторов был столяром, другой — продавцом в книжном магазине, третий издает авангардистский журнал. Марион Ротгаупт — актриса, а Фолькер фон Тёрне — социолог по образованию, работал и редактором, и шахтером. Больше всего в книге — детей военного времени, подростков послевоенного. Они хорошо знают, почем фунт лиха. Их интересует не только фашизм погибший, но и фашизм нарождающийся.

Сейчас большинство из них—литераторы-профессионалы. Именно литераторы, а не поэты. «Проза кормит. Поэзия только поит»,— заявил однажды один серьезный исследователь предмета. В нынешней ФРГ, как и по всему Западу, поэзия может прокормить немногих. Невелик интерес к ней, невелики и тиражи. Телевидение, радио, эстрада помогают дозаработать прожиточный минимум.

Книга названа «Строки времени», и отъявленные формалисты в ней не представлены или же представлены наиболее ясными и содержательными вещами. Как это часто бывает в антологиях, пропорции несколько сдвинуты в сторону стихов, близких нашему читателю. Наверно, Вальтер Хёлерер, метр авангардистской поэзии, сорокапятилетний профессор истории литературы, строил свою антологию «Транзит» по иным принципам. Однако сам Хёлерер в книге представлен.

Итак, сто десять страничек этой книги не претендуют на полноту. Преобладающий мотив книги — недовольство действительностью, осуждение, часто доходящее до презрения. К обществу, в котором живут поэты, к государству, правящему этим обществом. Поэты Федеративной Республики, в отличие от многих избирателей, не обольщены и не подкуплены экономическим чудом. В очень многих стихах — насмешка над настоящим, ужас перед прошлым, полная неуверенность в будущем. Не случайно, видимо, что многие вкладчики книги не живут у себя на родине, эмигрировали из нее или же наезжают туда редко.

Пафос отрицания искренен и всеобъемлющ, и можно с уверенностью сказать, что он существен и распространен в поэзии этой страны.

Выпишу полностью стихотворение Петера Ленера, давшее название всей книге:

Как могло получиться,
что после всего
люди шли на работу.
спали, ели
и все забывали!

Впрочем, кроме тех,
кто уже ничего не хотел,
кто пал на фронтах
или был завален
рухнувшим домом.
Где нашлись силы,
чтобы после всего
разгребать руины,
строить новые здания
и выращивать из мельчайшего
гигантские дымовые грибы грядущего!

(Перевод Д. Самойлова)

Вся книга — упорные и честные размышления о том, «как могло получиться».

Реальное соотношение сил в нынешней ФРГ таково, что надо обладать большим теоретическим багажом, чтобы верить в победу добрых начал на этой земле. Современным поэтам ФРГ владение научным методом мышления и сила дальнего предвидения не присущи. Зато поэты, всей своей истончившейся шкурой, чувствуют, как обстоят дела сейчас, сегодня и что можно ожидать завтра. По этой причине книга получилась печальная.

Дед мой шел умирать на запад.
Отец — на восток.
А мне в какую сторону?

(Перевод З. Миркиной)

Эти три строки составляют стихотворение-вопрос бывшего шахтера Фолькера фон Тёрне. Другой поэт, Арно Рейнфранк, кончает стихотворение «Вспомни, Германия» такими строками:

Когда вчерашние узники
концлагерей,
изнемогая от усталости,
заседали до полночи в ратушах,
а вчерашние наци,
прячась в меблирашках,
притворно или искренне
читали библию и сочинения Ганди —
тогда никому не могло прийти в голову,
что старая, ветхая ложь,
возникшая в диком мозгу
убийц и безумцев,
снова сомнет и раздавит
робкую нашу свободу,
как это случилось сегодня,—
вспомни, Германия!..

(Перевод Л. Гинзбурга)

«Строки времени» писались и переводились еще до нынешнего зловещего взлета неонацизма. Это книга не столько наблюдений, сколько предчувствий, и можно удивляться зоркости Энценсбергера или рабочего Веспера, который пишет в стихотворении «Выводы, к которым приходишь с большим трудом»:

1. Противники крыс многочисленны,
2. Что убедительно явствует из разговоров и писем.
3. Крысы селятся по откосам.
4. Они изучили своих врагов, а также привычки последних.
5. Им нечего беспокоиться — никто не придет
6. Их убивать.

Разве что в письмах и разговорах.

(Перевод А. Исаевой)

Немудрено, что крысы сердятся, читая такие стихи.

Бывший премьер-министр ФРГ Людвиг Эрхард, в то время, когда он был еще действующим премьер-министром, обрушился на писателей своей страны с площадными ругательствами. Правда, дело касалось прозаиков, а не поэтов. У поэтов слишком небольшие тиражи. Их можно и не замечать.

Поэты ФРГ не связаны, в большинстве своем, с каким-либо массовым освободительным движением. Пессимизм, ирония, печаль крепчают от безвыходности, приобретают некое самодвижение. К тоске можно привыкнуть, более того, она может стать профессией. Впрочем, я не хочу упрекать в этом кого-либо из участников сборника.

Большинство стихотворений написано свободным стихом. Обновление поэтических форм на Западе последнее полустолетие идет по линии отказа от рифмы, размера, строфы, по линии ослабления дисциплины, организованности стиха. Причин этому множество — от некоторых особенностей языка (в частности, романских языков) до некоторых особенностей действительности. Сводить к рабствованию перед модой искания столь серьезных и народных поэтов, как Брехт, Арагон, Элюар, Аполлинер,— неумно. Однако не следует забывать, что в нашей стране литературные революции шли по иному пути. Блок, Маяковский, Хлебников, Есенин, Пастернак, Цветаева, Мандельштам не расшатывали, а укрепляли рифму, не отказывались от размера, а изобретали новые размеры. Их искания похожи на искания Лорки, Рильке, Ади, Броневского и того же Арагона, только позднего Арагона. Пути нашей поэзии и некоторых поэзий Запада разошлись довольно далеко. Что же делать нам, поэтам, переводчикам, с верлибрами, в частности с немецкими верлибрами?

Я думаю, не забывать о том, что ослабление дисциплины стиха, скажем у Брехта, это еще не утрата дисциплины. Стих, получивший вместо многовековой команды «смирно!» команду «вольно!», еще не вышел из строя.

Дело в том, чтобы найти этот строй у немецких поэтов (у тех, у кого он есть) и убедить нашего читателя, что перед ним стихи, а не проза, приподнято-сентиментальная по содержанию и причудливо напечатанная. Брехт, например, заставляет забыть о своем отказе от рифмы, метра, строфы. Он пересыщен содержанием. Иногда же его стихи — выстроенные из афоризмов силлогизмы, и это создает своеобразную организацию. «Что» Брехта ново и значительно, и его нагота не нуждается ни в каких прикрытиях.

У индивидуальностей менее значительных, чем Брехт, нагота верлибра часто сбивается на прозу или публицистику.

В книге хорошие переводы. И маститые переводчики — Мориц, Самойлов, Корнилов, Винокуров, Гинзбург и не столь маститые, среди которых выделяются Богатырев, Куприянов, Громан, переводили с подлинника, уважительно, тщательно, любовно. Жаль, что в книге нет портретов. Лицо может сказать читателю не менее, чем два-три небольших перевода.

БОРИС СЛУЦКИЙ

В ПЕРЕВОДЕ С МАРАТХСКОГО

Заморская курица. Новеллы писателей Махараштры. Перевод с языка маратхи. Составила Н. Г. Краснодембская. Москва, «Наука», 1967. 120 стр.

Вопрос «А сколько же в Индии языков?» можно задавать, почти никогда не рискуя получить правильный ответ. Есть исследователи, которые насчитывают в Индии больше двух сотен языков, в конституции страны указаны четырнадцать основных. На каждом из них существует литература, обладающая древними традициями. В Индии не затихают споры о том, есть ли вообще нечто, называемое индийской литературой, или это название — терминологический огрех.

Известный писатель Хушвант Сингх заявил: «Понятия «индийская литература» не существует. Есть конгломерат литератур полуострова Индостан».

Ему резонно возражает критик Локенатх Бхаттачария: «Можно ли всерьез говорить об индийской литературе? Ответ на этот вопрос надо искать не в броском разнообразии языков, обычаев, одежды, психического строя и физических черт индийцев, а в проходящем подо всем этим подводном течении единства, неразличимого невооруженным глазом, но тем не менее имеющего место».

Маратхская литература существует уже восемь веков и, являясь бесспорно индийской по всему своему мировосприятию и мироощущению, тем не менее отражает специфику исторической судьбы и детали быта маратхов — народа, живущего в Западной Индии и примерно равного по численности населению Франции.

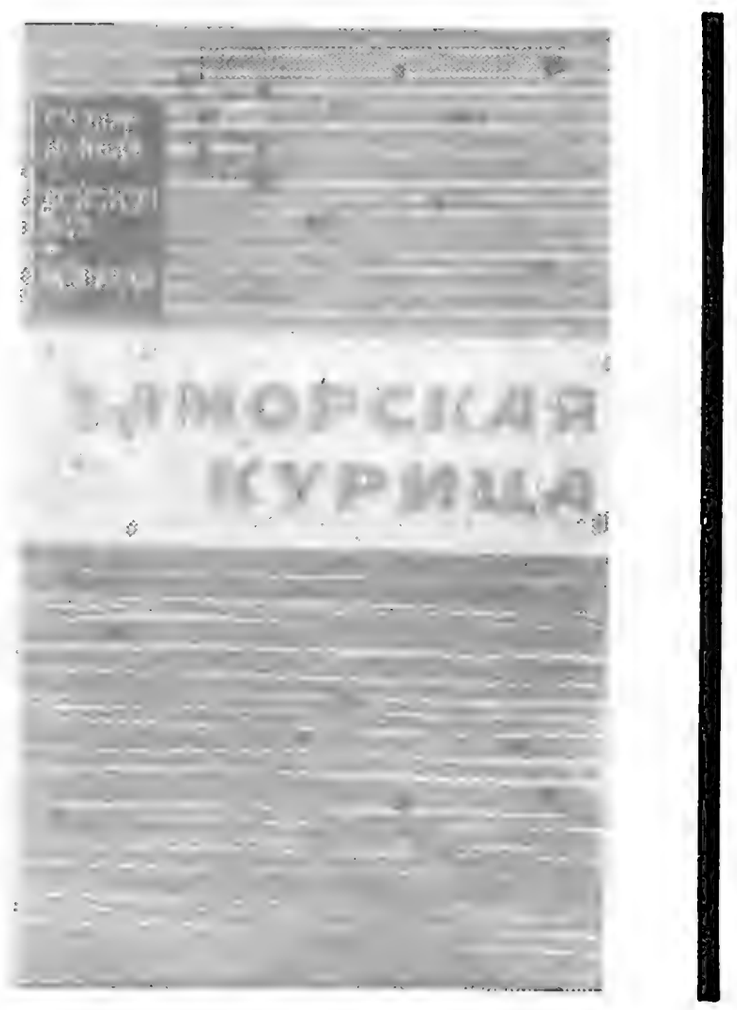
Сборник «Заморская курица», опубликованный недавно группой ленинградских востоковедов,— один из первых, знакомящих нас с современной маратхской литературой. В этом заключается ценность сборника.

Естественно, что лучшие рассказы сборника — это зарисовки деревенской жизни: в деревне по-прежнему живет чуть не девяносто процентов населения Индии и большинство писателей — либо выходцы из деревни, либо сохраняют тесную связь с деревней. «Земля-кормилица» и «Заморская курица» Вьянктеша Мадгулкара, «Буйволица Габы телится» Гопала Нилкантха Дандекара — правдивые наброски, портреты людей, вселенная которых на протяжении тысячелетий была ограничена деревенской околицей. Они почти слились с землей, дающей им не только пищу, но и составляющей единственный смысл их жизни, и перемены за пределами деревенского круга для них окрашиваются этой замкнутостью. Когда правительство присылает в деревню породистых кур для улучшения породы, жена старосты без колебаний режет их на угощение заезжему ревизору: и куры и ревизор — это нечто чужеродное, со стороны, поэтому, естественно, одно предназначено другому («Заморская курица»).

О той огромной работе, которая предстоит еще Индии, чтобы изжить кастовую систему, чтобы вывести неграмотного пока крестьянина из его природного мирка в мир широкий и просторный,— обо всем этом свидетельствует рассказ «Наследство» очень одаренного молодого новеллиста Ранджита Десаи. Написанный спокойно, чуть ли не бесстрастно, без малейшего педалирования эмоций, рассказ показывает читателю всю жизнь — и смерть, мало отличающуюся от жизни,— деревенского кожевника Гондьи. По представлениям индусов, все, в чем нет живой души, любая мертвая оболочка оскверняет человека, поэтому кожевенники-чамары — одна из низших каст. Самое страшное — не беспросветность жизни Гондьи, а его уверенность в том, что иначе и быть не может. Самое непоправимое — не привычное презрение высших каст к чамарам, а уничижительное отношение чамаров к себе самим. Однажды Гондье повезло — отелилась буйволица, и впервые в его доме появилось молоко. Но теленок околел — «хворь пристала», и Гондья говорит: «С буйволицей много хлопот, кто ж еще стал бы за теленком смотреть?»

И умирает Гондья неприметно — его сын становится на его место. Чтобы жить как отец? А зачем жил Гондья? А миллионы таких, как он,— зачем?

Остро ставит этот вопрос рассказ известного прозаика Аннабхау Сатхе «Бунтарь», герой которого не желает мириться с установленным порядком жизни. Татья, наслед-



ственная земля которого отошла за долги помещику, замахивается на обидчика топором. Одиночка, доведенный до отчаяния, он объявляет войну всем. Татья поджигает дом помещика, а из тюрьмы выходит почти калекой. Сатхе кончает рассказ маратхской пословицей: «Если угли долго не гаснут, они могут воспламениться вновь».

Политическая независимость вызвала к жизни в Индии неисчислимое множество новых проблем, тесно переплетенных между собой, неотложных и насыщенных динамитом до такой степени, что они становились историей, едва переставая быть действительностью. Крестьянский вопрос в аграрной по преимуществу Индии — один из самых важных и наиболее трудноразрешимых. Он не решен и сегодня. Можно много спорить о разрешении этого и других вопросов, но ясно одно — выход в том, чтобы направлять стихийные действия в русло подлинно революционных устремлений.

Несколько слов о качестве перевода. Наши переводы с восточных языков еще очень юны, а переводы с маратхского не простились еще с детством. Тем большая ответственность выпадает на долю редакторов, которые должны помочь сделать восточную книгу фактом русского языка.

Восточная литература воспринимается нами вообще трудней, чем западная, ибо столетиями мы были ориентированы на Запад. Наш читатель может прочитать апдайковского «Кентавра», не каждую минуту заглядывая в мифологический словарь; восточная книга такой же мифологической насыщенности неизбежно потребует увесистого комментария. Нам часто непонятны образы, построенные на непривычных, незнакомых реалиях быта.

Не раз уже писали о пристрастии переводчиков восточных литератур к словам чужого языка. Не исключение и сборник «Заморская курица» — в переводе оставлено так много индийских слов, что они затрудняют чтение. Я думаю, можно спорить, следовало ли перевести слово «гандхарва» — в индийской мифологии это певица, услаждающая своим искусством слух богов,— или переводчики поступили правильно, написав его русскими буквами. Но вот пример бесспорный: слово «маму» по-русски значит просто «дядя». Почему же было не перевести его в рассказе «Одна ана»? Совершенно недопустимы фразы-уродцы, вроде «А стукать лбом перед ослами не собираюсь» (стр. 112). Загадочная фраза: «У них нет баланса на мой счет?» (стр. 70) не заключает в себе кодированного послания. По-русски она должна звучать так — обретая при этом смысл: «На моем счету не осталось денег?»

Огрехи перевода особенно неприятны, когда на суд нашего читателя выносится первый, по существу, перевод с нового для него языка.

М. САЛГАНИК

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ЖИВОТНЫЕ РАЗУМНЫЕ И УТРАТИВШИЕ РАЗУМ

Robert Merle. Un animal doué de raison. Roman, Paris, Gallimard, 1967.

Писать о серьезном забавно и увлекательно — не новость для французской прозы. И в последнем романе Робера Мерля «Разумное животное» (критика определила его как политико-фантастический) слышны отголоски философских повестей Вольтера, вылущивающих ядро человеческой природы из нескончаемых скорлупок необычайных перипетий, язвительное эхо социальной сатиры Монтескье. Однако наш «точный» век диктует, разумеется, свои законы: фантастика из сказочной превращается в строго научную, ситуации из невероятных — во вполне, скажем, даже слишком вероятные... И вместо простака ирокеза или экзотического персидского вельможи, утративших остраняющую дальность, глядит на человечество осуждающим взглядом «разумное животное» — дельфин.

Герой романа Мерля американский ученый Генри Севилья работает с дельфинами, как работает с ними знаменитый Лилли, доказывающий в своей книге, что дельфинов можно научить говорить. Неизвестно чего добьется Лилли и другие дельфинологи к 1971 году, но Севилье удается к этому времени обучить английскому Ивана (сам дельфин произносит свое имя как Фа) и его супругу Би. На пресс-конференции первые говорящие дельфины ошеломляют присутствующих не только тем, что они понимают вопросы и отвечают на них вполне связно, но и тем, что эти животные мыслят и чувствуют, как человек.

Ситуация фантастическая. Но и почти не фантастическая. В том безостановочном потоке открытий и свершений, в который XX век вовлек человечество, дельфин, обменивающийся с корреспондентами сообщениями о сравнительных достоинствах кинозвезд, кажется почти столь же реальным будущим, что и космонавт, высаживающийся на Марсе. Ощущение естественности, «настоящности» происходящего в романе усиливается достоверностью картины американского общества, которое за несколько лет, отделяющих нас от событий романа, ничуть не изменилось.

Соперничают, подсиживая друг друга,— вспомним недавние события в Греции,—

разведки—«ястребы» и «голуби», на поверку оказывающиеся птицами ничуть не менее хищными. От глаз и ушей (магнитофонов) невозможно укрыться даже в спальне загородного коттеджа. Задают стандартные вопросы корреспонденты. Скучают стареющие дамы, исповедующие долларовый снобизм пуританские добродетели и фрейдизм, приспособленный для умственного уровня недоразвитого подростка. Бескорыстно и самозабвенно работают ученые, и замечательная молодежь готова пожертвовать всем в борьбе против несправедливой войны, которую ведут Соединенные Штаты, завязшие во Вьетнаме. А хищеская речь президента Альбера Монро Смита — бывшего сотрудника Кеннеди, не посмевшего сказать в свое время о том, что ему известно о заговоре, так как это могло бы повредить его политической карьере,— речь, которая транслируется по телевидению 6 января 1973 года, на следующий день после предъявления ультиматума Китаю, звучит набором знакомых фраз из множества деклараций, сделанных президентом Джонсоном: «Народ Америки всегда был народом миролюбивым. Он и сегодня верен этой традиции и не стремится в Азии ни к территориальным захватам, ни к обогащению. Он полон, однако, решимости защитить, с божьей помощью, свободу и демократию повсюду, где им угрожает коммунистическая агрессия».

Подобно всем великим осуществлениям науки, успех опытов Севильи, проходящих по счетным книгам государственного учреждения, субсидирующего его лабораторию, под условным названием «проект Логос», неотделим от политических и нравственных последствий.

Разве не привело расщепление атомного ядра к Хиросиме? Разве пересадка сердца не заставила взглянуть по-новому на проблему целостности личности? Разве тот факт, что сердце «цветного» гонит кровь по сосудам «белого» не вынудит даже людей, зараженных расистскими предрассудками, заново обдумать утверждение о физической несовместимости «разнокожих»?

Открытием Севильи завладевает Пентагон. Говорящих дельфинов отбирают у ученого и используют для военной провокации.

Только Фа и Би — свидетели и невольные участники провокации — способны сорвать военную авантюру «ястребов», осуществляемую «группой Б». Поэтому за ними и за Севильей идет охота. Представитель соперничающей разведки («группа А»), полагающей, что для войны время еще не настало, сначала защищает Севилью, но потом, когда ему кажется, что игра «голубей» проиграна, отступается.

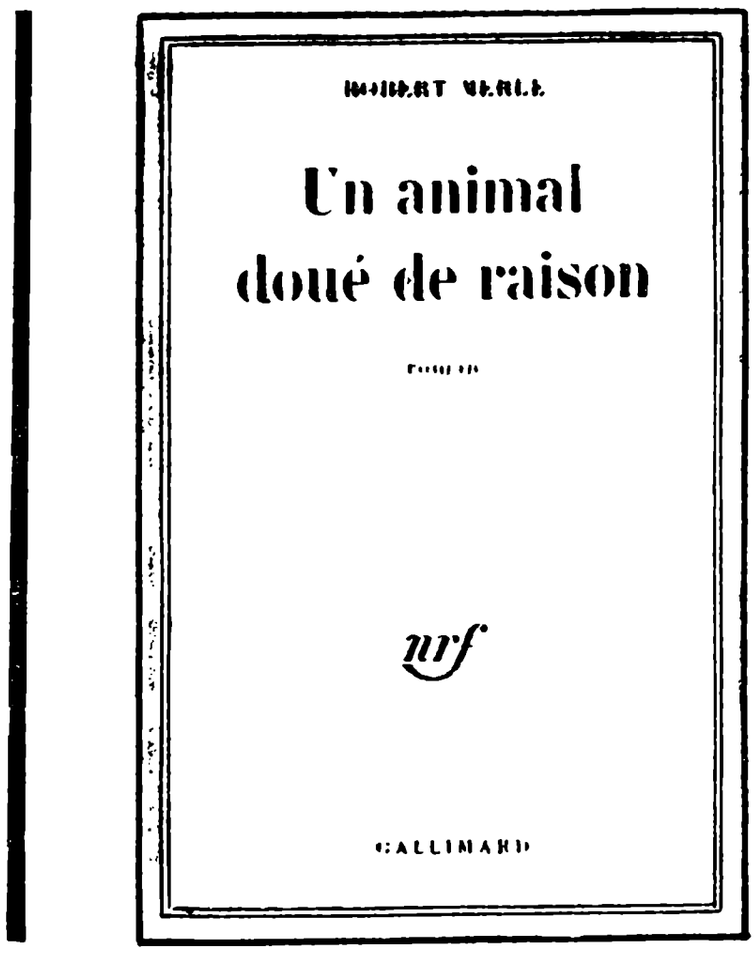
Севилья с помощью дельфинов бежит на Кубу. Если они успеют туда добраться до 13 января 1973 года, когда истекает срок ультиматума, мир будет спасен от гибели, от атомной катастрофы. «Человечность дельфинов» спасает людей. Так думает в финале романа Севилья.

Севилья, как и многие ученые сегодня,— наивный идеалист. Ему кажется, что можно заниматься наукой, чистой наукой, сохраняя лояльность по отношению к государству и предоставляя другим — об этих других он из чувства брезгливости предпочитает не думать — заниматься грязным делом — политикой. И только когда у него самым подлым образом похищают Фа и Би с помощью сотрудника его же лаборатории, оказавшегося агентом одной (а может, и двух разных) из разведок США, только тогда, когда он понимает, что «научил животное говорить, а человечество не извлечет из этого ничего, кроме нового оружия самоуничтожения», только тогда он принимает радикализм Майкла, своего ученика, отсиживающего в Синг-Синге за отказ явиться на призывной участок. Гражданскому возмужанию Севильи способствует и все более оголтелая милитаризация страны и мужественный пример молодого ученого.

В романе Веркора «Люди или животные?» журналист Дуглас Темпльмор ставил общество перед необходимостью определить «что есть человек?». Решение этого вопроса по отношению к тропи для Темпльмора не было отвлеченной научной проблемой, ибо если не считать людьми тропи, стоящих на крайне низком уровне развития, то почему бы расистам не поставить под сомнение принадлежность к человечеству пигмеев, цейлонских ведов или тасманцев, чья черепная коробка развита меньше, чем у ископаемого кроманьонского человека. И почему бы не использовать «низшие расы» как рабочий скот. Полемически заостряя проблему, утверждая, что «как родовое существо какой-нибудь каннибал равен Толстому», Веркор приковывал внимание к опасности принять высоту технической цивилизации за обоснование права развитых народов господствовать над отсталыми.

Вопрос о критерии человечности ставится и в романе Мерля. «Проблема дельфина» состоит в этическом родстве с «проблемой тропи». Не случайно именно расисты в романе с яростью восстают против обучения дельфинов: «Мы проявили безумное легкомыслие,— заявляет один из них перед ревущей от восторга толпой в штате Алабама,— научив читать наших негров. Хватит нам неприятностей с ними, нечего обучать на свою голову еще и дельфинов. Пусть дельфины остаются, где положено, в море, а мы будем, где нам положено, так лучше для всех... Что касается меня, то как всякий истинный американец я люблю животных вообще и моего пса Роки в особенности, но я считаю, что роль Роки состоит в том, чтоб следовать за мной по пятам, когда я прогуливаюсь, и лежать у моих ног, когда я сижу, а вовсе не в том, чтоб дискутировать со мной о преимуществах так называемой интеграции... Увидите, эти дельфины скоро потребуют от нас гражданских прав».

Севилья с самого начала рассматривает дельфинов, с которыми разговаривает, как себе подобных. Ему отвратительно, что ими пользуются как орудием. Однако до подлинной «человечности» Фа и Би поднимаются после «грехопадения»: став невольными



убийцами, они подвергают нравственной переоценке человечество, решая для себя, в чем добро и в чем зло. Именно нравственное самосознание и делает дельфинов в глазах Севильи (и читателя) «человечнее» мистера Адамса — одного из агентов разведки США,— душа которого «взята в скобки», а совесть «вручена начальству», так что все для него решается «где-то, наверху»: извращенность, «запрограммированность»» Адамса исключает личный выбор — если прикажут, он пожмет руку, если прикажут — пустит автоматную очередь.

Мера человечности в разуме, проверяемом нравственным чувством. Высшее качество человека — служение человечеству, сознательное, личное, проникнутое уважением к себе подобным. «Разумные животные» продолжают и развивают таким образом дорогую Роберу Мерлю идею о необходимости противоборства социальному строю, проникнутому духом расового и социального неравенства и превращающему существо, одаренное разумом и совестью, в бездушный придаток чудовищной машины, сеющей смерть.

Л. З.

ВЛАДИСЛАВ ВАНЧУРА, КАКИМ ОН БЫЛ

Ludmila Vančurová. Dvacet šest krásných let. Praha, Československý spisovatel, 1967.

Мы так мало, так обидно мало о нем знаем. Старое издание романа «Пекарь Ян Маргоуль» 1928 года (в весьма несовершенном переводе), однотомник 1964 года (куда вошли: новый перевод «Пекаря Яна Маргоуля», повесть «Причуды лета», несколько рассказов и фрагмент из «Картин из истории чешского народа») да детская сказочка «Кубула и Куба Кубикула» (1965) — вот и все, что у нас издавалось.

А между тем Ванчура оставил глубокий след в современной культуре Чехословакии: в литературе, театре, кино, теории искусства и литературной критике.

Самобытный художник, он шел путем крутым и трудным. Он мечтал об искусстве больших мыслей, острых драматических конфликтов, глубокого философского осмысления действительности — о монументальной эпике, которая универсально отразила бы современную эпоху.

И он создавал такое искусство, искал новые изобразительные средства, неистово экспериментировал со словом, стремясь придать ему предельную смысловую наполненность и эмоциональное напряжение.

Читать его трудно: мешает сложность языковых конструкций и метафорическая перенасыщенность. Но нельзя не почувствовать яркой индивидуальности писателя, своеобразия его творческого почерка. И кто знает: не будь этого яростного экспериментирования в произведениях двадцатых годов (сборник «Течение Амазонки», романы «Поля пахоты и войны», «Страшный суд» и др.), может быть, не было бы и ясной, чистой прозы лет тридцатых («Маркета Лазарова», «Конец старых времен», «Три реки»), которая нашла свое завершение в действительно монументальном эпическом полотне «Картины из истории чешского народа».

Художник-новатор, обогативший литературу новым типом исторической прозы, открывший драгоценные возможности, заложенные в образном слове, писатель-коммунист, убежденный, что «только коммунизм может создать новый стиль современности», и боровшийся за осуществление этой цели; человек огромной энергии и организаторского таланта, который в тяжкие годы оккупации возглавил боевое антифашистское объединение чешской интеллигенции и шел на смерть несломленным, не утратившим веры в победу. Таков был Владислав Ванчура.

Фашисты великолепно знали, кого они уничтожили в вечерние часы 1 июня 1942 года.

Знает это и чешский народ, присвоивший ему посмертно звание Народного художника Чехословацкой республики.

Книга воспоминаний жены писателя Людмилы Ванчуровой «Двадцать шесть счастливых лет» многое помогает понять в его богато одаренной и сложной натуре, уловить истоки его юношеского бунтарства, уяснить обстановку, в какой складывалось его самобытное творчество. Но, может быть, самое главное — жене и другу писателя удалось воссоздать удивительную целостность духовного облика Ванчуры, строгую взыскательность к себе как к художнику, комму-

нисту и человеку, его безоглядную бескомпромиссность.

Эти черты сказались особенно отчетливо в годы войны. Многочисленные друзья Ванчуры, которые прекрасно понимали, как и он сам, что́ его может ожидать в оккупированной стране, советовали ему эмигрировать. Писатель отказался: «Здесь тоже кто-то должен работать». В первые годы протектората, когда немецкие власти еще пытались заигрывать с чешской интеллигенцией, его, как и некоторых других писателей и журналистов, пригласили совершить путешествие по Германии. Ванчура не ответил на это приглашение, как не ответил и на предложение немецкого «комиссара по кино» взять на себя составление сценария и режиссуру предполагаемого фильма о Бедржихе Сметане. Но зато он с радостью взялся за предложенную ему кооперативным издательством «Дружстевни праце» (в организации которого сам принимал участие) работу — написать беллетризированную историю чешского народа, считая это своим патриотическим долгом.

Отложив все начатые работы — трилогию «Кони и повозка», первая часть которой была уже написана, пьесу «Йозефина» и др.,— Ванчура с головой ушел в историю. И чем тревожнее становилась политическая обстановка, с тем большим напряжением сил продолжал он писать. По свидетельству автора, Ванчура, вопреки своим привычкам, работал теперь и днем и по ночам, лишь бы скорее книга была готова. Ведь она призвана была укрепить национальное самосознание народа, поднять чувство национальной гордости, помочь людям расправить плечи.

В книге Людмилы Ванчуровой наряду со страницами, воспроизводящими духовный облик писателя, большой интерес вызывают и наблюдения и воспоминания о том, как зарождался у Ванчуры замысел той или иной книги, какими иногда сложными и трудно объяснимыми путями возникали у художника мотивы, сюжеты, образы, идеи, обраставшие потом «мясом и кровью» и выкристаллизовавшиеся в большие эпические полотна.

Иногда это была музыка (идея романа «Страшный суд» возникла после прослушивания «Торжественной мессы» Бетховена), иногда — прочитанная книга (решение написать «Маркету Лазрову» сложилось по прочтении романа о рыцарях-разбойниках), собственные наблюдения во время врачебной практики — Ванчура по образованию и первоначальной профессии врач, как и его жена (рассказ «Хирургия» в сборнике «Лук королевы Доротки»), рассказы друзей: Карела Нового — о своем отце (который послужил прообразом Яна Маргоуля), учителя Гаупта — о его пребывании во время первой мировой войны в русском плену (натолкнувшего на сюжет романа «Три реки»).

Привлекают внимание и страницы, где речь идет о друзьях Ванчуры. Их круг необычайно широк: литераторы (Карел Новый, Иван Ольбрахт, Ярослав Сейферт, Бедржих Вацлавек, Витезслав Незвал, Карел Тайге и др.), художники (Адольф Гофмейстер, Зденек Рыкр), коллеги-врачи, старые друзья детства — люди самых различных профессий.

Нередко автору удается всего в нескольких словах набросать очень выпуклый и точный портрет того или другого приятеля своего мужа — Витезслава Незвала, например, или Карела Тайге.

Много внимания уделила Людмила Ванчурова работе писателя в кино. У него это не было просто увлечением — и в этом был весь Ванчура! — а попыткой внести новую струю в буржуазное коммерческое кино Первой республики, добиться создания фильмов большой социальной темы и высокого художественного уровня. Несмотря на сопротивление консервативных и откровенно реакционных тогдашних кинодеятелей Чехословакии, несмотря на неудачи, Ванчура — и в качестве сценариста и режиссера, и как основатель объединения прогрессивных киноработников («Чехословенска фильмова сполечност») — буквально до последнего часа бился за новые пути чехословацкого кино.

Тепло, иногда с мягким юмором рассказывает автор о разных привычках Ванчуры, о его любви к природе, влечении к живописи и о его «четырех главных привязанностях: к отцу, к Влтаве, к книгам и к собакам».

И во всех случаях: идет ли речь о врачебной практике Ванчуры, о его литературном творчестве, организаторской или подпольной партийной работе (о которой жена в значительной степени могла только догадываться) — везде выступает необычайно обаятельный образ человека, целостного и целеустремленного.

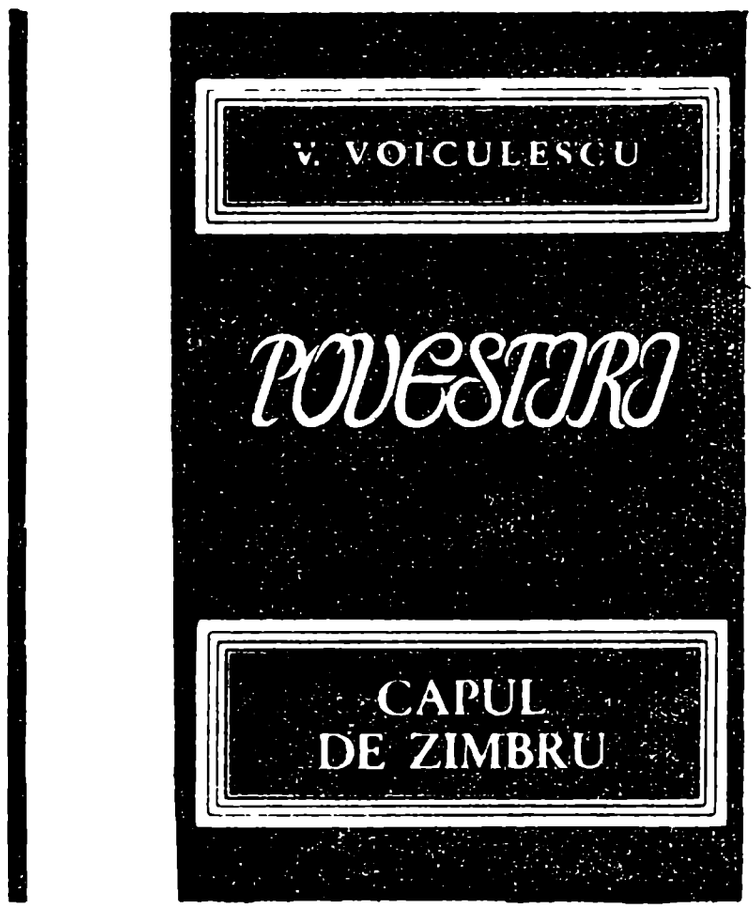
Конечно, хотелось бы подробнее узнать о творческих поисках Ванчуры, о его участии в Сопротивлении, может быть, несколько больше и о его окружении как дружеском, так и враждебном. Но Людмила Ванчурова не хотела ничего «присочинять» к тому, что знала. Строго придерживаясь лишь хорошо известных ей фактов, просто и задушевно рассказала она о любимом человеке—большом писателе, честном и смелом коммунисте-патриоте, каким был и остался в народной памяти Владислав Ванчура.

С. ВОСТОКОВА

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ВАСИЛЕ ВОЙКУЛЕСКУ

V. Voiculescu. Povestiri. Vol I, II. Bucureşti, Editura pentru literatură, 1966.

Пытаясь мысленно объять творческий путь Василе Войкулеску, я вспоминаю его ранние стихи, пластические, звенящие, его лирику более позднего периода, пьесы с фольклорными мотивами, его удивительный дар странного, замысловатого рассказчика, каким он предстает перед читателем в двухтомном сборнике «Рассказы».



Один из крупнейших современных поэтов Румынии, Василе Войкулеску примыкает после первой мировой войны к группе традиционалистов. Верность традициям, всему глубокому и сокровенному в народном творчестве сказалась на ряде его стихотворных сборников того времени.

После второй мировой войны диапазон творчества писателя значительно расширился. Войкулеску пишет пьесы, сюжеты которых навеяны фольклором, и два тома рассказов. Основные его герои — люди из народа. С ними мы встречаемся и в романе Войкулеску «Закей-слепец». Писатель проводит мысль о том, что все жизнеспособное, все лучшее в искусстве и литературе — народно по духу.

Опубликованные посмертно «Последние воображаемые сонеты Шекспира в воображаемом переводе...» (1964) — талантливое подражание шекспировским сонетам — перекликаются с оригинальными мотивами в поэзии Войкулеску, с теми произведениями, в которых поэт использует христианскую мифологию. Художника привлекает извечная борьба Духа и Тела, Добродетели и Греха, Добра и Зла.

Восторженно отзывались о Войкулеску известные румынские критики Э. Ловинеску и Дж. Кэлинеску; критика писала о влиянии русского фольклора, литературы и живописи на творчество Войкулеску.

И вот теперь мы знакомимся с большим собранием рассказов Василе Войкулеску. Что пленяет, что вызывает восхищение и даже профессиональную зависть, когда читаешь такие рассказы, как «Миссия доверия», «Лосось», «Алсион, или Белый дьявол»? То, как умеет писатель использовать тематическое богатство фольклора его красочную фантазию. Это влечет тебя и покоряет. Разумеется, поэт не перепевает фольклор, а пропускает его сквозь призму высокого поэтического мастерства. Он воссоздает народный эпос, причудливо сочетая реальное с фантастическим, сказочное с обыденным.

Войкулеску изображает исключительные случаи и происшествия. Исключительное он находит в жизни рыбаков, охотников, монахов, пастухов, знахарей, книжников, конокрадов. Но крутые повороты в судьбах героев не интересуют автора сами по себе. Главное для него — распознать внутренний механизм человеческих отношений.

Откуда ощущение необычного в новеллистике Войкулеску? Необычное не только в драгоценном сплаве сказочного и реального, но и в художественном преломлении каждодневных фактов, в лиризме и богатом воображении писателя. Возьмем, к примеру, сюжет рассказа «Алсион, или Белый дьявол». Попади этот сюжет в любые другие руки, получился бы, может, и занимательный, но в общем-то обычный рассказ о проделках ловких конокрадов. У Василе Войкулеску рассказ о состязании двух знаменитых конокрадов перемежается с побочной повествовательной линией о другом герое—хитреце Амоашее, сыне деревенской знахарки и врачевательницы скота. С детства ему приходилось вместе с матерью ходить за скотиной, стеречь лошадей. Так и вырос мальчик среди коней, играя и резвясь с жеребцами,— полюбил их больше всего на свете. Действие рассказа развивается в значительной мере на русских просторах. И именно русский человек расстраивает хитроумные замыслы двух барышников, двух прославленных конокрадов которые украли коня и спрятали за семью замками в подземелье.

Неутомимый странник, певец красоты родного края, Войкулеску любил людей и зверей, умел изображать их сочными красками. Вслед за Ионом Крянгэ и Михаилом Садовяну поэт и прозаик Василе Войкулеску, смело вплетавший в повествовательную канву элементы сказочного и анекдотического — хотел он того или нет,— создал в большинстве своих рассказов полную движения картину крестьянской жизни с ее нравами и обычаями, с ее стародавними традициями.

Мне кажется, рассказы Василе Войкулеску с их тематическим богатством, яркой образностью, пластическим словесным оформлением могут привлечь внимание советского читателя.

КАМИЛ БАЛТАЗАР

г. Бухарест

ДАНИИЛ ГРАНИН

АЛЬБЕРТ НАМАТЖИРА

По дороге в Австралию я обнаружил, что из всех художников этой страны мне известно лишь имя Альберта Наматжиры. Я уже не помнил, где и когда я услыхал о нем, я просто знал, что был такой художник-абориген и на этом вообще все мои познания об австралийской живописи кончались. По обычной человеческой самонадеянности, я заключил, что если уж мне известно имя Наматжиры, то он и есть самый лучший и популярный художник этой страны.

Однако в картинных галереях Сиднея и Мельбурна картин Наматжиры не было. Во всяком случае, в экспозиции в то время они отсутствовали, зато там присутствовало много других интересных художников, и незнакомая мне живопись Австралии постепенно открывалась именами, полотнами. Писатель Патрик Уайт познакомил меня со своеобразными работами Сиднея Нолана. В Сиднее мы встретились с модным молодым абстракционистом Леонардом Хассингом. У Аллана Маршала в его кабинете висела доска-выставка, куда Аллан приклеивал репродукции любимых картин. Не знаю, чьи картины там висят сейчас, но тогда там были картины Артура Бойда, Добела, Дрисдейла и, кажется, Диккерсона. Мне они понравились — все, и я тоже накупил себе тех же репродукций, только одну я не достал, я до сих пор ее помню — «Усталый человек» Диккерсона: где-то в углу картины среди каменных стен сидел сгорбленный, бесконечно усталый мужчина.

Мы познакомились с отличным художником Ноэлом Кунихэном, мы ходили с ним по выставкам, потом провели целый день в его мастерской. Путешествие шло к концу, но ни одной картины Наматжиры я еще не видел. И репродукций не видел, и выставок. Наконец в Аделаиде мы попали в маленькую салон-галерею художественных изделий аборигенов. Хозяином ее был художник Рекс Баттерби. Нам повезло. Никто не знал Наматжиру лучше, чем Рекс Баттерби. Он был учителем Наматжиры. Все началось в 1936 году, когда молодой художник Рекс Баттерби путешествовал по Центральной Австралии, и абориген из племени Аранди Альберт Наматжира сопровождал его как погонщик верблюдов. Наматжиру заинтересовало чудо живописи, происходившее у него на глазах. Это было так непохоже на рисунки аборигенов. Искусство аборигенов, самобытное, яркое, развивалось по совершенно иным законам. В течение двух месяцев Рекс обучал Наматжиру. Два месяца — в сущности, это и было все художественное образование, полученное Наматжирой. Восприимчивость Наматжиры была поразительной. Особенно его чувство цвета. Через два года Рекс Баттерби выставил работы Наматжиры — первого художника-аборигена — в Мельбурне. К 1944 году выставки Наматжиры побывали уже в Сиднее, Перте, Западной Австралии, картины его приобрела Национальная галерея. Слава Наматжиры пересекла океан, его работы покупали в Соединенных Штатах, о нем стали писать...

Признаюсь, те несколько картин Наматжиры, какие висели в салоне Рекса Баттерби, меня разочаровали. После буйной фантастики Сиднея Нолана, после трагических, острых полотен Кунихэна, после

АЛЬБЕРТ НАМАТЖИРА

Горы Хааст-Блаф

Горы Макдоннелл

Ущелье Стэнли

Эвкалипт в Палм-Пэддоке

всего виденного акварели Наматжиры показались старомодными и скучноватыми. В этих детально прорисованных пейзажах Центральной Австралии было однообразие: горы, обязательно на переднем плане эвкалипт, скудная растительность... Да — колорист, да — мастер, но так можно было рисовать и сто и полтораста лет назад. И тем не менее чем-то картины Наматжиры удерживали внимание. Кроме необычного чувства цвета, достоверности было в них в то же время что-то еще, сдвигающее эту достоверность.

Рекс Баттерби пригласил нас к себе и показал своего собственного Наматжиру — несколько первоклассных картин. В сущности, повторились те же пейзажи — красные горы, лиловые горы, грустные тона уходящих в сумерки долин, запыленные кусты, пересохшие русла и неизбежные белые стволы эвкалиптов.

Не спеша, не сразу проступал для меня талант этого художника. Вся сложность была в том, что талант этот был заключен в традиционные рамки. Хорошо, что я увидел картины Наматжиры, уже поездив по стране. Теперь я постигал многое, что соскальзывало до сих пор, не задевая воображения. Наматжира показывал поэзию австралийских равнин, удивительные краски гор, мимо которых я проезжал, эти сиреневые, рыжие, огненно-красные складки земли. Он обострил то странное чувство, какое вызывали светлые стволы эвкалиптов перед наступлением темноты. Они вырастали как привидения. Что-то по-человечески трагичное представало в перекрученных, фантастических изгибах их гладко-белых телесных ветвей. Сведенные судорогами, вздутые бицепсы древесной плоти...

Страна Наматжиры, страна Аранди — это горы Макдоннелл — пятьсот миль длины и несколько миль в ширину. Вот что всю жизнь рисовал Наматжира. То был его мир, его родина, земля его племени — для постороннего глаза красота, несмотря на экзотику, все же однообразная, а для него это была вся Вселенная, неисчерпаемая сложность и пестрота бытия его народа и предков, мир охоты, свободы, древних обычаев.

У аборигенов существовала своя живопись. Они рисовали животных и людей. Полотном им служила кора эвкалиптов. Рекс подарил мне такую картину, изображающую крокодила. Это условный примитивный контур крокодила на фоне орнамента. Незамысловатый рисунок орнамента таит в себе целый рассказ для посвященных — там, оказывается, есть тропа воинов-охотников и множество сведений об этом крокодиле. Информация, как принято сейчас говорить, заключена в каких-то незаметных, ускользающих от неопытного взгляда подробностях. Мне представляется, что нечто похожее происходит и в живописи Наматжиры. Восприняв европейскую школу, он точно и беспристрастно следовал урокам Рекса, как будто форма была ему безразлична, он передавал пейзаж так, что нельзя было обнаружить никакой условности, нарочитости, и в то же время откуда-то из глубины выплывало чувство, всегда разное, острое. Где-то там присутствовала незримая добавка личности художника, и этого было достаточно.

Во всех этих пейзажах было что-то еще, словно рассказ на неведомом мне языке, понятный лишь интонацией, таинственные знаки, которые я чувствовал, но не понимал.

Трагическое лицо Наматжиры с тяжелыми чертами, рваная белая рубаха... Грузная фигура... Как будто он уводил меня в глубь своей прекрасной родины, еще нетронутой линиями передач, бетонными дорогами, в горы еще без тоннелей и виадуков.

Слушая рассказ Рекса о последних годах жизни художника, когда Наматжира начал пить и этим самым нарушил закон белых — то, что дозволено белому, не прощалось аборигену, Наматжиру, всемирно известного художника, сперва посадили в тюрьму, затем вернули в резервацию, где он умер вскоре, в 1959 году,— так вот, слушая этот невеселый рассказ, я вдруг подумал о том невероятном пути, который проделал Наматжира — абориген, сын, может, самого первобытного народа на земле. Как быстро и легко он преодолел тысячелетний путь, дойдя до вершин европейской художественной культуры, обогнав своих белых учителей. Какая сила таланта была заложена в этой натуре. Судьба Альберта Наматжиры — может быть, наиболее удивительная судьба в истории живописи.

Несмотря на мировую известность Наматжиры о нем нет ни строчки в популярных антологиях по австралийскому искусству Финемора, Рида, Прингли. Почему? Неужели лишь потому, что он был аборигеном? Я не берусь объяснять это расовыми предрассудками, хотя в монографии об Альберте Наматжире искусствовед Виктор Холл, хорошо знавший художника, говорит о такого рода предубеждениях, существующих вокруг имени Наматжиры.

На могильной плите Наматжиры написано: «Первый из Аранди, достигший славы».

Ныне сыновья Наматжиры тоже стали художниками, и родственники — несколько десятков художников имеет племя Аранди. Рекс Баттерби показывал их картины, некоторых он считает не менее талантливыми, чем Наматжира, но для меня все же в картинах Наматжиры была прелесть первого открытия, которая бывает лишь однажды.

■

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

РАССКАЗЫВАЕТ ФРЭНК ДОЛБИ ДЭВИСОН

Журнал «Уэстерли», который выходит в Перте, поместил интервью с видным австралийским прозаиком старшего поколения, одним из основоположников современной литературы Австралии Фрэнком Долби Дэвисоном (советский читатель знаком с некоторыми его рассказами). Чтобы побеседовать с писателем, которому в нынешнем году исполняется семьдесят пять лет, критик Джон Барнс приехал на его ферму «Фолдинг хилс» в штате Виктория.

Что его заставило заняться литературным трудом? Еще в школьные годы, рассказал Дэвисон, читая хрестоматию, в которой все сплошь было посвящено Англии, он мечтал увидеть книги об Австралии, о таких людях, как он сам, как его родители, как его друзья.

Славу Дэвисону принесли повести о животных, рассказы из жизни мелких фермеров, хорошо ему знакомой: в возрасте двенадцати лет он оставил школу, чтобы работать на фермах в разных уголках Виктории. «Литература и земля занимали мои мысли всю жизнь»,— сказал Дэвисон, называя себя не столько писателем, сколько «человеком, написавшим несколько в каком-то отношении интересных произведений в промежутках между случайными заработками».

Дэвисон рассказал, как родилась повесть «Пугливая» — одна из самых читаемых австралийских книг, которая выдержала, начиная с 1931 года, 26 изданий общим тиражом в четверть миллиона экземпляров. Любопытная деталь: в первый раз Дэвисону пришлось опубликовать ее за свой счет — издатели отказывались от книги «про рыжую корову». В годы экономического кризиса молодой писатель ходил от дома к дому в предместьях Сиднея, предлагая свое произведение по шести пенсов за томик.

На вопрос, какая идея заключена в этой повести о Рыжей, Дэвисон ответил: «Это история животного, которое очень рано полюбило свободу и в конце концов пришло к тому, к чему и должны прийти все живые существа, будь то животные или люди,— стало ценить свободу превыше всего».

Тема последнего, недавно законченного произведения Дэвисона — романа «Белый шиповник» совсем иная. Он посвящен проблемам взаимоотношений между людьми в условиях господства буржуазной морали и нравов. Действие романа происходит в Сиднее, в период между двумя мировыми войнами.

В планах Дэвисона — еще одна книга под названием «Фолдинг хилс» (в журнале напечатаны фрагменты из нее) — «простой рассказ о том, как мы с Мэри, моей женой, живем здесь вместе с нашей собакой Шейлой». Это будет психологическая повесть. Писатель очень привязан к своей ферме и к своей профессии. «Заполучи я миллион,— заявил он,— я бы все равно остался в «Фолдинг хилс» — фермером и писателем».

АНГЛИЯ

ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ

Корреспондент газеты «Морнинг стар» Джерри Коэн посетил английский город Олдем, где состоялась выставка работ талантливого молодого скульптора Артура Дули. Эта выставка во многих отношениях необычна, писал Коэн в своей газете по возвращении из Олдема. Необычны скульптуры, символизирующие страдания и надежды людей в современном мире, необычен и интерес к творчеству Артура Дули. Его работы не оставляют людей равнодушными. Это не значит, продолжает корреспондент, что они нравятся всем без исключения, но равнодушных нет. И это больше всего радует молодого скульптора.

Как заметил сам Дули, его не заботит, что о нем и

Артур Дули с одной из своих последних работ.
(Газета «Морнинг стар»)

о его творчестве могут подумать снобы. Его искусство адресовано простым людям.

На выставке, по словам Коэна, обращает на себя внимание композиция, носящая название «Дахау». В центре ее — распятый Христос. Дули говорит, что он стремился передать страдания не только жертв гитлеровских концлагерей, но и людей, которым в наши дни выпали на долю тяжелые испытания. Трагедия Вьетнама получила художественное воплощение в скульптуре «Вьетнамская пиета», взывающей к миру. Но боль за человека, которой проникнуты произведения Дули, подчеркивает Коэн, не имеет ничего общего с отчаянием. В его творчестве выражена и надежда на лучшее будущее, оно по существу своему глубоко оптимистично.

Среди работ Дули экспонируется скульптура «Мать и дитя», предназначенная для советского города Одессы, с которым Ливерпуль поддерживает дружеские связи.

Артур Дули — коммунист, сын докера, он сам работал докером, а также рабочим на заводе. Ему есть что сказать людям, пишет Коэн, и он делает это по-своему.

МИРАЖ НА БЕРЕГАХ ТЕМЗЫ

«Почему в сфере культуры наш век по сравнению с девятнадцатым веком должен выглядеть столь жалким?» — вопрошает на страницах еженедельника «Санди таймс» Джон Рассел, огорченный отказом правительства осуществить давно разработанные планы реконструкции и расширения Британского музея. Планы эти предусматривали, в частности, расширение «Тейт гэллери», создание единого крупного комплекса из «Нэшнл гэллери» и «Нэшнл портрет гэллери». Таким образом, на северном берегу Темзы планировалось создание, как пишет Рассел, «целого города искусства».

Тревогу Рассела за судьбы национальной культуры, на которой уже сказываются «серьезные экономические трудности», разделяют многие англичане. Так, в еженедельнике «Спектейтор» опубликована статья, в которой откровенно говорится, что ни на что хорошее надеяться не приходится. В статье высказываются, например, пессимистические прогнозы относительно перспектив английского театра. Первый удар был нанесен по строительству Национального театра. Еще весной 1967 года, с горечью напоминает автор статьи в «Спектейтор», было официально заявлено, что строительство комплекса зданий Национального театра начинается незамедлительно... Половину расходов по строительству взял на себя Совет Большого Лондона, вторую половину должно было покрыть правительство. Но за прошедший год дело не сдвинулось с места...

Так, к огорчению многих англичан, планы культурного строительства на берегах Темзы превратились в мираж...

БОЛГАРИЯ

«НАД ЧЕМ ВЫ РАБОТАЕТЕ?»

С таким вопросом редакция еженедельника «Литературен фронт» обратилась ко многим писателям. Ниже приводятся лаконичные ответы некоторых участников этой маленькой анкеты.

Георгий Караславов: — Готовлю к сдаче в печать книгу о Пиринском крае «Свирели играют», а также работаю над пятой и шестой — последней — частью романа «Простые люди».

Елисавета Багряна: — Заканчиваю сборник новых стихов. Названия у него еще нет. Кроме того, готовлю книгу для детей и переводы из зарубежных поэтов.

Емилиян Станев: — Вскоре выйдет мой роман «Легенда о Сибине, князе Преславском». Пишу новый роман — «Житие грешника и балагура Теофила» и новые рассказы.

Людмил Стоянов: — Вот-вот появятся: книга «Статьи и очерки о болгарских и русских писателях», сборник стихов и четвертый том моих «Избранных сочинений».

Младен Исаев: — Продолжаю работу над сборником стихов для детей и надеюсь закончить свою первую пьесу.

Андрей Гуляшки: — Меня занимают темы далекого прошлого в свете современности.

Божидар Божилов: — Все лучшее, написанное мной, выходит в двух сборниках стихов.

Дора Габе: — Заканчиваю повесть для пионеров «Мать Парашкева» и сборник поэм.

Драгомир Асенов: — Надеюсь, что вскоре на сцене появится моя третья пьеса «Прогулка субботним вечером». Пишу повесть о событиях 9 сентября 1944 года.

Ефрем Каранфилов:—Скоро издательство «Народна младеж» выпустит мою книгу «Болгары», в которой воссозданы образы прославленных исторических личностей. Начинаю работу над книгой «Современная болгарская беллетристика — авторы и проблемы».

Ивайло Петров: — Хочу закончить свою «Веселую автобиографию», а также сборник рассказов «Небольшие иллюзии».

Йордан Радичков: — Надеюсь, что в этом году выпорхнут из гнезда мои рассказы для детей «Мы — воробушки».

Камен Зидаров: — Заканчиваю работу над пьесой в стихах «Калоян» и принимаюсь за мемуары в двух томах... И снова меня заинтересовала историческая тема — образ Бояна Мага, боровшегося против Византии.

Камен Калчев: — Пишу роман из недалекого прошлого «Расхождение» и книгу о литературных проблемах. Обдумываю роман на современную тему «Сыновья» — о взаимоотношениях отцов и детей.

Ламар: — Мне стукнуло семьдесят лет! Жду появления двухтомника моих сочинений и нового сборника стихов.

Лиляна Стефанова:—Скоро будут опубликованы мои путевые заметки—впечатления о поездках по Америке и Англии. Работаю над сборником стихов «Безграничные желания».

Мария Грубешлиева:—Если позволит здоровье, напишу цикл новых стихов и осуществлю мою давнишнюю мечту — начну работать над романом «В те дни».

Николай Зидаров: — Меня волнует историческая тематика: работаю над книгой «Болгарское сердце» и сборником лирических стихов.

Орлин Василев:— Хочу, чтобы сбылись мои мечты и на свет появились «Злые рассказы», пьеса «Личный вопрос» и сценарий «Отмщение коммуниста».

Павел Вежинов: — Жду выхода из печати сборника рассказов «Синие бабочки», работаю над приключенческим романом и сценарием по моей новелле «Процесс».

Петр Караангов: — Заканчиваю работу над сборником стихов «Вечерний ренессанс».

Слав Караславов: — У меня обширные планы: биография-хроника о Хаджи-Димитре, пьеса в стихах о Кирилле и Мефодии, новелла «Провокатор» и новый сборник стихов.

Стоян Даскалов: — Сдал в печать небольшой роман «Республика дождей» и работаю над новым романом «Земной свет».

СОВЕТСКИЕ ПЬЕСЫ В БОЛГАРСКИХ ТЕАТРАХ

На сценах болгарских театров идет немало пьес советских авторов. В последние месяцы болгарские зрители могли увидеть «Шторм» В. Билль-Белоцерковского, «Разлом» Б. Лавренева, «Гибель эскадры» А. Корнейчука, «Девятую симфонию» Ю. Принцева и многие другие. В конце 1967 года состоялись премьеры «Мистерии-буфф» В. Маяковского, «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского, «Шестого июля» М. Шатрова, «Золотой кареты» Л. Леонова, инсценировки «Конармии» И. Бабеля.

Пьеса В. Маяковского была поставлена столичным Театром сатиры в сценическом варианте Стефана Цанева, сумевшего органично ввести в текст отрывки из поэмы «Хорошо!», из «Левого марша» и других произведений Маяковского.

«Театр сатиры мастерски преодолел многочисленные трудности, которые таит в себе это в высшей степени своеобразное, нелегкое для постановки произведение»,— писал рецензент еженедельника «Литературен фронт» Гечо Гочев.

Спектакль «Мистерия-буфф», поставленный режиссером Методи Андоновым в творческом содружестве с композитором Димитром Вылчевым и художником Стефаном Савовым,— динамичен, праздничен и глубокосодержателен, отмечал рецензент. Это — мудрый диалог настоящего с прошлым, с историей и в то же время диалог настоящего с будущим; это — пьеса о величии революции, которая не остановилась, а продолжается и сегодня, очищая души каждого из нас.

Другой столичный театр— Народный театр имени Ивана Вазова — постановкой «Золотой кареты» познакомил болгарских зрителей с характерными чертами творчества Леонида Леонова, который, как отмечает рецензент еженедельника «Литературен фронт» Лада Панева, с таким размахом воссоздает эпические события, изменившие Россию, и с такой проникновенностью анализирует движения души человека.

Удача молодого режиссера Енчо Халачева, поставившего пьесу, прежде всего в том, что его спектакль безошибочно приводит зрителя к ответам на главные вопросы, поставленные автором: во имя чего надо жить, каковы нравственные нормы советского человека, каково должно быть его поведение как гражданина и труженика, писала далее Лада Панева.

Не меньший резонанс, чем оба столичных спектакля, получила в Болгарии инсценировка «Конармии» И. Бабеля, хотя спектакль этот

Иванка Димитрова и Георги Георгиев в сцене из спектакля «Золотая карета» в Народном театре им. Ивана Вазова.

(Газета «Народна култура»)

был поставлен на сцене небольшого периферийного театра в г. Перник. Рецензент газеты «Народна култура» Димитр Канушев считает, что спектакль явился «подлинным открытием и для театра, и для публики. Театр снова нашел верный путь к подлинным творческим успехам, для публики настал столь долго ожидаемый праздник». Молодой режиссер Богдан Сырчаджиев, поставивший «Конармию», тонко и точно сумел раскрыть особенности текста И. Бабеля.

В драматическом театре г. Габрова поставлена «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского. Режиссер Христо Крычмаров, как писал рецензент еженедельника «Литературен фронт» Василен Васев, стремится доказать, что революция — это время, когда обыкновенный человек становится бессмертным, а, казалось бы, обыденное дело — великим.

Но едва ли не наибольший успех имела пьеса М. Шатрова «Шестое июля» на сцене Драматического театра в Варне. Поставленный главным режиссером Московского театра им. К. С. Станиславского Борисом Львовым-Анохиным, спектакль с первых же сцен завоевал симпатии зрителей. Они с неослабевающим вниманием следили за развитием событий на сцене, отмечал рецензент Петр Филчев в газете «Народна култура». «Режиссер стремительно вводит нас в конфликт идей, заставляет ухватить самую сущность происходящего,— писал Филчев.— Он предпочитает «чистую» сцену, заполняя ее только людьми и используя лишь самые необходимые аксессуары — стол, кресло, телефон. Это помогает ему создать условия для динамичного диалога, открыть дорогу действенному, ритмически напряженному сценическому изложению документального материала».

ВЕНГРИЯ

НОВАЯ ОПЕРА ШАНДОРА СОКОЛАИ

Молодой композитор Шандор Соколаи, автор оперы «Кровавая свадьба» (см. «Иностранную литературу» № 8, 1966), работает над созданием оперы «Гамлет» по Шекспиру. Он сам пишет либретто оперы, которая будет состоять из трех актов.

Соколаи консультировался в ходе работы с известными литературоведами разных стран, исследователями творчества Шекспира. Он побывал в Стратфорде, на родине Шекспира, где познакомился с постановкой «Гамлета» в театре этого города. Много раз он смотрел кинофильм «Гамлет» с Лоуренсом Оливье в главной роли и записал всю звуковую часть фильма на магнитофон.

Партии Гамлета и Лаэрта будет исполнять тенор, Клавдия и Горацио — баритон, Полония и Призрака короля — бас, Гертруды — альт, Офелии — сопрано.

Как сообщает печать, опера Соколаи «Кровавая свадьба» по-прежнему имеет успех за рубежом. В нынешнем году «Кровавая свадьба» включена в программы оперных театров Ленинграда, Киева, Одессы, Халберштадта (ГДР), Анже и Тулузы (Франция), Варны (Болгария). Интересуются оперой варшавский и познанский оперные театры, а также оперные театры Лос-Анжелеса и Бордо, ведет переговоры с композитором лондонский «Ковен-гарден». Одна из лондонских фирм наметила издание оперы на английском и французском языках.

ГЛАЗАМИ ДРУЗЕЙ

Будапештское издательство «Кошут» выпустило книгу «Советский Союз глазами венгров». В ней собраны очерки и статьи, стихи и репортажи, публицистика и воспоминания венгров, посетивших Советский Союз. В числе ее авторов

маститый академик и молодой поэт, ответственный работник и радиорепортер, композитор и экономист, скульптор и физик-атомник.

В книге опубликованы стихотворения известных поэтов Габора Гараи, Имре Дерё, Дьюлы Шипоша и Михая Ваци. Ференц Мюнних и Дьюла Хевеши пишут о всемирно-историческом значении Октябрьской революции. Лауреаты премии Кошута художник Шандор Эк и скульптор Пал Патцаи рассказывают о том, как они работали над воссозданием облика В. И. Ленина.

«Баллада о городе, который постоял за Европу» — так называется созданный на документальной основе очерк Габора Банкути и Ференца Вайды, посвященный ратному подвигу Сталинграда.

О космическом полете Юрия Гагарина и о Москве наших дней рассказывает в своем очерке писатель Имре Добози. Известные ученые Иштван Русняк, Ференц Эрдеи и Тибор Эрдеи-Груз пишут о тесных связях между венгерской и советской наукой.

Лауреат премии Кошута литературовед Ласло Кардош отмечает популярность советской литературы в Венгрии. Писатель Ласло Немет делится опытом работы по переводу книг советских авторов. Лауреат премии Кошута архитектор Мате Майор пишет об истории советской архитектуры.

Книга в целом раскрыла венгерскому читателю многие стороны жизни современного советского общества, увиденные глазами друзей.

ГДР

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ МАКСИМА ГОРЬКОГО

Еженедельник «Зоннтаг» опубликовал разнообразные материалы, посвященные столетнему юбилею Максима Горького. Среди них — отрывки из статей Иоганнеса Бехера, Луи Арагона, Эгона Эрвина Киша, Ганса Мархвицы, Исаака Бабеля, Джека Линдсея, Анны Зегерс, Анри Барбюса и других писателей. В том же номере помещен обзор планов издательства ГДР в связи с юбилеем Горького. Так, несколько очередных томов из полного 24-томного собрания сочинений Горького выпустит издательство «Ауфбау». Кроме того, там выйдут «Сказки об Италии» с иллюстрациями Петера Нагенгаста.

В издательстве «Фольк унд вельт. Культур унд фортшритт» появится книга под названием «С человечеством на «ты». Писатели мира о Максиме Горьком». Монографию «Максим Горький — драма и театр» выпускает издательство «Хеншель». Издательство «Академи-ферлаг» публикует книги о влиянии Горького на политическую и культурную жизнь ГДР, а также библиографию литературы о Горьком, вышедшей в Германии в 1899—1965 годах.

«ЭТО БЫЛО УБИЙСТВО»

На сцене берлинского театра «Каммершпиле» поставлена пьеса Фридхольда Бауэра «Ба́ран, или Люди в деревне» — первое драматургическое произведение 33-летнего автора. В основу пьесы положено подлинное происшествие в немецкой деревне в 1944 году.

Ба́ран, поляк, угнанный на работы в Германию, попадает в маленькую деревушку, которую война до сих пор, казалось, обходила стороной. Люди там живут вдалеке от больших событий, занимаясь своими нехитрыми повседневными делами. Люди эти не злы, они даже сочувствуют Ба́рану, который становится батраком в доме крестьянки Кнауэр, сочувствуют его большой и чистой любви к Марии — дочери его хозяйки, но когда его, после издевательского суда по ложному обвинению в нарушении светомаскировки и в оскорблении чести немецкой девушки, вешают на глазах у всей деревни, они молчат. Крестьяне знают, что его вина только в том, что он полюбил Марию, но никто не решается выступить в защиту этого человека. Однако на дереве, где был повешен Ба́ран, появляется щит с надписью «Это было убийство». Немецкий офицер заставляет сорвать щит, но он появляется снова и снова.

Именно это событие заставило людей в деревне о многом задуматься. «Бауэр своей пьесой поставил вопрос об ответственности всех людей и каждого человека в отдельности»,— пишет рецензент журнала «Театер дер цейт». Автор сумел связать прошлое с настоящим, сделав это в поэтичной, народной манере.

Газета «Берлинер цейтунг» поместила интервью с режиссером спектакля в театре «Каммершпиле» Фридо Зольтером. «Работа над спектаклем была очень трудной, но интересной,— сказал Зольтер.— Бауэр облек эту историю в форму баллады, широко использовал народные песни. Он превосходно связал воедино реализм и поэзию».

Сцена из спектакля «Ба́ран, или Люди в деревне».

(Журнал «Театер дер цейт»)

ИОРДАНИЯ

НОВОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

По сообщениям арабской прессы, культурная жизнь Иордании, ставшей жертвой израильской агрессии в июне прошлого года, постепенно оживляется. В столице страны Аммане возобновил работу театр, устраиваются лекции и художественные выставки. Снова начал выходить литературный журнал «Афкяр» («Мысли»). Как сообщает журнал «Аль-Адиб», недавно в крупнейшем амманском кинотеатре «Аль-Хайям» с большим успехом прошел фестиваль советских фильмов. В связи с большим количеством желающих попасть на эти фильмы фестиваль был продлен на несколько дней.

Режиссер Джанни Пуччини закончил съемки фильма «Братья Черви» по известной книге Алчиде Черви «Семеро моих сыновей» (опубликована в «Иностранной литературе» №№ 8—9, 1956). На снимке: артисты Джан Мария Волонте и Лиза Гастони в одном из эпизодов фильма.

(Газета «Унита»)

ИСПАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ КИНОРАБОТНИКОВ

Неделя кино, которая недавно проходила в испанском городе Ситхесе, неожиданно для властей обернулась открытым выступлением ее участников против политики правительства в области кинематографии. Возмущение присутствовавших вызвал тот факт, что власти пытались запретить показ польского фильма и киноленты «Вьетнам» производства ГДР. Лишь решительное вмешательство общественности позволило добиться разрешения на демонстрацию этих фильмов, хотя и для очень узкого круга.

Участвовавшие в неделе деятели кино большинством голосов приняли резолюцию, в которой потребовали ликвидации желтого профсоюза работников зрелищных предприятий и создания вместо него подлинно демократического профсоюза, а также отмены предварительной цензуры. Попытки властей во главе с мэром города как-то замять этот инцидент не удались. В ход была пущена гражданская гвардия, которая произвела аресты среди участников недели.

События в Ситхесе эхом отозвались в Мадриде. Так, на одном из собраний студентов и выпускников школы кинематографии, которое проводили кинорежиссеры Берланга, Бардем и другие, было принято решение созвать в ближайшее время общенациональную конференцию работников кинематографии для рассмотрения всех стоящих перед испанским кино проблем, в том числе и вопроса о демократическом профсоюзе. Среди выразивших поддержку этому решению—режиссер картины «Охота» Карлос Сауро, получивший недавно премию на фестивале в Берлине.

ИТАЛИЯ

КИНО СТАНОВИТСЯ РОСКОШЬЮ

В последнее время в печати все чаще начали появляться сообщения, свидетельствующие о катастрофическом положении в итальянской системе проката фильмов. Исследования показали, что при существующем положении значительное большинство зрителей не может увидеть многие кинокартины. Скромные кинотеатры, посещаемые не слишком состоятельными людьми, не выдерживают конкуренции с кинотеатрами, расположенными в богатых кварталах, и закрываются. В результате общее число кинотеатров в стране неуклонно сокращается. Если принять во внимание конкуренцию телевидения и рост цен на билеты, то, делают вывод обозреватели, понятно, что кино могут посещать все меньше и меньше итальянцев. «Кинематограф превращается в развлечение для привилегированных слоев»,— резюмирует обозреватель газеты «Паэзе сера».

Недавно в Болонье состоялась специальная конференция, в которой приняли участие многие деятели итальянского кино, представители различных его направлений. Они подчеркнули, что итальянскому кинематографу грозит серьезная опасность: остаться без зрителей.

Творческая интеллигенция Италии участвует в движении протеста против американской агрессии во Вьетнаме. Здесь воспроизводится рисунок «Кровь невинных» известного скульптора и художника Джакомо Манцу, созданный им во время недавней кампании по сбору крови для жертв американских бомбардировок в Демократической Республике Вьетнам.

(Газета «Унита»).

В связи с описанным положением, как сообщает печать, итальянские коммунисты в парламенте внесли законопроект, согласно которому национальная политика в области кино должна проводиться с учетом реальных интересов населения страны.

«ЛЕОПАРД» НА ОПЕРНОЙ СЦЕНЕ

Знакомый советским читателям роман Томази ди Лампедузы «Леопард» после того, как он был экранизирован режиссером Лукино Висконти, ныне получил новое воплощение — сценическое. Композитор Анджело Муско написал оперу «Леопард» на либретто Луиджи Скуарцины, который является и постановщиком этого спектакля. Осуществил постановку оперный театр г. Палермо. Как подчеркивают обозреватели газет, этот оперный спектакль стал важным событием в культурной жизни не только Палермо, но и всей Сицилии, где зрителям особенно близки и понятны мотивы произведения ди Лампедузы. Партию князя Фабрицио Салины с большим успехом исполняет певец Никола Росси-Лемени. Авторы рецензий дают в целом высокую оценку спектаклю.

МАЯКОВСКИЙ ГОВОРИТ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

За последнее время в Италии вышло три новых издания произведений Владимира Маяковского. Издательство Фельтринелли выпустило большой сборник избранных произведений поэта, в который вошли стихи, поэмы и пьесы. Другой сборник избранных стихов советского поэта, в который вошла также пьеса «Клоп», выпустило издательство «Нуова академия». Поэма Маяковского «Владимир Ильич Ленин» в переводе А.-М. Рипеллино вышла отдельной книгой в серии «Коллекция поэзии», выпускаемой издательством Эйнауди. Газета «Унита» посвятила новым сборникам поэта статью, озаглавленную «Маяковский и Ленин».

КИТАЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ «ЭПОХИ МАО ЦЗЭ-ДУНА»

В Китае сейчас выходит единственный литературный журнал — «Литература и искусство Народно-освободительной армии». Армия, таким образом, установила свою монополию и в литературе. Недавно вышел сдвоенный номер этого ежемесячного издания. Он открывается фотопортретом «самого яркого из красных солнц в наших сердцах, Председателя Мао». Передовая статья озаглавлена: «Желаем Великому Учителю, Великому Вождю, Великому Полководцу и Великому Кормчему Председателю Мао безграничного долголетия!»

Затем идет «Приветственное обращение заместителя Председателя Линь Бяо к первому слету военных моряков — активистов изучения сочинений Председателя Мао». Таким образом, иерархия соблюдена пунктуально. Это—официальная

часть. Каково же содержание литературной части номера? Первая рубрика озаглавлена: «В открытом море не обойтись без кормчего — очерки великой революционной практики Председателя Мао». Очерки написаны коллективно — бригадой, взявшей себе националистический псевдоним: «Гимн Востоку». Называются они так: «Красное солнце взошло над Шаошанью» — там родился Мао Цзэ-дун, «Красное солнце озарило восток» — о посещении Мао Цзэ-дуном местечка Циншуйтан и т. д.

За очерками идет поэзия — подборка из двадцати стихотворений «Бойцы всех национальностей хором воспевают красное солнце».

Следующий заголовок гласит: «Иностранные моряки горячо любят рассказы о Председателе Мао».

Далее — отрывки из текста диафильма «Революционный факел Восстания осеннего урожая подпалит весь мир». Восстанием, как не трудно догадаться, в свое время руководил Мао Цзэ-дун. Диафильм создан «рабочей бригадой изобразительных искусств Гуанчжоуского гарнизона — армии, авиации и флота».

Коллектив газеты «Народный флот» предоставил журналу материал «Герой великой новой эпохи идей Мао Цзэ-дуна. Боевой герой Май Сянь-дэ по-боевому идет вперед в великой пролетарской культурной революции» (Май Сянь-дэ был контужен в бою и почти лишился дара речи. Теперь его научили петь песни о Мао Цзэ-дуне и цитировать маоцзэдуновский требник).

Третий раздел журнала — театр, то есть «Сцена бригад по пропаганде идей Мао Цзэ-дуна». Для сольного пения — «Председатель Мао сияет ярче солнца», для нескольких голосов — «Вечно будем идти за Председателем Мао», для драматических коллективов — пьеса «Значок с изображением Председателя Мао» и т. д.

Четвертый раздел — критика. Его страницы предоставлены роте противохимической защиты нанкинского гарнизона. Она бичует врагов Мао Цзэ-дуна в статьях, которые озаглавлены, к примеру, так: «Нам нужна хорошо прокипяченная вода!» Суть дела в том, что инакомыслящие называли промаоистские пьесы «прокипяченной водой».

Номер достойно завершают три стихотворения самого Мао Цзэ-дуна, положенные на музыку, чтобы их можно было петь.

ЛИВАН

КОНЧИНА РАИФА ХУРИ

Арабская культура понесла большую утрату. В возрасте 54 лет скончался выдающийся прогрессивный писатель, публицист и ученый Раиф Хури. Покойному писателю принадлежат, помимо талантливых рассказов, труды по истории арабской литературы и другие работы.

Среди книг Раифа Хури по истории арабской классической литературы широко известны «Зернышко граната», «Скроется ли Луна?», «С арабами в истории и легендах», «Имру аль-Кайс», «Ученик Зороастра в раю». Кроме того, он автор книг «Влияние французской революции на современную арабскую мысль», «Права человека», «Критика и литературное исследование», «Проявления национального сознания», «Мы и арабская культура». На книгах Хури воспитывалось не одно поколение ливанцев.

Раиф Хури активно сотрудничал в арабской прогрессивной прессе, пропагандируя лучшие достижения арабской и мировой культуры. Он впервые познакомил арабских читателей с романом «Мать» и «Детством» М. Горького, большие отрывки из которых были опубликованы дамасским журналом «Ат-Талиа» («Авангард») еще в 1936 году. (В настоящее время имеется несколько полных переводов романа «Мать» на арабский язык, выполненных в Сирии, Ираке и ОАР.)

Незадолго до смерти писателя, в октябре 1967 года, ливанское Общество друзей книги присудило Раифу Хури Премию президента республики — высшую премию Ливана «в знак признания всей его литературной деятельности».

ОАР

О РУССКО-АРАБСКИХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЯХ

Журнал «Аль-Мусаввар» опубликовал статью под названием «Моряки с броненосца «Потемкин» находят убежище в Александрии и продолжают там свою революционную деятельность».

Революционная деятельность матросов-потемкинцев в Александрии — это только один из эпизодов тысячелетней истории русско-арабских связей — от посещения берегов Волги арабским путешественником Ибн-Фадланом в 922 г. до строительства плотины в Асуане. Об этих исторических связях рассказывается в публикуемой статье, содержание которой значительно шире, чем можно предполагать по ее заглавию.

Один из разделов статьи носит название «Пушкин, Гоголь, Горький». Автор приводит факты, свидетельствующие об интересе, который проявляли выдающиеся представители русской культуры к Востоку. «Пушкин,— говорится в статье,— не переставал мечтать о посещении стран Востока, в частности Египта». О восточных странах он много слышал от путешественника Норова, который, вернувшись из Египта, «рассказал о своем путешествии своему дорогому другу Пушкину». К числу знакомых Пушкина, посетивших арабские страны, принадлежал также литератор и востоковед Сенковский (барон Брамбеус), который считается крупнейшим переводчиком араб-

ской классической литературы.

Русское востоковедение, пишет автор статьи, расцвело при содействии Пушкина, «эмира поэтов России», благодаря Гоголю, благодаря Чернышевскому, наконец, благодаря Максиму Горькому, который проявлял особый интерес к книгам «Тысячи и одной ночи».

Далее в статье рассказывается, что арабы впервые познакомились с русской литературой около ста лет назад. В 1867 году уроженец сирийского города Алеппо опубликовал перевод 41 басни Крылова. В 1898 году в бейрутской газете «Аль-Манар» был напечатан перевод «Капитанской дочки» Пушкина, а в 1900 году другая бейрутская газета «Любнан» опубликовала «Тараса Бульбу» Гоголя. Оба произведения перевел учившийся в России палестинский араб Халиль Бейдас. В 1906 году в бразильском городе Сан-Паоло впервые на арабском языке были опубликованы три рассказа М. Горького, изданные ливанским эмигрантом Ибрахимом Фараджем.

В 1907 году в Каире вышел сборник очерков М. Горького в переводе палестинца Селима Коб'ейна, куда вошли «Король, который высоко держит свое знамя», «Один из королей республики», «Прекрасная Франция», «О евреях». Несколько раньше Коб'ейн и другие арабские переводчики познакомили арабов с произведениями Л. Толстого и Чехова.

ПОЛЬША

ДНИ ПОЭЗИИ В НОВОЙ ГУТЕ

«В течение семи вечеров подряд у меня была возможность наблюдать в Новой Гуте встречи читателей с современными поэтами и поэзией,— пишет в своем репортаже на страницах еженедельника «Жице литерацке» Станислав Станух.— Многое там могло показаться неожиданным — ведь привыкли думать, что читатели и слушатели этого промышленного центра еще не очень-то искушены в поэзии, что, быть может, лет через пятьдесят... Тем временем уже сейчас Дни поэзии показали, что рабочая аудитория воспринимает современную поэзию с интересом и пониманием».

Дни поэзии были организованы Домом культуры металлургического комбината им. Ленина в Новой Гуте близ Кракова; их обширная программа включала пятнадцать мероприятий, прошедших с большим успехом. Наиболее интересными из них Станух считает встречу с редакцией ежемесячника «Поэзия», спектакль молодежного коллектива при Доме культуры комбината «Как делать стихи» по Маяковскому, авторский вечер Тадеуша Ружевича, встречу с Вислава Шимборской и концерт Ирены Юн, исполнявшей «Польские пастораль ки» Ежи Харасымовича. «Всем этим мероприятиям была присуща одна общая черта,— пишет Станух,— а именно: самое глубокое проникновение в проблемы современного мира и высокий художественный уровень».

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА ЗАПАДНЫХ ЗЕМЛЯХ...

Жизнь и творчество известного писателя Богуслава Когута связаны с польскими Западными Землями. Этим Землям, возвращенным Польше в результате разгрома гитлеровской Германии, посвящен и новый роман Когута «Еще любовь».

Герой романа — участник войны. Вернувшись с фронта, он не находит своей прежней семьи и отправляется на Западные Земли. Такая завязка сюжета, а также название романа, были, по мнению самого автора, неправильно истолкованы некоторыми критиками, склонными характеризовать «Еще любовь» как бытовой роман. Между тем Когут назвал эту свою книгу политическим романом. И действительно, в дальнейшем речь идет об освоении исконно польских территорий, о налаживании экономики, об оживлении общественной жизни, а также об острой политической борьбе, которая там происходила. Герой Когута находится в гуще всех этих событий. В свое время он стал жертвой необоснованных обвинений, был исключен из партии, смещен со своего поста. Однако такая несправедливость не сломила героя, он остался верен идеалам социализма.

«Восстановленный в правах члена партии, снова получивший ответственный пост на производстве, герой Когута предстает перед читателем не столько олицетворением авторского оптимизма, который в литературе очень легко оборачивается декларативностью, сколько эпическим свидетельством, символом перемен, которые происходят в нашей жизни, подтверждая — не всегда прямо и не всегда сразу, но с безусловной последовательностью — правильность именно такой позиции художника,— писал Вацлав Садковский в газете «Трибуна люду».— Эта книга,— подчеркивает он,— далека от декларативности и многословия, от требований «сведения счетов», от спекулятивных, псевдоисторических концепций».

Новый роман Богуслава Когута, подчеркнул Садковский, не стоит особняком в современной польской литературе. Критик ставит его в один ряд с такими книгами, как «Путешествие на край долины» Анджея Щиперского и «Очарованные» Генрика Гаворского, в которых также поднимаются важные общественно - политические проблемы.

Эти книги не претендуют на всесторонний охват жизни современного польского общества, отметил Садковский, но, как это убедительно показал роман «Еще любовь», они свидетельствуют о стремлении их авторов тесно связать судьбы своих героев с судьбами обще-

«Пан Володыевский» Генрика Сенкевича экранизируется в настоящее время известным польским кинорежиссером Ежи Гоффманом. Недавно закончились съемки «зимних» эпизодов фильма, один из которых воспроизведен на нашем снимке.

(Газета «Жице Варшавы»)

ства, ибо такова правда жизни.

«ЧЕЛОВЕК ДЕЛАЕТ ВЫБОР»

Такова тема литературного конкурса, объявленного редакцией еженедельника «Жице литерацке» и Литературным издательством, находящимся в Кракове.

Организаторы конкурса в редакционной статье, опубликованной еженедельником «Жице литерацке», пишут, что нынешний конкурс — одна из форм укрепления связи с читателями. Конкурс открытый, и потому в нем могут принять участие рабочие и крестьяне, писатели и журналисты, преподаватели и учащаяся молодежь. Жюри предоставило участникам конкурса свободу в выборе формы произведения — это может быть рассказ, репортаж, мемуары.

«Только очень поверхностный наблюдатель нашей жизни стал бы утверждать, что перед гражданином народной Польши не встают никакие проблемы, что у него есть готовые — на все случаи жизни — рецепты поведения, что он живет в мире без конфликтов и столкновений,— говорится в редакционной статье.— В действительности все обстоит иначе; положительная черта нашей жизни состоит в том, что все наши конфликты и тревоги имеют по существу творческий характер. Мир меняется, меняется и наша Польша, а с ней и каждый из нас. Осознание этих изменений у каждого из нас происходит по-разному, заставляя давать свою оценку жизненным явлениям, занимать определенную позицию и, таким образом, делать выбор».

Поэтому, подчеркивает жюри, главная задача конкурса — дать мотивировку поведения людей, показать, как изменения в окружающей жизни заставляют их делать выбор — в пользу нового, передового общественного строя.

В состав жюри конкурса входят известные польские писатели Тадеуш Голуй, Збигнев Квятковский, Владислав Махеек, Стефан Отвиновский, Ежи Путрамент, Ежи Скурницкий, Казимеж Выка. Лучшие из поступивших на конкурс произведений будут отмечены премиями и опубликованы еженедельником «Жице литерацке» и Литературным издательством.

РУМЫНИЯ

ГОРЬКИЙ В ТЕАТРЕ КОНСТАНЦЫ

В театре города Констанцы состоялась премьера пьесы М. Горького «На дне». Постановщик пьесы, известный режиссер Мариэтта Садова в интервью еженедельнику «Контемпоранул» назвала эту горьковскую драму «народной песней о Человеке и Истине». Обращая внимание зрителя на отличие новой трактовки от трактовки Э. Пискатора, поставившего «На дне» в 1925 году, и Жана Ренуара, создавшего известную экранизацию пьесы Горького, критик еженедельника «Контемпоранул», Михай Буженицэ, в частности, писал: «Главным назначением развития сценического действия является изображение усилий героев противостоять условиям, в которых они живут».

Рецензент отметил прекрасную игру Дана Хердана в роли Актера, Ромеля Стынчуджеля — в роли Сатина, и особенно — Агаты Николау в роли Насти, исполнение которой Буженицэ назвал «блестящим». Спектакль удачно оформ-

лен одним из лучших театральных художников Румынии Мирче Маросину.

СЕНЕГАЛ

СЕНГОР: «НУЖНЫ НОВЫЕ КНИГИ»

Выступая на II Международном конгрессе африканистов в Дакаре, президент Сенегала Леопольд Седар Сенгор предложил создать «Учебник африканской литературы» и «Антологию африканских классических текстов». «Сейчас существуют хорошие антологии африканской литературы и даже научные издания африканских текстов на африканских языках, снабженные научными комментариями», — отметил президент. Он упомянул издания африканской литературы Оксфордской библиотеки, серию «Ассоциация африканских классиков», издаваемую Институтом этнологии в Париже, и другие публикации. «Однако упомянутые издания не лишены недостатков,— сказал Сенгор.— Эти публикации сохраняют деление Африки на франкоязычную и англоязычную... Они игнорируют арабо-берберские народы. Они не основаны на широком сотрудничестве с африканскими университетами».

Президент Сенегала предложил, чтобы новый учебник африканской литературы и антология классических африканских текстов создавались под эгидой ЮНЕСКО, африканских университетских центров и Африканского общества культуры.

США

«О ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ МИРА»

Издательство «Дайал пресс» выпустило в свет книгу-памфлет «Доклад, составленный в Айрон-Маунтен о возможности и желательности мира». Она открывается предисловием известного сатирика Леонарда Льюина. На обложке книги стоит имя Джона Доу, но это псевдоним.

Книга проповедует, как сказано в эпиграфе, «на земле войну, а в человецех ненависть». Но это лишь своеобразный прием автора-сатирика, поскольку при дальнейшем чтении становится ясно, что «Доклад, составленный в Айрон-Маунтен» — острая антивоенная книга. В этом докладе типично бюрократическим языком Вашингтона «научно» изложена концепция необходимости войны как «высшего блага» для человечества, как «единственно возможного» состояния людей на земле.

В предисловии Льюин рассказывает вымышленную историю появления этой книги. Все началось будто бы с того, что к Льюину пришел некий профессор Джон Доу и представился ему в качестве одного из членов секретной комиссии из 15 человек, созданной Белым домом для выполнения важного задания. Задание было рассчитано на два года, и в течение этого срока комиссия, состоящая из социологов, экономистов, военных, юристов и промышленников, должна была, регулярно встречаясь в Айрон-Маунтен, штат Нью-Йорк (такого пункта, естественно, на картах нет), примерно в 125 милях от Нью-Йорка, составить документ, содержащий всесторонний анализ перспективы длительного мира. Выводы этой комиссии настолько будто бы ужаснули самого Джона Доу, что он почувствовал угрызения совести и принес доклад Льюину для опубликования, скрыв, по понятным причинам, свою настоящую фамилию.

Любопытно, что место, где, как указывается в предисловии, находится Айрон-

---

«Подожди до темноты» — таково название фильма по пьесе Фредерика Нотта, в которой Одри Хэпберн играет роль слепой. Критика высоко оценивает игру этой талантливой актрисы. На снимке: Одри Хэпберн и Дик Кренна в фильме «Подожди до темноты».

(Еженедельник «Фильм»)

Маунтен, совпадает с расположением Гудсоновского института, в котором подвизается небезызвестный Герман Кан — автор «трудов» о неизбежности термоядерной войны.

Основные тезисы книги сводятся к следующему: только военная экономика может обеспечить стабильность и прочность, необходимые для длительного существования строя, подобного американскому. Поэтому, если нет врагов, их надо выдумать. Мудрый государственный деятель наилучшим образом защищает общество, которому служит, нападая на иностранные державы, при этом, разумеется, он должен прославлять мир. А вот образчик разглагольствований такого деятеля: «В настоящее время трудно сказать, будет ли когда-нибудь возможен прочный мир. Во всяком случае, для объективных исследователей ясно (в отличие от представителей эмоционального пацифизма), что желательность мира весьма сомнительна, даже если допустить, что можно добиться его упрочения. Система перманентных войн, невзирая на вызываемое ею возмущение со стороны довольно значительных слоев общества, продемонстрировала свою эффективность с древнейших времен, то есть с самого начала человеческой истории...»

Не удивительно, что книга человека, выбравшего псевдоним Джон Доу, произвела в политических кругах США впечатление разорвавшейся бомбы.

ЛЕРОЙ ДЖОНС И АМЕРИКАНСКОЕ «ПРАВОСУДИЕ»

В США состоялся суд над известным негритянским писателем, драматургом и поэтом Лероем Джонсом. Он был арестован 14 июля прошлого года в Ньюарке, во время вспыхнувшего там негритянского восстания. Ему было предъявлено обвинение в «незаконном ношении оружия». Обвинение это было сфабриковано полицией.

О том, что на самом деле происходило в Ньюарке 14 июля 1967 года, Лерой Джонс рассказал представителям прессы. Его короткий рассказ был опубликован еженедельником «Уоркер» и «Пиплз уорлд», в журнале «Эвергрин», а также перепечатан прогрессивной канадской прессой. Он полностью приводится нами.

«После полуночи 14 июля я ездил по городу вместе с друзьями в своем небольшом грузовике. Мы разговаривали и слушали радио. Когда, уже на пути домой, мы доехали до угла Саут Орандж-авеню, нас неожиданно остановили вылезшие из двух грузовиков сыщики и вооруженные полицейские в белых шлемах. Мы думали, что они только проверят наши документы и отпустят нас.

Однако всем нам приказали выйти из машины. Когда я открыл дверцу и вышел, один из сыщиков (я его узнал, мы с ним вместе учились в школе второй ступени в Харринджере) схватил меня за руки с воплем: «Вот те самые ублюдки, которые в нас стреляли!» Я сказал, что мы ни в кого не стреляли. И добавил, что помню его со школьной скамьи. Тогда он начал бить меня по лицу и толкнул так, что я ударился о борт грузовика. После этого он стал наносить мне удары револьвером в живот, повторяя: «Где оружие?». «Никакого оружия у нас нет»,— отвечал я. Тогда на меня набросились с кулаками пять или шесть полицейских. Несколько раз меня ударили дубинкой по голове, а когда я упал, начали выкручивать мне руки. Один из них все целился ногой мне в пах... Избиение сопровождалось руганью: «Ах ты, скотина!» И снова вопросы: «Где оружие?» Потом меня бросили в грузовик. там избиение продолжалось. Когда нас привезли в главный полицейский участок, меня поволокли по лестнице, и в это время кто-то из полицейских крикнул: «Погоди-ка минутку!» — и нанес мне удар в низ живота. Схватившись за живот. я упал на землю.

Позднее, оказавшись в кабинете начальника полицейского участка, я спросил, не он ли дал приказ меня избить. «А что, здорово они с тобой расправились!» — ответил он, ухмыляясь. Затем нас отправили в городскую больницу. Меня втащили на каталке, на мне были наручники. Врачи стали зашивать мне раны, и один из них крикнул мне: «А, да ты, оказывается, поэт? Ну, пожалуй, ты долго теперь не будешь писать стихи».

А после этого, в другом полицейском участке, на Фрэнклин-стрит, куда нас отвезли, у нас взяли отпечатки пальцев и предъявили нам обвинение. Я был отправлен в тюрьму в Эссекс-Каунти, в одиночное заключение».

В защиту Лероя Джонса выступил в печати прогрессивный писатель и публицист Джозеф Норт. В статье, озаглавленной «Дело Лероя Джонса», в еженедельнике «Уоркер» он с негодованием писал о том, что расправа над негритянским писателем — позор для Америки. Он призвал белых писателей добиться пересмотра «дела» Лероя Джонса. «Это чудовищное злодеяние произошло не за десять тысяч миль от Америки, а здесь, в Ньюарке,— писал Джозеф Норт.— Почему же писатели не выступают в защиту своего собрата по перу? Почему царит мертвое молчание? Неужели это происходит по той причине, что Лерой Джонс — негр?»

Этот призыв не остался без ответа. По инициативе Джозефа Норта, Роберта Говера и поэта Уолтера Лоуэнфелса был организован комитет по защите Лероя Джонса, который потребовал пересмотра несправедливого решения суда. (Лерой Джонс был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы и к уплате штрафа в тысячу долларов.)

Следует сказать, что и в тюрьме, и на суде Лерой Джонс вел себя мужественно. После вынесения ему приговора он заявил судье: «Это не суд, и вы не представитель правосудия. Вы — представитель прогнившего строя».

ФРАНЦИЯ

ГЕНОЦИД!

Еженедельник «Нувель обсерватер» опубликовал беседу с Жан-Полем Сартром. Писатель заявил: «Политика Соединенных Штатов во Вьетнаме представляет собой подлинный геноцид. Генерал Уэстморленд заявил без обиняков, что Соединенным Штатам нужна военная база на азиатском континенте, и они должны доказать всему миру, что не допустят распространения коммунизма. Америке не нужны вьетнамцы. А так как все население единодушно поднялось на борьбу против агрессоров, логика интервенции ведет к геноциду, к поголовному истреблению вьетнамского народа. Среди американцев в ходу две формулировки — первая: «Хороший вьетнамец лишь тот, который мертв». Дело в том, что США не уверены в своих союзниках — солдаты беспрерывно бегут из сайгонской армии. Отсюда становится понятной и вторая формулировка: «Каждый мертвый вьетнамец — вьетконговец, партизан». Так оправдываются убийства, в том числе убийства мирных жителей, лишь подтверждающие, что все вьетнамцы против американской агрессии. В последнее время в прессе появляются сопровождаемые фотографиями рассказы самих американцев о допросах и пытках, которым они подвергают вьетнамцев. Вспомним, что страшные снимки жертв, которых фотографировали развлекавшиеся немецкие фашисты, во время пыток и убийств, помогли нам понять вину не только фашистских руководителей, но и нацистских солдат. А ведь теперь происходит то же самое. Фильм-монтаж Пика о Вьетнаме состоит преимущественно из фотографий и документов, взятых у американцев. Я вовсе не утверждаю, что на подобный садизм способны все американские солдаты, но у многих появилась та же потребность уничтожать, что и у солдат Гитлера. Можно привести бесчисленное множество фактов, но они ничего не прибавят к главному: когда стреляют по всему, что движется и имеет желтый цвет кожи,— геноцид налицо. И это поняли в первую очередь простые солдаты. Их еще на родине убедили в том, что они едут защищать «хороших» вьетнамцев от «плохих». Очень быстро на месте они убедились, что их ненавидят все вьетнамцы. Значит, «хороших» нет. Защищать и освобождать некого, а раз все вьетнамцы «плохие», их надо убивать. Обнаружив, что их обманули, все свое озлобление они направили не против обманувшего их правительства, но против тех, кто имеет наглость предпочесть смерть «спасению».

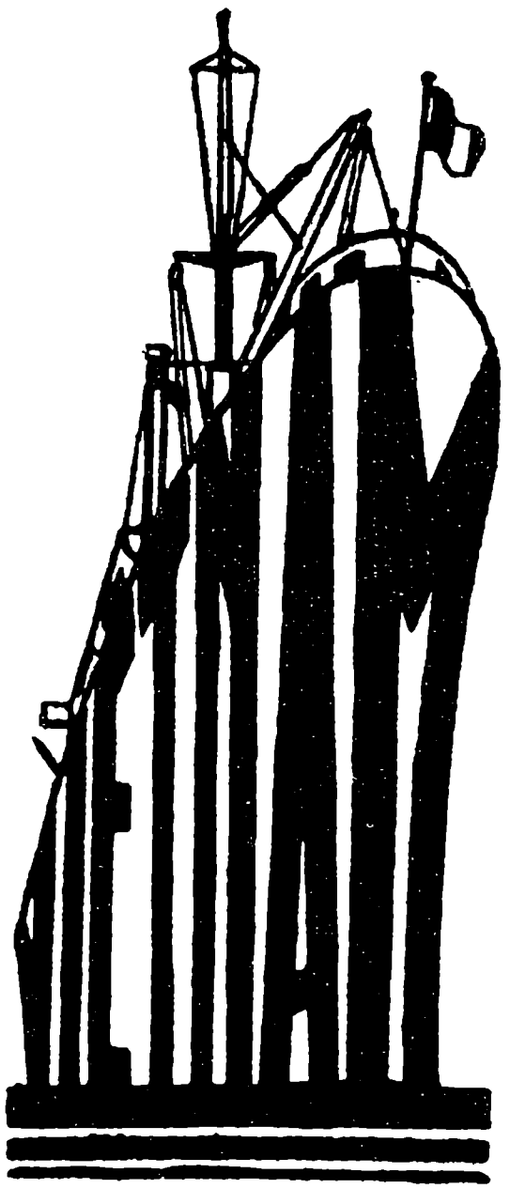
Геноцид осуществляется не только во время боевых действий. Заражение почвы и растительности отравляющими веществами в зонах, контролируемых партизанами,— тот же геноцид... Деревни сожжены, поля отравлены, крестьяне живут в лесу и обрабатывают лишь узкие полоски земли, замаскированные от вражеских глаз деревьями...

Геноцид — единственно возможный стратегический — а не тактический — ответ на сопротивление народа, единого в этой войне. У американцев лишь два выхода: либо уйти, либо уничтожать. Американское правительство это знает, и самое большое его преступление — обман общественного мнения, оно лжет своему народу, от имени которого проводит свою политику.

Победить Соединенные Штаты не могут — вьетнамцы оказывают сопротивление, беспрецедентное во всей мировой истории. Они сумели сохранить свою экономическую базу, трансформировав ее, и спасли и даже укрепили свой социалистический строй. Американский геноцид во Вьетнаме имеет двоякое значение, представляет двоякую опасность: это реальный геноцид в отношении вьетнамского народа и угроза геноцида для всех народов других континентов, в частности, для народов Латинской Америки, стремящихся к революции. Преступления американцев во Вьетнаме носят в себе зародыши десятков других преступлений, которые США готовы совершить повсюду, где их гегемонию будут оспаривать. Американский народ не знает всего этого, его обманывают и убеждают, что американское знамя реет везде лишь как символ защиты свободы. Вот почему американцы не понимают, чем вызвана ненависть к ним во всех частях света, где люди борются за свободу».

«Корабль Вьетнаму» — такие плакаты появились на улицах многих французских городов. Как известно, во Франции успешно прошла кампания по сбору средств на медикаменты, медицинское оборудование и продовольствие для Вьетнама, которые теперь доставляются советскими кораблями.

(Газета «Юманите»)



Авторы этого номера

ГУСТАВО ВАЛЬКАРСЕЛЬ — GUSTAVO VALCÁRCEL (род. в 1921 г.).

Перуанский поэт и прозаик. Его поэтические произведения составили несколько сборников: «Песни земной любви» («Cantos del amor terrestre», 1957), «Его лучшие стихи» («Sus mejores poemas», 1961), «Куба — да, янки — нет!» («Cuba sí, yanquis no!», 1961), «Революционная поэзия» («Poesía revolucionaria», 1962) и др. «Иностранная литература» недавно (№ 8, 1967) опубликовала цикл его стихов из книги «Прошу слова!» («¡Pido la palabra», 1965).

Перу Валькарселя принадлежат также книги репортажей «Агония Перу» («La agonía del Perú», 1952) и «Репортаж будущему» («Reportaje al futuro», 1963). Глава из последней книги была опубликована нашим журналом в № 11 за 1964 г.

■

ЗДЕНКО ШТАМБУК — ZDENKO ŠTAMBUK (род. в 1912 г.).

Югославский, хорватский, поэт. В довоенные годы принимал активное участие в революционной борьбе югославских коммунистов, выступал как поэт и публицист. С 1941 года — участник народно-освободительной борьбы югославского народа против фашизма. После войны — публицист, дипломат, общественный и государственный деятель. Автор сборников стихов «Накануне дня» («Uoči dana», 1945), «За красной звездой» («Tragom crvene zvijezde», 1946), книги «Путевые заметки об Африке» («Zapisi iz Afrike», 1957).

Сонеты о Ленине были написаны поэтом в 1941 году и опубликованы в сборнике «Накануне дня» в 1945 г.

■

ЕЖИ СТЕФАН СТАВИНСКИЙ — JERZY STEFAN STAWIŃSKI (род. в 1921 г.).

В этой книжке журнала мы предлагаем вниманию читателей новую повесть «Часовник» («Godzina szczytu», 1968) хорошо известного в нашей стране польского писателя, кинодраматурга и режиссера Ежи С. Ставинского. Повесть печатается по рукописи, в Польше она выходит в издательстве «Чительник». Перу Ставинского принадлежат роман «Катажина» («Katarzyna», 1955), повести «В погоне за Адамом» и «Пингвин», опубликованные в нашем журнале (№ 4, 1964, № 12, 1965), несколько новелл и другие произведения.

В 1956 году Е. Ставинский впервые выступил в кино со сценарием «Человек на рельсах», созданным им по собственной новелле. С тех пор творческая судьба писателя тесно связана с кинематографом. «Человек на рельсах», «Канал», «Эроика», «Дезертир», «Косоглазое счастье», «Покушение», «Крестоносцы», «Шесть превращений Яна Пищика», «Разводов не будет» — таков неполный список фильмов, созданных по сценариям писателя.

■

НЕФЗАТ УСТЮН — NEVZAT ÜSTÜN (род. в 1924 г.).

В этом номере мы знакомим советских читателей с творчеством турецкого поэта Нефзата Устюна, публикуя его стихи, вошедшие в сборники разных лет. Наиболее популярны на родине Устюна его поэтические сборники «Врата отщепенцев» («Yitikler kapısı», 1960), «Эй ты, американец» («Hey, sen Amerikalı», 1967), поэма «Страна солнца» («Güneş ülkesi», 1964), сборник рассказов «Голая» («Çıplak», 1966).

■

УИЛЬЯМ ПОМРОЙ — WILLIAM J. POMEROY (род. в 1916 г.).

Американский писатель и публицист, связавший свою жизнь и творчество с судьбой народа Филиппин. Боролся в рядах филиппинских повстанцев. После десятилетнего тюремного заключения был выслан из страны. Основные произведения — книга воспоминаний «В чаще лесов» (вышла в русском

переводе в 1965 г.), сборник стихов «За решеткой» («Beyond the Barriers», 1963) и многочисленные новеллы. Рассказы, публикуемые в этом номере, были напечатаны: «Приказ» (в оригинале «Off-limits») в американском журнале «Mainstream» в апреле 1963 г., «Флора» («Flora») в журнале «Weekly Graphic» (Манила) в июле 1964 г.

■

ХЕНОВЕВА ЭДРОСА-МАТУТЕ — GENOVEVA EDROZA-MATUTE.

Филиппинская писательница, пишущая на тагальском языке. Преподает тагальский язык в средней школе. Автор книги рассказов «Я — голос» («Ako'y Isang Tinig»). Ее произведения неоднократно отмечались на Филиппинах литературными премиями.

Рассказ «Возвращение» («Pagbabalik») был напечатан в сборнике премированных рассказов «Carlos Palanca. Memorial Awards for Literature», 1957.

ГЛОРИЯ ВИЛЬЯРАСА ГУСМАН — GLORIA VILLARASA GUZMAN.

Филиппинская писательница, пишущая на тагальском языке. Рассказ «Подарок» («Pabangó») взят из журнала «Рассвет» («Liwayway», 1957).

ХОСЕ ГАРСИА ВИЛЬЯ — JOSE GARCIA VILLA (род. в 1914 г.).

Филиппинский поэт, прозаик и критик, пишущий на английском языке. Как поэт-новатор получил известность за пределами своей родины, в частности в США, где его поэтическое творчество было отмечено премией Американской академии искусств и литературы. Автор прозаических сборников «Примечание к молодости» («Footnote to Youth», 1933), «Избранные рассказы» («Selected Stories», 1962), а также сборников стихов «Многие голоса» («Many Voices», 1939), «Пришел» («Have Come, Am Here», 1942), «Том второй» («Volume Two», 1949), «Стихотворения 55» («Poems 55», 1962) и др.

Рассказ «Человек, который был похож на Рисаля» взят из книги «Главное у Вильи» («The Essential Villa», 1965), антологии его стихов и прозы.

■

БЕРНАР ДАДЬЕ — BERNARD DADIÉ (род. в 1916 г.).

Видный поэт, прозаик, фольклорист Берега Слоновой Кости. Его первый сборник стихов «Африка во весь рост» («Afrique debout») вышел в 1950 году. Затем вышли написанные на основе изучения фольклора «Африканские легенды» («Légendes africaines», 1952) и книга сказок «Черная повязка» («Le pagne noir», 1955). Бернар Дадье — автор романов «Негр в Париже» («Un nègre à Paris», 1959), «Нью-йоркский патрон» («Le patron de New-Yorke», 1964) и др.

На русский язык переведен роман «Клембье» и ряд стихотворений в сборнике стихов поэтов Африки «В ритмах там-тама».

В этом номере публикуется его статья «Люди между двумя языками», написанная на основе его доклада на 35-м конгрессе ПЕН-клуба, который состоялся летом прошлого года в Абиджане.

■

КАМИЛ БАЛТАЗАР — CAMIL BALTAZAR (род. в 1902 г.)

Румынский поэт. Автор сборников стихов «Старые и новые стихи» («Poeme vechi şi noi», 1948), «Стихи» («Versuri», 1957) и др.

Рецензия «Удивительный мир Василе Войкулеску» написана для нашего журнала.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Б. С. РЮРИКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ (первый зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Пятницкая ул., д. 41. Телефон В 3-51-47

А 00757. Сдано в производство 5/II-68 г. Подписано к печати 3/IV-68 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2) + 1 вкл. Уч.-изд. листов 28,30. Зак. 380.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394